АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в десяти томах

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том второй

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1912—1916

ХРОМОЙ БАРИН
Роман

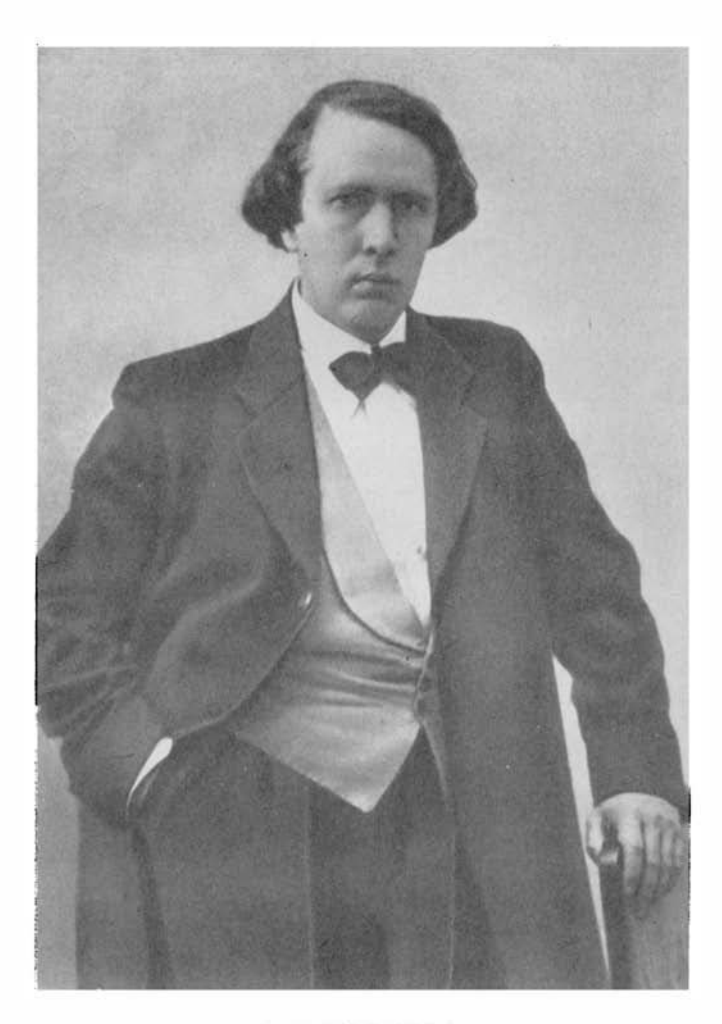
ЕГОР АБОЗОВ
Роман

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Под редакцией
А. В. АЛПАТОВА, Ю. А. КРЕСТИНСКОГО,
А. С. МЯСНИКОВА, В. О. ПЕРЦОВА,
Л. И. ТОЛСТОЙ, В. Р. ЩЕРБИНЫ

Комментарий *А. В. Алпатова* и *Ю. А. Крестинского*
Подготовка текста *А. Л. Сокольской*

Оформление художника
В. МАКСИНА



А. Н. ТОЛСТОЙ

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

ПОРТРЕТ

1

Я разбирал старую библиотеку в Остафьеве, родовом, теперь оскудевшем имене графов Остафьевых, последний потомок которых мотается еще где-то по свету.

Среди исторических и масонских книг попалась мне тетрадь из голубоватой бумаги во всю величину листа. На заглавном листе было выведено: «Дерзание души, или Правдивый дневник...» Дальнейшее оказалось записками крепостного человека Ивана Вишнякова, посланного в Петербург преуспевать в художестве, ибо с малых лет он оказывал в этой области отменное дарование...

Срок петербургского учения положен был три года, в конце его Вишняков должен был написать портрет самого графа за глаза, по памяти...

«Сия задача,— пишет Вишняков,— коварна и хитра; господин желает знать, сколь благодетельный образ его отпечатан в моем сердце и какие чувства питает в себе раб, отошедший на мнимую и недолгосрочную свободу».

Денег на дорогу и ученье «выдано Вишнякову шестьдесят пять рублев», коих хватило лишь на два месяца в Петербурге, где и начинается этот дневник.

Вначале Вишняков рассказывает, как поселился он на Грязной улице (ныне Николаевской), как познакомился на мосту с одним франтиком, показывавшим ему издали академию и затем ловко выманившим у него трешницу,— последнее, что было в кармане... Как, дежуря у ворот академии, Вишняков увидел, наконец, ректора, быстро вышедшего из подъезда прямо в сани; Вишняков без шапки побежал за его санями, и уже посредине Невы ректор, отогнув воротник, покосился на бегущего; как тут же на льду принял он прошение и рисунки; как спустя неделю страшного ожидания Вишняков был зачислен в натуральный класс...

С Грязной Вишняков переезжает на Васильевский, к немцу Карлу Карловичу — подрядчику, и добрый немец учит скромного жильца писать вывески, получая с мясной вывески послужившее моделью мясо, с зеленной — фрукты и овощи,— словом, платой служили изображаемые предметы.

В работе этой и в посещении натурного класса проходят три года. Дневник наполнен рассуждениями вроде: «Во сне мы видим формы и линии, а краски только чувствуем; на картине же, наоборот, видим краски, а формы и линии чувствуем; но между искусством и сновидениями несомненно существует связь...»

В конце третьего года Карл Карлович, посвященный во всю жизнь Вишнякова, настаивает, чтобы жилец его начал, наконец, графский портрет.

Вишняков с неохотой берется за работу и, начиная после долгого перерыва вспоминать знакомый образ, чувствует себя вновь крепостным, рабом, человеко-животным...

Сама рука выводит на полотне крупное старческое лицо, крючковатый нос, отвислые щеки, морщины своеволия и гнева... Весь опыт художника и хладнокровие изменяют ему, Вишняков со страхом видит, как на образующемся, будто чудом, страшном лице все яснее выступают беспощадные выпуклые, в кровяных жилках, живые глаза...

И Вишняков заносит в дневник:

«Это не портрет, а чудовищная карикатура. Я не могу найти в нем ни одной благородной черты. Одно

спасение — правдивый вопль души, быть может граф поймет... Когда я уезжал, он раскрыл окно и крикнул: «Помни, на три года даю тебе свободу; коли употребишь ее с толком — тогда посмотрю, подумаю... а без толку — пеняй на себя...» Зачем он дал мне эту надежду... Я скован и как в бреду...»

Отсюда привожу подлинные его записки, касающиеся неожиданной и роковой для него встречи.

2

«Карл Карлович зашел ко мне сообщить, что на Морской требуется вывеска в гастрономической лавке. Сказав, Карл Карлович затянулся из фарфоровой трубки, на височках его появились добрые морщинки, подмигнув одним глазом, он удалился на скрипучих, опрятно начищенных сапожках...

Добрейший, милейший Карл Карлович! Если бы я только не был так угнетен, чего бы только не сделал в благодарность за все твои заботы!

Я разложил на лавке горшки с красками, олифу и кисти и, поставив все это на голову, поплелся в город. Проходя по Николаевскому мосту, я замечтался, созерцая величие реки с опрокинутыми в ней дворцами, скользящими баркасами и парусными кораблями у гавани и, не заметив, свернул на набережную, где постовой загородил дорогу: «Сворачивай на Конногвардейский, маляр». Восхищенный, я глядел на перспективу набережной, где, удаляясь, шел какой-то сутулый человек в цилиндре и поношенной шинели.

На Морской я сразу нашел лавку и окликнул хозяина, который повел меня к стойке, предложив, довольно грубовато, выбрать фрукты для натюрморта, причем подсовывал попорченные, но я выбрал шесть французских яблок, шесть груш, ананас, три кисти винограда и лимоны — все без пятнышка, уверив, что могу рисовать только с доброй натуры, и, захватив все это, ушел на двор, где была уже приготовлена вывеска.

Двор в этом доме проходной; под воротами кричат татары; принимался играть шарманщик, наводя тоску.

С теневой стороны в раскрытых окнах лежали, переговариваясь, квартиранты, но я увлекся работой, думая лишь об одном: найти в стоящей передо мной горке фруктов нетленную красоту,— она и в сладком соке яблока, и в запахе ананаса, и в линиях женского тела, и в мечте художника — одна. Вдруг я почувствовал, что за спиной остановился кто-то; я оглянулся и узнал того господина с набережной. Он был темно-русый, сутулый, в складках его капюшона забилась пыль. Правую руку с вытянутым пальцем он поднял, словно призывая ко вниманию, черные, как маслины, продолговатые глаза его так и горели от удовольствия.

— Отлично,— сказал он глуховатым голосом,— одна природа истинна, и, боже мой, как она хороша...

Я покраснел от удовольствия; незнакомец поднялся на цыпочки, отступил, слегка нагнув голову и внимательно осматривая меня.

— Вы ученик академии? — спросил он.

— Точно так,— ответил я, —а это лишь заработок; за вывеску я получу всю горку фруктов, которые и продам.

Незнакомец щелкнул языком:

— Вот, вот, это мне и нужно. Мне хочется зайти к вам, посмотреть работы...

Я живо поклонился и поблагодарил, прося не побрезговать моей скромной комнатой...

Незнакомец засмеялся и отошел, крича:

— Так я приду.

К вечеру я окончил вывеску, отнес фрукты знакомой булочнице, взял у нее денег, купил свечей, ситнику и в сумерках прибежал домой. Из комнаты пришлось вымести пропасть мусору и вытереть повсюду пыль; из-под дивана я вынул этюды, положил их на край стола и к свече поближе пододвинул мольберт с портретом его сиятельства... Гость так и не пришел, и я весь вечер проглядел на портрет.

Ах, пусть он знает, что я не скрыл от него ни единой мысли. Какими же, как не ужасными, должны быть его глаза. Я помню, когда в гневе они останавливались на провинившемся,— нижнее веко, дрогнув, забега́ло на зрачок, верхнее покрывалось бровью, поджимались углы

у висков. Однажды провинилась моя мать; он так поглядел на нее, что она, крича, упала на землю. Знаю — что бы я ни сделал, куда бы ни скрылся, глаза всюду отыщут и покарают... Я не могу изобразить их спокойными... Они, как живые, сами раскрылись на горе мне.

Я заснул головой на тетради. Свеча нагорела грибом... В полночь я проснулся, снял со свечи, задул ее и лег, зная, что до утра будут мучить сны. Ведь сколько угодно я могу видеть себя во сне свободным, видеть себя славным другом самого Иванова... Тем хуже будет пробуждение...

Карл Карлович разбудил меня рано и позвал пить кофе. Я рассказал о вечернем незнакомце, и добрый немец посоветовал не ходить пока в академию, а писать портрет, чтобы показать гостю хорошую работу,— товар лицом. Я так и сделал. Незнакомец тогда восхищался моим натюрмортом, и я вознамерился вложить яблоко в руку графа, для чего надо было приподнять его руку, согнув в локте. Но скоро веселое мое настроение пропало, когда я увидел, что рука графа не хочет подниматься и брать яблоко... Проработав до вечера, я все вновь написанное снял ножом и, уже при свече, поставил руки на место... И мне показалось, что упрямые руки графа будто вцепились в раму...

Гость все же пришел однажды около полудня. Приветливо поздоровавшись, сел на диван и начал с любопытством оглядывать комнату; когда он заметил портрет, лицо его выразило такое удивление, даже испуг, что я спросил в ту же минуту:

— Ужели так плохо?

— Удивил, батенька, право удивил,— проговорил гость,— а ведь он живой; конечно, эти глаза видят и следят. Кто он?.. Почему вы его пишете? Вы боитесь его?..

Гость задал пятьдесят вопросов, и я поспешил рассказать свою жизнь и прочел отрывки из дневника. Когда окончилось чтение, глаза гостя были обращены к окну, словно не видя ни окна, ни комнаты, ни меня. На лукавых губах его играла усмешка... Мы долго сидели молча. Наконец он поднялся, рассеянно пожал руку и вышел, сказав уже на пороге:

— Я еще приду.

...Портрет следит за мной, глаза его всегда находят мои зрачки, куда бы я ни отошел. При свече они так пристальны, что я повернул портрет к стене, но тотчас поставил обратно, думая, что он обидится. Прошла неделя. Я не могу работать, он мучит меня даже ночью. Вчера, закрывшись одеялом, я долго лежал без сна... Мне казалось, что он высунется из рамы.

Я решил уничтожить его: все равно так жить нельзя... Я взял нож у Карла Карловича, на цыпочках вошел к себе и, стоя около портрета, попробовал на пальце лезвие... Ножик упал, разрезав мне сапог... Я не могу, я уверен — он узнает, что я покушался на него, как вор, как убийца...

Вчера около полуночи я проснулся. Сон слетел с меня, сердце стукало, поджилки тряслись, как мышь... Он вылез из рамы и, огибая стол, подходил ко мне. Когда он сел на диван, я живо подобрал ноги...

— Где спички? — спросил он.— Я набил себе шишку.

Я живо соскочил и взял свет,— на диване сидел мой гость в пыльной шинели, в руке он держал сверток.

— Он все еще здесь? — спросил гость, глядя в темный угол на портрет.

Я поспешил выразить живейшую радость его приходу, но гость перебил меня:

— Вы послушайте первую часть повести, она еще переделается много раз...— Насупившись, он поглядел на меня, пододвинул подсвечник, кашлянул и прочел глухим голосом:— «Портрет»... «Портрет»,— повторил он, чудно усмехаясь.

«Нигде столько не останавливалось народа, как перед картинною лавкою на Щукином дворе. Для меня до сих пор загадка — кто поставляет сюда свои произведения, какие люди, какою ценою...»

Я слушал повесть стоя и глядел на гостя, на длинный, почти в половину лица его нос, тень от которого падала до конца острого подбородка, а по сторонам усмехались приподнятые углы губ; по мере чтения прядь

напомаженных волос сползла на глаза, и голос его стал ясный и выразительный... А потом я начал понимать и содержание повести...

Гость кончил, когда свеча догорела, свернул медленно рукопись.

— Вот,— сказал он и, помолчав, спросил сердито:— Нравится? — Я прижал руки к груди, глаза мои были полны слез...— Ну то-то,— уже мягко проворчал он,— видели, какие чудеса бывают...

И, уже уходя, надев цилиндр, он остановился перед портретом, рукопись торчала у него из кармана сюртука... И вдруг, глядя на его длинноносый профиль, на цилиндр и оттопыренный сзади карман, я вспомнил всем известную карикатуру и, страшно испугавшись, понял — кто мой гость...

...Сейчас посыльный принес письмо от графа. Граф прибыл на днях и требует к себе меня вместе с портретом и дневником».

Здесь рукопись кончается словом «Аминь», а дальше следует приписка:

«Граф потребовал заполнить последнюю страницу. Я никогда не забуду, никогда не пойму, как все случилось... Я пришел к его сиятельству на Сергиевскую к восьми поутру и до двенадцати ждал на кухне. Лакеи, заходя, заговаривали со мной и на мои ответы покатывались со смеха... Наконец один из них вбежал, запыхавшись, и потребовал к графу дневник и портрет, а мне приказал ждать... Я сидел у окна и ожидал, что вот услышу громовой голос графа, тяжелые, как смерть, его шаги... К вечеру я очень ослабел и попросил напиться... Из лакейских разговоров узнал, что граф уехал в театр. Прислуга легла спать, оставив лампадку, а я продолжал сидеть, уж не боясь, потому что стало все равно... На колени мне прыгнул кот, я погладил его, он ткнулся мне в шею и обнял лапами...

Тогда я стал плакать про себя... Наконец в доме вновь захлопали двери,— граф вернулся и лег спать...

Наутро тот же лакей, что относил портрет, опять запыхавшись, вбежал и крикнул:

— Вишняков, к графу...

Граф в нижнем белье стоял у печки, грея зад... Рассматривая с большим любопытством, он подпустил меня на пять шагов и сказал басом:

— Хорош! — Я молчал, опустив голову.— Изуродовал меня навек, злодеем выставил для потомства,— продолжал граф.— Вчера в театре Николай Васильевич Гоголь на меня пальцем указал. А ты понимаешь, что даже государю известно, чей портрет описан в повести у Николая Васильевича. А?.. По-твоему, мне теперь нужно глаза себе выколоть. А? — грохнул граф... Наступило молчание. Затем лиловые губы его брезгливо усмехнулись, и я увидел, как он медленно потащил из-за спины мою тетрадь.— Ступай и допиши,— сказал он.— Потом зайдешь в контору, получишь вольную, а тетрадь оставишь мне...

Ноги мои подкосились, я подошел к графу и поцеловал ему руку».

КЛЯКСА

1

Над столом, покрытым синей бумагой в чернильных пятнах, горела привешенная к потолку небольшая лампа, освещая ворох писем и две худые, проворные руки, левая выхватывала письмо из кучи, подносила к плоскому, с красной бородавкой носу в пенсне и перебрасывала правой, а правая совала в ящики шкафа близ стола.

Работа эта, ежедневная и однообразная, не обременяла мыслей почтового чиновника Крымзина; но мыслям некуда было деться, и они дремали, шибко бегали только бесцветные глаза. На углу стола шипел самоварчик.

Сонно было в почтовой конторе, и в двух залах небольшой станции, и вокруг на много верст, и ничто не могло потревожить работы Крымзина.

Но вдруг левая рука его, схватив голубой конверт и едва не перебросив правой, задрожала и остановилась. Крымзин сдернул пенсне и, раздвинув локти, прочел адрес на конверте:

«Именье Сосенки, Александру Петровичу Тименкову».

Пятнами разлился румянец по впалым щекам Крымзина, тонкие губы, обросшие мочальными усиками, приподнялись улыбкой. Он встал, подошел к самовару и пробормотал:

— Соскучилась Лизанька. Вся, чай, изныла без милого друга... Ну, что ты там нацарапала, душенька моя...

Дрожащей, грязной от чернил рукой в заусеницах подержал Крымзин конверт над паром самовара, осторожно раскрыл и, понюхав хрустящий листок письма, стал читать под лампой:

«Милый мой, золотой Саша, я больше не могу жить в разлуке. Вчера муж нашел твое письмо у меня на туалете. Я испугалась ужасно и за тебя и за себя. Он спросил: «От кого это?» Я ответила: «От подруги»... И он подозрительно покосился, знаешь — как. Я боюсь его, Саша. Как он смеет меня подозревать? Разве я изменяю ему с тобой? Ведь я же люблю тебя, красавца милого. В субботу мы встретимся в вагоне. Я не дождусь субботы. Какое счастье, что в К. живет его тетка... Я ее терпеть не могу, а муж очень доволен, что я хочу навестить тетку... До субботы. Лиза».

Прочтя письмо, Крымзин усмехнулся, поглядел на лампу и подмигнул.

— Правильно,— сказал он,— старого учить надо: думает, за деньги жена тебя и любить будет... Многого захотел. Не раба. Саша молодчина, в вагоне устраивается... Изобретатели... Значит, в субботу ее и увижу, конечно увижу. Вот так штука!

Крымзин задумался, сказал: «так-с», заклеил конверт и, улыбаясь, продолжал работу, согнувшись на своем стуле — худой, сутулый и потертый.

Когда ворох писем был разобран, Крымзин потянулся, налил чаю в стакан и, куря и мешая ложечкой, продолжал думать о Лизе, причем глядел не отрываясь на чернильное пятно на стене.

Клякса эта, неправильная, с брызгами вокруг и отеком вниз, находилась поверх коричневого цветка на обоях, и Крымзин, думая, всегда глядел на кляксу и ненавидел ее до тошноты и головной боли.

Кляксу поставил почтовый чиновник, который служил лет двадцать на этой станции и помер от запоя. На место покойника поступил Крымзин, исключенный за слишком медленное прохождение курса из реального училища. Родных у него не было, товарищи скоро за-

были его, и он, сев на станции, посреди степи, где ближайшее село было в тридцати верстах, стал ежедневно видеть одно и то же: начальника станции, стрелочника, телеграфиста, кур в палисаднике, а вокруг степные дороги, путь и столбы.

Раз в сутки, минуты на две, останавливался почтовый поезд, полный народа; засидевшийся пассажир спрыгивал с площадки и прохаживался мимо вагона, откуда в окна глядели незнакомые люди. Вначале Крымзин хотел подружиться с начальником и телеграфистом, но у телеграфиста пахло изо рта, да и какой прок из его дружбы, а у начальника постоянно хворали дети, и вообще он был угрюм. Надумал Крымзин пить, но от вина делалась такая грусть, что однажды вынули его из петли в дровяном сарае. Тогда попробовал он распечатывать письма, и это занятие понравилось.

Засиживаясь с каждой почтой за полночь, Крымзин читал чужие тайны и стал понимать, как живут люди, на какие пускаются хитрости и дела.

И уже не обижался больше, глядя на подкативший поезд, а хитро ему подмигивал, думая: «От меня не скроетесь, господа, все про вас знаю». И скоро выучился отличать по надписи на конверте любовные письма от деловых, просительские от писем начальников.

На просительских звание и титул были прописаны всеми буквами, адрес подробен, не подчеркнут, и старательно завернуты закорючки на буквах. Начальники подчеркивали город и фамилию, перед которой стояло просто «Е. В. Б.» [1]. В деловых почерк был тороплив и разборчив. А любовные — их все прочитывал Крымзин, наслаждаясь разнообразием и подробностями содержимого,— у одних почерк был трудно читаем, словно женщина трусила, боясь писать; другие царапали каракулями, ставили кляксы, вкладывали цветы, а иногда торопливое перо, вонзясь в бумагу, брызгало; местами вместо слов ставились точки, над которыми много смеялся Крымзин, сняв запотевшее пенсне.

---

[1] Сокращенно: «Его Высокоблагородию». *(Прим. редакции.)*

Крымзин радовался удачам любовников, досадовал на препятствия, ответы ждал с нетерпением, а иные письма переписывал в тетрадь, где значилось: «Пикантная переписка некоторых особ».

За несколько лет он до того привык думать и чувствовать чужими думами и чувствами, что не представлял, как можно было жить, как раньше, в одиночестве от жизни, как в свинцовом ящике.

Недавно он распечатал письмо в голубом конверте: «Саша, как солнце светит, так и я тебя люблю. Ты говоришь, что я красивая и нежная, у меня маленькие ручки и ножки, но все это твое, пойми»... и дальше в том же роде... все про любовь. Было подписано: «Лиза», и Крымзин долго думал — чем это письмо замечательно, словно случилось что-то серьезное. Потом письма в голубых конвертах полетели каждый день... В них описывались и мелочи жизни, и такие женские подробности, при чтении которых надувал Крымзин дряблые щеки и говорил: «Да-с», и стихи, и цветы, и нежные слова на целой странице — все, чем ворожит молодая женщина, и, наконец, Крымзин получил фотографию, которую долго рассматривал и хотел срисовать, но ничего не вышло. Потом увидел Лизу во сне; затосковал, на другой день напился было, но стало хуже, и, не зная, что теперь делать, достал у жандарма пороху, ножом на руке вырезал: «Лиза», под именем — сердце и стрелу — и все это затер порохом, чтобы почернело навсегда.

Ответы Александра Петровича Тименкова Крымзин перестал вскрывать, чтобы казалось, будто Лиза пишет ему — Крымзину, и однажды наедине он назвал себя: Саша, Александр Петрович,— даже колкий холодок восторга пробежал по спине.

В свободное от разборки писем время, то есть весь день, Крымзин мечтал о крушении поезда. Он, Крымзин, бросается под обломки горящего вагона и выносит с опасностью жизни Лизу на руках. Лиза говорит ему: «Спаситель, будьте моим другом»,— и целует его...

Мечтая, Крымзин вытирал платком лицо, чтобы не было оно, на всякий случай, мокрое, в чае полоскал усы, от которых пахло табачным перегаром; глаза же

его глядели на обои, и вот поверх коричневой розы он опять видел все ту же кляксу, поставленную от пьяной тоски... И клякса напоминала, что жизни у него нет.

2

Последнее письмо с назначенным Александру Петровичу свиданием было в четверг, и два дня до субботнего вечера Крымзин жил сам не свой,— наконец, наконец он увидит Лизу.

Не зная, куда деться, он забрел за пути в полынь, росшую по ровному полю, и глядел на запад, откуда, за телеграфными столбами, вечером покажется поезд. Из-под ног вылетел перепел; суслик свистел на кургане, стоя колышком,— выцветшее небо, солнце, полынь...

Взглянув на солнце, он думал о том, что теперь Лиза обедает и говорит мужу невинно: «А я хочу съездить к тетушке». Муж молчит, прикрывшись газетой,— грубое животное; лицо у Лизы испуганное и лукавое... А вдруг откажет? «Поезжай,— говорит муж,— мне какое дело». Долго ждать до поезда. Все сердце изныло... Она пошла в комнату и надевает белье с кружевами — все для него.

Крымзин жмурился и, помотав головой, шел в палисадник, сбивая сапогами с полыни горькую пыль.

У коричневой, обшитой тесом стены Крымзин сел; около ног его заходил голенастый петух, тряся гребешком; две курицы лежали в пыльных ямках; листья на чахлых тополях были давно сожжены. Во втором этаже, в квартире начальника, плакал ребенок.

«Эх,— подумал Крымзин,— хоть бы речка была — искупаться, здесь и воды-то нет; как только здесь люди живут...»

Вопли начальникова ребенка надоели, наконец, нестерпимо; Крымзин, морща лоб, побрел в первый класс, где был холодок. Но в зале те же, что и десять лет назад, висели сбоку изразцовой печи рекламы пароходов и гильз «Катыка», напротив них заклеванное мухами расписание поездов и давнишняя надпись на нем карандашом: «Маня, если бы ты знала!! Виктор Стрижев»...

На круглом столике — графин с желтой водой, которую никто не пил... Вот и все...

Крымзин заглянул в графин. Послушал, как мухи жужжат на окнах, и ушел в багажное...

В багажном, против выхода, на обитой железом стойке спал служащий; заскорузлая рука его лежала на животе; вокруг открытого рта, обросшего неопределенного цвета бородой, ползали мухи.

— Эй, ты, будет тебе спать-то,— сказал Крымзин. Но тот не проснулся. Он тоскливо постоял и вышел на мощеный двор. Службы, покрытые дерном, были заперты, у коновязи хлопотали воробьи. За казенным забором, за пыльной дорогой была все та же степь, далеко в ней прыгала стреноженная лошадь.

— Мука ведь это, мука, мука, не могу так жить,— сказал Крымзин,— хоть бы поезд скорее прошел.

Степной закат долго тускнел, линяя и заливаясь ночью; высыпали редкие звезды; на станции зажгли огни, семафор вдалеке опустил зеленое крыло, и однообразно звонил колокол на столбе, показывая, что откуда-то идет поезд. Крымзин сидел на лавочке у дверей, на перроне, глядя налево, в степь. Легкий озноб тряс его тощее тело в короткой тужурке, и в голове стоял туман,— слишком долго он дожидался...

В степи налево горела точка, должно быть костер, зажженный плугарями. Но точка становилась ясней, потом разошлась в три огня, и оттуда долетел дальний свист; это подходил поезд.

Крымзин вскочил со скамейки, оправляя фуражку; сердце стучало. Вслед за свистом с противоположной стороны залился колокольчик, все ближе и ближе, словно едущий, тоже увидя поезд, стегал по коням, стоя в тарантасе. Когда же огни паровоза, ширясь и золотом заливая рельсы, настигли семафор — на двор станции влетела, гремя о камни, запыленная тройка.

«Это он»,— расширяя глаза, в волнении подумал Крымзин.

Пылающие фонари, погнав тень от начальника станции, подлетели, паровоз обдал гарью и паром, замель-

кали окна вагонов, все медленнее,— и против Крымзина остановился первый класс, ярко освещенный. Сейчас же на перрон через дворик пробежал высокий человек в крылатке и с пышными усами. Крымзин, привстав на цыпочки, стал глядеть через вагонное окно в купе, обитое красным бархатом...

В сетке купе лежала соломенная шляпа с цветами и ягодами, на крючке висело шелковое пальто... «Лизино это»,— пробормотал Крымзин и с головы до ног задрожал и обернулся... С площадки вагона раздался звонкий, торопливый женский голос:

— Сюда, сюда. Александр Петрович, Саша...

Человек в крылатке с разбегу остановился, поднял руку, приветствуя, и вспрыгнул на площадку. Он заслонил ее всю, на шее его очутились две женские руки...

«Поцеловались,— сказал Крымзин,— в губы...» — И увидел, как дверь в купе распахнулась и вошли, сначала она — радостно блестя глазами и смеясь, потом — он, очень бодро...

Зайдя в купе, Лиза опять обняла Александра Петровича... Они сейчас же стремительно сели на красную койку и опять — целовались, зажмурясь, отрывались, чтобы вздохнуть, и — опять...

Крымзин, глядя на них, тихо затосковал на голос, даже и не заметив этого; не слышал он, как ударил третий звонок, звякнули буфера...

Вдруг окно поплыло,— Крымзин побежал за вагоном...

Лиза и друг ее с великолепными усами оторвались друг от друга. Он держал ее за руки... Оба смеялись, невыразимо счастливые...

Перрон вдруг окончился, Крымзин споткнулся, едва не упал, а поезд уже унесся, показывая на хвосте два красных огня... Все...

Долго Крымзин смотрел вслед поезду. Вернулся в контору, засунул руки в карманы и сложил губы розаном... Так постоял, покуда и этот отраженный свет любви не угас на лице его... Потом он вынул ключ, отомкнул на почтовом мешке замок, понатужась, вывалил письма на закапанный стол, присел, и привычно заходили его руки... Но глаза вместо всей этой дряни

снова видели прозрачное окно и на красном бархате две целующиеся головы.

— Довольно же,— сказал он, тяжело дыша,— поцеловались и довольно...

Но — мало этого — они взялись за руки и принялись смеяться... На румяной щеке у нее показалась ямочка, и наморщился маленький нос.

— Милые мои, еще поцелуйтесь,— сказал Крымзин, привстав и опираясь о стол...

Но профили чудесных двух лиц не сблизились; между ними появился обойный розан, и сбоку его — чернильная клякса...

Крымзин раскрыл рот и, дрожа, глухо вскрикнул: «Пропади!» И головы исчезли... Тогда он схватил чернильницу и швырнул ее, перегнувшись через стол, в кляксу. Чернильница разбилась, и чернила расплеснулись по стене пятном величиной с баранью шкуру.

— Заполонило! — закричал Крымзин.— Врешь! А не хочешь ли этого, этого?..

Комкая и разрывая письма, он стал кидать их в чернильное пятно, плевал в него через стол, запустил печаткой и сургучом.

Начальник станции, зайдя за почтой и все это увидев, повалил Крымзина, позвал на помощь, велел его связать, а наутро отправил в уездный город, в больницу.

ЕГОРИЙ — ВОЛЧИЙ ПАСТЫРЬ

В давнее время в греческой земле жил князь Егорий, до того лютый, что уж и сам был не рад своей лютости.

Представлялось ему, будто все люди — его враги, и каждое утро, едва раскрывал глаза, заходился злостью, думая — кто его пущий враг?

Жил Егорий в каменной избе, в темном лесу, на крутой горе, а под горой лежало Егорьево царство.

Семь синих рек текло с горы по зеленому царству, уходя на краю земли в дремучий лес.

Егорьевы мужики пахали землю, а бабы растили виноград и холили наливные яблоки.

Утром над царством вставало солнце, горели светлой зыбью все семь рек, на речные берега выходили пегие коровы, бойкие кони и круторунные овцы, жевали траву и пили воду. В полдень, когда солнце жгло, как око с лазоревого неба, ложились стада, и народ, бросая работу, шел купаться, тогда с горы слетала туча, погромыхивая, заслоняла солнце, народ крестился, стоя в воде, животные поднимали морды, и сверху лил крупный прохладный дождь.

Туча, остудив жару, уходила за лес, и над семью реками, над сизыми полями и красными косогорами перекидывалась светлая радуга всем на радость.

Один только Егорий, стоя на каменном крыльце, в тоске думал, глядя вниз: «Все это мое; как смеют они веселиться, когда мне не весело! Пусть только ночь придет, я им помешаю».

Погрозив с горы, уходил Егорий в избу, садился у стола и думал о своей злобе, один в избе, да и во всем лесу нагорном, потому что никто больше не жил у князя ни за страх, ни за деньги.

Печь топил Егорий сам, таскал из лесу бурелом и варил котел с убоиной, которую приносил, как вор, ночью из долины.

За день накипала у Егория злоба; когда же солнце, садясь на покой за устья рек, пускало красный луч сквозь лесные стволы в узкое окно избы Егория, освещало железную рубашку на стене, железный колпак и ножик, вскакивал Егорий и кидался по избе — злоба подкатывала ему под горло.

И только высыпали звезды, снимал он со стены нож, точил его, надевал железную рубашку, острый колпак и в потемках сбегал с горы.

Внизу у бревенчатых изб скрипели ворота, принимая скот, в сенях старые люди отходили ко сну, а парни да девушки, не зная угомону, прохаживались под кудрявыми кленами, под рябиновыми кустами, иные убегали с глаз и падали со смехом в траву, иные бились на кулаках, а те, что приустали, слушали сказки и сказание про страшного Егория.

От сказания становилось всем боязно. Каждый думал про себя, что не загубит же его безвинно Егорий. За какую-нибудь вину да карает князь, ведь у волка и у того есть совесть.

А за кустами в это время, слушая сказателя, уже сидел Егорий.

Когда же умолкал сказатель, стихал страх, и девушки зачинали грустную песню о наливном яблоке, вставал из-за кустов Егорий, гремя железом, шагал по траве к осевшему в страхе народу и, схватив первого, убивал ножом.

Разбегался с криками народ: кто ползком, кто спотыкаясь, затворялся по избам, а Егорий шел к реке, мыл руки и, присев на берегу, вздыхал от жалости к самому себе.

Утолялась злоба пролитою кровью, и, вздыхая, крутил Егорий головой и думал, что некому его пожалеть.

Утром душа ясна у человека. Наутро вспоминал Егорий ночное убийство и роптал, что рабы опять, натолкнув его на такое дело, омрачили и этот новый день, заставили снова мучиться,— никак от мук не уйти, не отомстить мучителям, потому что уже отомщено, надобны новые жертвы; и Егорий распалялся злобой, выдумывал на народ небывалое, чтобы только оправдать себя, не в силах был оправдать и еще пуще заходился.

Все чаще, потом каждую ночь сходил Егорий с горы, и народ, наконец, смутился.

Порешил собраться в круг — рассудить дело.

Собрался народ со всех семи рек на зеленом лугу под радугой. Первым в круг вскочил парень, тряхнул кудрями и крикнул:

— Извести надо Егория, убить!

Старики, уперев бороды, подумали и молвили:

— В убийстве великий грех. Убьешь, так Егорьева же кровь и ляжет на нашу совесть.

Вышел рассудительный мужик и сказал:

— Мудрые речи лестно и послушать, но делу они не помогут, а пойти надо миром и огородить гору глубоким рвом и острым частоколом, запрем Егория, он и помрет сам по себе.

Порешили на том и пошли огораживать гору. Только женщина одна крикнула вдогонку:

— Егория-то пожалеть надо; не от легкого сердца душегубом стал.

Сказала и схоронилась за подруг, но на слова ее никто не обернулся.

Пока мужики городили, Егорий глядел с горы и молчал, потому что ничего ему нельзя было поделать против такого множества народа.

Гора была кремневая, лес наверху — пустой: зверь весь ушел оттуда, а птица осталась такая малая, что и стрелять-то в нее — стрелой не попадешь.

И с тех пор стал Егорий есть корни и мучился голодом, и пуще голода мучила его гордыня и гнев.

В потемки сходил он ко рву, переползал через ров и срывался с частокола. И, лежа, скрипел зубами и

думал — не напороться ли лучше самому на нож. Но и этого гордыня не допускала.

Зато в избе изрезал Егорий весь стол и лавку; когда же через окно залетала стрекоза или жук, давил насекомое и растирал ногой.

Весь высох Егорий без хорошей пищи, потемнел, и желчь уже заливала ему глаза. И вот одною ночью пришла туча от истоков рек, простерлась над долиной, покрыла гору и подняла невиданную грозу и ливень.

Егорий лежал на лавке, был слаб очень — есть хотелось.

Молчал и думал, потом среди шума грозы различил царапанье в дверь, словно зверь скребся лапой.

Послушал Егорий и отворил дверь.

И через порог вбежала большая серая волчица с красными глазами и тяжелым брюхом, на котором трепались сосцы.

Отпрянул Егорий, ухватив нож, а дверь бухнуло ветром и захлопнуло наглухо.

Волчица села у печи на зад и глазами без век глядела на Егория, а Егорий, наклонясь через стол, ждал, когда волчица отвернется, чтобы изловчиться и зверя умертвить.

Ветер принимался ревом реветь в трубу, волчица поднимала ушки и беспокоилась. Наконец, быстро завернув голову, лизнула себе сосцы.

Тогда прыгнул Егорий к ней из-за стола, подняв нож, но волчица встала на дыбы и подмяла его, а он, обхватив голову, лег ниц, чтобы уже не видеть гибели.

Но не стала волчица рвать Егорьево тело, а, повизгивая, отползла к печи, когда же он поднял голову, волчица щенилась, перебирая лапами.

Странно стало и дико на душе у Егория: не задрала его волчица, а без страха доверилась, забежав в избу от непогоды. Егорий наклонился над волчицей, она подняла морду и лизнула в руку.

Тогда пал он на лавку, лицом к стене, и стал плакать на голос и биться головой.

Волчица ощенила двух волчат, перегрызла им пуповины и лапами подбила слепых детей к сосцам, чтобы сосали молоко.

Живо зачмокали волчата, и теплое молоко полилось на каменный пол.

Егорий долго смотрел на волчат, потом подошел, прилег и губами осторожно взял волчью грудь.

Волчица и Егория подбила лапой и, разинув рот, высунула влажный язык.

«Унизиться более невозможно,— подумал Егорий,— убить надо ее и самому помереть».

И только подумал, как закинула волчица морду и облизнула Егорию лицо.

Вскочил он на ноги и, плечом распахнув набухшую дверь, выбежал на волю, где в темноте хлестал дождь и ветер рвал листья, качал дубы...

Когда после грозы настало утро, молочное и влажное, сошел Егорий вниз и, став у частокола, принялся кричать громким голосом.

Мимо частокола шла по сизой траве, босиком, женщина, услыхала голос, подошла ближе, поняла и сказала Егорию:

— Что кричишь, тошно стало?

— Тошно мне, проститься хочу,— ответил Егорий,— позови народ, выпусти меня, боюсь — помру, так навек на горе непрощеный и останусь.

Побежала женщина за народом, и повалил народ со всех семи рек, неся кто дубину, кто вилы, кто камень, чтобы оборониться, если выйдет какой обман.

Парни посмелее влезли на частокол и крикнули, что Егорий стоит без колпака, в мокрой одежде, а ножа при нем нет...

Пошумел народ, покричал и порешил кинуть веревку — перетащить Егория на свою сторону, а там что бог даст.

Так и сделали — переволокли, и, когда стал он по эту сторону частокола,— отшатнулся народ: страшен был Егорий — высок ростом и худ, черная борода свалена и по пояс, черные волосы бугром, а под косматыми бровями на длинном лице сухие, как уголь, пронзительные глаза.

— Грешен я,— сказал Егорий твердым голосом,— через злобу мою и через гордыню, хотел утопить ее в вашей крови и сам в ней захлебнулся. Спасения мне нет, коли вы меня не пожалеете, как меня зверь пожалел. А можно ли меня пожалеть — не знаю, трудно и помыслить об этом; а за все — простите меня покорно.

И Егорий поклонился народу в землю. Зашумел народ, задивился; кого страх взял, кто усмехнулся, кто не захотел поверить; только женщина, все та же, сказала, не стыдясь:

— Встань, милый человек, без жалости жить нельзя. Прости и ты меня.

— Верно, верно,— зашумел народ и, подойдя, поднял Егория. Когда он встал, лицо его было светлое и ужасное.

— Лучше бы вы убили меня,— сказал он,— вряд ли я смогу снести это.— И, не оглядываясь, пошел по берегу, через поляны и красные косогоры к синему лесу, в устья рек — туда, где одною ногой касалась земли ясная радуга, а другая нога радуги упиралась в огороженную частоколом крутую Егорьеву гору. И много всему этому дивился народ.

Шел долго Егорий, не день и не месяц, изнемогая от великой и радостной тяжести, которую на себя взял.

И вот в лесу нагнала его волчица с двумя волчонками и пошла сзади, по следам.

Однажды Егорий, утомясь, присел у корней дерева; остановилась и волчица неподалеку и стала лапами копать яму. Выкопала, отошла и завыла, подняв морду, она и волчата.

А Егорий усмехнулся весело, подошел к яме, лег в нее и преставился. И с тех пор, говорят, определено ему быть добрым пастырем волчьим.

ФАВН

Неожиданно, среди бабьего лета, из гавани двинулся туман молочною стеною на Петербург. Морские птицы появились на улицах. Над Исакием пролетело стадо лебедей, протяжно крича. Туман, сухой и желтый, перевалил через крыши, пополз вдоль улиц и закрыл город.

В полдень зажгли электрические фонари, и они засветились, как фосфорические яйца. С перекрестков не было видно домов, прохожие блуждали, как в пустыне, окруженные облаками. Из пустоты звякали подковы, осторожно проползали невидимые трамваи, все время звеня.

Странное время для мечтателей: как будто город опустился на дно и между людей замешались иные существа.

По восемнадцатой линии быстро шла девушка. Ее звали Маруся Молина. На ней была бархатная ловкая одежда, шляпа с красным бантом, надвинутая на один глаз, мохнатой муфтой она помахивала вдоль бедра и думала о приятных вещах. Приятно было то, что завтра на Невском в фотографической витрине появится ее портрет, и то, что вчера два гвардейца громко сказали ей вслед комплимент, обозвав чертенком, и многое другое еще не испытанное, наверное вплоть до газетной заметки о ее красоте. О клубах тумана, разрываемого ее

плечами, о желтоватом, призрачном свете не думала она совсем. Добежав до угла, она остановилась,— ничего не было видно, одни облака, ползущие по камням. Подняв юбку, она уже опустила маленькую ногу с панели, но тотчас приняла,— перед ней в тумане смутно обозначился человек, нагнувший голову.

Так они встретились. Маруся нахмурилась на случай, прикрыла муфтой подбородок и быстро прошла. Немного спустя она услышала фырканье за спиной, догоняющие шаги и подумала: «Готово, пристал!» На широком месте тротуара преследующий проскочил вперед, круто повернулся и, весь еще живой от ходьбы, стал, подняв брови, раскрыв синие веселые глаза, раздвинув большой рот. Голова у него была удивительная — крепкая, с выпуклым лбом (цилиндр торчал на макушке), щеки розовые, борода веником, кудрявая и русая, и весь он был коренастый, короткий, ловкий под клетчатым пальто.

Маша струсила немного и нахмурилась. На лице незнакомца, как в зеркале, отразились ее чувства, но в перевернутом виде: чем сильнее сдвигала она подведенные бровки, тем шире он ухмылялся. Словно солнце разорвало облако и тонким лучом оттуда скользнуло по его лицу улыбками и усмешками. Маша двинулась направо, он направо, она — налево, он растопырил руки и прыгнул влево, тогда она вскрикнула, повернулась и побежала назад. Вдоль панели ехал извозчик. Маша вскочила на него, погнала, ударяя муфтой и в страхе оборачиваясь. Сверху, с боков, отовсюду летел туман. Никто не гнался... Маша засмеялась и сказала извозчику адрес. Она уже больше чем на час опаздывала на свидание... И думая о том, кто в волнении дожидался ее так долго, брезгливо вытянула нижнюю губку и пожала плечами: эта последняя ее связь была совсем не шикарна.

Вдруг на щеке почувствовала Маша горячее дыхание, в испуге отстранилась — сзади, уцепясь за кузов, висел рыжий незнакомец, весело оскалясь, щеки его горели, как яблоки. Маша хотела закричать, а он зарылся губами в ее раскрытом рту, потом оторвался от кузова и пропал в тумане.

Маша не была коварна... Она все-таки зашла к тому, с кем связь ее не была шикарной. Он кинулся на нее еще в прихожей. Он был очень высок, в люстриновом, с форменными пуговицами, пиджаке, унылый и с большими усами. Схватив ее руки в холодные ладони, он стал жаловаться, как будто ожидание возлюбленной девушки, хотя и долгое, одно уже не было счастьем. Маша не сняла шляпы; войдя в коричневую столовую, она наклонилась над столом, где были сласти, фрукты и вино. Разбираясь в шоколадной коробке обтянутым лайкой пальцем, она объяснила, что не может остаться сегодня, очень испуганная нападением на улице. Она положила в рот виноградину и весело поглядела на чиновника: руки его были сложены у подбородка, ноги подгибались, и он стал умолять ее глухим, как из бочки, басом, причем кадык его двигался в разрезе воротника.

Потом он растворил дверь, указывая на мало соблазнительную спальную, и под конец стал на коленки, стукнув ими о паркет. Тогда Маша принялась смеяться, все громче и обиднее. Ей представилось — в какое бы пришел отчаяние чиновник, если бы веселый, здоровенный незнакомец при нем ее поцеловал. И она объяснила, что смеется над сегодняшней встречей. Чиновник же с негодованием рассказал, что этот рыжий незнакомец третий день смущает весь Петербург. Его встречали в центре и на окраинах, многие дамы жаловались в полицию,— говорят, что отдан приказ поймать его непременно, но он переезжает с квартиры на квартиру и неуловим. Совсем бы чиновнику не нужно было это рассказывать. Маша до слез теперь жалела, что упустила редкий и заманчивый случай познакомиться с таким опасным человеком. Она рассердилась, выбросила из муфты коробку конфет, сказала несколько неприятностей и ушла.

Взобравшись к себе на седьмой этаж, Маша сняла жакет и юбку, накинула фланелевый капот, зажгла в углу высокую лампу и, освещенная через красный абажур, легла на диванчик, облокотясь на голую руку. «Или человек замечательный, или никто»,— подумала

она, заканчивая этим досадливые мысли, вздохнула и раскрыла книгу декадентских стихов.

В это время в прихожей затрещал звонок, кто-то засмеялся отрывисто и хлопнул дверью. Потом в комнату вошла Машина мать, тяжело уселась и сказала, усмехаясь: «Новый жилец вернулся,— ну и скипидар, старуху не пропустит». Мамаша Молина сдавала комнаты жильцам, выбирала преимущественно холостых и одиноких, сама «билась из последнего», но дочь «наряжала, как куклу»; дочка же, ничего этого не ценя, «гнула свою линию», непонятную, путаную, «злодейскую». «Злодейка»,— думала она, глядя, как дочь, выставив из-под раздвинутого капота голую коленку, читает стихи. И потом спросила, куда она таскалась, у какого хахаля обивала юбки? Маша ответила на это, спокойно перевернув страницу, что не знает, откуда мать выкапывает такие мещанские выражения, что подобными выражениями она только портит ее карьеру и что другая бы дочь давно лежала на дне реки; она же вместо этого пойдет сейчас, вызовет к телефону какого-нибудь знаменитого поэта — вот этого, кого сейчас читает — и попросит сегодня же вечером увезти ее в Финляндию, в лес. Мамаша принялась обидно смеяться. А из соседней комнаты в замочную скважину глядел на Машу синий любопытный глаз. То новый жилец, переехавший нынче, пододвинул кресло и слушал весь разговор. Не стерпев ядовитого смеха, Маша вскочила проворно, выбежала в прихожую, отыскала по книжке номер знаменитого поэта и позвонила в телефон.

Произошел такой разговор: «Алло,— сказала Маша,— пожалуйста, к телефону Юрия Бледного (так звали поэта).— Это вы? Зачем вам мое имя? Я читаю вашу книгу; какой вы грустный! Ваши слова падают, как увядающие лепестки. Что? Красиво? Мерси. Нет, я сама это представила. Что? Моя наружность? Зачем? Да, я красивая. Тонкая. Глаза? Глаза большие, полузакрытые. Нос? Тоже красивый, с раздувающимися ноздрями. Что? Я лежу... на шелковой софе в подушках. Толстые ковры глушат шаги. Везде бархатные портьеры. У ног стоят белые туберозы, они опьяняюще пахнут. На губах таинственная улыбка... Да, да, я

одна... Зачем? Нет... Я совсем раздета, в комнате полумрак, на мне ничего нет, только на груди жемчуг... Да, грудь нежная, маленькая. Только рыжие косы раскинулись... Приезжайте, я жду вас... Хотите, поедем в Финляндию...»

Но мамаша не могла далее слушать; распахнув дверь, она крикнула на всю прихожую: «Шельма»,— и дочь, едва успев шепнуть адрес, положила трубку, подобрала капот и, проскользнув мимо матери, заперлась у себя.

Походив в волнении по комнате, Маша легла с ногами на диван, запахнулась поглубже и начала трусить. Мать колотила сначала в дверь, потом ушла на кухню, и оттуда слышно было, как она всхлипывала, жалуясь кухарке. «Конечно, не придет, и бояться нечего. А вдруг придет»,— думала Маша. И, прислушиваясь, различила за боковой дверью негромкое пение. От него забилось у Маши сердце:

Тепел, темен лес густой,
В нем бегут потоки,
Хочешь спи, а хочешь пой
Песенки далеки.
Ляг в траву, гляди в родник,
Иль в певучий дуй тростник,
Пой — приди, тоскую.
Нимфа белою рукой
Расплескает над тобой
Воду ключевую...

Чем дальше слушала Маша, тем непокорнее вздрагивало сердце и сжималось так, словно сочилось медом. Замолк за стеною голос, мамаша ушла спать, а она все еще представляла, как летают пчелы, шумят деревья над ключом, под ногой мнется мокрая трава. Подобного ничего не видала она в жизни, но тем чудеснее нравилось ей это представлять. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел человек. Он был в цилиндре, с русой бородой, суровый, застегнутый наглухо, тень падала ему на все лицо. «Вы меня звали,— сказал он,— я поэт». Маша не могла глядеть от стыда. «Я читала ваши стихи, и мне показалось на самом деле все это, о чем я вам говорила в телефон»,— проговорила она.

Он повертел серебряной палкой, потрогал в петлице гвоздику. «Что же, едем в Финляндию»,— сказал он насмешливо. Маша, повинуясь, как во сне, зашла за раскрытую дверь шкафа, поспешно надела юбку, шляпу и жакет, взяла сумочку с пудрой и, нагнув голову, проговорила: «Хорошо, поедемте. Только не шумите в прихожей».

Они осторожно вышли, сбежали с седьмого этажа, сели в огромный автомобиль, и он довез их к последнему поезду. Они вскочили в купе. Поезд отошел, и Маша в первый раз, в страхе и сомнении, взглянула на спутника.

Перед ней, сняв цилиндр, сидел давешний рыжий незнакомец и ухмылялся, показывая белые зубы. Маша вскрикнула, но осталась сидеть в углу у окна, глядя исподлобья. Незнакомец дотронулся до ее колена пальцем, затопал ногами и громко захохотал. Поезд несся в тумане через леса, свистел диким свистом, мимо окна проносились огни. Маша молчала от страха и чудесного волнения. Она все еще думала, что перед ней поэт. Незнакомец между смехом рассказывал о проведенных днях в Петербурге, куда любил приезжать со своей дачи в туманные дни. В окутанном облаками городе он искал приключений и каждый раз уезжал не один.

Проехали границу, поезд подошел к Келомякам. Незнакомец взял Машу за руку и вывел из вагона. Все небо было усыпано ясными холодными звездами; светился, как серебро, Млечный Путь. Лес стоял темной стеной, и земля пахла опавшими листьями. Незнакомец подсадил Машу на финского извозчика, и они поехали между деревьями. Финн посвистывал. Незнакомец бородой касался Машиной щеки. Въехали в бор, нельзя было различить руки. Финн сказал «тпру», остановился, и когда седоки сошли, поплелся обратно, хрустя в темноте песком. Незнакомец повернул на тропинку...

Скоро под ногами стал подаваться упругий торф. Незнакомец взял Машу на руки. Она закрыла глаза и, чувствуя его теплоту, прижалась, охватила руками за шею. Когда же он сказал: «Ну вот», она увидела на островке посреди болота освещенный звездами малень-

кий дом. На крылечке сидела человеческая фигура. Подойдя, Маша увидела, что сидящий совсем раздет, покрыт густою шерстью и с козлиными ногами. «Не бойся, он не тронет»,— сказал незнакомец и толкнул сидевшего в плечо, тот заржал и кинулся в кусты. «Я хочу домой»,— сказала Маша, закрыв глаза. Но незнакомец, подталкивая за плечи, ввел ее в домик и проговорил строго: «Не жмурься, погляди». Маша увидела небольшую синюю комнату, на потолке и стенах в разных местах висело множество золотых тарелочек... Две свечи горели на окошке, но оно было фальшивое — вместо стекол вставлены зеркала. Пол гладкий, эмалевый, на нем нарисованы цветы и бабочки, в углу был брошен ковер, который Маша приняла за кучу сухих и пестрых листьев. «Милая Маша,— сказал незнакомец,— ты не должна ничего бояться. Я не поэт Юрий Бледный, я царь фавнов. Если не веришь, посмотри». Он живо сбросил с себя одежду и показался первый раз в своем виде — весь покрытый рыжей курчавой шерстью, с лакированными копытами и золотыми рогами. «Ты мне очень понравилась,— продолжал он,— я сделаю тебя моей женой. В третьем часу взойдет луна, мы побежим на озеро. Ты тоже думала, как и все, что нас больше нет. Но мы хитрее людей, мы живем между вас, обманываем, завлекаем, и те, кто не хотят подчиниться нам, погибают. Сними одежду, причеши волосы покрасивее, побудь одна, я скоро вернусь... О чем бы ты ни подумала, чего бы ни захотела — все это можешь увидеть, глядя в золотые тарелочки... Но, помни, не подходи к окну, не глядись в зеркало...» Погрозив пальцем, он ушел... Маша в отчаянии всплеснула руками... Она слышала, как в темноте, за стеной, бегали по кустам незнакомцы, фыркали или вдруг стучали копытами по крыльцу... «Я погибла,— подумала Маша,— не нужны мне ваши тарелочки, ни о чем не хочу мечтать, я боюсь... И в зеркало погляжу непременно...» На цыпочках она вошла в свет двух свечей и взглянула... В зеркале увидела она себя, свою комнату, убогую и дешевую лампу, раскрытую книгу на кушетке; дверь... Но дверь вдруг стала приотворяться... Пролез в нее давешний незнакомец, нахмуренный и злой, подошел и

вдруг ладонями закрыл Маше глаза... Она, не противясь, запрокинула голову, ахнула и крепко сжала рот... Потом она услышала голос: «На этот раз я тебя пожалею, отпущу домой. Прощай». А дальше Маша не могла ничего припомнить. Когда она раскрыла глаза — в комнате было светло. Снизу, с улицы, громыхали ломовые. В прихожей мамаша Молина бранила нового жильца, который, не предупредив, исчез вместе с чемоданом рано поутру.

Маша так и не поняла — сон ли она видела, и если сон, то где он начинался? И всего больше удивлялась она тому, что во сне случилось с нею не бывающее в снах... И что случилось это — она была уверена, удивлялась и покачивала головой. Когда же настал опять туманный день, Маша заперлась на ключ, стала слушать шорохи, надеялась и трусила, как мышь.

ЛОГУТКА

Я помню ясно, хотя мне было семь лет в то время, как началась беда. Мать и отец стояли на балконе и серьезно глядели туда, где, обозначаясь на горизонте невысокими курганами, лежала степь с прямоугольниками хлебов.

За курганами на востоке стояла желтоватая мгла, не похожая ни на дым, ни на пыль.

Отец сказал: «Это — пыль из Азии», и мне стало страшно. Каждый день с этих пор мать и отец подолгу не уходили с балкона, и ежедневно мгла приближалась, становилась гуще, закрывала полнеба. Трудно было дышать, и солнце, едва поднявшись, уже висело над головой, красное, раскаленное.

Трава и посевы быстро сохли, в земле появились трещины, иссякающая вода по колодцам стала горько-соленой, и на курганах выступила соль.

Все, с чем я играл — деревья, заросли крапивы и лопухов, лужи с головастиками и тенистый пруд,— все высыхало теперь и горело. Мне было жутко и скучно...

В то время заехала к нам городская барышня погостить. Побежала в сад, увидела высокую копну, схватила меня и, так как я, присев, уперся, она упала в копну, предполагая, что это: «душистое сено, какая прелесть», и за воротник барышни, в уши, в волоса и

глаза набилось колючей пылью пересохшее до горечи сено.

Разговоры становились все тревожнее; у крыльца появлялись мужики без шапок. Матушка в это время ходила по комнате, заложив руки за спину, все думала и думала, поправляя пенсне на шнурочке.

Наконец окончилось это долгое, как горячка, лето, и поздней осенью однажды подали к обеду черные щи. Матушка сняла крышку с чугуна, взглянула на отца:

— Больше ничего не будет.

— Поешь этих щей и запомни,— сказал мне отец,— что твои товарищи — деревенские мальчишки — сейчас и этого не едят.

Мне стало жаль деревенских мальчиков, которые ничего не едят; отец же, катая хлебный шарик, дудел марш. Подудев, сказал:

— Но как помочь, не знаю.

Снег выпал поздно, потом растаял, и по вновь оголенной земле хватило гололедицей, погубив озимые. Но на льду пруда снег только подъело, он расплылся желтыми пятнами и подернулся коркой.

Я бегал по пруду, пуская стрелки и не видя против солнца, куда они упадут.

Запустив стрелу до плотины, я видел между ветел матушку; она шла в черной шубе и оренбургском платке, опустив голову.

Матушка очень задумалась, и мне стало жалко ее, такую родную и обыкновенную. Я окликнул. Матушка улыбнулась и протянула руку. Потом, взяв меня сзади за кушак, спросила рассеянно, по привычке:

— Ты о чем думал? — Потом: — Хочешь, пойдем со мной в деревню; помнишь Логутку, твоего товарища, он очень болен.

Мы взошли по застывшей дороге на изволок, откуда показалась растянутая по берегу реки деревня.

Серые избы стояли без крыш. Вместо них торчали трубы и стропила кое-где, словно после пожара; а позади на гумнах виднелись только плетни, канавы да голая ива.

У крайней избы стоял мужик, глядя на дорогу. Матушка его окликнула:

— Что, Николай, жива еще кобыла?

Мужик, держась за кушак, мотнул головой, повернулся и побрел на двор.

— Вон кобыла,— сказал он хриплым голосом и указал под навес, где, подтянутая на подпругах к перекладине, стояла каряя лошадь, опустив большую морду до копыт.

— Как-нибудь выживет,— сказала матушка.

— Куда она годна — падаль,— ответил мужик, — теперь я человек нерабочий,— и он опять заложил руки за кушак. Мы направились наискось через улицу.

Логуткина мать глядела через окошко; увидев нас, она сморщила высокий лоб, поправила повойник и отвернулась, но, когда мы вступили в темные сени, сама отворила дверь, сказала спокойно:

— Пожалуйте, барыня-ягодка,— и пропустила нас в холодную избу, где у печи я сейчас же заметил дохлого черного поросенка.

— Околел черненький,— сказала Логуткина мать,— а умный какой был, с нашей собакой в будке жил и на людей кидался.

— Ну, а Логутка? — строго спросила матушка и сейчас же прошла за перегородку, где на деревенской койке, под лоскутным одеялом, лежал, закрыв глаза, мальчик, с волосами белыми, как лен.

Волосы на виске были потемнее и мокрые, лицо, как у лисички, повернуто к плечу, рот раздвинут, на щеках — морщины...

— Плачет, все плачет он,— сказала Логуткина мать,— нелегко ему расставаться, а пузичко ничего не принимает, съест и все назад.

— Ты что же это — хворать выдумал? — спросила матушка, положив руку Логутке на темя.

Он пошевелил бровями и наклонил голову к другому плечу.

— Чаяла — подрастет, работать за меня будет,— сказала Логуткина мать,— а теперь вижу, пускай его бог приберет...

И обе они ушли за перегородку, потом совсем из избы.

Логутка перестал морщиться, открыл глаза, поглядел на меня и сказал:

— Поросенок у нас подох, а умел по-собачьему лаять.

Матушка и Логуткина мать скоро вернулись, ведя давешнего мужика. Он указал корявым пальцем на Логутку, спросил:

— Этого парнишку? — и поднял его вместе с одеялом на руки, а Логуткина мать вдруг зашептала:

— Ты не очень его ломай, он больненький.

— Не сломаем,— ответил мужик и пошел впереди нас из избы за ворота, через село к усадьбе, унося Логутку.

Логутку положили в гостиной и тотчас дали ему чаю. Выпив, он принялся стонать и стошнил все, что съел и выпил.

Матушка просила Логуткину мать остаться на кухне; она посидела у дверей, потом, как рассказывали, махнула рукой и ушла назад на деревню.

В столовой зажгли лампу; отец, примостясь с краю обеденного стола, щелкал счетами и водил пальцем по приходо-расходной книге. Матушка, отогнув скатерть, расставила аптечные пузырьки и терла мазь в ступке. Очищая фарфоровый пестик, она сказала:

— Но как же иначе? Логуткина мать, по-моему, душевно больна: я не представляю, как можно, даже в самых тяжелых условиях, желать смерти ребенка.

Отец остановил ноготь на книге, приподнял голову и произнес: «угу».

— Ты меня осуждаешь,— продолжала матушка,— но я и не думаю успокоиться на том, чтобы спасти одного крестьянского мальчика... Во-первых, надо же начать с чего-нибудь... И не всем дано вершить большие дела.

Отец опять защелкал костяшками, но уже без толку, потом, прищуря глаз, долго глядел на горелку лампы.

— Он все равно умрет. Твоя душевная сила расходуется даром. Я нахожу, что подобные поступки есть скрытое самолюбование, тот же эгоизм.

Так они поссорились. Отец сбегал в библиотеку, принес книги и читал из них опять про тот же, часто им упоминаемый, эгоизм; матушка тоже открывала книгу, но, не прочитав, клала ее на стол. Наконец она отвернулась и заплакала, отец потянулся, чтобы ее обнять, увидел меня в углу дивана и, удивясь, отослал в детскую.

По пути я заглянул в темную гостиную; месяц светил в окно, заливая пузырчатым светом штукатуренную стену и подушку, на которой, раскрыв глаза, лежал Логутка.

— Логутка,— окликнул я,— ты отчего не спишь?

Но он даже не моргнул. В каждом глазу его светилось по месяцу, нос был острый; я собрался окликнуть погромче, но подошла матушка и прошептала, прикрывая дверь:

— Не буди, он заснул.

Я вдруг проснулся, сел на кровати и стал глядеть на полуоткрытую дверь, которая вела в соседнюю с детской библиотеку: оттуда шел желтый свет, ложась на полу углом...

«Наверно, несчастие,— подумал я,— в библиотеке свет»,— и, потянув за собой вязаное одеяло, прокрался к двери и заглянул в узкую комнату с черными шкафами.

У окна, боком ко мне, перед конторкой стояла матушка, глядя на огонь лампы. Зубами она покусывала вставочку, улыбаясь, или вздыхала; потом, обмакнув перо, наклоняла голову и принималась писать.

— Мама, что ты делаешь? — спросил я шепотом.

Она сейчас же оглянулась, словно не видя, потом глаза ее стали ясными. Она подошла, взяла меня за плечи, закутала одеялом, посадила в кресло и сказала:

— Разве можно не спать по ночам? Сиди смирно, я тебе дам картинки,— раскрыла высокий шкаф, сунула мне неинтересную книжку без картинок и вернулась писать, повторяя: — А теперь не мешай, не мешай мне.

Я решил, что матушка пишет письмо отцу: они часто, поссорившись, писали так друг другу длинные письма. Вдруг она воскликнула каким-то странным голосом:

— Конечно, я заставлю его перед смертью сказать об этом,— и, перевернув страницы, она принялась читать вслух написанное.

Вначале было обо мне, как я бегал, краснощекий и здоровый, по пруду, потом как мы встретились с матушкой и пошли на деревню; прочла и про мужика и про черного поросенка, но больше всего про Логутку.

Но все это я уже знал, многое нашел пропущенным и, соскучась, уснул.

— И пузырь здесь, ну, ну, послушаем,— вдруг над самым ухом страшно громко воскликнул отец. Я изо всей силы раскрыл глаза и увидел его: он садился в кресло, поддерживая на себе ночное белье, чтобы оно не свалилось. Борода его, на две стороны, и волосы были растрепаны, лицо заспано, и он, протирая средним пальцем веки, продолжал:

— Это, пожалуй, тоже из области фантастического? Вдруг начать писать рассказ посреди ночи...

— Логутка, рассказ называется Логутка,— проговорила матушка взволнованным голосом, и полное, покрасневшее лицо ее так и осветилось.— Ты пойми — вот, наконец, то, чем я могу принести настоящую пользу. Этот рассказ прочтут все и почувствуют, как нужна помощь...

— Гм,— сказал отец,— впрочем, чего не бывает: читай, я слушаю,— и он подпер щеку.

Матушка нагнулась к свету лампы над конторкой, покраснела, украдкой взглянула на отца и начала читать.

Отец слушал сосредоточенно, сдвинув брови. Но я видел, что ему страшно хочется спать. Он вставал до света и суетился весь день. Постепенно брови его раздвигались: один раз он сразу их поднял и опять опустил, полузакрыв глаза; на скуле появилась выпуклость, словно катался во рту орех, а угол рта и ноздря натянулись... Вдруг он мотнул головой сверху вниз, испугался, сделал необыкновенно внимательные глаза, но,

когда я опять взглянул, он уже спокойно спал, опершись на ладонь.

Матушка читала, покачивая головой. Один раз у нее даже слезы появились, и голос стал глухим.

— Ну, вот и рассказ, только я не знаю — каким сделать конец,— и обернулась. Отец всхрапывал в кресле.

Матушка покашляла немного, развернула, свернула и вновь развернула листки и, взяв их за край, разорвала, затем скомкала и швырнула рукопись в угол...

Отец проснулся в испуге, но матушка, презрительно усмехнувшись, прошла мимо него прочь из библиотеки.

— Ну, вот мы с тобой и провинились,— сказал отец, разглаживая на конторке обрывки рукописи,— ну, ничего, я перепишу завтра, вот и все... А правда, хороший рассказ... Только, брат, когда встанешь до света, трудно после полуночи слушать рассказы.

Он запер в конторку рукопись, взял меня за руку, и мы пошли через коридор в спальню к матушке.

Около двери постояли; отец погрозил мне пальцем и постучался, но в спальне никого не оказалось...

Мы обошли залу, столовую, заглянули в чулан и под лестницу...

— Вот тоже голова с мозгами,— воскликнул отец,— мать же в гостиной у Логутки! — И когда мы осторожно туда заглянули — увидели матушку, стоящую перед диваном, в лунном свете.

— А мы пришли прощенья просить,— сказал отец, держа меня перед собой за плечи,— нам рассказ очень понравился.

— Тише,— прошептала матушка,— он умер.

БАРОН

1

Ветер разгулялся над Киевом; мокрые облака неслись по крышам, цеплялись за шумящие хлесткими ветвями тополя и, разорванные, скатывались с гор в мутный Днепр.

По взбаламученной реке гнало жгутами пену, у берега качались баржи, и с той стороны красный пароходик, пересекая течение, нырял и дымил, словно из последних сил.

И по всему Заднепровью — над полями, лесными кущами и зыбкими озерами — шли низкие облака, сваливаясь у края земли в тяжкие серые вороха.

Всего сильнее дул ветер на ротонду городского сада, сбивал с ног редких прохожих, лепил одежду, гнул шляпы, подхваченные рукой, раскачивал на высоких столбах фонари, а гимназисту, глядящему в бинокль, врезал в щеки резинку от картуза и, залетев в рукава, надул пальто горбом.

— Исторический ландшафт,— сказал гимназист и, спрятав бинокль, вынул из футляра фотографический аппарат и стал наводить.

В это время между его прищуренными глазами и ландшафтом прошел худой и высокий человек, одетый странно.

Длинные ноги его были обернуты онучами и обуты в поршни, зеленые штаны по коленям заплатаны; вер-

блюжья короткая куртка сидела коробом, до того была стара; на впалой груди перекрещивались ремни, держа за спиной ягдташ, патронную сумку, ружье и мешок; зябкие руки засунуты в карманы; плечи покатые, а на длинной шее сидела необычайно красивая голова — римская и спокойная, хотя на ней и был надет рыжий котелок с петушиным пером на затылке.

— Ах, чтоб тебя,— проворчал гимназист и, продолжая нажимать грушу, испортил исторический ландшафт, сняв на нем странную фигуру охотника, который, переваляcь через балюстраду, принялся спускаться по косогору вниз к реке.

Затем гимназист повернулся спиною к ветру и пошел из сада и в тот же день поехал далее.

Пленку же с изображением забавного человека проявил только через месяц, отпечатал и наклеил в альбом.

2

Ничего нет нуднее в деревне, как последний час перед ужином... Хозяйка, прислушиваясь к звону тарелок, вдруг перестает понимать гостя и, пробормотав что-то, уходит, вдалеке хлопнув дверью, откуда доносится кухонный запах. Гость не знает, что ожидает его, когда скажут «пожалуйте», и у него сосет... Ламп еще не зажигали; хозяин, сидя на стуле, спиной к окну, пробует и так и этак облегчить ожидание, выхваляя новую сеялку; собака под хозяйским стулом чешется; другой гость — помоложе, облокотясь о пианино, глядит на хозяйскую дочку, которая нажимает пальцем все одну клавишу; третий гость ходит вдоль стенки,— он уже и наговорился, и накурился, а теперь, переставляя ноги, думает: «Сеялки-то сеялками, а это что же, братец, ужинать не дают?» И, наконец, наступает молчание, которое должна использовать хозяйка, раскрыв двери и говоря: «Пожалуйте, чем бог послал...»

«Знаем мы, чем бог тебя посылает»,— подумает каждый из гостей и, хлопнув себя по коленкам, встанет и войдет в столовую...

Упусти эту минуту хозяйка, дай гостям переголодать — пропал и ужин и разговор за ним. Но в этот вечер вовремя были открыты двери, и гости, потеснясь, вовремя обсели стол.

Хозяин, Викентий Андреевич Бабычев — отец того гимназиста,— поместился в конце; два гостя с боков его, третий — помоложе, трогая усы, сел около хозяйской дочки, и остался седьмой пустой прибор, взглянув на который хозяйка приказала горничной: «Поди позови паныча». Так, с легким потиранием рук, начался ужин; пошли кругом соусники, судки и графинчики; от яркого света лампы белый стол словно ожил и все стало вкуснее, и, наконец, явился гимназист, сунул под себя альбом с фотографиями и поморщился на свет...

— Ну что, окончил наклеивать? — спросила его сестра.— Фу, хоть бы ты вымыл руки.

— Окончил, да не покажу,— ответил гимназист,— это гидрохинон, не отмывается...

— Он у нас отлично учится,— молвила хозяйка.

— И, знаете, прекрасный фотограф! — воскликнул хозяин.

Гости подивились; гимназист, не обращая внимания, продолжал есть, сидя на альбоме, и ужин сделался еще более приятным оттого, что за спиной хозяина запылали дрова в очаге, осветив штукатуренные стены и потолок...

От еды, вина и тепла гости в конце ужина сидели уже боком — время для рассказывания занимательных историй; но все знали друг друга наизусть, и хозяйская дочка чувствовала уже некоторое свинство, поэтому, бросив катышком в брата, она сказала:

— Покажи альбом, не съедим же мы его, право.

— Вот, вот,— воскликнул Бабычев,— давай, давай его сюда, поросенок!

И альбом с фотографиями пошел по рукам...

Один гость говорил:

— Приятно, знаете ли, потом будет посмотреть.

Другой только удерживал зевоту; а Бабычев надел очки и, хваля все подряд, вдруг отнес альбом на вытянутой руке, вгляделся и, ударив по столу, воскликнул:

— Что за черт! Господа, ведь это барон, честное слово,— что, я слепой? Каким же он чертом сюда попал?.. Ведь я думал, его и в живых-то нет!..

И Бабычев, радуясь случаю, отодвинул стул и принялся рассказывать.

3

— Извольте посмотреть на фигуру — длинный, как жердь, худущий, а курточку эту на нем я знаю уж пятнадцать лет; в ней пять карманов: два для дроби, один для пыжей, четвертый для пистонов, а в этом записная книжка,— что в ней написано, никто не читал, но, должно быть, очень интересное... Появилась фигура эта в наших местах давно, и сразу прозвали его «бароном», потому что происхождения был немецкого, но из каких мест — неизвестно.

Встретились мы в первый раз поздней осенью на облаве у деда моего в лесу. Вижу, сидит на пеньке — и улыбается. Спрашиваю: «Кто таков?» Да так, говорят, ничего себе, но беден, околачивается по помещикам; должно быть, вроде шута горохового, хотя к благородной охоте имеет страсть.

И действительно, в тот же день он себя и проявил. Позвал дед мой всех после облавы на ужин (а дед был нрава тяжкого, на руку цепкий и озорник великий). И не успели гости перепиться хорошенько, дед подмигнул кое-кому и кричит через стол барону:

— Ваше сиятельство, хотя вы иностранец, а русских обычаев не знать стыдно.

Барон как сидел — жердью на конце стола, так и вытянулся,— покраснел. А дед опять свое:

— Становись, становись к стене, мы тебя потчевать хотим.

Барон вскочил, извинился и стал к стенке. Дед налил бокал крепкой перцовки, пригубил и подносит со словами: не обессудь, мол, пей до дна, да, смотри, не обойди кого — обидишь... Барон с готовностью выпил,— и дышать не может, а гости каждый к нему со своим стаканом.

— Хорошо, хорошо,— говорит барон,— у всех

выпью, постараюсь, мне очень нравится русское гостеприимство.

И только улыбается. Потом его замертво унесли в контору.

Всем эта забава понравилась, и стали барона приглашать нарасхват... Барон ни от чего не отказывался,— а штуки удумывались над ним зверские; не видел он, что ли, что над ним смеются, или из подлости, уж не знаю,— как блаженный — все терпел.

Однажды я ему удружил — побился, что не съест он корыто раков...

— Может быть, вам не особенно хочется спорить?— спросил он только.

— Что вы,— говорю,— я на это и гостей позвал.

Усадили мы его в дверях, на сквозняке, принесли ломоть хлеба с горчицей и перцем и полное корыто раков,— и действительно, я вам доложу, посмеялись. Хотя потом в больнице его на свой счет лечил.

С дамами он особенно стеснялся — и роста своего и куртки,— сидит, бывало, одну ногу об другую закрутит и обе под стул, руки вытянет на коленку, голову склонит и, что бы дамы наши ни сказали, со всем согласится,— только не сразу, чтобы не было очень заметно.

И выдумали дамы его женить. Барон, конечно: «Сам, говорит, давно хотел бы, только нельзя ли невесту до свадьбы посмотреть».

Привели ему девицу из деревни, урода невероятного, в перья какие-то одели; за животы прямо все хватаются. А барон вот тут как раз стоял у камина, красный весь, а кланяется и улыбается и девке этой руку поцеловал. А потом исчез и провалился, как в колодезь.

Нашли его только осенью у лесных сторожей. Обрадовались все страшно и по-настоящему даже надругиваться не захотели,— а барон прощенья у всех просит, чуть не плачет, говорит: «Ночи не спал, все думал — какой я неблагодарный».

В то время гостил у меня двоюродный брат — Володя, человек с оригинальными понятиями и ненавистник всяких инородцев.

Привели мы к нему барона, смеемся, вспоминаем про потешные выдумки; барон сам даже наклепал на себя, чтобы смешнее показаться; и смотрю, Володя мой хмурится... Потом отвел меня и говорит:

— Как вам не стыдно шутовством заниматься; этот господинчик дрянь природная, он еще вам покажет, гони его в шею.

Удивился я, неприятно стало, а все-таки начал за бароном приглядывать... Подошла зима, и прогнать его было никак невозможно... Барон, должно быть, заметил косые взгляды и стал с Володей особенно вежлив. Ружье ему чистил, собаку научил умирать и лаять, когда скажут: «волк», а больше грустил, сидя у себя в комнатешке под лестницей.

И вскоре — действительно — проявил себя,— удивил всех невероятно.

Собрались, как обычно, к деду моему по первой пороше на облаву помещики... И, разумеется, еще до леса не доехали — все уж были с мухой; барону достался номер соседний с братом; зверь пошел густо; стрелки разгорячились и палили и в пеньки и в облазчиков; один барон стрелял не торопясь и без промаха, а когда прямо на его номер вымахнула чернобурая, бросил в нее шапкой, чтобы она к брату повернула, на что Володя, пропуделяв, обозлился ужасно.

Надо вам сказать, что с боков охотницкой линии протягивают веревку с цветными флажками,— зверь никогда не побежит через флаг. Вот перед третьим загоном, когда мы прилегли на снегу, раскупоривая шипучку, барон встал и говорит:

— Извините меня, господа, пожалуйста, я бы имел нескромность посоветовать протянуть еще линию флажков позади охотников, потому что в третьем загоне у нас чернобурая лиса.

Дед мой как захохочет и на Володю пальцем указал, а брат загорелся, вижу, и сощурил глаза...

— Ах, барон, барон,— говорит дед,— недаром ты обезьяну выдумал, иди протягивай флажки.

Барон живо отошел, и, когда был уже на сорока шагах, Володя закричал ему:

— Эй вы, немец, повернитесь, я в вас стрелять буду... Терпеть не могу вашего племени.

Барон, как на шарнире, повернулся, отвечает:

— Хорошо, стреляйте,— и наморщил нос.

И не успели мы рта раскрыть, брат лег и с локтя выстрелил из обоих стволов ему по ногам. Барона как ветром отдунуло. Но устоял на ногах, подошел, взял свое ружье, взвел курки (челюсть трясется, а глаза спокойные, только будто замороженные) и спрашивает:

— Вы это нарочно сделали или нечаянно?

— Нарочно, разумеется,— отвечает брат...

— Вы честный человек, иначе я бы в вас стрелял,— сказал барон, сел у дерева и руками снег схватил. Брат в тот же день уехал, а я дал барону денег и отправил в Киев, с глаз долой... С тех пор он и скрылся.

Прошло три года; сижу я как-то в городском саду в Киеве, от скуки в газете объявления просматриваю, вдруг читаю: «Сливочное масло по нормальным ценам; купивший три фунта получает в премию дикую утку или пару чирков. Продажа с воза».

«Что,— думаю,— за ерунда,— дикие утки, уж не барон ли это». Взял извозчика, еду на Подол, вижу на базаре воз, на возу барон торчит, а кругом народу видимо-невидимо, и все смеются.

Ужасно я обрадовался, протолкался; барон увидел меня, покраснел и снял шляпу, а я его обнял...

— Ты это что? — спрашиваю...

А он мне:

— Представьте, какая жалость,—масла не хватило, а уток еще целый воз.

— Пускай,— говорю,— уток по пятаку.

— Извините,— отвечает,— я не барышник.— Встал на телегу и кричит: — Господа, берите уток так, а через неделю придете за маслом.

Сейчас же птицу у него расхватали. Завезли мы воза в подворье и пешком пошли неподалеку к барону...

Снимал он в деревянном домике три комнатки. В первой охотничий кабинет, вторая пустая — для приезжих, а в третьей на цепи сидела обезьяна.

— Это,— спрашиваю,— зачем тебе?

— Она мой друг,— отвечает барон,— она одинокая, и я тоже, вот и живем,— и протянул обезьяне руку...

— Хорош,— говорю,— друг.

— Она малокультурная, игры у нее злые, а любит меня страшно...

— Однако пойдем,— говорю,— воняет.

Сели мы в кабинете, и барон рассказал, что получил из Германии в наследство шесть тысяч рублей. Прожить их просто — неловко, они трудом добыты, вот он и придумал торговать с премией. Неделю охотится в болотах, а по воскресеньям торгует... очень хорошо, хотя прибыли еще не получал.

— А зимой как? — спрашиваю.

— Зимой зайцев буду в премию давать...

Подивился я и говорю:

— Что же, приедешь к нам?

Забегал барон глазами:

— Вот-вот, непременно приехать надо. Только мне кажется, что я не всем приятен... Меня жалели, но не особенно любили. Я хочу немного один пожить... За эти три года было трудно, пришлось ружье продать.

Барон огорчился, вспомнив про ружье, и я растрогался.

— И не думай,— говорю,— рассержусь, если не приедешь. Да скажи-ка мне вот что — откуда ты, зачем к нам попал?

Заходил барон, как журавль, остановился у окна и головой мотает.

— Не нужно,— говорит,— об этом спрашивать, лучше я подарю вам что-нибудь на память — хотите обезьяну...

С тех пор я барона больше не встречал, десять лет прошло. Плохого мы от него не видали, хоть и шут он, правда, и покушать любит на чужой счет...

Тут Бабычев, увидя, что сказал лишнее, остановился.

— В том смысле я говорю,— поправился он,— что другой на его месте за работу какую взялся бы, а не жил, как птица... А ты возьми побарабань марш какой или попурри. Сама знаешь. А мы покурим.

Слова эти относились к дочке, которая мило улыбнулась, не сразу поняв. А гимназист вдруг сказал басом:

— Папа, я не знал, что это барон: утром какой-то человек пришел по дождю и попросился на сеновал, я отвел его... Может, сбегать позвать?

— Вот так сюрприз, не может быть,— воскликнул Бабычев, оглядывая гостей,— смотри, поросенок, если ты выдумал; господа, что если он, вот посмеемся...

4

Бабычев вернулся почти тотчас... На вопросы: «Ну что?» — не ответил, взял со стола салфетку, завязал ее узлом, сунул в карман, долго глядел себе под ноги и сказал, наконец, пересохшим голосом:

— Господа, барон-то ведь помер; пока мы тут того... он и помер.

Гости присмирели; когда же хозяйка, встав, громко ахнула, все засуетились и пошли через мокрый двор по осеннему дождю к сеновалу...

У лестницы, переговариваясь, уже собралась дворня. Бабычев, обругав всех дурнями, полез первый, размахивая фонарем...

— Да где же он тут? — крикнул он сверху.

Под двускатной крышей, на перекладинах, пробудились голуби... Мышь пробежала у ног Бабычева, и, поведя фонарем, он увидел у вороха сена поднятые острые коленки... Подошли и гости и двое рабочих и, опустив железные фонари, наклонились над бароном. Левая рука его, согнутая в локте, лежала на глазах, словно свет его ослепил и он закрылся. Ноги разуты и в грязи, и правый кулак, с пучком зажатого сена, торчал кверху, неестественно и нехорошо...

— Обирал себя, катался, как помереть,— сказал рабочий,— то-то мы слышим в конюшне — скулит и скулит...

— Ладно тебе,— тонким голосом воскликнул Бабычев,— несите его вниз, да осторожнее...

И когда барона снесли вниз, рабочий подал Бабычеву записную книжку, выкатившуюся из баронского кармана.

Схваченная накрест двумя резинками, записная книжка, несмотря на то, что барон таскал ее пятнадцать лет, оказалась совсем пустой. Только на первой странице была свежая надпись:

«Боже мой, долго ли ты будешь испытывать меня; жизнь вот уже прошла, а я все один... Ты дал любовь, укажи к ней путь... Ты дал мне жену, а я убил ее, любя безрассудно. Неужто до конца мне быть странником в чужой земле?»

ОВРАЖКИ

1

На степном хуторе, за семью оврагами, сидит помещик Давыд Давыдыч Завалишин.

Глубокие овраги между хутором и селом налились водой и набухли, на трухлявом льду сдвинулись зимние дороги, оголились невысокие курганы по сторонам; поднялись на них прошлогодние косматые репейники, и ветер, студеный еще на полях, зашумел голыми ветлами.

Все ждали — вот-вот тронутся воды: хуторяне вскакивали среди ночи, с фонарем бежали на плотину глядеть — не прорвало ли; на постоялых дворах третий день томились проезжие, поглядывая из окна на опасное половодье; не ходила почта; не скакали по местным делам власти. И только Давыду Давыдычу было все равно.

Он успел уже и пополдничать и попить чаю и сейчас, распустив поясок на чесучовой рубашке, лежит на кожаном диване, против окна.

В соседней комнате выставлена рама; слышно, как стонет курица на солнцепеке и вот-вот налаживается стонать, но подходит петух, и она вскрикивает не своим голосом. Потом звонко ржет жеребенок на калде. Вдоль двора несутся голоса стряпухи и веселого кучера, и когда смолкают, сонный пес принимается колотить хвостом о собачью будку. Прыгают, чирикают, возятся, как

пьяные, воробьи; закрыв глаза, урчат медовыми голосами голуби; а Давыд Давыдыч прикрыл подушечкой ухо, норовя заснуть...

Но заснуть ему было трудно и даже невозможно: и грело солнце, лежащее на скобленом полу, и пахли смолой новые стены, и в свету, между полом и окном, звеня, крутилась муха, и, главное, все, что происходило в комнате и на воле, было само по себе, а он был сам по себе. Муха села ему на нос. Давыд Давыдыч сморщился, дунул на нее, обиделся и ловко поймал муху, зажужжавшую в кулаке.

— Вот я тебя курице отдам,— сказал Давыд Давыдыч, нехотя слез с дивана, прошел в соседнюю комнату и, перегнувшись в открытое окно, позвал курицу. Степенно на зов подошла белая брамапутра, любимица, и, наклонив головку, поглядела красным глазом.

— Вот, клюнь,— сказал Давыд Давыдыч, поднося мушку, но курица отдернула голову, и муха улетела. На солнцепеке было совсем тепло и пахло землей. Но, отступя три шага, еще лежал грязной коркой снег, и чем дальше, тем был он белее, и, поднимая глаза, увидел Давыд Давыдыч свой, еще под снегом, пар, курганы с репейниками, лиловую полосу дубравы и за ней скромную белую церковь со светлым крестом.

Давыд Давыдыч так и остался лежать животом на окошке, наморщив лоб, сдвинув концы приподнятых бровей. Крупный прямой нос его покраснел немного, курчавая светлая бородка и небольшие усы прикрывали рот, сжатый в скорбную гримасу.

2

Три эти дня перед половодьем, когда на развалинах недавно еще крепкой зимы все, встряхиваясь, напрягло земляные силы, чтобы раскрыться, зашуметь, заголосить,— были для Давыда Давыдыча тяжким бременем.

Ему шел тридцатый год. В этом январе он разошелся с женой и, после многих лет, вернулся опять в небольшое свое родовое имение, где сад был порублен, старый дом сгорел и все, что он помнил и любил, даже

то, чем он мог, не задумываясь, жить, оказалось словно вырубленным и сожженным.

Сгоревший дом, где родился Завалишин, был очень большой и такой путаный, что можно было постоянно открывать в нем новые комнаты и закоулки.

Сложным, темным и таинственным был и сад, где яблони жались только около балкона, отодвинутые отовсюду зарослями акаций, черемухи, сирени и черной ольхи, под горой, у пруда, день и ночь шумели вековые осокори, по их дуплам жили белки и совы, и множество птиц куковало, пело и посвистывало в листве, а по ночам летали мыши и верещали жабы. На полянах же и дальних аллеях росла высокая, густая трава.

Когда Давыду Давыдычу не хватало еще до аршина росту, все помыслы его были заняты этой буйно растущей травой. Тюльпаны, чернобыльник, белая и желтая кашка, метелки и пупочки, могучие репейники и дудки, обвитые повиликой, качались и цвели повыше его головы; над ней же толклись неуловимые мошки и бабочки и гудели зловещие насекомые. Живя и вырастая с травой, Давыд Давыдыч научился многим ухваткам — подкрадываться и ловить, уклоняться от нападения, прятаться или бежать, нагнувшись, в зеленой глубине.

Когда же он стал опытнее и повыше, трава оказалась травой, и в ней никто, кроме жуков и ежей, и не жил. К этому времени открыл он длинную и полутемную комнату, уставленную черными шкафами. Здесь были книги, мыши и запах мудрой плесени. Давыд Давыдыч садился в глубь дивана и читал приключения. Он полюбил веселый нрав зверей, птиц и всей живой твари, траву же стал считать враждебной и сражался с ней деревянным мечом. Лазил на осокори, обшаривал гнезда, стрелял из лука и бил головастиков гарпуном.

Но с каждым летом Давыд Давыдыч все больше убеждался, что в саду нет ничего необыкновенного, сколько ни открывай и ни обшаривай темных углов. И почувствовал скуку, словно впереди ожидались таинственные события, а сейчас только было томительно, некуда себя ткнуть.

Впоследствии все чаще стало повторяться у него такое ожидание необыкновенного и таинственного, и

каждый раз он думал, что настоящая жизнь тосклива, испытана и понятна. Тогда же это ожидание совпало с семейным несчастием. Отец Давыда Давыдыча часто уезжал (матушка тогда бывала особенно грустной), когда же возвращался, то ходил мрачный, и Давыд Давыдыч иногда среди ночи просыпался от гневного его крика снизу, из спальни, и, проснувшись, плакал в своей постели. Но наутро матушка была, как всегда, бледная и печальная; отец же, едва сдерживая гневный блеск черных глаз, привлекал сына и рассеянно гладил его по голове до тех пор, пока Давыду Давыдычу не становилось скучно и больно. Иногда матушка стремительно прибегала в сад и, словно сын ее спасся от несчастья, прижимала и целовала его, но Давыд Давыдыч не понимал и этих ласк.

Однажды отец вернулся из города вместе с маленькой черной и надушенной дамой, и матушка стала вдруг необыкновенно оживленна — смеялась, ездила верхом, пела и гуляла с приезжей. Но вскоре Давыд Давыдыч набежал в саду на отца, который стоял за толстым деревом, втянув голову в плечи и держа в руке револьвер; издалека же по аллее неспешно шла матушка в белой шали. Давыд Давыдыч тронул отца за локоть, отец выронил револьвер, закрыл глаза и страшно закричал... В ту же ночь матушка разбудила Давыда Давыдыча, вывела на черный двор, посадила в тарантас, и они ехали до рассвета, пока на краю степи, за осенним туманом, не увидели главы церквей, водопроводную башню и дома губернского города.

Всю зиму Давыд Давыдыч, утруждаемый грамматиками и законом божиим, читал Тургенева, потом Гоголя. Весною сдал экзамены на круглое два, но зато понял, какие еще таинственные встречи ждут его в старом доме и в саду.

На Фоминой в номер, где они жили, вошел отец, очень похудевший, но ласковый, поговорил с матушкой, посидел на диване, закрыв лицо рукой, и увез сына в деревню. Черная маленькая дама там больше не жила.

Но недолго веселился Давыд Давыдыч. Сад и дом опять опутали его новыми чарами. Пробираясь в темные кущи за прудом, заглядывая за необхватные осо-

кори, раздвигая кусты куртин, где гнили скамейки и столы на одной ноге, поднимаясь вверх, в нежилые и пыльные комнаты, рассматривая сквозь цветные стекла дверей колонны заколоченной залы,— повсюду боялся он встретить кого-то и бродил и томился, ожидая встречи. Он похудел и вытянулся; на узком лице легли круги под глазами, он прятался, заслышав голос отца; на вопрос — о ком скучает — краснел, и сад уже казался ему совсем волшебным, потому что в нем жило и пряталось *оно*. *Оно* могло оказаться девушкой, как у Тургенева, и загорелой хохлушкой в маковом венке, и ведьмой с голыми ногами, и даже русалкой.

Сидя на выгнутой коленом над водой березе, подолгу глядел Давыд Давыдыч в пруд, на листья купавы, на отраженные камыши, на глубокую зеленую тихую воду, и ждал, когда же из глубины, плавно поводя руками, выплывет под самые березовые корни опасная русалка.

Оно появилось после полудня, в июне, в малиннике. *Оно* оказалось худенькой девочкой в синей кофте, босой, простоволосой, со смешным лицом и большими глазами. Давыд Давыдыч огорчился, увидев, что *оно* такое смешное, но подошел все-таки, поглядел исподлобья и спросил:

— Что ты тут делаешь?

Девочка усмехнулась, посмотрела и быстро убежала, махнув черной косой.

Давыд Давыдыч стал приходить каждый день в малинник и опять встретил ее, уже с кошевочкой. Он сам нарвал ей малины, они сели в траву, и он спросил — как ее зовут. Девочка покачала головой и подняла к небу синие глаза, в них сейчас же отразились два облака.

— Ты, может быть, в пруду живешь?

— Нет,— ответила девочка,— я живу у моей маменьки, вдовой попадьи, зовут меня Оленька.

Когда кончилась малина, Давыд Давыдыч показал девочке весь сад, потом повел в библиотеку, где вслух принялся читать любимые повести.

Девочка сначала только смеялась, потом начала понимать и внимательно слушала и однажды даже запла-

кала горько над трогательным описанием малютки, заблудившейся в снежную ночь.

Давыд Давыдыч, увидев слезы, тут же поклялся, что сам никогда не доведет ее до подобного горя.

— Поцелуй крест,— сказала девочка и расстегнула фарфоровую пуговку, высвободив на худенькой груди медный крестик...

Давыд Давыдыч поцеловал его, поглядел на серьезную девочку, она тоже поглядела, оба они покраснели, и Давыд Давыдыч сказал:

— Что ты красная какая, как кучер...

Девочка после этого не приходила, и он, поджидая ее, залез на дерево, откуда видна поросшая гусиным щавелем дорога, дубрава вдали и церковь за ней. На дереве он сочинил свои первые стихи, которые начинались так:

Вот по дороге, с сумой и клюкой,
Шел нищий убогий, хромой и слепой.
Навстречу природа попалась ему,
И нищий молил, поднимая суму...

Неожиданно отец вернулся из города с матушкой, и они, смирные, ходили по аллеям, заложив руки, и сидели на балконе в сумерках.

— Ну, что же, не удалась жизнь — начнем другую,— негромко повторял отец.

Давыд Давыдыч очень обрадовался матери и тому, что больше его не ласкали, как пропащего, но по ночам стали донимать его сны, полные стуков, шорохов и беготни, которую, просыпаясь, он слышал и наяву, думая, что не затевает ли какой беды старая крыса.

В доме издавна жила седая крыса величиной с кошку; ее не могли ни убить, ни извести ядом — до того была умна и зла. По вечерам влезала она на стул, глядя, как едят, когда подходили — свистела и прыгала высоко и недавно укусила за голову пьяного повара.

Вскоре матушка велела затопить с зимы еще не чищенный камин и села с отцом около огня, в креслах...

Отец глядел на матушку, и поднятые брови его сдвигались; из-под ресниц матушки капали слезы.

Вдруг с треском разлетелись головешки, и из огня, вся в пламени, выскочила крыса и пропала в дальнем углу.

Отец бегал с каминными щипцами по дому, а матушка, схватившая сына, долго не могла успокоиться.

Наконец Давыда Давыдыча увели наверх, раздели, долго крестили и велели спать. Но не успел он, казалось, закрыть глаз, как в комнату вбежала горящая крыса, покрутилась на паркете и принялась подскакивать все выше и выше — до потолка. И вдруг, доскочив, забегала по потолку кругами, обскакала стены и наконец, жалобно запищав, стала отряхивать с себя угольки и язычки пламени, которые наполнили комнату розовым светом.

«Горим»,— наконец проговорили, точно издалека. Давыд Давыдыч сел на кровати и позвал мать. В доме было тихо и темно. Только где-то похрустывало и потрескивало.

Давыд Давыдыч закутался с головой и накрылся подушкой, а снизу опять, точно не по-человечески, закричали пронзительно: «Горим!» Тогда Давыд Давыдыч соскочил и распахнул дверь. Яркий, красный, радостный огонь кинулся на него зыбкими язычками, бушуя по винтовой лестнице, как в трубе.

Давыд Давыдыч захлопнул дверь и стал слушать, и среди треска и шума различил голоса отца и матери: «Давыд, Давыд...» Тогда он побежал к окну, уцепился за ветку липы, выполз и вместе с хрустнувшими сучьями упал в траву.

— Спасибо, трава, я тебе этого не забуду,— сам не зная зачем, проговорил он и стал глядеть, как из нижних и наполовину верхних окон льется свет; в комнатах не зажжены ни лампы, ни свечи, но ясно в них от света, портьеры шевелятся, и по обоям пробегают язычки...

«Это крыса там бегает»,— подумал Давыд Давыдыч и побежал по мокрой траве, пока не остановился у пруда... Из-за вершин деревьев, заслоняющих дом, шел теперь густой, черный, словно с кровью, дым; по-

том он посветлел, и запрыгала, затанцевала над вершинами огненная корона.

«Это крысиный царь поднимается»,— подумал Давыд Давыдыч. А языки на короне взмахивали все выше и слились в один, завернутый наверху, откуда посыпались искры. Черные, как смола, тени легли на траву, до самого пруда; вода стала живой и зыбкой, и стволы берез с одной стороны покраснели. Сверху же, с высоты, маленькие птички, сложив крылья, падали в огонь.

Утром стало обыкновенно в саду, только по кустам и над травой лежала грязь. Осторожно раздвинув ветви, появилась невдалеке Оленька, подбежала к Давыду Давыдычу, взяла за руку, сказала:

— Я говорила им, что ты здесь,— и увела из сада на двор. У конюшни, покрытые занавеской, лежали на траве две фигуры.— Стань на колени, помолись за папу и маму,— сказала Оленька.

Давыда Давыдыча взяла к себе петербургская тетка. Он прохворал у нее почти всю зиму, к весне же вытянулся, заговорил петушиным голосом и, казалось, совсем забыл и отца, и мать, и Оленьку, и свои клятвы. Затем пошли долгие годы учения: они вылепили при помощи установленных средств обыкновенного, установленного образца, молодого человека и выпустили жить.

Окончив юристом, Давыд Давыдыч принялся думать, куда себя приноровить, и, ничего не удумав и не разрешив, уехал в родной город: все-таки это был город знакомый.

Здесь он заметил, что точно так же, не думая и ничего не решая, живут почти все, предаваясь по мере сил всевозможным удовольствиям.

Давыда Давыдыча приняли как своего и очень легко, прямо в лоно удовольствий. Он устроился при суде; снял квартиру, соблазнил жену следователя и решил, что сам он милый, приятный и опасный для мужей человек. Весною он съездил в Завалишино. Богатое когда-то именье было разорено опекой. Рядом с пепелищем стоял новый флигель; на заросшем дворе гулял древний мерин, свидетель прошлого, весь в укусах и шишках;

опустели хозяйственные постройки, разрушались медленно, сад поредел, и Давыд Давыдыч от забытых, смутных, таинственных воспоминаний поспешил уехать обратно, не взяв даже отчета у приказчика.

На следующую зиму его уговорили жениться на Анне Ивановне — богатейшей купчихе. Дворяне в уезде обезземелили, и в предводители никто не шел. Анна Ивановна была воспитана в Париже, имела обстановку в стиле ампир и желала заказать приданое с дворянским гербом. Вообще не было причин не жениться. Перед свадьбой Давыду Давыдычу посоветовали привести в порядок бумаги, и он опять поехал в Завалишино.

Стояла весна. Пело множество птиц, и от земли шел густой запах. Увидев издалека осокори на своем пруду, Давыд Давыдыч велел поворотить, не проезжая хутора, прямо к селу и остановился у церковной ограды. Сквозная ограда, выложенная так, что между кирпичами образовались кресты, была выкрашена в белое. За ней росла, перекидывая ветви наружу, белая сирень. Проходя влажной дорожкой, Давыд Давыдыч увидел под сиренью на скамье девушку в белом платье, которая глядела на подходящего странно и пристально. Давыд Давыдыч поклонился, спросив, где можно найти священника. Девушка встала, оправила юбку и молвила:

— Старый батюшка умер, а новый приедет из города завтра, я его невеста...

— Вот досада,— сказал Давыд Давыдыч и объяснил, что приехал выправить метрику, и назвал себя.

— Я знаю, я вас узнала,— сказала девушка,— а вы не узнали; я — Ольга, вдовой попадьи дочь...

— Не может быть, позвольте вы — та самая... помните...

— Да, помню,— ответила Оленька.— А вы зайдите к псаломщику, у него церковные книги,— и она, быстро ступая, прямая и легкая, прошла впереди Давыда Давыдыча в церковь и, пока он рылся в книгах, стояла в стороне; он оглядывался, улыбаясь, она не отвечала на улыбку, и когда, уходя, он взял ее за руку и сказал: «Вот опять встретились, как странно...» — она высвободила из его ладони пальцы и так посмотрела, синие

глаза ее так гневно потемнели, что Давыд Давыдыч разговора не продолжал.

Переночевав на въезжей, он наутро опять пошел в церковь и расспросил дьячка об Оленьке.

Оказалось, что она училась в гимназии и после смерти попадьи осталась в селе учительницей. Ее много сватали, даже земский доктор, но она отказывала всем и только прошлой осенью (как раз когда Давыд Давыдыч заезжал на день в усадьбу) согласилась выйти за поповского сына, который ждал смерти больного отца, чтобы самому вместо него принять священство.

Из церкви Завалишин пошел к речке, где у обрыва увидел ветхий, кривобокий, прислоненный к старой ветле домик вдовой попадьи. У окна сидела Оленька. Она посмотрела на подходящего, и опять в глазах ее появилось вчерашнее выражение, точно страх и гнев. Давыд Давыдыч, улыбаясь, стал кланяться; Оленькина красота взволновала его странным чувством.

— О чем вы задумались? — спросил он и опять понял, что не то сказал. Подошел к окну, под которым цвел шиповник, и увидел, что Оленька на ладони держит медный крестик.

— Замуж я выхожу,— сказала Оленька и вдруг наклонила голову и стала глядеть на Давыда Давыдыча исподлобья; он видел, как глаза ее заволокло слезами; она сердито тряхнула головой и отвернулась.

— И я женюсь, вот как это все вышло,— ответил он, и тупая, безнадежная скука наполнила его после этих слов, и все показалось давно известным, ненужным, бездольным...— Надо как-нибудь жить,— окончил он.

Оленька помолчала. Потом сказала поспешно:

— Отойдите от окна, неудобно, люди увидят... Так-то, милый мой друг...

Она быстро поднялась и отошла в глубину комнаты.

Накануне петровского поста Завалишин обвенчался, и Анна Ивановна увезла его на море, потом в Париж. Вернувшись, он пошел в уездные предводители, освободил родовое Завалишино от долгов, завел первый в городе по объедению и веселью дом и рысаков, кучу друзей, а потом и любовницу.

Когда же все, бывшее в кругу полусонных его желаний испыталось, Давыд Давыдыч увидел, что Анна Ивановна — противное, злое и сладострастное существо, а сам он несчастен и нечист.

Вернувшись однажды ночью в дурном настроении, он прошел на половину жены и, услыхав за дверью спальни голоса — ее и чей-то мужской, вынул револьвер и выстрелил в дверь, даже не со зла, а черт знает зачем — для гадости.

Анна Ивановна обиделась и уехала в Берлин. Давыд же Давыдыч, написав ей короткое и ясное письмо на обрывке модного журнала, засел в родовом своем Завалишине навсегда.

3

Не повесть эту припоминал Давыд Давыдыч, лежа в окне, не о бесплодно растраченных силах думал он, а о том смутном и волнующем ожидании *чего-то* (события, катастрофы), чего-то — огромной важности; и хотя до сих пор ожидание обманывало, все же каждый раз казалось ему, что именно теперь приходит самое важное; так и сейчас он старался заглянуть в глубь себя, потому что, казалось ему, событие, хотя и придет извне, всю силу и важность получит, только утвердившись в нем, в Давыде Давыдыче.

Из конюшни в это время, стуча копытами, вылетел молодой караковый жеребец, волоча кучера на поводе. Вылетев, стал посреди двора, махнул хвостом, заржал, прыгнул на дыбки, потом он и кучер рысью пробежали на задворки.

— Красавец,— сказал Давыд Давыдыч,— вот силища,— и когда оттопыренный конский хвост скрылся за углом, он медленно, с опущенной головой, с заложенными назад руками, отошел от окна. «Жеребец ржет и прыгает на дыбки, значит пришла весна, и никому нет дела до того, что когда-нибудь перестанешь прыгать, ляжешь и околеешь. Почему же мне одному не все равно? — думал Давыд Давыдыч, шляясь по кабинету.— А оттого мне не все равно, что это — самое

главное, чего я сейчас ожидаю, и будет моя смерть; вот и все».

Закрыв ладонью глаза, он представил свои похороны: вышло глупо и не трогательно, главное — по-обыкновенному, и Давыд Давыдыч даже сделал подобающее грустное лицо, какое было недавно у всех на похоронах председателя суда... Тогда он вообразил самое смерть — себя, умирающим в кровати, и замотал головой — фу ты черт!

— Нет, нет, событие будет другим, не смертью!..— воскликнул он торопливо.— В сущности отчего я несчастен? Все люди такие же, с изъяном. Не знаю ни одной счастливой семьи. Отчего же я должен быть другой, а не такой, как все?..— Он хрустнул пальцами и с отчаянием сказал: — Ах, нет, все, должно быть, верят во что-нибудь или просто живут не думая, а я верю только в одно, что умру и что умирать не хочу...

В это время осторожно отворилась дверь, и в ней показался небольшого роста худощавый мужичок, в нагольном заерзанном полушубке, с красным, много раз обернутым вокруг худой шеи, вязаным шарфом. Шапку он держал в руке и, подмигивая на барина, спросил:

— Чего ты, ась?

— Я не тебе... Ты зачем?..— спросил Завалишин, немного смутясь.

— К тебе я, здравствуй,— ответил мужик и подал руку.

Пожимая ее, Давыд Давыдыч почувствовал все его жесткие ногти и мозоли. «Вот этот мучиться не станет»,— подумал он, сел к столу, отодвинул локтем поднос с водкой и колбасой и сказал:

— Садись. По какому делу? Как зовут?

— Андрей, Андреем зовут,— ответил мужик и присел на краешек стула, умильно покосясь на водку.— Едва до тебя добрался, воды — прямо сила: овражки обязательно нонче пройдут, как уж я пробрался только...— По красному тощему лицу его пошли веселые морщины, он совсем зажмурил свои щелочки и решительно сказал, тряхнув бороденкой: — Промокли мы как есть.

Давыд Давыдыч налил ему водки в стаканчик и себе в рюмку. Андрей изобразил на лице уважение, боясь раздавить, взял стакан и выпил все до капли, крякнув очень громко, чтобы показать, как это действует.

— Ешь, угощайся,— сказал Давыд Давыдыч, пододвигая поднос.

— Чего ее — пищу зря перегонять,— ответил Андрей,— вино ей только портить. В еде этой сытности я не понимаю. Хоть бы кашу молочную — ешь, ешь, надоест, бросишь ложку, а ну ее...

Завалишин налил ему еще стакан, и после третьего Андрей размотал шарф и сказал:

— Под Хвалынским дачу мы строили; барин очень остались довольны и поставил нам угощение, всего наварил. Ели мы, ели, вот прямо надоело. Иван Косой — пильщик, мужик завистливый, мне и говорит: «Что же, Андрей, за бутылку съешь сейчас горшочек каши?» Я тут же говорю: «Ладно»— и кашу съел; ему жалко, он опять: «Каравашек ситного съешь еще за бутылку?»— «Ну да». Каравашек этот я съел, и еще так на четверть ему и наел. Надо мной смеяться. А уж я разошелся. На бахчах арбузов нарвал, дынь, огурцов и наелся, и вот с этого сырья меня разобрало... Так что в наземе после меня восемь цыпленков утонуло. Баловство. А пользы никакой нет от большой еды.

— Ну, видно, выпить я могу много больше тебя,— сказал Давыд Давыдыч.

— Это верно.

Помолчали. Завалишин мотнул головой, вздохнул окончательно и спросил:

— Так по какому же делу, Андрей?

— Беда у нас случилась, Давыд Давыдыч.

— У кого — у нас?

— Вот я давно вижу, что ты меня не признаешь. А я и папеньку твоего и маменьку, покойничков, как живых вижу. У попадьи я служу, у вдовой попадьи в работниках...

Рука Давыда Давыдыча, лежащая на столе, так сильно задрожала, что он ее принял и спросил, не поднимая глаз:

— У какой попадьи? Ольги Петровны?

— Ну да. Теперь она считается у нас вдовая. Поп у нее утонул, ровно тому год. Она мне наказывала: «Хоть плыви, говорит, а дойди до Давыда Давыдыча, передай письмо».— Андрей залез за пазуху, пошарил и подал теплое помятое письмо.

Завалишин быстро встал, повернулся к окну и прочел:

«Я не хотела и не должна, но больше не могу... Скоро, может быть сейчас, опять начнется... Сознание мое такое убогое и короткое... Я тороплюсь... приезжайте... может быть, поможет... все равно... очень хочется увидеть вас...»

— Я не пойму,— перечтя кое-как нацарапанное письмецо, сказал Давыд Давыдыч,— она больна?

— Совсем плоха попадья,— подтвердил Андрей,— проваливается; обомрет, как провалится, и начинает ее корчить, и вопли. Нынче совсем, думали, отходит. Я и помянул, как маменька ваша, покойница, крестьян пользовала каплями,— говорю это попадье, она как всполыхнется, за карандаш ухватилась. «Неси, говорит, записку, неси ему, скажи, мол, все равно, мол». Плохо я разобрал, чего она набормотала... Вы уж дайте, пожалуйста, капель каких, Давыд Давыдыч, успею до ночи добежать, чай...

— Капель,— сказал Завалишин,— нет...— и не кончил.

Андрей тоже раскрыл рот и повернулся к окошку. За разговором они не заметили, как возрос и стоял теперь в сумерках глухой сильный шум: словно по всей степи поднялись древние леса и зашумели.

— Тронулись,— сказал Андрей,— вот беда, в село теперь не попасть, а я и скотину не убрал.

Но не гул вешних вод слышал Давыд Давыдыч в поднявшемся шуме, а голоса всех ушедших и милых, все шорохи, топоты пролетевших лет, и свой голос будто услышал он, и все это восстало в одно мгновение, и потому странный шум был так властен, громок и торжественен...

— Поди, поди, прикажи заложить санки,— проговорил Давыд Давыдыч отрывисто,— я сам поеду, надо спешить, беги, прикажи, скорее...

4

Караковый поводил синими глазами и рыл яму копытом, запряженный в ковровые санки. Давыд Давыдыч быстро сошел с крыльца, застегивая романовский полушубок, взял вожжи и сел; рядом сейчас же примостился Андрей.

— Ты зачем? Оставайся, я один поеду,— сказал Завалишин...

— Нет уж, как уж, неудобно,— ответил Андрей.

Давыд Давыдыч ударил вожжами, караковый сразу весело и резво понес, кидая грязь и снег в передок саней.

Когда миновали плотину, Андрей сказал серьезно:

— Правее, барин, забирай, целиной,— овражки вверху надо переехать.

Солнце к этому времени село в лиловую тучу, заслонившую закат. Ее края, как овечья волна, опушились золотом, и оттуда шли лучи. Когда они совсем удлинились, растаяли и погасли, золотая волна покраснела, стала густо-малиновой. Небо над закатом разлилось, как вода, а выше синева становилась непрозрачной, в ней открылась первая холодная звезда, и потом медленно все небо стало осыпаться созвездиями. На ровную пустую степь в унылых проталинах легла тень; снег, еще лиловый, похрустывал, и по нему, похрапывая, бодро и ровно бежал караковый.

— Послушай, Андрей, правду говорят, она не любила мужа? — спросил вдруг Давыд Давыдыч.

Андрей ответил не сразу; придерживаясь за барский кушак, он всматривался, видимо не одобряя выбранного пути.

— А за что его любить: жадный да противный,— сказал он.— Придешь в храм, с души воротит, одни старухи к нему и ходили. Как утоп, мы, конечно, пошумели, и она неудовольствие показала,— все-таки нехорошо тонуть так-то зря; а ей теперь много легче. Одно — обмирает она; да это, говорят, он ей не дает покоя — мертвый... А вы правее забирайте...

Но Давыд Давыдыч больше уж не мог забирать в верховья овражков. Со стороны, противоположной за-

кату, появился тонкий свет, и поднялся над краем степи серп месяца. Завалишин, горяча вожжами и причмокивая, нес жеребца прямиком на овражки. Наконец впереди на снегу обозначилась темная полоса. Андрей положил руку на вожжи и сказал:

— Глина — это на том берегу; видишь, как снег осел, полегче, барин.

Давыд Давыдыч осадил; жеребец перебил ногами и стал, раздувая бока. Андрей побежал вперед и оттуда крикнул:

— Осело на аршин, а давеча я тут проходил совсем свободно. В санях не проедем, надо распрячь!

Жеребца распрягли: сняли хомут и седелку и тронулись... Ближний берег был покатый, на нем, между снегом степи и овражка, открылась талая земля, покрытая мятой травой. Андрей поскользнулся, побежал вперед и увяз.

— Не держит,— сказал он,— ну, да здесь мелко, с богом,— и скоро выбрался на тот берег.

Давыд Давыдыч был тяжелее и увязал глубже; караковый, у него в поводу, подвигался скачками, уходя по живот, на другой берег он вымахнул сразу и, вырвав узду, стал, отряхиваясь.

Они двинулись напрямик, различая впереди колокольню. Между овражками, на горбатых гривках, в хрустящей прошлогодней траве, лежали овальные лужи. Месяц взошел высоко, положил тени от путников и коня и кое-где засверкал в лужах.

Овражков было семь, и средний из них — самый глубокий и опасный. По шуму воды издалека было понятно, что он идет шибко, размывая снег и глину.

Но уже задолго до него пришлось вымокнуть выше пояса в колючей, со снегом смешанной воде. Когда же дошли, наконец, до среднего, Андрей сказал:

— Навряд переберемся, студено очень.

Борода у него тряслась, шурша сосульками по полушубку. Он весь вымок и не знал, куда сунуть окоченевшие пальцы, то елозя ими около обледенелых карманов, то согревая у рта. Давыд Давыдыч глядел на колокольню. Теперь она была видна вся до ограды, залитая лунным светом. И ему не было странно, что

самое важное сейчас в жизни — это добраться поскорей до колокольни, а что трудно это и опасно — только хорошо.

— Возьми лошадь, вернись на хутор, я все-таки пойду,— сказал он негромко.

Андрей крякнул от холода и ответил, точно не расслышав:

— Ты за гриву-то ему цепись, если что — конь добрый, вынесет; главная вещь — нам до чистой воды добраться, она у того берега вплоть, видишь...

Действительно, за широкой пятнистой полосой снега виднелась, под глинистым обрывом, свинцовая зыбь воды; лунный свет тронул на ней текучие струи и ребра льдин. Овраг этот пошел первый и гнал воды в пруды по ту сторону села, и опаснейшим в нем местом была снеговая зыбкая каша близ этой водяной полосы... В студеной густой каше из снега не на что упереться, нет дна, нельзя ни плыть, ни ползти.

Давыд Давыдыч резко дернул за повод присмиревшего жеребца и пошел по желтым пятнам снега... Андрей зашагал рядом, потом, повторив: «Смотри, коня нипочем не бросай!»— побежал вперед на цыпочках и вдруг провалился по пояс.

— Дна нет,— крикнул он, побарахтался, на животе прополз еще, поднялся, шагнул и ушел по грудь, неподалеку от воды.— Шабаш,— сказал Андрей и, раскинув руки, перестал двигаться; над снегом торчала лишь голова его в шапке.

— Держись, голубчик, пожалуйста, держись, сейчас я, сейчас,— еле выговаривая, забормотал Давыд Давыдыч, бросил повод и ползком задвигался к торчащей голове. Широко растопыривая ноги, запуская руки в налитый водою снег, наминал он его под себя с боков и, вертясь и упираясь, продвигался. Холода же больше не чувствовал; лицо и охваченный полушубком корпус горели; только ресницы смерзались, мешая глядеть; Андрей был уже совсем близко; повернув задранную к месяцу голову, он повел белками и принялся открывать и закрывать рот... Снег совсем стал жидким. Давыд Давыдыч запустил под себя руки и, застонав от боли, расстегнул пряжки на полушубке, чтобы освобо-

диться. Но сзади в это время громко заржал караковый, завозился и плюхнулся несколько раз.

— Узда, узда,— выговорил, наконец, Андрей.

Завалишин оглянулся. Жеребец, очевидно зацепив копытом повод, глубоко опустил морду, выпучил блестящий глаз и задыхался.

— Узду, узду скинь,— проговорил Андрей.

Давыд Давыдыч понял, что не сможет этого сделать и что не нужно это — пусть погибает караковый, но все же, приподнявшись, дернулся, дополз, схватил узду и сорвал; караковый вскинул морду, фыркнул и, поддав задом, сигнул; передние его копыта упали на полу распахнутой шубы, и Давыд Давыдыч, хватаясь окоченевшими пальцами, ушел с головой под снег, в талую воду.

Может быть, прошла минута или мгновение, пока он опускался в зеленовато-черную глубину, сдавившую дыхание, с незабываемым запахом снеговой влаги. Но времени будто не стало. Он подумал: «Конец!» Потом: «Ну и слава богу!» И, отрешаясь от жизни, тотчас увидел, спокойно и ясно, все свои дни и себя — и мальчиком, и юношей, и взрослым. Все это появилось перед сомкнутыми его глазами одновременно и в странной перспективе, словно он — смотрящий — был не в стороне и не в центре, а вокруг всего. Будто он стал так велик и необъятен, что включил в себя и землю, и солнце, и звезды, и все... И спокойно знал, что злое, что доброе, когда он был дурным, когда хорошим, а дурным он увидел себя, живущим без любви,— слепым. И тотчас в этой вселенной пронеслась строфа глупых стихов, сочиненных им на дереве... И за ней, быстрей, чем молния, возник ровный свет, он заслонил, как будто сжег, все призраки воспоминаний и был живой, и требовательный, и радостный... Давыд Давыдыч понял, что жив и хочет жить. Сердце глухо боролось. Вода проникала в рот и ноздри. Он рванулся; полушубок, как шкура, соскользнул с плеч, и Давыд Давыдыч, ударив ногами в ледяное дно, появился на поверхности, жадно дыша колким, живым холодом.

Караковый лежал впереди, и над снегом торчала его голова и грива, в которую вцепилась рука Андрея.

И конь и мужик медленно отделялись от снега, поворачивались в чистой воде, быстрый поток подхватывал их, подхватил, закружил и понес вдоль крутого берега. И за ними отделился большой остров снега, открыв Давыда Давыдыча, который, освободясь от каши, тоже поплыл, сносимый течением, и долго хватался и царапался о глиняную кручу. Наконец на низком месте он уцепился за чилиговый куст, грудью лег на берег, потом подтянулся, вылез и, шатаясь, пошел.

Месяц, чистый и острый, стоял над головой. В овальных лужах, в каждой, отражалось все небо со звездами и месяцем; проходя мимо, Давыд Давыдыч раздроблял сапогом тонкие зеркала этих луж. Потом он с трудом повернулся и стал вглядываться. Невдалеке у берега прибились Андрей и караковый.

Через силу стащил Давыд Давыдыч сапоги и побежал к селу. Остальные овражки были по пояс. На краю последнего, у мирского амбара, в лунном свете, сидел неподвижно седой караульщик.

— За народом беги, тонут! — сказал Завалишин, тыча пальцем в сторону, откуда пришел, и когда караульщик, поняв наконец, заторопился, он двинулся дальше, к белой колокольне, за которой между двух лип стоял Оленькин дом.

5

Оленька сидела на покрытом кошмою сундуке, обхватив худыми руками голову. Синее полотняное платье на ней измялось; на левой ноге спущен черный чулок, на кончике висела туфля.

Свеча на ломберном столе, между двух запертых на ставни окон, отражалась в пыльном зеркале; на его поверхности проведено много запутанных линий: должно быть, смотрелась в него, думая о другом, и водила пальцем. Комната была низкая, штукатуренная, мебель в беспорядке. У глухой стены стояла двухспальная помятая кровать.

Закрыв глаза, Оленька устало покачивалась, боясь взглянуть даже на эту неубранную постель. Недавно

кончился припадок — невыносимый кошмар, изнурявший ее вот уже год. Оленька отдыхала; в больном ее мозгу не было мыслей. Согнутое после борьбы, измученное тело покачивалось, как маятник, один в тишине тикавший, взад и вперед скользя между цветков на обоях. Звук часов был единственным звуком в этой комнате; молчал даже сверчок — запечный житель, добрый собеседник в долгие вечера. На огонь налетела муха,— наконец и она, опалив крылья, покружилась и затихла.

Один раз только Оленька остановилась и так вздрогнула, что слетела туфля и руки, охватившие голову, упали на колени. Но это уже вышло невольно, как запоздалая молния после грозы...

На памяти ее, на всем сознании, лежал сейчас тяжелый туман, и только едва живая, как искра в этой темноте, надежда на ответное письмо, на то, что, может быть, еще увидит она того, кого любила всегда, и заставляла ее покачиваться, цепляясь за невыносимую больше жизнь.

В сенях резко затрещали ступени, кто-то вошел и тяжело упал на доски. Медленно похолодела Оленька,— словно игла, прошел через нее страх, она широко раскрыла огромные глаза, оттененные пепельными кругами, сорвалась с сундука, схватила свечу и выбежала в сени, придержавшись за косяк.

В дощатых сенях ничком лежал Давыд Давыдыч, подвернув под себя руки. Пиджак его обледенел и торчал коробом; пятки, в порванных чулках, были окровавлены.

Оленька положила руку на горло и, держа в другой танцующую свечу, закричала. Из кухонной двери, оправляя платок, боком выскочила стряпуха. Оленька присела над телом и обеими руками схватила голову Давыда Давыдыча, стараясь приподнять и взглянуть ему в глаза.

— Пришел, вспомнил,— сказала Оленька, оборотясь,— дышит, дышит...

— Батюшки, к соседям побегу, одним разве втащить! — завопила кухарка и кинулась на улицу.

Давыд Давыдыч начал стонать и силился подняться

сам. Оленька помогала ему, ухватясь за плечи. Наконец он выговорил:

— Оленька!..

— Что, милый? Что, родной мой? Не слажу я. Сейчас придут...

— Оленька, слава богу...— И, не окончив, он опять лег, подышал и вдруг, приподнявшись, сел к стене.

Глаза его были мутные, обледенелые волосы торчали во все стороны. Он долго глядел на свечу, потом уронил голову. Оленька негромко ахнула.

Вошли, топая, соседи-мужики, три брата, поклонились, сказали друг дружке деловито:

— За голову, за ноги берись, да не стукни,— легко подняли Завалишина, внесли в избу и посадили на сундук.— Одежду снять с него надо и водки влить ему две чайных чашки с солью,— сказали мужики.

Кухарка кинулась, принесла водку и чашку, и Давыд Давыдыч, давясь, выпил и громко, словно отлегло уже самое тяжелое, принялся охать, не открывая глаз.

— Вино действие оказывает! — сказали мужики, и только вышли, как опять вбежала кухарка, крича:

— Где водка-то? Батюшки, Андрея нашего ведут...

— Вот и слава богу,— проговорил Давыд Давыдыч и осел...

Оленька одной рукой охватила его, другой принялась расстегивать и снимать мокрую одежду, все время заглядывая в лицо и жалобно улыбаясь его стонам...

6

Закрытый одеялом, Давыд Давыдыч лежал в постели навзничь. Глаза его теперь блестели; лицо было красное и сухое. Оленька быстро и настойчиво ходила по половику. Завалишин говорил:

— Помните, как я поклялся, вот и пришел. Мне хорошо! Только, Оленька, отчего холодно?.. Точно бы лед под боком лежит. Такое было беспокойство эти дни; думаю: что же это должно случиться? Неужто — смерть? Не хотелось умирать!.. Уж никак не мог догадаться, что же это нужно сделать такое. Страшно

было одну минуту, когда уходил под воду... Очень было страшно, а потом хорошо. Какой свет я видел, Оленька!.. Начался он в таких пространствах. И, знаешь, мне показалось, что свет этот был все же во мне...

Оленька подошла, постояла близко и опять заходила.

— Я не понял твоего письма,— продолжал он,— от кого тебя спасти? Кто тебя мучит? Ведь муж твой умер.

— Молчи, молчи,— торопливо перебила Оленька и быстро присела рядом к нему на кровать.

Он закрыл глаза. Она же глядела не в лицо ему, а мимо, на тот край постели, словно у стены кто-то был. Глядела она долго; в потемневших ее глазах появился ужас. Она соскользнула на пол, опять заходила, потом села на сундук, как давеча.

— Я знаю, это воображение или еще что-нибудь,— тихо и с отчаянием выговорила она,— но ведь все равно, это ужасно: он приходит каждую ночь! Теперь даже и днем приходит. Ложится, требует, грозит. И темнота здесь,— Оленька тронула темя,— мыслей уж нет, одни обрывки. И воли нет. Боюсь, боюсь. А теперь и сил больше нет.— Она помолчала, слезла с сундука и зашептала: — Ведь не сам он умер, я его извела. Никогда его женой не была. За то же он и бил меня по ночам. На колени станет, ноги целует, до утра молит. Потом сдернет на пол... Все тебя поминал. До того дошел — смерти стал искать и грозить этим. Я говорю: «Что же, вышла за тебя со зла и не люблю тебя, как женой твоей буду? Умирай, если терпеть не можешь». А когда нашли его в реке, принесли мертвого, поняла, что он от меня не отстанет. Каждый день, каждый день еще хуже, чем живой, приходит и мучит. И сейчас он здесь...

Щеки у Давыда Давыдыча разгорелись. Подняв под шубой колени, он пересилил себя, шумно вздохнул, улыбнулся и, высвободив руку, взял Оленькину ладонь.

— Не думай,— сказал он,— поди ляг.

Оленька стремительно охватила его голову, прижалась и жалобно воскликнула:

— Ах, он все еще здесь, посмотри.

Давыд Давыдыч повернул голову. Действительно, сбоку от него, у стены, на постели лежал неприятный незнакомец; тощий, темный, с длинным скверным лицом. Тело его, в сером и узком платье, было вытянуто, голова круто повернута, опухшие веки сощурены, прикрывая бог знает какие глаза...

Давыд Давыдыч криво усмехнулся и сказал:

— Вот он какой! Ну, что же, за нами пришел? Уводи... А я другое видел нынче. Я видел, как шел свет и поднимался обратно. Я видел Мировое Дыхание. Я не хочу идти с тобой. Выгнать бы тебя. Вытолкать. Ах, какой мерзкий!

Давыд Давыдыч хотел поднять руку и не мог. Тогда он закрыл глаза. Волна жара докатилась до его головы, застлала глаза и распалила... Он заговорил чаще и непонятнее. А из-за незнакомца, из стены, поплыли животные, прошли под одеялом, опустились на пол, заползли под кровать, приподняли ее и заколыхали.

«Отчего так мучат?»— пронеслось в сознании у Давыда Давыдыча... И он, вцепясь в простыню, стал поспешно думать — отчего. Но из-под низу животные щетинами прободали тюфяк и принялись колоть спину... «А в чем же, перед кем я виноват?»— опять огнем пронеслось в сознании... Он собрал со всею силой память и совсем уже понял, что незнакомец начал скатывать с ног его одеяло, потом навалился и стал совать одеялом в рот...

Задыхаясь, рванулся Давыд Давыдыч с постели и опрокинул свечку. И, в темноте, разводя руками, громко закричал Оленьку.

Нежные ее ладони сейчас же обхватили его, спрятали лицо в платье, на груди, и далекий родной голос проговорил:

— Не бойся, голубчик мой, я здесь, я не уйду.

— Оленька, Оленька,— говорил Давыд Давыдыч,— прости меня... Я понял, я ужасно виноват... Я люблю тебя, я постараюсь заслужить тебя... Нам нельзя расставаться, нельзя умирать. Пусть зовут и мучат, а мы сядем вот так, обнимемся, родная моя. Одна на всем свете. Какая наша любовь! Какой свет!

7

Овражки прошли, и последний холод ночных заморозков истаял под возносящимся солнцем. Давно уже разъехались по своим местам проезжие; помещики и хлебопашцы налаживали сев; по-прежнему скакали с колокольчиками власти; успели уже подсохнуть дороги, и трава вылезла на вершок, выпустив под самое солнце невидимых жаворонков,— а только в апреле Давыд Давыдыч в первый раз пришел в сознание и спросил — который час.

За все время Оленька не отходила от его постели, слушала бред и молилась, чтобы милый друг не умер; с каждым днем все глубже и нежнее любила она Давыда Давыдыча. Любовь ее заняла все прежние чувства, и между любовью уже не стоял никто.

Один раз только, перед вечером, когда Давыд Давыдыч спал, положив исхудалые руки на грудь, Оленька стояла у окна; в синем небе, невысоко, плыло единственное и странное облако. Через улицу переходил Андрей, таща на веревке теленка; черноглазая стриженая девочка, бегая с куском черного хлеба в руке, загоняла овец — черную, белую и барана; овцы ее боялись и не шли, а баран, опустив рога, глядел на хлеб; наискосок, на завалинке, дремал сивый старик; из двух изб, высунувшись в окошки, бранились две бабы — и никто не смотрел на странное облако. Оно же неслось прямо на окно. Оленька провела по глазам, но в это время пошевелился Давыд Давыдыч и застонал, и она, вздрогнув, словно разорвала паутину, подбежала к нему, стала на колени и, всей жизнью своей, каждой капелькой крови любя и нежно жалея, спросила: не болит ли что, легче ли?.. Давыд Давыдыч открыл спокойно глаза, улыбнулся долгой улыбкой и спросил:

— Душенька, который час?..

И когда он опять задремал, теперь уже наверно выздоравливающий, она вернулась снова к окну. Облако поднялось выше над домом,— лиловое внизу, оно было белым и розоватым, плотными клубами; словно плыл

воздушный остров, с церквами, куполами и снежными деревьями.

«Это наша земля,— подумала Оленька.— Как хорошо, ни воспоминаний, ни злобы».

8

Давыд Давыдыч сидел под липой на скамейке, одетый в парусинный халат, с накинутым еще на плечи пуховым платком. Под окнами, на кустах и по всей старой липе, рассыпались бледные листья, сквозь них небо казалось синее... За плетнем, на улице, было тихо, народ ушел в поля. У калитки, ведущей на двор, прислонясь, стоял приказчик...

— Хорошо, хорошо, делай, как думаешь, а я, видишь, слаб еще, через неделю, может быть, приеду, посмотрю. Ступай, голубчик,— говорил ему Давыд Давыдыч.

Приказчик вздохнул почтительно и ушел, и уже за плетнем весело простучали его каблуки. Давыду Давыдычу было все равно — посеять ли пшеницу, или овес, или ничего не посеять. Он следил только, когда за ветвями, со стороны огорода, опять покажется белое платье Оленьки.

А прошлого он и не вспоминал, да и трудно было это сделать, потому что весенняя сила, убирающая зеленью землю, отгородила в нем прошлое от нынешнего дня туманной стеной... И он чувствовал только, что когда-то был за этой смутной завесой, но туда упал луч, коснулся его сердца и вывел его в нынешний день.

Платье Оленьки показалось сквозь кусты. Давыд Давыдыч покашлял. Можно было бы и позвать, но ему казалось приятнее, чтобы она пришла сама, с серьезным лицом, спрашивая глазами, отчего он кашляет...

Оленька услыхала и, нагнувшись под ветками, подошла и села на скамью. Худое лицо ее подернулось золотом солнца; синие глаза немного снизу вверх глядели на Давыда Давыдыча, на белом платье лежала темная коса, и руки испачканы землей...

— Что ты делала? — спросил он.

Губы ее, тоже в золотом пушке, задрожали, она улыбнулась и не ответила, еще глубже заглянув в глаза. Давыд Давыдыч не успел ее рассмотреть хорошенько, так быстро она подошла, а хотелось поглядеть еще, как она ходит, поднимает руки, обертывая голову. Он попросил:

— Кажется, платок вот куда-то подевал... принеси...

Оленька легко встала и, легко ступая по дорожке, пошла к дому, белое платье ее разлеталось внизу; в дверях повернула голову (он понял — так легко ей ходить и обертываться, а вот сейчас отмахнется от мухи,— и отмахнулась).

«Милая»,— подумал он и сказал:

— Нет, вот он, платок; Оленька, посиди со мной, что ты все в огороде копаешься!..

— Репу пересаживаем,— сказала она; села рядом, вздохнула и, немного сгорбившись, положила руку свою в его ладонь.

Давыд Давыдыч взял ее руку и поцеловал и, не глядя на Оленьку, стал думать, как бы лучше и понятнее выразить ей давно уже придуманную мысль. Она была такова:

«Мы вышли точно из огня и сейчас, как первые люди — влюбленные, чистые и мудрые. Но нам надо жить, и очень долго. Как же сделать так, чтобы мы могли жить и остались такими, как сейчас?» Сказать все это было мудрено, и, конечно, Оленька спросила бы: «А зачем нам становиться другими?» На это бы ответить он не смог. Кроме того, всякий раз умно придуманная фраза казалась ему не такой уже умной, когда садилась Оленька около него на скамью.

«Мы должны стать мужем и женой,— подумал он,— вот это ей и скажу»,— и, поглядев на смирную Оленьку, он обнял ее за плечо, в другой руке расправил испачканные землей ее пальцы и сказал:

— Оленька, я тебя очень люблю.

Она кивнула головой, подтвердила и сидела все так же тихо.

— Подумай,— продолжал он,— все силы уйдут на то, чтобы думать все об одном, а если мужем и же-

ной — какая жизнь прекрасная,— любить тебя и все любить, потом, кажется, весь мир любить...

Оленька отстранила от лица прядь волос, внимательные, серьезные глаза ее так понимали, что Давыд Давыдыч замолчал. Она положила его руку себе на колени, и румянец, едва заметный, все сильнее стал заливать ее лицо. Она раскрыла рот, вздохнула громко и сказала:

— О чем ты говоришь? Люби меня, как хочешь. Как нужно... А я уж не только люблю, живу этим...

В сумерках они вошли в дом и, не зажигая огня, продолжали говорить о том, что лучше любви ничего нет, о том, что можно любить один только раз, о том, что они нравятся друг другу ужасно, и о том, что небо раскрывается только перед смертным часом, хотя об этом они говорили меньше всего...

Наутро Оленька дрожащей рукой ударила в раму, окно раскрылось, и комната наполнилась запахом земли и трав, криками воробьев, голосами и дальним топотом шагов... Сквозь расцветающие кусты синело небо, чистое, лазоревое, теплое. Оленька подумала: «Ведь это небо, оно мое, оно прозрачно, оно покрыло всю землю»,— и, оборотясь, она сказала нежно:

— Полно тебе спать.

Давыд Давыдыч раскрыл глаза и, глядя на тоненький силуэт молодой женщины в окне, подумал: «Оленька, небо, весна, радость — вот о чем всегда тосковал».

ДЕВУШКИ

1

Чего только не рассказывали в уезде про усадьбу Липки. Говорили, что у красавиц сестер Вари и Анюты был какой-то роман, конченный плачевно, после чего тетка их, Анна Матвеевна, принуждена держать племянниц взаперти. Что сестры в уединении занимаются бог знает чем; или будто после смерти отца они тайно постриглись; передавались и такие вещи, о которых написать нельзя; словом, соседи на досуге судачили: отчего это сестры Перовы вот уже третий год никуда не показываются и никого не принимают у себя?

В то время в губернию назначен был из Петербурга новый чиновник, поручик в отставке, Иван Васильевич Кремер.

Оказался он холост, нрава легкого и по приезде до того принялся ухаживать за нашими дамами, что тотчас ему приписали все опасные качества бретера и смельчака.

Между прочими сплетнями рассказали и о липкинских сестрах,— обозвав их на этот раз женщинами нечеловеческой красоты. Иван Васильевич загорелся. На именинах у предводителя подогрел себя еще невероятным пари и вскоре, придумав деловой предлог, поехал в Липки.

2

Дорога, в сторону от тракта, вела по узким межам и, заворачивая постоянно, пропадала в хлебах. Ровной степи было на сорок верст — на четыре часа неторопливых размышлений. Но Иван Васильевич, надвинув на голову парусиновый капюшон, дремал, облокотясь на подушки. Действительно, если слушать, как крутится, захлебываясь, железное кольцо колокольчика, глядеть на ровную, зеленую, желтую, вдали вспаханную степь, вглядываться в зыбкие волны пара на горизонте и думать — ей-богу, не стоит: заведут такого созерцателя подобные мысли в трудные места.

Встряхнулся Иван Васильевич и потянул носом, когда солнце, уходя во мглу перед началом заката, пожелтело и лошади медленно шли на крутую гору...

— Доехали? — спросил он; ямщик не ответил; а с горы уже открылись зеленые бока оврагов, глиняные водомоины, прудки, на склонах скот, отраженный в воде, и вдалеке темный кудрявый сад и в нем купол беседки.

«Черт возьми, а вдруг они — рожи!» — подумал Иван Васильевич, вертя головой, когда сбоку замелькал забор... Ветви деревьев над мостиком хлестнули по дуге, и в глубине лужайки встал старый, как ящик, обветренный от непогоды дом.

3

Балкон, куда прошел Иван Васильевич, был пуст, но на круглом столе кипел самовар; перекинутый через балюстраду, висел турецкий шарф, чуть колыхаясь, и у порога лежала белая туфелька. Осмотревшись, Иван Васильевич поднял туфлю и засмеялся.

«Прямо разбежались, башмаки растеряли!» — подумал он и, вслушиваясь, прислонился к штукатуренной колонке, но только пчелы гудели, садясь на варенье, да из сада тянуло сухим запахом полевых цветов и влажным — с круглых клумб...

«Точно девушка прошла повсюду, и сад запах цветами,— опять подумал Иван Васильевич.— Совсем девичий монастырь; какие они на самом деле? Туфля маленькая, с высоким подъемом, значит нога стройная и

полная. Носок заширкан от беготни по траве... а внутри следы краски... от красного чулка...» И, размышляя над туфлей, он представлял себе ее обладательницу. В это время скрипнуло позади. Он живо обернулся; из двери испуганно выглядывала сморщенная старуха в наколке... Иван Васильевич сунул туфлю в карман и поклонился...

— Вам что угодно, мы не принимаем,— спросила старуха, держась за косяк; брови у нее поднялись, и смирные глаза глядели с новым страхом на черные подусники гостя...

Иван Васильевич поспешил показать бумагу и объяснить, по какому делу приехал... Старуха перестала бояться и с неожиданной живостью, вытащив очки, прочла документ, усадила гостя и, дотрагиваясь до его колена, принялась пространно рассказывать о тяжбе своей с крестьянами... Потом спохватилась, угостила чаем и с умилением глядела, как Иван Васильевич ест лепешки. Запах цветов усилился, угомонились птицы в кустах, и только на осине неподалеку дрожали листья; но ей и бог велел дрожать; остальное же все отходило на вечерний покой...

— Весной землемер приезжал, пустила ночевать, так он дела-то не делал, а и на кухню, и в сад, и по комнатам — всюду нос свой принялся совать, а нос длинный у него, такой проныра,— сказала тетушка...

— Вот действительно проныра,— ответил Иван Васильевич,— вы бы его щелкнули по носу, а, кстати, что это не видно ваших племянниц?

Тетушка смолчала, Иван Васильевич покосился, на глазах у нее стояли слезы, и старушечьи губы опустились углами вниз.

— В угловой, батюшка, ляжете, а закуску на ночь с бабой пришлю,— сказала она и повела гостя в комнату для приезжих, сама вздула огонь и, вздохнув, притворила за собой дверь.

Иван Васильевич живо подбежал к окну, просунулся в сад и стал слушать, раздумывая, как бы увидать девиц.

Немного погодя вошла высокая и простоволосая баба с подносом, на котором стоял холодный ужин...

— Послушай, красавица,— сказал ей Иван Васильевич,— отчего у вас все прячутся, я ведь не волк.

— А кто прячется? Мы никого не боимся, все на виду,— нараспев ответила баба, поведя глазами.

— А где же ваши барышни?..

— Барышни спать пошли... У нас ложатся спозаранку; как стадо пригонят, молочка парного попьют и лягут...

— И никто у вас не бывает, ни с кем не знакомы?

— Зачем, наши барышни очень себя соблюдают...

— Ох, баба лукавая, сама-то ты себя соблюдаешь ли?

Баба сейчас же удивилась и подняла черные брови...

— А вы откуда знаете?..

— Все знаю, на аршин под тобой вижу; знаю, например, что барышни ваши наверху живут.

— Ох, батюшки.

— И комната их направо по коридору...

— Вот и неправда — налево.

— Ты от сада считаешь?

— Ну да.

— А я от крыльца. Как тебя зовут?

— Анисья.

— Щекотки боишься?

Тут баба совсем растерялась; Иван Васильевич, пощекотав ее для вида, выспросил между смехом все, что надо, и на прощанье шлепнул по спине; баба убежала. А он задул свечи и, посмотрев, не бегают ли собаки, выпрыгнул в сад.

Все окна были темны, кроме последнего наверху, завешенного шторой. Напротив росла осина, дерево ненадежное, но Иван Васильевич все-таки рискнул: подпрыгнув, ухватился за ветку и полез наверх, выбирая крепкие сучки; в уровень раскрытого окна пригнулся и в щель не совсем задвинутой занавески увидел угол ковра, на нем туфельку, пару той, что лежала в кармане, и край тяжелого кресла, должно быть у кровати. Вслед за этим услышал он ровный голос. Это сестра сестре читала вслух «Обрыв».

«Вот черт, хоть бы ветер подул,— подумал Иван Васильевич,— или веткой, что ли, отогнуть занавеску...»

— Ах, ну что же из этого, — вдруг перебил чтение тоненький взволнованный голос, — ты сама видишь — писатель вывел самых лучших девушек, и все-таки одна не выдержала...

— Сегодня, право, Анюта, не узнаю тебя, — ответил голос читавшей, — ты взволнована... Неужто тебе нужна вся эта грубость...

— Все-таки любопытно... Ты говоришь, мы должны жить, как чистые ангелы... Какие мы ангелы... вот роман читаем: сама же ты рассказывала — на прошлой неделе всю ночь офицер тебе снился...

— И я тоже страдаю, потому что мы земнородные... Пойми — каждая девушка хранит небесный огонь. А мужчина смертный — его дело похитить огонь, а наше хранить. Вот почему к нам лезут со всех сторон...

— Почему же его и не отдать, если им так уж нужно, — помолчав, негромко возразила Анюта; Иван Васильевич завозился в листве...

— Какая ты ничтожная, как хочется тебе всей этой будничной гадости... Неужто ты не в силах сломить желание; ужасно, у каждой из нас словно жернов привешен... Будь сильной, Анюта; ведь если в лесу с тобой повстречаются волки, ты не захочешь, чтобы съели тебя...

На это Анюта ничего не ответила, вздохнула только и попросила:

— Варя, погадай мне.

Иван Васильевич, сощуря глаз, вытянул шею и увидел: на ковер вступила босая нога и пролетел за нею белый подол юбки...

Варя принесла карты и, раскладывая их, заговорила:

— Ну что гадать — только расстраиваться... Конечно, и для нас придет день, как и для всякой девушки, так уж лучше не думать о нем, не ждать, оттягивать... Из умных станем мы обыкновенными, из прозорливых — слепыми... Узнаем и роды и смерть... Но что это — смотри, как легли карты! Тебе грозит опасность. На сердце красный валет. Ты что-то скрыла, Анюта, будто вблизи нас злая воля. Враг... Туз. Постой, я разложу еще...

Стало вдруг очень тихо. И за окном и в комнате. Шелестели только листья... Вдруг Варя воскликнула с испугом:

— Смотри, опять те же карты! Рукой моей кто-то водит...

— Покажи, покажи...

— Нельзя... Я чувствую, кто-то у нас за окном...

Вслед за этим слышно было, как на ковер прыгнули девичьи ноги; занавес, отогнутый пальцами, распахнулся, выпустив свет в густую листву, и через подоконник перегнулась Варя; две косы ее упали наперед, шея вытянулась. Она вскрикнула и взялась за раму: из листвы глядело на нее усатое лицо с блестящими глазами.

4

Если бы Иван Васильевич был на земле или невысоко над ней, он спрыгнул бы и удрал конечно. Но сейчас он вцепился только покрепче в ветви и молчал...

— Кто вы? — спросила Варя...

— Ай! — крикнула изнутри Анюта...

— Я случайно сюда попал,— ответил, наконец, Кремер,— хотел передать туфельку — вы потеряли ее...

— Это — моя, дайте сюда! — воскликнула Анюта и появилась в окне рядом с сестрой. Обе они были в ночных кофточках и белых юбках... У Анюты золотые волосы были окручены вокруг головы, щеку ее и ухо заливал свет лампы, худощавое лицо Вари осталось в тени...

— Дайте туфлю и убирайтесь,— сказала Варя,— иначе я позову на помощь...

— Что ты, все услышат, стыд какой! — перебила Анюта.— А вы не свалитесь? Ведь это вы приехали сегодня на тройке?.. Господи, какой смешной, полез на дерево...

И, хлопнув ладошами, она принялась смеяться... Кремер поглядел вниз: под деревом, ворча, уже сидели собаки...

— Ну, уж я теперь ни за что не слезу,— сказал он,— извините, я подслушал ваш разговор...

— Какая гадость, — воскликнула Варя...

— Нет, отчего же, я бы на вашем месте пригласил советчика... Вопрос очень сложный...

— Он еще рассуждает, — перебила Анюта, — а вам удобно сидеть?

— Превосходно... Мне кажется, что ваша сестра немного ошибается: я никогда не понимал отшельников; по-моему, они — эгоисты и все; если у вас есть сокровище — отдайте его поскорее нам грешным. Что бы стало, если бы все девушки заперлись в терему...

— Вот слово в слово весь вечер ей толковала, — сказала Анюта...

— Молчи, молчи, — прикрикнула Варя, но сестра уже села на подоконник, охватив колено, и продолжала: — Как папа умер, Варя принялась ходить в церковь, служить обедни и решила, что мы не должны быть такими, как все... А я — самая обыкновенная, вроде нашей Анисьи.

— Боже мой, что ты говоришь, — опять перебила Варя, прислонясь с другой стороны к окну, — послушайте, сударь, если вы только человек, убирайтесь; это неприлично, это неслыханно, этого не бывает...

— К несчастью, убраться могу только через вашу комнату...

— Давайте руки! — сейчас же воскликнула Анюта; Иван Васильевич почувствовал в своей руке и вокруг кисти горячие ладони, изловчился и с ветки прыгнул на подоконник и в комнату. Анюта смеялась этому, тряся пальцами. Варя же, гневная, с пылающими глазами, раскрыла дверь, повторяя:

— Уходите, уходите, не оглядывайтесь...

Иван Васильевич все-таки оглянулся. Комната была белая, с двумя кроватями и кружевным туалетом; на ковре валялись рассыпанные карты.

— Хотите, я вам погадаю, — сказал он, мигнув от такой наглости.

— Убирайтесь, — топнув ногой, повторила Варя.

— Нет уж, если он действительно так нахально поступил с нами, пусть останется в круглые дураки играть, — ответила Анюта, соскальзывая с окошка.

Варя сейчас же повернулась, взяла соль, понюхала и сказала:

— Все равно я отсюда не уйду...

А Кремер спросил:

— Если я проиграю, то что?

— То вы останетесь у нас до тех пор, пока мне не надоест! — воскликнула Анюта, присев над рассыпанными картами.

Когда неслышно подошла по коридору тетушка, взволнованная необычайной возней наверху, и отворила дверь, брови у нее поехали вверх, глаза замигали и задрожал дрожью старушечий подбородок. У стены, заложив руки, стояла Варя, как всегда, но кривила тонкие губы усмешкой. Анюта же, повалясь на кресло, охала и топала ногами, а посредине комнаты на ковре сидел Иван Васильевич в ночном чепце...

— В дураках, в дураках, ни разу не выиграл,— проговорила Анюта, вскочила, поцеловала тетушку и прошептала громко: — Почему вы раньше не говорили, что на свете такие смешные люди живут? Знаете, на что мы с ним играли?.. Если я выиграю...

— Да, я действительно проиграл,— ответил Кремер.

Тетка перевела глаза на Варю, которая пожала плечами и отвернулась, как бы утверждая: «Я всегда от нее ожидала этой низости».

— Дураки дураками, а стыд какой, ночью по окошкам лазить, идите спать, сударь,— твердо проговорила тетушка и, выведя в темный коридор гостя, стала строго на него смотреть.

— Удивительная, знаете, эта игра в круглые дураки,— начал Кремер шепотом.

— Нет, уж сама вижу, что дело нешуточное... Спасибо вам, батюшка, ведь к нашим-то дурам только смехом и можно было пробраться,— перебила тетушка,— все ведь девушки своенравные, а наши пуще того... Ну а теперь, слава богу, женитесь, батюшка, на здоровье...

— То есть вы как это, ого...— начал Иван Васильевич; подумал минуту и, взяв тетку под локоть, окончил деловито,— пожалуй, вы правы... Сейчас соображу...

ТРАГИК

А. В. Кандауровой и К. В. Кандаурову
в знак дружбы.

Заблудился я потому, что ямщик, старый солдат, служил когда-то в Ташкенте и ходил на Аму-Дарью. Всю дорогу, повернув ко мне прикрытое чапаном костлявое равнодушное лицо, пытался он рассказать про давнишнее. Но из всего припомнил только, что на песках растет куст саксаул, такой твердый — ногу напорешь.

Должно быть, ему и самому было обидно, что забыл он про чудесную страну, разъезжая на облучке в февральские вьюги, и на мои вопросы отвечал со вздохом: «Запамятовал, барин, а видел много всего».

Когда же вокруг стемнело и я сказал: «Послушай, мы, кажется, без дороги едем»,— ямщик долго молчал, потом ответил: «Темнота; где ее тут разберешь, дорогу». И уже долго спустя, когда появился впереди нас красноватый огонек, ямщик сказал еще:

— Выбились, а я полагал — замерзнем.

Завязив лошадей и перепрокинув сани, мы подъехали, наконец, к балкону с колоннами и двумя полукруглыми окошками наверху, откуда шел заманивший нас свет.

— Ах, про́пасть! Это, барин,— Чувашки. Доведется нам гнать до села! — проворчал ямщик, слезая с облучка.

— А здесь разве нельзя переждать?

— Можно, отчего нельзя.

Я вылез в снег, а ямщик, сняв рукавицы, захватил из саней сена, отнес на балкон, отпряг коренного, ввел его по ступенькам и за колоннами привязал к дверной ручке.

— Он у меня зябкий: пристяжных у саней можно оставить, а коренной очень обидчивый,— сказал ямщик...

— Как ты так распорядился, веди лошадей на конюшню.

— Нет,— ответил он,— не поведу; в усадьбе один конь, и того в дому держат — конюшни провалились. Да вы не сомневайтесь, заходите, погреетесь.

И он повел меня между высоким сугробом и облупленной стеной к небо́льшому крылечку, через которое мы зашли внутрь, в темноту. Я передвинул кнопку электрического фонарика, и белый, овальным конусом, свет открыл передо мной длинный штукатуренный коридор и в глубине ударился в стеклянную дверь, всю в инее.

— Идите прямо,— сказал ямщик,— за дверью там у них лесенка устроена. Прямо к Ивану Степанычу попадете, а я около коней покручусь,— и, уходя, он добавил: — Разве мыслимо этакий дом натопить? И так половину сада спалили...

За стеклянной дверью нашел я винтовую лесенку и, треща морозными ступеньками, поднялся наверх в круглую залу с мозаичным замусоренным полом, полуколоннами, подпирающими шатровый потолок, и хрустальной люстрой, задрожавшей от моих шагов.

Освещенные фонариком, появились между колонн шкафы, полные книг; дверцы одного были раскрыты, и на полу валялись несколько томов: должно быть, их вытаскивали охапкой и они падали по пути. Пока я оглядывался, в глубине левой анфилады комнат хлопнула дверь, раздался гулкий голос, навстречу мне понеслись мягкие поспешные шаги, и я разглядел человека небольшого роста, без шапки и в пальто; ладонью он заслонял

на бегу свечку, и, когда остановился неподалеку, свет озарил бритое его оплывшее лицо и черные круглые глаза.

— Вот обрадовал! — воскликнул он необыкновенно задушевным голосом, назвал мою фамилию и принялся трясти свободной рукой за руку.— Скучища невероятная, и все печи развалились,— ючусь в угловой, топлю книжками; представьте, бегу сюда, и вдруг встреча. Пожалуйте, дорогой мой...

Я извинился, объяснил, как попал сюда, и попросил ночлега. Взяв под руку, незнакомец повел меня через парадные комнаты, иногда останавливаясь и поднимая свечу...

— Стиль Людовика,— говорил он, все время обрывая нервный смешок,— как вы думаете? А впрочем, наплевать,— все это сгнило, плесень... И, знаете ли, сова даже завелась. Я мышей наловлю в мышеловку и даю совушке. Вот она, смотрите,— прошептал он, приседая, и указал на верх изразцовой печи, где сидела сова. А с боков печи на облезлых стенах висели портреты, запушенные инеем.

— Предки-с!— радостно воскликнул он.— Часто беседую с ними от скуки. Этот вот генерал — петербургская штука, поглядите...

Он быстро потер ладонью по полотну; из-под нее выступила красная грудь мундира, перехваченного лентой ордена, потом бритый подбородок и губы, тонкие и кривые, как у незнакомца.

— Андреевская лента, честное слово... Генерал Кривичев. Предок... Глаза удивительные; я их бумажками заклеиваю... до того неприятны... И похожи на мои. Я ведь — тоже Кривичев... Иван Степаныч...— Он помолчал.— Слыхали, наверно,— актер. У нас теперь тяжба с Бабичевыми,— он ткнул пальцем на другой портрет,— вот с этими. Не можем именья разделить. От Кривичевых сижу я доверенным лицом, не допускаю. А от Бабичевых,— он втянул голову и хрипло прошептал:— ведьму прислали, следить за мной... Я ее гвоздем к стене приколочу... Шуток над собой не допущу. Пусть она помнит, кто я...— Он вдруг посмотрел на меня, улыбнулся добродушно и потащил через залу в кори-

дорчик, где шепнул: — Тише, не стучите, не разговаривайте...— И, уже толкаясь, пробежал к дверце, проскользнул вместе со мной внутрь, щелкнул ключом и, ставя свечу на комод, воскликнул радостно:— Проскочили!

В комнате было жарко. Я снял с себя тяжелую одежду и огляделся. Комната была низкая и длинная, с двумя полукруглыми окнами в конце; на подоконниках стояли ведерные бутылки с наливкой. К потолку была подвешена простая лампа, освещая рваные ковры на одной стене; напротив — большой стол, заваленный пестрой, странного вида рухлядью: банками, париками, цветной обувью, медными шлемами, рукоятками мечей; и тут же лежали книги (Иван Степанович, очевидно, жег их все-таки с разбором); в дальнем же углу стоял помост и висела черная, с цветочками, занавеска...

— Рабочий кабинет,— потирая руки, сказал Иван Степанович и указал на стену, где один над другим висели пестрые костюмы, латы и плащи... И, видя, что я все еще недоумеваю, он повторил:— Вспомните-ка,— Иван Кривичев — вместе на пароходе ехали из Рыбинска.

И тотчас я вспомнил деревянный театр, полуоткрытый сзади, и у тусклой рампы, перед намалеванными кустами,— коротенькую фигуру короля, в картонной короне, в шелковых отрепьях, с пучком соломы в руке. И как вслед за свистом плохо сделанной бури раздался откуда-то сверху уверенный и наглый свист... И как Лир приподнял брови и кивнул головой, словно говоря: «Ну да, пожалуйста, дайте уж кончу...»

— Так вот как! Вы, значит, Кривичев, трагик,— сказал я.— Как же сюда попали? Странно.

— Странного ничего нет,— ответил Иван Степанович, подошел к окну, нагнул бутыль, налил два стакана; один предложил мне, другой сейчас же выпил, не вытирая губ.—Во-первых, милостивый государь, я люблю уединение. И потом я не желаю расточать себя на грязных подмостках. Чего они стоят? Четыре часа безумия, когда сердце готово лопнуть,— и за это платят деньги. Нет, я — артист, а не актер. Прошу различать. Актеру — венки и пошлые рукоплескания, а мне —

лишь потрясение души. К чему зритель? Я давно покинул толпу. Играю для себя... Вот здесь!..

Он отдернул ситцевую занавеску. За ней, на двух сходящихся стенах, было написано: извергающийся вулкан, два дерева с фонтаном и луна...

— Между страстью и меланхолией лежит весь миллион переживаний,— сказал Иван Степанович.— Вот мой театр. Играю один классический репертуар... Располагайтесь удобнее... Кажется, я вам еще не надоел.

Иван Степанович мимоходом выпил еще наливки, сбросил пальто, сел, застенчиво улыбнулся и принялся стаскивать панталоны...

— Только не обращайте внимания,— сказал он.— У меня — небольшой подъем сейчас... А я люблю, признаться, эти минуты.

Он поспешно натянул трико, ботфорты, накинул поверх коричневой своей фуфайки бархатный плащ...

— Ни одного бурана не проходит, чтобы кого-нибудь не занесло... Иначе совсем капут... Ведьма заела... Вы еще ее не знаете,— он вдруг оборвал, подкрался к двери и прислушался.— Молчит... боится... Я ее сегодня отбрил...— прошептал он и уставился на меня со страхом.— Вы что подумали? Бритвой отбрил? Пожалуй, черт знает что еще подумаете...

Он закрыл глаза, вздрогнул, словно от озноба.

— Внизу стряпуха живет, на ночь запирается, такой на нее нападает страх... Очень у нас нехорошо. Никакого нет порядку. Я говорил братьям: «За какие такие грехи отдуваться я должен у вас в пустом дому? За то, что неудавшийся актер, что ли? За это жалеть надо...» А они разочарованного, без участия, без ласки, заперли на смех... Какова человеческая жестокость!.. Да ведь промотался я для искусства... Двадцать два года играл... А знаете, почему оставил сцену? Я трагических любовников играю, а на самом деле не любил ни разу... Вот и решился сначала полюбить, а потом изображать любовь... Я братьям написал: двадцать два года, мол, ошибался, теперь я нашел себя, могу играть... Я пробовал... На этих подмостках до обморока сам себя доводил... Пусть только денег пришлют на выезд.

Иван Степанович надвинул шляпу с пером на глаза, оперся на эфес шпаги, локтем откинул красный плащ и сердито поглядел на меня.

— Думаете: вот влюбился старый дурак, заперли его с ведьмой, так он и в ведьму влюбился. Я бы вас посадил на денек с этой женщиной. Глаз с меня не спускает. Я — слово, я — шаг,— она все в журнал записывает. Исключительно для надругательства. У нее ничего человеческого нет,— провались она пропадом. Через нее и пью! Пропита! Прожита! Опоганена вся душа!..

При этих словах Иван Степанович швырнул шляпу, взъерошил полуседые волосы и ступил к подмосткам. Я молчал. Все это вышло у него плохо — неестественно. Он и сам это заметил. Покачал головой, усмехнулся.

— Наигрываю. Сорвался с тона. А?..— сказал он.— Я лучше из Шекспира что-нибудь...

Он взошел на помост, задумался, схватив подбородок, и потом проговорил странным, иным голосом, от которого у меня сразу закололо по спине:

— Офелия, иди в монастырь! Иди в монастырь. Не отпирая дверей...— Он страшно поднял брови и зашептал: — А если он, со зверской лаской, ворвется в девичью обитель, ты шаль свяжи на девственной груди и тайно в узел спрячь иглу.

Иван Степанович вдруг надул щеки, выпустил воздух, сел на ступеньку, уронил голову на руки и заплакал.

— Забыл... Все перепутал,— проговорил он.— Какая досада!

Вдруг постучались. Иван Степанович сорвался с помоста и, навалившись на дверь, едва проговорил:

— Кто здесь?

— А я это,— ответил ямщик,— промерз.

Иван Степанович впустил его, совсем уже обсосуленного и запушенного снегом.

— Погреться хотел в кухне, а прислуга не отпирает, боится, что ли,— проговорил он, переминаясь.

— Так пей же, пей, пей! — воскликнул Иван Степанович, суя бутылкой в ямщика.

Тот степенно посторонился и попросил стаканчик и хлеба. Подав все это, Кривичев вытолкал ямщика и глядел в дверь, пока тот не скрылся совсем.

— Я думал, это полиция,— сказал он наконец, подойдя ко мне.— Случилась небольшая неприятность. Впрочем, не стоит. О чем бишь я начал? Да. Хотите на коньках покататься? Внизу в зале я отличный каток устроил. Сам воду носил — поливал паркет; покатаешься, потом из окошка прямо в сад и на речку. Очень удобно. Впрочем, сейчас снегу нанесло. Снег — как саван,— заметет, засыплет, и следов нет. Например, человека положить с вечера под пригорком, а утром занесет его ровненько, и так до весны никто не узнает. Я давно об этом все думаю. Так вам не понравился Гамлет? Впрочем, я не играл. О господи!

Иван Степанович взялся за голову, словно неотступная какая-то мысль гнела его, отпустила на минуту и накидывалась с новой силой.

— Она совсем не ведьма,— сказал он неожиданно,— она хорошая. Я все вам наврал. Ее сюда из Петербурга прислали. Во избежание скандала. Понимаете ли, из дому ушла с одним актером. С подлецом. Вроде меня. Родила в больнице. Вернулась в Петербург, но домой не пошла, а прямо на улицу. Захватил ночной обход. Личность выяснять принялись. Оказывается, родитель-то ее на самых верхах. Вот с урядником и прислали сюда. И пятьдесят рублей каждое первое число выдают. Какая девушка! Какая жизнь разбита!.. Ох, попался бы мне этот актеришка. Знаете что? Пойдемте лучше к ней.

Иван Степанович схватил меня за руку, и в глазах его появился как будто ужас. Мне стало неприятно, а он тащил меня со стула, и мы, отворив осторожно дверь, высунулись в коридор. Наискосок была другая двустворчатая дубовая дверца; в щель у пола оттуда шел желтоватый свет; указав на него, Иван Степанович прошептал, тиская мою руку:

— Видели... Я так и не потушил... Пусть горит...

— Что с вами? Что вы тут наделали? — закричал я,

вырывая руку, но он вцепился, повис на мне, прилип, приговаривая:

— Не кричите... Не уходите... Не догадывайтесь... Все равно не выпущу... Вы доносить поскачете... Какое вам дело?.. Мы промежду себя разобрались... Я все объясню... Она меня видеть не могла... Один мой вид ее в истерику приводил... И над искусством издевалась... Я читаю, — она же у двери висит — покатывается... Мне потрясения нужны... Величайшие трагедии души... Надо на самом деле увидеть, как под ножом содрогнется... обожаемое существо. Иначе искусства нет... Кабы не ее злоба... я бы никогда не решился... А теперь я — артист... Я — гений... Я пешком в Петербург пойду... Я им покажу, как играет Иван Кривичев...

Я вырвался наконец, отбежал, помня, что надо захватить шубу, но Иван Степанович ничего не заметил: потный, красный, маленький, в волочащемся плаще и шляпе, огромная тень от пера которой прыгала по стене, он размахивал кулаком, ходил вправо и влево и выкрикивал уже совсем бессвязное...

Наконец блуждающие глаза его остановились на дубовой двери... Он присел, подкрался и, сделав трагический жест, налег на ручку; ветхие половинки, треснув, разъединились, и раскрылась дверь... Я отвернулся. Но вдруг из глубины послышался усталый, раздраженный голос:

— Полно тебе, Иван Степанович, вот дверь сломал... Хоть бы чужого постеснялся...

И на пороге появилась девушка, высокая, очень худая, с длинным измученным лицом; покатые плечи ее были закутаны в оренбургский платок; волосы на затылке завязаны просто, и только пепельные круги под глазами и длинные, еще не наглядевшиеся на свет глаза ее были прекрасны...

Иван Степанович сморщился, засопел и стал придвигаться к своей двери... Девушка мне сказала:

— Вот так каждый день... Напьется, и у него идея такая, что он меня зарезал... И дождусь когда-нибудь. Неудачник он — вот все и виноваты... А когда трезвый — хороший, застенчивый...

Девушка улыбнулась невесело и сказала Ивану Степановичу:

— Ну, уж иди ко мне чай пить... И вы пожалуйте. Я до утра не ложусь.

— Машенька, — проговорил Иван Степанович,—ты пойми... как я мог удержаться... Вот свежий человек, — и он обратился ко мне: — она у меня милая, несчастная...

— Иван Степанович! — перебила Машенька строго.

— Да, да, да... Замолчал, замолчал...—Иван Степаныч притих совсем. Последовал за нами в Машенькину комнату — белую, чистую, строгую, с хорошим запахом сухих трав. На столе стояли свечи и самовар. Иван Степаныч, сгорбясь, сел в тень и скоро заснул. Машенька с улыбкой взглянула на него из-за самовара.

— Не может отвыкнуть; очень любит свое актерство, — сказала она, — уж чего он только ни выкидывал. Пусть поспит. Не будите его.

В это время вошел ямщик и сказал, что буран полегчал и кони зазябли... Я простился, поблагодарил Машеньку и закачался снова в маленьких санках по ухабам и неверному снегу. В открывшихся тучах стояла круглая луна. Впереди лошадей долго бежал заяц.

— А я маленько соврал, — сказал ямщик, оборотясь, — в кухню-то достучался... кухарка щами угостила и кашей. Рассказывала: шибко она боится у них жить... Вчера, говорит, барин за барышней с ножом по всему дому бегал... Барин, говорит, у них раньше человеком был, а теперь трагик...

МИССИОНЕР

Холодный дождь восьмые сутки заливал Париж. Гнилое небо иногда темнело совсем, ветер срывал остатки листьев, хлестал полосатыми парусинами, и уже не дождем, а прямо ушатами низвергалась низкая туча на аспидные крыши и асфальт. Фиакры и автомобили, с забрызганными стеклами, катились во множестве, останавливались на перекрестках, воняли бензиновой гарью; под мордами лошадей и мимо сетчатых радиаторов дрожащих от напряжения автобусов сновали двухколесные тачки и велосипеды с ящиками впереди... Все вожатые, кучера и шоферы одеты в резиновые плащи; случайные прохожие перебегали улицу, прикрываясь зонтами; вдоль тротуаров пенились потоки, с шумом уходя в подземелья... Такого дождя давно не помнил Париж...

И все это — и фонари, и голые деревья, и дома, и небо — отражалось в асфальте, как тень города, вызванная ноябрьской непогодой.

Я сидел в café у окна, невдалеке от шумных бульваров. За цинковым прилавком хозяин, похожий на циркового борца, с усами, разговаривал с двумя рабочими, повесившими, как и я, мокрые одежды на стенку. На той стороне улицы в лавках уже зажигали мутный газ... Торопиться было некуда; из разговора за

прилавком я узнал, что случилось сегодня в Париже и за границей. Отхлебнув из стакана, я опять принялся глядеть через окно на отражения.

В это время солнце, садясь где-то страшно далеко, нашло прорыв между туч, залило багровым светом глухую стену напротив, и дождь, прозрачный и крупный, вдруг стал падать сквозь этот свет. Я так загляделся, что, вздрогнув, уронил папироску, когда рядом воскликнули по-русски: «Ах ты шельма!»

Слова эти относились к игральной машинке, в таинственное и сложное нутро которой, недоумевая, глядел только что вошедший, небольшого роста человек в меховой шапке и с мокрым зонтом, зацепленным за карман. Игральные эти машинки, расписанные яркими картинками, стоят в каждом небольшом café. Опустив два су, можно при удаче выиграть пригоршню жетонов и на них тут же хорошо поесть и выпить...

— Что же теперь делать? — сказал незнакомец, поворачиваясь ко мне. Круглое лицо его было иззябшее, помятое, с хитрым прищуренным глазом и рыжими мокрыми усами, закрывавшими рот.

Хозяин и рабочие оглянулись насмешливо... Я тоже улыбнулся, и незнакомец продолжал, глядя в глаза:

— Не то обидно, что последний грош в эту прорву суешь, а почему здесь русскому человеку погибать приходится?.. Грабительные машинки понаставили, а сами как черти богатые...

— Присаживайтесь,— перебил я.— Прозябли?..

— Так точно! — поспешно воскликнул он, прикладывая пальцы к шапке.— Ефрейтор Гродненского полка Назар Иванов. Дозволите присесть? Сразу видно по обхождению — соотечественник...

Он сейчас же сел, вздохнул и покосился на мой стакан.

— Абсент ихний очень я пить приспособился,— много здоровее нашего вина. А в этакую, знаете ли, погоду никак нельзя без алкоголя... С семи часов по дождю бегаю... Вы что же, проездом? Ну, это ничего: а жить здесь не советую,— неприятный город.

Он сразу выпил абсент, покосился; я заказал еще, и Назар Иванов снял пальто, все время не переставая

говорить,— должно быть, боялся, что я соскучусь и уйду.

Сначала он предлагал мне поглядеть одно заведение с голыми девочками; потом—паноптикум; Эйфелеву башню; морг; человека, который с завязанными за спиной руками, голый по пояс, входит в клетку с крысами и грызет их зубами,— зрелище, по его словам, аристократическое; наконец намекнул, не желаю ли посмотреть, как он сам будет есть горящую газету. И когда я все это отклонил, спросил с беспокойством, по какой же я буду части.

— А вы расскажите-ка лучше, как сюда попали? — спросил я.

— Пострадал,— ответил он,— и, как говорится: «ем-игрант». Про бунт в нашем полку слыхали? В девятьсот пятом году... У меня кум — пограничник; как усмирять нас приехали, он и говорит: «Кому Сибирь, а тебе, Назар, на веревку,— валяй через границу»... Я и перебежал... Прямо к немцам... А они нашего брата терпеть не могут. Не то что пить-есть вынести, а норовит каждый тебя в участок... И все штраф: на траву лег — штраф, перелез через забор — штраф... Я и ухитрился: ночью иду, а днем сплю в саду на лавочке... Когда невтерпеж стало, поехал по четвертому классу, и деньжонки мои сразу выскочили. Стал я по ночам морковь дергать, а поутру пил молоко; народ у них глупый: на заре молочница проедет по городу и у каждой двери оставит цинковую сосудину с молоком; очень эти сосудины мне подсобили. Наконец слышу — по-другому залопотали, и народ стал легче. Раздумался я: бог ее знает, как ихняя земля заворачивает, может от начальства нашего совсем недалеко. Пойду, думаю, до моря. И в городе Брюсселе встретил земляка — живописец, хороший человек, только очень охальный; поместил меня у себя; утром раздел до исподнего, поставил на ящик. «Ты, говорит, в комплекции, стой, не вертись», и принялся зарисовывать. А потом женщину привел и со мной поставил, тоже в натуральном виде. Стал я тогда проситься дальше,— порядки, мол, ваши тяжелы. «Хорошо, говорит, я сам тоже уезжаю в Париж, там тебе будет всего спокойнее». Купили билет,

приехали. С тех пор здесь и околачиваюсь. Кабы по-нашему народ здешний говорил, совсем жить ничего.

— На что же вы здесь существуете? — спросил я, заказав еще абсенту.

— Жил я одно время очень хорошо. Жену, хозяйство завел, все как полагается. Сейчас действительно туго, но ведь и купец — когда торгует, а когда и в кулак свищет. Сначала живописец приспособил меня по голому делу. А я галицкий,— мы все — каменщики. Прохожу раз мимо постройки, вижу — народ лениво работает; сейчас пиджак долой, рукава засучил, полез на леса; на меня кричат. Я молчу, работаю. Меня бить, я тоже — ничего,— так и взяли. Подрядчик остался даже доволен. Получил я в субботу деньги, прихожу к живописцу и говорю: «Ищите себе другого голого, а я больше не хочу». Ну, а он меня понял и еще старое платье подарил, дай бог ему здоровья.

Платили мне хорошо, а денег уходило еще больше. Стал я думать: неужто весь век на лесах висеть? Надо жениться. И присмотрел на базаре одну бабу, здоровеннейшея, полнокровная, только глаза одного не хватает; торговка, Маркета по имени,— теперешняя моя супруга. Походил я дня три на базар, вижу — не может француз понять такую толстую бабу, сидит одна, без внимания. Я к ней и подкатился, подкашлянул, говорю: «Банжур, мадам, коман са ва» — и такое прочее, и ткнул ее в бочок. Все поняла окаянная: «Кошон, кошон»,— залопотала; сама смеется да меня локтем, а я ее в другой бок поздоровее, потом ногами затопал и на голову себе корзинку надел, чтобы чуднее было: женщина иностранная, с ними обхождение нужно веселое, не то что с нашей бабой. Так она до того разгрохоталась со смеху — унять не могли...

А вскорости и ночевать к ней стал ходить; парень я был такой видный, и стала моя Маркета сомневаться,— приду на базар, она на женщин единственным глазом как зверь глядит. И принялась она мне чего-то все повторять, а сама плачет. Я, конечно, не понимаю, только подмигиваю — согласен, мол: «ком ву вуле, алон куше» и такое прочее... И повела она меня к ихнему попу. Обвенчались по всей форме. А тут Маркетин отец

помер, оставил нам деньжонок. Сняли мы кабачок на рабочей улице; стали жить хорошо. Удержаться русскому человеку от алкоголя трудно, а тут все свое; начал я понемногу зашибать и работу на постройке бросил. И вино это больше пил я от душевного расстройства. Утром моя Маркета натощак как начнет тебе трещать по-ихнему: тара, бара, тара, бара — голова разболится от скуки, ничего не понимаю и расстраиваюсь...

Ничего у них просто не делается,— все с хитростью... Придет в кабак пьяный, усядется, рубаха у него без пояса, сапоги деревянные, ладонью по столу ударит — подать ему абсенту; он и начнет разговор, и никак не разберешь — ругается, обиделся на тебя или так, голос грубый... А выпьет всего за вечер одну-две рюмки. Другой разойдется, думаю: слава богу, душа заиграла; глядишь, а он ничего не поломал и вполне приличный,— ах, скука!.. Раз только стачка у них была, животы подвело сильно,— а когда француз голодный, ему на все наплевать; много тогда бушевали, били городовых и выкинули флаг... Да разве еще испанца одного расстреляли совершенно напрасно,— тогда у нас улицу стали заваливать чем попало, фонари повыдергали, газ зажгли; проедет извозчик — и извозчика туда же в кучу; крик подняли, а наутро как встрепанные... Только подмигивают: как, мол, вчера-то... Французу только наесться, напиться, девчонку подхватить, сейчас начнет он мамашу свою вспоминать, и не как-нибудь по-нашему — матерно, а со слезой; расстроится и доволен. И любят они еще — бегать смотреть, как головы рубят, и хоть не увидит ничего, а только понюхает, где кровью пахнет.

Вот, когда Маркета моя родила, я было обрадовался, что все это у нее произошло обыкновенно, по-женскому. Только, смотрю,— она его не крестит. Как можно: мальчик помереть может... Значит, весь народ у них некрещеный. Решил я все это ей растолковать. Принес таз, налил воды, зажег свечку, походил кругом, побормотал, выговорил: «Господи, помилуй», и мальчика взял на руки, показать, как у нас макают вниз головой,— все для примера... И всполохнулась же моя

Маркета... Мальчишку выхватила, да кинулась с ним на улицу, да на весь квартал истошным голосом как закричит... И одолела меня совесть: что я делаю, с кем живу? Пошел к живописцу, а по пути свернул в кабак. Гляжу — за бильярдом ходят двое: один — высокий, как жердь, другой—коротенький, борода веником... Вот высокий и говорит короткому: «Режьте, батюшка, красного в лоб и от трех углов». А короткий отвечает: «Не учи меня, псаломщик». Тут я к батюшке подскочил, ручку облобызал, говорю: «Батюшка, помогите, душа пропадает». А псаломщик мне: «Иди проспись. Если по церковным делам, приходи завтра в сторожку, а сейчас убирайся прочь, батюшка прохлаждается».

Обиделся я на псаломщика, ударил себя в грудь и надрывающим криком рассказал всю свою жизнь, даже и то — за какие дела сюда попал.

— Много на тебе грехов: и государственных и личных,— сказал мне батюшка,— уж не знаю, как с тобой и быть... Разве уж для церкви постараешься.

Тут псаломщик отвел меня в сторону.

— Батюшка,— говорит,— вот на что тебе намекнул: ты постарайся — тащи к нам некрещеных детей и католиков,— за каждого тебе по десяти франков будем платить, мальчишку твоего окрестим даром; получишь прощение от правительства и благодарность. Понял?

— Как же их приведешь, когда они сами не хотят? — спрашиваю.

— Ну, уж ты исхитрись, за то и деньги платим.

Задал мне псаломщик загадку. Думал я, думал, весь затылок ногтями продрал. Пошел к живописцу, говорю: так и так, пишите мне по-французски одну записку: «Ничего не бойся», и другую: «Сего человека покарал бог за грехи; кто не желает, чтобы с ним случилось то же, пусть идет за несчастным и, кроме того, получит пять су». А кругом этого листа, по моей же просьбе, живописец намалевал отвратительных чертей. Взял я лист, прибил его верхним концом к небольшой палочке, накрутил на нее, а с нижнего конца привязал две гайки, чтобы она сразу раскручивалась; оделся как можно хуже — босиком, шапку вывернул — и пошел, как солнце встало, на главный рынок. Народу там —

видимо-невидимо; по кабакам пьяные франты ночь догуливают; жулики шарят по карманам, и подумать страшно, что всю эту прорву — капусту, морковь, тыквы, убоину, птицу,— все гора горой,— все в один день сожрут. Купил я здоровенный кочан капусты, выбрал местечко повиднее, сел, головой затряс, зарычал и начал капусту эту рвать зубами... Гляжу — народ собирается, а я стараюсь.

Когда сгрудился народ, я палочку обеими руками... поднял и развернул бумагу. Поднялся смех. Трое мальчишек подошли ко мне, спрашивают: «Каждому платишь по пяти су, не обманешь?» — «Нет...» — «Тогда веди крестить»... Привел их к священнику. Там удивились. Получил я за это дело тридцать франков. Некоторое время прошло, я — опять на рынок, тем же порядком — притворяюсь, народ сбежался, и вывел я в тот день пятнадцать душ — мальчишек, отборных сукиных детей... Батюшка меня и благодарить не знает как. Окрестили и этих, выдали мне деньги... Я опять за работу... А тут мальчишки на базаре хитрость мою пронюхали и устроили стачку, потребовали по пяти франков за крещение... Я — к псаломщику: «За десять франков мне расчета нет работать... Девчонка может пойти по десяти, а с мальчишки меньше как по двадцати взять не могу». Псаломщик как даст мне в зубы — прогнал. И тут я опомнился: что делаю! Куда себя готовлю! Седьмой день минутки трезвой не было. Это ли усердие!

Поутру однажды стучится ко мне бритый мужчина; входит и говорит по-русски: «Я — поп католический, а ты что делаешь, заблудшая душа? Не один ли бог? Не одна ли у нас вера?.. Малых отрываешь от церкви, они на деньги лишь польстились и теперь не ваши и не наши». Много тут он мне наговорил с горечью и посулил двадцать пять франков за мальчишку, если перегоню из православной к ним. Словом, растерзал меня окончательно. И я думаю: если уж я такой подлец, доведу себя до конца. Нашел знакомого мальчишку, выдал пять франков и перегнал к католикам. Вижу — удалось... И что же вы думаете? Я их всех из право-

славной обратно к католикам перегнал... Маркета моя только дивится — откуда у меня столько денег...

И начала меня уважать... А уж этого стерпеть никак невозможно. Лучше бы уж били. А французы, проклятые, кланяются мне всем кварталом...

Словом, как говорится, самый я злосчастный в Париже человек. Жить бы ровненько: помещением, пищей доволен. Нет. Вот я с вами говорю, а у меня свербит — нельзя ли и вас к католикам перегнать... Вот как я на человека стал смотреть... В прошлый месяц с приезжими русскими путался; для души — никакого от них удовольствия, только что почудней покажи. И до того они мне надоели, споил я одного — старичок такой, жеребчик,— и начал уговаривать: «Что вы, говорю, о двух головах? От вас землей пахнет!.. За неделю-то вы чего натворили!» Старичок мой навзрыд... А я его, пьяного, в экипаж и к католикам: «Нате, говорю, обрабатывайте...»

Перед Назаром Ивановым стояла теперь высокая стопочка фарфоровых блюдечек-подставок — по числу выпитых стаканов абсента... Глаза его казались такими же мутными, как зеленый свет фонаря за пелериной дождя на той стороне улицы...

— Вот и вся моя история,— проговорил Назар Иванов,— если что соврал — извините.

Было уже поздно. Я расплатился, простился с ним, вышел, раскрыв зонт, и, не найдя экипажа, пробирался кое-как по лужам... Вскоре меня нагнал Назар Иванов и пошел рядом, шлепая куда попало... Когда мы завернули в узкую глухую уличку, он вдруг резко остановился:

— Дайте сто франков.

— Что? — переспросил я.

— Сто франков,— говорю,— не глухие...

...Я пожал плечами и двинулся, но он схватил меня за плечо...

— Это вы что же делаете?.. Даром слушали?.. Это я вам даром язык-то трепал?.. Извините, здесь даром только глазами хлопают... Давайте сотню...

В глазах его разгоралось бешенство... Мне стало жутко. Улица была пуста...

— Нет у меня ста франков, оставь меня в покое...

— Ах ты сволочь, — сказал Назар, — я тебе покажу парижское удовольствие! — Он поспешно сунул руку в карман, отскочил на шаг, вынул, раскрыл нож, матово зловещий при свете фонаря, прямой клинок...

Спасли меня только звуки шагов: из-за угла появились две темные пелерины полицейских, — покачиваясь, не спеша, приближались два усатых сержанта. Назар Иванов сунул нож в карман... Рот его вдруг расплылся, он сорвал мокрую кепку: «До свиданьица, благодарю за угощение... Если случится, только кликните — я всегда в том кабаке... Могу показать в Париже любопытные вещи, господин...»

Не дожидаясь, когда поравняются полицейские, он повернулся, притопнув, быстро перешел улицу и скрылся в дождливом тумане...

А я свернул к бульварам, и долго еще блеск ножа мерещился мне в отблесках луж на черном асфальте.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕГИНА

1

В одной рубашке, шлепая босыми ногами, Растегин ворвался в кабинет. На огромном столе трещал телефон, соединенный с биржевым маклером. Александр Демьянович сорвал трубку и стал слушать. Низкий лоб его покрылся большими каплями, на скулах появились пятна, растрепанная борода, усы и все крупное красное лицо пришли в величайшее возбуждение. «Продавать!» — крикнул он и повалился в кожаное кресло.

Сейчас каждая минута приносила ему пятьдесят тысяч. Ошибки быть не могло, но все же Александр Демьянович грыз ноготь, курил папиросы одну за другой, и весь дубовый кабинет застилало, как сумерками, дымом.

Левая рука была занята телефонной трубкой, правая хватала то папиросы, то карандаш, то зажигательницу, пепел сыпался на голубую шелковую рубашку и прожег ее; волосатые ноги Александра Демьяновича ерзали в меху белого медведя. Бритый лакей принес кофе; Александр Демьянович гаркнул на него — «пошел» — и снова схватил телефонную трубку. На бирже начиналась паника... Растегин влез в кресло с ногами, закрыл глаза, стиснул зубы. В левое ухо его с треском неслись цифры с четырьмя, с пятью, потом с шестью нулями. Растегин тяжело дышал.

Вдруг дверь кабинета распахнулась от резкого толчка, и вошел молодой человек, небольшого роста, со злым и бледным лицом.

— Что это за фасон? Иди одевайся, — проговорил он деревянным голосом.

Растегин замахал рукой, зашептал:

— Молчи, молчи!

Художник Опахалов сел на угол стола, закурил папироску и, дожидаясь, пока кончат наживать шестой миллион, принялся оглядывать стены, вещи и самое рыже-голубое чудовище — Растегина.

— Обстановочка у тебя, как в парикмахерской, — сказал он отчетливо, — ты бы еще свадебную карету себе завел, ландо с гербами, урод!

Растегин швырнул трубку в аппарат и, почесывая волосатую грудь, растопырив голые ноги, закричал:

— Шабаш, довольно! Теперь желаю жить в свое удовольствие. Одних картин твоих, брат, на пятьдесят тысяч куплю.

Опахалов зажег сигару и, болтая ногой, сказал:

— Я в этот хлев ни одной картины тебе не продам. Что это у тебя за стиль? Для моих вещей требуется полный антураж, да и бороду сбрей, пожалуйста.

— Чтобы я для твоей картины бороду сбрил?

— Дело твое. И купишь еще красное дерево и карельскую березу, чтобы все было у тебя в стиле. Жить надо стильно, тогда и картины покупай.

Такие разговоры происходили у них часто. На этот раз Александр Демьянович поддался.

— Послушай, ты, как это говорится, берешься меня обработать до осени? Под двадцатые года? — спросил он после некоторого молчания.— К стилю я давно охоту имею. Некогда все было, сам знаешь. А уж за стиль взяться, тут дело не маленькое. Александра Ивановича знаешь, на Маросейке торгует, так он до того дошел, — спит, говорят, в неестественной позе, по Сомову. За ночь так наломается, едва живой. А ничего не поделаешь. Валяй, брат, вези меня брить!

Обработка Александра Демьяновича под стиль началась немедля. Растегин проявил в этом такую же настойчивость и сметку, как и во всех делах своих. Был

куплен старинный особняк на Пречистенке. И все антиквары, брик-а-брак и поставщики мебели кинулись разыскивать подлинную двадцатых годов обстановку. Решено было весь распорядок дома, до ночных туфель, до чайных ложек, пустить в подлинный стиль.

До середины июля Растегин и Опахалов ремонтировали и обставляли дом, собирали предков и старинную библиотеку. Александр Демьянович из некоторых книг вытверживал места наизусть, чтобы и разговор его не выпирал изо всего стиля уродски. Для окончания реставрации решено было съездить куда-нибудь в уезд, посмотреть на местах остатки старинного дворянского быта. Опахалов остался в Москве заканчивать панно и натюрморты для столовой, Растегин же выехал в Н-ский уезд одной из волжских губерний.

2

Высокая белесая рожь уходила во все стороны за холмы. Над раскаленной пылью дороги, куда мягко опускались копыта лошадей, висели большие мухи. Пыль, выбиваясь из-под конских ног, из-под колес, неслась клубом за тарантасом, садилась на кумачовую спину ямщика, на шляпу из дорогой соломы и подбитое шелком пальто Александра Демьяновича. Он уже давно бросил отряхиваться и вытирать лицо; по бритым щекам его полз пот, оставляя дорожки. Проселок впереди все время загибал, пропадая во ржи,— не было ему конца.

Александр Демьянович слез с парохода нынче в шесть утра и сейчас уже перестал представлять себе низенькие дома с колоннами, задумчивых обитателей, дороги из усадьбы в усадьбу через тенистые парки, за зеленью сирени — тургеневский профиль незнакомки. Рожь, пыль, мухи, зной пришибли воображение. Тележка, попадая в рытвины, встряхивалась точно со злостью; ямщик иногда привставал на козлах, кнутом промахивался по слепню на пристяжной и говорил с досадой:

— Слепень совсем лошадёв заел!

Дорога поднималась на холмы, опускалась, опять поднималась, вдалеке вставало из-за земли облако и таяло.

— Когда же ты, черт, доедешь,— стонал Александр Демьянович.

— А вон тебе и барыня Тимофеева,— ответил ямщик, указывая кнутом на верхушки деревьев.

Лошади свернули на межу. Из лощины поднимались огромные осокори и ветла; появилась красная крыша. Рожь по сторонам становилась все выше и выше и кончилась. Лошади въехали на пустой, поросший кудрявою травой дворик.

В глубине его между деревьев стоял ветхий дом. Окна с частыми переплетами обращены на желтоватую стену ржи. Дверь на крыльце была отворена; около, на травке, стояла худая женщина в коричневом платке на плечах; изо всей силы она тянула за веревку, привязанную к ошейнику большой собаки; унылая собака тянула в свою сторону, в дом. Когда лошади выехали изо ржи на дворик, женщина бросила веревку и обернулась; собака тотчас ушла в комнаты.

— Сама барыня,— сказал ямщик, лихо сдерживая лошадей, которые немедленно же и остановились.

Александр Демьянович, приподняв шляпу, выскочил из тарантаса, шаркнул ногой по траве и сказал:

— Растегин, заранее извиняюсь, я к вам по небольшому делу.

— А по делу, так в комнаты пожалуйте,— проговорила барыня тоненьким голосом и прошла вперед в темную прихожую.— Пыльное вы снимите здесь и сядьте в гостиной, к окошечку. Вот ведь у меня какая собака непослушная, тянешь ее, а она упирается.

Барыня Тимофеева, говоря это, отходила к стене и пропала в небольшой дверке. Растегин вошел в гостиную.

Здесь было головато и пусто. Засиженные мухами обои треснули кое-где и отклеились; более темные места указывали, что когда-то здесь висели портреты; ситцевый диванчик и кресла едва стояли на гнилых ногах; только у окна было придвинуто крепкое садовое

кресло, на него-то и сел Растегин, оглядываясь и думая:

«Странно; совсем что-то не то, хотя действительно записано (он посмотрел в блокнот) — дворянка Тимофеева, последний отпрыск Тимофеевых, были в боярской думе, при Борисе жалованы вотчины в Смоленской, в Казанской и прочее».

Размышляя об этом, он слушал, как за стеной повизгивала собака и слышался голос барыни: «Будешь ты у меня в комнаты шляться? Как тебе не стыдно? А еще умный. Иди к себе в будку. Смотри, рассержусь». После этих слов собака за стеной зарычала; барыня притихла. Растегин долго слушал, как жужжала муха между двух стекол, затем принялся покашливать, постукивать каблуком, от нетерпения и досады двинул кресло.

— Марья, поди посмотри, что это приезжий возится,— сказали за стенкой.

В гостиную осторожно заглянула толстая простоволосая баба.

— Баба, долго я буду тут дожидаться! — закричал на нее Растегин.

Баба ахнула и скрылась. Тотчас за стеной начали шептаться. Наконец барыня Тимофеева явилась к сердитому гостю, села на креслице, сложила на коленях руки и принялась молчать.

Лицо у нее, спокойно-наклонное к плечу, было узкое и в морщинах, волосы гладко зачесанные, с шевырюшкой на маковке; под заплатанной юбкой прятала она ноги в мужицких сапогах.

«О чем с такой чучелой разговаривать?» — подумал Растегин и сказал довольно сердито:

— Я путешествую для ознакомления с бытом помещиков, у меня есть рекомендательные письма, разрешите предложить несколько вопросов.

При этих словах барыня Тимофеева испугалась:

— Я дворянские внесла, и опекунские внесла, и земские. Это есть другая Тимофеева. Она действительно никогда ничего не платит.

Растегин сейчас же выяснил, что он — частное лицо и лишь просит продать ему что-либо из старины.

— Продать? Что же вам продать еще? — все еще растерянно сказала барыня.— А уж я струхнула, думала — какой-нибудь тайный агент. Коли надо вам, возьмите вот диванчик этот или кресла. Их действительно давно нужно продать.

— Нет ли у вас чего-либо постарее, более стильного?

— Ведь это тоже очень старое,— робко ответила барыня и, подумав, все же повела гостя в столовую. Здесь посреди комнаты стоял черепок с молоком да несколько стульев у стены, старое дамское седло на подставке.

— Вот седло разве,— проговорила она задумчиво.

Из столовой прошли в залу. Здесь уже ничего не стояло. Окна были зашиты досками; в глубине полуотворена дверь в небольшую комнату, залитую сейчас солнцем. На звук шагов оттуда послышалось рычание.

— Так и знала, что она туда забралась, мало ей во всем дому места. Неслух, вот я тебя плеткой! — воскликнула барыня и тронула Александра Демьяновича за рукав.— Сударь, помогите мне с ней справиться, пожалуйста.

Растегин вошел в освещенную комнату и поднял трость. С дивана в дверь с жалобным воем кинулась все та же собака.

— Вот что значит мужская рука в доме. А я что скажу — как об стену горох,— молвила барыня и потянула было Растегина из комнаты. Он же воскликнул удивленно:

— Послушайте, да ведь у вас тут целое сокровище запрятано. Та-та-та, покупаю весь кабинет.

Действительно, в небольшой комнате с темно-зелеными обоями стояли два тяжелых дивана с бронзой и резьбой, шкафы, полные старинных книг, столы — овальные и бобочком, конторка на витых ножках, в углу — горка с трубками. Сбоку непомерного кресла — пюпитр, на нем — развернутая книга, листы ее покрыты густою пылью; на всех вещах, на мелочах письменного стола, на пяльцах у окна, на корзинке с шерстью — серая пыль; казалось, вещи здесь никогда не сдвига-

лись со своих мест; только там, где лежала собака, можно было различить тусклый узор на штофе дивана.

— Ах, нет, я бы не хотела ни с чем этим расставаться,— после молчания прошептала барыня Тимофеева, и в испуганных глазах ее появились слезы.

Растегин потрепал ее по плечу и сказал:

— Если бы вы имели дело со скупщиком, тогда, конечно, барыня моя, но я, как говорится, по натуре — артист-реставратор. Я восстанавливаю не только внешний вид старины, но, так сказать, самый ее дух. За ценой не стою. Берите за все пять тысяч, ударим по рукам.

Барыня ахнула: пять тысяч!

— Вы сумасшедший,— прошептала она, отвернулась к окну, вынула платочек и, тихонько покачивая головой, долго стояла молча.— Знаете, мне самой ничего не нужно, но мои старики больше всего любили эту комнату. Я уже так ее и сохранила. Конечно, деньги требуются очень, но, боюсь, старики мои огорчатся; кабы я могла знать? Но нам разве дано знать о подобных вещах!

Растегин с удивлением оглядел ее сутулую спину, дрожащий кукиш волос на затылке, мужицкие сапоги. «Ого, барыня-то, кажется, того»,— подумал он и проговорил:

— А не напоите ли вы меня чаем? С утра, знаете ли, подвело.

На террасе накрыли чистенькой скатертью стол, толстая баба принесла измятый самовар, глиняный горшок с молоком, черные лепешки. Барыня, облокотясь на стол, помешивала ложечкой, глядела на зеленый дворик, на стену ржи, обогнувшей ветхую ограду, за которой стояла береза и небольшая часовня; глаза у барыни все еще были печальные. Посмотрев на нее, на всю ветхость вокруг, на измятый самовар, Александр Демьянович подумал: «Вот так двадцатые годы! — довольно скучно».

Он опять заговорил о кабинете, накинул две тысячи, просил хорошенько подумать до вечера и, докурив папиросу, бросил окурком в воробьев, которые пищали и прыгали на полу террасы.

— Они под часовней лежат. Гробы закрыты, но не заколочены, хотите посмотреть? — спросила барыня Тимофеева.

— Нет, благодарю вас,— ответил Растегин и подумал: «Шалишь, я за твоих покойников двугривенного не дам».

— Летом дни длинные, к ночи очень устаешь, а зимой дни короткие,— опять сказала она.

— Да, зимой день будет покороче.

— Сидишь одна по вечерам, раздумаешься, раздумаешься, пойдешь в кабинет, смотришь: а батюшка — в кресле, голову вот так опустит, будто смотрит себе на колени, а матушка на меня глядит, сидит и глядит. Они в один день умерли, совсем уже были старенькие. Конечно, вам тяжело отказывать себе, если так уж нравится кабинет. Но как же быть!

Она не спеша встала, предложила еще чаю, постучала по кринке с молоком пальцами, затем попросила обождать и пошла через дворик вдоль ржи, едва волнующейся колосьями выше ее головы, и скрылась за часовней.

Солнце тем временем село. Настал час, когда особенно кусаются комары. Растегин щелкал себя по шее, по щеке, принимался чесать ноги между башмаками и концами брюк. Опустилась роса, и комары, попищав, скрылись. В закате засияла звезда; темнело медленно. В дверях появилась унылая собака, понюхала и скрылась. Растегин поднес к носу часы. Было уже девять. По росе босиком подошла баба, взяла самовар, прижала его к толстой груди.

— Баба, куда барыня провалилась? — спросил Растегин злым голосом.

— Барыня давно спать легли. Летом наша барыня в часовне спит, а зимой в дому. Мы весь дом зимой топим, батюшка.— Баба вздохнула и пошла.

— Эй, ты, вели сию минуту лошадей подавать! — крикнул ей вдогонку Растегин и, глядя на обсыпавшие все небо звезды, на белеющую под ними рожь, на силуэт часовни с высокой березой, думал, куда ему теперь из этой чертовой дыры ехать и где заночевать.

3

Повороты с проселочных дорог всегда надо разыскивать от межевой ямы; в ночную пору если ямщик и нашел яму, опрокинувшись в нее вместе с лошадьми и тарантасом, то около оказываются уже не одна дорога, а сразу три, и, поехав по средней, попадешь на пашню или в овраг.

Так и Александр Демьянович, отъехав от барыни Тимофеевой, очутился, наконец, посреди поля; небо заволокло, звезды пропали, и едва видна была дуга на кореннике. Без шума катились колеса прямо по траве, и вдруг тарантас принялся подскакивать, крениться направо и налево; Александр Демьянович вцепился в железки, стиснул зубы.

Ямщик сказал спокойно:

— По пашне едем.

— Свороти на дорогу! — закричал Растегин.

— Сейчас выедем. Но, милые! Фу ты! Стой, стой! Ну что, если в овраг угодим? Чистое наказание, темень какую наворотило!

После этого долго стояли где-то, поворотив лошадей по ветру; ямщик, слезши с козел, оглядывался, топал ногой по пашне, кряхтел.

— Некуда ей и деваться, обязательно должна быть дорога; вот ведь ехали, ехали и заехали! — Наконец он, захватив кнут, сказал: — Вы тут подождите да крикните, когда я голос подам, а то и вас потеряешь,— и пропал в темноте.

Александр же Демьянович сидел, спрятавшись в воротник, и слушал, как негромко пел ветер в гривах, в плетеном кузове тарантаса; на нос и щеки падали иногда капли дождя; Растегину казалось, что с левой стороны черное место — овраг и колеса на краю обрыва; он боялся пошевелиться — вдруг дернут лошади.

— Триста лет, черт бы их задрал, помещики живут, и хоть бы дороги устроили; ну что стоит поставить фонарь... Темень проклятая! — бормотал Растегин.— Двадцатые года! Тысячу раз дурень этот ездит и каждый раз плутает, наверное.

Он, ворча и досадуя, начал зябнуть, зафыркал носом, завертелся.

— Василий! — закричал вдруг Растегин, высунувшись из воротника,— где ты?

Лошади сейчас же дернули и пошли; он кинулся к вожжам и, не найдя их, принялся взвизгивать не своим голосом; испуганные лошади побежали рысью, увозя тарантас прямо к черту. Вдруг коренник захрапел, ударился обо что-то, пристяжка запуталась, и лошади стали. Александр Демьянович с размаха налетел на козлы и различил впереди себя огромный крест.

Дрожь пробрала Растегина; не смея пошевелиться, вспомнил он, что подобные кресты ставят на местах, где находят путника, погибшего не своею смертью. Стало казаться, что повсюду из черной пашни торчат подобные кресты. И какие же люди должны жить в этом бездолье, бездорожье и темноте?

— Вот он и крест. Вот и дорога,— громко проговорил ямщик, вдруг появившись около тарантаса.— Видишь ты, куда заехали! К самому то есть мосту.— Он живо влез на козлы, присвистнул и поворотил направо.

Но направо моста не оказалось; повернули налево, и тоже не было моста. Ямщик поехал прямиком, но сейчас же осадил коней и сказал с испугом:

— Ну, барин, нас бог спас, гляди — совсем в овраг въехали.

— Нет, уж пожалуйста, я дальше не поеду,— стуча зубами, пробормотал Растегин и выскочил из тарантаса.— Какой ты ямщик! Дурак ты, а не ямщик!

— Земля, она — земля, разве ее поймешь? — ответил ямщик.

Светать еще не начинало, но понемногу небо зазеленело у краев, стали различимы и лошади, опустившие морды, и кузов тарантаса, и согнувшийся на козлах ямщик в картузе; а еще спустя немного проступила и трава и борозды пашен; издалека, едва слышно, донесся крик петуха.

— Кочета поют. Это ивановские петухи,— прошептал ямщик, вытянув ухо,— вот какого мы крюка дали.

— Почему это непременно ивановские петухи?

— По голосам слышно, голоса тонкие. У нас в Утевке у петуха голос грубый.

— Эх ты рожа, — с ненавистью сказал Растегин, ему так и чесалось стукнуть глупого ямщика, — куда ты меня спать повезешь?

— Куда ехали, туда и привезу. Разве мы зря завезем. Мы здесь с малолетства на этом деле, слава богу, сколько годов ездим. Рядились к барину Чувашеву на усадьбу, вот тебе за Ивановкой тут и усадьба.

Скоро совсем прояснило. Александр Демьянович влез в тарантас и замолчал. Ямщик, выбравшись из буераков, живо покатил по светлеющей дороге на крик петухов. Скоро забрехали собаки, вправо показались ометы соломы, избы, утонувшие в соломе, ветхие плетни, за которыми пели на тонкие голоса знаменитые ивановские кочета, влево же синела куща сада...

Ямщик, нахлестав, прокатил березовую подъездную аллею, завернулся на просторном дворе и стал около нового небольшого дома.

В одном окне горел свет. Растегин вылез из тарантаса, прижался к стеклу и увидел бревенчатую комнату, у одной стены — большой красный ящик на козлах, напротив — стол, на нем горящая свеча, две голых до локтя руки, в них растрепанная голова спящего человека, и от его локтя по всему краю стола лежащие окурки. По огромному усу Александр Демьянович признал в спящем старого своего приятеля, Семена Семеновича Чувашева. Он был известен в свое время за кутилу и бешеного игрока; и вот уже Александр Демьянович не помнил хорошо: Чувашева ли побили, Чувашев ли побил, или никто никого не бил, но какая-то дама вообще не вовремя родила, — словом, был скандал, и Чувашев пропал из Москвы.

Удивленный сейчас необычайным его видом, Растегин громко постучал в стекло. Чувашев испуганно вскинул голову, кинулся к ящику, открыл его, что-то понюхал, захлопнул и только тогда повернулся к окну.

— Семен Семенович, это я, не узнаете? — закричал Растегин.

Семен Семенович исчез и тотчас же появился на

крыльце, поддергивая клетчатые панталоны и недовольно щурясь.

— Ба-ба-ба,— проговорил он,— как не узнать. А за каким делом занесло вас в эту дыру? — И, не дожидаясь ответа, выпучил покрасневшие глаза на ямщика: — Ты что это у меня по клумбам ездишь! Молчать! — закричал он, хотя ямщик и не отвечал ничего, с видимым сожалением оглядывая помятые клумбы.

Александр Демьянович кое-как уладил дело,— дал завопившему внезапно ямщику на чай и вслед за хозяином вошел в дом. Уселись они за тем же столом, напротив красного ящика.

— Вы по какой, по пуговичной или по канительной части, я уж и забыл,— спросил Чувашев.

— У нас арматурный завод, окна и двери обделываем, да не в этом сила, на бирже немного подыграл, миллиончиков шесть,—ответил Александр Демьянович.

— Сколько? Так! А к нам зачем?

— За стилем.

Семен Семенович сейчас же вскочил и в волнении пробежался по комнате. Гость подробно объяснил ему цель и значение своей поездки. Чувашев остановился перед самым носом Александра Демьяновича, поддернул штаны и только крякнул, ничего не сказал и опять принялся бегать.

— Скажите, вы на ощупь чувствуете эти шесть миллионов? — спросил он наконец.— Ну и чувствуйте, черт с вами. Вот что я скажу: не туда заехали. Стиль этот я к себе на пистолетный выстрел не подпущу! Прадед, бабка и отец из-за стиля меня без штанов на белый свет выпустили. Досталось мне от батюшки вот сколько... А было... Эх! Зато теперь — шалишь, я в себе американскую складку нашел... Надо дело делать, надо деньги ковать, вот вам мой стиль.

— Так-то так, а только на земле много не наживете, спекулировать на ней — туда-сюда, а то рожь да рожь — противное занятие.

— Ну знаете, я не так глуп. Именьишко это дала мне одна добродетельная тетка в пожизненное пользование. Я спросил себя только: «Способен?» И — конец. Никаких размышлений. Вот мой принцип: каждую ми-

нуту я должен заработать минимум одну копейку: итого в сутки четырнадцать рублей сорок копеек, минимум, — Чувашев повернулся на каблуках и вдруг схватился за свой длинный нос, точно в испуге. — Тсс, — прошептал он, — вы ничего не слышали? Как будто пискнуло.

— Да, действительно кто-то пищит, — прошептал Растегин.

Семен Семенович живо подскочил к ящику, распахнул в боку его дверки и залез туда с головой.

— Вот это яйца, вот это я понимаю, ни одного болтуна, — проговорил он оттуда и вылез обратно, держа в руках пятерых только что вылупленных цыплят, — вот, не угодно ли, — пять паровых цыплят, а к осени будут у меня из них, на худой конец, пять петухов. Дело золотое, хотя беспокойное, — наладились, подлецы, выводиться по ночам; черт их знает — думаю, какая-то ошибка в инкубаторе; при этом паровой цыпленок — прирожденный хам, — ничего не боится, так и лезет под воронье. На! В каждом деле не без урону. Эх! Оборотный бы мне капитал, я бы всю Европу курятиной накормил. Теперь вот что — идем купаться и завтракать.

— Мало я расположен купаться, — возразил Растегин, но все же поплелся вслед за хозяином в дом. Бревенчатые комнаты были уставлены универсальной американской мебелью, везде висели карты, картограммы, чертежи, на столах и подоконниках стояли механизмы для ловли мышей, для переплета книг, для вязанья носков и кальсон, из одной машины торчал недошитый башмак и прочее и прочее.

Чувашев указал рукой на все это и сказал:

— В этом доме каждая минута превращается в мелкую монету: сам шью, сам вяжу, сам тачаю, сам продаю, мышеловка выдумана мной, патентована, принцип чисто психологически-вкусовой, мышь лезет в нее в невероятном количестве. Покупайте патент.

— Нет, я, знаете, лучше что-нибудь из старой мебели.

— А я говорю — такой мышеловки вы нигде не найдете.

— Нет, я патентом не интересуюсь.

— Купите одну модель. Поглядите, какая работа.

— Работа действительно хорошая.

— Берите, берите, по старой дружбе уступлю за пятьдесят рублей.

Александр Демьянович пожал плечами, все же вынул деньги, а мышеловку, не зная куда девать, положил в карман.

После этого приятели вышли на балкон, спустились в парк, сырой и туманный, прошли мимо клумб, разбитых еще в старину, а теперь засаженных капустой и салатами, обогнули дом, и Чувашев велел гостю подняться по лестнице на крышу. Здесь на высоких козлах стоял жестяной бак.

— Это мое второе изобретение,— сказал Чувашев,— я одновременно обливаюсь водой на свежем воздухе, не теряю времени шляться на речку, и уже использованная вода идет затем по желобам на поливку овощей. Не угодно ли под бак?

На крыше дул ветер, было сыро и холодно. Растегин понимал, что наверняка простудится, но хозяин так уговаривал, что пришлось все-таки раздеться и стать под бак, который тотчас сам и опрокинулся, обдав Растегина ледяной водой. Александр Демьянович молча схватил одежду, слез вниз и, трясясь и шепча ругательства, слушал, как наверху фыркает и возится американец.

После купанья завтракали на террасе. Александру Демьяновичу хотелось спать, но Чувашев повел его смотреть птичник, утиный садок, небольшой консервный завод, причем тут же продал впрок триста жестянок утиной печенки и еще кое-какого месива, вывел за ограду парка и указал на кучу земли, смешанной с навозом и порошком, его, Семен Семеновича, патентованным удобрением; но от покупки этого Александр Демьянович отказался наотрез. Больше смотреть было нечего. Приятели медленно возвращались по старой аллее в дом.

— Дорого бы я дал посмотреть, как живут настоящие помещики,— сказал Растегин,— вот одна такая аллея может облагородить человека.

Чувашев сейчас же остановился, ударил себя по лбу и воскликнул:

— Бац! О чем же я думаю! Сегодня везу вас на именины к Ражавитинову. Там увидите весь уезд. И уж такие двадцатые года — стул не передвинут. Меня по крайней мере всегда прямо тошнит в этом доме. Согласны? Вы мне дадите за это сто целковых.

— Да, знаете, вы действительно американец. Ну да ладно, ваша сила. Везите меня на именины,— сказал Растегин.

4

У больших окон ражавитинского дома беседовали дамы, глядя на подъезжающих гостей.

У каждого свой обычай подъезжать. Иной, надвинув картуз и подбоченясь, чертом вылетает на своих серых из тучи пыли под самое крыльцо; другой и клячонку выберет похуже и упряжь веревочную, и сам подмигивает на то, как дамы в окнах потешаются его видом; иной едет степенно и с важностью, как гусь, всходит на крыльцо; а иной спешит поскорее укрыться в дому, боясь пуще всего на свете — показаться смешным.

В одном окне стояли две барышни Петуховы, обе премило одетые в голубое, и рассказывали молодой вдове Сарафановой вполне дозволенные вещи.

Молодая же вдова внимательно слушала, как в следующем окне прокуренная табаком помещица Демонова ругала ее на все корки.

В третьем окне стояла хозяйка дома, всегда имеющая почему-то вид беременной, и с унынием глядела на толстую, высокую, красную, косую помещицу Тараканову, которая говорила восторженным басом: «Дорогая, я вас жалею от всего сердца, ваш муж просто воробей. Посмотрите: вот мой Петя — это идеал человека».

Идеал человека, без малого пудов на десять, находился тут же, одетый в табачный жакет и белые панталоны; он прятал одну руку за спину и слушал с милой улыбкой на круглом лице, похожем на овощ, иногда приговаривая шлепающими губами: «Ну, котик, ты уж слишком!»

Мимо окон спокойно прохаживалась девица Рубакина, рябая, в очках и в мужской поддевке. В уезде ее называли — «ефрейтор». Папаша Рубакин, со своими почками, сидел неподалеку в кресле и с любовью и страхом глядел на дочь, ожидая от нее всего. Она славилась как лихой наездник, стрелок и как большая умница с великими причудами. Прошлым летом были кавалерийские маневры, и «ефрейтор» участвовала в них, не слезая с седла: сама ходила с офицерами в атаки и на разведку, переплывала реку и хлопала водку, как сам эскадронный. Папаше Рубакину, при своих почках, пришлось трястись за ней недели две, старика это чуть не зарезало. Но все же ни один из офицеров так на ней и не женился.

В глубине белой, с колоннами и портретами, низкой залы стояли, дымя табаком, два брата Сомовы, в чесуче и с такими складками на шеях, будто они их перевязали веревочкой. Здесь же вертелся Дыркин, Петр Петрович, в полосатеньком пиджачке, который он при всяком случае называл петанлером.

О травосеянии как средстве удержать в помещичьих руках уплывающую землю беседовал с братьями Сомовыми националист Борода-Капустин. Другой, просто Капустин, держал за пуговицу своего дядю — маленького, усатого, взъерошенного либерала Долгова — и говорил:

— Если тебя приспичила совесть — возьми и поплачь, а мужиков не порти, не трогай.

— Все-таки, того-этого, ты меня лучше за пуговицу не держи,— отвечал Долгов.

Сам хозяин, Егор Егорыч, с виду совсем англичанин, хотя чрезмерно тучный, духом — коренной русак, характером же воробей, как выразилась Тараканова, все чаще пропадал за дверью, где звенели ножи, стучал фарфор, и оттуда долетал его веселый голос; появляясь в гостиной, он говорил:

— Господа, немного еще подождать умоляю, вот-вот Семочка Окоемов подъедет, без него, право же, нет аппетита.

Наконец одна из барышень, Петухова, воскликнула:

— Едет, едет!

Гости подошли к окнам, глядя, как через клеверное поле ехали два экипажа. В переднем сидел один, без кучера, Семочка Окоемов, в заднем — Чувашев и какой-то посторонний.

— Кто бы это мог быть? — задумчиво спросил папаша Рубакин.—Какой-то бритый, кажется симпатичный.

— Странная рожа,— сказал Сомов.

— Да, рожа скверная,— промычал младший Сомов.

— Еврей какой-то,— сказал Капустин.

— А надавай ему в шею,— проворчал Борода-Капустин.

Дыркин ничего не сказал; он внимательно вглядывался, точно признавал Растегина; старое, сморщенное лицо его изобразило почти испуг, верхняя губа приподнялась, и появились из-под седых усов желтые зубы.

Экипажи тем временем подъехали; Семочка Окоемов сидел прямо на дне тарантаса, в сене; он замотал вожжи на облучке и высунул огромную босую ногу, но, поглядев в окна, тотчас принялся обувать сапоги, которые снимал, чтобы не тосковали ноги.

Александр Демьянович вошел в залу и слегка даже оробел, увидев такое многочисленное общество. «Дворяне, вот они какие»,— подумал он и, еще не зная, как себя повести, на случай несколько раз нырнул головой, как бы кланяясь. Никто на это не ответил. Чувашев подвел его к хозяйке и представил:

— Старинный приятель, приехал по весьма щекотливому делу.

— Насчет мебели,— сказал Растегин. Чувашев же пошел шептать по гостям: «Биржевой воротила, Рокфеллер, приехал деньги швырять».

— А мы встречались, хорошо вас и помню, за картишками... Дыркин, здешний помещик, вот радость нечаянная,— заговорил Петр Петрович, когда до него дошла очередь здороваться, и затряс Растегина за руку,— сядем-ка рядом за обедом, очень, ужасно рад...

Тем временем гости пошли к водке, в изобилии стоявшей за отдельным столом, среди закусок таких аппетитных, что про каждую можно было смело сказать — под такую выпьешь море.

Помещики налегли на водку; у братьев Сомовых с

каждой рюмкой оказывалось уже не две, а по шести складок на шее; Рубакин, держась за почки, наклонился над закусками, говорил: «Эх, старость не радость!» — и пил под луковый соус; Борода-Капустин наливал себе зелье прямо в стакан, выпивал духом, говорил: «Ух!» — и нюхал корочку; Капустин приналег на коньяк; один Дыркин больше вертелся да расковыривал вилкой паштеты, за что получил от Сомова замечание: «Что ты, брат, все нюхаешь? Ты ешь, а не нюхай». Тараканов, как человек идеальный, к столу не подходил, хотя и смотрел на него издали, с видимым сожалением шевеля короткими пальцами.

С Растегиным происходило странное: едва он выпивал рюмку, она вновь сейчас же наполнялась, но, когда он нацеливался на какой-нибудь пирожок, снедь исчезала и отправлялась за спиной его в чей-то рот; все это проделывала одна и та же рука, грязная и большая, как лопата. «Съесть бы чего-нибудь, не выдержу натощак»,— думал он, и опять его подталкивали под локоть, и голос Семочки Окоемова ревел над ухом: «Нука, последнюю, это вам не Москва, передергивать у нас не в обычае».

Хозяин, Егор Егорович, кое-кого уже оттаскивал за руку от водочного стола, говоря: «Шалишь, брат, ты мне все дело испортишь», и понемногу помещики, вытирая рты, уселись к столу.

Растегин поместился напротив Окоемова, между Рубакиным и Дыркиным. В голове у него стоял гул, и он с ужасом заметил, что число сидящих удвоилось.

Предварительная закладка развеселила всех, увеличила аппетиты; уже старший Сомов грохотал, тряся животом стол; уже Семочка Окоемов потребовал восьмую тарелку ухи, а Дыркин пустился рассказывать вслух такую историю, что помещица Демонова уронила в суп с носа пенсне, повторяя: «Ой, умру!»

Барышни Петуховы мало занимались едой, они делали глазами следующее: глядели ими на кончик носа, закатывали кверху, затем вскидывали их на Растегина.

— Как вам нравится моя дочь? Большая оригиналка, это у нас в роду,— точно сквозь туман и гул голосов услышал Растегин голос Рубакина.

— Страшно нравится,— ответил он, замечая, что у вдовы Сарафановой необыкновенно расширяются зрачки.

— Осторожнее, она вас живо обработает,— шепнул сбоку Дыркин.

— У моей дочери мужской характер; если приглядеться, то она привлекательна,— продолжал Рубакин, печально жуя огурец.

— Послушайте, Александр Демьянович, меня вот Капустин спрашивает, вы не покупаете лошадей? У него есть преотличная тройка,— спросил через стол Тараканов, но, дернутый за рукав женой, сейчас же прибавил: — Извините, это я так!

— Видите, как вам навязываются,— шептал Дыркин,— я здесь никого не уважаю. Вот, видите, Сомов,— у него в кабинете нашли младенца в спирту, насилу замяли дело; а этот, черный, худощавый, Борода-Капустин, жену заморил, честное слово, голодом и живет с цыганкой; вы что — опять на Сарафанову смотрите? На нее в прошлом году церковное покаяние хотели наложить за распущенность. А знаете, почему за барышень Петуховых никто не сватается? У их отца жил араб из Индии в камердинерах, оказался больной проказой; смотрите, как у них щеки напудрены. По старой дружбе говорю, вам тут всего станут предлагать — и лошадей, и землю, и мебель, и девицу в жены,— отказывайтесь наотрез. Верьте моему честному слову, все дрянь, а вот как свалит жар, к вечеру едем ко мне, я вас познакомлю с моей домоправительницей, вот это — женщина, настоящая загадка, прямо Будда или сфинкс.

— Ага, вот они когда! — внезапно закричал Семочка Окоемов басом; перед ним лакей поставил полную миску раков; Семочка крякнул и принялся их грызть, выковыривая, и прихлебывая, и жмуря глаза, причем трудно было рассмотреть, когда он кончал и когда начинал следующего рака; по рукам его и по безбородым щекам текли грязь и сок.

— Дыркин, замолчи сию минуту, иначе об тебя руку оботру,— сказал он вдруг, и на мгновение его мок-

рая и непомерная рука повисла в воздухе, затем он опять продолжал прежнее занятие.

Дыркин, только что пустившийся в описание красот домоправительницы, сейчас же замолк и съежился.

— Вот этого черта больше всего надо опасаться,— шепнул он; и Растегину действительно стало казаться, что в этой глуши и его могут слопать, как вареного рака.

Дыркин продолжал:

— Смотрите, это нарочно он раками вымазывается, его заставляют на Рубакиной жениться, так он для отвращения вымазывается. А у самого на уме совсем другое.

Обед кончился. Разговаривать хорошо натощак, а после еды приятно взять подушку, да и завалиться куда-нибудь в траву. Так почти все и сделали. Хозяйка дома, никому уже теперь не нужная, куда-то ушла; Егор Егорович, огорченный, что вот уже и конец обеду, еще подходил то к одному гостю, то к другому, пробуя заговорить, но гость только таращил на него слипающиеся глаза и во всем соглашался. Тараканов, отпущенный супругой, подошел к Егору Егоровичу и проговорил:

— Пойдем, того, в траву.

Либерал Долгов сел на лошадей и уехал; в дому стало тихо, только где-нибудь раздавался густой храп во все носовые завертки.

Растегин брел по аллее, покачиваясь иногда, и придерживался за березовые стволы; из травы кое-где торчал угол подушки или задранная коленка; Александру Демьяновичу было смутно и тяжко и в теле и на душе; за поворотом он увидел на скамейке Дыркина и Чувашева: они о чем-то точно совещались, хихикали и хлопали друг друга по коленкам. Повалившись рядом с ними, Растегин сказал:

— А я представлял помещичью жизнь стильной, как говорится, поэтичной. Вот тебе и Борис Мусатов! Раков жрут. Что это за разговор за столом, через каждое слово — кобыла, овес, рядовая сеялка. Неужто все погибло? Я — эстет, мне тяжело, господа.

— Слушай, Саша,— проговорил Чувашев, оглядываясь,— ты прости, пожалуйста, ведь мы с тобой, ка-

жется, на «ты» выпили, так вот что — едем,—делать здесь больше нечего, вышла неприятная история, я тебе по дороге расскажу.

— Я бегу, у меня уже парочка заложена, а вы через полчаса выезжайте, прямо ко мне, Александр Демьянович, милочка моя, доставлю вам великое удовольствие,— сказал Дыркин и долго тряс вялую руку Растегина, который, ничего не понимая, тяжело сидел на скамье.

5

— Семен Окоемов самый из них все-таки свежий человек, у него все в избытке — и рост, и брюхо, и страсти; он даже в университете учился, пока тетка не отказала именье, не большое, не малое, а ровно такое, чтобы есть, спать, напиваться и прочее — вволю. А затем появилась у соседа, у Дыркина, домоправительница эта Раиса, женщина плотоядная, чудовищная, с грозовыми эффектами. На Семочку Окоемова подействовала она, как землетрясение, он сразу похудел, затем выкрал ее у Дыркина, но она тотчас же сбежала. Теперь он держится такой политики — не допускать к Раисе никого, и в средствах действительно не стесняется. Видишь, брат Саша, не увези я тебя вовремя с именин, костей бы не собрал, ей-богу. Одного я не могу понять, что такое Дыркин накрутил с этой Раисой? Должно быть, очень хитрое; позвал он тебя ясно для чего: ему деньги нужны до зарезу; у Раисы свои деньги есть, да она их зарывает в саду, в кубышках, в разных местах. Дыркин при мне сколько раз начинал клянчить: «Раиса, Раечка, пожалей своего старикашечку!» — «Ей-богу, дедулинька, не помню, куда кубышку зарыла».— «А ты возьми и вспомни, подумай»,— и он уж тут от умиления весь даже заслюнявится. «Да где мне вспомнить, а может, злодей какой пришел да выкопал».— «А кто же этот злодей, душа моя? Имечко-то его скажешь?» К этому весь разговор и ведется; злодей оказывается молодым соседом, которого увидела Раиса с балкона и пожелала. Дыркин надевает пиджачок и едет за гостем, а на следующий день Раиса выходит в

сад со своим старикашечкой под ручку искать заветную кубышечку. Это одна комбинация. А другая будет посложнее, да ты сам увидишь. Здесь уж кубышечка ни при чем, да и денег, я думаю, у Раисы маловато осталось.

Все это говорил Чувашев Александру Демьяновичу. По ровной степи они подъезжали к плоскому дождевому озеру; по краям его стояли убогие избы, росла большая ветла, на бугорке торчали две мельницы, напротив из-за кущей сада поднимались два синенькие купола. В мелком озере плавали гуси; солнце садилось за соломенными крышами. И представлялось, что избы, плетни, журавли колодцев и две эти ветрянки долго блуждали по безводной степи, не находя прохлады, и, устав, присели здесь у дождевого озера кое-как, словно утомленные птицы.

Должно быть, потому село называлось — Птичищи. Никто его не любил. Народ в нем жил унылый. Однажды был приказ: с противопожарными целями вокруг каждой избы насажать палисадник. Но птичищинские мужики по этому поводу сказали: «Бог-ат сам знает, где расти дереву, где не расти», и подали прошение, не разрешит ли его благородие вместо палисадников отсидеть им всем миром в клоповке.

Тележка промелькнула спицами по береговому песку, отразилась в воде. Чувашев сказал: «Я тебя здесь подброшу, а мне нужно по делам; завтра увидимся», — и приятели въехали в барский двор, расположенный посреди леса; здесь все заросло травой и кустами, постройки прогнили и покосились, кое-где крыша, крытая соломой, походила на сломанную спину; с крыш, со старых деревьев поднялось множество галок; Чувашев взглянул на часы, наскоро пожал руку и тронул лошадей обратно; Александр Демьянович вошел в дом.

Встретила его в прихожей, низкой и затхлой комнате, горничная; она была одета в оборочки и кружевца и казалась очень грязной; высокая прическа на ней была растрепана, а на болезненном, немытом лице — печальные, совершенно развратные глаза; снимая пальто с Александра Демьяновича, она к нему прижалась; он посмотрел удивленно, она сказала: «Господа давно

ожидают в столовой», — и заковыляла вперед на хроменькой ножке, показывая дорогу. Проходя темную гостиную, Растегин увидел у боковых дверей фигуру не то в белом, не то в белье. Она, вскрикнув, скрылась; после нее остался запах острых духов.

— Наша барыня все спрашивала: скоро ли вы приедете, — сказала горничная вкрадчиво и отворила дверь в освещенную столовую.

На столе, среди вазочек, тарелочек и чашечек, кипел самовар. Около него сидел Дыркин, словно пригорюнясь. Он не поднялся при появлении Растегина, а только странно посмотрел на него с кривой усмешкой и проговорил:

— Приехали? Раису видели? Чаю хотите?

Александр Демьянович, предупрежденный Чувашевым, повел себя просто, хотя и удивился такому приему: пододвинул стул, развалился и, закурив, зевнул.

— Устал, как черт,— сказал он,— не спал ни крошки. Вы уж меня и ночевать оставьте.

— А вы не хамите, — проговорил Дыркин спокойным голосом.

— Что-с?

Растегин сказал это, сдвинув брови, и сразу, точно проснувшись, Дыркин захихикал:

— Ой-ой-ой, какой порох! Мы люди свои, обижаться не стоит. Эх-хе-хех! Давайте-ка начистоту да на откровенность. Стариковское дело, как говорится, — табачок: плохое житье старичкам, — хочется, да не можется, и обидно и терпишь, а если и скажу колкое, кто же осудит, кто обидится, эх вы, красота моя!

Растегин даже рот раскрыл, слушая Дыркина, который весь лоснился и походил каким-то дивным образом на большого, старого, лысого паука. С приговорочками и гримасами он описывал свое житье помещика средней руки. Кругом в долгах, в постоянном беспокойстве о векселях и деньгах.

— Не для себя, ей-богу, нет, а лишь для моей Раисы. А я уж сам в таких годах, что вот-вот и осенит меня, и не благодать, конечно, а как бы некое озорство над собой: уйду в монастырь. Вот только Раиса, а то бы сейчас удалился. И знаете, для чего? Люблю, когда

сердце сосет: сладко и тошно, точно женщина тебя гладит. Поймете меня когда-нибудь, красавец! А сейчас у вас хвост трубой, мне и завидно. Что же: ваша взяла! Эх, Раиса, Раиса!

— А так, говоря начистоту, сожительницу мне свою, что ли, предлагаете? В этих вещах я никогда не прочь, только надобно ее посмотреть,— сказал Растегин.

Узловатые от ревматизма пальцы Дыркина, который наливал чай, поспешно задрожали. Он живо наклонил голову, и мясистые уши его стали красными.

— Вам крепкого или среднего? — спросил он.— Я крепкого налью, все равно лимон съест.

В дверях в это время появилась высокая и статная женщина в ярко-зеленом платье. Держа обнаженными руками концы красного шарфа, перекинутого через спину, она видом своим изображала бы серну, если бы не была так дородна. Светлые и выпуклые глаза ее холодно разглядывали Растегина.

— Раиса, друг мой, подходи, не бойся,— вкрадчивым голоском забормотал Дыркин и засуетился, подавая стул.— Она у нас беда какая робкая... Святая душа, невинница... Ей-богу, честное слово, душа бы лишь была невинна, а ведь я ее из монастыря украл. Помнишь, Раиса, как по восьми часов службы простаивал! Английским пластырем ссадины на лбу заклеивал... Она же стоит и взглядом не удостоит, лишь в личике бледность... А внутри, может быть, адский огонь ее в это время глодал. А я вижу, чем ее взять, не красотой же своей! Стал ей письмеца подсылать с разными описаниями чувств, а также иллюстрации туда вкладывал. Оглянулась она раз на меня и покраснела. Помнишь, Раиса?

Дыркин вдруг выпрямился — сухонький, маленький, жилистый,— закатил желтоватые белки больших оттянутых глаз:

— Ах, Раиса, простишь ли ты меня? Развратил я тебя, моя кошечка, но ведь сама же ты к этому всему ужасно способная. А есть ли у тебя душа, вот и не знаю! Честное слово, мучаюсь давно: есть душа? нет ли души? Верить хочу, верить! Тогда бы днем телесно мы наслаждались, а во время сна отлетали бы, устраи-

вались на облачке и ласкались там с небесным излишеством. Ведь у души моей нет вставных зубов и лысины нет никакой, ведь душой я, быть может, на древнего грека похож!

— Помолчал бы ты, дед,— сказала Раиса нараспев,— при постороннем, а похабничаешь,— она взяла в рот варенье, измазала им и без того красные губы. Русые ее волосы собраны были сзади тяжелым узлом, который точно все время клонил маленькую голову.

В первую минуту Александру Демьяновичу она даже не понравилась, но он смотрел не отрываясь на ее выпуклые, холодные, как драгоценные камни, глаза. Дыркин, притихший после окрика, сидел, пригорюнясь, над стаканом, Раиса ела варенье. Под столом, свистя шелком платья, двигались ее колени, словно что-то волновало ее, лицо же оставалось матовым и спокойным, ему не передавалось никакое волнение. Растегина прошиб, наконец, пот. Вдруг Дыркин придвинулся к его уху и зашептал:

— Одним чудовищным воображением ее при себе держу, честное слово! Только чуть порозовеет, вот и все. Замечательно! Потребовала раз, чтобы ей карету синим бархатом обил. Надел я на нее красное платье, красную шляпу, в руки ей — красный зонтик, и так въехали в город. Все рты разинули. В театре ложу тем же бархатом велел околотить,— гляди, мол, какой зверь сидит! Весь театр у нее перебывал; жены взвыли! А ночью велела себя по всем заведеньям возить. Впереди на извозчике еврейчика достал со скрипкой, за ним Раиса в карете с цимбалистом-румыном, а затем — я, помещики и гимназисты какие-то увязались... Так всю ночь по городу и колесили. А утром вытащили из ее кареты румына, совсем голого.— Дыркин захихикал, вскочил и, проговорив, что идет распорядиться насчет постели для гостя, выбежал мелким шагом.

Растегин остался вдвоем с Раисой. Она перестала есть варенье, даже ложечка ее застыла на полпути до рта,— это была круглая ложечка с витой ручкой, держали ее два пухленьких пальца, а пятый, мизинец с блестящим ноготком, согнулся и разогнулся и вдруг затрепетал. Тогда Александр Демьянович посмотрел

ей в лицо: оно было мрачное теперь; «батюшки, людоедка»,— подумал он; ее серые глаза точно опутывали паутиной, в них не было ни жалости, ни нежности. Наконец ему стало не по себе и тесно,— он криво усмехнулся.

— Чего смеетесь?—спросила Раиса громко и просто.

— Так,— ответил он.

— А зачем бреетесь?

— Так, бреюсь.

— Мужчина усы и бороду должен себе отрастить,— на что вы похожи?

— Отпустить, конечно, недолго.

Тогда она медленно усмехнулась так, что ему стало сразу и неприлично и свободно.

— За каким делом приехали,— проговорила она,— хорош!

Он живо пододвинулся со своим стулом к Раисе и захватил ее рукой за талию, шепнув: «Чего нам время терять!» — Тогда ее глаза стали дикими.

— Это что еще? — прошептала она, отодвигаясь.— У нас ведь работников шесть человек, кликнуть недолго. Дедуля,— обратилась она к двери (Александр Демьянович живо обернулся и увидел внимательно высовывающегося из соседней комнаты Дыркина),— кого ты ко мне привез? — И она подобрала платье и вышла.

Дыркин появился из-за двери и после довольно едкого молчания проговорил:

— Собственно, за кого вы меня принимаете?

— Помилуйте, вы сами давали намек.

— Намек? На что я вам намекал? Не помню. Вы где? В публичном доме? Эх вы, молодой кобелек!

Растегин стоял, опустив голову; он был сбит с толку, растерзан сердечно, и уже левая рука его так и тянулась в карман пиджака за бумажником — естественным другом и спасителем во все времена. Дыркин сердито сопел.

— Идите спать,— проговорил он,— и помните: только игрой воображения и чувств можно добиться и себе местечка в женском сердце...

Александр Демьянович сидел в низенькой ветхой комнате у светлеющего окна. Дом спал. Тикали часы.

По двору, поросшему подорожником, шли на озеро белые гуси. Впереди них гусак взмахнул крыльями и загоготал. У полуразрушенных ворот сидела сосредоточенная собака с усами; при виде гусей она поднялась и отошла в сторону. За изгородью над соломенной крышей поднимался дымок. Понемногу засвистали птицы в саду. Налетел ветер, зашумел листьями, посыпалась с них роса. Осветились вершины лип, и в окошко, гудя, ударилась пчела.

Все это было ужасно далеко от того времени, когда Александр Демьянович, отменно одетый, летал в стальном, кожаном и хрустальном автомобиле по улицам Москвы. Если встречался обоз или досадное препятствие, он его просто огибал или опрокидывал. Ничто не могло его обидеть, затронуть или огорчить. Там он был королем, а здесь Александра Демьяновича могли просто выдернуть, как редьку, выбросить в канаву, не посмотрев ни на что. Здесь ему ставили на вид прежде всего породу, а порода была таким особым ощущением, когда породистый человек, просто ли сидя, или занимаясь делом, пускай даже мошенническим, сознает, что от его низа в землю идут корни и что выдернуть его и выкинуть, как редьку,— нельзя.

Конечно, можно было взять лошадей и уехать в Москву, но в том-то и дело, что сделать это было трудно.

«Боже мой, эта женщина слопает и меня и шесть миллионов,— думал в отчаянье Растегин,— нарядить ее в горностай, в бриллианты, в райские перья — вся Москва сбежится смотреть: на Красной площади показывай! И живет она с этой отвратительной рожей, черт знает что такое! Тоже выдумал, поехал покупать старую рухлядь, комоды, драные диваны,— сидеть на них, что ли, легче? А вот такая женщина без толку пропадает! Как ухватить? Хлопнуть ее ста тысячами, вот и все. Ведь не пойдет, нет! Ох, боже ты мой, что за женщина!»

Растегин прислонился лбом к подоконнику и так просидел некоторое время; вдруг за стеной раздался обиженный женский вскрик. Александр Демьянович вскочил, прислушиваясь, на цыпочках подбежал к стене и различил голоса Дыркина и Раисы.

— Ты чего не спишь? Ты все думаешь, ведьма! — шептал Дыркин.

— Да сплю же я, не щиплись!

— Нет, ты врешь, ты думаешь.

— Вот! Была забота! Привез какого-то бритого, он и посмеяться не может.

— Я тебе скоро офицера привезу, Раиса, в сажень ростом.

— Ох, привези, дедуля!

— Какая же ты все-таки дрянь, и ничему я тебе не верю. Я лучше от денег откажусь, а тебя на весь день запру в спальной, тварь постельная! А его ужо, после завтрака, за ушко да на солнышко, поезжай куда хочешь. Да, так и сделаю.

— Дедушка, а в пятницу по трем векселям платить.

— В саду кубышку поищем.

— Нет, дедушка, искать я не буду.

— Чего же ты от меня хочешь? — взвизгнул Дыркин.— Да ты ему совсем и не понравилась. Разве это мужчина? Износился весь, как старый хомут. Он мне сам сказал: «Мне, говорит, на женщин смотреть противно, а Раиса, говорит, ваша — пучеглазая и дура». Так и сказал.

Но Растегин уже не мог далее слушать. Он ударил кулаком по стене и закричал: «Врет, врет, врет, врет!» Сразу голоса притихли, Александр Демьянович постоял еще и со стоном повалился на постель.

— У меня с Раисой условие подписано, что держу я ее до тех пор, пока сам не изменю с другой женщиной. Да-с. А ночное приключение — не что иное, как блажь. Завтра же она сама руки мне целовать будет. Чересчур полна стала, особенно в груди, вот ее идеи разные и одолевают. Сударь мой, мы, старики, вас насквозь видим: сегодня блажь, а завтра слезы. А я к Раисе моей привык и на новые приключения больше не способен. На любовь же смотрю широко и без предрассудков. И вам искренно желаю успеха, но только условие одно, по-китайски,— пообедал и все там прочее оставил у хозяина, с собой ничего не унес, поняли? По-

гостите у меня недельку, и хорошенького понемножку. А Раису я не отпущу ни с кем.

Дыркин и Растегин сидели на лавочке в купальне, оба голые. Над гладкой водой, треща крыльями, стояла большая стрекоза, порой она уносилась вбок и вновь останавливалась, переливаясь золотой пылью вытаращенных глаз... «Ах, Раиса, Раиса»,— пробормотал Дыркин. Утреннее солнце припекало, пахло досками и тиной. Растегин, совсем разомлев, глядел на стрекозу. Она для него была гораздо понятнее, чем все разговоры Дыркина, да он их и не слушал и поэтому невпопад спросил, потягиваясь:

— На какую сумму вам по векселям-то завтра надо платить?

Дыркин сильно потер себе волосатые ляжки, опустил на грудь седую голову.

— Тысяч на двадцать пять,— сказал он и, надув желтые сморщенные щеки, выпустил из них воздух.

Тогда Растегин начал торговаться. Дыркин отвечал:

— Нет, не могу, ей-богу не могу меньше.— И вдруг из-под морщинистых век его поползли две слезы.— О чем торгуемся,— сказал он,— я лишь взаймы прошу у вас. Я бедный и хилый старик. А вы бог знает как понимаете мои слова. Я лишь люблю глядеть на чужое счастье, посмотреть в щелочку да послушать, как вздыхают два любовника. А деньги тут ни при чем, нет, ни при чем.

«Фу ты, какой скользкий старикашка,— подумал Растегин,— нет того, чтобы начистоту»,— и ударил себя по голым коленкам. Надо бы лезть в воду. Александр Демьянович поднялся первый и стал на краю мостков. Вдруг позади его крякнуло, холодные руки ударили в спину, он полетел в воду, и сейчас же на голову ему свалился Дыркин, визжа, смеясь и захлебываясь. Отбиваясь от него, Растегин крикнул:

— Пустите, вы меня потопите!

Но Дыркин, приговаривая: «Нет, я еще сильный, я еще сильный»,— старался засунуть его голову под воду.

— Тону! — закричал Растегин и, уже задыхаясь, стащил с себя старикашку, добрался до мостков и

поспешно вылез. Дыркин же барахтался и плавал по воде, как паук.

— Это шутки, это все шутки,— повторял он,— какой вы сердитый! У нас всегда так балуются во время купанья. Вот намедни на меня Окоемов наскочил,— потом откачивали.

Все еще сердясь на зверские эти шутки, Александр Демьянович поспешно оделся и пошел через парк.

В аллее, где над липовым цветом неумолчно гудели пчелы, Александр Демьянович встретил Раису, она лениво шла, задевая рукой за кашки, обрывая листья; ее глаза, теперь зеленоватые, полуприкрыты были веками; батистовый капот был до того прозрачен, что у Растегина захватило дух.

С минуту постояв у дерева, он подскочил, обнял Раису, прижал к себе и стал искать губами ее рта.

— Пустите же,— проговорила она медленно и точно с досадой; мягкий ее рот так и остался полураскрытым.

— Пожалуйста, пожалуйста, я схожу с ума,— повторял Растегин.

— А мне какое дело. Ах, да пустите же!

Шепотом, кое-как, он объяснил, что с векселями покончено, что ему разрешено здесь остаться, что времени терять нельзя, что он и все шесть миллионов к ее услугам, что глаза Раисы (хотя и на вершок от его глаз, но все такие же спокойные) не глаза, а бриллианты, бериллы, изумруды и прочее, что у нее не рот, а «безумный цветок», орхидея и прочее, что он, Растегин, убит наповал, погиб, он раб, сошел с ума и прочее и прочее.

Раиса, наконец, освободилась.

— Вы мало папашку знаете,— сказала она,— в том-то и дело, что он меня ревнует, не дай бог; ничего хорошего ждать от него нельзя.

— Раиса, я готов умереть сейчас, вот здесь у ног.

— Это все говорят, миленький, а что-то мне видеть не приходилось, лучше уж и не божитесь, а вот мне большая охота отсюда уехать, богато пожить захотелось. Бога гневить нечего — лучше моего житья здесь нет, всего вволю, и жить просторно, и никто меня за дуру неученую не считает. А у вас в Москве, чай, ска-

жут: «Вот вывез бабу»,— так бабой и прозовут. А здесь — я барыня. И еще воздух люблю свежий и легкий. Вот какое дело. А лежала я ночью и думала: охота мне мотором в Москве народ подавить. Уж не знаю, как и быть-то с вами.

— Раиса, что хотите, что хотите,— требуйте.

— Вот чего я хочу,— начала было Раиса, но вдруг оглянулась, вырвала руку свою из горячих ладоней Растегина и отошла.

По дорожке подбегал Дыркин, засунув большие пальцы в карманы чесучового жилета, рот его был перекошен и плотно сжат. Став перед Растегиным, он закричал визгливым голосом:

— Не доверяю, не верю. Чек, чек на руки сию минуту пожалуйте, и не на двадцать пять, а на пятьдесят, иначе милости прошу искать себе других развлечений.

Здесь же на садовом столике Александр Демьянович подписал чек. Дыркин повертел его, понюхал, поглядел на свет и убежал все так же бодро, заложив в жилет пальцы.

— Дедушка! — закричала было ему вслед Раиса, но он не обернулся. Она задумалась, потом пошла, сопровождаемая одуревшим Александром Демьяновичем, в конец сада и стала на плетень.

— Знаете что,— он к этому черту Окоемову поехал. Ах, мучитель, ах, тиран безжалостный! Уеду я от него, назло. Что за наказанье! — с досадой сказала она, слезла с забора и, дойдя до скамейки, уткнулась лицом в руки, затем вынула платочек из-за шелкового чулка.— Хотела было я над вами только посмеяться, теперь сама вижу — вы очень милый,— она положила руку на затылок Александра Демьяновича и поцеловала его в губы.

Раиса была совершенно непонятная женщина. Растегин ей не нравился, и она решила, что недурно бы за такого выйти замуж; когда же подумала о своем старикашке, то пожалела и его и Растегина: одного за то, что бросает, другого за то, что не любит, обманет непременно и доведет, бог знает, до гробовой доски. Ей представилось, что хорошо бы прокатиться по Москве на розовом автомобиле, украшенном страусовыми

перьями, и чтобы за шофера сидел седой полковник, обезумевший от любви. Она даже видела ясно, как из-под мотора вытаскивают толстую переезханную барыню с покупками. «А не лезь», — думала Раиса. Затем ей захотелось такого, чего нельзя было себе даже и представить.

Но все же покинуть старый домик и сад, гусей и кладовые, и все свое хозяйство Раисе, женщине деревенской, дочери писаря из соседнего села, представлялось невозможным.

Дыркин испортил дело. Он внезапно приревновал и обидел Раису несколько раз, обид же она сносить не умела; при этом он уж слишком поспешно выманил деньги у Растегина и, ясно, хотел устроить дебош при помощи Окоемова, которого Раиса боялась и терпеть не могла.

Когда Александр Демьянович опять в том же саду пристал к ней за окончательным ответом, она поглядела ему на рубиновую булавку в галстуке, вытащила ее и стала полегоньку колоть Растегина в нос; он блаженно улыбался.

— Несчастный, — сказала она, — ну чего же вы ползаете по траве на коленках. Идите на конюшню, скажите лошадей закладывать; скорей бегите, а то раздумаю.

Растегин убежал. Раиса приколола булавку на грудь и пошла в дом, где собрала кое-что из своих вещей. Затем села на крылечке, пригорюнясь, — ей было страшно, как бы не расхотелось уезжать.

Внезапно Растегин появился из-за угла дома.

— Мерзавец кучер не дает лошадей, — сказал он взволнованно.

— И не даст, это папашкины штуки, — ответила Раиса и стукнула сердито по чемодану.

— Что же делать?

— А я почем знаю. Вот-вот налетят с этим уродом, как соколы. Такие озорники, страсть!

Все же Раиса очень разгневалась. Она ушла бы теперь хоть пешком из дому. Пока они пререкались на крыльце и спорили, послышался колокольчик и топот бешено летящей тройки.

Раиса струсила, бросила было чемоданы в кусты, но в раскрытые ворота влетели не ожидаемые озорники, а Чувашев, стоя в коляске.

— Скорее, скорей,—закричал он, выпрыгивая и хватая Раису за руку,— ты ведь тоже едешь? Молодец баба! Я их версты на три обогнал. Едем прямо к дядюшке моему, Долгову. Туда они не сунутся.

Растегин подсадил Раису и прыгнул в коляску сам. Чувашев сел на переднюю скамеечку, и взмыленные лошади вынесли за ворота, мимо изб, прямо в степь.

Небо заволоклось, погромыхивал гром вдалеке. Молча сидела Раиса, опустив голову, завернувшись в турецкую шаль. Растегин привставал и оглядывался. Позади, над пригорком, появилась пыль.

— Гони, гони,— закричал не своим голосом Растегин, хватая кучера за воротник.

6

В темноте, в березовой старой аллее, медленно шли Щепкин и Долгов. Щепкин обнимал друга за плечи; он был сед, стар и сутул. Оба осторожно ступали по мягкой дорожке, то беседуя, то замолкая, когда вверху громыхал гром и вспыхивала молния. Щепкин глядел, как свет ее, проникая под лиственные своды, заливал мгновенно пегие стволы берез и лицо Долгова; оно было тоже сморщенное, с длинными усами, со спутанной бородой и прищуренным от неожиданности глазом. Все это появлялось и вдруг исчезало, и гром носился раскатами над притихшим парком. И снова молния вылетела из нагроможденных туч; а вот три огненных столба быстро опустились до земли; вот с севера раздвинулось, раскрылось полнеба; но не было ни ветра, ни капли дождя.

— Представь себе, ведь я очень стар,— говорил Щепкин,— должно быть, я по рассеянности позабыл помереть, да так и остался. Но все же во мне живет привязанность ко всей этой суете. Посмотри,— он поднял палец, и в ту же минуту в небе возникли, разорвались, брызнули огнем и загрохотали два огромных шара,— все это лишь пустой эффект, но очень возвышает душу.

— Трахнет вот такой эффект в соломенную крышу — беды не оберешься, — сказал Долгов.

— Иногда есть у меня даже потребность поужинать с друзьями, выпить вина, но, конечно, если я имею право на это. Но я никогда не мог оправдать ничего из своей жизни, не хватало дерзости. Ясно тебе? Для меня это ясно. Нынче минуло пятьдесят лет, как я ушел от Веры Ивановны. Странно, у меня до сих пор сомнение — хорошо ли я поступил тогда, пожертвовав моим и ее чувством? Я не жалею, а раздумываю, нужно ли было все-таки так пренебречь всем или оставить что-нибудь и для себя, доставить себе простое удовольствие, раз все пошло прахом. Нехорошо дожить до восьмидесяти пяти лет. Возвращаешься опять в младенческое состояние, предаешь забвению и жалости все самое высокое. Ты пойми, вникни: у Веры Ивановны были красота и талант, а я был только владетель семисот человеческих душ. Я не мог увезти и заточить ее в деревне, лишить театра и города, я не имел права для своих удовольствий заставить работать семьсот человек, — каждый из них был такой же, как я. Ах, ты еще молод слишком, я тебя уверяю. В то время дворянство сознавало свои обязанности. Оно понимало, какую вину должно было искупить перед народом. Ни одного движения мы не имели права сделать для себя. Все для народа. А если и делали что-либо по слабости, то очень раскаивались. Мы во всем каялись. Я сказал Вере Ивановне, что мой отъезд в деревню пусть будет первой уплатой долга; я думал, что она будет наезжать ко мне, а пройдет лет десять, и совсем переедет. Она очень плакала тогда... Какая странная и милая женщина! Но все же она была у меня только два раза. Город ее соблазнил, в нем слишком быстро сгорают; а я, как старый хрящ, живу и живу, никому уже больше не нужный. А все — это гроза. Надо же было раздуматься! Посмотри, там тоже вечная борьба, и молния, и грохот. Мне представляются там темные и белые всадники, они поражают, топчут друг друга, гремят щиты о щиты, падают копья, — и нет победы никогда, ни на чьей стороне.

— Да, третьего дня плюхало, и вчера плюхало, и сейчас дождик припустится, уж это я знаю. Ах ты, господи, весь покос прогнил,— сказал на это Долгов,— ты прости, что я отвлекся, я слушал тебя внимательно. Я очень высоко ставлю тебя. Во-первых, ты отдал мужикам землю, больше того — пятьдесят лет работал на них. И пускай они с тобой же теперь сутяжничают... Ах, черт, кадку-то я не перевернул...

Последнее восклицание относилось к дождевой кадушке. Ее нужно было перевернуть и поставить под водосточную трубу. Чертыхнувшись еще раз, Долгов освободил плечи от руки друга и пропал между деревьями в темноте. Щепкин прислонился к березе и поднял голову.

Узкое, с горбатым носом и большими глазами бритое лицо его то появлялось в свете молний, точно каменное изваяние, то исчезало; начавший налетать ветер приподнимал седые волосы над его высоким лбом.

«Нет, нет успокоения,—думал Щепкин,— быть может, так до конца и нужно быть смятенным. Но, господи, нужно мне, хочется ничтожной оплаты, хотя бы минуты высокой радости».

Тяжело ему было нынче еще и оттого, что на днях состоялись торги на последние оставшиеся семь десятин земли и полуразвалившуюся усадьбу; неизвестно было, где теперь доживать дни,— никто ведь не возьмется кормить старого, негодного мерина Урагана да еще более древнюю дворовую собаку Жука.

Неподалеку завозился и несколько раз шепотом чертыхнулся Долгов; Щепкин опустил голову и улыбнулся; он очень любил своего друга, хотя и полагал, что у него чего-то не хватает,— крепости ли нет, или мало веры, или слишком он издерган и вместо главного занимается часто пустяками.

Действительно, идет ли, например, Долгов в контору к мужикам,— на середине двора остановится и побежит в клеточных своих брючках на конюшню, но, не дойдя до конюшни, уже лезет через забор и, глядишь, изо всей силы тащит репейник из цветочной клумбы. И все это делает, негодуя на себя, угрызаясь. Поэтому главным душевным состоянием его было «самоедство».

В кабинете у него на столе, между ворохом книг, счетов, записных книжек, мундштуков, ручек, карандашей и прочей мелочи, стоял хрустальный стаканчик, и в нем — дедовское гусиное перо. Этим пером дед сводил счета — копейка в копейку, ничего не забывая.

Каждый раз, глядя на это перо или гусей, что прохаживаются по кудрявой мураве, чертыхался Долгов, понимая, что сельское хозяйство возможно только при отлично оборудованной бухгалтерии.

Но едва он, надев очки, принимался за приходо-расходные книги и счета, как от ничтожной причины — например, при чтении записи: «Хомутов отдано в ремонт шесть штук рабочих» — мысль его незаметно перескакивала на иной предмет, и Долгов силился вспомнить, по какой линии столбовые дворяне Хомутовы с ним в родне.

А спустя час он уже заставал себя за чтением мемуаров; и вновь с пущим угрызением приходилось повторять, что без правильно поставленной бухгалтерии сельское хозяйство продолжать нельзя. Мылся ли он в уборной, копался ли в бельевом шкафу, или тщетно старался поздно ночью раздеться и лечь спать — все равно приходилось чертыхаться, понимая, что на пустяки времени уходит уйма, а на нужное и должное его нет.

До сорока семи лет он так и не собрался жениться, хотя в этой области были у него самые жестокие конфликты; девица Рубакина в прошлом году приехала к нему сама и потребовала брака. Долгов, очень этим смущенный и озабоченный, принялся ее благодарить (они гуляли в саду), но на средине одного плохо связанного предложения заметил, что клумба с петуниями не полита, и убежал за лейкой; на полпути он уже отвлекся другой идеей — о выпущенных в огород телятах, побежал на огород, и далее — пошло цепляться одно к одному, как обычно; он вернулся в сад только к вечеру; девица Рубакина, глубоко уязвленная, давно уже и навсегда покинула его усадьбу.

— Прости, пожалуйста... Я продолжаю тебя слушать внимательно... Эта проклятая кадушка куда-то закатилась,— проговорил Долгов, появляясь из темноты,— у меня в каретнике течет... Нет, я не то хотел

сказать. Понимаешь — Ивановка горит. Надо бы послать туда машину... Пойдем, пойдем...

На заднем крыльце стояли бабы и рабочие, на крыше торчали мальчишки, все глядели в сторону, где, за плетнем и гумнами, над землей танцевали красные языки пламени; не было видно ни дыма, ни зарева, казалось, что здесь, в ста шагах за ригой, появилось это бесшумное пламя.

Вдруг пошел сильный дождь. Мальчишки закричали на крыше, бабы заохали. Долгов влез на кадушку и повторял: «Ай, ай, ай, вот они, соломенные крыши»; затем он соскочил и убежал делать распоряжения, крича, бранясь и путая имена рабочих.

Дождь пошел сильнее; за его летящей сеткой огонь казался более красным, и вдруг появилось сияние. Замолкшая было гроза снова полыхнула над пожарищем, загрохотала, и вот из огня поднялся высоко широкий язык и рассыпался искрами. Повалил багровый дым; появились тени на траве. Бабы начали голосить. Вдалеке на дворе бранился Долгов, сидя на бочке.

Щепкин отвернулся и пошел в дом: горело его село, на которое он положил всю свою жизнь; кончался последний акт комедии, догорали карточные домики, и опускался на них дождевой занавес. Щепкин прошел в летнюю, маложилую гостиную, сел на кожаный заплесневелый диван, прислонился щекой к нему и в темноте и тишине натужно, с болью, заплакал.

В то же время Долгов скакал на бочке во весь дух по размокшей дороге к пожарищу. Оно открылось с первого же пригорка: догорали избы, светясь обнаженными переплетами крыш. Занималась еще одна изба — крайняя, и на ярко освещенной с одного бока деревянной колокольне били в набат.

Бочка скакала по сплошной багровой воде вдоль плетней. Вдруг неподалеку послышался отчаянный крик о помощи. Долгов соскочил в грязь, приказал работнику гнать на пожар, сам же побежал по воде к повороту дороги. Здесь росли две ветлы, место было перекопано канавами, дождем наплюхало целое озе-

ро. В неясном сумраке Долгов различил силуэты понурых лошадей и перевернувшийся экипаж; около него возился человек в чапане, другой стоял и кричал: «Помогите!» На кочке, в воде, сидела женщина.

— Что такое, что такое? Кто вас просил по канавам ездить? Вон где дорога. Черт знает, что такое! — прокричал Долгов, подбегая.

Человек, кричавший о помощи, подошел к Долгову и, не попадая зуб на зуб, проговорил:

— Я — Растегин, Александр Демьянович, дама вот моя ни за что не хочет из лужи вылезать и очень сердится; с нами Чувашев был, да куда-то убежал. Помогите, пожалуйста.

Долгов наклонился над женщиной, сидящей в воде, и воскликнул:

— Э, да это Раиса. Опять приключение? Вылезай, вылезай, нечего кобениться. Отправляйтесь-ка все ко мне на усадьбу, кучер дорогу знает...

Раиса от злости продолжала молчать. Ее вытащили из воды, посадили в экипаж и поехали шагом вдоль горящего села в Долговку.

7

Долгов остался на пожаре; Растегин и Раиса только за полночь добрались до его усадьбы. Чувашев же пришел еще позже, пешком, страшно злой, упрекал и кричал на Александра Демьяновича, потом забрался в мезонин, разделся и тотчас заснул.

Щепкин провел грязных и мокрых гостей в кухню, куда принесли горячей воды и сухое белье. Раиса, никого не стесняясь, разделась и принялась мыться. Растегин, при виде ее прелестей, забыл все несчастья и скверные слова, которыми его не переставая ругала подруга, и лез то с медным тазом, то норовил поцеловать ее в шею, за что получил по щеке.

Щепкин от соблазна удалил всю прислугу из кухни и сеней, сам поставил самовар и сел в столовой, думая: «Вот странные люди, даже вода не охладила у них пылу».

Пить чай явился один Растегин в ватном долговском пальто и валеных калошах; Раиса прошла прямо в дядюшкину спальню, легла на его постель и сказала, что не вылезет из нее, пока ей не сошьют нового платья.

— Что вы, мой ангел,— сказал ей Растегин,— откуда я вам достану здесь платье, нам бы только до Москвы добраться.

— А мне какое дело, доставайте, где хотите, только модное,— ответила Раиса со злостью, и когда было он полез ласкаться, стукнула его коленкой, сказала: — Не встану — год здесь пролежу, и эту рухлядь Долгова еще полюбовником своим сделаю,— затем расшвыркала подушки и легла к стене лицом.

Все это Александр Демьянович объяснил Щепкину за стаканом чая; рассказал также историю похищения Раисы, вплоть до того места, когда настала темнота, полил дождь, и лошади, испуганные грозой, понесли без дороги; они скакали по степи, пока земля не осветилась заревом пожара; около каких-то деревьев экипаж въехал в воду и перевернулся, все полетели в грязь; Чувашев побежал за народом, но застрял, должно быть, на пожаре.

— Одного я боюсь, что Дыркин и Окоемов явятся сюда, прибьют меня и увезут Раису; я всего жду от здешних людей,— сказал Растегин, боязливо оглядываясь на окно, за которым в темноте шумел дождь по листьям.

— Вы, конечно, имеете резон опасаться некоторых из помещиков,— ответил Щепкин,— современные условия, к несчастью, начинают создавать два типа помещиков — крупных простых кулаков и мелких, если хотите, жуликоватых дельцов, а есть такие, что принуждены продавать своих любовниц, чтобы свести концы с концами; раньше помещик был более идеально настроенный, попадались мечтатели, но они осуждены на вымирание. Ваше замечание хотя и поспешно, но не лишено основания.

Щепкин говорил это, потирая руки, прохаживаясь от стены к столу; если бы не поздний час, не потрясения этой ночи, он бы никогда не стал говорить так дерзко.

Александр Демьянович ответил ему, зевая:

— Все это верно: теперь купец пошел — большая сила... Но не в том забота! Ах! Женщины, женщины, знаете! Ну откуда я Раисе платье возьму?

В это время в столовую вошел Долгов в одном полотняном белье, только что смененном; расправив усы, он сел перед налитой чашкой, хлебнул из нее, сказал:

— Сгорело двенадцать дворов; ах, черт, пятый пожар с апреля месяца.— Затем принялся осматривать Растегина, повернулся на стуле и внимательно оглядел своего друга, спросив: — Поссорились, что ли?

— Я приустал немного, что-то у меня с сердцем, я, знаешь, пойду,— ответил Щепкин и вышел, сильно сутулясь.

— Смешной старик,— сказал Растегин.

— Нет, не смешной,— ответил Долгов,— а вот вы смешной.

— Я просто в преглупом положении: заехал с женщиной в незнакомый дом, едва не потонул, не сломал шею, какие-то дикие люди за мной гоняются; а вы знаете, во сколько мне уже влетела эта поездочка? Чего считать! На деньгах стоим; а только здешние порядки у нас, по-московскому, разбоем называются. Где я — в лесу? Что я привезу в Москву? С чем приеду? Эх, господа помещики!

— Скажите, пожалуйста, вы в этом роде беседовали со Щепкиным? — спросил Долгов.

— Да, разговор у нас был жалкий, верно.

— Я думаю, что вам как можно скорее нужно уезжать отсюда,— сказал Долгов, опять залезая в огромную чашку с чаем,— мы вряд ли поймем друг друга; я стар, Щепкин еще старее; лучше мы уж погибнем при своем негодном, а вы живите... Что вам нужно — самое необходимое?

— Платье Раисе нужно да лошадей до вокзала, чего же еще...

— Ах да, платье... К несчастью, от моей покойной матушки остались одни ситцевые капоты... А вот у Щепкина я видел сундук с прабабушкиными робронами; я думаю — не разберет Раиса, было бы шелковое.

— Боже мой, да это все, чего я искал! — закричал Растегин.

8

Утро было ясное, рожь уже просохла, но на листах опутавшей ее повилики еще горели большие капли. Поваленная пшеница поднималась, а на мелком подорожнике, затененном стеной хлеба, оставались сизые полосы от шагов.

По мокрой траве, часу в восьмом утра, Щепкин шел пешечком из долговской усадьбы в свою.

На нем была люстриновая разлетайка и помятый картуз, из-под которого до плеч висели седые волосы. Наклонив худое и горбоносое лицо, он поглядывал на лужи под ногами, на опрокинутое в них облако, на полосы хлебов, на зеленые конопли вдалеке и за ними — соломенные крыши Ивановки.

Много лет видел он все это и каждый раз с новым очарованием поднимал глаза, и в него словно вливалась вся эта красота вечным и разумным покоем.

И каждый раз казалось, что вот еще мгновение — и вдруг исчезнет последняя преграда, и, хлынув в него потоком, солнце, небо и влажный свет земли растворят его старое, ненужное тело. Между ним и этими полями осталась последняя тонкая преграда. Она еще мешала радости последнего покоя, будто земной путь не совсем был пройден, осталось совершить какой-то последний утомительный долг.

«Вот что значит провести бессонную ночь,— думал Щепкин, входя в конопли,— что это за последний долг? Какие у нас долги? От излишней гордости думаем, что должны кому-то; упал дождик, и просох, был день, и нет его, так и я...»

Он улыбнулся, сорвал метелку конопли, растер в ладонях зерна, понюхал и поглядел налево, где за колокольней начиналась куща барского сада. Здесь прожил он семьдесят лет, и за все эти годы так же стояли конопли, за ними крыши, колокольня и зеленый сад. И ему представилось, будто его жизнь пронеслась над этими местами, как вчерашняя гроза,— прогремела и ушла; земля же, конопли и крыши остались теми же.

«Все-таки народ сильно изменился,— думал Щепкин,— теперь мужичкам наших чувств не нужно, без

них обойдутся, умные стали сами и скрытные; деревня — как маховик: только поверни ее, потом не остановишь».

Он вышел к плетням и повернул на широкую, пустую сейчас, улицу, к церковной ограде. По свежей грязи бежали мальчишки, ржали и брыкались. «Старый тетерев, старый тетерев!» — закричали они.

«Действительно, я похож на старого тетерева»,— подумал Щепкин и поклонился Антипычу, рыжему мужику в розовой рубахе, занявшему плечами и головой все окошко в избе.

— Здравствуй, батюшка барин,— сказал Антип, почесал бороду и перебеднился весь в окошке,— а мы погорели малость, беда такая, уж я до твоей милости — в саду лесину одну присмотрел, срубить бы ее, а то зря пропадает.

Антип был мужик богатый и первый кляузник на селе; он постоянно клянчил всякую малость у Щепкина, а когда не клянчил, то судился, и он же был главный виновник теперешних торгов. От пожара Антип не пострадал ничуть и клянчил сейчас лесину — так, потому только, что увидел барина...

— Стыдно тебе, Антип, вот что,— проговорил Щепкин, затряс головой и постукал тростью.— Подожди, скоро все твое будет...

Он быстро пошел вдоль изб и в переулке увидел пожарище; ему не было ни досадно, ни больно, как вчера.

— Мужик прав, ему нужна лесина, а мне не нужна,— повторил он, по обычной своей привычке, вслух; но все же давешний покой пропал, и была потребность хоть немного посетовать.

Через калитку в каменной изгороди Щепкин прошел через аллею на круглый двор. Посредине его, обнесенные чугунной решеткой, поднимались старые пихты и ели; между стволами просвечивало кое-где стекло разрушенных оранжерей.

Вдалеке полукругом стояли ветхие службы, а направо — деревянный некрашеный дом в два этажа. Окна были неровные, одно выше другого, только три внизу и два вверху были раскрыты, остальные зашиты досками,

замкнуты ставнями. Парадная дверь открывалась прямо в бурьян, в нем была протоптана узенькая тропинка.

Около двери, обшитой рваным войлоком, стояли Ураган — карий, в шишках, старый мерин, и каштановая собака. Оба они глядели на дверь, из которой каждое утро выходил хозяин, вынося сахар и хлеб. Увидев же Щепкина подошедшим с улицы, мерин и собака удивились. Ураган замотал головой. Жучка широко зевнула.

— Вы уж меня, дружки, извините,— сказал Щепкин,— задержался я по случаю грозы.

Он вынул из кармана сахар и хлеб, отдал их собаке и мерину. Затем еще раз извинился и вошел в дом.

Комнаты здесь были огромные и заглохшие, затянутые паутиной. Иногда приходила баба, подметала пол, пекла хлеб и ставила самовар; остальное время Щепкин пил холодный чай, находя это необременительным и даже полезным. От мяса же отвык давно. Бывая у Долгова и не желая обидеть, он ужинал иногда, но каждый раз после этого страдал. Одно его заботило — зимние холода, и каждый раз в октябре он продавал что-нибудь из вещей и покупал омет кизяку на эти деньги. Отдав бо́льшую часть земли крестьянам, а другую уступив им же задешево и раздарив деньги тем, кто нуждался или просил, он всегда с сожалением расставался с прекрасными вещами, хотя на картины никогда не смотрел, а фарфор стоял в пыльных глухих шкафах, ключи от которых были потеряны. Ценил же он и любил душевно только книги.

Пройдя сейчас в библиотеку с окнами в сад, он опустился в кресло, вытянул уставшие ноги и положил руку на кипу журналов, заваливших круглый столик.

Здесь были — «Современник», «Сын отечества», «Москвитянин», «Вестник Европы», «Неделя», Герцен, Спенсер, Бокль, Милль, Адам Смит и прочие и прочие хорошие, идейные, верные книги; в них было видно, как за несколько десятков лет бурлящий в идеальной и романтической пустоте дух человеческий осел, наконец, в виде практического и трезвого смысла... Щепкину казалось, что вся его жизнь — мечты, отречения и труд — запечатлены в этих кипах пыльных книг. Он сам пере-

жил и осуществил мечты сороковых годов, и горячую очистительную работу шестидесятых, и тусклое, бездеятельное томление восьмидесятых, и новое, как откровение, ясное, как кирпич в руке,— учение Карла Маркса... Он два раза беседовал с Герценом и портрет Михайловского всегда держал на столе. Трогая и перелистывая старые книги, он точно оглядывался на себя, будто весь долгий путь его на земле был всегда с ним в этой круглой, уставленной высокими шкафами, покрытой пылью комнате, освещенной солнцем сквозь темные ветви лип.

Увлечение Марксом окончилось у него неожиданно жестокой тоской. Щепкин счел это слабостью и старчеством. Однажды, сидя за чаем, глядя на перекошенное лицо свое в самоваре, почувствовал, что нельзя просто лечь в землю, забыть все, покончить со всем: слишком много было прожито, чтобы все это отдать червякам. Какая-то часть его погибнуть не может. В сущности, живя для других, он жил для какой-то высшей цели, и вот то, что находится в этой цели,— больше всех общественных идеалов, больше, чем вся земля, и это не хочет и не может умереть.

Возмутился Щепкин подобным мыслям, но стало ему таинственно и сладко. Все окружающее его, вся жизнь приобрели особое значение. Он принялся читать те статьи, которые пропускал раньше, и все настойчивее стал ожидать нового часа, когда спадет с глаз еще одна пелена.

Сейчас, поглядывая то в окно на запущенный и еще мокрый сад, то на милые книги, то на желтую и костлявую руку свою, лежащую на «Сыне отечества», он думал, что все это придется оставить и почти перед концом приняться за утомительные заботы о желудке, о мерине и о Жуке. «Вот оно, барство, и сказалось,— думал он,— как его ни вытравляй — всегда подгадит. Всем хочется отдохнуть, да не всякому отдых нужен, мне же он, пожалуй, и вреден. Вот я все думал — что мне нужно сделать последнее; теперь знаю — принять это изгнание отсюда с радостью. Трудиться из-за идеи всякому приятно, а вот безо всякой идеи поступлю на двенадцать рублей жалованья, вот это так! В пастухи могу наняться, тогда и Жук и Ураган будут пристроены...»

Но все же ему было обидно, хоть и сдерживался он и попрекал себя, сколько мог...

На дворе в это время залаяла собака и послышался хруст колес по аллее. «Кому бы это быть?» — подумал Щепкин.

Он очень любил гостей: в каждом новом человеке видел единственные, неповторяемые качества, искривления души, новую, всегда бесконечно привлекательную форму. Поэтому он бывал благодарен заехавшему к нему, старался сделать приятное, подарить что-нибудь из вещей и каждый раз, извиняясь за невозможность угостить, трогал холодный самовар и говорил: «Ах, вот досада».

Жук перестал лаять, хлопнула вдалеке дверь. Щепкин вышел в залу и увидел Долгова и Растегина, который, удивленно оглядываясь, имел вид человека, сильно потрепанного и еще не совсем просохшего.

— Где у тебя кованый сундук на трех замках стоит, вот мы зачем приехали,— проговорил Долгов,— я видел его лет десять назад; иди, иди, показывай!

Щепкин стал извиняться за беспорядок, припоминать, где может стоять сундук...

Вдруг Растегин воскликнул вне себя:

— Послушайте, у вас — музей, вы ничего не понимаете!

— Да, это еще крепостные работали,— ответил Щепкин,— вот это Федор, а то сделано Степаном, о нем предание даже сохранилось, будто он сначала видел во сне кресла и диваны, а потом уж их мастерил. Я все никак не соберусь убрать это старье куда-нибудь; труда на него положено много, пользы — никакой...

— Варварство! — завопил Растегин.— Целая культура у него в дому гниет, а он говорит о пользе, да я все освобождение крестьян за одно вот это кресло отдам!

Щепкин испуганно поглядел на Растегина.

— Как, это кресло вам дороже освобождения крестьян? — проговорил он и потер, точно согревая, ладони.

— Фарфор, черт меня возьми, екатерининский; Гарднер, старый Кузнецов, императорский завод! — уже вне себя вопил Растегин.— Слушайте, я все покупаю, давайте цену... Поскорей показывайте платья, фар-

фор, бронзу, кружева, плачу за все. Боже мой, это павловский стиль, смотрите, чистая Елизавета...

Его повели в чулан, где он со стоном схватился за голову; открыли крышку сундука, и оттуда пахнуло старыми духами. Он перебирал платья, платки, кружева, истлевшие туфельки; вскрикивая, взглядывая на вышивку, выворачивал глаза, нюхал ее, обозвал Щепкина телятиной и еще чем-то,— завернулся в персидскую шаль.

— Сколько вы хотите? Только не грабьте, говорите цену — десять тысяч, пятнадцать, только — чтобы расписка была, чтобы видели, а то, знаете, у нас в Москве ничему не верят...

— В сущности говоря, эти вещи не продажные, это все моей матушки вещи,— заикнулся было Щепкин.

— Двадцать тысяч! — воскликнул Растегин, вытаскивая чековую книжку; при этом он так наступал на хозяина, что тот прошептал, испугавшись:

— Ну, хорошо, хорошо.

Долгов и Растегин, взяв пока кое-что из платья, уехали. Щепкин остался стоять посреди темной залы, затянутой паутиной; чек на двадцать тысяч дрожал у него в руке.

«Фу ты, как все это скоро,— подумал он,— что же мне теперь делать с этими деньгами?»

Он подошел к пыльным шкафам, где стоял фарфор; с удивлением, точно первый раз, поглядел на мебель; в раздумье остановился у окна, за которым было видно пожарище, и вдруг ему стало стыдно и неловко.

«Ну, конечно, все это Долгов подстроил,— подумал он,— но зачем же столько было дарить, мне достаточно было и тысячи рублей».

Думая, как теперь устроиться, выкупить ли вновь усадьбу, или нанять простую избу, или сесть на хлеб к Долгову, он внезапно представил себе длинный ряд старческих сонных лет, чахлое и нудное угасание, словно уже видел себя попивающим на балконе чаек за чтением «Крестового календаря».

— Да, жить можно в свое удовольствие,— проговорил он,— еще лет десять, пожалуй, отмахаю! Благодетелем буду, благотворителем. Придет мужичок, дам ему

полсотни на семена, а дети малые ручку будут у дедушки целовать. Где бишь я об этом читал? Именно вот про такого старичка приятного,— всю жизнь он трудился и не роптал, а на склоне лет получил от господа бога милость и благодеяние на радость себе, на добрый пример всем людям. А вот взять сейчас и отдать сей чек погорельцам! И то, отдам! Что-то уж очень противно.

Стараясь не улыбнуться, сдерживая бьющееся сердце, боясь, как бы от внезапной радости не подкосились ноги, Щепкин поспешно спустился с лестницы и, подмигнув Урагану, отправился к пожарищу. День казался ему особенно ясным, как никогда, и птицы — иволги и дикие голуби — пели в саду райскими голосами.

9

Александр Демьянович, сидя подле Раисы в просторном тарантасе, нагруженном ящиками с фарфором, платьями и старинными вещами,— скакал во весь дух к железнодорожной станции.

Подводы с мебелью и громоздкие сундуки должны были тронуться на днях, он поручил это сделать Чувашеву, сам же спешил поскорее от греха выбраться из уезда.

Солнце закатилось, и в мокрых ржах кричали перепела. Растегин вертелся на подушках, вне себя от нетерпения и радости. Поездка удалась, как он и не думал; сердце у Раисы прошло, она была даже приветлива, только иногда глаза ее неподвижно останавливались на спине кучера, но Растегин большого значения этому не придавал. Обнимая ее за плечи, наклонясь к маленькому уху, он спрашивал:

— Скажи, моя великолепная, чего тебе еще хочется?

— А я сама не знаю,— отвечала Раиса.

— Ты моя мечта, ты мой эксцесс,— шептал он ей в губы.

— А мне так не нравится, как вы меня называете,— отвечала она, отворачиваясь,— зовите лучше Раисой!

— Когда ты будешь моей?

— Ишь как торопитесь! Когда захочу, тогда и буду.

— Я не доживу до этого дня.

— Жили до сих пор, ну и доживете. Чевой-то, как комары кусаются.

Комары действительно кусались; самые сильные из них и смелые поспевали за тарантасом, впивались в щеки и лоб, пищали под самым носом, на морщинистой шее у ямщика сидело их восемь штук.

В острых разговорах, в допытывании взаимности незаметно пролетела дорога. Закат потускнел, позеленело небо; точно вымытые вчерашним дождем, появились на нем звезды. Невдалеке, в темном поле, показались желтые и белые огни станции. Тарантас загромыхал по булыжнику, мимо крытых дерном погребов, и остановился у заднего крыльца вокзала, где торчал железнодорожный юноша, изо всей силы зевая.

— Бери вещи, живо! — крикнул ему Растегин, высаживая Раису.

Железнодорожный юноша посмотрел и ушел, ничего не сказав. Александр Демьянович покричал сторожа, возмутился, но все же ему самому вместе с ямщиком пришлось перетаскать ящики из тележки в залу I—II класса.

Здесь между двух открытых окон стоял дубовый диванчик, перед ним круглый стол, покрытый черной клеенкой. На нем горела лампа с круглым матовым колпаком; валялась шелуха от воблы, семечек и крошки хлеба. В глубине, на прилавке, спал какой-то мужик, завернувшись с головой в полушубок. Раиса прилегла на диванчик, Александр Демьянович сел напротив нее к столу. В открытые окна влетало и улетало такое множество комаров, что воздух звенел от их писка. Раиса медленно натянула на лицо себе платок и, должно быть, заплакала, потому что плечи ее стали подергиваться. Растегин принялся было утешать, но она ответила: «Оставьте меня, пожалуйста»,— и он вернулся на место, но сейчас же вскочил: комары пропихивали голодные носы сквозь пиджак, а ноги горели, как обожженные.

Разыскивая начальника станции, Александр Демьянович попал в небольшую комнату, где тикал телеграф и стояли два красных аппарата вроде турецких памят-

ников, у каждого из середины торчала небольшая трубка с раструбом.

— Эй, где тут начальник станции? — громко спросил Растегин,— он стоял посреди комнаты и прислушивался. Вдруг одна трубка заревела басом: «У-у-у-у-у», а другая заквакала, как лягушка. В пустой степи какие-то трубки; Растегину стало не по себе.— Эй, сдохли бы вы все, что ли! — закричал он злым голосом. Наконец из маленькой двери вылез толстый, небольшого роста молодой человек в голубой расстегнутой рубашке; сильно почесывая волосы и щурясь на свет, он подошел к аппаратам; красные щеки его, губы, подбородок и живот были такие толстые, точно их нарочно оттягивали от нечего делать. Растегин спросил, когда же будет, наконец, поезд.

— Поезд? — переспросил молодой человек.— Поезд, значит, опоздал. Значит, это, как его...— Он покряхтел, затем обиделся и сказал: — Что вы хотите? Сюда посторонним лицам вход воспрещается. На семь часов опоздал. Ах ты, пропасти на них нет,— и он опять ушел в маленькую дверку.

Растегин в отчаянии вернулся к Раисе.

— Так ты за этим меня сюда привез? Комаров кормить? — сказала она ему из-под платка.— Ах ты бессовестный!

В тоске Александр Демьянович то вертелся на стуле, стараясь добиться хоть одного слова от обозлившейся Раисы, то выходил на перрон. Здесь было еще гаже,— темно, сыро, далеко до рассвета, в небе торчали все те же звезды, на земле блестели две пары рельсов. Не было ни лошадей, чтобы ехать отсюда, ни буфета, никакой рожи, хоть бы накричать на нее со злости.

Часу во втором утра послышался звон колокольчика. Растегин в это время, раскупорив один из ящиков, просматривал старый альбом с незнакомыми фотографиями давно умерших людей. Услышав колокольчик, он сказал:

— Раиса, голубушка, приободрись немного. Вот еще кто-то едет. Все вместе и переждем. Нельзя же так падать духом.

Неожиданно Раиса не только приободрилась, но,

словно с большим волнением, приподнялась на диванчике, прислушиваясь. Припухшие губы ее медленно усмехнулись, а светлые глаза уставились на Растегина так странно, что он смутился и спросил поспешно:

— Что такое?

Раиса опять закрылась платком, вся вздрагивая, но, должно быть, не от слез на этот раз, а от смеха. Колокольчик прозвенел близко, бешено зазвякали подковы, затрещали колеса. Растегин двинулся было к двери, но в ней уже появился Семочка Окоемов, засучивая полотняные рукава, а из-за бока его выглядывал Дыркин.

— Папашка,— закричала Раиса со смехом,— я здесь, ей-богу! — Она сидела на диване, упершись руками в коленки и смеясь во весь рот.

Растегин отступил, ноги его стали как перешибленные, и заболел низ живота. Окоемов, сильно дыша, подошел к нему, взял за ворот, встряхнул один раз, спросил:

— Ты будешь к нам ездить? — тряхнул другой раз, повторил: — Будешь к нам шататься, чучело бритое?— тряхнул в третий и, ничего более не прибавив, повернул его к двери и, дав сильного леща, пустил лететь через порог до самого перрона...

Александр Демьянович упал, ахнул, но сейчас же приподнялся и увидел, как в одном освещенном окне обнимались то Дыркин с Раисой, то Окоемов обнимал Раису, а в другом окне, высунувшись, хохотал до слез, тряс косматой головой толстый начальник станции в голубой рубашке.

Затем через окно к ногам Александра Демьяновича полетели все шесть ящиков с фарфором и старинными вещами. После этого зазвенел колокольчик, протопали лошади, прогремели колеса, и топот и звон понемногу затихли. Небо засерело у краев и зазеленело. Александр Демьянович, опустив голову, сидел на ящике, ожидая поезда.

«Попадись теперь мне Опахалов, мазила несчастный,— думал он,— я ему покажу двадцатые года! Тоже — стиль выдумали, бездельники проклятые!»

Издали за лесом заклубился белый дымок, и долетел протяжный свист поезда.

БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Только к полуночи заглох закат, отцвело у краев земли небо и во всю силу осыпалось созвездиями, а на церковные купола, крыши домов и деревья опустилась роса.

Николай Николаевич лежал на кровати, упираясь локтем в подушку, и глядел в небо.

Не шевелясь и не мигая, глядел он на звезды, словно омытые росой. И казалось, что не из сада, куда открывалось окно мастерской, а от запаха этих звезд в темную спальню идет запах влажной, сладкой резеды.

Аромат резеды всегда был связан у него с очень странным представлением: казалось, что если сесть на подоконник и наклониться вниз, то не увидишь земли, а только темное небо, осыпанное звездами. Как будто дом его и он, на окне, в ночной рубашке, прилепились на краю земли, на последнем мысу, и только узкий подоконник отделяет его от падения в темное, покрытое синими искрами пространство, глубоко уходящее вниз.

Этот край, узкий мыс земли, неверный и зыбкий, как шпора, как нос корабля, несется навстречу созвездиям. Их огни опутывают тонкой паутиной, не хочется ни думать, ни двинуться, ни закрывать глаз,— «покой и полет, и не жизнь!»

Где-то далеко, на бульваре должно быть, покатился железным ходом трамвай. Внизу чей-то голос проговорил: «Что ты, Вася, как тебе не стыдно!» — и простучали шаги. Струя теплого воздуха донесла в окно запах улицы.

Николай Николаевич закрыл глаза, и сейчас же понеслись все впечатления прошедшего дня: встречи, разговоры, лица и рожи, и, затеняя все, появилось под конец одно лицо — господина Воронина, перекошенное испугом, удивлением и гневом.

Лицо это было до того неприятно, что Николай Николаевич сморщился, пошевелился на кровати, потом протянул руку, достал из стаканчика папироску и, повертев между пальцами бензиновую зажигалку, открыл ее. Вспыхнул огонек, осветил длинные, прищуренные от света глаза Николая Николаевича, сухой его горбатый нос, подстриженные усы, четко вырезанный чистый рот и струю голубого дыма. Затем огонь потух. Но спокойствие не вернулось, будто огонек совсем спалил паутину звездных лучей, всколыхнутых городскими шумами.

Николай Николаевич был человек веселый и удачливый. Но за последнее время произошел незаметный почти сдвиг, так — пустяки, точно лопнула жилка, не крупнее той, что разрывается в глазу. Но от этой неясной, ничтожной причины многое изменилось. Теперь каждый вечер, отворив американским ключиком дверь холостяцкой своей квартиры, оставлял он по ту сторону город, людей и суету; день уходил, как отлив, от его порога. И каждый раз казалось, что прожитый день был словно людной площадью, которую он перебежал, никого не коснувшись, и никто не задел его ни словом, ни чувством, ни рукой, будто он один и был живой во всем городе, а все остальное призраки, тени на экране.

Все это началось с пустого, быть может, но довольно необычайного случая и, усиливаясь, опустошало, сковывало волю. Николай Николаевич понимал, что только решительным поступком можно отвязаться от этой болезни, но в себе он не нашел ни силы, ни желания поступать решительно. Он только постарался освободить

себя от всех обязанностей, чтобы остаться одному и налегке. На днях отказался от выгодной постройки, передав ее приятелю. Понемногу разрывал деловые и дружеские связи; послал несколько важных писем; ответы же на них, не читая, запер в ящике стола. А на днях выдвинул ящик за ящиком и все содержимое сжег в камине, словно это было очищением перед коренной переменой, катастрофой, смертью... Он не знал... Но и не страшился.

Сейчас Николаю Николаевичу было жаль отлетевшего оцепенения. Впечатления дня и встреча с господином Ворониным бесконечно повторялись в его памяти, он чувствовал все сильнейшее отвращение и беспокойство. Положив докуренную папироску, он повертелся еще, приподнялся на локте и нажал звонок.

И тотчас вслед за звонком слышно было, как в кухне девушка Стеша спрыгнула на пол и по коридору застучали ее быстрые шаги.

Николай Николаевич покачал головой.

— Войдите, Стеша,— сказал он спокойно; в полуотворенную дверь проскользнула девушка и остановилась.— Не зажигайте света, подойдите ближе, сядьте,— продолжал Николай Николаевич.

Девушка подумала, быстро двинулась и, держась прямо, присела в ногах. Ему был виден тонкий ее силуэт с опущенными плечами, в темном платье; за ее головой в окне теплились звезды.

— Вы опять не спали,— проговорил Николай Николаевич.— Послушайте, милая Стеша, сегодня вы опять сказали: «у вас на пальте запачкано».

Стеша чуть кивнула головой на это.

— На пальто,— проговорила она негромко.

— А потом вы сказали: «таперича все чисто».

Николай Николаевич засмеялся, потом высвободил руку и загнул палец.

— Я лежал и думал о вас. Во-первых, вы очень умная и, когда меня нет дома, читаете Пушкина; во-вторых, если не считать «на пальте» и «таперича»,— очень изящны; в-третьих, вы единственный человек, который меня любит; затем, вы самая красивая из вещей

у меня в квартире, а я слишком люблю красивые вещи, чтобы их разбивать.

Стеша быстро поднялась, он поймал ее за черный фартук, перехватил за маленькую холодную руку и посадил опять в ногах постели.

— Стеша, когда я вас позвал, вы спрыгнули с сундука и стояли целую минуту без сознания — не то бежать на улицу, не то в подушки зарыться, не то покориться тому, что сильнее вас... Каждый раз, когда я зову, вы думаете об *этом*. Нет, нет, для *этого* я вас не позову никогда. Мне нужно, чтобы здесь у меня был тайный уголок, где все чисто, как в церковном окне.

Николай Николаевич помолчал, рот его передернуло гримасой. Стеша не двигалась, опустила голову.

— И вам действительно опасно приходить, когда позову,— продолжал он,— уцепиться мне теперь уж не за что; вот вас разве погубить, да на этом и покаяться? Для самого тонкого услаждения разрущить последнюю прекрасную вещь. Слушайте-ка, Стеша: был один царь, настало ему время умирать, а не хочется, тогда велел он привести девственницу и положил ее с собой, чтобы она свои силы отдала ему.

— Бог знает, что вы говорите, Николай Николаевич,— ответила Стеша серьезным голосом.— Стыда у вас нет...

— Стыда у меня нет,— проговорил он задумчиво,— у меня и жалости нет, ничего у меня нет, пустое место. А живу одним: так устраиваю, чтобы поменьше было неприятностей и навязчивых мыслей и побольше удовольствия: прохожу между камушков. Как в сахарной патоке сижу от всех неприятностей: и противно, и тепло, и сладко... А вы слушаете мою чепуху, и когда истерзаю вас непонятными словами, ожиданием, насмешкой (ведь я смеюсь над вами все время, всегда), вы будете реветь потом весь день, а я успокоюсь. Стеша, хотите спасти меня?

Николай Николаевич приподнялся, взял девушку за локти и повернул к себе. Она не противилась. Лицо ее было совсем бледное, и раскрытые глаза, как темные пятна, без блеска. Николай Николаевич старался приметить волнение, страх, гибель в них, но Стеша почти

не дышала, почти не видела; ничего не поняв, все простила заранее, покорилась, предалась; и на что ей нужны были тоненькое восемнадцатилетнее тело и девичья душа, как не отдать их поскорее и без возврата тому, кто мил до смерти.

Он бородой коснулся ее щеки. Стеша усмехнулась и легко вздохнула: в первый раз он был так близко от нее. Она медленно закрыла глаза, но он отпустил ее локти, отодвинулся и сказал:

— Теперь я могу рассказать одну историю; расскажу и покончу с ней, а вы дайте совет. Помните, на масленицу приезжал профессор Воронин? У него очень хорошенькая жена, так вот она прислала его ко мне, чтобы пригласить на вечер. Он просидел часа полтора, наконец пересилил себя и пригласил. Я поехал. Профессорше, Стеша, тридцать пять лет, у нее светлые волосы, теплая кожа и нежный голос. Должно быть, ее сильно огорчили в этот день, она проговорила со мной весь вечер и с такой злобой и отчаянием отозвалась о муже, что мне захотелось ее утешить. Представьте женщину, не связанную ни чувством, ни правилами, потому что у нее ничего этого нет, и не грешила ни разу. Странно. Ее это измучило, и муж надоел ужасно, и почему-то все время ее мысли были обо мне. Я не мог не согласиться, раз женщина ждала тридцать пять лет, счел своим долгом. Она, конечно, перепугалась, я стал настаивать; она принялась лгать, будто все это пока еще в теории. Тогда я объяснил, что у меня слишком много обязанностей перед другими и нет времени на отвлеченные занятия. Она, должно быть, немножко сошла с ума в этот вечер. А через день сама открыла мне парадную дверь. Муж спал в кабинете. Сначала меня забавляло опасное приключение, потом закружилась голова: я никогда не видал такой радости, страха и отчаяния от греха, которому предалась профессорша. Вдруг в доме поднялась беготня. Я быстро оделся и подошел к запертой двери. На весь дом закричали: «Пожар!» Другого не было выхода, кроме этой двери; к ней подбежал господин профессор и стал звать: «Катя, Катя, проснись, на дворе пожар!» Он не отходил, вертел ручку и стучал. Она дергала меня за пиджак и повторяла отчаянно: «Уходите».

Я поправил галстук, нахмурился, отворил дверь и не спеша прошел мимо *него* к прихожей. Он мельком взглянул на меня, ничего не понял и вбежал к жене. После этого я постарался не встречаться с ними. Квартира их действительно обгорела, они перебрались на другую. Профессорша пожелала было возобновить наши отношения, но я отказался. Ну, а многоуважаемый профессор, оказывается, ни разу не помянул жене про таинственную встречу со мной в дверях спальни. В этой встрече ужасно много было нестерпимого, чего нельзя вспоминать. И вот, Стеша, сегодня вечером я ужинал в ресторане, и вдруг за соседний столик садятся они. В углу горит камин. Я поклонился и стал глядеть на огонь, и мне казалось, что время от времени в затылок впускают иглу. Я оглянулся. Профессорша, очень грустная, глядела на горящие дрова, и то на них, то на меня взглядывал профессор. Он совсем лысый, с толстыми щеками, и вот лицо его стало серое, как у мертвого, опустилось, усы раздвинулись, и рот, измазанный красным соусом, застыл, открылся... Фу, гадость! Он только в эту минуту, глядя на огонь и на меня, связал нас, вспомнил встречу в дверях и — не в силах сдерживать логики воспоминаний — догадался. Когда я расплатился и хотел уйти, он быстро подошел ко мне и попросил принять его завтра утром. Он глядел под ноги, а руки держал в карманах. И вдруг рот его перекосился, уши и лысина побагровели. Невнятно, как в бочку, глухо, он торопливо пробормотал: «Я тебя убью». И отвернулся. Черт его знает, может быть мне все это показалось. Он приедет, Стеша, и мне нечего ему сказать завтра, я не выжму из себя ни слова. Я и сейчас вижу два его оловянных глаза, и пониже — дырка револьвера. Вот что. Значит, погибнуть глупо и бесцельно? Уйти к черту в потемки? Не хочу. Не могу. Не хочется...

Николай Николаевич вдруг оборвал. Повернувшись на бок, он подсунул ладонь под щеку.

— Ну вот, теперь и засну, пожалуй. Стеша, закройте окно,— проговорил он.

Давешние непримиримые мысли словно примирились сами собой и стали таять, как туман, как ночные призраки. Небо в окне побледнело, звезды позеленели,

те, что помельче, пропали совсем, и далеко за городом протянулась нежно-розовая полоса рассвета.

Стеша, словно очнувшись, соскользнула с постели, подошла к подоконнику, оперлась о него коленом, приподнялась, протянула руки и, взявшись ими за раму, захлопнула окно; затем, отойдя от двери, спросила:

— Вам кофе утром или шоколад?

Николай Николаевич не ответил. И ей показалось, что теперь, когда он передал ей самое тяжелое (она плохо поняла, но чувствовала, как он мучился и тосковал), не грешно же будет подойти и поцеловать его в щеку, но она тряхнула головой и, тихонько притворив дверь, ушла на цыпочках.

Утром, за минуту до пробуждения, Николай Николаевич увидел во сне Тверской бульвар; свет на нем был красноватый, густой, тягучий; впереди медленно волочилось по земле пыльное облако. Сзади неустанно нагоняли чьи-то шаги. Бульвар пуст; деревья без листьев; красноватые улицы каменные и глухие; и все же повсюду было множество людей; они ловко увертывались от взгляда, стремительно шарахались, проходили сквозь дома... Ловкачи были страшные. Дразнили или боялись — непонятно... А сзади догоняли шаги... Должно быть, этого все и боялись... Наконец тот, кто догонял,— появился; на нем было широкое пальто и американская шапка. Он закрутился, как собачонка, но стал — и оказался сутулым, небольшим и с тросточкой. Он вынул папироску и стал курить, затягиваясь. Дым пошел из его рта розовый. Тогда появились его глаза — ласковые, свиные, тошные... Николай Николаевич не мог уже пошевелиться, понял, что пропал: не надо было ловить этого взгляда. А тот опустил тросточку и побежал за ней вокруг Николая Николаевича, растягиваясь, отставая от тросточки, делаясь тоньше, длиннее, как макарона, как паутина, как ничто, и на песок лег желтоватый круг... Весь бульвар наполнился людьми, у которых все было преувеличено до тошноты, особенно у женщин. «Сейчас увижу себя, я уж знаю,— подумал он,— сейчас, как собачонка, стану крутиться в кругу... Какая мерзость... Каждую ночь одно и то же...» Не в силах сдержаться, он стремительно полетел над толпой к тому месту, где

в кругу под наклонившимися шапками, шляпами, перьями крутился, как жилистый кобелек, он сам...

— Фу, пакость какая! — пробормотал Николай Николаевич, садясь на кровати, и не успел договорить, как уже забыл про сон.

Солнце поднялось над крышей, свет его лежал на желтом паркете. Шум и щелканье, голоса, грохот, гудки и звяканье слышны были через закрытое окно, над головой дрожала хрусталиками люстра.

Николай Николаевич с трудом овладевал рассеянными мыслями; ему нужно было ответить на несколько писем, побывать в десяти местах и выбрать, куда он с бóльшим удовольствием поедет обедать.

Одетый и вымытый, он вышел в кабинет и позвонил Стешу; она внесла кофейник и пачку писем; поверх черного платья на ней был белый передник. Спокойная, серьезная, с опущенными глазами, она подошла к столу, согнув колени, чтобы наклониться, поставила поднос и, заложив руки в карманы передника, сказала:

— Недавно господин Воронин заходил, я сказала, что вы спите... обещались зайти еще... Как прикажете им ответить?

Николай Николаевич выронил письмо и поглядел на девушку; в углах сжатых ее губ появилась и пропала усмешка.

— Скажите, что очень прошу и жду и буду ждать весь день... Идите! — проговорил он поспешно.

Стеша ушла. Он продолжал распечатывать письма, хмурясь и поднимая плечи.

«С чего начнет? Спросит, конечно: такого-то числа я видел вас в спальне моей жены? Не лгать же мне, в самом деле! Он будет стрелять или захочет драться?.. Какая чепуха! Взять его и вытолкать или прямо не пустить! Нет, буду ждать и оскорбление приму, только бы жить, еще пожить немного... Я боюсь, трушу?.. Ах, конечно! Конечно, я болен, просто болен, болен».

Николай Николаевич ждал звонка и торопился додумать до конца. И выпущенные на свободу мысли понеслись к верному, вчера еще задуманному концу. И чтобы хоть немного оправдаться, он повторял, что болен и болен... Он отодвинул пачку писем, облокотился, потом

принялся ходить по толстому ковру кабинета, потом выскочил в коридор, позвал Стешу и приказал укладывать чемодан. Сам же суетился, ища бритву, гребешки, галстуки; не зная, где лежит паспорт, вдруг останавливался и соображал, что, если сейчас позвонит Воронин, нужно выскочить через черный ход на двор и в переулок. Наконец, одетый в дорожное пальто и с чемоданом в руке, он подошел к парадной двери; за ней был вольный берег, и все опасности оставались позади. Стеша, просунув вперед него руку, искала пуговку американского замка.

— Ну, Стеша, прощайте,— сказал он,— когда вернусь — не знаю, а все, что забыл и что понадобится, пришлите мне, когда напишу...

Он заметил, что пальцы Стеши дрожат и не могут схватить пуговки замка, и обернулся. Стеша стояла у правого его плеча, подняв лицо; из глаз ее текли слезы.

Он быстро схватил девушку за плечи, поцеловал в губы, отстранил и вышел.

Николай Николаевич Стабесов, архитектор-строитель, не был один на свете. Мать и отец его жили в Энске, поволжском губернском городе, выезжая по летам в деревню. В Москве было много родных и пропасть знакомых, из которых никто не смотрел на него как на пустое место: одним он казался очаровательным, другим опасным, третьи его ненавидели. Местный остряк сочинил про него стишок:

Чтоб покончить счеты с жизнью,
Архитектором я стал.
Я черчу, черчу, черчу,
Все сердечки я черчу.

Несколько семейств хотело заполучить его на лето в деревню. Две дамы предлагали свободный брак для заграничного путешествия. А Николаю Николаевичу казалось, и с каждым днем все яснее, что все — даже самые острые — удовольствия подобны пуговицам на жилете: каждый день их нужно застегивать и расстегивать, и от этого не прибавляется ничего.

Поэтому он отклонил все летние предложения; двум дамам, желавшим вступить в свободный брак, ответил, что находится в тяжком настроении и это испортило бы только прелесть поездки, и внезапно решил поехать к отцу под Энск, в имение Варвары Ивановны Томилиной, где Стабесовы проводили каждое лето. Там по крайней мере можно было не думать ни о чем и спокойно скучать. А это очень важно.

Поезд в Нижний отходил только вечером. Николай Николаевич, приехав в третьем часу на вокзал, позавтракал и пообедал, сидя у залитого солнцем огромного окна. Когда же солнце перестало печь затылок и прошла сонливость, он вырвал из книжки три листика и принялся быстро писать:

«Милые папа и мама, сижу на вокзале, хотя поезд отходит только через три часа, и если бы через тридцать часов, все равно я бы не вернулся в город. Все, что там делается,— болезнь, бред, смертельная тоска... Сегодня ко мне должен был заехать человек, чтобы убить меня. Бороться и охранять себя больше не могу, не хочу. Мне очень хочется, чтобы эта поездка принесла много неожиданного и нового. Не знаю, что мне нужно, но больше не могу вертеться в кругу; я верчусь в нем бессмысленно и устал до смерти. Так вот, я очень прошу вас обоих не говорить мне ни о каких причинах моего теперешнего состояния. Я мог бы двадцать раз сильнее устать, и все равно это было бы не то, не та пустота. Все ваши рассуждения — чепуха. Наплевать мне на все эти физические, химические, психологические, наследственные, социальные и прочие причины моей усталости, когда я знаю, что все равно умру. Вчера вечером я бы еще мог умереть, но — не сейчас; к смерти надо подойти полным, пресыщенным, богатым. Я ставлю одно условие: проживу у вас все лето, и вы не будете меня утешать и не должны хвастаться, будто в один прекрасный день поняли — все на свете есть род водорода, а после смерти на могилке вырастет лопух. Об этом лопухе прошу не упоминать... У меня уж, кажется, из ушей растут лопухи».

Николай Николаевич перечел, поморщился, потом приписал: «Обнимаю вас и крепко целую, не сердитесь»,

запечатал письмо, сунул в карман и вышел на платформу.

Под грязным, прокопченным куполом из железа и стекла стояли пыльные поезда, ходили служащие в грязных кафтанах из парусины; вдалеке, по залитым мокрой копотью и нефтью путям, ездил, громко свистя, паровоз. Два перемазанных сажей сцепщика шли за буферами вагона; они скрылись из виду, но вскоре появились опять, уже подталкиваемые тем же вагоном; напротив Николая Николаевича вагон глухо ударился в товарный поезд, сцепщики надели цепи и, вылезая из-под буферов, стали угощать друг друга табачком.

Сцепщик, что стоял поближе, белобрысый и рябой, вдруг засмеялся тонким, бабьим голосом; другой, низенький и прокопченный насквозь, рассказывал:

— Ведь жена она ему, трактирщику-то, жена, а надела мужеское платье, ну чистый мужик... подходит к стойке и мужу своему, мужу, понимаешь, говорит: «Целовальник, дай-ка мне пивка!» Мы все тут сидим, глядим — мужик как есть, и усы, и все... А целовальник рукой вот этак и груди ей потрогал: «Что это у тебя, говорит, мужик, груди-то женские?» Глядим, все у нее мужеское, а груди — женские. Тут мы померли со смеху... Вот какая веселая трактирщица, нарядилась...

Сцепщики покурили табачок и ушли. А Николай Николаевич продолжал стоять; ему в первый раз представилось, что в жизни этих сцепщиков он не участвует никак и им ни до него, ни до его настроений нет дела. Должно быть, каждый, сколько людей ни есть, представляет себя единственным и настоящим, все же остальное — только касающимся себя, по поводу себя, и это остальное может и не существовать.

Зажгли огни — зеленые, красные, желтые; за раскрытою аркой стеклянной крыши разлилась багровая заря; кресты, купола и верхи высоких домов чернели на ней, как нарисованные тушью. Тряпками вытирали вагоны. Появился начальник станции, носильщики и лишние люди. Подали нижегородский поезд. Николай Николаевич залез в купе, заперся и лег; и когда поезд отошел и, свистя, понесся в темном пространстве, Николай Николаевич точно ощутил присутствие миллионов

людей, копошащихся по всей земле, себя же представил маленьким, измученным лягушонком.

В Нижнем звонили во все колокола; вились флаги на набережной, кучами ходил народ, носился пыльный ветер между пестрых лавок, балаганов и вывесок на столбах, между куч из мешков, покрытых брезентами. На горах, за старинными стенами клонились деревья. За желтой Окой, над ярмаркой, стояла пыльная туча. По синей Волге пенились валы; а на дальнем берегу озера, луга, деревни, дремучие леса уходили за край неба, за древний Светлояр.

Был праздник и царский день. Николай Николаевич подъехал на извозчике к пароходным сходням; два босяка подхватили багаж, но чернобородый матрос, растолкав их, отнял чемодан и сам отнес на пароход — просторный, белый и чистый.

Николай Николаевич сел на палубу в плетеное кресло. В воздухе было шумно и бранно. Пароход дрожал от топота шагов; по сходням в трюм сбегали грузчики; на конторке и, двигаясь по трапу, толкались пассажиры, провожающие и ротозеи. На женщинах развевались шарфы и юбки; мужчины придерживали шапки на голове. Вдоль борта вдруг пронеслась чья-то сорванная соломенная шляпа и села на воду; многие закричали и засмеялись; матрос на носу размахал свернутую чалку и бросил ее в шляпу, приподнятую волною, но промахнулся; на мостки маленькой купальни выскочил голый мальчишка, задрал голову к пароходу, указал на шляпу кривой ручонкой и, мелькнув, как рыба, в воздухе розовым телом, шлепнулся в воду и поплыл.

Николай Николаевич с недоумением глядел на всю эту живую суету, залитую солнцем. Лакей принес ему чай, масло и хлеб. Книгоноша пристал с открытками и книжками, потом, подмигнув, вытащил из сумки «Половой вопрос». Николай Николаевич купил и «Половой вопрос».

Вчера на вокзале, потом в поезде почувствовал он множество невидимых людей, а сегодня он увидел их наяву — живых, веселых, на ветру, под солнцем. Ему не казалось странным, что раньше он, кроме себя, кроме темной своей, как ночное небо, пустой души, ничего не

замечал. Должно быть, надо было почувствовать себя лягушонком — и мир приблизился, и все, что казалось пустотой, заполнилось живыми людьми.

Капитан с мостика спросил, окончена ли погрузка; крючники в бумазейных рубахах распояской, с открытой грудью, бегом пронесли последнюю кладь. Зашипел из самого нутра, загудел пароход; побросали чалки; из-под колес повалил пар, и конторка стала отделяться вместе с народом, берегами, городом и башнями. На палубе переместились тени и солнце; пароход повернулся правым бортом к луговой стороне и побежал вниз.

В отделанной цветным деревом, кожей и зеркалами рубке у окон за столиками сидели пассажиры: пожилая дама с помятым лицом, хорошенькая барышня и студент; далее путейский инженер и его жена, они только что поженились, ели ягоды и, шушукаясь, писали открытки; напротив них — две полные дамы в кружевных платьях, одна красивая и круглолицая, другая — неслыханный урод; далее сидели в ряд три барышни купеческого происхождения, в одинаковых кофточках, румяные и скучливые, и в углу под зеркалом — морской офицер и с ним отставной полковник, в казакине и на деревяшке.

Офицер и полковник пили водку и разговаривали.

— Не успел туман этот подняться,— рассказывал офицер,— как начинают в нас палить из двенадцатидюймовых, хлещут прямо в борта...

— Ад,— уверенно, с знающим видом вставил полковник,— бывал я под пулями,— и, сильно потерев стриженую седую голову, налил еще по рюмке.

Две полные дамы ели раков, круглолицая говорила:

— Он такой несдержанный, что мне прямо стало неловко.

На что неслыханный урод ответила:

— Ну, вот пустяки, был бы страстный.

Студент горячо толковал хорошенькой барышне про молекулярную теорию.

— Вы только поймите, до чего все ясно становится,— уверял он.

Дым ходил струями по рубке; сверху из вентиляторов врывался свежий ветер; с левой стороны чесучовые шторы на окнах были залиты солнцем. Николай Николаевич сидел у среднего стола под звенящей люстрой.

Он только слушал и глядел, и пассажиры казались ему более шумными, живыми и выпуклыми, чем настоящие люди. Хорошенькая барышня, не понимая молекулярной теории, отогнула штору; солнечным светом залило ее руку, и пальцы и ладонь стали прозрачными и алыми. Николаю Николаевичу показалось, что у всех сидящих здесь течет такая же алая, солнечная, горячая кровь. И больше всего он дивился на багрового от всяких избытков полковника с деревяшкой.

— Я, знаете ли, такого мнения,— утверждал полковник,— раньше русский человек был храбрей; климат очень переменился, в этом вся беда; раньше, лето — так уж пекло, зима — так трещит, таков и русский человек. Либо все ходуном у него, либо в штыки, и никаких. А теперь что за люди, что за климат! Раньше, бывало, зима — вот вы мне не поверите: еду раз по степи, снег, и ровно, как скатерть; вдруг говорю ямщику: «Стой!» Что такое? Сбоку дороги, в снегу,— дыра, и оттуда дым; гляжу, еще дыра и дым,— и так целый порядок. Оказывается — село вчера занесло бураном. Теперь вы увидите подобное? А найдите вы мне полнокровного человека, как я, например?

При этом и он и офицер поглядели на Николая Николаевича, который наклонился и сказал:

— Я давно к вам прислушиваюсь, полковник, вы совершенно правы — не только полнокровных, живых людей не найдете.

Он усмехнулся и оглянул сидящих; две полные дамы, три купеческие девицы и хорошенькая барышня посмотрели на него с удивлением.

— Пить, есть, заниматься делами и так далее еще не значит жить,— окончил он брезгливо,— а жить, значит радоваться, вот вы этому научите?

Полковнику и офицеру сейчас же стало неловко; все глядели на них и на Стабесова с ужасным любопытством; в рубке сделалось тихо; Николай Николае-

вич развалился на стуле и хмурил густые брови; он вдруг обозлился на этих людей с розовой кровью и, понимая, что вмешательство его в разговор неуместно, хмурился все сильнее; полковник вытер салфеткой рот, поднялся и сказал отчетливо:

— Это, знаете ли, вопрос философский; а не пойти ли нам на свежий воздух?

Выкидывая вперед деревяшку, он ушел; офицер глядел в окно и свистел, наконец бросил салфетку и вышел тоже; круглолицая дама и неслыханный урод вдруг фыркнули. Николай Николаевич оглянул остальных сидящих. «Этим-то уж во всяком случае до меня дела нет»,— подумал он, медленно, по-стариковски, поднялся и, не обертываясь, пошел на палубу, причем почувствовал, как в спину ему воткнулись восемнадцать глаз.

Ветер стих совсем, солнце уходило к закату; Волга была совсем гладкая, чуть трогала ее местами рябь; налево в ней отражались облака, направо — глинистый обрыв, холмы, деревни иногда или белая церковь за кущей берез. А далеко впереди спокойное ее течение преграждала лиловатая полоска леса.

Николай Николаевич стоял у белого столбика борта и глядел. Покойное белесоватое небо, начавшее желтеть у закатного края, бледная зелень берегов, облака, спокойные воды и бедные селения на высоких холмах — все это было в тишине, в неярком спокойном свете угасающего дня. И, быть может, все это было прекрасно, и спокойная душа, созерцая, могла найти в этом вечный покой, но Николай Николаевич слишком узнал этот покой, доводящий до пустоты, до мертвых звезд; ему жутко было сознавать, что он не может проникнуть в ту выпуклую, солнечную жизнь; ему хотелось, чтобы дрогнула, разбилась, возмутилась эта зеркальная тишина.

В сумерках пароход привалил к небольшой конторке у песчаного берега; три тележки стояли на изволоке у кустов, но никто не сошел на берег, и они продолжали стоять неподвижно; сбоку сходен бабы зажгли фонарики у лотков; после второго свистка на песчаной дороге из-за кустов показался попик, махая

рукой; он добежал до конторки, когда уже снимали мостки, и давешний чернобородый матрос весело воскликнул: «Опоздал, опоздал, ваше преподобие!» — подал попику руку и помог взойти на пароход.

Николай Николаевич опустил на этой конторке письмо к отцу, писанное на вокзале. Он обошел уже много раз кругом парохода и сейчас выбрал себе место на скамейке на корме, у второго класса; вскоре появился попик, еще тяжело дыша; он был рыжеватый, худой, в веснушках; сапоги и полы ветхого его подрясника были в пыли; он сел рядом с Николаем Николаевичем, снял соломенную шляпу, склонил улыбающееся лицо к плечу и стал глядеть на закат.

Пароход шел близко к берегу; за бортом тянулись каменные обрывы, лощины, на дне которых в сумерках горели огни, белые облака тумана, прикрывающие местами лес; в разрывах гор открывался иногда весь закат, наверху высыпали звезды, внизу колебались отраженные огни бакенов, и попик вдруг проговорил: «Ну что же это такое». Лицо его стало такое восторженное, будто он сам летел вдоль берега, слушая ночных птиц, вдыхая влажный запах воды и осыпанных росою деревьев.

Когда же Николай Николаевич спросил, куда он изволит ехать, попик испуганно отодвинулся и сначала отвечал коротко, а потом, взглянув на собеседника один раз мельком, другой раз внимательно, рассказал, что приезжает в эти места каждое лето на две недели, сейчас же возвращается к себе, в Оренбургскую степь.

— Весь год об этих двух неделях думаю, уж приберегу копейку, а съезжу,— твердо сказал он.— К чему я годен, если у меня в душе радости не будет. Степь наша скучная, тяжко там жить, все силы отдашь и станешь как тряпочка. А ведь взялся за такое дело, добросовестно его надо исполнять, чтобы действительное утешение принести. Здоровому человеку мы не нужны, а вот, кому тошно, тот идет, а чем я его утешу, когда сам иной раз спросишь: «Пастырь, пастырь, веришь ли ты?» Но все это, знаете, слова. А вот тишина дорога́.

Николай Николаевич посидел еще немного. «Ска-

зать или не сказать,— подумал он,— этот не поймет, не ответит, да и сам вперед знаю все слова». Он поклонился и отошел; из лощины до парохода донесло струю степного воздуха, полынного и сухого; Николай Николаевич вдохнул его полной грудью. «Что случилось? из-за чего это нытье? Нет, спать — и баста»,— быстро подумал он, плюнул в совсем уже темную воду и вошел в каютное отделение. Когда он отворял ключом каюту, дверь напротив приоткрылась, и оттуда выглянула давешняя круглолицая дама. Николай Николаевич нахмурился, дама улыбнулась. Николай Николаевич вошел к себе и лег на койку. Ему казалось, что сосредоточенные его мысли разбились, как стекло, и он вновь еще более одинок, но одиночество это не темное и мертвое, как прежде, а живое и злое. Так же, как и день назад, он лежит в темноте, кусая губы, но мертвое небо над ним разбилось, как стекло, и осколки эти и колют, и жгут, и из глубины поднимается бунтовская сила.

«Этим кончится, я знаю; но только это и есть дьявольский круг — от одной женщины к другой, от одного опустошения к новому»,— проворчал Николай Николаевич; потом он позвонил и сказал вошедшему лакею:

— Утром я должен вылезать, так вы мне купите билет дальше, до Астрахани, потом скажите, кто эта дама напротив; принесите вина и вообще убирайтесь!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Утром над Волгой поднялся тонкий туман; спокойное ее течение все так же преграждала лиловатая полоска леса; пароход повернул по зеркальной воде за каменный кряж и скрылся в голубом тумане.

А к давно оставленной позади конторке на песчаном берегу подъехал сонный почтальон, взял мешок писем, бросил его в тележку и покатил в волость. Волостной писарь, разбирая письма, прочел: «Николаю Уваровичу Стабесову», подивился на такую фамилию, хлопнул по конверту штемпелем, и письмо было

отправлено на вокзал; затем оно прокатилось по железной дороге, потом попало в руки к почтовому чиновнику, полежало в ящике стола, и, наконец, старый томилинский кучер, Иван Абрамович, уложил его бережно в сумку и на сивой паре потрусил по невысоким холмам, покрытым рожью, в томилинскую усадьбу, лежащую за парком и прудом.

Был полдень. Николай Уварович Стабесов и супруга его Марья Митрофановна сидели на крытом балконе дачного дома, стоящего на зеленом косогоре, спиной к сосновому парку, окнами на поля.

Николай Уварович носил седую бороду на две стороны, был крепок и не очень сух, одевался кое во что и сейчас читал вслух «Русское богатство», надев очки. Марья Митрофановна, внимательно слушая, миловидно улыбалась своим посторонним мыслям. Лицо у нее было полное и спокойное, пепельные волосы зачесаны на маковке комочком, одета же была в коричневый ситцевый капот.

— Вон Иван Абрамович едет, может быть везет письмо от Коли,— сказала она.

Николай Уварович, прекратив чтение, поднял брови, из-за очков покосился на жену и проговорил:

— Итак, кооперативное устройство можно подразделить на следующие...

— Нет, ты посмотри, Иван Абрамович к нам заворачивает,— поднимаясь, взволнованно проговорила Марья Митрофановна; она сошла по ступенькам на траву и стала махать томилинскому кучеру, повторяя:

— Да скорей же ты, Иван Абрамович, как тянешь несносно!

Когда же она, вся краснея, сияя от радости, взошла на балкон, держа в руке письмо, Николай Уварович отложил «Русское богатство» и голосом немного глухим проговорил:

— Ну дай, дай почитаем, что он пишет!

•

В то же время по другую сторону парка, в томилинском усадебном доме, двухэтажном, деревянном и заросшем со всех сторон, в прохладной столовой си-

дела Варвара Ивановна Томилина, у потухающего самовара, одна.

Варвара Ивановна послала отыскивать племянницу свою Наташу, которая «проваливалась сквозь землю» всегда, когда ее нужно было найти. Варвара Ивановна держала палец на пуговке крана и глядела на себя в самовар. Мысли ее не спеша совершали привычный хозяйственный круг; дальше него, особенно в летнее время, когда много забот, она идти не хотела и боялась. На ней была надета белая косоворотка, под юбкой высокие сапоги, худое и длинноносое лицо было покрыто мелкими морщинами, как сеткой, и только серые глаза ее казались необычайно ясными, словно многие годы дум и страданий очистили их, и ни одно чувство не могло уже помутить прозрачной их глубины. Ей шел пятьдесят третий год; она была младшей в семье, и теперь никого больше не осталось у нее, кроме племянницы Наташи, девушки с вихрем в голове.

Для нее-то Варвара Ивановна и приберегла родовое свое имение. На себя она тратила мало; курила дешевый табачок, ела понемногу, потому что излишество наводило только на сонливость, и, кроме шерстяной юбки с двумя карманами да нагольных сапог, имела одно только шелковое платье для выездов по делам.

Наташа так долго не шла, тишина в доме была такая печальная, что Варвара Ивановна где-то на середине хозяйственных соображений отлетела памятью в прошлое, и тотчас воспоминания поднялись и встали, как туман; глаза ее расширились и потемнели; устремив их поверх самоварной заглушки, она сидела не двигаясь, с печальной, застывшей улыбкой, убрала только палец с самоварного крана.

Когда-то томилинская семья жила и весело и шумно. Сестры Варвары Ивановны — Анна и Глафира — весьма недурные собой и большие озорницы, долго не выходили замуж; они насмешничали над женихами, влюблялись не больше как на неделю, и с осени до весны в томилинском доме толкался веселый народ,

устраивая спектакли, танцы, поездки, охоты, и нередко между молодыми людьми происходили ревнивые ссоры, что подавало повод для пущей веселости обеим сестрам.

Матушка умерла очень давно, сам же старый Томилин веселился больше всех дочерей, первый заводя всяческую умору. Над женихами он посмеивался, и казалось, мысль лишиться хотя бы одной из дочерей была для него несносна. И никто, конечно, из них не считал пролетающих лет. Но однажды на масленицу, после неудавшегося бала, на который никто из-за сильной метели не приехал, Анна и Глафира увидели вдруг, что молодость кончилась. Окончилось и веселье в томилинском доме, и вскоре обе сестры, точно спеша, вышли замуж и уехали.

Опустела усадьба; по старой памяти заезжал еще кое-кто из соседей и грустно поминал прошедшее, точно неудавшийся бал на прошлой масленице состарил всех, лишил невозвратного, что в жизни бывает раз.

Отец скучал и писал дочерям письма. Все хозяйство лежало на руках у Варвары Ивановны. Сестры всегда называли ее Варвар Иванович, и она работала на них с большой радостью, мало принимая участия в веселье. Один только раз ее нарядили Варвар Ивановичем — надели чалму, привязали бороду и пробкой навели морщины, и с тех пор запах пробки остался в ее воспоминании, как печальный и прелестный.

Она думала, что по отъезде сестер начнется ее жизнь; но редко заезжающие соседи продолжали звать ее Варвар Ивановичем, и она все так же, надев смазные сапоги, ходила на скотные дворы, объезжала на дрожках поля и по вечерам читала отцу вслух Щедрина.

Одно время она представляла, что вот на будущий год приедут сестры и скажут отцу: «Что же ты делаешь с Варей, она уж не так молода?» Но этот будущий год всегда удалялся, когда к нему приближались, и скоро стал похожим на когда-то прочитанную повесть — так много и подробно думала о нем Варвара Ивановна.

Нераскрытая ее любовь переносилась с отца на телят, на птиц, на никогда еще не виданную племянницу Наташу, дочь Анны. Один только раз, обмеривая дальний участок, она поглядела в трубу астролябии, и землемер, показывая, как надо пользоваться прибором, коснулся усом щеки Варвары Ивановны. Землемер был молодой, загорелый, с веселыми глазами, от него пахло степью и табаком. И она не спала несколько ночей, изнемогая от стыда и непонятного волнения, и долго еще спустя, не успевая словить себя на недостойной мысли, представляла скошенный серый глаз, загорелую щеку и пахнущие табаком длинные усы. Но и это воспоминание стерлось понемногу и угасло.

Вскоре умерла Глафира. Спустя полгода Анну и ее мужа зарезали в кавказских горах. Старик Томилин до того ослаб духом, что взял с Варвары Ивановны клятву не оставлять его одного до смерти.

Однажды у Варвары Ивановны вывалился передний зуб; он долго качался, и раз поутру она вытащила его пальцами, легла на постель и плакала до сумерек. Отец не мог подняться по винтовой лестнице и звал дочь, стуча палкой о паркет. А ей было жаль пролетевшей жизни, хотелось, чтобы поскорее пришла смерть. Все-таки она сошла к отцу, ничего не сказала про зуб, но и не отворачивалась. Отец спросил, здорова ли она, а выпавшего зуба не заметил. Он не замечал, что дочь уже старуха и что нельзя вернуть ни надежды, ни отошедшего веселья.

Варвара Ивановна ожесточилась, стала резкой с отцом, он же присмирел, и хотя ей было и совестно и жаль, но теплоты в своем сердце она не находила.

Она спрятала все письма и карточки — все, что напоминало прошлое; злобилась, худела и высыхала. Однажды отец начал писать ей письмо, он назвал его: «Оправдание Томилина», и работал недели три. Поздно вечером Варвара Ивановна вошла в его кабинет, отец лежал мертвый, головой и руками на столе; на только что начатой странице было написано: «Милая дочка Варя, прости и не вини...»

Ни надежд, ни злобы, ни сожаления не осталось больше у Варвары Ивановны. Со смертью отца кончился ее век.

Она продолжала жить в старом доме, все так же работая по саду и на полях, а вечером оставалась одна, сидела сложив руки и ждала, когда придет сон. Подсохшее ее тело было очень крепко и могло работать без износа еще лет двадцать. Только по зимам в морозные, метельные вечера становилось не под силу, и она просила отошедших навестить ее в теплой зале, освещенной лампой с глубоким абажуром.

Анна, Глафира, отец и мать иногда приходили, садились за стол, и Варвара Ивановна глазами, полными слез, поглядывала на них из-за самовара, боясь громким словом потревожить торжественную тишину. В эти часы она забывала о старости, и тихая радость наполняла весь старый дом, словно в окна вливался свет вечной тишины.

Зимой Варвара Ивановна получила письмо от Наташи, которая до этого жила с бабушкой, теперь кончила гимназию и просила тетку взять ее — погостить. Варвара Ивановна сильно заволновалась. Ей трудно было возвратиться от тихой, как тиканье часов, едва тлеющей жизни к суете, которую внесет с собой девятнадцатилетняя девушка. Но написать отказ было очень трудно; она пересмотрела все карточки Наташи, похожей на мать, и послала письмо, прося приехать.

Суетню, смех, суматоху и тысячу маленьких разговоров внесла Наташа в полутемный, теперь очищаемый от пыли и паутины дом. И Варвара Ивановна, сначала падавшая с ног от усталости и недоумения, очень скоро принялась думать и двигаться и говорить, как Наташа. Для нее начинался день, когда Наташа открывала глаза, а уложив Наташу поздно вечером, поговорив с ней о пустяках, она засыпала без снов. О зимних же своих думах и видениях она ничего не говорила, боялась даже поминать, да и Наташа все равно пропустила бы подобные разговоры мимо ушей, вполне разумно и законно считая, что у тетки никаких иных, кроме ее — легкомысленных девичьих мыслей быть не должно.

— Ну что же она не идет,— тряхнув головой, проговорила, наконец, Варвара Ивановна и приложила ладонь к самовару, он больше не пищал и был теплый; а на балконе в это время послышались шаги и голоса.

«Батюшки, не случилось ли чего-нибудь»,— подумала она. В столовую вошли Николай Уварович и Марья Митрофановна; Стабесов глядел в сторону и морщил лоб, супруга его держала в одной руке письмо, в другой платок, и по глазам было видно, что плакала.

— Ну вот, мы пришли,— сказал Николай Уварович, здороваясь.— Марья Митрофановна, покажи письмо,— он по привычке засунул пальцы в бороду, раздвинув ее направо и налево, сел, но тут же и сгорбился, положив на скатерть кулаки, сложенные кукишами, тоже по скверной привычке.

— Вот что пишет Коля,— проговорила Марья Митрофановна отчаянно и развернула письмо,— мы уж и так и этак обсуждали. Николай Уварович говорит, что Коля наш болен; как вы про это сказали, Николай Уварович?

— Мужская болезнь,— проговорил Стабесов,— вот как я сказал.

— Не угодно ли послушать, боже мой,— продолжала Марья Митрофановна,— откуда он ее мог заполучить, да и болезней таких вовсе нет; а я говорю — тут что-то непонятное. Застрелить его хотел какой-то негодяй. Что у них там делается?.. В живых людей стреляют!..

— Постой тарантить,— перебил Стабесов,— а ты объясни, при чем у него водород. Мы в чем-то оказались повинны, вот это мне растолкуй!..

Варвара Ивановна тем временем прочла письмо и, задумавшись, стояла у края стола.

— Он пишет про страшную пустоту,— проговорила она тихо,— я это очень понимаю; он опустошил себя и чувствует, что прежним содержанием наполнить пустоту эту нельзя; вы подумайте хорошенько, что ему можно дать — одно доведет его до гибели и смерти, а другое до бесконечной радости. Что может быть прекраснее такой радости...

— Нет, уж я знаю, к чему вы подбираетесь,— сердито возразил Николай Уварович,— начнете его разными потусторонними вещами напихивать; свихнется, свихнется совсем! Коля был отлично воспитан, на здравых и натуральных началах; в роду у нас больных не было; отчего у него все выдохлось, не понимаю. Славянская порода подгадила, вот! Ничто в ней не держится, да-с!

Николай Уварович замотал бородой и очень рассердился.

— Пустота,— закричал он,— для этого мы сражались? Мы общественность готовили, а они, видите ли, выдыхаются. Почитайте-ка хронику. Что это такое? Было у нас подобное? Балаганные клоуны! Макса Линдера на руках в консерваторию внесли. Автомобилю религиозное значение придают. Манифест выпустили, что ни в чем не должно быть никакого смысла. До такой пустоты себя выжали, что уж слов у них даже нет, одними гласными буквами выражаются. Ведь это пожар, пепел один остался. А вы мне о радости толкуете. Никакого выхода не вижу и очень огорчен. Пускай Николай приезжает, я ему слова не скажу.

Николай Уварович окончательно обиделся и забарабанил пальцами. Томилина глядела на него внимательно; она подняла уже руку, чтобы возразить, но Марья Митрофановна в это время вскочила со своего стула и воскликнула взволнованно:

— Вы меня-то, меня-то послушайте. Коленька сегодня к вечеру должен приехать: посмотрите на штемпель, письмо железной дорогой шло, а он водой к нам едет.

Горничная Феклуша, посланная за Наташей, проторчала с полчаса на мельнице, куда бегали девчонки со всего хутора глядеть на нового мельника Семена,— уж очень он был чуден.

Мельник был кругломордый, бритый, с льняными волосами до плеч, носил голубую рубашку и не столько молол муку, сколько играл на трубе и баловался.

Мельница стояла с краю широкой плотины под

яром; кругом росли огромные ветлы, от древности склоненные к воде, пруд был глубокий и зеленый, начинался версты за две, извиваясь уходил в парк и около плотины разливался в круглое озеро; напротив мельницы, по ту сторону, на косогоре стояла пасека о пятьдесят пеньков, обнесенных плетнем; на кольях его торчали белые конские черепа, охраняя пчел от глаза, росы и пауков. Известно, что один мудрый человек вытащил из речного омута конскую тушу; вспорол, и оттуда вылетели и с тех пор повелись на земле пчелы; поэтому вокруг пасеки всегда должны висеть конские черепа.

Феклуша, выбежав из дома, кинулась было в парк, а ноги сами занесли на мельницу. Но Феклуша не была дура: ступив на плотину, она оглянулась сначала,— под колесо бежала вода, скрипели постава, а вокруг никого, кроме грачей на ветлах да гусей на воде, не было; став у дерева, она закричала тонким голосом:

— Мельник, Семен, барышню нашу не видел?

Никто ей не ответил, поскрипывало мокрое колесо, кричали грачи; потом из двери не спеша вышел мельник, поджав губы, посмотрел на Феклушу непонятно, сел на пенек и сказал:

— Нет, барышню я не видел. А ты зачем?

Дивно было Феклуше глядеть на мельника: по круглому лицу его ходили зайчики от воды, бесстыжие глаза он вылупил, точно глядел в самое прудовое дно, а когда Феклуша отвернулась на минутку, то приметила, что он косится прямо на нее. Она переступила босыми ногами, вздохнула и сказала:

— Семен, а что говорят — у тебя русалка на мельнице живет.

— Живет, верно,— ответил Семен.

— Батюшки, а ты не врешь?

— Как ты можешь со мной так разговаривать, дура!

Феклуше стало очень смешно; она еще раз вздохнула и спросила:

— Как же ты ее поймал?

— На удочку поймал.

Мельник вдруг привстал и наклонился над самой водой.

— Эге,—сказал он,— старик-то опять приполз.

— Ты это про кого?

— Иди, покажу.

— Ну нет, меня барышню послали искать.

— Чего, дура, боишься? — спросил мельник и посмотрел на румяную синеглазую Феклушу; стояла она на бугорке, у ветлы, и если бы он шаг шагнул, она тотчас бы убежала; тогда он напустил на себя еще пущего туману, вытянул вдруг шею и стал слушать.

— Ах, шельма, скребется,— проговорил он и быстро ушел на мельницу. И тотчас оттуда послышалась возня, и потом заиграли на трубе.

Феклуша стала подходить поближе, до того ей было любопытно, не дышала она, подкрадывалась на цыпочках, а мельник глядел на нее в щелку двери.

В это время заскрипело за деревьями, защелкало, и на плотину въехал мужик с возом, Феклуша махнула юбкой и побежала за барышней в парк.

Над парком плыли белые облака; вчера зацвели липы, небо сквозь их листву казалось синée; высоко у вершин гудели пчелы, садясь на липовый цвет; вяла скошенная трава; земля распарилась, стоял медвяный запах; а когда налетал ветер, весь парк шумел водяным шумом.

Феклуша брела через лужайку, прищурясь; лениво ей было и томно, и в ушах еще наигрывала мельникова труба; девушка аукнула раза два и, усмехаясь, не особенно торопилась.

Она добрела до таловых кустов, сквозь них блестел пруд; невдалеке через лужайку пролегала глубокая водомоина, по которой весной катились воды из полевых овражков в пруд; они нанесли белую песчаную косу, и за талами с этого берега на песчаную отмель над глубоким местом было перекинуто широкое бревно, как мостик.

С мостика купалась обычно Наташа, Феклушка раздвинула таловые ветки, проскользнула под ними и уви-

дала на берегу платье и белье, а на мостике барышню. Широкое бревно от времени поросло зеленым мохом. Наташа лежала на нем навзничь. Она разделась для купанья, да так и осталась, прикрыв ладонью глаза от солнца, и солнце в этой тишине, за ветром, заливало всю ее горячим, влажным зеленоватым светом.

А внизу, где дерево бросало на воду широкую тень, стояли маленькие рыбки головами в одну сторону.

На рыбок загляделась Феклуша и на барышню. «Белая, а худерященькая»,— подумала она и окликнула. Наташа быстро сдвинула руку с лица и приподняла голову. Феклуша даже удивилась, до чего барышня странно поглядела: маленький рот у Наташи не улыбался, был плотно сжат, брови приподняты; поглядев, она опустила опять голову и прикрылась локтем, причем тонкая рука ее легла на глаза и нос, а губы медленно усмехнулись, и по щекам разлился румянец; она повернулась на бок, и коса ее упала, коснувшись воды.

— Хорошо, хорошо, приду,— сказала Наташа,— а я спала.

Потом она приподнялась на локте и наклонилась над водой; лицо ее от темных волос и отсветов воды стало бледным, подбородок дрожал от смеха.

— Смотри-ка, смотри, рыба какая,— сказала она.

Феклуша по простоте не догадалась, взошла на дерево, присела у ног барышни и принялась глядеть на рыб, которые, как стрелки, шарахнулись и опять стали.

А Наташа незаметно высвободила руку, охватила Феклушу, вскочила, оттолкнулась и вместе с успевшей раз только визгнуть девушкой полетела в пруд.

Расплескалась глубокая вода брызгами и кругами, и обе девушки, хохоча и задыхаясь, принялись нырять, кунать друг дружку и возиться.

Потом Наташа вышла на место помельче, выжала косу, ухватилась за ветку и выскочила на крутой берег. А Феклуша до того раскисла от смеха, что долго не могла вылезти и несколько раз сползала на животе по мокрой траве в воду. Кумачовая кофта прилипла к ней; захватив спереди синюю юбку, она закрутила ее, выжала и, глядя, как Наташа натягивает чулки, спросила:

— Барышня, а вы о ком думали, когда я подошла?

Наташа глянула быстро, моргнула, потом нахмурилась, подняла с травы рубашку и, опустив ее через голову на себя, на минуту прикрылась батистовой тканью.

— О ком думала... а ты о ком думаешь? — ответила она.

— А вы скрываете,— продолжала Феклуша, выжимая кофту,— вы сначала испугались, а потом покраснели, я, чай, видела; а мне о ком думать, очень надо; вам, барышня, хорошо, замуж выйдете — все равно как и не выходили, только что муж будет любить; а ведь нам пока в девках живешь — только и посмеешься; вон мельник очень подъезжает. «Приходи, говорит, вечером, русалку покажу», считает меня за дуру, а сам дурак, никто ему не верит. Фабричным у нас очень хорошо, в Воейкове, на суконной фабрике, и живут весело, замуж никто не неволит, как в деревне, а в праздник модные платья носят, и ребята все с гармониями; я так маменьке и сказала: «Замуж неволить будете, на фабрику уйду». А я, барышня, думала, когда Георгий Петрович вас за себя возьмет, непременно хочу к вам в горничные.

— С чего ты выдумала, я и не собираюсь замуж,— сказала Наташа, вставая и одергивая юбку,— вот еще глупости; совсем я не покраснела; просто показалось, что это не ты подошла, а Георгий Петрович.

— А он вас и любит же, страсть.

Наташа подняла плечи и усмехнулась; потом застегнула перламутровые пуговицы на кофточке и пошла из кустов на поляну, где, дожидаясь Феклушу, зажала между колен полотенце, подняла руки и поправила волосы, потом вместе с девушкой двинулась по траве к дому.

— А я б вышла за Георгия Петровича,— продолжала Феклуша,— смирный он очень, толстый, за этаким, прямо, жить спокойно.

— Ты бы вышла, а я не хочу,— прикрикнула Наташа и, ведя на ходу рукой по белым и розовым головкам кашки, продолжала, словно про себя: — Ты думаешь, я все смеюсь, так я веселая; очень ошибаешься; я все знаю и никому не верю. Георгий Петрович, где я

каблуком ступлю, он это место поцелует, и в глаза глядит, и голос у него вкрадчивый,— а мне неприятно: как отвернусь, он так и смотрит, какая грудь у меня, какие бока. У него все любовью называется: и схватить и поцеловать — любовь, и бог знает что натворить — тоже любовь, и я вижу, он от меня просто пьян, как от ликера,— дотронулся до меня, как рюмку выпил; смотрю на него, как на пьяного или на сумасшедшего. Я сегодня ему это в глаза скажу.

— Господи, а мы-то ничего не понимаем, дуры,— подивилась Феклуша, поджимая губы.— Говорить вы, барышня, очень горазды, а чего-то я вам не верю, ей-богу.

Наташа гневно на нее глянула:

— Я с тобой как с подругой разговариваю, а ты слушай и молчи,— сказала она.— Чего ты знаешь? ничего ты не понимаешь в этом; а я пятнадцати лет влюбилась в присяжного поверенного; да как влюбилась: подойдет ко мне на катке, я чуть не плачу; взяла раз к нему и пошла, села в кабинете на диване и молчу; он со мной разговаривает, а я трясусь; он спрашивает: «Вы что? влюблены, что ли?» Я говорю: «Да!», а он как захохочет: «Я, говорит, через неделю на вашей классной даме женюсь». Тогда я решила травиться.

— Ах, батюшки, спичками? — спросила Феклуша.

— Нет, мышьяком. И решила травиться не одна, а уговорила подругу и одного гимназиста, они тоже отчаялись в жизни. Гимназист, конечно, тут же разболтал,— что вот, мол, две барышни разочаровались. Тогда явились к нам товарищи и пригласили нас троих в одно общество, называлось оно: «Половые проблемы», это ты все равно не поймешь. Вот тут-то я и увидела, какая была глупая. В обществе все мальчишки страшно развратные, прямо никакого терпения, всё знают и выражаются неприлично. Мне, конечно, объяснили, что нет никакой любви, а просто мужчина всегда хочет тебя схватить, а женщина хочет как можно дольше не поддаваться,— вот от этого любовь произошла, даже стихи и все искусство. Ко мне одного мальчишку приставили, чтобы просветил, все бы я узнала и поняла. А я не могу, совестно, и вспоминается, как была влюблена и точно по воздуху ходила.

Мальчишка мне это растолковал: оказывается, когда любишь, отливает от головы кровь и чувствуешь, будто летишь, кружится голова. Вскочил он раз ночью из палисадника в окошко и говорит: «Ты мелкая буржуа, я тебя возьму силой». Я, конечно, подняла крик, убежала к бабушке и все ей рассказала. Общество наше закрыли. Так вот с тех пор, хоть и давно это было, я точно отравленная — не верю, что мне говорят. Только одна беда, совладать с собой иногда очень трудно, иной раз точно в воду уходишь, сил нет, сердце точно возьмут рукой и сожмут,— до чего природа наша женская.

Взойдя на ступеньки балкона, Наташа отдала полотенце Феклуше, отряхнула ладони, обсыпанные цветочной пылью, провела ими по лицу и, быстрая, тонкая, зная, что скажут сейчас про нее, какая она быстрая и тонкая, вошла в столовую.

Варвары Ивановны в комнате не было, она ушла распорядиться насчет лошадей, на которых Стабесовы через час уезжали в Энск встречать сына. Николай Уварович стоял у печки и дудел марш. Марья Митрофановна все еще силилась проникнуть в тайный смысл Коленькина письма.

— Вот и радость пришла,— проговорил Николай Уварович невесело и, взяв Наташину руку, вложил в свою, а другой похлопал сверху,— а вы знаете новость,— и он подробно рассказал о получении письма, о всех разговорах и о приезде сына. А Марья Митрофановна, усадив Наташу рядом с собой, прочла ей письмо вслух один раз и другой.

— Но ведь это все очень понятно,— проговорила Наташа, когда Стабесова, окончив чтение, надела пенсне и, склонив голову, принялась глядеть на девушку.

— Что же здесь понятного, милочка? — спросила Стабесова.

— То есть что же вы поняли? — воскликнул Николай Уварович.

И Наташа резонно и спокойно объяснила:

— Теперь все пишут такие письма. Я, например, в прошлом году поехала после экзамена к подруге в деревню, там ужасно разочаровалась и написала бабушке письмо вроде этого. Бабушка советовалась с нашим док-

тором, тот приказал везти меня в Швейцарию, а потом прописал гимнастику и пластические танцы; вы еще не знаете, как это помогает,— я танцую каждый день и теперь чувствую себя и весело и превосходно.

— Господи, неужели нашему Коле танцевать еще придется? — спросила Марья Митрофановна.

— Плясуны,— отчеканил Николай Уварович и стал глядеть в угол. А Наташа воскликнула:

— Уж вы его мне предоставьте, я живо вылечу.— Стабесовы странно и с удивлением уставились на нее.— Ах, вы ничего не поняли, ах, это мое дело! — окончила она, и нежный румянец залил ей щеки, уши и шею.

Вошла Варвара Ивановна.

— Лошади готовы,— сказала она.— Наташа, на балконе Георгий Петрович дожидается, не хочет идти в дом.

Заложив руку за кожаный кушак, в другой держа носовой платок, Георгий Петрович ходил по террасе, и свет сквозь плющ скользил жидкими пятнами по его чесучовой рубахе, по коричневым рейтузам и гетрам, потемневшим от конского пота. Красные губы его под небольшими усиками двигались, и он повторял стихи:

Под тенью лип ты
Стоишь одна,
Как эвкалипты,
Бела, бледна,
Любовь же наша
Горит, Наташа!

Георгий Петрович всю ночь читал Бальмонта и сам написал этот стишок. Георгий Петрович Сомов учился в Казанском университете, а по летам жил у отца в усадьбе, неподалеку от Томилина. Каждый день после полудня садился он верхом на мерина и в раздувающейся рубашке скакал в томилинскую усадьбу, представляя, как встретит его Наташа; вчера он просил ее выйти за него замуж и сейчас, часа уже полтора как приехав, до того волновался, что платок его весь намок, им же он вытирал лицо, не желая представиться потным и безобразным. Он прислушивался к шагам и голосам в доме, поправлял усы и делал выразительные глаза, ожидая, что вот войдет Наташа; и, несмотря на такую предосторож-

ность, она вошла как раз, когда он стоял к двери спиной, расставив ноги, и терся платком.

— Приехали, очень хорошо,— сказала Наташа.

Георгий Петрович повернулся, отступил, опустил руки; полное испуганное и влюбленное его лицо с кучей светлых волос на голове сразу запотело крупными каплями.

— Что же вы не здороваетесь? Вот мило,— продолжала Наташа, жеманно поджала губы и села в плетеное кресло.— Жарища какая, Георгий Петрович.

— Жарко,— сказал Георгий Петрович и подвинулся.

— Чего стоите, садитесь,— сказала Наташа, помахивая на щеки ладошами.

— Хорошо, я сяду.

— Ну, что же вы молчите?

— Вы сегодня какая-то другая.

— Вот как, неужели?

— А знаете, я опять не спал ночью.

— Что же с вами случилось?

Тогда Георгий Петрович, наклонившись в кресле и выпятив губы, проговорил стишок.

— Ну, это вы, наверное, сами сочинили,— сказала Наташа,— мне не нравится, а вот,— она задумалась, потом усмешкой раздвинулись и задрожали ее губы,— сочините стихи про рыбок, как они заплывают в тень и стоят.

— Да, да, это замечательно, и как девушка наклоняется и глядит на них, потом является другая, и обе они...

Георгий Петрович не окончил. Наташа, раскрыв рот, глядела на него испуганно; он медленно стал соображать, что ужасно проговорился.

— Вы с ума сошли,— прошептала Наташа,— не лгите, я видела за кустами вашу рубашку?..

Тогда он заговорил уже без всякой связи, сполз со стула к Наташиным ногам и, не смея их коснуться, согнулся, замотал головой, точно раздирало его и жгло, как в кипятке:

— Поймите меня, я с ума схожу... выходите за меня замуж... я уже переговорил... я не могу больше... вам

ничего не стоит... Ну что же из того, я глядел, все равно, когда женой моей будете, так уж я и считал, что можно...

Наташа смотрела, как пониже ее колен мотался Георгий Петрович, и если бы он не так мотался или нашел бы другие слова, тогда, быть может, ей стало и стыдно и жутко, но сейчас, приподняв только руки, чтобы предупредить, если он коснется ее колена, она сидела спокойно и прямо.

— То есть после этой гадости я на вас, как на дерево смотрю,— проговорила она.— Встаньте, пожалуйста; если женщина хорошо сложена, она всегда может показаться, но отвратительно, что вы подглядывали.

Георгий Петрович поднялся и, спотыкаясь, отошел к ступенькам балкона.

— Ну и мучайте, вытерплю, а я без вас не могу,— проговорил он.

— Мучить вас больше не стану; а сегодня приезжает Николай Николаевич Стабесов, он много поинтереснее вас,— ответила Наташа.— Вечером я вас познакомлю.

Георгий Петрович повернулся, нагнул упрямо голову и проворчал:

— Я не позволю.

Тогда у Наташи быстро поднялись брови и кончик носа, задрожал подбородок, она раскрыла рот и громко засмеялась, запрокинув голову; встала было с кресла и опять повалилась:

— Ой, ой, не могу, не могу,— повторила она и, подняв платок, стиснула его между зубами.

Старики Стабесовы вернулись из города поздно вечером, одни; они послали на все пристани по нижнему плесу телеграммы, надеясь, что хоть одна из них будет доставлена по назначению. Марья Митрофановна проплакала всю дорогу и прямо легла в постель. Николай же Уварович зашел на усадьбу и долго беседовал с Варварой Ивановной, которая высказывала предположение, что Николай Николаевич заедет на обратном пути.

Перед сном Варвара Ивановна сняла сапоги и по винтовой лестнице поднялась в антресоли — поглядеть на Наташину дверь; дверь была приоткрыта, оттуда лился неяркий свет; Варвара Ивановна покачала голо-

вой и вошла вовнутрь незаметно и легко, как те привидения, которые появлялись в зимние вечера. Наташа, прикрывшись до пояса простыней, лежала лицом к стене; голые руки ее были сложены ладонями и подсунуты под щеку; на тумбочке горела свеча.

Варваре Ивановне хотелось присесть рядом, погладить темные волосы Наташи; девушка была невесела и взволнована весь этот вечер; но какие волнения, какое горе могло быть в девятнадцать лет — милые земные мысли, огорчения, похожие на сон, любовные заботы. Варвара Ивановна стояла неподвижно; она словно забрела в волшебное царство, в эту белую комнату с едва заметным запахом свежей воды, разлитой на полу, духов и спящей здоровой девушки, и не двигалась, очарованная.

— Тетя, я все равно слышу; чего вы пришли? — сказала Наташа сердитым голосом.

Варвара Ивановна перепугалась.

— Ну, ну, я уйду сейчас,— прошептала она.

— Да нет же, садитесь на кровать. Мне скучно, тетка, я сама не знаю, чего хочу. Георгий Петрович мне сделал предложение, вот. А я отказала. И вовсе не потому, что он мне не нравится, а потому, что не хочу.

Наташа сжала руку в кулак, ударила им по подушке и заплакала.

Присев на кровать и гладя по голове девушку, Варвара Ивановна рассказывала, что почувствовала, когда вошла в ее комнату. Она сказала, что все огорчения — такие пустяки. Что радость, которую предстоит испытать каждой женщине и каждому человеку, много выше всех огорчений; что она, Варвара Ивановна, думала до приезда Наташи, будто жизнь ее кончилась, а теперь, умудренная опытом, переживает второй раз чужую, но словно свою, молодость; что самое главное — это сознать жизнь: какая ни была, она готовит нас к любви, а уж любовь сама раскроет ворота, сама выведет на путь, которому нет конца.

— Хорошо, тетя, я постараюсь,— слабым голосом сказала Наташа,— только я хочу чего-нибудь необыкновенного, а Георгию Петровичу просто запретила больше приезжать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Кто не видел деревенского хоровода, когда в праздник, наплясавшись на улице, на огородах и у реки, девки, бабы и ребятишки идут по зову или без спроса на барскую усадьбу, надеясь получить по стаканчику вина или серебряную мелочь.

После полудня в престольный день Варвара Ивановна сидела с расходной книжкой на балконе. Наташа лежала в качалке. Небо заволоклось полупрозрачными облаками, безветренный жар окутал мглою парк. За прудом играли на гармонике, и женский голос пел:

У меня ли черны брови,
Беспокойная я,
Одного люблю мальчишку,
Успокойте меня.

Наташа опять плохо спала ночь, под глазами ее лежала синева. Прошло две недели со времени получения письма от Николая Николаевича, и Наташа теперь думала о Стабесове постоянно. В лицо его она почти не помнила; он, конечно, не знал, что она живет в Томилине, но все-таки ей было обидно, что он где-то там разъезжает, а не торопится ее увидать.

Она представляла его на разные лады, и с каждым разом он казался ей привлекательней. Она думала, что стоит только увидаться, как его грусть снимет рукой; а что причиной его несчастий была невозможность найти настоящую любовь, в этом она не сомневалась. За две недели эти она нагляделась на себя в зеркало, изучила движения, улыбки, повороты головы, даже изменила немного голос; она представляла, что, когда он приедет, ему сейчас же расскажут о Наташе, скажут: «Она удивительная, особенно за последнее время». Она не покажется ему ни в первый день, ни во второй и, быть может, на третьи сутки медленно пройдет вдалеке с книгой в руках. Он спросит: «Это Наташа? — и подойдет взволнованный и проговорит: — Вот вы какая; хотите быть друзьями?» Но он все не ехал, и ей, наконец, стало обидно и жаль уходящей молодости.

Георгию Петровичу являться она запретила, но он все-таки ездил и, должно быть от жары и переживаний,

очень худел. [Догадываясь, тогда на мостике, что он смотрел на нее из-за кустов, и потом узнав об этом, она не ощутила стыда, только жутко ей стало от странного возбуждения, окончившегося слезами; но с каждым днем она сознавала, что тот день был лишним в ее жизни и нехорошим. Словно ее сделали соучастницей в скрытном деле, и она не могла спокойно вздохнуть, ни попрежнему смеяться.]

— Вчера Георгий Петрович опять со мной толковал,— негромко молвила Варвара Ивановна, не поднимая лица от расчетной книги,— очень тебя боится; рассказывал всю свою жизнь. Была бы я на твоем месте... не знаю, впрочем... В мечтах мы представляем, конечно, лучше. Ах, боже мой, пусть муж будет не такой уж замечательный, но зато он даст тебе спокойствие, а в спокойствии раскрывается душа. На свете столько прекрасного, любовь же только начало, первое, что дается...

Наташа кивнула головой. Из-за парка донеслись хоровая песня и невеселые звуки гармоники. Песня звучала все ближе и громче, наконец из-за деревьев появились и вышли перед балконом бабы в кофтах и сарафанах, девушки, одетые по-модному — по-фабричному, босые, без шапок, ребятишки, девчонки с большими платками на голове и двое ряженых. Парни остались вдалеке, сели на канаву, поигрывая на гармонике, они были тоже по-фабричному — в начищенных сапогах, в лиловых, розовых и черных рубашках и при жилетах.

Бабы стали кругом, взялись за руки, двинулись и запели: «Ой, Дунай, мой Дунай, сын Дунаевич, Дунай». В круг вошли ряженые — Дунай, худая, веселая баба, одетая мужиком, с паклей на голове и усами, нарисованными углем, она поднимала то одну руку, то другую и притоптывала валенками. Другая — Дунаева зазноба — надела на себя грязный посконный фартук для смеху, драную кофту, а лицо обвязала вязаным платком; держа руку около щеки, она стояла неподвижно. Бабы пели, хоровод их ходил то вправо, то влево, и все, что говорилось в песне, проделывал сам Дунай. Наконец он бросил шапку, да и пошел из круга. Бабы засмеялись. Варвара Ивановна улыбалась им, стоя у балюстрады. В это время из-за кустов жасмина на садовую дорожку

вышел бледный чернобородый человек, с недоумением поглядывая на хоровод. Он подошел к балкону, поклонился Варваре Ивановне и сказал:

— Я Стабесов, я думал, что мать и отец живут в усадьбе. Простите, но мы, кажется, знакомы.

Наташа побледнела и приподнялась в качалке.

Ничего, конечно, не произошло невероятного: ни ударил гром, ни налетели вихри с четырех сторон, ни провалилась усадьба, только у вставшей с качалки Наташи сердце стучало, как молоток, и возникло в сознании и повторилось одно слово — «мой!». Оно было сильнее вихря, грома и провалившейся земли.

Хоровод расступился, Николай Николаевич взошел на балкон, снял канотье и поцеловал у смущенной Варвары Ивановны руку, выпрямился и повернулся к Наташе; Наташа присела, и глаза ее сказали — я ждала! Варвара Ивановна дотронулась до ее спины и проговорила:

— Племянница моя, Наташа; вы ее не помните, она уж взрослая.

— Нет, помню,— ответил Николай Николаевич,— мы бегали с вами на пожар в деревню, под дождем; по полю и траве шла сплошная вода, такой был дождь.

Он поднял худую с отчетливыми жилами руку, провел ею по бороде, коснулся галстука, потом пальцы попали в жилетный карман, вынули, повертели и опять положили часы и без надобности повисли вдоль бока; черные же его глаза скользнули по Наташиному лицу, по деревьям, остановились на ряженой бабе; он поднял брови и сказал:

— Я бы хотел повидать моих, как это сделать?

Наташа испуганно глянула на Варвару Ивановну.

— Пойди проводи,— прошептала тетка, и девушка сейчас же сошла с балкона.

Николай Николаевич нагнал ее в аллее и зашагал рядом, широко и твердо ступая. На нем была коричневая одежда, широкие желтые башмаки; Наташа, покосившись, подумала: «Вот этот одет»; движенья его были простые и свободные, ненужных он не делал, разговаривая, двигал только губами, темные брови, глаза и обтя-

нутые щеки с двумя морщинками, пропадающими в усах, тоже без надобности не беспокоились; должно быть, он привык, что на него постоянно глядят.

Наташа, сама не сознавая, сказала «мой» в первое мгновение; это слово было ее волей, она, не думая, подчинилась ему; но чтобы оно развернуло свою глубину, его надо было еще раскусить, как орех. Николай Николаевич шел спокойно, поглядывая на липы, на поляны за ними, отстранял концом башмака сучки на пути.

А в Наташе словно натянулись, как струны, вся ее ловкость и хитрость, вся страстность девушки в девятнадцать лет: «Нет, вы все-таки увидите, какая я такая»,— подумала она. Походка ее стала легче; синева пропала; потемнели глаза и наполнились бархатным светом.

— Здесь, парком, короче пройти, а можно через плотину мимо пчельника, там дальше. Пойдемте через плотину,— проговорила Наташа.

Николай Николаевич внимательно поглядел на ее сжатые губы, потом оглядел всю, улыбнулся и ответил:

— Пойдемте через плотину.

По подорожнику они сошли к плотине; кольцо огромных ветел затянуло пруд; на темной воде лежали листья купавы, плавал белый пушок; здесь было влажно и тепло; ворота на мельницу отворены, около стояли два воза; спутанные лошади ползали невдалеке по косогору; у воды, за ветлой, молодой бородатый мужик тащил через голову рубашку; когда Наташа и Стабесов ступили на плотину, он позади них шлепнулся в воду. Наташа обернулась, мужик плыл к середине пруда, выкидывая белые руки, выставив бороду.

— Здесь очень славно,— сказал Николай Николаевич,— все это я видел раньше, но не замечал; были и ветлы, и озеро, и мужик, но между всем и мною не хватало связи. Как странно, мы так давно не видались, а мне хочется поговорить с вами, как раньше. Вы позволите?.. Все равно будем друзьями.

Наташа сказала:

— Я читала ваше письмо и очень много думала о вас, говорите все,— а сердце у нее дрогнуло и заликовало.

— Я хочу иметь друга,— продолжал он,— мои старики ничего не понимают, а с вами мы заключим уговор. У меня многое переменилось в жизни с тех пор, очень многое, и уж, конечно, не они, а вы поймете. Встречный на пути человек, особенно девушка, самый нежный советчик, может быть — самый верный друг, правда? Так вот. С чего начать? Я уехал из Москвы в ужасном состоянии, не дай бог; когда-нибудь расскажу об этом. В Нижнем сел на пароход, и меня поразила необыкновенная выпуклость всего — людей и окружающего. Представьте, у вас висит картина, сто раз ее видели, и вот, после скверной ночи, взглядываете на нее и не узнаете — вода стала живой и потекла, деревья выпустили ветки за полотно, люди в настоящей одежде, двигают глазами, смотрят на вас, вы чувствуете, в них бежит красная кровь; вам страшно и отвратительно — это уже не картина, это слишком реально; вы точно переменились местами, вы сами стали как нарисованный, как тень. Вы возмущаетесь, вам хочется доказать, что вы тоже, как и они,— живой. Не знаю, понятно ли я говорю? Такое состояние было у меня на пароходе. Там ехала одна дама... не знаю, позволите все говорить? Мне кажется — я могу вам все сказать... Правда?

Николай Николаевич порозовел немного, движения его стали резче, невольно он взял Наташину руку и крепко сжал.

— Эта дама улыбнулась мне несколько раз. Ради бога, я слишком много знал женщин, чтобы попадаться на такие улыбки. Я спросил вина и пил, хотел опьянеть; а поздно ночью вышел на палубу; весь пароход, выпуклости берегов, вода и небо были залиты лунным светом. На носу, у борта, на скамейке сидела эта дама, одна. Лицо у нее было круглое, голова обвязана газом, вся она залита лунным светом, поблескивали зубы и глаза. Я подошел, поклонился, стал говорить, я сказал: «Научите, как нужно вести себя в такую ночь?» На дерзость она ответила смехом, дала мне место на скамейке, спросила, далеко ли я еду. Я ответил: «Мне все равно, мне решительно все равно, что было, что будет, разве детям, животным, растениям не так ли безразлично. Я только до конца хочу почувствовать всю глубину этой минуты,

вот!» Тогда дама сказала: «А вы лучше замолчите, это гораздо лучше, надо поменьше болтать, уметь быть легкомысленным!» Вот что она сказала. Я не знал ни имени ее, ни кто она. Все, что было у нее милого, простого, легкомысленного, она отдала мне, от щедрости, не думая должно быть, слишком была полна светом, розовой кровью, молодостью. Мы расстались в Царицыне; я сказал, что мне будет грустно, она только засмеялась и на конторке уже улыбалась другому. Она и не умна и не остроумна, только бесконечно весела и смешлива. Я никогда в жизни столько не ел и не смеялся, как в эти дни. Мне доставляло удовольствие сидеть на солнце и не думать. Я стал опять мальчишкой за эти дни. Скажите, ведь это хорошо, да? Но что теперь делать? Здесь опять начнется старая канитель, споры с отцом, размышления. Опять ужасная скука. Я отгородился, довольно! Ну, а дальше-то, дальше что?

Он взял опять Наташину руку и заглянул в лицо.

Наташа опустила глаза. Ей стало трудно. Потом она это преодолела.

— Не знаю; надо подумать,— ответила она.

Плотину они прошли и поднимались по дороге на пригорок, к плетню с конскими черепами. Под пригорком, у воды, послышался смех. Наташа быстро выдернула руку и обернулась: за ветлой, свесив ноги к воде, сидели мельник и Феклуша; бородатый мужик стоял посреди пруда, на мели, махал им рукой и кричал:

— Толкай, толкай ее в воду, девку-то, чего она сидит!

Наташа засмеялась.

— Это наша Феклуша, вчера еще только мельника ругала ругательски, а посмотрите — уселась.— Она двинулась дальше по пригорку и продолжала уже серьезно: — Скрывать нечего, я вас очень ждала это время, вы смотрите на меня, как на провинциальную барышню,— напрасно; я не хвалюсь, и уж, конечно, я излечу вашу меланхолию, а не пароходные дамы; их теперь сколько угодно развелось, только они вам очень скоро надоедят; вы не такой, как другие.

— Ну, а какой я, какой, скажите? — спросил Николай Николаевич.

Наташа остановилась в конце горы, у пасеки; плетень в этом месте был низкий; она положила на него локоть, грудь ее поднималась высоко, капельки пота проступили на губе и висках.

— Вы очень испорченный,— ответила она,— а я очень современная, так вот вдвоем мы до чего-нибудь и договоримся.

Она прямо, умными глазами посмотрела на Николая Николаевича; он взялся за высокий кол от плетня и сказал:

— До чего же договоримся? А вдруг я просто возьму и влюблюсь?

— Вот так пошлость сказал.

— А если действительно влюблюсь до смерти?

— Ох, это может случиться,— ответила Наташа,— но нужно сдержаться; влюбиться, конечно, недолго, но только я не хочу быть пароходной дамой.

Она всунула ногу между прутьями плетня, молча оглянулась на Николая Николаевича, приподнялась и крикнула пасечнику:

— Евдоким, кому ты честь отдаешь?

Действительно, между пеньками похаживал пасечник, в очках и с подстриженной седой бородкой; он медленно оглядывал улей, проводил рукой около летка, снимая паутину, и потом подносил ладонь к щеке, словно честь отдавал, говоря: «Ну, ну, не шали, не шали, покойно лети, покойно».

На оклик Наташи Евдоким посмотрел поверх очков и сказал:

— Паука этого нонче страсть сколько, по два раза снимаю, и пчела очень играет, того и гляди клюнет,— все равно как ей под козырек отдаешь.

— Берегитесь,— сказала Наташа Стабесову,— ужалят; уж очень вы смелый... Ай, ай! — крикнула она и, замахав над головой руками, побежала. Николай Николаевич с улыбкой пошел вслед.

Обогнув пчельник, они степной дорогой углубились опять в парк и вскоре вышли к зеленому косогору, на верху которого стояла стабесовская дача.

Поднимаясь, они заметили на балконе Николая Уваровича, ходившего с книгой; на ступеньках сидела

Марья Митрофановна пригорюнясь и глядела на подходящих. Острые глаза Наташи различили, как лицо Стабесовой стало вдруг беспокойно, побледнело, потом покраснело страшно, она встала и, не в силах двинуться, вся затряслась.

Николай Николаевич воскликнул: «Здравствуй!» — и побежал в гору. Наташа осталась на полпути. На балконе обнимались и, кажется, плакали; она повернулась к даче спиной и, погруженная в странные, взволнованные мысли, опустилась в траву; подобрала ноги, склонила голову и с улыбкой стала смотреть на суетливую жизнь в крошечном круге земли: муравьи, козявки, зеленые блохи, кузнечики, мухи, червяки, паучишки — все это торопливо и не задумываясь копошилось в траве на земле, в золотом потоке солнца.

Стабесовы вспомнили про Наташу, но ее уже не было на пригорке. Николай Уварович постоял, покричал, потом вернулся на балкон. Марья Митрофановна кормила сына яичницей, спрашивала про дела, рассказывала, какую статью интересную они прочли в «Русском богатстве», совала под руку всякую всячину, ахала на свою бестолковость; Николай Уварович похаживал, дудел марш, деловито иногда спрашивал про пустяки и переглядывался с женой; потом втроем они отправились подышать, на прогулку.

А Наташа до обеда просидела на качелях; после она взяла книжку и устроилась в кресле, на верхнем балкончике. Она никак не могла разобраться, для чего Николай Николаевич в первую же встречу ей все рассказал. Она представляла его усталым, насмешливым, недоступным, а он сам так сильно пошел навстречу, что закружилась голова.

У нее были свои и заимствованные от провинциальных опытных кокеток приемы: в первую встречу, например, притвориться непонятной — глядеть широко открытыми глазами, вдруг засмеяться, вогнать человека в дрожь загадочной улыбкой, затем, когда он окончательно ничего не поймет, намекнуть на что-нибудь двусмысленное (это уже завоевание последних лет); он сразу же

ободрится и перейдет границу, тогда осадить и заговорить о высоких чувствах, и так далее и так далее: завлекаемого человека надо кидать из холода в жар, не давать ему опомниться и уже совсем разбитому нанести последний удар — сказать, что любви она еще не понимает и не верит в любовь.

Но с Николаем Николаевичем отношения сразу стали так открыты, что Наташа все перепутала, и увлекательные приемы показались ей ненужными, глупыми, пригодными для пензенских гимназисток на катке. Она припомнила до мелочей прогулку и в смущении призналась, что если бы Николай Николаевич знал, какая она девчонка, то просто взял и поцеловал без всяких разговоров. Он не походил ни на кого из ее знакомых, таких она еще не видала; он был умный и внимательный, и злой и нежный и будто совсем не заботился о себе, а был так красив, что Наташа долго смотрела на себя в ручное зеркало, сравнивая, и на одну минуту даже пришла в отчаяние от своего лица.

В сумерки она явилась к Варваре Ивановне в кабинет, села у ее ног на скамеечку и сказала:

— Тетка, Николай Николаевич вам очень нравится? — на что Варвара Ивановна, подумав, ответила:

— Он ужасно милый, ему только не нужно есть много мясного, я пошлю побольше овощей на дачу.

— Нет, я совсем не про овощи, тетка. Вы знаете, он ужасно теплый, как муфта. Не знаю, как это сказать.

Варвара Ивановна зажгла папироску, выпустила дым и долго глядела на потолок, а Наташа, упираясь локтями в поднятые колени и подперев подбородок, глядела на тетку так же серьезно и умно, как нынче днем на плетне у пасеки.

— Он рассказал ужасные вещи про себя, не постарался узнать, хочу ли я слушать, а прямо, как самому близкому человеку... Точно для этого только и приехал,— продолжала Наташа,— он очень сокрушительный, я боюсь.

Варвара Ивановна докурила папироску, глубоко ушла в диван, лицо ее в сумерках становилось все нежнее и ласковее.

— Чего же ты боишься, девочка,— проговорила она

негромко,— любви? А разве что-нибудь с нею сравнится? Вот я уж век свой прожила, сердце у меня как гриб сухой, а то, о чем мечтала в молодости, еще живет; дочка моя милая, а ты не бойся, не думай, закрой глаза, полюби, а я тебе помогу, чем умею. Мы все успокоимся, но одни к этому идут через страдание, другие через любовь. От страдания умаляешься очень, становишься пугливым, а от любви, я так думаю, много смелости прибудет у нас, как у великанов.

— Уж не знаю, о какой любви вы говорите,— молвила Наташа, опуская глаза.

Отходя ко сну, Наташа в рубашке долго сидела на постели. Она заплела косу и откинула ее через плечо на спину, и погладила холодноватые руки от плеча до локтя, и взбила подушку, и послушала, не пищат ли комары,— а сон не шел, и ей казалось, что назавтра она войдет в туман, где ни ум, ни острый глаз не скажут, что ждет — опасность или счастье? До нынешнего дня она была разумна, а Варвара Ивановна посоветовала ей войти в туман. Такой совет был очень странен и противоположен всем понятиям Наташи, всему, чему учили. Разум ей говорил: нельзя, опасно, глупо, он видал и перевидал женщин, видит их насквозь и не свяжется с провинциальной барышней, насмеется только, погубит, уедет; а в глубине, в сердце, разгорался мягкий свет, туманил мысли, и сладкая истома, просачиваясь по капелькам, как яд, овладевала Наташей, и опасения, предчувствия, надежды и волнующая радость заслоняли ее разум; она не могла ни заснуть, ни пошевелиться.

«Ну, с ним шутки плохи,— думала она,— не оглянешься, как уж и готова, по уши. И, конечно, надеяться — глупости, замуж не возьмет. Такой разве женится! Ох, как опасно! Ну, а если женится, разве лучше будет? Ничего это не разрешит. Женится, не женится — мне все равно, такого больше не встретишь; уж я это знаю, слава тебе господи — перевидала; еще и нарочно ему скажу, что я с Георгием Петровичем, например, обручена. Пусть подойдет без боязни — вот вся я такая, какую видишь. Так проще, и, значит, об этом думать кончено. А уж дальше, о господи...»

Наташа села поглубже, оперлась спиной на ковер

со стреляющим турком и вдруг вспомнила, как в земле копошились маленькие существа; она подумала, что, конечно, сколько ни размышляй, придешь к одному, и пусть уж все, что хочется, настанет, поскорее увлечет в туман.

Она медленно улыбнулась, покачала головой, потом быстро потушила свечу, легла под простыню, поджала колени и принялась считать до ста. Но дойдя до тридцати, шумно скинула простыню, соскочила на пол и, быстро перебирая босыми ногами, побежала к Варваре Ивановне.

— Тетка,— сказала Наташа,— пошлите-ка завтра за Георгием Петровичем, от себя, конечно, пусть приедет, кстати сообщите ему: может быть, я и соглашусь выйти замуж, только пусть запомнит: может быть, может быть... Не особенно пусть надеется.

Вечером Николай Николаевич сидел на крылечке дачи, отец находился направо, Марья Митрофановна левее и повыше, чтобы видеть сына и с затылка и когда он обернется. Слышно было, как о лампу, стоящую позади, на столе, стукались ночные бабочки. Из глубины лощины кричал дергач. Пахло полынью и хвоей. Приглядевшимся глазам были видны все звезды на темном небе. Николай Николаевич посматривал на них, и они казались ему слишком знакомыми, хотя теперь и далекими и почти безопасными, но все-таки свежо еще было в его памяти окно мастерской, мертвые созвездия и тонкий силуэт Стеши. У Стеши звезды выпили всю кровь и взамен заполнили вечной печалью. Эта печаль — не жизнь и не смерть, а небытие, ничто!

— Видишь ли, папа,— продолжал он, улыбаясь,— все то, что я хочу,— существует, если, конечно, хочу всем существом, волей, всеми чувствами. Ты должен согласиться, иначе, по-вашему, по-водородному, выходит — чушь. По-вашему — чувства, желания и мысли произошли от найденной связи между причинами и следствиями; а я говорю так: если я провижу следствие и хочу его, то сделаю наоборот, потому что и я и вся Россия иррациональны. Нет, ты попробуй — согласись.

— Знаешь ли, я вообще отношусь ко всему скептически,— проговорил Николай Уварович и поглядел на Марью Митрофановну: она сильно трясла головой и показывала глазами на сына.— Ну, если тебе так хочется, я соглашусь,— окончил он и вдруг широко улыбнулся, до того был доволен, что Коля сидит между ними и все вообще хорошо.

— Согласен? — воскликнул Николай Николаевич.— Так вот, представь, я желаю, чувствую, я уверен, что останусь жить, никогда не умру. Вот! Пока мне больше ничего не нужно. Постой, постой, да не спорь ты, ради бога. Честное слово, этого нельзя доказать. До нынешнего дня мне почти все казалось бессмысленным. А теперь я нахожу, что это, это и вот это очень важно. Понимаешь, я не знал, что плохо и что хорошо; а плохо то, что сводит меня к отчаянию, к смертельной тоске, а хорошо то, что выводит меня к большой радости, к большой силе, к сознанию, что я не напрасно работаю. Какое мне было дело, что люди после моей смерти станут счастливее? Нет! Все люди должны освободиться от нищеты, от труда, от унижений, они увидят всю землю сияющей от радости. Через это наполняются радостью сами, а радость ведет к одному, только к одному, к одному...

Николай Николаевич вскочил, зашагал по траве мимо балкона.

— До сегодняшнего дня я еще не понимал, был в потемках, а потом — как во сне. Но когда мы с Наташей пошли на плотину, мне вдруг показалось, что и пруд, и ветлу, и мельницу, и плывущего мужика, и милую Наташу — все это я уже видел давно и мечтал именно о такой чудесной красоте; точно я где-то странствовал, пропадал в чертовых потемках — и вот вернулся. Мне стало страшно, что я вытравлен весь городской суетой и уж теперь не гожусь; я нарочно стал рассказывать очень рискованное, думал, что девушка уйдет, а пруд померкнет. И вижу, представь, что я уже не тот, я новый; мне стала понятна неизменяющаяся красота. Пустота во мне заполнилась простой, немудрой жизнью, я окунулся в нее и родился вновь. Должно быть, я не заметил, когда опустился совсем и переходил дно, а там, на дне, я зачерпнул жизнь. Я дошел до последнего отчаяния, и если

бы остался жить в той полумертвой суете, то пустота моя заполнилась бы мелочью, сволочью, всем, что вертелось вокруг в дьявольском вихре, и тогда, конечно,— погибель, пьянство, эфир, кокаин. Но я зачерпнул солнечную жизнь. Я переполнен ею, я в избытке. Но Наташа права: пароходные приключения — это хаос; я не дерево, чтобы остаться с одними глухими соками. Но именно дерево весной должно чувствовать то же, что я сейчас. Я хочу превратить мою силу... Подумать — сколько еще дела впереди, увлечений, радостей, возможного. Вот это — чудеса.

— А знаешь, Коля, Наташа просто прелесть, узнай ее побольше,— начала было Марья Митрофановна.

— Вот, вот, вот, постой, я нашел! — воскликнул Николай Николаевич.— Вся Россия валит сейчас в эту пустоту, в неверие, в темное дно. И там на дне, в пустоте, во мраке — она возродится. Настанет катастрофа. Я верю. Немногие уже зачерпнули и выбежали на ту сторону, а все еще, как солдаты, бегут и падают, и срываются, и валятся в овраг. Останови? Нет, это и нужно. Или погибель — нет России, или новый народ.

На зеленой ситцевой занавеске выступили птицы, домики и олени. Было совсем тихо, потом ухо различило вдалеке словно глухой шум воды. И под этот шум на зеленом поле олень хотел перепрыгнуть через домик, а птица слететь с круглой завитушки. Вдруг близко застучала тяпка. Николай Николаевич совсем раскрыл глаза. За занавеской было солнечно, шумел лес. Тогда он вспомнил, что вчера слишком много говорил и, кажется, чересчур широко раскрылся.

И раньше накатывали на него подобные приступы словоговорения, особенно по ночам, но всегда наутро было чувство, будто он без толку и дуром лез на глухую резиновую стену, и она всегда откидывала его назад, а наутро было только совестно и скверно, как после излишества.

Поэтому сейчас он с осторожностью и не спеша стал припоминать вчерашнее, поглядывая на занавеску. От нее в комнате стоял зеленоватый полумрак. На стенах

потекла когда-то и застыла смола каплями янтаря. Николай Николаевич отколупнул одну капельку и раздавил на зубах. Такую же капельку смолы он видел вчера на жерди плетня у пасеки,— и так же потянулся, чтобы отколупнуть, но его остановил взгляд Наташи, внимательный, очень странный. И сегодня, и завтра, и, господи, всегда он будет видеть ее серые глаза, пушистые волосы, заколотые короною на затылке, и всю ее, легко прикрытую платьем, настоящую девушку. А вчера было? Ну конечно, не словоговоренье было вчера, а бой; меч острый и поражающий входил и разрывал, а не отскакивал, как деревянный.

Николай Николаевич быстро оделся и вышел на террасу. Марья Митрофановна, в переднике и платочке, повязанном по-хохлушечьи, стучала кулаком по столу, говоря мужу громким шепотом:

— Не смей ты, пожалуйста, спорить, ты всегда прав и очень все верно, и молчи. Коленька и без тебя «Русское богатство» может прочесть.

При виде сына она широко улыбнулась; отец обиженно поздоровался: поднявшись очень рано, он обдумал все возражения — никогда еще ряд скептических положений не развертывался у него в такую великолепную цепь, а спорить не позволили.

Николай Николаевич с удовольствием пил и ел все, что подставляла ему Марья Митрофановна: молоко и ватрушки; низенькая терраса, смеющиеся от его рассказов лица Стабесовых, и сами эти рассказы о Москве, о своих похождениях, и влажное еще небо, и зеленые бугры, и поля вдалеке, и томилинский парк, и даже комар, севший ему на папиросу,— все показалось отличным, но самое главное было впереди.

После завтрака отец взялся было провожать, но Марья Митрофановна, углядев, как Николай Уварович, берясь за шляпу, наморщил лоб, чем собирал в порядок свои мысли, попросила мужа остаться ловить петуха к обеду.

Николай Николаевич ушел один. Он сбежал с бугра, огляделся и, заметив вдалеке белые черепа на плетне, быстрым шагом отправился к пасеке, узнал место, где вчера стояли, даже капельку смолы отыскал и, миновав

плотину, вступил в парк, где услышал голоса и сквозь стволы лип забелели две быстро движущиеся фигуры.

Через круглую площадку, образуемую скрещением четырех аллей, была протянута сетка, за ней, присев на согнутых коленях и выжидая, стоял Георгий Петрович; Наташа быстро пятилась от сетки, остановилась на крайней черте, взмахнула над головой ракеткой и, с силой послав мяч, наклонилась вперед, расставив ноги; прядь волос ее выбилась, мокрый лоб, щеки и открытая шея покраснели; застыв такой на мгновение, она вдруг кинулась вперед, отбивая ногами холщовую юбку, быстро повернулась всем телом и отдала шар. Зеленые зайчики света летели по ней, ложились на землю, пропадали под мелькнувшей тенью и возникали вновь.

Николай Николаевич вышел из-за дерева и снял шляпу. Наташа вдруг стала.

— Ах, это вы,— сказала она и, бросив ракетку, подошла, вся еще живая и влажная. Она глядела в глаза Николаю Николаевичу, и глаза ее так засияли, будто вся она загорелась, как куст, от света, от смеха, игры, от влюбленности.

Николай Николаевич взял ее вспотевшую ладонь и проговорил:

— Вчера я не успел вас поблагодарить, мы так и не простились. Вы думали немного о вчерашнем? Вам не показался очень значительным вчерашний день?

— Думала и решила — думать не стоит.

— Не пойму, хорошо это или плохо?

— Да, очень хорошо.

— Вы так уверены?

— Нет, не уверена. Хотя уверена. Мне все равно.

— А не думаете, что я стал другим со вчерашнего?

— Не знаю. Должно быть. Да.

Так взволнованно, вполголоса проговорили они одним им понятные слова. Георгий Петрович по ту сторону сетки стоял в расстегнутой рубахе и открыв рот; до него долетели обрывки странного разговора; Стабесов ему страшно не понравился, он почуял опасность.

— Ну, что же, Наташа, продолжаем, четыре и один,— сказал он, отводя ракетку. Наташа и Николай Николаевич быстро обернулись: у Георгия Петровича на тупом, оплывшем лице мигали рыжие ресницы. Наташа прищурилась, помолчала, потом, словно оторвалась от сладкого забытья, подняла свою ракетку и сказала:

— А, вы не знакомы... Это Георгий Петрович, мой жених...

Это последнее слово проговорила она скороговоркой, словно само оно вылетело из горла, она слишком долго повторяла его, а когда подошел Николай Николаевич, смутилась, поняла, что не стоит говорить, совсем не нужно, и, сама не зная, как оно раздалось, стояла теперь с опущенной головой, не смея взглянуть...

Георгий Петрович широко ухмыльнулся, дошел до сетки и протянул лапу. Стабесов дотронулся до лапы, с изумлением глядя на Наташу. «Так вот в чем ваша тайна,— подумал он,— довольно несложно, ну что ж, помогай бог такому благополучию», и, брезгливо морщась, отошел в сторону, туда, где за деревом стояла Феклуша с полотенцем через плечо. А Георгий Петрович, весело подбросив шар, послал его над самой сеткой, сказав:

— Ну-ка, огурца.

Наташа вздрогнула, поискала глазами мячик.

— Иду купаться, играйте одни,— проговорила она, досадливо махнув ракеткой, и, подойдя к Феклуше, скрылась с ней за кустами.

Николай Николаевич все еще повторял: «Так вот в чем ваша тайна». Георгий Петрович, посвистывая, прошелся по площадке.

— Погуляем,— сказал он. Николай Николаевич тотчас пошел рядом с ним по липовой аллее.

— Ухаживаю очень давно, а согласие, как видите, получил только сегодня, честное слово, не поверите,— начал говорить Георгий Петрович и описал, как познакомился в прошлом году с Наташей, тотчас решив, что она будет принадлежать ему, несмотря на ее капризный характер; дыша Стабесову в ухо, сообщил, что в Наташе привлекает его главным образом огненный темперамент; что он, как вполне современный человек, не прикрывает

свое чувство разными пошлостями — вроде идеальной любви, платонической дружбы и так далее, что подобные отношения придут в свое время, под старость лет, а сейчас он только хочет обладать роскошью.

Они двигались по аллее, под ногами их перемежались полосы света и тени от стволов; покрытые мохом гладкие стволы поднимались, как колоннада; в конце светлым квадратом поблескивал пруд. Николай Николаевич, слушая и поддакивая, старался ступать в полосы тени. Издалека с воды донеслись женские голоса. Георгий Петрович вдруг оборвал рассказ, глаза его забегали, он вытащил платок, вытерся и, пробормотав что-то про безотлагательное, полез на кусты, помял их и скрылся.

А Николай Николаевич, дойдя тем же шагом до скрещения аллей, повернул направо и вскоре увидел поляну, внизу ее мельницу и пасеку на той стороне. В воротах мельницы стоял мельник и чесал голову. Николай Николаевич поглядел мимоходом в лицо ему и остановился. Лицо у мельника было бритое, сонное и круглое, нечесаные волосы висели до плеч, а в светлых глазах было столько уверенности и лени, что Стабесов спросил вдруг, криво усмехаясь:

— Ну как, мельник, насчет Феклуши?

— Какой Феклуши? — ответил мельник, ничуть не удивясь, что́ его спрашивают.— Их тут много, что Феклуша, что Дунька — мне все одно.

Стабесов оглянулся — пруд и ветла над ним и небо за ветвями теперь были не его. Он слишком понадеялся; просто он чужой здесь, обойдутся и без него. Он опять посмотрел мельнику в глаза и сел на жернов. Мельник поставил тут же босую ногу и спросил:

— Девочками антиресуетесь? Это кому как дано. Про моего брательника Федора слыхали? У него своя мельница, а он постарше меня годов на пять только; да вот еще в городе я на паровой мельнице жил, товарищи некоторые то же самое в люди вышли; ну, которые, конечно, с отсечкой, эти себя алкоголем пользуют, а я, значит, прирожденный для баб, и сам их очень уважаю, и они на меня кидаются непереносно. Терплю,

конечно, много через них — и били меня и смеются. Так что, я считаю, это природное.

«Ну конечно, куда ни сунься, у всех у вас это природное»,— подумал Стабесов и вдруг спросил злым голосом:

— А что, Георгий Петрович часто ездит сюда? Кто он такой?

— Этот каждый день ездит; они помещики; и вот ведь все у него есть, а баб точно никогда не видал. Как барышня купаться, он в кусты — и смотрит. Стоит, сопит. Вон на той полянке, за деревом, сейчас он обязательно там. Природа у них деликатная, посмотрит — и уж у него руки и ноги отнялись.

Николай Николаевич быстро встал с жернова, сморщился, подумал и сказал:

— А как же она? Да ты заврался, кажется.

— А как? Никак. Он через нее мокнет только, а барышня смеется; она и ругала его и приезжать не велела, а он все ездит, от этакого артиста не отвяжешься, разве ему в ухо дать, чтобы уж память выскочила, а то своего добьется, очень этаких не одобряю. Электричества у них нет.

— Послушай, проводи-ка меня на ту поляну,— хмурясь, резко проговорил Николай Николаевич и пошел по берегу пруда. Темный сонный пруд с купавами, белеющим пушком и сухими листочками где-то вдалеке за поворотом плескался под ударами ног; а девичьи голоса, летя над водой, потревожили утку с утятами, которая выплыла из камыша и беспокойно покрякивала.

— Вон он, вон, гляди, стоит,— прошептал мельник и сел в траву.

Николай Николаевич, быстро подойдя, увидел за разбитой толстой ветлой Георгия Петровича, он действительно, отогнув ветку, глядел, согнувшись, на то место воды, откуда слышались плеск и голоса. Затылок у него был красный, а рубашка под мышкой потная.

Николай Николаевич ничего больше не сознавал, кроме одного слова, которое и крикнул, подскочив и со всей силой дернув Георгия Петровича за плечо.

Сомов отшатнулся, в ужасе еще не разбирая, кто его накрыл. Затем они мгновение глядели друг на друга. Стабесов еще раз глухо повторил это слово. Сомов стал наглеть, смелеть и расправил плечи.

— Убирайтесь к черту,— сказал он.

И только тогда Стабесов сознал, что нельзя ни отступить, ни по-человечески окончить свой поступок. Он сжал зубы, стиснул пальцы руки, но не успел. Сомов словно мехом каким выдохнул из себя: «эх», и кулаки его пронеслись над головой Николая Николаевича, опустились на плечи, холодными пальцами он обхватил шею его и опрокинул Стабесова в траву.

Белая потная рубашка, лист лопуха сбоку, ветка, кусок облака, синее небо медленно поплыли в темноту; Николай Николаевич последним усилием ударился коленками в жирный бок, хотел вздохнуть и потерял сознание.

Наташа купалась на этот раз до ознобу, до синих губ, и все же не вернулись к ней ни ясность духа, ни спокойствие, она только постукивала зубами, одеваясь, и прямо с пруда прошла к себе. Возни в кустах она не услыхала.

Расчесывая перед туалетом волосы, она рвала их гребенкой, швыряла по столику банки и пузырьки, глядя в зеркало, думала: «Дура!» Наконец, бросив гребень на пол, облокотилась, закрыла лицо и проговорила сквозь слезы:

— Зачем ляпнула, кому это надо было,— жених! Хорош жених! Ох, боже мой, конечно, теперь все кончено. Все тетка виновата. Уговорила. Кому могла глупость такая в голову прийти — позвать, объявить его женихом.

Сейчас же она решила, что из комнаты этой не выйдет больше никогда. И пускай тетка сама разговаривает с Георгием Петровичем. Сама же Наташа не только не выйдет, но ляжет еще на постель и будет реветь, пока что-нибудь не случится.

Затем она поспешно закрутила волосы, заткнула их шпильками и сбежала вниз.

Ни в дому, ни на кухне Варвары Ивановны не было. Кухарка посоветовала кинуться на погребицу, и Наташа сошла с черного крыльца на заросший двор, обстроенный бревенчатыми службами. К ней подошла овчарка и стала лизаться, и, в густой до колен траве, под полуденным солнцем, решила Наташа, что упустила великое счастье, что Николай Николаевич, увидев ее такого жениха, и встречаться не станет, и уедет, и скажет, конечно, что она просто скверная, глупая, лгунья.

На погребице тетки тоже не оказалось. Проходя по задам к скотному двору, Наташа увидела вдалеке мельника и Феклушу, которая ударяла себя по бедрам, очевидно дивилась, мельник же крестился и тыкал через плечо большим пальцем на пруд; затем оба они куда-то убежали. Наташа вошла на пустой скотный двор; под поветями, подняв юбки от блох, прохаживалась Варвара Ивановна, в старой шляпке пирожком и с перышком; она оглядывала требующие починки постройки и покачивала головой, очевидно думая о постороннем.

— Тетка, я очень несчастна! — крикнула ей Наташа.

— Юбки, юбки подбирай, ах, какая ты неосторожная,— сейчас же ответила Варвара Ивановна.— Ну, что еще случилось?

— А то случилось, что я ваших советов слушать не хочу, навязали мне толстого идиота, любите сами.

И Наташа рассказала, какое ужасное впечатление на Стабесова произвели ее слова: он в одну минуту стал чужим человеком, Георгий же Петрович до того обрадовался и обнаглел, что едва не попал ей в лицо мячиком, и вообще она его ненавидит, как только возможно.

— Да, я действительно ошиблась, плохо сообразила,— проговорила Варвара Ивановна, весело глядя на девушку,— ты уж меня, пожалуйста, прости; ну где же мне сообразить, когда ты так меняешься, вчера еще другим человеком была; уж очень вы скоро живете, вот что; за вами не поспеешь.

И, обнадежив, что она поговорит и все устроит, тетка повернулась к забору, поковыряла палочкой прогнившие доски и сказала:

— Вот в позапрошлом году только переменили,

опять гнилье; послушай, Наташа, а он тебе очень нравится?

— Кто это? кто? — всполохнулась Наташа.— Ах, не знаю, о чем спрашиваете. Я сама не своя... Откуда это вы взяли! Ну, конечно...

Николай Николаевич ощупывал голову, шею и бока, сидя в траве; все тело очень ослабло, но поломки нигде не было; он сообразил, что жив, и подумал: «Теперь добраться домой и лечь»,— с трудом приподнялся, встал на ноги, сделал несколько шагов и остановился.

— Вот что вышло,— проговорил он вслух,— так, так, значит надо его найти.

Он двинулся в другую сторону; рассудок его работал быстро, почти бессознательно, он вылил еще одну фразу:

— Что же поделать, не бежать отсюда, в самом деле.

В это время появились страшно любопытные мельник и Феклуша; Николай Николаевич круто повернул к теннису; чем дальше он шел, тем яснее становилось, что жизнь его свелась ко второй встрече с Георгием Петровичем, ни обойти ее, ни увернуться было нельзя, только перешагнуть или погибнуть.

Он заглянул на теннис, обошел цветник, качели, балкон, нижние комнаты дома, спустился во двор,— все точно провалились на усадьбе, только за отворенными дверями конюшни, у ворот, слышались голоса и топот. Вдруг из темноты конюшни, стуча копытами по съезду, выехал верхом на рыжем мерине Георгий Петрович. Он повернулся в седле, пристально поглядел на Стабесова, ударил мерина плетью и рысью выкатил за ворота.

— Подожди! — не своим голосом закричал Николай Николаевич, кинулся было вслед, но сейчас же стал и глядел, как над толстым задом лошади подпрыгивает враг его в раздувающейся рубашке, в голубом картузе.

Если бы Георгий Петрович догадался прямо из ворот нырнуть в кусты, а Стабесов не глядел бы ему в угон, то жизнь Николая Николаевича повернула бы, может быть, с этой минуты по другой колее. Убегать, все время на виду, очень опасно, и еще опаснее глядеть

убегающему в спину,— просыпаются заглохшие инстинкты, и спокойному даже человеку хочется пуститься, догнать и свалить.

Николай Николаевич вбежал в конюшню, сорвал со стены узду, накинул ее на первого от него вороного жеребца, который только что хотел пошутить — словить вошедшего губами, вывел на двор; жеребец был племенной, черный, как крыло; Стабесов вскочил верхом, жеребец дал свечу, кинул задом и вылетел за ворота; сорвало шляпу, ветер зашумел в ушах, промелькнули кусты, избушка, и навстречу понеслись, словно дребезжа, березовые стволы подъездной аллеи...

Едва удерживаясь, Николай Николаевич вылетел в поле и в полуверсте увидел во ржах подпрыгивающую белую спину.

Стабесов не робел больше, не думал; дикая радость погони, свистящего ветра, лошадиного запаха захватила дыхание. Жеребец, мерно сгибаясь и разгибаясь, настигал, опустив морду, ударяя копытами в пыль.

Георгий Петрович настолько приблизился, что стало видно его оборачивающееся, испуганное лицо. В десяти шагах жеребец наддал, Николай Николаевич поравнялся и тут только подумал: что делать дальше? Сомов молча, со страхом и недоумением поглядел в глаза. Николай Николаевич поднял руку, жеребец проскочил; Стабесов стал осаживать, опять поравнялся и, быстро вытащив из заднего кармана револьвер, зажмурился и выстрелил.

«Не то, не то, гадость, нельзя»,— подумал он тотчас и увидел, как исказилось лицо Георгия Петровича на шарахнувшемся мерине. Сомов казался слишком толстым и живым, чтобы его можно было убить. Да и убить кого-то в мыслях, с разбегу, не глядя — еще понятно, но поднять револьвер и, видя живое лицо, выстрелить в него и знать, что оно запрокинется, упадет в пыль и само станет пыльным и уж нечеловеческим,— было немыслимо.

— Эй ты, мерзавец,— сказал Николай Николаевич,— я тебя убью!

— Нельзя, нельзя, не стреляйте,— быстро ответил Сомов.

— Молчи. Я тебе приказываю молчать.

— Что вам от меня нужно?

— Я тебе покажу, что нужно, поверни назад.

Некоторое время они скакали молча. Вдруг из-под горы появилась мельница, красные крыши, деревья и впереди всего каменные ворота сомовской усадьбы. Облака снежными темными громадами поднимались из-за края земли и прикрыли солнце. Оно выпустило из-за них три широких луча, а далеко внизу над квадратами полей опустилась косая борода дождя.

— Вот мы подъехали, заедемте к нам, поговорим,— сказал Георгий Петрович. Стабесов кивнул головой, ему вдруг показались ничтожными и обида, и месть, и предстоящий разговор; он сделал все, что требовала в нем возрожденная сила, и даже переступил грань: после выстрела он почти с удовольствием глядел, как Сомов, живой и толстый, скачет на лошади; выстрел словно опалил Николая Николаевича, сказал: стой, здесь конец, есть иное — глубже, лучше, сильней.

Рысью они проехали ворота и соскочили с коней у крыльца. Георгий Петрович вошел в дом первый, странно и внимательно оглянувшись. Николай Николаевич одернул панталоны, вздохнул и последовал за ним через просторные сени в гостиную.

У окна с кресла навстречу вошедшим поднялся багровый полковник на деревяшке.

— Ба, ба, ба, то-то я вижу знакомое лицо, вот где пришлось свидеться,— воскликнул он, раскинул руки и, выкидывая деревяшку, совсем было подошел обнять Стабесова, но Георгий Петрович, резко отстранив отца, воскликнул, задыхаясь:

— Подожди, папа. Вот этот мерзавец дал мне пощечину и сейчас в меня стрелял.

Мельник видел, как Георгий Петрович насел на Стабесова; мельник завизжал, чтобы распугать врагов, потом все это рассказал Феклуше, которая сбегала на пруд, увидела Николая Николаевича не в своем виде и оттуда кинулась к Варваре Ивановне и Наташе. Из рассказов Феклуши стало ясно, что молодые господа

издушили друг дружку, переколотили в кровь, и без убийства никак не обойдется.

Наташа, прослушав все до конца, сказала: «Вот, я вам говорила»,— и хлопнулась на пол. Варвара Ивановна облила ее из графина водой, отнесла на диван и укрыла пледом, а Феклушу послала искать молодых господ. Девушку на дворе поймал кучер и велел доложить барыне, что Стабесов угнал вороного жеребца. Так все узналось. Варвара Ивановна расспросила подробно, приказала заложить тройку, надела шелковое платье и поехала в усадьбу к полковнику Сомову.

Феклуша подряд пять раз рассказала Наташе все, что слышала от мельника. Наташа пришла в неописуемое смущение и ничего не поняла; то ей казалось, что «он» нарочно, из презрения к ней и мести, избил «жениха», то было очевидно, что «он» решил силой завладеть ее любовью.

Каждую минуту она посылала Феклушу узнавать: нет ли вестей, не едут ли? Когда же солнце склонилось над парком, Наташа решила, что «он» погиб и ей ничего не остается, как только написать предсмертное письмо. Она так и сделала: села к столу, за которым тридцать лет тому назад умер старый Томилин, разыскала среди бумаг чистенький почтовый листик и написала:

«Милая тетя, я никого не виню, я одна во всем виноввата, передайте всем, что я очень хотела любить, но все надо мной смеялись, говорили, что это очень несовременно и нужно трезво смотреть на вещи. Вот, милая тетя, до чего меня довел трезвый взгляд, для меня в жизни нет никакого утешения. Мой долг,— это слово она подчеркнула,— умереть вместе с ним. Я умираю, потому что внезапно, неизвестно почему, ужасно, ужасно захотела умереть от любви. Если бы вы знали, тетя, как я его сейчас люблю. Для себя я бы ничего не хотела, я бы хотела, чтоб он, милый, нежный, красивый, был счастлив. Я бы глядела ему в глаза, гладила бы волосы и руки, я была бы ему верной; пусть он не думает, что если я девчонка, такой бы и осталась,— нет, женского во мне очень много. Если бы осталась жить, я бы, я бы...»

Но дальше Наташа не могла продолжать, частые слезы закапали на письмо, и буквы его расплылись.

Варвара Ивановна тем временем подкатила к сомовской усадьбе и решительно вошла в дом, еще издали слыша странные разговоры.

Николай Николаевич сидел, откинувшись на диване, бледное лицо его на минуту вспыхнуло при виде Варвары Ивановны, затем он опять опустил глаза.

Полковник Сомов не допустил, чтобы сын искалечил Стабесова, хотя Георгий Петрович в первую же минуту, обезоружив Николая Николаевича, грозил и хотел вышибить из него дух кулаком из-за отцовской спины.

Полковник Сомов правильно рассудил, что дело это уголовное и что можно или прямо закатать Стабесова подальше, или взять с него куртаж, что вполне допустимо при теперешнем экономическом строе и подтверждается примерами западных государств, где один велосипедист, переехав на улице барыню, заплатил ей тридцать тысяч франков за одно беспокойство. Поэтому полковник послал верхового за понятыми, написал письмо приятелю своему, земскому начальнику, Борода-Капустину, и принялся за предварительный допрос.

Николай Николаевич только пожал плечами и отвечать отказался: ему сейчас было глубоко безразлично, что с ним сделают и чем все это кончится; он слишком близко подошел к убийству, к тому краю, где кончались ясные мысли, радостные желания, где захлопывалась дверь на весь свет и оставался человек один, с одною мыслью. Переход был легок и мгновенен и тем от этого страшнее; и как бы в избавление от него, в напоминание иного бытия, ему было видение солнца, неба и дождя.

Перед приходом Варвары Ивановны старик Сомов, отставив деревяшку и помахивая пальцем, говорил:

— Я еще на пароходе заметил, что с вами нужно держать ухо востро, милостивый государь; вы анархист, я вас военному суду предам. В человека стрелять, это не в картошку, да-с. Мне все равно, что это мой сын,

мне важна идея; посидите да подумайте об этом. Много таких стрелков развелось; я сам военный, сам людей убивал, но никогда не думал, что они — картошка.

Георгий Петрович сидел у стены, на стуле, курил и глядел, как кот, горящими глазами на Стабесова, иногда замечая отцу:

— Брось, пожалуйста, болтать.

Варвара Ивановна прямо подошла к Николаю Николаевичу, пальцем указала на пол около себя и сказала:

— Не позволю.

Георгий Петрович вскочил. Полковник уперся в бока и начал было:

— Постой, постой, матушка моя.

— Я тебе не матушка, старый безобразник... ты лучше молчи. Да я твоего сына сама высеку. Да знаешь ли, зачем он к нам ездил?

— Позвольте, Варвара Ивановна,— перебил было Георгий Петрович.

— Не позволю. Я — Варвара Ивановна Томилина, я не позволю, чтобы этот щенок ездил подсматривать на мою родную племянницу! Молчать! Он этим только и занимался. И племянница моя, Наталья Юрьевна, формально ему отказывает. В обмороке лежит. Пойдем из этого дома.

Это последнее слово относилось уже к Стабесову, которого она, взяв за руку, вывела из комнаты, все еще с высоко поднятой головой, на крыльцо и сказала кучеру: «Пошел, дурак», хотя кучер был вовсе не глуп.

Николай Николаевич покорно влез в коляску, оглянулся вокруг, потом поглядел на Варвару Ивановну и вдруг засмеялся.

— Спасибо,— сказал он,— большое вам спасибо, Варвара Ивановна; правда, в какое я глупое положение попал, я теперь и сам не соображу, как все это связалось.

— Сам виноват,— ответила Варвара Ивановна отрывисто: в ней еще ходила ходуном томилинская кровь.— А зачем жеребца угнал? Напьется жеребец —

пропадет. Стой! — крикнула она кучеру.— Отстегни пристяжку, скачи назад, за жеребцом.

И когда кучер поскакал верхом на пристяжке обратно в Сомово, Варвара Ивановна сама взяла вожжи, тронула лошадей и после некоторого молчания проговорила уже иным голосом:

— Бедная моя Наташа, вот что. Вся томилинская порода такая несчастная в любви; видно, и Наташе не суждено.

— Варвара Ивановна, милая, мне кажется, все эти глупости я наделал потому, что...— проговорил Николай Николаевич, глядя на облака,— потому, что... я люблю Наташу...

Варвара Ивановна живо обернулась:

— Молчите, молчите. Боже мой, как это ужасно, страшно. Нет, нет, не мне, не мне, вы ей это скажите... Такие слова нельзя произносить вслух.

— Идите, идите, она обрадуется,— прошептала Варвара Ивановна и осталась за дверью. Николай Николаевич вошел в кабинет. Наташа сидела у письменного стола, положив на него руки, а на них голову; закатное солнце сквозь пыльное окно заливало светом старый, темный кабинет, волосы девушки просвечивали и казались горячими, легкими, полными этого света. Николай Николаевич наклонился, Наташа спала, и на щеке ее еще остались следы чернил и слез. Зайчик с медной чернильницы прыгнул на глаза Стабесову, который наклонился еще ниже и прочел письмо. Потом он поглядел на палец, измазанный в чернилах, на чернильное пятно на щеке, на двигающиеся во сне ресницы, на огорченный рот и позвал: «Наташа».

Девушка пробудилась, приподняла голову, потерла глаза и только тогда оглянулась. Она сейчас же встала, все лицо ее задрожало испуганно.

— Я заснула нечаянно,— проговорила она; и видя, что Николай Николаевич продолжает улыбаться, она потянулась к нему, положила руку на его рукав и сказала: — Я вас люблю очень.

Потом, не дожидаясь ответа, засуетилась, ища пла-

ток, присела, нашла его под столом и, не глядя, вышла из комнаты.

Николай Николаевич продолжал стоять, прислушиваясь. Он не ожидал такой встречи: он вошел объяснить, что сам не знает, почему так стремительно налетели на него страсти и буйство; он хотел осторожно начать таинственный этот разговор; обернулось же так неожиданно и по-простому, что только сердце могло ответить на все. Под частым, гулким его биением возникло невидимое облако вокруг Николая Николаевича, исчезли все предметы и с невиданной силой почувствовал он, что одно прекрасно — тихий голос Наташи, глаза ее, милые изменения лица. И словно через эти простые, всегда виденные, в первый раз понятые им земные знаки — голос, глаза и лицо — вступил он в чудесные селения, где все, как на земле, но все иное. Для него селения эти были волшебными и носили имя — Наташа.

Иные — Форель, например, и гимназисты — называют их половым инстинктом, люди попроще — любовью, поэты — влюбленностью. Феклуша сказала бы, что он соскучился. Для Николая Николаевича селения эти были волшебными и носили имя — Наташа.

Прошло два дня. Старики Стабесовы до того взволновались задним числом, что у Марьи Митрофановны отнялись ноги, а у Николая Уваровича испортился желудок. Они настаивали, чтобы Николай Николаевич уехал обратно в Москву. Действительно, со стороны Сомовых известия шли не особенно приятные: полковник решил подать на Стабесова в суд, Варвару же Ивановну привлечь как соучастницу; и хотя все это были только еще разговоры, но земский начальник Борода-Капустин через письмо посоветовал молодому Стабесову скрыться от греха. К тому же пришло из Москвы известие, что только что оконченный Николаем Николаевичем доходный дом дал трещину и строительная комиссия требует перестройки. Николай Николаевич уезжал завтра утром. Варвара Ивановна обещалась в конце месяца быть с Наташей в Москве.

Варвара Ивановна словно омылась в трех росах, до того помолодела, и даже бросила курить. Словно над ее

угасающей жизнью ударил колокол: она полюбила в первый раз, полюбила влюбленность Наташи и Николая Николаевича, и она и он равно были ей близки и понятны, и, даже не видя их, она знала все изменения их чувства; это было то, чего ждала всю жизнь, и уже не сухим грибом, а пылающей розой представлялось ей ее сердце.

Николай Николаевич и Наташа были словно окутаны ее чувством: через нее любовь казалась им важной, огромной, мировым событием. Остаток вечера и весь следующий день до полдника они провели в саду, на качелях, на теннисе и на пруду. Быть может, они совсем и не говорили друг с другом, только глаза их, встречаясь, проникали друг в друга, вбирали немые, оглушающие волны. И, конечно, настала в их медленном дне одна минута, которая могла оказаться роковой.

Наташа сидела, охватив колени, в густой траве под косогором, на берегу узкой речонки, бегущей издалека, из-под мельницы; Николай Николаевич лежал навзничь. Легкий ветер волновал метелки травы, а высоко в темно-синем небе, там, где кончались вершины сосен на бугре, плыли белые облака; они выплывали из-за леса в синюю высоту, и казалось, что лес, и земля, и Наташа, и сам он уносятся навстречу облакам.

— Посмотрите наверх, у вас закружится голова,— проговорил Стабесов. Наташа подняла глаза и лицо, горло на открытой ее шее задрожало от легкого напряжения; Николай Николаевич, глядя на ее горло, повернулся, и невольно ноздри его раздулись, он знал, что почувствует, если прикоснется к ее шее губами; он опустил глаза; ее ноги в черных чулках были прикрыты юбкой только до колен; из-под холщового края было видно кружево белья; на одно мгновение пропало Наташино лицо, он забыл ее всю, словно между ним и ею провели черту, сквозь которую можно только прорваться силой; и вслед за этим из какого-то завалющего угла памяти появился Тверской бульвар, мутный свет и в американском пальто сутулый незнакомец, бежавший за тростью вокруг... и все, что было далее... «К чему это, какая мерзость»,— подумал он и поднял голо-

ву. Наташа глядела на него умоляющими глазами, полными слез; он понял: она ни в чем не могла отказать, лишь просила, чтобы он не уходил из ее волшебных селений, не покидал ее... Николай Николаевич встал на колени, она соскользнула с травы, поднялась, закинула руки ему за шею и, вся вздрагивая от радости и нежности, поцеловала его в губы и глаза.

— Будь нежным, будь ласковым, будь милым,— шептала она,— сейчас еще не время, мы еще сильнее, еще глубже должны полюбить.

НАТАША

Старая тетка Варвара Ивановна решила, что Наташу, ставшую невестой, нужно строго охранять. От чего понадобилось охранять молодую девушку — тетка не знала хорошенько, но в разговоре ее появилось множество врачебных советов и практических замечаний. В этом поддержали родители жениха, старики Стабесовы, Марья Митрофановна и Николай Африканович, снимавшие у Томилиных в лесу дачу.

Так, они прочли брошюру о малярийных комарах и прибежали однажды спозаранку, крича еще с балкона:

— Ради бога, где у вас комары?

Николай Африканович стал в зале на стул и принялся считать комаров на потолке, пока у него не закружилась голова. Тогда Варвара Ивановна завела длинную палку с навернутым на конце полотенцем и повсюду уничтожала ею вредных насекомых.

В Наташиной спальне окно забили сеткой и один раз даже прыскали особой жидкостью, чрезвычайно плохо пахнущей.

Была выписана книга — «Гигиена молодой женщины». Из чтения ее выяснилось: нельзя поднимать тяжестей, сильно нагибаться, вредно есть квашеную капусту, пить в жару холодный квас и т. д. и т. д...

Купаться позволяли пять минут,— опять-таки по книге. В полдень в солнечном свете оказалось чрезмерное присутствие ультрафиолетовых лучей, действующих па органы. На закате легко было поймать крапивку.

Роса, чудесная утренняя роса, по которой Наташа любила бегать босиком, была признана безусловно вредной. Когда, задумавшись над недопитой чашкой чая, прислонялась Наташа к кирпичной стене террасы, Варвара Ивановна говорила поспешно:

— Не облокачивайся, прошу тебя. Схватишь ревматизм. Подожди, приедет Николай — сиди, где хочешь.

При этом она с удивительной ясностью проникала в тайны Наташина организма. И тогда как старики Стабесовы упирали исключительно на книги, тетка искала главную причину в наследственности.

Наташин желудок, например, оказался томилинский, крепкий; почки пошли в дядьев с материнской стороны; печень же со всеми ее капризами долго оставалась загадочной. Однажды, в позднее время, тетка вошла со свечой в Наташину спальню, села на кровать и после тяжелого вздоха открылась:

— Был гусар Нащокин, твой дядя троюродный. Чрезвычайно тучный человек. Вспыльчив — чистый порох. Вот, Наташа, откуда у тебя твоя раздражительность,— и строго посмотрела поверх очков.

— Что вы, тетечка, когда же я раздражаюсь?

— Ну, позволь мне об этом судить. Завтра же, мать моя, посылаю в город за ящиком боржома. Я не могу сдать тебя с такой печенью на руки жениху.

— Тетка, если вы еще раз скажете «жених», я намочу голову и всю ночь просижу на окошке.

Тетка ответила:

— Фу, фу, фу! Распетушилась, горячка,— и разговор прекратила.

Наташа просила не говорить слов: «жених», «нашим молодым», «свадебка»,— и просила также не слишком часто поминать имя Николая Николаевича, потому что думала о нем все время напряженно, иногда со страхом, но чаще с нежностью. Он был близко, у самого сердца, и совсем не хотелось, чтобы и его также наградили почками.

Пробовала она протестовать против «Гигиены молодой женщины», но в этом тетка оказалась как кремень. И понемногу девушка начинала чувствовать себя осо-

бенно хрупкой, боялась ушибиться и перестала даже громко смеяться, не то что раньше, когда была — ничья.

Стояли в это время сильные жары и близилось полнолуние.

Наташа лежала в качалке. От солнца затеняли ее плотные кусты акации. Рассматривая свою руку, она думала лениво: «Какая странная вещь — рука. Почему пять пальцев, а не шесть, и отчего это красиво?»

И вдруг точно всю себя почувствовала со стороны, тоненькую, в белом платье, длинноногую, синеглазую, хрупкую. Над головой тихо треснул стручок акации, и на колени упал бобик, зеленый с красными жилками. Тогда Наташе стало казаться, что живет она в каком-то высоком хрустальном доме, чистая и печальная от своей чрезмерной чистоты. А очень еще недавно играла в теннис, читала с упоением современные романы и презрительно не верила в любовь. Что это было такое? Ноги и руки остались теми же, и голова, и даже сердце, а сама она — другая. И отчего грустно ей даже от таких пустяков, как упавший на колени бобик?

Наташа стала припоминать. Она гуляла с Николаем Николаевичем за парком, у пчельника на гречишном поле, цветущем желтыми кистями. Было жарко, пахло медом, и летали пчелы. Подходя к этому полю, Николай, помахивая палочкой, курил, болтал вздор. Наташа искоса поглядывала на него, думала: «Красив-то — красив, только слишком развязен». Но когда они вошли в гречиху, осыпавшую им платье до колен желтой пылью, и Наташа наклонилась, чтобы нарвать кистей, а Николай, бросив папиросу, задумался,— с этой минуты их обоих заволокло медовым запахом цветов и непросохшей после дождя земли, и казалось странным, как могли они еще пять минут тому назад болтать непринужденно. Это чувство застенчивости и легкого головокружения не прошло даже тогда, когда вернулись домой, а на следующий день только усилилось.

Затем Наташа и Николай словно одичали: встречаясь, не смотрели в глаза, говорили мало понятные вещи; уходя гулять, бродили по межам, по кошнине, мимо копен, залезали в степные овраги и не замечали,

когда наступал вечер. Ноги не болели от таких прогулок, и все — сердце, ум, воля, чувства — было молчаливо напряжено.

Наконец оба они провели ночь без сна; Наташа проворочалась в постели и напугала тетку, напоившую ее гофманскими каплями, а Николай пробежал от дачи до Спасского и обратно — всего шестнадцать верст. Что думали они в эту ночь, неизвестно, но уже в восьмом часу оба явились на теннисную площадку с такими измученными лицами и блуждающими глазами, что глядеть было страшно. Николай взял мяч, внимательно осмотрел его, закинул для чего-то в пруд и сказал:

— Наташа... вот что...

У Наташи подкосились ноги, она села на скамью, спросила едва слышно:

— Что?

У обоих громко, непослушно стучало сердце. В зеленой тени лип нечем было дышать. Кусая губы, стоя почти спиной к девушке, Николай проговорил наконец:

— Я вас люблю, Наташа.

Она не ответила,— не могла. В душной тени двигались зайчики, кружочки света. Затем у самого ее лица появились глаза, тоже зеленые, изумительные, родные. Она подняла руки на его плечи и поцеловала полуоткрытым ртом.

Решено было скрыть от родных, что объяснились. Но к обеду Стабесовы на даче, а Варвара Ивановна на балконе у себя узнали все. И, точно по уговору, принялись мешаться не в свое дело: и тем, что спрашивали бестактно, и тем, что многозначительно молчали; но едва Наташа выходила из комнаты, усаживались в кучку и шепотом вели беседу о Наташиной красоте, о Наташиной добродетели, о том, как Николай будет с нею счастлив.

Наташе и Николаю точно опротивела за это время ходьба, и весь день просиживали они на скамейке то в липовой аллее, то в березовой, около пруда. И разговаривали только об одном,— как это удивительно и непонятно, что они встретились и полюбили друг друга и что еще никто на свете так не любил, как они.

Каждый день, на рассвете, Николай шел купаться в томилинский, дымящийся паром пруд; быстро раздевался и плыл в студеной воде, фыркая и оглядываясь на огромные осокори по берегу; они казались вдвое выше в этот час. Свистали птицы, вдалеке мычало стадо. И в тумане, за вершинами осокорей, проступали водянисто-коралловые полосы зари.

Затем Николай садился под Наташино окно на скамеечку. Когда солнце из-за вершины клена пробивалось в самую глубь комнаты, Наташа вставала и, в белом капотике, с лохматым полотенцем, выходила на дорожку, отворачиваясь и говоря, чтобы Николай на нее не смотрел, потому что она еще заспанная.

Так начинался день — не то сон, не то сплошная мечта,— очаровательный и призрачный.

Вдруг Николай получил из Москвы телеграмму: дом, строящийся под его руководством, дал трещину. Пришлось уехать немедленно. И тогда-то Варвара Ивановна и старики Стабесовы принялись Наташу оберегать.

Николай писал каждый день. Его письма в больших серых конвертах начинались приблизительно так: «Моя нежная, ласковая, прекрасная, дивная, возлюбленная, чудесная Наташа...»— и в том же роде кончались.

Там, в Москве, вместо Наташи он имел дело с кирпичами, известкой, железными балками, плутом подрядчиком и проч. Москва оказалась пыльной, душной, оглушительной. Он рвался в Томилино, где Наташа, охраняемая тремя стариками, жила как в наполовину только настоящем мире.

Но прошло две недели, у Наташи началось недовольство... Оно шло откуда-то, как сквознячок в едва заметную щелку.

«Возятся точно с цыпленком,— думала сейчас Наташа, забираясь с ногами в качалку,— откармливают, обглаживают, чтобы ему подать: пожалуйте,— только язык не проглотите! Удивляюсь, как еще не умерла от скуки». Она взяла в рот бобик и разгрызла. Он оказался кисленьким. Затем на дорожке появился Николай Африканович, коротенький, стриженный бобриком старичок в чесучовой рубашке, с поясом на животе;

разглаживая на обе стороны бороду, прищуря глаз, он воскликнул:

— А у меня что-то для кого-то есть!

«Что-то» было, конечно, письмом от Николая. Но неужто понадобилось проделывать весь этот маскарад и подмигивать, чтобы передать письмо? Наташа взяла его и сейчас же ушла к пруду.

Там, вынув из головы шпильку, разорвала конверт и стала читать:

«Милая, нежная, удивительная... Мне телеграфировала тетя Варя, что ты грустишь все эти дни. Что с тобой? Я в отчаянии. Берегись сырости. Не выходи после заката. Я не хочу, чтобы ты простудила мои ножки. Боюсь, что у тебя предрасположение к малярии. Помни, ты — вся моя. Береги себя для меня, для нашей любви...»

И до последней строчки ни слова о самом главном и простом — когда приедет.

— Теперь я понимаю,— сказала Наташа вслух,— вы со мной держитесь как хозяева. Я вам не обезьяна и не канарейка. Это мои ноги, а не ваши. Я не обязана быть ни здоровой, ни красивой, ни хорошей.

Она осмотрелась, стащила длинные чулки, подобрала подол и, сев на бережок, опустила ноги в пруд. Ей стало очень грустно и жаль себя.

Пруд в этом месте был очень широк и светло-синий сегодня. В бездонной его глубине двигались белые облака. В тени берега плавали сухие листочки и отражались сосенки с крестообразными ветвями. На дальнем берегу белел песок. Не было во всем свете более грустного человека, чем Наташа у пустого, сонного пруда.

Через час она взошла на балкон, села у стола в плетеное кресло и строго сказала горничной:

— Дуня, принеси мне из погреба квасу как можно холоднее,— и, опустив глаза, стала ждать.

Варвара Ивановна и Марья Митрофановна переглянулись.

— Тетка, я сидела у воды прямо на земле,— сказала Наташа.

Тогда Николай Африканович уронил пенсне в простоквашу.

— Меня кусал комар. Большой, рыжий; у него задние ноги длиннее передних, уверена — малярийный.

Старики продолжали молчать. Только тетка нечаянно локтем двинула чашку и перепугалась.

— У меня болит голова. Я нарочно простудила ноги. И почки болят и печень,— у Наташи дрожал подбородок. Она отодвинула кресло, бросила салфетку с колен и ушла к себе. Там легла на белую кружевную кровать и поклялась никогда не пудриться, не завивать волос, никого не любить и, наконец, заплакала.

Николай Африканович настаивал на докторе, Марья Митрофановна уверяла, что Наташино самочувствие «протекает нормально», а Варвара Ивановна немедленно послала телеграмму в Москву: «Невеста плоха, бросай все, выезжай».

Под вечер Наташе надоело лежать и плакать. Растрепались волосы, смялись подушка и платье. В голове было пусто. Она подошла к окну. Над парком зажигались звезды, еще не яркие, зеленоватые; из-за черных осокорей поднималась луна, как стеклянный шар, налитый огнем. Скоро свет от нее протянется по пруду, сейчас не видному за ветвями.

И парк и поля, испещренные, точно бородавками, копнами после покоса, представились Наташе дикими, как пустыня. Захотелось, чтобы и у нее в сердце не осталось ни одного теплого местечка.

Накинув кашемировый платок, она спустилась к тетке, которая в столовой на спиртовке варила малину. Варвара Ивановна испуганно взглянула на девушку и, помешивая в кастрюлечке, проговорила дрогнувшим голосом:

— Я очень тебя прошу перед сном выпить малины, Наталья. В конце концов я тебе приказываю выпить.— И ложечка в ее веснушчатой худой руке задребезжала.

Наташа стояла у стола, закрывая даже рот белой шалью, и глядела на голубоватый огонь спиртовки. Все было кончено. И пусть.

— Я замуж не выйду. Так и знайте,— сказала она,— пейте сами малину,— и, повернувшись, вышла на балкон и оттуда в парк.

Луна стояла высоко в синей пустыне. Парк точно окаменел, черный, кое-где поблескивающий. Внизу, над лопухами, дымилась сырость. Лунный свет проникал в тайные мысли, точно намекал на смутную и тревожную судьбу.

Наташа миновала парк и вышла на плотину. Отсюда было видно все холмистое поле. От самого его края на полнеба надвигалась разорванным клином черная туча. Острый перст ее коснулся луны и побелел. Сейчас же стали серыми все тени, разгладились, и потемнело, как в глухую ночь. На щеку упала большая капля. Наташа упрямо кивнула головой и продолжала идти, только крепче закуталась.

Вдруг позади глухо зашумел парк, и сейчас же порыв ветра, пригибая траву, надул юбку. Еще и еще, все чаще падали капли. Туча сверху донизу осветилась серебряным светом; прошло мгновение, и затрещал гром с такою силой, точно сломился весь томилинский лес. Наташа ахнула и пустилась бежать; ее чуть не сбило ветром. Дождь уже шибко шумел неподалеку.

Наташа забежала в сторожку, где жил Никитай-пчеляк. Здесь пахло сосновыми стружками, хлебом и вощиной. Наташа ощупью отыскала дверцу, ведущую в жилую половину; на пробое висел замок. Она вспомнила, что еще утром Никитай уехал в город за центрифугой.

А дождь уже сплошной завесой лил за распахнутой наружной дверью. В свете частых молний возникали корявые осокори, части помутневшего пруда, вершины двух сосен близ террасы, и все было задернуто серой завесой дождевых струй.

Наташа села на верстак. Страх ее прошел. Она думала, как дома сейчас беспокоятся и, наверное, разослали рабочих и прислугу разыскивать ее. Обшарили весь парк, сбегали в оранжерею, и на пчельник, и на гумно. Тетка, конечно, решила, что Наташу убила молния. На поляне лежит навзничь невеста в белом своем платье, раскинув руки; синие глаза, теперь мертвые, обращены на небо. Под утро найдут ее всю мокрую, принесут, положат на турецкий диван. Приедет Николай, упадет на колени около тела. Не удалась жизнь,

разбита любовь. Несчастная Наташа. Бедный Николай. И больше всего жалко, пожалуй, тетку; старая, только ведь нами и жила.

Дождь усиливался. Растревоженная, огорченная Наташа совсем устала, разгребла ворох стружек и прилегла на верстаке. Во всяком случае, если ее не убило грозой, то она простудится. Сквозь крышу капало. Стружки пахли сыростью и скипидаром. Наташа чувствовала себя покинутой и обреченной. Это было так сладко и приятно чувствовать, что, поплакав немного, она вдруг спокойно уснула.

Горячий свет ударил в глаза. Наташа села на стружках. Сквозь дверь была видна спутанная матовая зеленая трава, полная росы. Со свистом пронеслись стрижи. Случилось что-то необычайно радостное. Волосы полны стружек и платье измято. Удивительно. Наташа побежала по тропинке к дому. В аллеях виднелись следы ног. Окна раскрыты настежь. У балкона на площадке валялась теткина калоша. Наташа взбежала по ступенькам и ахнула. В стеклянных дверях стоял Николай, без шапки, со спутанной бородой и волосами, в забрызганном грязью плаще. В глазах его были ужас и радость.

— Николай, милый! Любишь, любишь меня? — спросила Наташа, и губы ее задрожали не то от смеха, не то от слез.

Николай, отогнув ее голову, глядел в перетревоженное, заспанное, очаровательное лицо, и волновался ужасно, и не понимал ничего. И действительно, во всей этой истории, кроме того, что любят они оба до смерти, что лучше любви ничего на свете нет,— и понимать-то было нечего.

А в дальнюю комнату забились, как мыши, Варвара Ивановна и старики Стабесовы, охали, не смели высунуть носа и утешались.

БЕЗ КРЫЛЬЕВ

(Из прошлого)

Сотрудник одной из московских газет, Иван Петрович Бабушкин, сидя у письменного стола в свету недавно приобретенной шведского фасона рабочей лампы, покусывал и рассматривал ногти.

Желудок у Ивана Петровича находился в превосходном состоянии, авансы получены, статьи сданы. На земле и на небе все обстояло в высшей степени благополучно. И, что особенно важно, в этот час он был один, совершенно один в квартире: женщина, с которой он находился в близких отношениях, ушла ночевать и скандалить к подруге. Чего еще желать? Никаких обязательств. Часы (в стиле ампир) пробили одиннадцать.

Не обладай Иван Петрович исключительной живостью натуры и любопытством — зевнуть бы сейчас с вывертом и завалиться под одеяло до позднего утра... А может быть — в кружок? Гм!

Счастливые мысли его были прерваны неожиданной возней в нижней квартире, где жил присяжный поверенный Притыкин. Два голоса, мужской и женский, давно уже там о чем-то спорившие, внезапно возвысились. Началась возня. Было похоже, что передвигают и опрокидывают мебель. Затем по всему дому пронесся больной женский крик.

Иван Петрович, захватив со стола блокнот, поспешно вышел на лестницу, приостановился, послушал и сбежал этажом ниже.

В это время парадная дверь с медной доской «Присяжный поверенный Кузьма Сергеевич Притыкин» распахнулась, из нее вышла молодая женщина с бледным взволнованным лицом, с волосами, сбившимися набок; она открыла рот и глубоко вздохнула... Глаза ее, большие и точно стеклянные, должно быть, не видели ничего... Она с трудом двинулась за порог, но сзади появился маленький багровый человек без воротничка, схватил испуганную даму за плечи, втащил внутрь, ударил ее несколько раз сверху по шее, и дверь захлопнулась... Все это произошло молча, быстро, деловито.

Иван Петрович недаром был журналистом. Управляемый одним лишь профессиональным инстинктом, он нажал кнопку звонка и сейчас же принялся колотить в дверь.

Через минуту дверь опять приотворилась, в щели показалось лицо Притыкина, красное, пятнами. Иван Петрович ухватился за половинку, потянул ее на себя вместе с Притыкиным, потом навалился на него грудью, впихнул в освещенную прихожую и проговорил: «На одну секунду, крайне важно», на что присяжный поверенный, махнув кулаком, ответил неразборчиво.

Тогда Иван Петрович вытащил из бокового кармана все, что было: бумажник, газетные вырезки, фотографии и прочее, в этом мусоре (куда внимательно глядел Притыкин) нашел свою хроникерскую карточку и подал.

Притыкин прочел ее и прошел вместе с журналистом в кабинет.

Мебель здесь была опрокинута, ковер сбит, будто по комнате гонялся один человек за другим, один подставлял, а другой опрокидывал предметы. На письменном столе в луже чернил плавало пенсне. Иван Петрович все это быстро оглянул, оперся руками о стол и спросил с деловитой торопливостью:

— Причины?

— Причины? — повторил Притыкин удивленно.— Ах, да. Она лжет, она все скрывает!.. Я поставил условие... Да, единственное условие — ничего не скрывать... Я страдаю, я ее ненавижу! Я не знаю, с кем она меня обманывает... Это — распутная женщина...— Он возвысил голос.— Так вы и знайте... Я ее убью...

Притыкин схватился за нос, повернулся и пошел в соседнюю гостиную; Иван Петрович устремился за ним...

В гостиной на узеньком диване лежала молодая женщина в черном. Голова ее была закинута, рот стиснут.

— Обмороки,— сказал Притыкин,— не верю! У меня в дому, в моем дому, меня, меня — доводить до бешенства!.. И — обмороки... Вранье!

Он оборвал и, медленно повернувшись к Ивану Петровичу, уже с недоумением, словно первый раз увидел, принялся разглядывать его...

«Проснулся»,— подумал журналист и бочком двинулся в прихожую.

— Вы кто такой? Вам что здесь нужно? — грозно вдруг и дико заговорил Притыкин, идя вслед. И уже в прихожей вдруг побагровел, затряс головой и кинулся. Но Иван Петрович выскочил на площадку и захлопнул дверь.

Постояв у запертой двери, Притыкин потер лоб и вернулся в гостиную. Все его мысли обрывались на полуслове. Это было мучительно: невозможность овладеть собой.

Жена все так же лежала на диване, лицо ее было повернуто к стене. Теперь она едва слышно стонала.

— Маша,— сказал Притыкин,— зачем ты стонешь? Что за нелепость! Вообще что за чушь! Ну, я готов попросить извинения. Хотя не знаю, безусловно не знаю, абсолютно не знаю,— в чем виноват... Ты меня извини, но синяки заживают, а вот что ты мне нанесла — это не заживет... Если так уж тебе это нужно — извиняюсь. Еще раз повторяю: если ты увлеклась, полюбила — я пойму, но чтобы я знал — с кем, и когда, и как... Тогда

мое самолюбие не страдает... Я самолюбив... Такой родился... Принимай нас черненькими... Черт тебя возьми! Это жизнь называется? Ты перестала со мной разговаривать. Ежедневно — перекошенное лицо... Не беспокойся — заговоришь... Все равно я тебя никуда не отпущу. Что же? Не отвечаешь? Долго будешь молчать? Уж не ты ли подослала этого нахала?

Притыкин, бегавший до этого по комнате с засунутыми в карманы руками, вдруг уставился в дверь.

Только сейчас он по-настоящему понял, что к нему в дом ворвался неслыханный нахал, выведал и записал все. «Бежать, поймать, убить, растоптать...» — подумал Притыкин и кинулся в кабинет. Но в дверях возникла новая идея: что это был не нахал, а любовник. И Притыкин заметался между двумя идеями, между гостиной и кабинетом. И, раздираемый надвое, завизжал:

— Это он! Ты с ним!.. Когда?.. Где?.. Сознавайся... Нахал! Ворваться... Все узнать!.. Как его зовут?.. Зачем он приходил?.. Отвечай: он или не он?.. Он или не он?..

Так Притыкин выкрикивал, не успевая захватить заплетающимся языком изломы мыслей в распаленном мозгу.

Маша перестала даже стонать. Появления журналиста она почти не заметила, а визгливые крики мужа, неистовая его суетня и плеванье долетали точно издалека.

Все это началось со вчерашнего еще вечера. Маша уезжала танцевать, одна. Притыкин сказал ей: «Приезжай не позже часу, иначе будет плохо...» Маша вернулась в четыре утра. Парадная дверь была полуоткрыта. Не раздеваясь, она прошла в гостиную и зажгла свет. С дивана поднялся Притыкин, взял канделябр и бросил им в жену, но промахнулся. Затем последовали бешеный разговор, наскакиванье с кулаками, стояние на коленях, часы изнеможения. Три раза Притыкин оттаскивал Машу от двери, переломал почти все вещи в кабинете и, наконец, ударил жену, уже черт знает, в последнем каком-то исступлении. Наконец он до того развинтился, что единственной сознанной обидой было то, что его довели до такой развинченности. В изнемо-

жении, расставив ноги, он крикнул: «Сейчас выброшусь в окно!» — и с треском затворился в кабинете.

. . . .

Наконец Маша осталась одна. Приподнялась. Прислушалась. Соскользнула с дивана и побежала в прихожую. Туда выходила вторая кабинетная дверь; через нее слышно было, как Притыкин зазвенел ключами, отпирая ящик. Маша подумала: «Пять шагов до зеркала... схватить шляпу, два шага до двери... вытащить ключ, выскочить на площадку, сейчас же запереть дверь снаружи на замок...»

Вдруг она поняла, что все это шепчет вслух. Подумала: «Он слышал и стоит за дверью...» Действительно, кабинетная дверь тихо приоткрылась. Появился Притыкин, держа руки за спиной. «Револьвер, конечно...»

Подходя, глядя в глаза, Притыкин сказал с сумасшедшей улыбочкой:

— Было или не было? Было или не было?

— Я вам не изменяла, пустите меня,— прошептала Маша.

Тогда он быстро переложил что-то за спиной из правой руки в левую. Потянулся к Машиному платью, схватил ее за шейный вырез,— отскочили кнопки, раскрылась ее грудь, до половины прикрытая батистом... (Он сам покупал эти рубашки жене, облюбовывал, мечтал об этих кружевцах.) Он сморщился, потянул из-за спины руку с револьвером. Маша быстро закрыла глаза. Когда ледяной точкой груди коснулось дуло, она подняла руки, но не было сил оттолкнуть мужа. Она почувствовала, как он силится что-то нажать в револьвере. Прошла секунда или ужасно много прошло секунд,— Маша их не считала... В это время забарабанили кулаками в парадную дверь, рванули, она раскрылась (она не была заперта), и в прихожую ввалились Иван Петрович, дворник и какие-то еще жильцы,— все они были в состоянии крайнего любопытства.

При появлении всех этих людей Притыкин швырнул револьвер, упал на стулик у зеркала и закрыл лицо руками. Во время суматохи Маша скрылась. Впоследствии выяснилось, что в револьвере не был поднят предохранитель.

Иван Петрович догнал Машу у церковной ограды, под густой от луны тенью вяза, раскинувшего ветви над переулком. Маша обернулась, услышав свое имя. Перья на ее шляпе вздрагивали, будто угрожали.

— Я хочу остаться одна,— сказала она глуховатым голосом.

— Милая, дорогая, я же — друг. Чего боитесь? Не узнаете разве? Это я ворвался к вам. Бабушкин, журналист.

Маша, видимо, узнала его. Ее дикие глаза смягчились. Она сказала:

— Я совсем не знаю Москвы... Скажите, в какой гостинице я могла бы переночевать? Подешевле...

Иван Петрович объяснил, что в приличную гостиницу в такое позднее время без вещей и паспорта не пустят.

— Слушайте, да бросьте вы все эти условности,— воскликнул он в восторге.— Я давно об этом пишу и кричу: семья выродилась... Брак — это пошлость. Вы сами на себе только что испытали, какова это штучка — брак. Были бы у вас дети, тогда еще можно было потерпеть, и то — с натяжкой...

— Где же мне ночевать? На улице?

— Ах, да, ночевать? Черт, жалко, нельзя ко мне... У меня, видите ли, неудобно. Вы ничего не слыхали о моей связи?.. Чудная женщина. Ее, кстати, дома нет. Но — истеричка, ревнива, как черт, не расстается с пузырьком. Знаете, на пузыречке череп с костями?.. Куда бы вам деться?.. К Семену Семеновичу! Его вся Москва знает. Холостяк, чудак, писатель. Богатый человек. К нему можно просто позвонить и лечь спать. Но главное — чудак, мистик, в его идеях никто ничего не понимает. Замечательный мужчина.

Маша слушала, глядя в лунную пустоту переулка. Ее лицо, совсем еще юное, казалось сейчас очень красивым. Иван Петрович, продолжая тараторить, взял ее под руку и увлек через церковный двор, где на травке, в тишине, над влажными кустами, невысоко, поднимались пять усеянных звездами куполов. Маша взглянула на них, по-детски вздохнула.

— Кое-какие сведения о вашей жизни у меня имеются, но нужны подробности, детали, это очень важно,— говорил Иван Петрович, поминутно заглядывая ей в лицо (тени под глазами, высокие дуги бровей, маленький рот с опущенными уголками и носик, тоненький, легкомысленный, как будто не принимающий никакого участия в ее тревогах).— Прямо и честно, как другу, скажите... вы обманывали мужа? Я, например, страшно бы приветствовал, если бы вы обманывали.

Маша покачала головой. Нелепые, какие-то провинциальные перья на ее шляпе угрожающе колыхнулись.

— Хотела. Но не могла,— ответила она, проглотив клубочек страдания.— Четыре года я живу с этим человеком... Сколько раз собиралась уходить,— вы даже не можете представить. Куда я пойду? Папа умер в прошлом году.

— Доктор Черепенников? В Сызрани?

— Да. А родные?.. Нет, уж лучше что угодно,— в Сызрань не вернусь...

— Бедная, милая, несчастная. Но все-таки как же это случилось? Побои, револьвер?..

Маша отвернулась, не ответила. Остальную часть пути прошли молча. Иван Петрович позвонил в подъезде одноэтажного дома, куда в темные, закругленные наверху окна лился лунный свет. На медной карточке на двери стояло: «Семен Семенович Кашин».

Поэт, философ, мистик, Семен Семенович Кашин обычно работал по ночам. Так же, как и Бальзак, он пил черный кофе. Его письменный стол был завален рукописями, бумагами, книгами в прекрасных переплетах, покрытых пылью. На подставке чернильницы лежали кипарисовые четки. Худая и белая рука его, слегка дрожащая от ударов сердца, вызванных большими порциями кофе и никотина, слабо держала тоненькую вставочку пера. И рука и перо казались почти уже невещественными.

В каждой эпохе есть свой пафос. Даже в застоявшиеся, покрытые ряскою времена, когда жизнь человеческая расползается, как сальное пятно на бумаге,

даже в эти скучные времена, в чаду мещанских очагов, в полуденной скуке, в мушиной тишине слышится как бы трагическое звенение струны. Она все сильнее, все безнадежнее, все отчаяннее звучит в дремлющем мозгу и не дает уснуть и будит... Это пафос безвременья: смертная обреченность. Никуда не уйти от этого навязчивого звука. Ни дремотой, ни безумством не спастись: умрешь, исчезнешь... О, как бессмысленно, как страшно бытие!

Ночные потребители табаку и кофе, обладатели особенно отчетливого слуха, силятся отыскать систему этого трагического противоречия: родиться, чтобы умереть. Посиневшими губами они бормочут о бессмертии, то есть об оправдании жизни, стараясь отогнать, как назойливую осу, ту мысль, что только ужас от бессмысленности смерти пихает их, головой вперед, в головоломные формулы сверхсознания. Ледяными пальцами они перелистывают страницы, ища цитат и подтверждений, и, как во сне, им кажется, что курево от их костра достигает неба и смерть побеждена. Но их рукописи, книги, покрытые пылью, альманахи и журналы — лишь животный долгий вопль ужаса.

В эту ночь Семен Семенович, как обычно, сидел в библиотечной комнате, погруженной в полумрак, и писал. Круг света падал только на листы рукописи, на его невещественные руки, освещал низ его длинного лица с золотистой бородкой. На столе, между книг, стоял большой кофейник, уже пустой и холодный, как труп. В чашке, в гуще, разлагались окурки. Глаза его были расширены и блестели. В эту ночь, отложив очередные статьи в журналы, он работал над «делом своей жизни» — драматической поэмой, которой его друзья ждали, как откровения. Он писал, зачеркивал и снова писал неровным, неразборчивым почерком:

Кунигунда. Тише, тише, ради пресвятой девы — тише... *(Пауза. Тишина. На древней башне часы бьют полночь. Снова тишина.)*

Барон Розенкрейц. Я слышу...

Кунигунда *(с тихим ужасом)*. Что слышишь ты? *(Проносится таинственное мгновение.)*

Барон Розенкрейц. Я слышу... Как будто шаги я слышу... *(Сжимая обеими руками меч, который вырисовывается крестом на его груди.)* Да, я слышу шаги... Это приближается...

Кунигунда. О, как страшно... *(В это время...)*

В это время раздался резкий звонок на парадном. Семен Семенович, выронив перо, похолодел, оглянулся и глядел в полутьму комнаты, уставленной книжными полками, покуда не прошел испуг. Затем он пошел отворять.

— Так вот, милый человек, позаботься, чтоб постлали чистое белье, и главное — поскорее все устрой и поудобнее,— говорил Иван Петрович, входя вместе с Семен Семеновичем и Машей в библиотеку. Он еще в прихожей вкратце рассказал Машину историю. Семен Семенович нет-нет да принимался потирать руки, нервно покашливая. Появление в такой поздний час такой прекрасной дамы, видимо, потрясло его. В особенности казался странным миг ее появления. После слов Кунигунды должна была следовать ремарка: «В это время входит». И вошла Маша. Было от чего закружиться голове! Маша села на стул у книжного шкафа, опустив голову. Голые по локоть руки ее, лежавшие на коленях, казались беспомощными. И черное, черное платье!

— Я счастлив, что вы посетили мой дом, милости просим,— заговорил Семен Семенович, поблескивая глазами и словно танцуя, то подходя к ней на шаг, то отступая.— Я чувствовал ваше приближение. (Иван Петрович изумленно взглянул на него, потом, очевидно, понял,— махнул рукой.) Быть может, я давно жду вас в этой тишине... Вы не знаете меня, я не знаю вас. Тем лучше. Будьте откровенны. Скажите мне, чужому и вместе тайно близкому, ваше затаенное. («Эх!» — не удержался, крякнул Иван Петрович.) Да, да, прекрасная женщина, таинственный гость, говорите, говорите о себе.

Маша подняла голову. Думала со сдвинутыми бровями. Иван Петрович, которого сверлило любопытство, подмигивал ей: говори, мол, валяй.

— Хорошо,— сказала Маша,— я расскажу. Это все произошло вот как. Меня выдали замуж семнадцати

лет из последнего класса гимназии. А ему было сорок. Мне все говорили: муж — значит, навсегда. Взяли дурочку семнадцати лет и сунули в постель к чужому человеку: лежи, терпи, старайся, чтобы он к тебе не охладел. И божий и человеческий закон тебе это велят. Ну, вот так и жили. А честности во мне было больше, чем нужно. Сначала думала: буду мужу товарищем. Стала готовиться к экзаменам на юридические курсы. Он потерпел, потерпел и разразился: «У тебя, говорит, глаза от чтения стали мутные, и юбка в пуху, и чулки, как у курсистки, и вся ты неряха, на женщину не похожа». Что мне делать? Стала я наряжаться, конечно — увлеклась нарядами. (Маша пожала плечиком.) Опять — не так: для чего я деньги сорю, для одного мужа столько тряпок не требуется. «Для кого ты вырядилась?..» Поступила на кулинарные курсы. «От тебя, говорит, кухаркой воняет, луком». Все не так. Что ему нужно? Нужна ему заводная кукла, больше ничего,— постельное животное. Чего бы он ни захотел — все бы тотчас исполнялось. Вчера видел какую-то особенную даму, и я должна немедленно стать такой же. А назавтра все по-другому. И все это так ужасно. (Губы ее задрожали, она низко опустила голову.) Все его фантазии — исполнять с самым веселым видом, потому что венчана навек. Однажды он говорит: «Пришел к заключению, что у тебя необыкновенно много овечьего. Хоть бы ты обольстила кого-нибудь. В женщине игра важна, изломы». И представилось мне тогда, что вся я — измятая, истерзанная, растоптанная. (Она вдруг совсем по-детски всплеснула руками.) Уйти было нужно, да, да, знаю. А куда я пойду, полуграмотная, ничего не знающая? К кому я пойду? В другую постель? Ведь только! В этот вечер сидел у нас знакомый. Муж уехал. «Ладно, думаю, сам меня толкаешь в эту яму». Начала флиртовать. Много ли нужно: оголи плечо да усмехнись чего ни на есть гнуснее. У него сразу глаза заблестели. Схватил, начал целовать. Оскорбительно мне стало. Знаете за кого? За мужа! Оттолкнула этого человека. Ночью сказала мужу: «Я тебе изменила». Он побледнел, едва не вывихнул мне руку. А когда узнал, в чем моя измена, начал хохо-

тать: «Ты такая дурища очаровательная, что мне, ей-богу, совестно тебя даже обманывать». Вот тут-то у меня все и оторвалось. Рассказал он мне, растроганный глупостью, что изменяет мне чуть не каждый день. Слушаю — боже мой, все мои знакомые, мои подруги. Грязь! Отвращение! С этой ночи я его больше к себе не подпускала. Так он ничего и не понял. И тут-то началась ревность. Что он мне говорил! Как он насильничал! Боже милостивый!

Маша заплакала, не вытирая слез. Иван Петрович засопел носом. Семен Семенович забормотал что-то совсем уже непонятное. Позвали старуху прислугу, от которой удушливо пахло табаком. Отвели Машу в спальню Семена Семеновича. Сам он заявил, что в сне, вообще говоря, не нуждается,— и действительно, проводив Ивана Петровича, вернулся в библиотеку, сел к столу, уперся локтями в разбросанные листы драматической поэмы, схватился за редкие волосы и так просидел до рассвета.

Толчок сердца подбросил. Маша села, дико оглядывая незнакомую комнату, чужую постель, темную, без рамы, большую картину на стене: какие-то голые спины, чудовищные икры, копья, шлемы, старики в коронах, скалистый пейзаж. Сквозь щель полузадернутой шторы проникал серый свет утра. Там плюхало и лилось. «Дождь!» — сказала Маша и опять легла, словно крадя из того, что должно наступить, минутку тишины.

Надо же было, наконец, собраться с мыслями после вчерашнего. (Выплыло лицо мужа — искаженное, в пятнах. Она замотала головой, сжала зубы.) Хорошо... Убежала из дома... С домом кончено навсегда... Ничего не жалко, даже новой шеншелевой шубки... Ладно, кончено... Ушла в одной юбчонке на улицу, и теперь — что же? (Маша опять села, поджала ноги, подперлась, глядела на никелевый шарик кровати; в нем отражалась вся комната в крошечном виде и полуголая Маша в дневной рубашке.) Куда? На родину, в Сызрань? Представился пыльный город без единого деревца, с вонючими заборами. Летняя скука. Две Машиных тетки, похожих друг на друга, как две крысы, старые

девы, живущие на пенсию. «Заедят,— подумала она.— Ну, а здесь, в Москве, куда?..— Маша перебрала в уме всех друзей, знакомых.— Начнут жалеть, мирить, лезть с наставлениями. И не успокоятся — вернут к мужу. И больше всего будут хлопотать эти, с кем он спал...»

Думала она и так и этак,— только разболелась голова... Стало пусто и сравнительно спокойно: как-нибудь обойдется. В двадцать один год у женщины всегда хороший запас легкомыслия. Она соскочила с постели, взяла с кресла белье, стала натягивать чулки. Шелковый черный чулок в колене был изодран. Она просунула пальцы в дыру, нахмурилась. Потом быстро натянула чулки, оделась, причесалась, не глядя на зеркало, ополоснула лицо и, уже совсем готовая, приподняла юбку и опять посмотрела на разодранный чулок.

Он лопнул, когда, вырываясь от мужа, она упала в дверях. «Избить так, чтобы лопнули чулки,— это все-таки невероятно».

Теперь она заторопилась. «Вот только шляпка совсем неподходящая для новой жизни — проституточья какая-то. По вкусу мужа. (Снова — волна обиды и ненависти.) Куплю простенькую, с черной ленточкой. И платье это выброшу».

Полная самых лучших намерений, Маша вышла в коридор. Сейчас же из боковой двери появился взъерошенный Семен Семенович. Он поплыл навстречу ей танцующей походкой.

— Вы — крылатая, вы — необычайная,— проговорил Семен Семенович. Ледяными пальцами схватил Машину руку, нагнулся, чтобы поцеловать, но как-то затоптался и еще раз встряхнул руку. Покрасневшие глаза его были как у сошедшего с ума кролика.

— Я должна вас поблагодарить, Семен Семенович...

— Ради бога. Только не эти условности. Вы — крылатая, я понял. Я не спал всю ночь. Казалось, будто весь дом полон вашего дыхания. Благоухания. (Шаг вперед и — шаг назад.) Это был сон в летнюю ночь. Капля с волшебного цветка упала на веки Титании.

Она заснула, и мир преобразился. Мир стал волшебным. (Маша двинулась, он загородил ей дорогу.) Сжальтесь! Во мне воздвиглась за эту ночь совершенная красота. (Он так и сказал: воздвиглась.) Я знавал женщин. Каюсь. (Он привзвизгнул.) Но это было грубо, это было животно. Лишь в первый раз — сегодня. Вы не должны покидать меня. Вы еще сами не знаете, какие силы послали вас.

Видимо, Семен Семенович никак не мог (неврастения) добраться до сути дела, то есть потащить Машу на кровать, чего единственно ему и хотелось. Вместо этого он выкручивал такие мистические арабески, что разговор становился все более тягостным. Маша почувствовала раздражение.

— Мне нужно идти,— сказала она почти резко и двинулась по коридору.

— Постойте! — крикнул он.— Здесь был только что Иван Петрович, оставил для вас пятьдесят рублей. Скажите, могу я надеяться, что вы...

— Хорошо. Благодарю вас, непременно. До свиданья.

На подъезде, когда захлопнулась, наконец, входная дверь, Маша с наслаждением вдохнула сырой утренний воздух. Несколько кленовых листьев лежало на асфальте. Она раскрыла зонт, обернулась — и увидела мужа. Притыкин подбегал бочком, руки его были засунуты в карманы мокрого пиджака. Маша вскрикнула, побежала. Шагом ехал извозчик. Она полезла в пролетку, повторяя: «Скорее, скорее, ради бога».

Бойкий извозчик, покрикивая, уносил Машу в центр города. Высокая пролетка подпрыгивала на трамвайных путях, размашисто цокали подковы. Мимо летели особнячки, переулки, бульвары, пестрые вывески, озабоченные прохожие. Все многолюднее, все пестрее становился город. Испуганная Маша перестала оглядываться. Притыкин давно отстал в дикой погоне по переулкам. На Тверской извозчик приостановился и, обернув золотобородое наглое лицо, сказал, шикарно растягивая «а»:

— Каакие тааакие дела, нааасилу уехали. А я вас знаю, барыня, постааянно катаю и Кузьму Сергеевича. Куда теперь прикажете, в гааастиницу?

— Куда-нибудь,— сказала Маша,— может быть, знаете, где хорошие комнаты сдаются, но только не в гостиницу.

— Понимаю. Эй! Паади!

Похрапывая, задирая морду, вороной жеребец помчался к Тверской-Ямской.

— Что требуется,— сказал извозчик, останавливая жеребца у невзрачного старого дома в три этажа,— посмаатрите, я падажду.

На парадном была приклеена зеленая записочка, объявлявшая о сдаче комнаты. Румяный швейцар в галунном картузе значительно оглядел Машу и заявил, что сдается только для молодой одинокой. Маша поднялась во второй этаж. На лестнице — красный ковер, в открытом окне пела канарейка, грустя о никогда не виданных ею Азорских островах в лучезарном океане. Маше открыла тоненькая горничная с мешочками под синими глазами и высоко взбитыми волосами, вытравленными водородом. Она также внимательно оглядела Машу, впустила в переднюю, лениво проговорила:

— Подождите здесь, сейчас скажу баронессе.

За малиновой портьерой послышалось шушуканье, а затем:

— Молодая?

— Да, молодая.

Шурша шелком, появилась хозяйка-баронесса, очень полная низенькая женщина с большими бородавками на обсыпанном пудрой плоском лице. При виде Маши она широко улыбнулась, расплылась. Тогда и горничная с мешочками под глазами улыбнулась за ее спиной.

— Будем знакомы, очень, очень рада. Вас кто привез? Семен? — нараспев проговорила баронесса, беря Машу под руку и увлекая в крошечную гостиную с золоченой мебелью и розовыми портьерами. На диванчике, на ковре — повсюду разбросаны шелковые поду-

шечки. Комната была как бонбоньерка, и странным в ней казался крепкий запах сигар.

Не выпуская Машиной руки, поглаживая ее, баронесса усадила Машу на диван. Сама приткнулась бочком, ноги ее не доставали до ковра.

— Ну, рассказывайте, душечка, что вы там натворили?

Тогда Маша по простоте рассказала все. Рассказ ее занял довольно много времени. Баронесса слушала очень внимательно, переспрашивала, вдавалась в подробности. Вытащив откуда-то из дивана платок, вытирала глаза:

— Ах, сколько таких несчастных! А ведь сам-то изменял, конечно, направо и налево. И ему как с гуся вода. Миленочек мой, знаете, я — друг женщин. Мой девиз — мстить, мстить мужчинам. Что такое мужчина? Кобель и кобель.

— Мстить,— проговорила Маша.— Как теперь жить — не знаю.

— Это вам-то, с вашей красотой! Да за вашей юбочкой мужчиночки табуном будут ходить, милости выпрашивать на коленях. Будь я на вашем месте — ах, ах, ах! Ну-ка, душечка моя, встаньте. Ну-ка, пройдитесь. Не робейте, не робейте.

Маша поднялась. Баронесса, едва достав ладонью до ладони, всплеснула пухлыми ручками:

— Ну просто потрясение! Какая фигура, какие формы! Европейский класс! И она не знает, как ей жить!

Баронесса сотряслась, захихикала, захрюкала, откинувшись, махая ладошками на Машу. Ходуном заходил золотой диванчик.

— Пси... пси... психологию... (Так выходило у нее сквозь смех.) Психологию только переменить нужно, да еще... покажите-ка... (Она живо приподняла Машину юбку, фыркнула ей в колени.) Да еще, конечно, бельецо. Панталончики на вас добродетельные, супружеские. Эти оковы нужно сбросить... Хмы, хмы, хи-хи...

Маша вырвала подол из ее рук, стояла красная, растерянная. Но не бежать же снова в дикую толчею города!

— Фыр, фыр, душечка,— сказала баронесса,— обижаются только индейские петухи, и то напрасно...

Она вся даже расплылась на диване, как блин добрый. И словечки ее как блины: проглотишь — не обидишься...

— Перед вами, бутончик мой, роскошная жизнь. Бурные страсти, наслаждения всех видов, рестораны, обожатели. Мизинчиком поведете, и к таким ножкам бросят сокровища. А ведь вам кажется — ушли от пошляка мужа, и дверь за вами хлоп, и вам теперь остается на машинке писать или продавщицей к Мюру-Мерилизу. Сознайтесь: так и думаете?

— Да,— тихо сказала Маша.

— Ах, цыпленочек! — Она привлекла Машу.— Крылышками, крылышками нужно взмахнуть. Жизнь — это полная чаша самого жгучего счастья.

Одним словом, баронесса развертывала роскошные перспективы. И несчастная Маша, настрадавшись, тянулась к ним, как стебель. Рассудок пытался возмутиться — и не возмущался. Что могло удержать ее кинуться к блеску, к беспечности? Пресные наставления сызранских теток, рабовладельческая воля мужа, страх перед тем, что скажут люди? Боже мой, ничто не удерживает! Боже мой, но должны же быть какие-то... Что «какие-то»? Цепи, да? Женщина без цепей — проститутка? Почему? А если не хочу назад, в унижение, в мрак?..

Маша заметалась по бонбоньерочной гостиной, хрустя пальцами. Любопытно было взглянуть со стороны, чего стоили моральные законы. Тысячи лет трудилось над ними человечество; казалось, крепче обручей не набьешь на человека — по рукам и ногам окован священными формулами. Но что же случилось? Подмигнули человеку и поманили-то пустячками, не каким-нибудь богоборческим бунтом, и человек-то маленький, не Прометей-дерзатель, а робкая женщина, почти ребенок. И,— гляди, моралист,— лопаются, валятся с беззвучным грохотом тысячелетние цепи. И — гол, наг стоит человек.

Разумеется, Маша расплакалась среди шелковых подушечек. Змий глядел на нее премудрым глазом с золоченого диванчика. Потом повел ее в чистенькую ком-

натку с большой постелью и веселенькими обоями, помог снять шляпу. Баронесса не говорила, а пела:

— Отдыхайте, душонок, главное — оставьте всякие заботы, чтобы личико было свежее.— Она сочно поцеловала Машу и укатилась из комнаты.

Маша поглядела в окно — дождь, мокрые деревья, мокрые прохожие. «Боже мой, боже мой!» — И Маша легла на кровать. За стеной на кухне стучали ножом. Баронессин голос повторял: «Сыру, сыру натри, заколеруешь и сыром, сыром ее посыпь...» Маше было приятно лежать оторванной от жизни, не шевелиться и неустанно думать, что она — вот уже и падшая женщина.

— Семен Семенович, вас спрашивают,— сказала старуха-трубокур, и сейчас же в библиотеку вошел Кузьма Сергеевич Притыкин. Он был в перчатках, держал в руке шляпу и трость. Прищуренные глаза его смотрели выше лба Семена Семеновича, поднявшегося со смятением навстречу нежданному гостю. Притыкин резко отрекомендовался, сел, держа трость и шляпу между колен.

— У вас ночевала моя жена! — сказал он повышенным голосом.

— Я не знаю... Я не понимаю... Что, собственно, вы... На каком основании... Если хотите, то...— Семен Семенович усиленно затанцевал: шаг вперед и шаг назад, в двух вытянутых пальцах дымящаяся папироса. Притыкин поднялся, Семен Семенович отступил. И так они достигли стола. Раздув ноздри, Притыкин спросил змеиным шипением:

— Вы ее любовник?

Тогда Семен Семенович уронил книгу, толстый том: «Столп и утверждение истины» священника Флоренского. Пробормотав что-то вроде извинения, кинулся ее поднимать и очутился между креслом и столом, в сущности — под столом, в том месте, где стояла корзина для бумаг. Что он мог ответить оттуда разъяренному мужу? «Нет, я не любовник»,— но это было бы ложью, так как мистически он был ее любовником со вчерашней ночи. Ответить: «Да»,— также ложь, так как Кузьма Сергее-

вич несомненно понял бы это в прямом, животном смысле. Наконец, ответить: «Да, но только мистически»,— было слишком затруднительно из-под стола. Поэтому Семен Семенович молча глядел на Притыкина. Положение Притыкина было тоже не из легких: не тащить же ему Семена Семеновича за ногу. Надувшись пятнами, он потряс тростью и шляпой:

— Ты мне ответишь!.. (Семен Семенович моргнул.) Я не позволю издеваться над собой! — вот все, что он мог произнести, и выбежал из библиотеки...

— Первое правило,— сказала баронесса, подавая Маше шелковые чулки,— это держать ноги в порядке. На рубашке дырка — полбеды. Чулки же должны быть — как кожа на лице: свеженькие. А у вас — на что это похоже! (Она рассматривала все тот же проклятый чулок, лопнувший на колене.) Увидят, подумают, что вы вся такая неряха.

Маша, облокотившись перед туалетным зеркалом, смирно слушала баронессу. Был уже вечер. В сумерках баронесса разбудила Машу, накормила обедом, увела к себе в спальню и, показывая платья и драгоценности, учила практике жизни. На все у нее был скорый ответ, будто вся житейская мудрость находилась в ее лакированной сумочке: покопается и вытащит нужное.

Маша так и смотрела на нее, как на чудо, разрешающее в двух словах все трудности. Над трудностями баронесса смеялась:

— Брак? Я не против брака, если муж глуп, муж богат и доверчив. Но если с первого же дня вы не сели верхом на муженька — прочь брачные узы! Предрассудки, мнение общества — этим вас, глупеньких, и вяжут. Тьфу! — вот я на вашу мораль. И, видите, чувствую себя неплохо. Важно только иметь сердечные отношения с полицией. А муж взял верх — тут вас брачное болото и засосало. Очутитесь вы у кухонной плиты. Очутитесь с иголкой в руках за починкой мужниных кальсон Ах, скольких я спасла от этой каторги!

Маша натянула прекрасные шелковые чулки. Обло-

котясь между двух свечей, глядела на себя в зеркало. Баронесса лязгала щипцами, причесывая наверх, пышно, ее волосы.

«Превращаюсь в кокоточку,— думала Маша,— пока еще не страшно... (Она никогда не видала себя такой чудесно красивой: грустная, бледная, с огромными глазами.) А вправду — хорошенькая женщина. И это все пропадает».

— Ну просто для коронованных особ такая головка,— прошептала баронесса и поцеловала Машу в шею. Притянутая в зеркале ее глазами, Маша похолодела.

— Уж я-то вас в обиду не дам,— шептала за ухом баронесса,— в лепешку расшибусь... Сегодня, например, должен ко мне зайти один...

— Нет! Нет, я не могу сегодня!

— А не надо пугаться. Неволить никто не станет. Посмотрите и решите.

— Кого посмотреть? Что вы задумали?

— Должен, я говорю,— голос у баронессы окреп,— зайти ко мне хороший знакомый, вполне семейный и порядочный человек. Но — что поделаешь? — впечатлительный на женскую красоту. Запомните: у меня аристократический дом, и бывают у меня только почтенные и спокойные люди. По дружбе доставляю им маленькие радости. Хи-хи, ху-ху! Тут пугаться нечего!

Баронесса опять пустилась в рассуждения. Но позвонили на парадном, и она, торопливо взбив челочку и просияв всеми бородавками, убежала на коротких ножках.

Маша, вытянувшись, слушала звуки открываемой двери, в отдалении голоса... «Бежать,— подумала,— сейчас бежать!..» Но не могла пошевелиться, словно под тяжестью не своей воли.

— Не бойтесь, котеночек, ведь мы же все здесь светские люди...— Баронессина пухлая ручка отогнула розовый занавес. Маша вошла в гостиную. На диванчике (перед столиком с ликером и фруктами) сидел тот, чьего лица она не увидела. Свет лампы падал на конец

его штанины, на шелковый натянутый носок и лакированную туфлю. Баронесса плотно держала Машу за талию. При ее появлении нога в носке и туфле исчезла, и перед Машей не спеша поднялся высокий грузный человек. Баронесса представила его: «Мой друг Базиль». Он взял горячей большой рукой Машину руку и сочно поцеловал, защекотав усами.

— Очень приятно познакомиться,— проговорил он бойким теноровым голосом с московским, почти что лихаческим говорком.

Маша подошла к вазе, оторвала длинную виноградинку, села на диван и, как всегда, кротко сложила руки на коленях. И оттого, что сделала это, как всегда, подумала поспешно: «Нельзя, нет, ужасно...— Протянула правую руку вдоль дивана и опять подумала: — Нет, так тоже нельзя». Лицо ее начало заливаться краской.

— Неприятная погода, сыро,— вы не находите? — сказал Базиль.

Баронесса хихикнула и исчезла за занавесом. Базиль налил две рюмочки ликеру:

— Говорят, бенедиктин хорошо пить в такую погоду,— вы не находите?

Как во сне Маша взяла рюмочку, отхлебнула сладкого огня. Только теперь заметила, что виноградину она все еще держала в руке. Положила ее в рот.

— На скачках часто бываете? — спросил Базиль.

Маша — коротко:

— Нет.

— Приятное развлечение,— вы не находите? Хотя я в последнее время склоняюсь к автомобилю. У нас в торговом деле без автомобиля никак нельзя. На прошлой неделе кобылу купил, Чародейку,— слыхали, я так полагаю. Так я на ней заехал... Желаете взглянуть? Она у подъезда.

Бух, бух Машино сердце. Не ответила, только опустила голову. Базиль подливал бенедиктинчик.

— А то бы прокатились. Не откажите. По такой погоде хорошо бутылку шампанского раздавить. Вы не находите?

Затрещав диванчиком, он повернулся к Маше. Она почувствовала запах сигар, дорогого вина, дорогих духов. Увидела пикейный жилет, из его карманчика углом торчала сторублевка.

— Кроме шуток, чем здесь скучать... Экипаж у меня с верхом, если вы сомневаетесь.

Он взял Машину руку. Тогда она опустила, наконец, высоко поднятые плечи. От его прикосновения ползла к сердцу гадливость.

— Поедемте,— вдруг сказала Маша, вставая.

Базиль сгреб Машу за талию, тесно прижал. Чародейка летела, как ветер, искры сыпались из-под подков. Необъятный зад кучера с самосветящимися часами на кушаке застилал видный из-под верха коляски кусочек мокрого ночного неба. В самое Машино ухо, щекоча бенедиктиновой бородой, Базиль говорил тенорком бесстыдные вещи. Теперь уже от всего его огромного тела ползла гадливость, заливала Машу доверху. «Так нужно, так нужно»,— упрямо повторяла она, как будто страшась, что если не выдержит этого испытания, то ни на что уже больше не годна и захлопнется перед ее носом дверь в обещанные роскошные перспективы. Отворачиваясь, жмурилась изо всей силы, глотала комочек тоски.

Видя, что женщина как-то странно топорщится, Базиль пустился распалять ее воображение, описывая в ярких красках свой темперамент и многочисленные любовные случаи. В увлечении он даже подвыл стишок Бальмонта: «Спущены тяжелые драпри, из угла нам светят канделябры...» и так далее. Говоря, что он задушит Машу «извивами сладострастия» в своей холостой квартире, которая будто бы утопает в туберозах, Базиль навалился, зарылся, как в едово, в Машин рот. Столб белого света от автомобильного фонаря ударил под верх коляски. Только сейчас Маша увидела, наконец, его лицо: пучеглазый, румяный, с козлиной бородой и кучерскими волосами, с пухлым, как присосок, ртом.

— Ужасный какой! — выбиваясь, отчаянно крик-

нула она, ужом выскользнула из облапивших рук, соскочила, упала. Автомобильные гудки заглушили ее крик. Произошло замешательство, столкнулись пролетки, поднялась на дыбы лошадь, побежали люди. Но Маша поднялась и исчезла между экипажами. Это было на Страстной площади.

По грязце, под призрачным светом высоких фонарей, на Тверской прогуливались искатели недорогих приключений, заглядывая под шляпы бледным от ночной сырости девушкам. Выбор был хоть куда. От Садовой-Триумфальной до Газетного переулка шла эта «плотва». Сбивали цены. Торговались на перекрестках. Только и слышно было: «Брюнет, вам не скучно?» — «Дорого, иди к черту».

Маша кралась вдоль стены. Такой она никогда не видала улицы. На каждом лице гримаса ужаса. Машу несколько раз подхватывали, хватали сзади, цапали пальцами, душили пивным облаком. Она вырывалась, и снова впереди поток мокрых фуражек с кокардами, закрученные усы, егозливые бородки и шляпки, шляпки — с перьями, с бантами, с тряпичными розами. Розы на вырезе груди, розы на животе. Грязные капли с крыши. Все опоганено. Хрипят пригнувшиеся с козел лихачи. Визг скрипок из раскрытого окна ресторана.

Только чтобы посидеть немного, не упасть здесь же на тротуаре, Маша зашла к Филиппову. Здесь она часто бывала днем, в свежих перчатках — строгая дама — покупала булочки. Сейчас булочная закрыта. За столиками кафе шумела та же ночная улица.

Маша, сидевшая перед стаканом чаю, должно быть, казалась очень смешной соседям по столикам. Указывая на ее мокрые перья, на грязную юбку, покатывались какие-то толстоморденькие девицы, хихикал с ними чиновник с смертно бледным лицом и усами в стрелку. Маша знала, что смешна и несчастна, но еще сильнее была усталость, и она сидела не шевелясь, покуда не закрыли кафе. Лакей потянул из-под нее стул. «На улицу, на улицу, барышня, закрываемся».

Когда она встала и ушла, неподалеку от нее поднялся костлявый человек в клетчатом пальто и пошел следом. Она заметила его краем глаза и забыла. Эта ночь была как сон, ничто не могло больше испугать ее, удивить. Она давно уже проглотила давешний комочек слез. Тоска бабья, панельная, гудела во всем теле. Маша побрела с Тверской по Леонтьевскому на Арбат, свернула в переулочки. Там спохватилась, что идет домой, и повернула назад, на трамвайные рельсы. Став, глядела в сторону дома, в дождливую тьму ночи. Все лицо ее сморщилось, показались острые зубки, она подняла кулачишко, погрозила.

Следом за ней, не отставая, шел незнакомец в клетчатом пальто. Когда она останавливалась, он отходил к стене дома,— руки за спиной, кепка надвинута на глаза. На Плющихе он подошел и сказал спокойно:

— Ну, а теперь куда?

Маша взглянула, махнула рукой, пошла дальше. Он не отставал,— за ней. Потом опять заговорил:

— Никак не могу понять, кто вы такая?

— Убирайтесь,— проворчала Маша.

— Целый час у Филиппова глядел на ваше лицо,— вы плакали и не замечали слез. Брошенная? Нет. Проститутка? Пожалуй, что нет, не совсем. Одно время думал, вы к реке пойдете. Нет. Странно! Ну, а здесь, на Плющихе, какого вам черта нужно? Вы ведь без цели идете.

— Откуда вы знаете? Что вам нужно? Оставьте меня в покое,— проговорила она, закинув голову, глубоко вдохнула сырую мглу ночи.— Больше не могу. Устала.

Она пошатнулась. Незнакомец поддержал ее. Мимо плелся извозчик, из ночных,— старичок на древней лошади. Он долго не мог понять адреса; жалуясь на овес, на сено, на пожар в деревне, торговался. Незнакомец посадил Машу в рваную пролетку. Поехали по булыжной пустынной улице. Маша отклонилась в угол пролетки. Кивала ее нелепая шляпа, кивали мокрые перья. Незнакомец задрал ногу на ногу, невесело посвистывал что-то нерусское. Должно быть, тертый был калач.

— Зайдемте...

— Не хочу.

— Бросьте. Вы — бездомная, я — одинокий, как черт. Пожелаете — обижу, не пожелаете — не обижу. Чаю выпьем. Поспите.

Маша молча слезла с извозчика. Вошли в пустую прихожую (здесь незнакомец снял калоши), оттуда в низкую затхлую комнату, освещенную через окно уличным фонарем. Этот мертвенный свет был до того неприятен, что незнакомец сейчас же опустил шторы. Зажег керосиновую лампу. Маша увидела железную неряшливую кровать, у другой стены просиженную оттоманку, стол с холодным самоваром и остатками еды, и в углу — горку разноцветных жестянок.

— С голоду здесь не умрем,— скосоротился незнакомец, указывая на жестянки,— борщ с мясом, битки в томате и беф-брезе... Лучшего качества, вполне заменяют... и так далее... для экономных хозяек. Сволочь, конечно, страшная... Я уж целый год не ем мяса: с тех пор как занялся распространением этой тухлятины.

Он бросил клетчатое пальто на кровать, видимо несколько сконфуженный неряшеством в комнате. Предложил Маше диван. Она сняла шляпу, села, подобрав ноги. Закрыла глаза. Будто издалека, из-под воды, слышала, как агент по распространению мясных консервов разжигал примус, посвистывал. Должно быть, Маша заснула, но очень ненадолго,— вздрогнула, как подброшенная током. Агент сидел у стола, мешал ложечкой в стакане,— тоскливо, одиноко звенела ложечка. Лампа освещала четырехугольный его подбородок, плотно сжатый рот, рыжие брови.

— Скучно,— сказал он и, подняв глаза (умные, старые, одинокие), стал глядеть на Машу.— Скучно. Непривлекательный человек, неудачник, денег мало. Вот и скучно. Иногда думаю: для каких-нибудь больших дел, может быть, я и пригодился бы. Нет, не для торговых. Для больших авантюр с убийствами, погонями, маскарадами. Кровь, золото, игра. Спросите эту кровать, что на ней было продумано. Будь я писателем — наверно бы прославился. А на практике продаю гнилое мясо. Почему? Голову можно разбить о подокон-

ник: почему я ни к черту не гожусь? Читал историю французской революции. Ну, конечно, я — Робеспьер, я — Дантон, Марат... Там бы я развернулся. Несомненно во мне гниет великий бунтовщик. Бунт против всего. Бунт — стихия. Бунт — праздник. Несомненно вы предполагаете, что я — просто истаскавшийся парень, мелкое жулье, хвастун. Разуверить можно действием. Не словами. Вот, например, если бы я в таком эдаком половом исступлении полоснул вас кухонным ножом по горлу?.. А? Ведь всякие людишки бывают. Или отправить ваш труп в корзине в Харьков, до востребования?.. Кхэ!

Маша, не двигаясь, глядела на него с дивана. Агент говорил вполголоса, весь подался вперед, в общем был спокоен, только ноздри его, широкие и дряблые, вздрагивали — из-за чертова ли самолюбия, или действительно в ноздри ему потянуло запахом преступления.

Он говорил — тихо, не торопясь — вещи похуже, чем Базиль в пролетке, и сейчас же вывертывался, хотя его и никто не прижимал, никто не интересовался — великий он человек или вошь. Вознесясь, унижался; рассказывал, как однажды в одиночестве, на этой постели, больной, он целые сутки просил пить: «Питики, питики,— просил я слабым голосом...» Или — как ночью, сидя в подштанниках, кушал яичко, лупя его на ладони.

Когда он дошел до этого лупленного яичка, Машу вдруг охватила такая злоба, что застучали зубы.

— Вы пошляк,— сказала она,— негодяй, нашли над кем измываться... Трус!

Агент поднял большие руки к плешивой голове, с трудом оторвался от стула и заходил по комнате, забросанной окурками. «Этот не зарежет»,— подумала Маша.

— Боже, как я одинок, боже, как я ужасно одинок,— проговорил он раздирающе тихим и вместе театральным голосом. После этого он и Маша замолчали. Он ходил, она прилегла щекой на сложенные ладони. Штора серела, голубела. И вот на ней появилась тень переплета рамы. Встало солнце. Под окном прошли го-

лоса. Начинался скучный день. Маша поднялась, одернула платье и пошла к двери.

— Куда? Останьтесь! — у него задрожало лицо.— Куда вам к черту одной на улицу... Неужели не найдется у вас хоть капля ласки?

Маша толкнула его от двери и ушла. Слышала, как он завыл, потом загремело, покатилось что-то по комнате,— должно быть, жестянки с консервами.

Подъезд дома был уже открыт. Швейцар, подметавший веничком парадное, молча внимательно поглядел на Машу. Она побежала по лестнице. Провела пальцем по начищенной доске: «Присяжный поверенный Притыкин». Позвонила без колебания. В квартире было тихо. У Маши страшно стучало сердце. Но вот слышно: скрипнула дверь (кабинетная, значит — он, он не спит, не ложился). Загремела цепочка. О, как там чисто, уютно! Повернулся ключ. Дверь открыл Притыкин. Глаза его прыгнули. Маша сейчас же вошла. Здесь, в прихожей, они взглянули друг на друга в глаза — Маша и Притыкин. Измерили друг друга в глубину. И тут должно было решиться все. Не муж и жена — два человека кинулись друг к другу, увлекаемые страданием. И казалось, уже глаза Притыкина дрогнули, и глаза Маши застлала пелена слез, которые должны же были пролиться когда-нибудь в облегчающем изобилии. Но черт его знает, отчего: от дурного ли характера, от слишком перестрадавшего самолюбия, от последней истерики,— но только он отступил, рот его перекосился:

— Таскалась... Тварь!

— Да, тварь! — звеняще сказала Маша и сейчас же прошла в кабинет. Там,— она так и думала, так и знала,— налево от чернильницы лежал револьвер. Она схватила его и поднесла к груди. Сейчас же сзади наскочил Притыкин, схватил ее за руку. Маша повернулась. Началась борьба. Толкаясь коленями, они старались вырвать друг у друга револьвер. Она зажмурилась. Обогнув круглый стол с журналами, они снова оказались в прихожей, на том же месте, так же схватив друг

друга, как это было позавчера, в одиннадцать часов вечера... Могло представиться, что этих полутора суток совсем и не было, будто все, что случилось за это время,— лишь пронеслось в одну какую-то секунду в воображении.

Притыкин ухватил, наконец, ее левую руку и, сжав, закрутил. Маша застонала. Он уперся коленом ей в живот и дернул револьвер. Тогда огнем обожгло им пальцы, выстрел был слаб. Притыкин громко икнул, отпустил руки и стал валиться на Машу. Она схватила его за плечи, не удержала. Он всею тяжестью мертвого тела упал ей в ноги на малиновый бобрик. Для второго выстрела — в себя — у Маши не хватило сил.

ЧЕТЫРЕ ВЕКА

Большая площадь старого города над Днепром заросла травой. Здесь было тихо и чинно. Над собором екатерининских времен вились ласточки. Проезжала, шурша по гравию шинами, коляска со старой барыней среди подушек, с бородатым кучером и бритым лакеем на козлах. Степенно стоял рослый городовой, и ветер с Днепра, пролетев над садами и парками, шевелил его роскошные подусники. Здесь все — даже почтительный прохожий — было похоже на старинные гравюры.

Сейчас же на склоне начинался новый город. Он тянулся вдоль нескончаемого бульвара длинной кишкой, упиравшейся в пыльный вокзал. В новом городе было все самое новейшее, что можно было придумать. Дома — стеклянные, бетонные, с вывесками в три этажа. Пестрыми и живыми красками на этих вывесках были изображены — восточные сладости, дамы в мехах и кавалеры в хорьковых шубах, граммофоны, золотые штиблеты, паровые машины и сельскохозяйственные орудия, целые локомотивы, ремингтоны, все, что нужно для фотографа, и так далее,— словом, вся улица с головы до ног была покрыта живописью.

Пылили автомобили, гремели ломовики, чистильщики на углах стучали щетками, вращали глазами; кричали, толкались, спорили, торговались на тротуарах греки, армяне, евреи, турки, французы, кацапы, хохлы. С утра

и до сумерек новый город кипел, как котел с адским варевом...

Наверху, в старом зеленом городе, был покой. Ударял гулко и торжественно колокол к вечерне. К собору не спеша проходили строгие чиновники, отставные генералы, умильные старушки. Подъезжала коляска. Городовой козырял.

Покойно было в одном из белых домов на площади, там, где вот уже больше полувека живет семья Лесновых. Широкий подъезд на улицу закрыт наглухо; окна занавешены шторами. Со стороны площади дом кажется запустевшим. Если войти в ворота, удачно миновать цепную собаку и завернуть в небольшой парк — глазам откроется задний фасад с портиком, облезлыми коричневыми колоннами, давно не крашенный и живописный.

Окна в нижнем этаже и в мезонине открыты, занавеси подняты, колонны и веранда обвиты плющом, от замшонных широких ступеней уходят дорожки в глубину парка. Удоды, иволги, скворцы, дикие голуби поют и пересвистываются в листве до заката, когда начинают кричать древесные лягушки. Да еще слышны — соборный колокол, и дальние свистки пароходов, и женский смех иногда то из парка, то из глубины мезонина. От этих-то звуков и заперты окна второго этажа.

Во втором этаже живет бабушка, Авдотья Максимовна, старая барыня. Ее прежде очень боялись губернаторы (теперешние боялись совсем не ее и совсем не этого). Вице-губернаторы первым делом по назначении привозили ей жен своих на поклон; старый, матерый полицеймейстер так прямо и говорил: «Страх человеку в пользу, и на сей предмет живет у нас барыня Леснова; черт ее знает — поглядишь на нее в соборе, в двунадесятый, и сразу почувствуешь все свои обязанности».

Замуж вышла Авдотья Максимовна очень юной, родила мужу дочь — Варвару Петровну, и вскоре осталась вдовой: муж ее, Петр Леснов, твердо веря, что крепость России в православии и дворянстве, не захотел, подобно многим, напускать на себя французского духу, вместо освобождения выпорол крестьян обоего пола, за что и был ими сожжен вместе с усадебным домом, успев накануне гибели послать нарочным Авдотье Максимовне в

город письмо, где излагал свои принципы и взгляды. Это письмо и было единственным, что осталось от мужа и от прежней жизни.

Авдотья Максимовна выучила письмо наизусть, как символ веры, раз навсегда отказала всяким искателям руки, преломила молитвами, постами, хождениями к печерским угодникам страсти и стала в губернии самой решительной барыней, с которой очень считались.

Дочь свою, Варвару Петровну, воспитывала она наперекор новым веяниям, по старине, сугубо и строго; заставляла мыться ледяной водой, часами стоять на коленях перед божницей, запретила смеяться, потому что умному и верующему человеку не может быть смешно, приказала вытвердить письмо отца и запомнить, что отступление хотя от одной буквы есть смертный грех.

В ужасе выросла Варвара Петровна и в смиренном сознании постоянной своей вины. Затем ей нашли жениха, из небогатых дворян, но с хорошей фамилией — Антона Лягунова, внушили ему страх и выдали за него Варвару Петровну в 1877 году.

Но зять неожиданно, несмотря на тихий нрав и запрет, нанюхался новых идей, скромность свою разъяснил и в одно мокрое утро — в сентябре — оказался нигилистом.

Это был удар. Спохватилась Авдотья Максимовна, хотела было применить домашнюю власть, но было поздно: зять, времени не теряя, обрядился в красную рубашку, в смазные сапоги, распустил космы, ходил, грубил, говорил ужасные слова, огрызался и под конец начал подкидывать повсюду, даже на кухне, подпольный журнал.

Кинулась Авдотья Максимовна к губернатору и сказала тихо: «Бери его сам, у меня уж руки опустились».

Зятя взяли и увезли. Но он стал писать письма из таких мест, про которые и помянуть-то было страшно...

Все это потрясло Авдотью Максимовну. О дочери, Варваре Петровне, не подумала она во время суматохи. И напрасно не подумала. У Варвары Петровны оказались неожиданно свои понятия. Однажды в отсутствие матери она захватила малолетнюю дочку Наташу, порт-

рет нигилиста, чемоданчик, в который и плюнуть-то было некуда, и уехала.

Разумеется, в тот же день ее перехватили и представили матери. Думала Авдотья Максимовна — откуда у дочери взялась прыть? Позвала Варвару в образную, и произошел разговор:

— Объясни, сделай милость: были в нашем роду полоумные? В кого ты уродилась? — спросила она у дочери.

— Не знаю, в кого уродилась,— ответила дочь, стоя смиренно, даже покорно, но вот руки заложила за спину — совсем как нигилист. Авдотья Максимовна даже привстала от недоумения.

— Как, ты еще смеешь мне отвечать! — воскликнула она.— Я с тобой не для ответов разговариваю. Я спрашиваю, как ты посмела опозорить меня на всю Россию! Что же теперь — в газетах меня пропечатают? Ты этого добиваешься? Да слыханные ли это настали времена! Что мне с тобой делать? — советуй.

— Сами знаете, сказано в евангелии,— жена да прилепится к мужу,— проговорила Варвара Петровна.

— К мужу, сказано, а не к нигилисту.

— Господь разбойника простил,— после молчания сказала дочь.

— Да ведь то был разбойник, а не твой муж. Разговор окончен. Бывает, милая моя, посолишь капусту, она и прокваситея. Так и ты. К волосатому не пускаю, а ты поступай, как хочешь. Внучку же мою беру на воспитание. Аминь.

Тем и окончился единственный разговор матери с дочерью. Варвара Петровна, должно быть, многое передумала в бессонные ночи. Она знала, что нужно выбирать между мужем и Наташей. Нигилист продолжал писать письма. Однажды Авдотья Максимовна нашла у себя на пяльцах евангелие и в нем листочек: «Мама, возвращаю вам эту книгу, я в нее не верю и ничего больше в ней не понимаю. Моя обязанность делать то, что делает мой муж. Любите Наташу, не будьте с ней чрезмерно строгой, это вредно отзовется потом. Лучшее воспитание для детей — это Дарвин в изложении Капелянского».

Авдотья Максимовна проколола письмо иголкой, но

все же вложила обратно в евангелие и заперла в рабочем столе. Домоправителю было сказано, что Варвара Петровна уехала за границу. Ее имя не упоминалось больше в лесновском дому.

Авдотья Максимовна старилась; в городе начинали смотреть на нее, как на древность, которую по привычке и для порядочного тона нужно бояться. Приезжих направляли к ней с визитом, потом заставляли рассказывать, как она наводила на них страх, отчитывала за вольнодумство и отпускала, говоря: «Ну, ступайте, батюшка, можете себя не утруждать, явитесь еще на первый день на святой, да мимо будете проходить — не кричите громко».

Сама же она выезжала теперь только на торжественные приемы в собрание и в губернаторский дворец.

Но вот, в девяносто шестом году появилась она на дворянском балу с хорошенькой девушкой — внучкой Наташей. Корнет, племянник губернатора, тотчас пригласил Наташу на вальс. За корнетом следовали — Балясный, чиновник особых поручений, офицеры, молодые дворяне и юнкера. Авдотья Максимовна милостиво каждого расспрашивала о родителях. Затем, вернувшись домой, прошла с Наташей в образную, села на то место, на то кресло, где двенадцать лет тому назад разговаривала с погибшей дочерью, поставила внучку между колен и спросила — кто же ей из молодых людей полюбился больше всего.

— Ах, бабушка, мне очень понравился Балясный,— ответила Наташа.

Сильно подивилась Авдотья Максимовна ответу и долго еще после ухода внучки качала головой. В ее время на подобный вопрос девицы ревели. Варвара Петровна ответила в свое время: «Воля ваша, маменька». А третье поколение вырастало бог знает какое — не было в нем ни степенности, ни истинной веры, даже не упрямое оно было, не своевольное, без гордости, без сильных страстей. Не за что было Наташу ругать, ни хвалить очень; была она податлива, как воск, мечтательна в меру и ленива. И не то что бабушка баловала ее, а просто в голову не приходило в чем-либо отказать, так мило умела выпросить внучка все, что хотела. Только

в одном осталась Авдотья Максимовна строга — на вопрос Наташи о матери отвечала: «Тебе рано знать об этом несчастье, твоя мать дурная женщина». Когда же Наташа спросила однажды про отца, бабушка подняла сухие кулачки и надрывающимся голосом воскликнула: «Каторжник, разбойник, антихристово отродье! Плюнь, плюнь сейчас же! Как ты имя такое сказала, выплюни, иначе знать тебя не хочу».

Но от этого только любопытнее становилось Наташе, и в день свадьбы своей с Балясным она вошла в образную, поцеловала руку у бабушки и сказала: «Покажите мамин портрет или чего осталось». Дико взглянула Авдотья Максимовна на внучку и достала евангелие с дочерним письмом. Наташа сказала «мерси» и вылетела из образной.

Венчали молодых в соборе. День был весенний, множество колясок, ландо и карет подъезжало к собору...

«Народу сколько нонче развелось»,— думала Авдотья Максимовна, сидя у окна в парадной зале.

Грустно ей было. Припомнилось старое, иная свадьба, и в отдалении прошлого — своя. Думала, что этим днем окончится ее век. Два поколения взрастила она, шестьдесят лет отжила трудной жизни. Чаяла, что смилуется бог и приберет наконец. К тому же и времена подходили странные и народ стал чужой.

Венчанье окончилось. Авдотья Максимовна опять выглянула в окно и увидела странное шествие; ноги ее подкосились, похолодела спина, и дрожащими перстами осенила она себя крестным знамением: Наташа выходила из собора, держа под руку мужа, другой рукой обнимая худенькую пожилую женщину со стрижеными седыми волосами и в очках.

Произошло это нечаянно: в соборе, после венчания, позади нарядных гостей раздался негромкий и отчаянный голос: «Наташа!» Толпа расступилась и пропустила Варвару Петровну, подбежавшую торопливо и неловко. Обхватила она дочь за шею, положила голову ей на грудь и застыла молча... Наташа растерялась, потом на весь собор закричала: «Мама, мама!» У жениха упал шапокляк. Многие дамы заплакали. Вышло трогательно и нестерпимо любопытно.

Трогательное и нестерпимо любопытное должно было, конечно, быть доведено до конца. Варвару Петровну заставили войти в дом. В дверях залы она втянула голову в плечи; Наташа поддержала ее. Варвара Петровна походила не то на акушерку, не то на учительницу. Серой прямой кофтой она выделялась темным пятном среди нарядных гостей...

Авдотья Максимовна, вытянувшись, стояла у образов; она видела только это кроткое, старое теперь, все так же непонятное и враждебное лицо дочери, и прежняя суровость ожесточила сухие ее глаза. Но молодые, гости и *она* подвигались, в ответных взорах видела Авдотья Максимовна любопытство, почти скандал; она благословила молодых, затем подошла к Варваре Петровне, дала руку для поцелуя, сама прикоснулась губами к виску и проговорила: «Что же ты у меня не остановилась, в дому весь низ пустой». И, слушая невнятный ответ дочери, опять поглядела ей в лицо: оно было все в морщинах. «Каторжница»,— подумала она и сказала: «Дело твое, как хочешь».

Наташа до вечера не отходила от матери, а поговорить так и не успела, слишком много было гостей, слишком была счастлива.

В тот же вечер молодые уехали за границу,— это была новая мода. Авдотья Максимовна обошла пустые теперь комнаты, спустилась вниз, где пахло нежилой плесенью, и в угловой комнатке нашла дочь, сидящую на кровати, покрытой стареньким пледом.

— Ну, что же теперь делать будешь? У меня останешься? — спросила Авдотья Максимовна.

— Муж мой умер в этом году. Я учительствую, у меня отпуск до осени,— ответила Варвара Петровна.— Наташа мне написала, что выходит замуж, хочет меня видеть, вот я и приехала.

— Ну, что же, приехала — не гоню.

— Мама, спасибо вам за Наташу,— молвила Варвара Петровна, и едва заметный, не успевший притаиться огонек осветил глаза ее,— вы стали добрее.

Авдотья Максимовна поджала губы, долго молчала, потом проговорила глухо: «Не знаю, чем я стала добрей!» — и, постояв, ушла.

Варвара Петровна осталась жить до осени; вставала рано, что-то читала, курила даже,— но у себя внизу, с матерью виделась за обедом, часто писала Наташе и получала от нее коротенькие прелестные открытки. В конце лета Наташа сообщила, что забеременела.

Авдотья Максимовна, получив это известие, долго улыбалась. «Ну, вот и четвертое поколение нарождается, умирать, значит, опять некогда»,— сказала она Варваре Петровне в день ее отъезда. И принялась в третий раз перебирать в сундуках детское белье, шить новое; выписала дорогую кроватку и полог к ней приказала сделать из настоящих кружев. Была заново отделана детская и половина дома для молодых.

Во время этих забот Авдотье Максимовне пришлось принимать много торговых людей и самой выезжать из дома. После долгих десятилетий она вновь увидела жизнь. Новая жизнь удивила ее и ужаснула,— она совсем не походила на прежнюю: не осталось ни тишины, ни почтения, ни ленивой кротости; народ стал бойким и проворным, точно это была и не русская земля. От старого города вниз, через топкую луговину, побежала новая улица, еще грязная и не отстроенная, но уже с высокими, яркими фонарями, словно нарочно хотели посильнее осветить все эти вывески и суету. И уже мало кто знал старую барыню Леснову, только старинный швейцар у губернаторского подъезда привставал с лавочки и кланялся ей низко. И отвечала ему Авдотья Максимовна: «Здравствуй, здравствуй, Николай Павлович».

Новая жизнь лезла из черноземных полей, из каменноугольных копей, чумазая и вольная. Появились в городе жулики, и толпами, с гармониками, стали расхаживать в праздник мещанские парни и пришлый рабочий люд. Подходили жуткие времена.

Наташа приехала из-за границы очень грустная. Муж задержался в Петербурге, вернулся только к рождеству, с повышением. Чиновник он был отменный и прямо метил в вице-губернаторы. Дома завел игру в винт. Был скуповат, скрытен, осторожен, и чем увереннее чувствовал себя Балясный, тем печальнее становилась Наташа.

В семейной жизни у них было неладно, хотя внешне все казалось благополучным.

Не одобряла Авдотья Максимовна такой жизни, мелкой и слишком расчетливой, не было в ней прежнего размаха, ни сильных страстей, один винт.

Варвара Петровна продолжала писать дочери длинные письма с севера. Авдотья Максимовна не противилась,— знала, что внучку никакими письмами не смутить; не противилась она и жизни Балясных и всему новому, что назревало и надвигалось; не было прежней силы. С нетерпением ждала она только рождения правнука.

В марте Наташа родила дочку. Окрестили ее Гаяна, что значит — земная, имя не то адское, не то собачье. Авдотья Максимовна потребовала кормилку к маленькой Гаяне, заперлась в тихой детской, забыла прошлое и окончательно предоставила людям жить, как хотят.

После родов Наташа повеселела и стала много выезжать. Она больше не ревновала мужа, знала наизусть все его увлечения, сама завела поклонников и к осени укатила за границу. Балясный счел это естественным. Авдотья Максимовна ужаснулась было, но скоро все перепутала, забыла, махнула рукой. Гаяна вырастала такая красавица, такая умная, что еще не было таких детей.

Тяжелее всех приходилось Варваре Петровне: Наташа не приехала к ней ни после родов, ни перед заграницей, продолжала писать милые открытки, называть мамочкой, но ни разу не обмолвилась — во что верит, какую хочет избрать деятельность, что считает высшим человеческим долгом...

Наташа со всей силой торопилась жить. Время тогда было точно перед грозой. На третью зиму она разошлась с мужем: Балясного назначили непременным членом в Киев, и они расстались легко, без ссоры. Авдотья Максимовна сказала по этому случаю: «Как, уже? Ну, милая, скоро живете». Наташа стала ей почти чужой; она не удалась так же, как и дочь.

Неожиданно в февральскую вьюжную ночь появилась Варвара Петровна; она примчалась с севера — поддержать дочь в тяжком горе. А у Наташи в это время

намечались два увлеченья — красавец жандармский ротмистр и уездный предводитель, она никак не могла разорваться; матери обрадовалась, рассказала, что жить ей так теперь весело, как никогда, и наотрез отказалась поехать к Варваре Петровне на север утешаться.

Варвара Петровна смолчала. Пожила с недельку и вернулась на север — учить ребят. Прошло несколько лет, и вдруг она прислала Наташе странное письмо: в нем был и суровый упрек, и настойчивый призыв опомниться, оставить буржуазную жизнь, и требование *пожертвовать* собой.

Наташа расплакалась над письмом и отнесла его бабушке. Авдотья Максимовна, совсем старая, забывшая все, кроме детской, внезапно расшумелась, призвала дворецкого и наказала нанять сторожей, никого в дом не пускать и на ночь спускать собак.

Началась японская война. По городу расклеили обязательные постановления, красные листы для набора запасных, появилось множество газетчиков, с шести часов они начинали кричать по улицам, продавая экстренные выпуски, говорили, что даже за поездами бегают деревенские ребятишки, выпрашивая газеты. На соборной площади разводили солдат. Уездный предводитель надел военную форму. Уехал. Однажды к Авдотье Максимовне явился жандармский ротмистр и долго беседовал с ней о Варваре Петровне. Потом от него же Наташа узнала, что мать ее была казнена. Затем среди белого дня в новом городе убили жандармского ротмистра. За Днепром собралась толпа, пошла на город, разбила целый квартал. На другой день сгорел театр, где много знакомых погибло от огня. В городе стреляли. Ходили с флагами. На перекрестках вместо городовых появились гимназисты. Но ненадолго,— они были смыты лавиной казаков, неожиданно влетевших в город.

Наташа заболела нервной горячкой и надолго слегла в постель. Авдотья же Максимовна приняла все это поиному: в ней просыпалась старая крепость и гнев. Она собирала домашних и заклинала их, топала ногами; писала начальствующим лицам, велела привести к себе редактора официальной газетки, отчитала за трусость и

передала пятисотрублевый билет и письмо к народу для распространения. Наконец явилась лично к новому губернатору и так на него кричала, что тот едва не упал в обморок и больше старух к себе пускать не велел. В дому же водворила порядок старых времен.

Три года бушевал ураган по Русской земле; казалось, все было смято им и разрушено. Но не сбылись чаянья, закатились надежды, и среди обломков по голым пространствам бродил оголтелый обыватель.

Казалось, конца-краю не будет этому бездолью и оголтению. Но после покоса сильнее растет трава, и обыватель сам не заметил, как начал обшиваться и оправляться, оглядывать — нельзя ли чего приладить из старого. А на смену уже росло новое поколение.

Город, заглохший на несколько лет, с новой силой начал обстраиваться стеклом и бетоном, и то, что раньше казалось новым, сомнительным и опасным, на что была нужна особая, даже дерзкая смелость, становилось обычным явлением, необходимым для всех. Возникали фантастические компании, торговые дома, скупались земли и рудники, убивались миллионы на изыскание угольных залежей, в одно лето воздвигались необыкновенные постройки, наконец появились отчаянные люди и полетели по воздуху. Все стало возможным.

Растаяли, как туман, старые обычаи и предрассудки, стариковская мораль начала заменяться иной, более гибкой. Жизнь фантастическим чертополохом перла из земли. Казалось, только самые цепкие и сильные выжили во время бурь; остальные остались надломленными навсегда.

Наташа продолжала болеть, выезжала мало (из знакомых не осталось почти никого), читала декадентских поэтов, ужасно боялась смерти и потихоньку нюхала эфир. В воспитание Гаяны она почти не вмешивалась.

Авдотье Максимовне давно уже перевалил восьмой десяток. Волосы ее почти вылезли, стан согнулся, и вся она закостенела. Последняя вспышка воли, десять лет назад, опустошила ее; она жила как механическая — по размеренным часам, по правилам, в которых не было больше жизни и смысла; окна второго этажа, занятого ею, были заперты; пенье птиц, далекий гул города,

веселые голоса Гаяны, ее подруг и приятелей раздражали, мешали дремать. Наташа помещалась в первом этаже, Гаяна занимала мезонин. Она училась в гимназии в шестом классе и на свете признавала только одно — свои желанья.

Однажды весною Гаяна вошла к Авдотье Максимовне, села на окошко, поглядела на клейкую, прозрачную, светлую березу, повертелась и сказала:

— Послушайте, пра (так сокращенно она звала прабабушку), сейчас еду кататься на лодке, а сюда придет один господин, мамы дома нет, так вот ему передайте... Да вы слышите меня, пра?

Авдотья Максимовна поморгала веками и проговорила с трудом:

— На какой лодке? Какой господин? Ты с ума сошла...

— Так вот, придет господин, и вы ему передайте письмо.— Гаяна вынула из-за черного фартука крошечный конверт, на котором было написано золотыми чернилами: «Виктору Вульф»...— Это касается одного очень важного дела, прошу не перепутать,— она поджала маленький рот, строго посмотрела на пра и вышла.

Авдотья Максимовна осталась мигать веками, разглядывая крошечный конверт. «Как приказывает,—думала она,— своевольная девчонка, вот велю вернуть, запру в чулан...» Но взглянула на часы, спохватилась, что уже время, и опустилась перед киотом читать молитвы на полуденный сон.

Перед вечером доложили, что пришел молодой человек и спрашивает молодую барышню; Авдотья Максимовна приказала просить; вошел гимназист, Виктор Вульф, с пробором, с хлыстом в руке и при шпорах; он отрекомендовался, сел и уперся затянутой в перчатку рукой о бедро.

— Вот тут письмо...— начала было Авдотья Максимовна...

— Знаю,— перебил гимназист,— позволяете? — Он живо выдернул у нее из пальцев письмецо, прочел, звякнул ошпоренной ногой и воскликнул: — Чисто женская логика. Не угодно ли разобрать, чего она хочет! Послушайте, я на вас полагаюсь; объясните ей,

что я никого, слышите, никого не потерплю на своей дороге!

Но в это время из глубины дома послышался голос Гаяны. Виктор Вульф прислушался, три раза мигнул, все еще с достоинством вышел за дверь и там уже припустился бежать по коридору.

Авдотья Максимовна приказала позвать Наташу. Пополневшая, не по годам пожилая, Наташа на вопрос бабушки: что все это значит? — слабо улыбнулась, прилегла на кушетку.

— Я измучилась с этими детьми; просто Вульф хочет жениться на Гаяне; я объясняла, что нужно кончить гимназию и ему и ей; ну что я могу еще сказать? Гаяна ответила вполне резонно, что не я выхожу замуж, а она. Я сказала, что она еще девочка; она ответила, что любить нужно молодым, а не старым; все это верно, бабушка,— они очень смешные дети.

Авдотья Максимовна дала внучке высказаться и приготовила решительный ответ, но, глядя на увядшее ее лицо, задумалась и вдруг задремала.

В сумерках Авдотья Максимовна открыла глаза; в комнате было пусто и тихо; старая мебель, обои, образа, семейные портреты и сувениры — все было неизменным,— таким, как всегда. «Что я хотела, что нужно было сделать?» — думала Авдотья Максимовна, помня только, что обязанность требует пресечь, наказать, наставить кого-то... Но кого?

Сегодняшний день представился ей точно сон, и таким же вчерашний, и еще день, и дни, и годы, и десятилетия казались призрачными, неживыми, как сны... И вот среди этой утомительной мглы появилось живое лицо дочери, Варвары Петровны, старенькой, испуганной, беззащитной... «Повесили, эдакую-то,— прошептала Авдотья Максимовна.— Господи! Суров твой закон!»

Бормоча, поднялась Авдотья Максимовна и прошла в молельню. Комната эта стеклянной дверкой соединялась с нежилой теперь парадной залой. Став перед киотом, Авдотья Максимовна услышала за дверкой шаги и негромкие голоса. Она удивилась, оглянулась...

По пыльному паркету двухсветного зала ходили Гаяна и Вульф. Рассекая воздух хлыстом, он что-то взволнованно доказывал. На середине зала они остановились. Гаяна встряхнула стриженой головой и засмеялась. Вульф густо начал краснеть, швырнул хлыст, отвернулся. По надутым губам его было видно, что сейчас заплачет.

Но все переменилось. Гаяна, хохоча, схватила его за шею и принялась целовать... А Авдотья Максимовна в ужасе попятилась, махая костлявой рукой на дверь. А эти двое, как черти, уже скакали по залу, подпрыгивали, кружились... Такого Авдотья Максимовна еще не видала. Это было бесовское действо... Она хотела перекреститься, но рука, налитая свинцом, только дрожала — не поднималась.

По всему дому слышались голоса, хохот, трещали лестницы, топотали ноги. «...Гаяна, Вульф, где вы?..» Чинный и холодный зал, запертый на все ключи вот уже полстолетия, наполнился мальчишками и девчонками, не обращавшими внимания на выпученные в немом негодовании пыльные глаза темных портретов... Ничего не признающая молодость ворвалась и начала отплясывать под бренчанье гитары и мандолины... С последним усилием Авдотья Максимовна кинулась к образам и громко начала читать: «Да вокреснет бог...»

В сумерки Наташа пошла к бабушке — пожаловаться на мигрень (от всего этого шума и бестолочи в доме), на Гаяну, заявившую, что на днях уезжает с Вульфом в Венецию или еще куда-нибудь, на тоску и пустоту, все настойчивее посещавшую Наташу каждым вечером... Перед киотом догорали лампадки, огоньки потрескивали угасая, мерцали золотые оклады. Авдотья Максимовна лежала на полу. На темном лице ее застыл ужас... Наташа вскрикнула, присела... Приподнятая рука прабабушки костью ударилась о паркет...

НОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ

(Из городских очерков)

К деревянному с мезонином домику, хрустя снегом, подходили быстрые фигуры и пропадали за воротами, хлопая дверью на крыльце.

В нижних, запотевших, окнах горел желтый свет; наверху замерзшие темные стекла мезонина отсвечивали лунно; а еще выше, за коньком дома, за крышами, над всем городом и полями, разлилось лунное сиянье.

И все в беловатой этой мгле было неживое — и застывшие дома, и пропадающая улица, и ряд фонарей. Точно ледяной свет собрался выморозить землю.

«Но если дух мой верит в приход весны и солнца, не страшны ему ни смерть, ни мороз, ни полуночный свет...

Весна и солнце очистят землю от ночных видений, и, сколько бы их ни носилось в лунном свете — призрачных, враждебных, уродливых,— все погибнут, как листья на огне, под оглушающим потоком солнца.

Но если забыть о приходе весны, погасить дух свой, поверить в одну лишь непременность — смерть, тогда кинутся отовсюду ночные призраки, схватят сердце ледяными пальцами, овладеют чувствами, внушат им губительные желания, и будет шататься по земле не человек и не труп, холодный и сладострастный, с неутолимым желанием и страхом смерти в глазах...»

Так думал Иван Петрович, бредя вдоль длинной мглистой улицы, в поисках деревянного дома с мезонином и освещенными окнами.

А мимо окон в это же время проходил ночной сторож, в тулупе и несгибающихся валенках.

Оглянув не спеша пустую улицу, сторож дошел до угла, где стоял заиндевевший извозчик, сел на его санки и сказал:

— Мороз нынче здоровенный.

Извозчик, навалясь грудью на выгнутый передок саней, с трудом отодвинул одно плечо, причем показался клок белой его бороды, белый нос и хлопающие над глазами снежные ресницы, и ответил:

— Зябко.

— В чайной теперь тепло, чай пьют,— продолжал сторож.

— И вино пьют,— помолчав, ответил извозчик.

После этого оба они помолчали. Сторож думал, что если бы он был купеческий сын, то сейчас бы ни на какой мороз не вышел, а сидел на стуле, выпивши.

А извозчик думал — в какое место его наймут? Если в такое, где поблизости трактир, то свезет и подешевле.

Лошадь ничего не думала, даже ногами не переступала, а шерсть на ней была кудрявая, как у собаки.

И, кроме этих коротких мыслей, все остальное скорежилось и застыло у сторожа и у извозчика. А на перекрестке, невдалеке, горел костер. Около тесно сидели согнутые фигуры. Позади стоял небольшого роста человек. Он потопал ногами, отвернулся от костра и не спеша подошел к извозчику.

— Мерзнете,— сказал он с трудом, но весело,— эх вы, рабочие.

— Вася,— проговорил извозчик.

Пальто на Васе было короткое, с оторванным карманом, на голове картуз, на ногах обернутые веревками валеные калоши.

— А я у огонька постоял, хуже еще прохватило; пустое занятие, жар должен быть внутренний,— продолжал он.

— А ты проходи, внутренний, проходи,— молвил сторож; на что извозчик сказал:

— Не трогай, это Вася, человек душевный.

— Так вот я за свою душевность три пятака стрельнуть хочу,— постукивая зубами и подплясывая, продолжал Вася.— Народ-то скоро оттуда выходить будет, господин сторож?

— Которые скоро, которые не скоро,— ответил сторож,— я ворота сейчас запру, выйти им оттедова невозможно, вот по гривеннику мне и дадут. Ихняя кухарка рассказывала — придут, говорит, пьют, едят и яблоки, и чай, и мясо, а потом читают. Огонь привернут, разлягутся и бормочут. И что ты думаешь, если которого похвалят — он горничной полтинник и мне двугривенный, и на морозе-то все еще про себя бормочет...

— А как же пристав не обижается? — спросил Вася.

— Да разве они люди? Чего на них обижаться.

В это время подошел Иван Петрович. Отогнув задышанный инеем воротник, он спросил, где дом сестер Головановых. Сторож показал ему рукавом на освещенные окна и, когда Иван Петрович направился к воротам, проговорил:

— Еще один — оголтелый.

Но сторож на этот раз оказался неправ. Иван Петрович служил в провинции; много читал, сам пописывал и привык издавна строить однообразные свои дни по тем законам, которые находил в книгах великих писателей.

Не один он был таким мечтателем: по всей глухой, завалющей Руси — в городах, селах, железнодорожных станциях, засыпанных снегом хуторах — живут еще странные люди, у которых в жидкой северной крови есть капля восточной отравы; и капля эта подобна лихорадке — живет человек, здравствует, а вдруг схватит его жаром, свалит с ног, и понесет он в бреду такое, что никому и не снилось. От лихорадки — мышьяк, а от восточной отравы ничто не помогает. Вот и видишь — на поверхность сонной захолустной жизни вдруг выскочит смирненький какой-нибудь до этого обыватель и начинает ото всего отрекаться и тут же злодейство совершит или подвиг. А если выскочить не хватает силы, то хоть поплачет в кабаке, над мерзостью своей, над уходящими днями и прочтет подходящий стишок.

Но за последние годы перестал обыватель понимать — чему же его учат великие писатели? Не подвигу, не раскаянию, не поискам высокой жизни; точно забыли писатели про эту отравную капельку в северной крови, а решили только смешить читателя, ужасать, растравлять в нем и без того расхлябанные похоти.

А некоторые прямо говорили, что русский писатель перевелся, остались одни кривляки, полоумные да неистовые сладострастники.

И многие забросили книги, иные обрадовались разрешению и со спокойной совестью предались афинским удовольствиям; а такие, как Иван Петрович, не доверяя себе, продолжали искать и ожидать нового и прекрасного...

Иван Петрович познакомился с сестрами Головановыми в Крыму, наслышался от них про новое искусство и теперь, заехав по делу в Москву, решил своими глазами посмотреть на непонятных людей, завладевших умами и чувствами.

Одно его смущало во время пути по длинной и мглистой улице — лунный свет: ему казалось, что легче всего отчаяться, изувериться, опустошить себя, подобно мертвому этому лунному пространству, и всего труднее быть радостным, спокойным и светлым, как солнце.

Подойдя к воротам, он поднял ногу, чтобы шагнуть за калитку, но сзади в это время подскочил Вася, кланяясь, шаркая и говоря:

— С наступающим успехом; ради бога, облегчите себя на пятачок, в настоящий мороз не имею средств поддержать жизнерадостность...

Строго оглядел его Иван Петрович и сказал:

— Как ты смеешь говорить об этом... ты понимашь ли, что значит радость жизни?..

И, фыркнув носом, опустил ногу за ворота, взошел на крыльцо и пропал в доме...

В двух низких и теплых комнатах увидал Иван Петрович сквозь табачные струи много молодых и чрезвычайно странных лиц — мужских и женских.

Прямо перед ним остановился коренастый юноша в бархатной рубашке, открывающей всю шею, с огромным бантом. Бритое лицо его было все расчерчено раз-

ноцветными закорючками и полосами. Глядя на вошедшего, он вынул изо рта окурок сигары и сказал:

— Это что за рожа?

Затем с отвращением дунул на Ивана Петровича дымом и отвернулся.

Действительно, Иван Петрович имел совершенно голый череп, толстое лицо, жесткие усы под круглым носом и одет был в поношенную судейскую форму, что, все вместе, отдавало глухим захолустьем. Сознавая это и смущенно поеживаясь, он продвигался в глубину, стараясь не попадаться на глаза разрисованному юноше.

Он увидел на некоторых девушках платья по моде двадцатых годов, иные носили волосы, закрученные на ушах, и греческие туники. Были и гимназистки и дамы в бальных платьях. Один молодой человек, скуластый и курносый, выкрасил ухо в зеленую краску Другой стоял в растерзанной одежде, с растрепанными волосами и диким взглядом; две потные девицы повисли у него на локтях... Третий, одетый, как попугай, пестро и в талью, глядел на себя в зеркало...

Сестры Головановы — маленькие, злые, в коротких юбках — прижались к печке, заложив руки за спину. Повсюду говорили, возились, хохотали, старались перекричать. Вдруг громкий бас покрыл все голоса, воскликнув: «Тише!» Сестры Головановы опустили глаза, подобрали губы и в один голос, в один тон зачитали стихи тонкими, птичьими голосами.

Иван Петрович понял одно в их стихах: что сестрам Головановым изо всей силы хочется непременно умереть.

«Что же это такое? Молоденькие, какая жалость»,— подумал он, подходя к ним. С кресла неподалеку поднялась полная женщина в черном; дыша и откидывая голову, она громко и с негодованием проговорила стихи, в которых уверяла, что хотела бы принадлежать всем, но только мертвый любовник, вставший из могилы, может насытить ее вулканическую страсть.

Но ни она, ни сестры не имели успеха. Отовсюду говорили:

— Старо, детский лепет, слыхали про ваших покойников, этим не удивишь!..— И девицы, в прическах, в

туниках, в двадцатых годах, окружили разрисованного юношу с длинной шеей.

— Летом мы были еще молоды и стояли на ложном пути,— говорила огорченная сестра Голованова Ивану Петровичу,— мы еще не совсем дошли до нового искусства, но скоро дойдем... А вот,— она показала на разрисованного юношу,— наш учитель и предтеча нового искусства. Сейчас будет читать, послушайте, это гениально...

Длинношейий юноша молчал, сжимая кулаки, девицы дергали его, просили, складывая руки. Наконец он набрал воздуху и проговорил басом:

— Я вас презираю!

— Просим, просим,— завизжали девицы.

— Сдвиг,— проговорил он; и стало тихо...

Увыки взялись за венки
　　Вех путь прямит
И пу и пес алкая
Псу мор писали,
Алками в пляске
　　Стучали каблучки.

— Иван Петрович, это сдвиг, вы поняли? Все равно не поймете,— прошептала сестра Голованова. Слова ее были покрыты возгласами восторга. С уго́льного дивана поднялся полный бритый молодой человек, один глаз у него был выше другого, рот перекошен, сложенным в трубочку языком он облизнул губы...

— Тише, тише,— зашептали изо всех углов...

Он совсем высунул язык, провел им право и влево, спрятал и сказал:

— Мы выслушали несколько поэтических произведений, последнее из них произвело громовое впечатление... Очевидно — остальные поэты мало понимают, что такое новое искусство? Я объясню...

Стало тихо. Все уселись. Длинношеий юноша продолжал стоять, облокотясь на тумбу от цветка. У ног его на ковер опустились поклонницы. Он дымил сигарой, и усмешка остановилась на его больших губах.

— Что такое новое искусство,— повторил бритый человек.— Чувство современности. Тот, кто чувствует со-

временность, получает славу и деньги. Современность есть то, что нас волнует. А что нас волнует? Каждый день читаешь в газете о зарезанной проститутке, об угоревшей семье, взрыве газа, пожаре, опрокинутом поезде,— волнует это вас?

— Нет, нет,— закричали изо всех углов...

— А если я скажу: мне не нравится, как писал Пушкин. Я хочу уничтожить картинные галереи. Я желаю разрезать слова на части и разбрасывать их по бумаге. Я желаю, чтобы мои картины не понимал никто... Волнует это?

— Да, да, к черту старое искусство,— закричали опять...

— Мы любим катастрофы! В каждом стихе, в каждой картине мы хотим видеть намек на невероятные события, на чудовищные катастрофы. Вот что нас волнует больше всего. Каждое мгновение мы ждем и хотим новой катастрофы... Поймайте это мгновение и запечатлейте, и вы модный художник, вы футурист... Сегодня гибнет нравственность и семья — пишите циничные стихи. Сегодня мы в вихре неврастении, мы не можем сосредоточиться ни на мысли, ни на слове — дробите слова, разбрасывайте их по бумаге... Завтра мы захотим чуда, экстаза — войте, как хлысты...

Он сел... Все молчали... Вдруг Иван Петрович подошел к нему и, неловко разводя руками, стал говорить:

— Вот только я одно хотел спросить, вот я приехал из провинции — мы все там спутались — чем нам жить, какой мечтой, где у вас прекрасное?

— Прекрасное? — переспросил бритый, привставая.— Это что за слово? — Он поглядел по сторонам.— Какая-нибудь пошлость? Для чего вам оно?

— То есть как для чего?

— Переживайте каждую минуту остро. Вот вам ответ. А если хотите — то нет ни красоты, ни религии, ни нравственности, ничего. Есть мгновенье современности, это все...

...Когда Иван Петрович вышел опять на мороз, повторяя: «Боже мой, что такое? С ума я сошел? Или уж

это конец?» — луна стояла так же высоко, и в морозном пространстве опускались снежные иглы.

Костер вдалеке догорал. На углу стоял извозчик, около него Вася.

— С благополучным окончанием происшествия,— сказал Вася, когда Иван Петрович, сунув ему в руку мелочь, сел на санки, запахивая полость,— смотри, извозчик, лошадь не урони!

— Ничего, она кованая,— проговорил извозчик,— ты, Вася, приходи в чайную, погреемся...

И когда кудрявая, как собака, лошадка свернула на людную улицу, Иван Петрович воскликнул:

— Это какие-то мертвецы, черти их одолели!..

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

1

— Да-с, никогда не думал, никогда не думал; вдруг я — завоеватель! Писал себе этюды, готовил картину — что-нибудь весьма особенное — ни Пикассо, ни Матисс, ни Гоген, а тоже такое... Ах, какая чепуха все эти мои необыкновенные идеи... То меланхолия, бывало, заест, то проснусь ночью и смотрю на пустое полотно... и кажется вот-вот-вот... а дойдешь до дела — ничего не выходит. Так что, я думаю, вся эта моя живопись была одной нервностью, а не искусством. Да и мы все таковы — возбуждаемся чрезвычайно быстро и легко, самыми только кончиками нервов; дальше, в глубину, ничего не идет, одни эти кончики-пупочки работают в мозгу, и происходит точно радужная игра на поверхности, точно нефть на реке. Да и не только живопись, не только искусство, вся жизнь — одни пятна нефти. Духа нет ни в чем, заколочен он, закован, загнан в такую темноту, в такую глубину — дух, что я уже не знаю, какая нужна катастрофа, чтобы он поднялся до моего сознания. А эти радужные круги, мелочь вся, не нужны! Нет! Черт с ними! Знаете, мы выставку, например, устраиваем. И еще до открытия все насмерть перегрыземся, честное слово, а публика приходит на вернисаж свои туалеты показывать, а не смотреть на наше откровение. Я себя так понимаю —

как лужа на асфальте; солнце светит, и в луже облака отражаются и вся бесконечность, а подул ветер — и ничего, кроме лужи, нет, никакой бесконечности, так что я больше от барометра завишу, чем от бога, честное слово.

Демьянов сжал рот и замолк на мгновение. Он сидел на войлочной подстилке между двух товарищей — офицеров. Сдвинув фуражку, подняв худое бритое лицо, он медленно мигал, охватив колени. Перед ним, сбоку высокого шоссе, на кочковатом поле горело множество небольших костров. Около них стояли, сидели, лежали солдаты. Вспыхивающее пламя выдвигало из темноты груженые двуколки, очертания коней, опустивших морды, составленные треножником ружья. Осенние звезды иногда тускнели, задернутые несущимся тонким, невидимым облаком тумана. Белый и плотный туман этот разлился по реке, пересекающей поле, сделал ее широкой и косматой. Было совсем тихо. Слышно, как хрустели лошади и бранился утомленный дневным переходом солдат.

— И вот представьте, я — завоеватель. Иду покорять страны, — продолжал Демьянов, — об этом я только читал в истории да в романах. Но мало ли что пишут, — правда? А пошел я на войну не потому, что мне было приказано, и не потому, что ненавижу австрияков, и не потому, что мне нужна завоеванная страна. Я не знаю, для чего пошел, но меня точно ветер поднял. Да и не только меня — всех. Но я знаю одно, — завоеватель должен чувствовать себя сильнее духом, чем те, кого идем покорять. Но когда начну думать об этом, получается страшный сумбур. С прошлым, со всем, что я делал до сегодняшнего дня, покончено. Вчерашнее мне не нужно, завтрашнего не знаю. А душа полна, страшно полна...

Офицер, лежащий справа, опираясь на локоть, протянул подошвы к догорающим углям, улыбнулся и проговорил:

— Знаете, а я никогда так не думаю, как вы. Мне ужасно нравятся звезды, костры, солдаты, туман...

— И Надежда Семеновна, — сказал второй офицер, он лежал позади Демьянова навзничь, подсунув ладони под затылок.

— Да, конечно, но это вовсе не причина того, отчего мне все нравится,— сейчас же ответил первый.— Надежда Семеновна — замечательная девушка, такой нет еще, она, понимаешь ли, совершенная... вот такая...— Не найдя слов, чтобы рассказать, какая Надежда Семеновна, он сел и затем ножнами ударил по тускнеющим углям; они рассыпались, засияли, и несколько искр поднялось, полетело над сырой травой, погасло в воздухе.

После молчания лежащий офицер сказал:

— Разумеется, я навек счастлив, слушая ваши разговоры, господин прапорщик и господин подпоручик, но не угодно ли вам проверить сторожевое охранение. Смею заметить, что мы уже не в России и завтра можем попасть в бой. Уходите к чертям с моей кошомки, я хочу спать.

Демьянов поднялся, оправил пояс, фуражку, поглядел на угли и пошел мимо костров в темное поле, где, если пригнуться, можно различить на еще не погасшей заревом полоске одинокие фигуры часовых. Из тумана над речонкой кричал коростель.

— Ах, как хорошо кричит, — проговорил Демьянов; и давешнее смятение словно образовалось в теплый шар, подкатилось к сердцу.— Ах, как хорошо кричит, — повторил он.

Сторожевые стояли в порядке. Никто не спал. За последние дни перехода по завоеванной земле солдаты были взволнованы: они много шутили, пели песни, а вечером на привалах слушали рассказы бывалых уже в деле вояк; приказания офицеров выполнялись с необычайной охотой и быстротой. Постояв, послушав, подумав бог знает о чем, Демьянов вернулся в лагерь.

Здесь спали почти все: кто завернувшись с головой в шинель, кто подложив под бок товарища для теплоты. Костры медленно угасали, протягивая по земле дымок.

Пробираясь между спящими, Демьянов услышал нешибкий и знакомый голос. Словно он слышал его когда-то очень давно, точно в детстве, под ометом соломы, в такую же звездную ночь. Так говорят мужики в особые и важные минуты: негромко, сурово, покачивая головой.

— Разве я теперь жену люблю? Есть жена, ребятишки,— трое у меня,— так пусть и будут. А война, парень,— ты с ней не шути.

На это ответил ему другой голос, помоложе:

— Три недели ты, дядя Митрий, отбыл, значит опять воевать?

— А то как же: кабы я за это дело не взялся, а то я взялся. Пуля в кости у меня сидит. Ну так что ж, все-таки я действую. А ты в первый раз идешь, тебе непонятно.

Первый голос замолк. Демьянов подошел к тлеющему костру. Перед ним, глядя из-под густых бровей на угли, сидел на коленках коренастый солдат с большой черной бородой. Фуражку он снял, и голый череп его белел в темноте. Другой солдат, широколицый, усатый, стоял, опершись на ружье.

Видя подходящего офицера, длиннобородый хотел было встать, но Демьянов остановил его и сказал:

— Послушать подошел, Аникин, что-то не спится.

— Послушайте, отчего не послушать,— ответил Дмитрий Аникин и опять уставился на угли, затем ладонью всей провел по лицу и бороде и сказал: — Малого учу: кабы нам бог войны не дал, ограбил бы нас. Народ стал несерьезный. Чего не надо — боится, а больше по пустякам. Скука пошла в народе. Через эту скуку вот она и война. Теперь каждый человек понятие себе получит. Убийца будет такой же, как и праведник, а праведник пойдет по другой статье, потому что кровь — она цены не имеет. А у нас праведник на крови свой расчет полагал. Кровь — она как пыль, только глаза застилает. К ней надо привыкнуть. Умирать надо хорошо, как жить, а жить — как умирать. Вот я как это дело понимаю.

— У нас Митрий дюже на австрияка осерчал. Так уж развоевался — беда! — усмехаясь Демьянову, проговорил широколицый солдат. Он сказал это только для барина, который не должен и не мог понять настоящего разговора.

Но Дмитрий Аникин слишком уже далеко зашел в своих мыслях и не поддался на обычную зубоскальскую перемену разговора, а молвил еще серьезнее:

— Мне что австрияк, что немец — все одно. Мы этого не разбираем. А ты вот, парень, пойми,— народу у нас сила? Так? А все дураки: сами себя растеряли. Спроси: где живешь? «В России». А какая она Россия? «Не знаю». Одну деревню свою знаешь, дурак, да батю с мамкой. Вот бог-то немца и замутил: «Навались да да навались — они сами себя не понимают». Ведь это, парень, не шутка — на все государство он посягнул, немец. Вот нам разум-то и прояснило от этого. Очень теперь ясно стало. Отступай — не отступай, а ты, значит, вперед иди, и штыками тебя будут колоть, и пулей стрелять, а ты все иди, до самого синего океана. До берега океанского дойдешь, тогда войне во всем мире окончание. Так-то, барин,— неожиданно сказал Аникин, надел фуражку, поднялся и пошел к двуколкам, где пропал в темноте.

2

Полк поднялся на заре, закипятил котелки, но неожиданно был приказ выступать, и рота за ротой, взбираясь на откос, двинулись по шоссе. В луга, вперед и в стороны, словно щупальцы, побрели дозорные. Обоз, помещавшийся еще вчера между третьим и четвертым батальонами, был оставлен позади.

Демьянов шел в головной роте. Шинель его, туго перетянутая ремнем, намокла от росы и топорщилась. Он поднял воротник, надвинул фуражку и шагал в ногу с рябым и высоким солдатом, который, косясь на офицера, нет-нет да и приговаривал: «Эх, чайку-то не попили».

Солнце взошло, и свет его блестел по всему полю, по темно-зеленой траве, влажной, точно после дождя. Желтые, наполовину завядшие ивы были наклонены ровно направо и налево с обеих сторон дороги. Впереди в хрустальном воздухе стояли темные леса, за ними синели отроги гор.

Поглядывая на все это исподлобья, Демьянов морщился и фыркал. «Да перестань ты, пожалуйста, бормотать»,— обратился он к рябому солдату. Тот мигнул

испуганно, поправил на плече винтовку и приотстал. Демьянов обернулся назад. За ним колыхались рыжие, русые, бородатые и усатые лица, в помятых картузах, спокойные и пыльные. Над ними топорщились штыки, и сплошная, страшно длинная эта колонна, лягушиного цвета, терялась далеко позади, заволакивая солнце облаком пыли.

Демьянову хотелось увидать Аникина; он приостановился с края дороги. Аникин спокойно шел в накинутой поверх мешка и винтовки шинели и жевал хлеб, откусывал его белыми зубами прямо от полкраюшки.

— Здравия желаю! — сказал он весело. — Не желаете ли хлебца отведать? У меня и луковка есть, сам было едва не съел; думаю: дай барина угощу.

Он отломил кусок хлеба со следами зубов, вытащил из кармана луковку и подал. Демьянов молча взял, глядя с удивлением на Аникина: ни вчерашнего важного голоса, ни сурово насупленных бровей не было у него; он хоть бы подмигнул, — виду не подал, а казался солдат как солдат, даже и с луковкой.

Вчерашние туманные слова его необычайно взволновали Демьянова: он почувствовал прикосновение к живой той силе, какую только мыслил повсюду; она была и в нем, но еще глухая и смутная. Он не спал ночь и думал, боится он смерти или нет? А если боится, то как станет ее встречать? «Кровь как пыль — глаза застилает», — повторял он, еще не сознавая, от какого света она застилает глаза. Обо всем этом он хотел спросить Аникина, и поэтому ему было неприятно глядеть на его белые зубы, жующие ржаной хлеб, на хитрые глаза, глуповатую усмешку.

— Погромыхивает, ваше благородие, хорошо потрескивает, — сказал Аникин, кивнув бородой в сторону лесов.

Демьянов, очнувшись, поглядел туда и действительно услышал ворчание, глухие раскаты, словно за синими лесами в голубых горах ворочался с боку на бок запоздавший осенний гром.

Все солдаты слушали теперь это ворчание. Пыльные, давеча ленивые, лица их стали суровыми и внимательными. Кто нес ружье вниз штыком, переложил его

на правое плечо. Кто на ходу скатывал шинель; оправляли мешки за спиной; иные переговаривались, спрашивали; прищурясь, глядели туда. Сбоку шоссе подскакал ординарец-грузин, с выкаченными глазами, ловко одетый, и слишком громко закричал: «Приказано развертываться в резервную колонну!»

3

Развернутый в резервную колонну полк быстро двигался влево от шоссе, чрез некошеные овсы, по гречихам и жнивьям, к лесу.

Демьянов необычайно легко, радуясь этой легкости, скользил ногами по траве, стараясь, чтобы никто его не обогнал. С такой же легкостью перепрыгивали его мысли с одного пустяка на другой. То он восхищался вдруг непромокаемыми своими сапогами, то засвистел вслед выскочившему зайцу, то, обертываясь и глядя на солдат, радостно думал: «Как хорошо, как хорошо, весело». И все радостнее, сильнее билось сердце. Он даже подумал, что надо бы его попридержать,— что-то уж слишком бьется.

Полк вошел в лес, чистый, высокий и редкий. Громовое ворчание пушек усилилось: вырывались из него отдельные двойные удары. Аникин каждый раз приговаривал: «Работай, работай, разговаривай». И странной казалась эта музыка пушек в лесу, будто гудели, мрачно разговаривали между собою вековые сосны, качая вершинами. Лес окончился, и рота вошла в деревеньку.

Соломенные домики были повернуты окнами во все стороны, огорожены ивами и плетнями. Поле отсюда поднималось тремя пологими волнами до гребня высоких и редких деревьев. За деревьями, между стволами, в синем небе лежали плотные облака, и оттуда-то доносилась канонада.

Солдаты окружили колодец, заскрипели журавлем. К Демьянову подошел седой старичок, быстро заговорил, норовил поцеловать руку. Демьянов точно издалека заметил, что у него черные, печальные, как у собаки, глаза, а из-за бараньего воротника белой свитки

высовывается жилистая, в крови, грязная шея; старик тыкал пальцем на деревья перед облаками, показывал на шею и все норовил поцеловать руку.

Этот синий обрыв за деревьями и низкие белые, спокойные, *как всегда,* облака оглушили Демьянова. Он полагал, что, выбежав из леса увидит солдат, стреляющие пушки, битву; она представлялась простой, веселой и человеческой. Но невидимый грохот шел из-за облаков. «Что они там делают? — думал Демьянов.— Полнеба гремит, разве так можно! Куда же идти в такую пропасть?»

— Прапорщик я вам в третий раз кричу: передайте ротному — продвинуться до деревьев, рассыпаться в цепь! — услышал он голос давешнего ординарца, поглядел в круглые глаза его и сказал:

— Сейчас сделаем.

Веселое возбуждение упало. Все мысли Демьянова застыли, как лед. Крича солдатам, он не слышал голоса, а быстро шагая с холма на холм, не чувствовал ног своих. Он поискал глазами Аникина и не нашел. Когда же деревья были в ста шагах всего, то побежал к ним рысью, задохнулся, оперся о шершавый ствол сосны и поглядел вниз.

Внизу под обрывом, лежало ровное зеленое, исчерченное прямыми полосками поле; синеватым кольцом охватили его с трех сторон леса; за ними поднимались горы, и справа, слева и прямо ухали, били, раскатывались удары, но не было ни людей, ни дыма — ничего. Остальные роты полка взобрались на гребень левее Демьянова. Невдалеке появился всадник. Демьянов узнал в нем полковника, который долго глядел в бинокль, затем сказал что-то подъехавшему ординарцу, затем обернул голову, поднял руку и резко опустил ее. Сейчас же из-за деревьев отделились фигуры солдат и посыпались вниз по всему склону.

Холодно стало Демьянову, схватило дыхание от восторга: он не мог молвить, вытащил шашку, стал лицом к солдатам, хотел сказать: «Братцы!»— но слезы едва не задушили его, только замахал шашкой и побежал вниз, прыгая через кусты.

4

Рота, в которой вторым офицером был Демьянов, вошла в бой. Ясно сознавали это немногие бывшие уже в деле солдаты. Поле казалось пустым, обыкновенным; давно скошенный клевер закурчавился и цвел в третий раз.

Солдаты добежали до первой канавы и легли в нее, оглядываясь, куда же нужно стрелять.

Демьянов присел на колени, вынул бинокль, но руки его так дрожали, что на мгновение только он увидел в запотевших стеклах танцующие деревья и три облачка над ними. Затем обернулся к лежащему рядом солдату и с трудом проговорил:

— Ты ничего не видишь?

— А вон она как пыхнула, шрапнель! — ответил солдат и оказался Аникиным.

«Как хорошо, что он со мной»,— подумал Демьянов.

— Так ты говоришь, те облачка — шрапнель? Вот оно что!..

Действительно, мелькнувшие в бинокль три облачка появлялись теперь во множестве впереди над лесом. Сначала открывался в небе огонек, потом расплывалось плотное облачко, над ним — другое, повыше — третье, и они медленно таяли. Затем в воздухе появился стремительный шипящий звук.

— Завыла! Это непременно по нас,— сказал Аникин.

Демьянов оглянулся на него: он лежал на животе, выставив бороду; лицо было умное, внимательное и злое. А шипенье в воздухе надвигалось, словно в лоб между глаз влетала невидимая гибель (Демьянов открыл рот и втянул голову), и тотчас шипенье вонзилось в землю, неподалеку, разорвало весь воздух вокруг, полетели комья и поднялся черный косматый столб земли.

Демьянов вскочил и побежал к тому месту. Около развороченной ямы сидел солдат, плевал грязью и пальцами тер глаза.

— Запорошило меня всего,— ответил солдатик,— не вижу я ничего, чистое наказание! — И сейчас же послы-

шалось второе шипение, и в той же канаве грохнул и поднялся столб.

Демьянов вернулся на место. Теперь он знал — по нем стреляли.

— Слушай, тебе страшно? Мне совсем не страшно,— сказал он Аникину, — как странно, правда? Я бы тут целый век пролежал..

— Ничего, ничего, успеете еще напужаться,— успокоил Аникин. — Прямо в нашу канаву шпарит, а где он притулился — поди разыщи!

Действительно, снаряды падали в канаву и перед ней, грохотом наполняли поле, пылью застилали глаза. Но никто еще не был ранен. С каждым разрывом возбуждение и радость сильнее охватывали Демьянова. Не хотелось двигаться — только слушать, ожидать. «Не боюсь, не боюсь, какое наслаждение!» — повторял он. Приказано было продвинуться вперед и налево. Солдаты стали перебегать по двое и поодиночке до следующей канавы, протянувшейся к овсяному полю. Но едва достигли ее, как вслед за грохотом гранаты послышался резкий и дикий крик.

«Ротного, ротного убило!» — заговорили солдаты. Демьянов, не пригибаясь, придерживая шашку, побежал туда. Ротный (вчерашний офицер, прогнавший его с кошмы) лежал на боку, выбросив руки. Трава около его головы (голову Демьянов не рассмотрел) была залита кровью. Демьянов присел над ним и, кусая губы, стал глядеть *туда,* вперед, откуда приносилась смерть.

Услышав крик минуту назад, он похолодел, съежился так, что стал меньше муравья. Затем, покуда бежал к убитому офицеру, которого любил, уважал и восхищался, он совсем забыл себя и опасность. Глядя на мертвые руки, бессильно и покорно лежащие на траве, он во второй раз сегодня едва сдержал слезы — теперь уже не восторга, а острой и мучительной жалости. И только решась, наконец, посмотреть на кровь, вдруг собрался весь, словно успокоился и постарел намного. Теперь, внимая звукам гранат, он опускал только голову, сжимал зубы. Давешний восторг беготни и острое затем наслаждение боя показались ему нестерпимо

стыдными, точно он из шумной улицы вошел в иной мир — в пустынный, мрачный и торжественный храм.

Четыре роты подвигались по широкому полю от канавы до канавы (остальные батальоны ушли чрез овсяное поле и скрылись за лесом). Солдаты не видели противника и не знали, куда и зачем нужно идти. Не знал этого и Демьянов, принявший команду над ротой. Он помнил только приказ: пересечь поле и налево занять лес. Но что будет там, в лесу, он не понимал, и казалось, что этого никто не знает.

Всем, попавшим в сражение в первый раз, кажутся бессмысленными, беспорядочными, ни с чем не связанными действия своей части. Только потом начинают верить в руководство над всеми невидимой и умной силы. Эта сила действует на огромных пространствах, передвигает полки, дивизии и корпуса, перебрасывает через леса и горы десятки тысяч солдат и вместе с тем предоставляет каждому действовать так, будто от него зависят победа и поражение. Демьянову казались жуткими эти свобода и ответственность. От сознания его осталась малая, зато необычайно ясная, часть, и она вся была направлена на то, чтобы как можно меньше потерять солдат, быстрее достигнуть леса, налево за овсяным полем.

Крайняя рота скрылась уже за деревьями, вторая перебегала в овсы, третья и демьяновская лежали, наскоро окопавшись, в клевере. Теперь выстрелы и разрывы смешались в один рев; по всему полю поднимались косматые столбы земли, взвивался дым, и воздух и леса кругом грохотали тяжко и гулко.

Солдаты присмирели: кто кряхтел, кто беспокойно оглядывался, кто вдруг начинал с яростью стрелять в невидимого противника. Налево из овса поднимались фигуры, бежали, согнувшись, к лесу и вновь ложились. Иные выпрямлялись на бегу, поднимали руки и опрокидывались навзничь, кто головой вперед. Теперь над овсами возникло множество облачков. Они медленно надвигались с овсов к последней роте.

Демьянов понял, что если оставаться лежать не двигаясь, то через несколько минут вся его рота будет засыпана шрапнелью и погибнет, не достигнув леса. Он

так и подумал: «Погибнет, не достигнув»,— и на мгновение почувствовал гордость, что рассуждает хладнокровно. Лес был всего в тысяче шагах. Демьянов пошел по рядам солдат, увидел черную бороду Аникина, ткнул его сапогом в подошву и закричал, нагнувшись:

— Если прямо нам до леса бежать, как ты думаешь?

Аникин посмотрел на него и ответил:

— Отчего же, можно и добежать.

— Только не через овес, а правее, вон в ту загогулину.

— Можно и в загогулину,— ответил Аникин,— только как бы нас там не тово.

— Чего же может случиться?

— Кто их знает!.. Как бы на пулемет не налететь.

Но Демьянов уже вышел вперед, махнул рукой и рысью, отогнув полы шинели, побежал по полю. Затем, задохнувшись, стал, боясь оглянуться: он вдруг вспомнил, как убитый ротный в бывшую войну побежал вот так же впереди солдат, на полпути обернулся и увидел, что он один,— никто не последовал за ним, потому что поступок его был явно бессмысленный и ненужный. Демьянов ждал, не оборачиваясь, чувствуя, как густо краснеет.

Но вот позади послышалось сиплое дыхание. Справа, покосясь на него, пробежал рябой солдат; рот его был широко раскрыт, глаза налиты кровью. Слева выбежали еще двое; затем, степенно прихрамывая, протрусил Аникин. «Слава богу!» — подумал Демьянов. И сейчас же рябой солдат впереди подлетел на воздух и закутался облаком дыма и земли. Аникин и те двое кинулись влево, но выпрямились вновь (точно птицы после выстрела). Демьянов увидел яму и торчащие из нее ноги. «Это он чайку-то все хотел попить»,— подумал он. Затем показалось странным, почему впереди только трое солдат. Он обернулся,— поле было покрыто бегущими. «Ага, вся рота поднялась»,— опять подумал он и вдруг споткнулся и только тогда сообразил, что бежит изо всей мочи. На опушке он остановился, прижался спиной к дереву. Подбегали солдаты, оглядываясь на упавших по пути.

На самом деле по всей огромной площади, занимае-

мой тремя корпусами Н-ной армии, происходило следующее: на севере — две дивизии брали станцию железной дороги; первый корпус двигался в обход с севера, чтобы одним своим появлением в тылу неприятеля заставить его очистить и станцию и господствующие высоты; остальные две дивизии второго корпуса должны были сдерживать натиск южнее станции; еще южнее дрался третий корпус; в его задачу входило опрокинуть противника и гнать его в таком направлении, чтобы линия австрийских войск повернулась, как вокруг оси, у станции на северо-запад и тылом своим, естественно, наткнулась бы на первый корпус. Полк, в котором служил Демьянов, не должен был атаковать или выбивать с места какую-нибудь неприятельскую часть, а только демонстративно продвигаться вблизи неприятеля, сначала с севера на юг, затем, по выполнении общего плана,— с юга на северо-запад.

Но ничего этого, конечно, не знали ни Демьянов, ни солдаты. Всем была ясна одна цель — отыскать неприятеля и заставить его убежать оттуда, где он засел.

5

Демьянову видны были только человек сорок, идущих сквозь лес. Остальные солдаты затерялись за деревьями. Солнце опустилось. В зеленом сумраке слышался треск сучьев, перекликание и голоса. Вверху неподалеку раздался резкий, металлический визг, полетели ветки. Впереди деревья поредели. Демьянов приостановился посмотреть на карту. Человек пятнадцать перегнали его, выбежали на поляну, и сейчас же, заглушая все звуки, хлестнул, точно бичом, затрещал проворно впереди пулемет.

Демьянов только что видел пятнадцать человек в зеленых рубашках, в скатанных шинелях; теперь шестеро из них сидели за деревьями, держа ружья; остальных не было видно совсем. Позади громко стонали. Демьянов крикнул: «Ложись!» — и сел в папоротники. Шесть человек стреляли из-за деревьев; а *оттуда* под резкую, хлесткую стукотню неслись пули. Две из них чмокнули

в клен над головой; валились сучки, и слышался шорох, свист точно от пчел. Ясно, что ни подняться, ни продвинуться было нельзя, либо ждать темноты, либо неожиданной помощи.

Внезапно пулемет замолк, и сейчас же Демьянов услышал голос Аникина: «Свалил, ребята, одного, другой прячется»,— и затем подряд еще три выстрела, и к ногам Демьянова прыгнул, как медведь, с дерева сам Аникин.

— Чисто! Пожалуйте! Можете пройтиться, как на параде; их там только двое и было,— сказал он, показывая белые зубы.

Демьянов посмотрел на них, потом в глаза,— глаза были ясные и дикие.

Солдаты быстро поднимались, перебегая поляну, заглядывая на то место, где за кустиками между двух дубов, в ямке стоял пулемет. Вцепясь пальцами в его колеса, навалившись на зеленый ствол грудью, сидел над ним серенький человек, поджав по-турецки ноги; низко склоненная голова его покачивалась, точно он все время кланялся, а из темени выливалась густая и темная струя. Рядом из кустов торчали еще чьи-то ноги в башмаках.

«Кланяется»,— шепотом говорили солдаты, окружив пулемет. «Отдыхается».— «Ну нет, от этого не отдыхаешься, у нас в селе этак же угостили одного чуркой: помотался да помер».— «Вы, буде зря болтать-то!» — «Чай, у него родня тоже есть».— «Присягу принимал, не хуже тебя».

Подошел и Демьянов, но в сумерках было уже трудно что-нибудь разобрать. Крикнув на солдат, он приказал держаться теснее и взял направление через лес, прямо на юг.

В лесу едва различимые стволы теперь совсем растаяли в сумраке. Нужно было идти протянув руки, чтобы не налететь на дерево. Солдаты легонько покрикивали: «Гого-гого!» — и в темноте только и были слышны эти негромкие тревожные голоса. Вдруг земля ушла вниз. Демьянов покатился по кустам и руками попал в студеную воду. Ругаясь и треща валежником, покатились и солдаты в лесной овраг.

Так они двигались в потемках очень долго. На полянах, где было посветлее, останавливались, поджидали отставших, сверялись с компасом. В одном месте все начали, чертыхаясь, спотыкаться в неглубокие ямы. Затем услышали голоса. Один быстро бормотал, точно читал книжку; из травы кто-то выводил однообразно: «О-оо», «о-оо»; еще кто-то печально и тоненько плакал. Солдаты приостановились. По всему лесу слышались эти стоны и голоса.

— Ребята, это — австрияки; я одного за голову схватил, ей-богу! — зашептал кто-то из солдат.

Подальше на поляне стояла распряженная санитарная линейка; другая лежала перевернутая. Демьянов сел на колесо, оглядывая едва различимых, медленно выходящих из леса солдат. Было ясно, что заблудились, что вышло несчастье и нужно дожидаться рассвета. Солдаты зачиркали спичками, в сырости потянулся махорочный дым. Демьянов вспомнил, что не курил с утра, и уже сунул руку за портсигаром, но сейчас же вскочил: по лесу ясно слышался конский топот. Солдаты побросали огоньки и легли. Затем затрещали кусты, и тревожный громкий голос крикнул: «Стой, ребята, свои, которой части?» — и пять казаков, сдерживая фыркающих лошадей, подъехали к Демьянову.

6

В полуверсте от этой полянки, в брошенном селении, ночевали три батальона полка; четвертый собирался и подходил, не хватало только демьяновской роты, которую казаки и разыскивали по лесу, очищенному неприятелем.

В селение пришли с рассветом. Солдаты сейчас же повалились и заснули. А когда позеленело небо на востоке и грохнуло, раздаваясь в горах, первое орудие, полк выступил вновь. Первоначальная задача его была изменена. Полк из резерва перебрасывался в дело, а две роты (в том числе и демьяновская) назначались для прикрытия дивизиона полевой артиллерии.

Демьянов спал не больше часу за эту ночь, приткнувшись на дворе у омета соломы. Он уже не думал ни о чем, ничего не желал. Когда сонный командир выговаривал ему за вчерашнюю оплошность, он не оправдывался.

Шагая по жнивью впереди своей роты, он глядел, как занималась и светлела заря, как уменьшались и гасли звезды, и то, что минуту назад представлялось неясным на земле, постепенно оказывалось кустом, опрокинутой повозкой, ткнувшейся в землю человеческой фигурой.

Понемногу этих лежащих фигур становилось все больше; они были разбросаны по полю, как снопы. Демьянов сообразил, что это — австрийцы, убитые во время вчерашней атаки селения. Но ему стало уж все равно, обходил ли он куст по пути, или мертвого человека. Заметив, что двигающийся слева Аникин поглядывает, точно хочет заговорить, Демьянов отвернулся: Аникин был ему неприятен; не хотелось ничего напоминающего вчерашний день, суетливого и растрепанного. Казалось — вернуться к себе, к своим ощущениям, прошлым и обычным, теперь немыслимо и противно. Было желанно одно: остаться в той холодной, умной пустоте, где все равны, где ничего не страшно, ничего не жаль, где точно и бесстрастно действует центральная сила, передвигающая сейчас ноги Демьянова.

К восходу солнца миновали поле убитых и дошли до подножия лесистого невысокого бугра, где стояли шесть влажных пушек. Затем продвинулись через лес и окопались на его опушке. Солнце было подернуто легкими облаками; его свет, мягкий и ровный, заливал впереди узкое, извилистое между лесов поле, доходящее до подножия гор.

В бинокль Демьянов рассмотрел, как вдалеке из южного леса на поле задвигались темные точки,— сначала редко, потом все гуще. И тотчас сзади ударил короткий выстрел и над головой свистнул снаряд, исчезая в синей дали, где и расплылся облаком над точками. И опять выстрел и свист, выстрел и свист, и, как вчера, забилось сердце у Демьянова, но не возбужде-

ние он почувствовал или восторг, а спокойствие — точно глубоко удовлетворяли его эти выстрел и свист.

Темные точки впереди задвигались быстрее вперед, в сторону, затем их стало меньше, они скрылись опять в лесу. Батарея наша замолкла.

Демьянов опустил голову к траве. Перед его носом на тоненьком стебельке росли красные ягоды, похожие на костянику. Он долго глядел на них, затем подумал: «А может быть, они ядовитые?» — усмехнулся, сорвал ягодки и стал их жевать; они были кислые и утолили жажду. Тогда Демьянову ужасно захотелось есть; он стал искать еще ягод, вытащил сладкий корешок, пожевал его и проглотил. И затем, лежа на боку, думал о разных вещах: о своем родном городе, о том, что девушка, которую он любил, так и не полюбила его; перед ним прошел ряд знакомых лиц, и милых и безразличных. Он представил свою мастерскую, прибранную перед отъездом, и ему показалось, что на все это он смотрит точно с большой высоты, и все кажется ему милым, простым, немного печальным, но, быть может, таким, к чему можно и не возвращаться.

Полевая батарея еще два раза принималась стрелять, затем под вечер снялась и промчалась на рысях мимо Демьянова в северный лес. Тогда обе роты поднялись, прошли по полю версты три и окопались в гребне небольшого оврага.

Затихшая было канонада возобновилась перед сумерками с такою силой, что полевые пушки, стрелявшие опять через головы роты, едва были слышны, точно булькали. Грохот и треск несся с окружных гор; задымились лесные опушки, и нельзя было понять, как это еще жив здесь хоть один человек.

Много раз появлялись разорванные кучки людей, но добегали они лишь до середины поля. Австрийцы засели в южных лесах, русские — в северных. Демьянов видел, как пошел в атаку рота за ротой его полк. Солдаты, перебегая, ложились и окапывались. Когда же достигли середины поля, навстречу им из леса выбежали серые человечки, смешались и двинулись назад. Им на помощь выбегали новые. А навстречу из лесов отовсюду повалили наши зеленые солдаты. Несколько рядов их

подобрались и залегли совсем близко от роты. Демьянов пересилил себя, вскочил, перешагнул через окоп и быстро зашагал вперед; когда же услышал, что его нагоняют, прибавил шагу.

«Зык-зык-зык!» — посвистывали пули. Но не было страшно и не было радостно. С каждым мгновением точно отсчитывалось в мозгу: «Вот жив, вот жив». Затем Демьянов с трудом закрыл рот; оказывается, он кричал все время, и горло саднило. Наконец шагах в десяти поднялась из земли черномазая и усатая голова в сером кепи, прищурила большой глаз и пыхнула огнем. Затем вскочил на ноги весь человек, рядом с ним — другой, третий; человек двести точно выросли из-под земли; опустив штыки, они пятились, хотя расстояние между ними уменьшалось быстро; наконец Демьянов схватился за широкий штык и шашкой ткнул в середину серой куртки, между двух пуговиц; конец шашки уперся, затем вошел быстро и легко. Демьянов поднял глаза, но не увидел лица того, а только закинутый черный подбородок и хватающие воздух руки. И сейчас же стал задыхаться; хотел сказать: «Что это?» — но не было голоса. И чтобы как-нибудь вздохнуть, опустился и лег на спину.

7

Влажные тени покрыли поле. Одна за другой замолкали пушки. Щелкали еще выстрелы на юге; затем и они прекратились. Настала тишина, торжественная и спокойная. Открылись звезды; на полнеба разлился закат, а на горах пылали деревни; высокие красные языки пламени возносились в безветренное небо, точно хотели коснуться его ласковым, зыбким своим телом; иногда от пламени отделялся язык и, вознесясь, таял. Понемногу вершины лесов, стволы, одинокие сосны залились розовым светом.

Демьянов лежал на спине, положив руку на грудь, на то место, куда вошла пуля. Он чувствовал, будто торжественная тишина, и осенние звезды, и закат, и пылающие горы — все для него. Он лежит посреди ми-

рового покоя, величественной, огненной тишины, и звезды близки ему, как трава. И точно сердце его охватило все, что видят глаза, и все, чего жаждет душа, и все это в нем, и потому такой покой. Затем он стал думать, все ли в жизни торжественно, все ли хорошо. Ему опять припомнились и лица и вещи, о которых он думал. И все, что припомнил, показалось прекрасным, будто лица и вещи осветились и стали страшно значительными.

«Вернусь и объясню им это, и все они станут жить по-иному», — подумал он и опять взглянул на звезды. Над его головой ясно горело, точно жемчужное, созвездие. «Ну, да это тоже просто и понятно, — подумал он. — Нет смерти — только радость».

Послышались негромкие голоса. Подошли трое, говоря по-русски. Один наклонился и прошептал: «Он и есть!» Демьянов перевел глаза с жемчужного созвездия на знакомое лицо с черной длинной бородой. «Жив!» — опять сказал голос.

Затем Демьянова подняли, положили на шинель и понесли. На шинели покачивало, как в люльке, и звезды вверху колыхались направо и налево. «Так и голова закружится», — подумал Демьянов, закрывая глаза.

А когда опустили его на землю, стало немного больно. «Ничего, потерпите, паренек за линейкой побежал, — проговорил опять Аникин. — Очень солдаты обиделись, когда вы упали, ей-богу, а мы ведь думали не найдем». Демьянов посмотрел на него, вспомнил, как он дал ему луковку, хотел пошутить — нет ли у него еще луковки в кармане, но вместо этого охнул. Аникин сердито затряс бородой и нагнулся, всматриваясь. «Хорошо мне», — едва слышно прошептал Демьянов. «То-то», — шепотом же отвечал Аникин и вдруг поцеловал его в губы; сейчас же отошел и закричал сердито: «Эй, ты, черт сонный, правей держи, вороти линейку-то, барин, вишь, обижается».

В ГАВАНИ

В медленной, мертвой зыби опускался, всплескивая зеркальную воду, и тяжело вздымался большой пароход. Свистел в снастях ветер, и клубы дыма, вылетая из трубы, долго стлались над морем, где две волны расходились, как хвосты бесконечной параболы.

Пассажиров иных мутило, иные печально сидели на лавочке, обдуваемые ветром; на крышке трюма спали турки, а вдоль борта прохаживался худой и слабый человек в разлетайке; из кармана ее торчал сверток рукописей.

Пароход со знаменитым поэтом, оставляя параболический след в синей воде, двигался к высокому берегу, выжженному и пустынному. Из глубины мглистой земли поднимались скалистые вершины, голубоватые, как дым, над ними клубились такие же легкие облака белыми грудами.

Им, должно быть, и этой земле медленно кивал длинный корабельный бушприт. Знаменитому поэту было грустно.

Его послали сюда умирать, он знал, что блужданиям его настает конец. И сегодня он, как никогда, чувствовал и любил и чаек, сопровождающих пароход, и мокрых дельфинов, что появлялись из зеркальной волны на мгновение, и сморщенную бабу, задремавшую на кор-

зине с чесноком, и величественных оборванцев турок, и страдающего грудной жабой отставного моряка, который того и ждал, чтобы опять заговорить о всяких пустяках.

Корабельный нос повернул направо, и на пустынном берегу понемногу открылась просторная бухта.

На скатах, буграх, по сухим оврагам рассыпался над морем белыми стенами, красными крышами древний город пологой подковой. Далеко выбежала узкая полоска мола с уютным маяком на конце. За ним стояли мачтовые корабли и океанские пароходы. Белый парус медленно уносился вдаль от маяка.

Пароход загудел, повернул и вошел в гавань. У пассажиров прошла меланхолия. Они повалили из пароходного нутра с чемоданами и корзинками. Страдающий астмой моряк, сходя с трапа, сказал поэту, задыхаясь:

— Так обещайтесь же мне непременно познакомиться с Вакхом Ивановичем. Он тоже стихи пишет. Чудак ужасный.

Вблизи город не казался таким древним: на набережной стояли цинковые амбары, похожие на верхи кибиток; вдоль них катились вагоны; парные извозчики увозили пассажиров на главный бульвар, затененный акациями и тополями. Здесь под арками домов, построенных в местном стиле, двигалась по июльскому солнцепеку пестрая толпа: прозрачные дачницы, молодые дачники с полотенцами для купанья, восточные люди с сизыми щеками, в теплых пиджаках, голенастые гимназисты в войлочных кавказских шляпах, проезжий актер и местный журналист, и всех этих людей хватали снизу за ноги греки — чистильщики сапог из Константинополя.

С бульвара узкие проулки уводили на холмы и в овраги, где дома становились и старее и меньше. На одном таком голом бугре, на виду города, стоял облупленный белый домик с чугунным кронштейном от уличного фонаря. Шесть окон во время зноя закрыты ставнями; за ними в душной и низкой комнате, осве-

щенной лампадками, на клеенчатом диване обычно лежал Вакх Иванович, а на животе его спал кот.

Вакх Иванович ничуть не походил на денди. Голова у него была лысая, лицо круглое, с жесткими усами. Живот же, на котором грелся кот, объемистый, доставлявший много огорчений. Но все же любимым героем Вакха Ивановича был лорд Брэмель. Не имея средств и презирая свою наружность, он старался подражать ему скорее в словах, мыслях и вкусах.

Когда Вакха Ивановича звали приятели есть чебуреки, он думал: «Брэмель на моем месте ответил бы: «Хорошо, я голоден, я приду, но пусть каждый чебурек мне подадут завернутым в лист магнолии». И, сидя с друзьями посреди города, на фонтане, под фонарем, он улыбался с тонким презрением и вставлял в беседу острый парадокс несомненно английского происхождения. Того же происхождения была и обстановочка в трех низких комнатах; ее мог оценить только денди, презирающий толпу и все новое. Брэмель поступал всегда парадоксально, даже говоря с королем. Местные караимы и товарищи по чебурекам не были способны к тонкостям, поэтому Вакху Ивановичу пришлось приспосабливаться, и он стал чудаком: иногда даже называл себя Брэмелем наоборот. Брэмель имел, как известно, сто пар штанов. Вакх Иванович — только одни, толстые и засаленные настолько, что после снятия они могли стоять самостоятельно, прислоненные к стене.

Все это было неспроста: Вакх Иванович писал стихи и романы и до сих пор не был еще известен. Местная акушерка и две приезжих дачницы, Додя и Нодя, часто ходили к нему, прося почитать свое, но, кто знает, они, быть может, только издевались.

Сегодня Вакх Иванович, как всегда, покоился на диване, почесывая за ухом у толстого кота. Кот этот был домашний, звался Гарри и, когда его сажали на живот и чесали, очень громко пел песни. Были у Вакха Ивановича и другие коты — уличные; он их звал «молотобойцами» за дикий нрав и частые драки, раз в день кормил печенкой и любил послушать, как они завывают по ночам, при луне, на крышах.

В комнату едва проникал свет, зато за ставнями бы-

ло знойно; солнце жарило в камни, в стены, выгоняя из-под земли скорпионов и сколопендр. В полуденном воздухе пахло пылью, полынью и падалью немного. Одна из лампадок затрещала вдруг и погасла.

— Гарсон! — закричал Вакх Иванович, и когда в комнату вошел заспанный усатый мужик, босой и распоясанный, он с отвращением оглянул слугу.

— Посмотри, какие у тебя пальцы на ногах торчат! — проговорил Вакх Иванович, морщась.

— Да ведь жарко. Упрел я в ливрее,— ответил гарсон.

— Поди принеси фунт лампадного масла, две порции мороженого и кошачьей печенки.

В это время в прихожей зазвякал хриплый колокольчик.

— Кто бы это мог прийти? — спросил Вакх Иванович, спихивая с себя кота.

Гарсон побежал отворять. И в комнату ворвалась сухонькая женщина в темном платье, в шляпе с пыльными розами; поправляя пенсне, она заговорила сухо, быстро, повышенно:

— Никогда не отгадаете, что случилось! Можете прочесть десяток ваших Брэмелей, но ничего подобного не ждали. Прибежала к пароходу, вижу: Кузьма Кузьмич — тот, который с астмой, пренеприятный тип. У него астма, а все виноваты. Машенька, его дочь, исключительно через это сошлась с дураком Галкиным. Я понимаю свободный брак, но у них ничего духовного — одно физическое. Додя и Нодя на них смотреть не могут без отвращения, хотя Нодя — это уже между нами — сама любит грех. Смотрю: Кузьма Кузьмич держит под руку личность. Ничего особенного, бороденка, наверное — чахоточный, но какая-то загадка в глазах. Я сейчас же разлетелась: «Кто?» — спрашиваю. «Знаменитый поэт Воронов».

Поленька при этом пыхнула и закуталась дымом из папироски. Вакх Иванович сейчас же застегнул пуговицы на чесучовом пиджаке и сказал не без волнения:

— Ну, что ж, я рад, милости просим!

— Придет ли он к вам — это вопрос. Вид у него такой неприятный,— продолжала Поленька.— С парохода

поехал прямо в «Эксцельсиор». Взял комнату в два рубля, с окошком в сад, и сейчас же заперся. У него две жены, и с обеими не живет. Антон Чехов про него писал: гнусный сладострастник, но душа хрустальной чистоты и болезненно любит природу.

Так Поленька-акушерка смутила воображение и покой Вакха Ивановича. Ему вдруг стали несносны и коты, и дендийская обстановочка, и сам Брэмель. Здесь в каких-нибудь двухстах саженях сидел, думал, гордился сам собой, дышал тем же воздухом знаменитый, признанный, напечатанный поэт. У Вакха Ивановича стишки были не хуже, кто знает — не гениальными ли были его стишки; и все же от его присутствия не было знаменито в городе. А этот приехать не успел — все так уж и бегают и все про него знают; и каждая его строчка вроде молнии — откровение; а на самом деле стишки как стишки. Великая вещь — слава, человек скажет «и», «как» или «хочу» — боже мой, все так и похолодеют. Уверяла же Поленька, будто сила Пушкина в краткости,— он сказал: «Зима» — и в одном этом слове дал целую картину.

Поленька ушла, от нее ничего не осталось, кроме дыма. Вакх Иванович в смятении стоял у письменного стола, провидя, что благополучию и мечтам пришел конец; немыслимо более валяться на диване, слушать котовское мурлыканье! Но как действовать? Как натянуть на себя фантастическую кожу славы? Чем заставить слушать себя? Швырнуть ли в читательскую пасть том стихов и два романа? Или начать, как все, с унижения? — он ничего не знал.

Сильно потерев лысину, Вакх Иванович выдвинул ящик, достал рукописи и сначала перелистывал их, потом стал читать вслух. Ему хотелось *услышать* стихи свои со стороны, познать их силу и слабость, но сколько бы ни перечитывал строфы то мрачным, то завывающим, то «бытовым» голосом, они выскальзывали из сознания, как намыленные. Но не только стихи — себя не мог Вакх Иванович ни оглянуть, ни пощупать. Тот из гостиницы «Эксцельсиор» все время нагло *самоутвержден* конечно. Тому не нужно ни Брэмеля, ни старья,— сидит один в нумере, никого не желает ви-

деть... Вакх Иванович подошел даже к зеркалу, стал всматриваться в толстое, покрытое потом лицо свое, но ведь и это лишь было отражением в зеркале! Что за напасть!

Вакх Иванович сделал сам себе рожу в зеркало. «Мордоворот,— подумал он,— с нынешнего дня сажусь на одни лимоны, похудею пуда на два — все дело, черт ее возьми, в интуиции».

Он рванул с полки книжку знаменитого поэта, принялся читать вслух. «Ну вот,— закричал он,— это стихи?» И швырнул книгу на диван.

В прихожей опять позвонили, и, шурша сороковых годов платьями, влетели Додя и Нодя; они были обе стриженые, круглолицые, со светлыми дерзкими глазами.

— Слыхали — вот ужас, нам нужно уезжать из города, приехал пошляк, сахарная патока,— крикнула Додя.

— Он нам отравит все лето, меня тошнит от его стихов: луна, бог и добродетель! Изволите видеть — вонючка несчастная,— в один голос с Додей протараторила Нодя.

Они были, несмотря на стильные платья, очень современны: одна писала картины, другая сочиняла стихи; обе презирали всех людей, считали природу тургеневским пережитком, а небо — банальностью.

— Ну нельзя же так резко,— пробормотал Вакх Иванович,— он все-таки знаменитый человек.

— Мы презираем знаменитостей! — воскликнула Додя.

— Мы плюем на Пушкина! — крикнула Нодя.

— Нам ничего этого не нужно, мы молоды и хотим жить.

— Цветки, лужки, луна и звезды! Ах, ах, ах! Довольно пеленок! Мы не дети! Нам нужны экстазы и наркоз!

— Мы любим только уродливое!

Вакх Иванович слушал их разиня рот. Уж на что он был оригинален, а такого сквозняка никогда не устраивал, как эти две девочки. Они вертелись по комнате и трещали, глаза же их оставались холодными и дерзкими.

— Кого же вы в таком случае признаете? — спросил он.

— Себя и вас,— немедленно ответила Додя.

— И больше никого,— подтвердила Нодя.

Вакх Иванович переспросил, вытащил носовой платок, вытерся, сел на диван, и вдруг его губы, щеки, глаза раздвинулись, расплылись.

— Ну еще что выдумали,— проговорил он и принужден был опять вытереться.

Додя и Нодя так и наскочили, одна назвала Вакха Ивановича гением, другая — Нероном. Ему нужно было подняться, наконец, во весь рост и сжечь ветхий, пошлый Рим,— в зареве пожара взойдет солнце нового искусства...

...Вечером Вакх Иванович вышел со двора. В голове его уже дымило; он готовился сжечь ветхий мир. Было условлено всем собраться на дворик гостиницы «Эксцельсиор», выманить туда знаменитого поэта и надругаться.

«Пусть послушает, я его оглушу! Довольно молчания! Настал час торжества! По этим камням в последний раз иду обыкновенным человеком»,— думал Вакх Иванович.

Солнце опустилось за выжженные холмы; в гавани появились огни; зажгли маяк, и он стал повертываться то красным, то белым светом; вечерний бриз затянул город запахом водорослей и рыбы, на улицах подвалило народу; на бульваре играла военная музыка; звенели колокольчики в кинематографах.

Вакх Иванович пробирался сквозь толпу; разноцветные шары за окнами аптек освещали лица желтым, красным и синим цветом. Впереди, в кашемировых платьях, шли две мещанки, поджав губы. Из-за угла вывернулся навстречу им гарсон. Он был одет в шерстяную ливрею восемнадцатого века, купленную Вакхом Ивановичем по случаю. Сняв треугольную шляпу, гарсон поклонился девицам, спросил, куда они идут.

— Скрысь,— ответили девицы.

— Какое убожество,— прошептал Вакх Иванович,— это люди, среди которых я прозябал.

Сквозь вестибюль гостиницы «Эксцельсиор» он прошел во внутренний двор и сел у столика. Здесь, среди шпалер винограда, торчали палки с разноцветными шарами, в них отражались освещенные окна, выходящие во дворик. В одном окне толстый господин надевал подтяжки; в другом пожилая дама мазала губы помадой; в третьем кто-то, подняв руки, силился вылезти из мокрой рубашки.

Четвертое окно было затянуто виноградом. Отогнув осторожно листья, Вакх Иванович испытал сильное волнение: он увидел зеленую лампу, изголовье кровати и на подушке спокойное желтоватое лицо с рыжей бородкой.

«Вот он,— подумал Вакх Иванович, узнав поэта по журнальным снимкам,— вот он и я; историческая встреча».

Издалека послышались голоса Доди и Ноди; они вошли во дворик, громко треща.

— Тише,— прошептал Вакх Иванович,— он спит!

Тогда Нодя и Додя начали баловаться, подбрасывать ридикюль и подняли такую возню, что поэт действительно проснулся; он испуганно поднял голову с подушки, наморщил большой лоб, в желтоватых глазах его появился даже ужас, словно черти кружились за окошками, норовили ворваться; услышав свое имя, он соскочил с постели и высунулся.

Вакх Иванович сейчас же поклонился ему, вспотев и топча виноград.

— Что вам угодно от меня? — спросил поэт.— Отчего не даете мне спать?..

Он сердито захлопнул окно. Затем долго возился в чемодане, повязывал галстук, подсел к лампе, состриг заусенец; затем задумался, склонив голову, покивал ею печально; нахлобучил соломенную шляпу на глаза и вышел.

Вакх Иванович, девицы и подоспевшая Поленька нашли поэта на набережной у воды; он стоял, опираясь на трость, и глядел на красные и зеленые огни бакенов, на отражения звезд в черной воде.

Его спугнули с чистой постели, озаренной лампочкой, при свете которой можно было не думать, что на дворе

ночь, над холодной водой недостижимые холодные звезды, что скоро такая же ночь настанет навсегда.

Стоя на краю берега, поэт слушал, как глухо разбиваются у ног его волны о скользкие плиты, о привинченные к ним волнорезы. И шум этого темного моря, казалось, проходил волна за волной сквозь его грудь, ставшую слишком тонкой и безбольной. Хотелось только одного, чтобы этот покой, и печаль, и равнодушие улеглись в нем, освободили его от всего, что еще способно сделать больно, и тогда освобожденная душа раскроет, наконец, свою таинственную несказанную глубину. Он давно ожидал этого часа, знал, что он придет, и готовился увидеть въяве немерцающий свет; он должен вспыхнуть в конце его пути в этой гавани, как факел над головой.

— Вы, как поэт, конечно, вполне понимаете чарующую красоту этой ночи,— проговорил позади его томный голос.

Поэт быстро обернулся к Поленьке; она стояла, сложив руки на животе, в сумерках стараясь придать себе сладкое выражение. Он пробормотал и отодвинулся вправо; но дорогу ему преградила Додя; он махнул рукой и натолкнулся на Нодю; обе они были в больших шляпах с длинными страусовыми перьями.

— Какая пошлость — огни на воде,— сказала Додя.

— Еще луны не хватало,— сказала Нодя.

Позади них стоял Вакх Иванович; поэт был окружен.

Из краткого разговора он понял, что неподвижный толстый мужчина — местный сочинитель и что отделаться от чтения его стихов будет трудно; сердиться и говорить грубо не хотелось, поэт вздохнул и поплелся вслед за одолевшими его людьми в татарскую кофейню.

Вакх Иванович, стоя у стола, заложив руку за лацкан, а другую за спину, подняв голову, читал поэму «Нерон»:

В яме сижу я, мерцая,
И жаба, немой собеседник,
Гладит унылую спину мою
Безволосою лапкой.
Ах, отчего ж
Не рожден я, безумец, Нероном...

Он скромно опустил глаза, по щеке его поползла капля пота. Додя и Нодя с яростью закричали, что прочитанное — гениально.

— Вот еще лирическое место,— проговорил он утомленно:

Я рожден во время бури,
Тучи зачали меня,
На моей красивой шкуре
След небесного огня.
Прочь с дороги, кто я? Кто я?
Потрясется мною мир.
Я, в безлирье лиру строя,—
Богом проклятый кумир...

Поэту было грустно; он сидел, подперев ладонью лоб свой, прикрыв глаза. Иногда сквозь пальцы видел пьющую кофе акушерку, в пенсне и с папироской, и двух девиц, как пиявки прилипающих глазами то к нему, то к Вакху Ивановичу.

«Они или смеются надо мной, или очень печальные люди и тщетно ищут забвения»,— думал поэт...

Я жить хочу, я голоден, я жажду,
Хочу шампанского и много, много дев...—

взвыл Вакх Иванович...

— Это смело, это бешено!

— Это пощечина, браво, браво! — воскликнули Додя и Нодя, а Поленька проговорила:

— Как мило, когда у мужчины такие страсти.

«Какой он, должно быть, голодный,— думал поэт,— и ему немножко радостей, и этим девушкам дай, господи, минуту тишины. Как жаль, что не могу им помочь, им нужно, чтобы я обиделся. Как бы это устроить?»

Он сидел в тихом оцепенении, точно ожидая близкий приход Хозяина,— вымел и убрал дом и присел у ворот на лавочке, поглядывая, как закатывается солнце, а в пыли у ног возятся мохнатые щенята.

Хозяин был близко, он это чувствовал, он слышал его беззвучные шаги и сердце в испуге или чудесной радости переставало биться. «Готов ли? Все ли чисто?» — подумал он и с удивлением оглянул круглый стол и полуосвещенную низенькую кофейню; у прилавка все так же клевал носом губастый армянин, в печурке едва мерцали

угольки, подогревая кофейник, а над столом стояли все четверо, наклонившись вперед: акушерка, девицы и местный стихотворец; с ужасным любопытством они глядели на поэта, когда же он обвел их глазами — девицы захохотали сколь могли обидно и высунули языки, у акушерки от веселья свалилось пенсне, Вакх же Иванович гордо выпрямился, выпятив грудь.

— Он едва не упал в обморок,— проговорила Додя сквозь смех.

— Он не мог перенести, когда читал настоящий гений,— сказала Нодя.

— Я меньше всего виноват,— пробормотал Вакх Иванович,— сегодня на одного сходит божественный глагол, завтра — на другого.

Но поэт уже не слышал, что говорили дальше; ему внезапно стало до боли жаль этих людей; вглядываясь в их застывшие в гримасе лица, увидел он словно где-то в глубине их глаз пустынные поля, покрытые пеплом; там, на этих полях, ожидает каждого смерть,— придет она, и упадет человек, в отчаянии, в ужасе, без надежды...

Жалость и мука за них были так непереносимы, так сдавило горло, и сердце так забилось, словно пронзенное, что поэт промычал невнятное и, с трудом волоча ноги, вышел из кофейной; за спиной его заверещал, раскатился, захрюкал смех, затопали ногами...

Он добрел до гостиницы, с трудом отыскал свой номер и без сил повалился на постель. Над подушкой все так же горела лампа под зеленым абажуром. Глухо, мерно издалека шумело море. Точно волны, набегая и разбиваясь, подходили все ближе, грозили затопить гавань.

Ничего, кроме шума их, не слышал он, шум их был древний, торжественный и мрачный.

— Господи,— сказал поэт, положив похолодевшие уже ладони на грудь,— мне тяжко здесь, возьми меня.

Тогда в ногах его постели, точно придя по шумящим водам, появился Он. Весь светлый, точно из огня. От невидимого лица Его шли острые сияющие лучи...

НА КАВКАЗЕ

1

Февраль 1915 г.

Вдалеке, за ровным белым пространством, сиял горный хребет; жаркое солнце стояло высоко; небо синее — весеннее, и вершины далекого хребта кажутся точно выкованными из серебра. Поезд прошел Минеральные Воды, и к полудню вдруг кончилась зима. На равнине извивались речки, стояли камыши, стога, кустарники, по черным дорогам тянулись арбы на буйволах, и горы с правой стороны стали синее неба, у подножия их стелилось облако испарений. Попозже солнце залило их золотой пылью, потом, к склону дня, они стали оранжевыми, багровыми и скрылись, когда закатилось солнце. И все это время, не отдаляясь, выше всех горела разным светом двойная вершина Эльбруса.

Сосед по купе — полковник — рассказывал про жизнь в этих горах пастушеских племен — карачаев, сванов, кабарды. В южных крутых склонах выдолблены большие пещеры, в них от грозы, града и на ночь загоняются стада. Пастухи, уходя вглубь, по многу лет не видят своих аулов, куда нужно попасть, перевалив иногда четыре снежных перевала. Живут в пещерах, прикрытых берестой, устланных сухими листьями; частые стремительные грозы губят стада, не успевшие

скрыться. Иногда в ливень и град можно видеть, как по вздувшейся речке плывут черной кошмой утонувшие бараны. Из-за гор приходят абхазцы и крадут коней и быков.

Однажды полковник и его помощник, работавшие с казаками по съемке главного хребта, были приглашены на соседнюю гору есть корову к абхазцам. Полковник с помощником пошли поели, легли на кошме над пропастью; в сумерках пришли два пастуха; абхазцы им тоже дали поесть коровы; наевшись, пастухи начали спрашивать: «Абхазцы, вы у нас двух коров украли?» — «Нет».— «Побожитесь».— «Ей-богу». — «А может быть, вы?» Наконец абхазцам надоело. «Мы твоих коров украли, одну в Тифлис продали за пять туманов, другую сам сейчас кушаешь, а шкура на сучке висит».— «Мы на вас в суд подадим».— «Вот что: хочешь кушай, хочешь — убирайся к черту». Пастухи подсели к полковнику, стали жаловаться. «Как вы, рожденные рабынями, посмели меня оскорбить,— ответил им полковник,— я здесь кушал, я гость, как я могу судить моих хозяев, за кого меня считаете! Я должен позвать казаков и сбросить вас под скалу за оскорбление, но, между прочим, я вас прощаю, уходите скорей...» Таковы обычаи в горах.

О предгорных местечках я прочел в местной газете приблизительно следующее: «Война! А у нас как было много лет назад. Вон там изо всей мочи дуют в зурну и пляшут себе по щиколотку в грязи. Тут сидят и обсуждают, почему Магаме выдано из кредитного товарищества семьдесят пять рублей. Вот выполз из-за своих банок аптекарь и глядит, куда это мог бы идти начальник почтового отделения.

Около участкового начальника — обычные просители и пара оседланных лошаденок. Тихо у нас и очень грязно. Вот уже сколько времени курица старается перейти улицу и не может. Мы читаем газету — я и он. Ба! Один турецкий корпус уничтожен, другой почти тоже, третий взят в плен. «Ого»,— говорю я. «Ого»,— повторяет он. Я спешу рассказать об этой новости кому-нибудь из ближайших соседей. Они отвечают лишь удивленным восклицанием: «Ва-а!» Вот и все».

Ночью подходим к морю. Ночь звездная, темная; сильный мокрый ветер пахнет гниющими водорослями; у самой насыпи, освещенная летящими окнами, возникает пена из черной воды. На станциях глухо гудит море... Под Дербентом из земли пылают вечные огни.

Весь последний день едем на запад по необъятной, плоской и пустой равнине. Кое-где на ней стадо баранов или буйволов, иногда покажется всадник в папахе и бурке. Вдали, направо, сливаются с небом горы; уловимы только их сияющие вершины, точно длинное, без конца, свернутое облако над землей. Земля здесь плодородна, родит хлопок и рис, но мало воды; к июню равнина стоит выжженная и пустая; стада и люди уходят в горы.

С опозданием на час приезжаем в Тифлис. Обдав меня запахом чеснока, носильщик схватил чемодан, протолкался сквозь толпу солдат, горцев, всякого и по-всякому одетого галдящего люда и посадил в парный экипаж. Извозчик, молодой толстый армянин, повернул ко мне маленькую голову, обдал запахом чеснока и спросил:

— Куда тебя везти?

2

Я никогда не видел большей сутолоки, чем на тифлисском вокзале 5 февраля, хотя в этот день ничего особенного не случилось, если не считать некоторых возвращающихся беженцев.

В залах нельзя было протискаться. У кассы стоял красный жандарм; видно, как прыгали его усы, открывался рот, но голоса не было слышно; здесь же человек, похожий на Авраама, со сладкими глазами, молча показывал коробку с явно дрянными папиросами. Лакеи с тарелками кидались в тесноту и пропадали. Когда же разрешено было садиться, из зал на перрон вывалилась толпа, крича на девяти языках, и облепила вагоны; на площадках, отбиваясь от лезущих, громче всех кричали кондуктора, махая фонарями.

Таковы здешние нравы: если можно, например, постоять,— человек стоит столбом до последней крайно-

сти, после чего начинает безмерно суетиться, будто ждет его величайшая опасность.

Я с трудом занял место. Проводник, косматый старичок с обмотанной шеей, появлялся то на передней, то на задней площадках, выпихивая лезущих отовсюду восточных людей, и ругался при этом, как старая собака, беззвучным хрипом. Пробежал армянин, громко плача, — у него только что украли деньги. Появился контролер. Сказал проводнику громким и явно фальшивым голосом, что, мол, начальник движения что-то там разрешил. И проводник сейчас же всунул в вагон четверых зайцев, взяв с них по рублю. Подошли солдаты, говорят проводнику: «Земляк, подвези». — «Никак не могу, проходите». — «На чай тебе дать, тогда сможешь, крыса». — «Я тебе сам на чай дам, эх ты, голый!» — «Это я голый? — обиделся солдат. — А в ухо не хочешь?» Поезд вырвался, наконец, из всей этой толкотни. Два паровоза, дымя и свистя в темноте, потащили набитый людьми поезд на снежные перевалы. Контролер появился опять, и началось странное: двое пассажиров сейчас же заснули, лицом к стенке — их так и не могли добудиться; третий, подняв воротник, пролез мимо контролера в уборную, где и заперся совсем. «А, вы из Карповичей? Всех Карповичей знаю», — сказал кондуктор четвертому и забыл спросить билет. Ко мне в купе на каждом полустанке стучались, чего-то требовали, старались кого-нибудь впихнуть, пока я не закричал в щелку, что начальник дороги — мой ближайший друг; тогда оставили в покое.

Тоннели и снежные перевалы мы проехали ночью, теперь же двигались по неширокой долине, мимо садов, чайных плантаций, небольших домиков на столбах; было тепло, влажно и так тихо, что дымки отовсюду поднимались не колыхаясь. На станциях, затянутых ползучим виноградом, окруженных большими плакучими деревьями, выпрыгивали из вагонов смуглые оборванцы в башлыках, останавливались в гордых позах, глядели на все это — на снежные неподалеку горы, на двух буйволов, запряженных в арбу, — и точно через глаза оборванцев прямо в них переливались вся тишина, вся эта красота; раздавался звонок — они не слышали; поезд трогался,

тогда сразу, крича и толкаясь, лезли они обратно в вагоны, цепляясь за ручки, наводили ужас друг на друга оскаленными зубами.

На площадке, отворив дверь, сидел на откидном стульчике офицер: лицо у него было узкое, в морщинах, обветренное до красноты; на багровом носу — пенсне; отмокшие в утренней сырости усы висели. Он подмигнул на оборванца в башлыке и сказал мне:

— Сидит этот где-нибудь на горе, натаскает земли на голые камни, кукурузу посеет и сыт, — больше ему ничего не надо, только разве подраться. Теперь они все спокойны. А когда турки к самому Батуму подошли — большое было волнение; вся Аджария на турецкую сторону перешла; получилось глупейшее положение: турок отбросили, и у аджарцев ничего, кроме винтовки, не осталось; гляди с горы на свою деревню, — а уж вернуться нельзя. Да что аджарцы — эти в горах одичали, — сманить их было нетрудно; турки как в ловушку попались — сами на себя петлю надели. Видел я их под Сарыкамышем: такое впечатление, будто их на убой гнали сорок дней по снегу. А снега там, — он кивнул на юг, — мягкие, глубокие, рассыпчатые; на перевалах — стужа, метели; турки шли, и после них в снегу коридоры остались; по этим коридорам их и погнали обратно. А скоро таять начнет — еще хуже: такой поднимется смрад и зараза, — не приведи бог; где было сражение, где не было — везде валяются мороженые турки; чуть его ранят — отползет, помощи никакой, и замерзнет. Есть места — в пять рядов лежат. Жечь их собираются, только неизвестно, как наши мусульмане на это дело посмотрят, у них жечь не полагается. Да, помню, раз под вечер, я чуть с ума не сошел.

Поезд повернул, и с правой стороны открылось Черное море, серое под серыми лучами; соленый теплый ветер всплескивал пену иногда до самой насыпи; на скатах зеленела вечная трава и лианы; пальмы свешивали широкие листья через изгороди из серого камня.

— Наткнулись они под Сарыкамышем всего на три наших нестроевых батальона, — продолжал офицер. — Наши видят, сила, побросали инструмент и начали в турок палить из чего попало, а ночью в штыки. И задер-

жали их до тех пор, пока мы не стянули войска и обошли неприятеля, вместо чем самим в ловушку попасть. В такое отчаяние турки пришли, что лезли под огонь и на проволочные заграждения, как муравьи. Вот извольте поглядеть сюжет.

Офицер протянул мне фотографический снимок; я увидел кучу тряпок, полузанесенных снегом каких-то предметов, затем различил торчащие руку, ногу, застывшее лицо.

— Здесь их человек двести, около проволок,— метлой снег обмели немножко и сняли. У меня пулеметная команда,— в самое время мы поспели в Сарыкамыш, к разгару боя; выгрузились и засели; видите вон то ущелье; примерно так же и там сел я за горкой, а полевая наша стояла, скажем, за теми холмами. Турки же переваливали с хребта, и проходить им надо было через ущелье, где каменный мостик. Пулеметное искусство, надо вам сказать, заключается в том, чтобы видеть свой пулемет насквозь, и если он откажет — перестанет работать, в ту же минуту догадаться,— от какой это произошло причины. А причин у него — двадцать четыре. И ставятся они поэтому попарно: один отказал, другой продолжает.

Повалили турки через хребет, ружья вниз побросали и стали сами скатываться. Я открыл огонь, а за мной — артиллерия. Все остались лежать на дне. Сейчас же — смотрю — вторая партия лезет. Видят, что полон овраг набитых, все равно галдят, прыгают вниз, как черти. И с этими покончили,— дождиком из пулемета окатили — готово. А уж потом повалили они сплошной массой; и так до самой темноты. Чувствую — не могу больше убивать; такое состояние, точно волосы дыбом становятся. Слава богу, настала ночь; назавтра мы их окружили, стали брать в плен.

Вам известно, конечно, как один капитан с полутораста пластунами захватил турецкий батальон, пашу, пушки и обоз; пошел на разведку, долез до хребта, видит — лагерь; часовых снял, пластунов с трех сторон расставил, сам к паше явился, говорит: «Так и так, сдавайтесь, окружены, силы у нас огромные, артиллерия и пулеметы; саблю можете оставить при себе». А когда

привел всех к нашему генералу да рассказал, как было, паша даже плюнул — так рассердился. «Шайтан, капитан»,— говорит.

Наколотил я турок в ущелье до самого мостика. Занесло их снегом, а через недельку нижние, должно быть, начали гнить, газы пробились кверху, сквозь снег; образовался в некотором роде вулканчик. Так я, знаете, этих гор одно время видеть не мог и чаю не мог пить — противно. А здесь — благодать, весна, с удовольствием в одной рубашке хожу, недели через две купаться можно. Прощайте, мне здесь...

И он выскочил на предпоследнем разъезде перед Батумом, весело поглядывая на пестрых сизоворонок, с криком взлетающих над зеленеющими тополями.

3

В Батуме мне пришлось зайти за пропуском на позиции к знаменитому генералу Л., так нашумевшему в свое время в Персии.

Я позвонил у одноэтажного домика, где в пустой передней сидел скуластый денщик, внушающий уважение. Он ввел меня в светлый просторный кабинет. В углу прислонены высокие знамена в чехлах.

У стола стоял стройный широкоплечий человек в серой черкеске с костяными патронами и с костяной ручкой кинжала на черном поясе — генерал Л.

Он внимательно оглядел меня; его лицо с раздвоенной русой бородкой, с небольшими усами над правильным твердым ртом, с глазами холодными и серыми было чрезвычайно красивое и жуткое. Такие лица запоминаются навсегда; в них, как на камне, отпечаталась воля, преодолевшая страсти. Генерал спокойно выслушал меня, затем сказал: «Увидите на месте сами вверенные мне войска, каждый день мы продвигаемся вперед. Везде, где возможно, я даю место молодым. Честолюбие молодого офицера — в храбрости...» Он не окончил, денщик доложил о каком-то полковнике в отставке. Генерал дотронулся до моего рукава, прося остаться, и встал навстречу толстому человеку в штатском длинном сюртуке и с лицом благородным, но несколько наклоненным

от почтительности к плечу; не доходя трех шагов, он приложил одну руку к животу, другую отвел в сторону и еще почтительнее склонился; я видел, как генерал, окинув его глазами, смотрел теперь только на его руки, пухлые, белые, театрально повертывающиеся в манжетах. Объясняя свое дело (отставной полковник судился, просил пропуск до какого-то села, чтобы взять нужный документ, и настоятельно предлагал свои услуги в качестве честного и опытного офицера), он водил одной ладонью возле сердца, между прочим его не касаясь, другую же держал на отлете, все время вывертывая, желая подобной неестественностью доказать полнейшую свою готовность ко всяким услугам.

На середине его речи генерал сел к столу, написал и подал ему пропуск и глазами указал на дверь. Полковник, кланяясь, поспешно выпятился.

— Подобных сотрудников у меня быть не может, — сказал генерал. Но денщик опять перебил, доложив, что с позиций прибыл капитан Н. с запечатанным конвертом. Вошел капитан, молодой, загорелый, спокойный и бесстрастный; слегка поклонившись, он подал большой конверт с пятью красными печатями и, после приглашения, сел, глядя на носки грязных своих сапог. Генерал быстро сломал печати, прочел донесение и вежливо, как равному, отдал приказание. Капитан поднял умные черные глаза, наклонил голову и вышел, не сказав ни одного слова.

Выйдя из Батума, шоссейная дорога загибает в ущелье, начинает подниматься все круче и выше над рекой и лепится затем по отвесным обрывам, на страшной высоте, огибая все неровности, то опускается к подножиям гор, то вновь взлетает до маленьких облаков, цепляющихся за деревья.

Автомобиль, ловко повертываясь над обрывами, забирается все выше. Противоположные скаты гор исчерчены низкими каменными изгородями; кое-где за ними — сады или заплатка кукурузного поля. Кое-где — домики, часто в два этажа, крытые черепицей, деревянные или из красноватого камня. Попадаются небольшие поселки. Но нигде не видно ни человека, ни скрипящей арбы; за изгородями воет одичавшая собака, да

на крыше стоит старый, негодный для варева козел с веревкой на шее.

Весь этот край брошен; аджарцы сидят в горах, не жалея патронов; в занятых нами ихних окопах медные гильзы можно выгребать лопатами.

С каждым поворотом дороги впереди открывается узкая, извилистая, синяя перспектива ущелья. Иногда стоящая над водой острая горка увенчана круглой башней с остатками стены; сбегающей к воде. Внизу, через водопад, переброшен аркою древний тонкий мостик.

У самой воды по скалам вьется железная труба нефтепровода. Легкий теплый ветер пахнет цветами лавровишни. Из-за камней над головой свешивается желтая ветвь цветущего дрока. Повсюду в зеленеющей траве — фиалки и барвинок. Мы спускаемся, на повороте обгоняем двухколесную арбу, запряженную буйволами. Черные животные поворачивают к нам высоко поднятые морды и смотрят приветливо, словно хотят сказать: «Ду-у-ушенька!»

Внизу, у реки на зеленой отмели, между изгородями и домиками, стоят белые палатки и поднимается дым; пасутся лошади, прохаживаются солдаты; стоят две пушки на зеленых лафетах, а подальше, вдоль воды,— брезентовые двуколки, с красным крестом, и опять палатки, дым и лошади,— здесь лагерь, штаб отряда и Красный Крест, а выше — в крутых зеленых склонах горы, в непроходимой чаще рододендронов — гниют турецкие трупы. Мы спускаемся в лагерь. Всю долину закрыла вечерняя тень; слышны веселые голоса, лошадиное ржание. Мой спутник, мировой судья, развертывает здесь новый питательный пункт, и для этого ему надо переговорить с генералом М. По пути нас останавливает военный доктор, спрашивает, где мы ночуем.

Мы входим в просторную, высокую мечеть; посреди ее разбита палатка командующего. Сам генерал сейчас сидит за некрашеным столиком у окошка; на нем — солдатская шинель и картуз с большим козырьком; лицо краснощекое, чисто выбритое, с седыми усами,— французского типа; перед ним — тарелка с борщом, ломтики черного хлеба и оливки на блюдечке. Напротив, у другого столика, за телефоном сидит адъютант в поношен-

ном полушубке. Сейчас, очевидно, минута затишья, донесений не поступает, приказания уже все посланы, на правом фланге, у моря, мы занимаем одну высоту за другой, миноноски обстреливают Хопу. В двенадцати верстах отсюда артиллерия сдерживает густо насевших турок. Генерал и адъютант его мирно беседуют. Генерал встречает нас радушно, предлагает борща и чесноку, рассказывает, что наши разведчики только что видели на левом фланге восемь человек офицеров в прусских шинелях и касках. Я спрашиваю, много ли среди неприятельских войск немецких солдат.

— Солдат нет,— говорит генерал,— а немецкого полковника одного наши солдаты недавно закололи,— вот здесь.— Он указывает пальцем за окно на зеленую гору.— Да, знаете ли, уж такое мое занятие, сидеть в узле телефонной сети. А полазил бы я по горам, подрался; завидую молодежи, так, пожалуй, за всю войну ни одного турка и не увидишь.

Зазвонил телефон.

— С наблюдательного пункта,— сказал адъютант,— турки очищают деревню.

— Продолжать обстрел,— ответил генерал через плечо.

Адъютант передал приказание на пункт и в батарею и подошел к нам.

— Завтра утром на позицию поедете,— сказал он,— все-таки поостерегитесь. Ночью был туман, турки спустились к самым нашим цепям. Увидите сами — любопытное зрелище; пока заряжают пушку, наводят, дают огонь, ничего на горе не видно, а после выстрела сейчас же показывается где-нибудь усатая рожа и по всей горе — «ба-тум», «ба-тум», «ба-тум» — затрещат ихние винтовки...

4

В сумерках маленькие облака сползли с гор, оказались сырыми серыми тучами, заволокли узкую долину, осели над водой и заморосили.

Из лагеря мы повернули назад и версты через две оставили автомобиль около брошенной прежним хозяи-

ном корчмы, где догадливый грек уже раскинул мелочную лавочку, повесив перед дверью керосиновый фонарь, зыбкий и желтый сквозь дождевое облако. Покричали перевоз и спустились, точно в погреб, к шумным волнам Чороха.

Отсюда на ту сторону перекинут стальной канат; на нем на блоке и цепи ходит большая лодка, двигаясь быстротой течения в ту сторону, куда повернут ее нос; два матроса, молчаливые и суровые, день и ночь перевозят здоровых и раненых.

На той стороне мы отыскали по светящимся в тумане окнам двухэтажный дом, где жили до войны пограничные чиновники; на каменном крыльце стоял толстый врач, расставив ноги, заложив руки, смотрел на дождик. «А, судья, с инструментами, яблоками и мармеладом»,— сказал он. И мы взошли наверх в светлые, обшитые тесом комнаты. Из дверей выглянули сестры, радостно закивали головами; в небольшой столовой у окна сидела за столом строгая худая дама, старший врач лазарета, хирург,— «настоящее сокровище». Ее трудами был оборудован этот госпиталь, куда с гор и перевязочных пунктов стекаются раненые, моются в бане, перевязываются, едят и, если не нужна спешная операция, отправляются на другой день в батумские госпитали.

Она провела меня по всем палатам, попросила бородатого солдата рассказать, как он был ранен. Солдат, с черной ручищей на перевязи, сел на койке, принялся рассказывать одну из тех немудрых историй, удивительных своей простотой и наивным мужеством, в которой рассказчик хорошо не знает, чему, собственно, господа дивятся: не тому же, что он, раненный и окруженный турками, словил одного за шиворот и, отбиваясь, так его и не выпустил, представил командиру.

Затем она подошла к койке у окна, нагнулась над больным казаком; казак, похожий на сына Иоанна Грозного, умирал, часто со стонами и вздохами дыша, перебирая по одеялу пальцами. «Часа через два — кандидат наверх»,— сказала врач и нежно провела рукой по его лбу. Он же, подняв сухую губу, обернулся к ней, тряся головой, точно смеясь.

Затем доложили, что внизу, в конторе, дожидаются новые раненые. Они сидели на лавке, держа грязные винтовки: курносый, страшно возбужденный мальчик-доброволец, низенький мужик, заросший, как леший, и длинный, унылый солдат.

Мальчику ужасно хотелось поговорить; леший попросил чаю. На вопрос, много ли турок, «как черви лезут», — ответил он равнодушно. Унылый солдат молчал. Его спросили: «Ты ел?» — «Нет». — «Есть хочешь?» — «Ну да, хочу», — и принялся есть из мисочки вкусную похлебку, осторожно вытирая каждую ложку о хлеб, чтобы капелька не упала; мальчик-доброволец, наконец, добился внимания, принял геройский вид и стал рассказывать, как их ползло семь человек к окопу, как из окопа все высовывался турок с вот этакой мордой и глаза — во, как турку они застрелили, закричали «ура», побежали в окоп, и он, мальчик, первый захватил у мордастого ружье.

Вскакивая, ко всем повертываясь, он показывал старинного образца винтовку; губы его дрожали — так был счастлив, что ходил в штыки и убил настоящего турка.

Попозже в столовую, где мы сидели у самовара, вошел давешний доктор; он верхом прискакал из лагеря; был весь мокрый — папаха, худое лицо, усы, шинель.

— Вот и я, — сказал он, стаскивая с себя верхнюю одежду, — два раза чуть не слетел с лошадью в Чорох, такая чертова темень. А у вас — самоварчик. Не прогоните?

— Гляжу я на вас, — обратился он ко мне,— завтра можете взять и уехать в Ташкент, вы — чудо, а не человек.

— Нашли куда ехать, — сказал доктор, — я понимаю — в Москву, а у вас в Ташкенте — пиндинка и пыль и ничего хорошего.

— Пиндинка! — восторженно закричал он.— Верно, у меня на ноге была и на носу. А пыли такой нигде больше нет. Знаете, когда война кончится, — я не сразу туда поеду, а морем чрез Одессу и Петроград, чтобы удовольствие продлить. Я оттуда двадцать четвертого июля уехал и тогда же в последний раз в моей жизни

напился. Теперь предлагайте — не хочу, а вы говорите: чудес нет, — эге! Так же приятель мой, сотник Иванов, видели? Чудовище! В дверь эту ни за что не пролезет. Начнет, бывало, баранину есть — смотреть жутко: ножищем отвалит кусок, намажет горчицы полбанки и ест, проклятый. Соответственно этому и пил; а сейчас, смотрю, шестой месяц трезвый; я ему: «Сотник, да что с тобой?» — «Не могу, говорит, война совсем меня от вина отшибла». Вы знаете, как он третьего дня позицию занял? — доктор засмеялся весело. — Послали его с сотней занять такую-то высоту; долезли они туда только ночью; видит — окоп, неподалеку, шагах в трехстах, турки стреляют; он говорит: «А, это же наша позиция», — сел под куст, человек четырнадцать часовых выслал, горчицу эту свою достал, устроился. Пластуны натаскали сучьев, развели костры, разулись, сало из карманов вытащили, наладили котелки, — ленивые все, как буйволы. Диву дались турки, — перед самым носом расположились у них дяди, ружья сложили в козлы, кто захрапел, кто перед огнем поворачивается с бока на бок. Турки обождали полуночи и поползли; было их человек триста; часовых сняли, приноровились всю сотню живьем взять, по двое на каждого нашего кинулись. Сотник во сне чувствует: схватили. Вскинулся, палка ему попалась от котелка, начал ею отбиваться, кричит: «Братцы, сонных вяжут!» А пластунам главное дело обидно, что сало их потоптали, переопрокинули все котелки. Они и рассердились. Часа два шла возня. Иванов говорит: только и слышно было, как черепа трещат; осталось на этом месте сто девяносто два турка, совершенно изуродованных, а пластунам пришлось всем ружья потом менять — приклады были поломаны. Так с позиции этой и не ушли, хотя и питались неделю одними сухарями.

Много еще историй рассказывал веселый доктор. Затем мы взяли фонарь и пошли в другой дом ночевать. В свете фонаря падали большие отвесные капли теплого дождя. Глухо шумела река... Пахло сыростью, цветами и землей. Из темноты выдвинулась лодка с двумя мрачными матросами. Приглядевшимся глазам стал приметен в тумане мутный месяц.

5

Облака, выморосив за ночь весь дождик, поднимались на лесные скаты гор, становились белыми, отрываясь, уходили в темно-синее небо и таяли. Мы снова проехали лагерь и двигались над рекой. Перспектива ущелья то озарялась, то гасла, освещенная солнцем из-под облаков. С каждым поворотом выступали вдали то синие, то бурые, то зеленые кулисы гор; направо и налево, невидимые вчера, стояли каменные снежные вершины, курясь белыми тучами.

Навстречу попадались всадники; лошади их, храпя на ворчащий, как демон, автомобиль, пятились к краю обрыва; всадники соскакивали, прижимались с лошадьми к скале. Буйволы, запряженные в арбу, повертывали к нам головы приветливо и радушно; им было мило все на свете, к тому же они были так ленивы, что, завидя лужу, тотчас ложились в нее и лежали так долго, что на спину им забирались лягушки.

Миновали расположившийся в котловине у воды бивак пластунов; казаки в серых черкесках, в мохнатых шапках лежали на траве лениво, как буйволы; иные играли в орлянку, в карты. Прокатился по ущельям, отозвался много раз пушечный выстрел.

Миновали второй бивак, артиллерийский обоз. Артиллеристы тоже кто сидел, свесив ноги под кручу, кто пристроился на куче песку, двое ловили картузами ящерицу; при виде нас они сделали вид, что сморкаются. И один за другим неподалеку громыхали тяжкие выстрелы мортир; надрывающий шелест снарядов уносился в синее небо, за гору, в солнце.

«А вот там турки сидят»,— сказал офицер, указывая пальцем на лесной скат высокой горы по ту сторону Чороха. Тогда я решил, что надо почувствовать, наконец, близость войны. Здешняя война не казалась даже отзвуком мировой катастрофы. Здесь ее понимают как необходимое продолжение бог знает когда начавшейся возни с мусульманским миром. Сейчас эта возня приняла бóльшие размеры, и только. На турок никто не обижается, никто их не ненавидит; больше внимания уделяют восставшим аджарцам; и война ведется не спе-

ша, спокойно, как во времена Лермонтова и Льва Толстого.

Здесь храбрость и ловкость одного человека — солдата или офицера — имеют существенное значение. На том фронте за боевую единицу считают группу людей — взвод, роту, эскадрон; здесь один человек может решить участь битвы.

Около лагеря, где я был вчера, стоит гора — пять с чем-то тысяч футов; ее занимали одно время турки; их позиции были сильны, и наши войска повсюду попадали под жестокий обстрел.

Один из казачьих (пластунских) сотников — отчаянная голова — провинился в то время, не помню чем; генерал призвал его и сказал, что свой поступок он может совершенно загладить каким-нибудь не менее отчаянным делом, то есть вместо суда получить георгия. Сотник тряхнул бритой головой, попросил день срока, в ту же ночь выбрал двадцать восемь пластунов, сказал им речь такого рода, что они рассвирепели, и полез с ними на знаменитую гору. Пластун, выведенный из раздумья, стоит троих; что произошло на горе, никто хорошо не знает: слышали недолгую стрельбу, крики; турки в составе двух рот поспешно очистили гору, оставив множество оружия, убитых и раненых. Сотник получил крест.

Место, где стоял на шоссе горный артиллерийский обоз, было последним безопасным,— далее вся дорога обстреливалась. Мы оставили автомобиль и двинулись пешком, огибая высоко над Чорохом синеватые скалы.

Прямо на шоссе стояло на железном лафете орудие — такое длинное, что жерло его висело над пропастью; оно обстреливало занятые турками деревни за девять верст отсюда.

Далее вниз, по скату, раскинулась деревня Борчха — наш крайний пункт. Здесь Чорох, разливаясь в сияющую под солнцем заводь, круто поворачивает налево. На той стороне стоят развалины гигантской древней крепости; две квадратных башни граничат ее в начале загиба реки и в конце. Ослепляющее солнце поднимается за крепостью, за турецкой горой, на той стороне.

У крайнего белого домика на крыльце стояли два офицера, курили и смеялись. Из двери вышел капитан без шапки, взглянул на нас, повернул голову и сказал: «Правее, два».— «Правее, два»,— повторил шагах в двадцати от него бородатый мужик в шинели. «Правее, два»,— сказал еще дальше второй бородач, сидя на парапете над пропастью. «Правее, два»,— донеслось из-за заворота скалы. Капитан вынул папироску, прищурился на гору и сказал: «Огонь».— «Огонь»,— повторил бородатый мужик. «Огонь»,— сказал сидящий. «Огонь, огонь»,— удаляясь, заговорили за скалой, и громыхнул тупой, как рев, выстрел пушки неподалеку.

Капитан выпустил изо рта дымок, повернулся на каблуках, ушел опять в домик к телефону.

Я побрел вдоль цепи солдат к орудию. Несколько глинобитных построек с края обрыва были исчерчены пулями. Дальше, у скалы, лежали рядком гранаты и шрапнель. Молодой солдат нагнулся к снарядам, поднял один и понес. «Огонь», «огонь»,— пробежало по рядам, перегнало меня, и за выступом скалы опять ударила пушка; в небе на мгновение метнулся черный снаряд и заревел в высоту, за гору, отдаваясь в ущельях.

Я подошел к орудию, оно еще дымилось. Прислуга хлопотала около, чистила банником, накатывала; это была хорошая старая крепостная пушка, чрезвычайно пригодная для гор. «Уши бы надо, ваше благородие, закрыть»,— сказал кто-то позади меня. Я не сразу понял и обернулся, оглядываясь. Вдруг в уши мне, в голову, в грудь стукнул тупой удар, лицо осыпало песком: это пушка выплюнула гранату и, подскочив, отпыхивалась. Солдаты улыбались, глядя на меня...

На обратном пути около домика меня остановил офицер, здороваясь представился штабс-капитаном В., указал на шагающего с винтовкой солдата и проговорил:

— Много в газетах о разных геройских подвигах пишут, а вот этот так и умрет — никто о нем не узнает. А по-моему, он — герой.

В это время герой проходил мимо; я всмотрелся: весь он был в морщинах, глаза выглядывали из-за мохнатых каких-то щелок, русая бороденка росла отовсю-

ду, где только могла, ростом был так себе, сам неказист, точно выкопали его откуда-то плугом, как корягу.

В. продолжал:

— Он, изволите видеть, третьей очереди, пригнали его во Владикавказ, заставили перед казармами улицу мести, — словом, на легкую работу; видят — хилой мужичонка и семейный. Помел он улицу с неделю, явился по начальству и говорит: «Я с китаем воевал и с японцем, нам подметать мусор неудобно; уж коли от своего деревенского дела отрешили, дозвольте воевать». Его прогнали, конечно. Взял он хлеба каравай из пекарни, ночью тайком ушел по Военно-грузинской дороге в Тифлис, там порасспрошал, на вокзале проводника побил: «Как ты, говорит, с воина смеешь деньги требовать», — приехал в Батум и сюда прямо, ко мне: «Ваше благородие, слышал, что вы разведчиками командуете. Дозвольте у вас послужить». И с первого же раза проявил отчаянность, и не совсем отчаянность, — все-таки отчаянный человек вроде пьяного, а этот линию свою рабочую до конца гнет, и никакого страха у него, разумеется, быть не может. «Ну, я думаю, шалишь, брат, я тебя зря терять не хочу». Вот, видите, ходит, коли не особенно нужно, он у меня на отдыхе, а беру его в самое что ни на есть трудное дело. И представьте, на днях получаю бумагу из Владикавказа, что он предается суду за побег. Хорошо? Нет, пусть они меня тоже судят. Я им отписал, что такой-то солдат представлен мною к георгиевскому кресту.

В. повел меня к себе в хибарку угощать чаем и свиной боковиной. В комнатушке у него были навалены турецкие винтовки, караваи хлеба, одежда, сапоги, табак и проч. Отодвинув на столе мусор, он очистил местечко, подал стакан чая, сам сел напротив, облокотился, подпер кулаками загорелое, суровое черноусое лицо свое и спросил, что, быть может, мне неприятно сидеть у окошка.

На вопрос: почему? — пожал плечами: «Черт их знает, в окошко из того вон ущелья частенько стреляют, разумеется не попасть, расстояние большое; а вчера, например, засыпали нас пулями; мы от нечего делать

начали отвечать из винтовок, студент-санитар и тот стрелял».

В., прихлебывая чай, попыхивая папиросой, рассказал про свое дело — разведку, вообще одну из важнейших операций в современной войне. Здесь, на Кавказе, наши и турецкие войска сидят небольшими кучками на вершинах; нашим войскам приходится выбивать противника с каждой вышки артиллерийским огнем, или штыковой атакой, или обходом, перерезывая питательную артерию. При таких условиях разведка чрезвычайно трудна: приходится в непосредственной близи неприятеля, иногда в ста — пятидесяти шагах, карабкаться по скалам, прятаться за камнями. Турки по ночам спускаются вниз небольшими отрядами, занимают щели, камни и поутру оттуда открывают стрельбу в упор. Никогда нельзя быть уверенным, что час назад чистое пространство сейчас не занято и неприятель в тылу. Усугубляется еще трудность тем, что турецким каторжникам, выпущенным из Трапезунда, и аджарцам выдается премия за каждого убитого русского, за его отрезанные уши, поэтому в густой чаще рододендронов, в зарослях лиан часто находят наших солдат обезображенными.

Руководя разведкой, В. ежедневно раза два поднимается в горы, проводит там всю ночь, прислушиваясь к звукам, приглядываясь к огням. Подкрадывается к вражеским часовым, снимает их или забирает в плен. Улучив удобное время, появляется со своими лазутчиками перед окопами, и турки, завидя перед носом узенькие штыки, надвинутые на уши фуражки, в ужасе бросаются по кустам, покидают высоту.

Рассказал В., как явился к нему с просьбой принять в разведочную команду молодой солдат, рябой и безусый, как работал всегда впереди, ловко и мужественно; а когда его ранили — оказалось, что это баба: бывшая укротительница зверей; цирк прогорел, лев у нее сдох, она и пошла воевать.

В. повел меня обедать к прапорщику. В узенькой душной комнатке с окном, повернутым к туркам и завешенным от соблазна ковром, сидели шесть молодых

офицеров. Расторопный денщик ставил на стол горы котлет, жареной баранины и вареной, разносил в оловянных тарелочках похлебку. Бутылки с вином и водкой стояли на столе, но никто не пил. Все были и без того веселы и здоровы с избытком. Накинулись все на еду, как волчата; с полным ртом один говорил: «Ей-богу, никогда есть так не хотелось»; другой повторил: «Вот это так котлеты»; третий: «Странная история — какой в горах аппетит». Затем кто-то заговорил об аджарцах, и поднялся шумный спор из-за того, простят их или запретят являться на родные места, и также о том, может ли вообще русский мужик сидеть в горах, как аджар, не заскучает ли на одной кукурузе. «Русский мужик, знаете, это вещь серьезная»,— решено было под конец.

6

Пароход грузился хлебом, сеном и припасами. На просторной открытой пристани, стоящей в воде на железных устоях, громыхали подвозимые к трапу телеги, ругались солдаты и матросы. Мирные аджарцы и оборванные персы в круглых, как трубы, барашковых шапках терпеливо дожидались очереди войти на палубу. Большой черный пароход уже свистел два раза; из бока его валил пар. Капитан торопил затянувшуюся погрузку.

Я лег на крышу трюма. Здесь же два солдата устроились с кипяточком: вынули из ситцевого платка полкраюхи и отрезали по ломтю, у обоих в карманах штанов оказалось по кусочку сахару; налили в жестяные кружки желтоватый кипяток; жмурясь от удовольствия, начали его прихлебывать, осторожно откусывая то от ломтя, то от кусочка; подошел третий, загорелый, плотный, чистый парень, посмотрел веселыми глазами.

— Кружку достал? А то и чаю ниночем не дам,— сказал один из водохлебов, высоченный солдат в полушубке.

Парень показал жестянку из-под консервов, щелкнул по ней ногтем:

— Хорошему человеку всегда дадут.

Высоченный налил ему чаю в жестянку, а другой проговорил:

— Да у него сахару нет. Он всегда так: придет на батарею ужинать — у него ложки нет.

— Я с сахаром не охотник, — ответил парень.

Высоченный не спеша шмыгнул носом, залез в штаны, вытащил замусоленный обгрызочек сахару, проговорил:

— На тебе кусочек.

Парень живо его сунул в рот и раскусил белыми, как кость, зубами.

Пароход двигался вдоль берега....

Город миновал; горы, с левой стороны от нас, подошли к морю. За их зелеными увалами светились снежные, словно выкованные из серебра, вершины. Развалины древней крепости на пологой отмели заросли плющом и лианами.

Перед нами далеко в море уходила желтая полоса пресных вод. Когда мы вошли в нее, в снастях и реях засвистел ветер, пахнущий снегом и цветами; он с силой вылетал на свободу из тесного ущелья.

Из желтоватой воды, из-под самого пароходного носа, стали выпрыгивать проворные водяные жители — дельфины; крутым побегом они выскальзывали на воздух, опустив хвост, описывали дугу и вновь погружались без всплеска.

В небольшом заливе, близ заросших кустами развалин древнего города, пароход бросил якорь. Три раскрашенных крутоносых лодки отделились от берега, где толпился народ и желтели пустые снарядные ящики. В первую лодку стали разгружать хлеб, во вторую по трапу спустились приехавшие, — среди них была сестра, отвозившая в город раненых, тихонькая, светловолосая, с простым утомленным лицом. Она задержалась, ступив на трап, потом оглянулась беспомощно: зыбкий трап, с веревкой вместо перил, качался над бездонной в этом месте зеленой глубиной; я взял сестру за кисть руки и попросил сходить не боясь; она послушно стала спускаться; на середине лестницы я почувствовал, что она почти теряет сознание от страха, но лишь ладонь

ее вспотела внезапно, да несколько минут, пока ехали в лодке до берега, лицо оставалось бледным.

На берегу, на серых камешках, дожидались сена и хлеба обозы. К подъехавшей барке с хлебом подошли человек тридцать солдат, стали в два ряда, и с борта по воздуху, через солдатские руки, полетели караваи черного хлеба.

Сестра указала мне дорогу в лазарет. Недалеко от берега, между древних фундаментов, позднейших оград с татарскими памятниками и сожженных кустарников, начиналась узкая, всего аршина два, мостовая, сложенная из больших камней, как римские дороги. Через неширокий поток перекинут каменный мост, и другой вдалеке, а еще дальше стояла крепостца с квадратной башней, обвитой вечнозелеными лианами. На следующий день я побывал в этой крепостце; от нее сохранились два ряда стен с вросшими между камней чинарами, куда, заслышав мои шаги, уползли со свистом несколько змей, маленький замок с остатками копоти и фресок на сводчатом потолке да башня, ее узкие бойницы обращены на ущелье и море.

Но еще заманчивее замка — мосты, крутой полуокружностью перелетающие через поток; казалось, они должны рухнуть, если сядет птица на них, — до того были тонки; но уже много столетий переходили через них ослики, груженные вьюками, и тяжелые арбы с круглыми дисками вместо колес; город разрушен до основания, стерлась память о населявшем его народе, а мосты все еще стоят, напоминая, что не всегда жили здесь полудикие аджарцы, умеющие только сеять кукурузу да ставить на высоких чинарах кадушки для диких пчел.

На большой, чисто выметенной площади, окаймленной с севера цветущим яблоневым садом, а с юга — орехами и чинарой, стояли четыре здания, еще недавно попорченные шрапнелью. Напротив них раскинута большая парусиновая палатка и строился дощатый балаган: это и был приморский лазарет, в несколько дней оборудованный уполномоченным гр. Шереметевым, доктором М. и его женой.

Мне показали все помещения, конюшни для вьюч-

ных лошадей, склады белья и полушубков, затем повели обедать в татарский дом, в светлую небольшую комнату с огромным очагом и резными дверцами шкафов.

Доктор и его жена поднялись, как обычно, на рассвете и сейчас, к двум часам, были без ног. А дела не убавлялось, и они, присаживаясь на минуту к столу, рассказывали со страстью о своей работе.

За окном послышался топот лошади. Доктор сказал:

— Это Орлов, должно быть, обедать приехал.— И в комнату вошел загорелый широкоплечий поручик; у пояса его висел маленький барабанный револьвер; штаны, лягушиная рубашка; даже эполеты были засалены, запачканы, местами прожжены.

— Вот он вам и покажет дорогу на позиции,— сказал доктор.— Пообедайте и поезжайте, у него и переночуете. Человек в некотором роде замечательный. В одной этой рубашке просидел весь декабрь и половину января на горе, на шести тысячах футов.

— Ничего замечательного нет. В горах простудиться нельзя,— проговорил поручик. Голос у него был крепкий, хриплый, глаза зеленые, зубы белые.— Все-таки пришлось потом ноги лечить; до сих пор считаюсь инвалидом, состою в слабосильной команде, на отдыхе. Сорок пять дней без отдыху воевал, слава богу.

Он был моряк, дрался с японцами — был тяжко ранен — и сейчас по собственному желанию списался на берег, чтобы повоевать на суше.

В декабре он получил спешный приказ занять со своей полуротой такую-то высоту; без провианта, в одной рубахе, сейчас же выступил и к ночи влез на снежную гору, где и окопался. Высота эта оказалась чрезвычайно важным пунктом; турки сосредоточили на ней большие силы, стреляли полтора месяца день и ночь. Денщик Орлова вырыл в снегу логовище, раздобыл для барина бурку и не переставая жег у входа костер. Во время метели, когда нельзя подвезти вьюки, солдаты и Орлов ели одни сухари; когда мороз крепчал, зажигали больше костров и грелись около них, не обращая внимания на свистящие в метели ча-

стые пули; на рубашке Орлова до сих пор остались следы угольков. Он никогда не мог заснуть дольше чем на час,— его будил или холод, или сознание, что за вьюгой, в темноте, карабкаются турки; но всегда был весел, потому что только этим да разделением тягот наравне с солдатами можно было поддерживать в них бодрый и твердый дух.

Во время наступления Орлов спустился в долину и сейчас же занял новую высоту. Турки на этот раз оказались очень энергичными: значительными силами они окружили гору, отрезали доставку провианта и пошли на приступ. Орлова сочли погибшим: горячий бой развернулся по всему фронту, и, чтобы выручить полуроту, нужно было отбросить всю толщу турок. Ночью Орлов сигнализировал электрическим фонариком, что еще жив, имеет пять раненых и двух убитых. Он подсчитал патроны, оказалось по двести пятьдесят на человека. Тогда он принялся всю эту ночь и следующий день обстреливать частым огнем пологий западный склон горы. Турки в этом месте подались и попрятались в окопы. Вечером он сам пошел на разведку, был атакован, турка, бросившегося на него, убил из маленького своего барабанного пистолетика, определил уязвимое место турецкого расположения и ночью ринулся туда со всеми солдатами, унося раненых. Взбешенные турки сделали все, что могли; они убили еще четырех наших и многих ранили. Орлов вывел свою полуроту к морю, к нашим войскам и явился перед офицерами без шапки, одичалый, голодный и веселый; было похоже, что он свалился с того света.

Солнце зашло за лесистые вершины; в ущельях поднялись влажные испарения. Орлову и мне подали верховых лошадей — гнедую и сивую; мы шажком проехали через сад, спустились к шумному потоку и гуськом двинулись по узкой тропе, вьющейся вдоль ущелья, над зелеными огромными камнями и водопадами горной речки. Пахло туманом и цветами лавровишни. Орлов посвистывал, сдерживая каракового жеребца. Тропа то падала вниз, то, круто заворачивая, лепилась по гребню скалы. Совсем стемнело, над горами высоко стоял месяц, загнув кверху острые рога.

Мы въехали в деревеньку; в неясном сумраке белели яблони, тонкие деревца миндаля растопыривали редкие и длинные прутья с цветущими пуговками, пышные заросли рододендрона пылали темным цветом.

Мы соскочили у крыльца ветхой избенки, отдали матросу лошадей и вошли вовнутрь. В первой дощатой комнате перед нарами горел на земляном полу костер; с потолочной балки свешивался на цепи котелок, вокруг огня сидели чумазые солдаты; в дверях второй комнаты, у денежной шкатулки, стоял часовой, блестел от огня его штык и краснела щека.

— Чайку нам поскорее да сальца поджарить,— весело крикнул Орлов, проходя мимо костра и часового в третью комнатешку.

7

Орлов прибавил в жестяной лампе огоньку и, присев за ветхий столик, принялся просматривать поданные ему бумаги. Комната была в два окошка; вдоль стен лежали низкие татарские нары; на них в углу постлана кошма и валялась ситцевая подушка — постель поручика; в другом углу стоял, бог знает откуда попавший сюда, круглый столик, какие бывают у зубных врачей; на нем в бутылках — цветы; в дальней стенке — большие щели; сквозь них виден огонь костра, слышны негромкие голоса сидящих вокруг солдат.

— Туман сам знаешь какой,— говорит за стеной солдат у огня.— Поползли они с горы, а мы стрелять; они тут же закопались в землю, как черви.

— Видишь ты — как черви,— повторил в раздумье другой голос.

Входит матрос; на нем поверх одежды парусиновая рубаха, парусиновые портки, грязные, даже совсем черные; на голове — детская шапочка с ленточками; он держит сковородку с прыгающим на ней салом и кусок калача; руки у него такие же черные, как сапоги; лицо румяное, с большими усами; он предлагает мне сала и чайку таким приятным голосом, что становится вкусно.

Орлов кончил писать и спрашивает, где доктор. «А я же не могу знать»,— отвечает матрос. В это время в дверях появляется странная фигура: худой, чрезвычайно бледный мужчина с редкой и рыжей бородой; нос, углы губ, веки и борода висят у него вниз, как отмокшие; на голове — барашковая шапка, одет в синий какой-то капот с остатками серебряных пуговиц.

— Доктор, не хотите ли чаю с нами? — говорит Орлов.

Не ответив, доктор садится на стульчик; в руках у него — длинная палка, положив на нее руки, он смотрит на лампу.

— Хожу весь вечер, хожу — нет нигде свечки. Неприятно в темноте сидеть,— говорит он тоскливым голосом.

Орлов спрашивает его, не прибыло ли еще больных в команду, рассказывает про сегодняшний день. Мы беседуем о разных вещах, касающихся войны и не касающихся.

— Свечки нельзя найти здесь, как неприятно,— опять говорит доктор.

За все это время он ни разу не пошевелился.

После чая мы выходим на воздух, двигаемся мимо плетней и орешин вниз к потоку; от луны, чуть задернутой туманом, светло. Доктор с длинной палкой медленно идет за нами. Я обращаюсь к нему, говорю, что никогда в жизни не видел подобной красоты — сочетания моря, снега и цветов.

— Что-то мне мало нравится природа. Так, какая-то,— говорит доктор,— в Киеве лучше.—И, постояв, он возвращается в лагерь.

Мы переходим через мостик; на косогоре виден костер, темные фигуры солдат и профиль большой пушки.

— Ровно в половине седьмого она разбудит нас,— говорит Орлов.— Я вам советую дождаться обоза; вьюки пройдут около восьми часов, с ними и доберетесь до позиций.

Мы так же медленно возвращаемся; летучая мышь все время ныряет над головами, должно быть она привыкла, что около людей толкутся комары.

— Что это доктор какой мрачный? — спрашиваю я.

— Так. Он, знаете, из Киева, домосед,— отвечает Орлов,— человек очень все-таки хороший.

Доктора мы встречаем около домика.

— Достали свечку? — кричит Орлов.

— Матрос нажевал воска, устроил свечку; воняет очень, как у покойника,— отвечает доктор тихим голосом.

В комнате уже приготовлена мне походная постель: парусина, растянутая на множестве ножек, таких тонких, что страшно повернуться. Орлов ложится на кошме не раздеваясь, только сняв фуражку. Перед сном он копается в своем имуществе: ранце, где лежит смена белья, коробка папирос, бутылка коньяку и рыжая, простреленная папаха,— вынимает солдатскую газету, издаваемую в крепости, придвигает лампу и устраивается почитать на ночь, но я успеваю только повернуться на своей сороконожке — Орлов уже спит.

Разбудил меня глухой выстрел и грохот, долго катавшийся по ущельям. Я открываю глаза. Совсем светло, за окном — легкий туман и пощелкивают соловьи. Орлова уже нет в комнате; его голос, еще более хриплый, и голоса солдат слышны с крыльца. Матрос опять приносит подпрыгивающее на сковородке сало и чай в банках из-под варенья.

— Доедете с вьюками до питательного пункта,— говорит мне Орлов.— Лошадь оставите при палатке, а сами лезьте наверх, где стоит наша батарея; оттуда видны турецкая равнина и Хопа, ее сейчас обстреливают наши суда. В батарее спросите капитана Н. Милейший человек, он вас и завтраком покормит, да кстати не забудьте посмотреть на Маньку, на его денщика. Знаменитый денщик! Приготовляет баранину на тридцать восемь фасонов, пудинг из нее делает. Был с ним такой случай: сидел капитан с этим Манькой на горе, в снегу. Внизу — деревня, позади нее — турки; деревня пустая — одни куры бродят. Капитан загрустил, напала на него меланхолия. Манька все поглядывает на его благородие, видит: дело плохо. А на горе в ту пору одни только сухари ели. «Поесть бы вам курятины»,— говорит ему Манька. Капитан чего-

то буркнул в ответ, Манька ушел; а потом смотрят — он в деревне за курами бегает и турки по нем стреляют из окопов. Он все-таки одного петуха схватил да в кусты с ним, за камни. Притащил на гору и сварил. Капитан ему говорит: «Не могу же я тебе, дураку, за петуха крест дать. Не смей больше слезать с горы без моего разрешения».

Ровно в восемь часов прошли провиантские вьюки. Я сел на свою лошаденку и тронулся за ними. Узкая тропа вилась вдоль ущелья. Внизу в камнях шумел поток. С правой стороны поднимались то отвесные скалы, то откосы, поросшие рододендронами и чинарами; с левой стороны — обрыв.

Рододендроны в полном цвету; среди лапчатых, глянцевитых листьев пылали темно-лиловые чаши цветов. На лавровишне распускались белые пахучие свечки. Встречались поляны, сплошь синие от фиалок. Тропа медленно поднималась в гору. Иногда из лиловых чащ рододендронов с шумом вырывались водопады и падали в пропасть. Лошади переходили воду осторожно, нюхали ее. На камешке сидел солдат; ружье и амуниция лежали подле; он мылил себе лицо, шею и бритую голову, фыркал, и вода текла с него совсем черная. Дальше шли два усталые солдата, неся в руках охапки цветов. Посреди тихой воды разлившегося водопада моя лошадь остановилась и принялась пить, переступая от удовольствия с ноги на ногу. У берега, между камней, прибита изодранная красная феска; на краю кручи, в ветвях одинокой мощной чинары, устроен насест, где сидел еще неделю назад турецкий наблюдатель, хозяин красной фески.

Отсюда, глубоко внизу, видно море; над ним повисли небольшие овальные облака. Шум водопадов едва достигал досюда. Здесь только медленно шелестели серебряные, серые леса чинар. На скатах, на примятой зелени кустов, лежал местами снег. С легким свистом высоко над головой проносились снаряды на юг, за лесистые гребни. Дорога стала чаще заворачивать, виться зигзагами, все круче кверху. На иных поворотах из темных ущелий налетала снежная прохлада, ветер подхватывал полы одежд, хвосты

лошадей. Один раз пришлось спуститься глубоко вниз на круглую поляну, где разбросаны огромные камни, покрытые мохом; между ними в низких белых палатках спали солдаты; иные сидели около кипящих котелков; от дерева к дереву шел канат-коновязь, где стояла дюжина рыжих лошадок.

Отсюда дорога пошла еще круче, между снеговых полян; обозные и я двигались пешком. Это была самая трудная и долгая часть дороги. Бока лошадей, покрытые потом, раздувались; из-под вьюков шел пар.

На самом грязном месте работали приехавшие давеча персы и аджарцы: они сгребали лопатами грязь, она же опять натекала с боков и затягивала ноги. Здесь уже не было слышно ни выстрелов, ни шума воды. Среди снежных полян в тишине стояли серебряные леса.

Когда мы выбились из сил, показалась за поворотом большая палатка, дым костра, мохнатые лошадки и солдаты в белых папахах. Это и был питательный пункт В. З. С.[1] Студент-санитар и мальчик-повар подошли к вьюкам и стали их разгружать. Я повалился на тюк прессованного сена около костра, протянул мокрые сапоги к огню. Сидящие около солдаты замолкли; матрос с забинтованной головой подбрасывал сухие веточки в костер, где закипал эмалированный чайник.

— Подошвы спалите,— обратился ко мне солдат, сидящий рядом.

Я ответил и, должно быть, успокоил его и остальных насчет моего благодушия и нелюбопытства; матрос опять уставился на огонь, держа в руках веточки; остальные повынимали из рукавов цигарки. Матрос продолжал:

— Вначале-то, конечно, опасно. Пуля не разбирает, где летит. А потом все равно, ей-богу. Как работаешь. И не хотится, чтобы зря стрелять, а хотится, чтобы попасть.

— А как тебя в голову стукнуло? — спросил солдат.

— За пограничным столбом, на тропе. Приказано было дойти до тропы; четырнадцать человек пошли, пят-

[1] Всероссийского земского союза. *(Прим. ред.)*

надцатый — вольноопределяющий. Доползли, легли за гребешок, позади нас — большой камень; вольноопределяющий вскочил на него — стрельбу проверять; тут же ему прямо в шею попало — свалился мертвый, не дыхнул. А я, знаешь, камешек эдакой положил перед собой и стреляю, а позади нас тыркаются пули ихные, как шмели; в камень тыркнется и пыхнет, а которая близко разорвется — все лицо обдаст, как оспой; гляжу, у кого вся щека в оспе, у кого лоб в крови,— пуля ихная как пыль, так ее рвет. Ну, потом и меня в это место чиркнула,— штука нехитрая.

Чайник вскипел. Студент грузин принялся меня угощать со спокойной настойчивостью. Солдат, еще пахнущий пороховым дымом, привел товарища — армянина с разрезанным рукавом, из которого висела черная рука, обвязанная окровавленным бинтом. Студент попросил раненого присесть, подождать, пока сварится борщ, уже дымящийся в медном котле. Раненый присел около палатки; солдат, что привел его, остался стоять, опираясь на ружье.

— Кто тебя перевязал? — спросил студент.

— Сестрица его перевязала, наша сестрица,— ответил солдат.— Она за нашей ротой ушла, с нами и в окопах сидит.

— Храбрая сестрица,— сказал я.

— Да, не пугливая. Пугливая не пошла бы,— ответил солдат.

Мирные разговоры, тишина серебряного леса, дым костров, похрустывание и фырканье коней, иногда сложное ругательство солдата, споткнувшегося о лиану,— все это совсем не было похоже на войну. А между тем над нами, на вершине горы, в пятнадцати минутах ходьбы, стояла батарея. Сегодня утром ее засыпали пулями турки, выбитые к полудню и опрокинутые вниз. Внизу за горой, верстах в двух, наши роты, спускаясь одна за другой в турецкую долину, вступали в бой. Но ружейных выстрелов не было слышно, а пушки молчали.

Я вырезал себе палочку покрепче и полез на батарею по топкой узкой тропе, зигзагами взбегающей в снегах и примятых кустах рододендрона.

Невероятно, как могли сюда втащить пушки. Человек налегке едва вползал, с хлюпом вытаскивая ноги; от разреженного воздуха кровь стучала в виски. Говорят, артиллеристы, бородатые мужики, плакали от усталости, поддерживая завьюченных в пушки лошадей, путающихся в кустах, скользящих по снегу и грязи. Но все же к назначенному часу орудия были уставлены на горе и открыли огонь.

Едва я поднялся на гребень, как сильный ветер, свиставший между чинар, сорвал с меня папаху. Глубоко внизу раскатывались орудийные выстрелы. Я прошел между низкими палатками к небольшому каменистому возвышению, где росло приземистое десятиобхватное дерево. У подножия его, на краю обрыва в несколько тысяч футов, стояли пушки, обращенные жерлами на юг и к морю. Несколько солдат, бородатых и суровых на вид, лежало на мху. Здесь же в яме сидел телефонист, с надетой на голову стальной полоской. Я спросил командира батареи; мне указали на кусты. В них, почти на самой земле, расстилался парус палатки. Я подошел, отогнул край парусины; голос попросил меня войти, и по земляной приступке я спустился в яму, прикрытую сверху парусом, простреленным во многих местах.

На походной постели сидел офицер с татарскими усиками и бородкой; другой сидел на куче полушубков; у него было очень красивое, не то печальное, не то усталое лицо, голубые глаза, и весь он был чисто побритый и одетый чисто. Перед ними на складном стульчике — жестяные тарелочки, чашка и бутылка портвейну; и здесь же, перед вырытым в земле углублением, полным жарких углей, присел на корточках белобрысый денщик Манька, держа сковороду с шипящими котлетами.

Офицеры пожали мне руку, как старому знакомому, усадили на койку, предложили еды и вина.

— А мы только что окончили работу, помылись, и вот Манька нас котлетами кормит,— сказал батарейный командир с татарскими усиками.— Нигде так есть не хочется, как на батарее, а повар у меня знаменитый.

Ветер в это время дунул в палатку, поднял пепел с углей. Манька отвернул лицо и недовольно сморщился.

— Не любишь,— сказал ему командир.— Смотрите, рожа какая недовольная. Сегодня мне говорит: ему, видите ли, воевать очень надоело; какое, говорит, это житье на горе, здесь и котлет не сжаришь; в городе, вот это — житье. И ему хоть что: стреляют в нас, не стреляют — ходит себе, посвистывает, как скворец. А когда сковородку ему прошибло пулей, ужасно рассердился — и на турок, и на меня, и вообще на войну.

Манька сидел перед огнем, совершенно равнодушный, и как будто и не про него говорили, затем поставил сковородку на стульчик, подал обструганные палочки и вышел из палатки, недовольно отряхивая пепел с рубашки и штанов.

Наливая в чашку вино, командир подмигнул на товарища:

— Ну-ка, с днем ангела.

— Оставь, пожалуйста, глупости, кому это нужно! — ответил печальный офицер.

Я попросил его взять у меня кисет с табаком и трубку; он отказался.

— Вот тебе, брат, именины — и с подарками. Бери, бери, не отказывайся! — закричал командир.

Тогда офицер дал мне в обмен свой портсигар, с изображением самоеда на олене, и мы вышли из палатки.

Командир указал на ближнюю вершину, повыше нашей,— на ней еще сегодня сидели турки. Оттуда они на расстоянии ста шагов лупили по батарее, но каким-то чудом никто не был ранен, и к тому же их скоро выбили оттуда. Затем подошли к обрыву, к пушкам и подняли бинокли. Внизу под нами лежало просторное рыжее плоскогорье, сморщенное узкими оврагами, покрытое небольшими конусообразными вершинами и длинными увалами, подходящими к морю; у моря в одном месте оно поднималось довольно круто, и за лесом белело несколько домиков Хопы, за обладание которой боролись наши и турецкие войска.

Справа, с моря, синего и взволнованного, доносились глухие выстрелы. Вдали стояла узенькая серая полоска, на ней появлялись время от времени огненные иголочки,— это был наш военный корабль, обстреливающий Хопу.

На равнине виднелись крохотные домики брошенной деревни с правильными зигзагами окопов близ нее. За деревней дымилось пожарище, двигались человеческие фигурки, и неслась оттуда частая трескотня выстрелов. Это были наши передовые цепи, только что выбившие турок из селения. Кое-где по полю торчали колья как бы проволочных заграждений; у подножия холма я различил пушку за кустами, но пушка была деревянная,— и она и заграждения были только обманом, турецкой хитростью.

Гораздо дальше, за сизым дымом, стелющимся по земле к морю, передвигались по рыжей неровности темные пятна: это отступала турецкая колонна, гоня стада баранов.

— Эх, кабы на полверсты поближе,— прошептал офицер. Бинокль его дрожал; офицер командовал орудием, разбудившим меня нынче поутру; оно било на много верст, но сейчас турки оказались вне его достижения.

Смотрели на турок и командир батареи и бородачи-солдаты; у всех на устах была легкая улыбка. Вдруг из ямы высунулась голова телефониста и проговорила поспешно:

— Ваше высокородие, просят огонь на такую-то высоту, такой-то прицел.

— Нумера к первому орудию, прицел такой-то,— сказал командир и обратился ко мне: — Вот, на ваше счастье, и посмотрите, как мои молодцы работают. Это все — георгиевские кавалеры,— прибавил он серьезно и указал на стоящего около крепкого мужика с белыми ресницами,— вот его представляю к георгию третьей степени. Это, знаете,— друзья и товарищи. «Огонь!» — сказал он наводчику, который, сидя верхом на лафете, повернул голову, говоря глазами, что все готово. Наводчик слез; другой солдат взялся за чурочку, привязанную к концу шнурка, и дернул. Пушка рявкнула,

пыхнула, отскочила назад и вновь села на место; удаляясь, засвистел снаряд. Прошло минуты полторы. У моря, над лесной горой, блеснула красная искра и расплылось плотное белое облако.

— Правильно, недолет! — закричал телефонист, высовываясь из ямы. Командир попросил взять повыше. Снова рявкнула пушка, и над лесом, повыше, брызнуло вниз пламя, расплылось облаком.

— Хорошо, отлично! — закричал телефонист.

— Огонь, огонь! — повторил командир. И пушка послала еще десять шрапнелей. Стрельба была по невидимой цели; ее корректировали с соседней горы.

Был уже четвертый час. Мне хотелось засветло спуститься с гор. Хотя ни офицеры, ни я не сказали друг другу ничего необыкновенного, но, прощаясь, я почувствовал, как эти два незнакомых человека на дикой горе мне близки и дороги. Мы долго жали друг другу руки, мы не обещали встретиться когда-нибудь, а просто так полюбили друг дружку на час двадцать минут — и все. Проходя мимо палатки, я увидел Маньку. Он с сердцем чистил сковородку.

— Хорошие были у тебя котлеты,— сказал я ему.

— Житье тоже,— проворчал он,— гора! — отвернулся и сплюнул.

На закате я спускался с гор по той же узенькой топкой тропе над пропастями. Лошадь моя скользила, съезжала и едва вытаскивала ноги, на поворотах останавливалась, произносила «ух!» и, чтобы я не погонял ее, делала вид, что внимательно прислушивается к чему-то или смотрит на пейзаж. Я похлопывал ладонью по ее шее; лошадка вздыхала и вновь осторожно принималась скользить по крутым, головокружительным карнизам.

НА ГОРЕ

...Сообщаю тебе радостную весть, милая Даша,— я только что мылся в бане; грек, похожий на ощипанного ворона, прыгал на мне, мял, тер, мылил, вывертывал суставы, до сих пор я весь еще красный и сижу у себя в номере; какое счастье, что мы живем во времена, когда строят гостиницы, проводят электричество, звонки, подают кофе с чистой салфеточкой,— я уже не говорю про постель: в нее можно положить ангела.

Только что приехал с позиций и завтра переваливаю на другой фронт, поближе к морю. А вот еще новость,— помылся я не только снаружи, но где-то, должно быть, внутри у меня поскреб мыльцем лупоглазый грек; иначе, милая Даша, я никак не могу объяснить, отчего нет во мне прежней сухости, «мозгового засилия»; прежнее не то что во мне пошатнулось, а промокло, мысли стали более влажными на ощупь, от них пошел мистический пар; это после пяти недель сидения в окопах.

Вот до чего мы с тобой дожили; я так и вижу, как засветились твои глаза; радуйся, милая моя жена, сходи к Иверской, поставь свечку; вернусь я уже не скептиком, и даже борода у меня будет не черная, а русая. Впрочем, прости, я не смеюсь, мне радостно.

Сегодня, под вечер, на главной улице опять встретил Петра Теркина; черт с ним, пускай живет, не та-

кое время, чтобы ссориться. Хотя после встречи я целый час мял себе переносицу, не мог успокоиться (он прошел мимо меня, не заметив, держал под руку даму, на нем — черная черкеска и серебряный набор). Странная вещь — ненависть к человеку. Она, как любовь,— неопределима; она собирает все силы и устремляется, как острие; вся жизнь сводится к маленькому пространству. Мне никогда не хотелось рассказывать тебе о ссоре с Петром Теркиным; приключений у меня было много, и это почти не отличалось от других.

Мы столкнулись в N., в кабаке, по пьяному делу. Теркина я встречал на улице ежедневно и терпеть не мог. Почему? Может быть, за рыжие глазки, за толстый нос, закрученные усы? Все-таки, думается мне, если два человека стремятся занять одно и то же пространство, им или слиться нужно воедино, или одному другого уничтожить. *Но где и какое пространство мы будем занимать с Петром Теркиным?* В земле, что ли? Не знаю. Во всяком случае, мы незнакомы, никогда не разговаривали, противоположны, кажется, во всем, но когда я увидел его в первый раз, он показался странно близким и враждебным.

Этот самый Теркин протискался в кабаке сквозь табачный дым, занял соседний столик и принялся на меня смотреть. Я сразу понял, что пахнет скандалом, хотел, не замечая ничего, потребовать счет и вместо этого сказал ему: «Не можете ли вы лучше смотреть вон на ту блондинку». Он мне с полнейшей готовностью ответил (точные слова): «Господин Рябушкин, вы мне надоели. Вы мне намозолили глаза за эти десять дней». Я начал вспоминать, говорю: «Я здесь всего восемь суток, а не десять» (я уж потом на улице догадался, как надо было ответить). «Вы мне натерли глаза»,— повторил он упрямо и свирепо. После этого между нами кинулись метрдотель, блондинка; какому-то лысому молодому человеку расцарапали щеку. Уверяю тебя, что больше ничего не было.

Случилось это год назад. За такое время можно позабыть и не то что ссору в кабаке. Но сегодня, Дашенька, я понял, что мы с Теркиным так просто не отвяжемся друг от друга. За год — это уж шестая

встреча, хотя и безмолвная. Сегодня узнал, будто мы назначены в один отряд. Отвратительно, что я думаю о нем: вот и тебя в это запутал. Только, ради бога, не выдумывай большего, чем есть, все это пустяк; это, мой милый, трансцендентальный друг Даша, влияние ваших свечек и моих отсырелых мыслей. Я начинаю во всем искать обобщения, относиться серьезно к случайностям, искать мистической связи между куском сегодняшнего мыла и своей судьбой.

Как только кончится война — едем в Уфу, на сухой песок; буду жариться на солнце, играть в шахматы, а то так мне слишком сложно и хлопотливо жить. Прощай, ложусь в ангельскую кровать. Завтра чуть свет еду догонять роту. В здравом уме и твердой памяти, помощник присяжного поверенного прапорщик Рябушкин...

Получил твой ответ на мое последнее письмо. Одного я никогда не пойму — из каких точек и запятых ты вывела, что я тебя не люблю. Прочел и, прости, скомкал твое письмо. Сейчас оно лежит разглаженное и закапанное стеарином. Здесь, в горах, в ауле, еще не проведено электричество, и местный лавочник ужасно скуп: он режет ножиком свечу на огарки и так продает, а ротная собака украла у него колбасу и сейчас же скончалась. При этом здесь так же, как и в Москве,— январь, но в долине уже цветут деревья, а в горах — снег как сахар.

Объясни мне, кроткая, умная Даша, что это у вас за таинственное существо — любовь? Я думаю о тебе, забочусь, ты мне дорога, я тебе, кажется, еще не изменял и думаю, что не изменю; одной тебе на свете пишу письма, и меня сбивает с толку твой постоянный припев, вечное уныние: «Ты меня не любишь...»

И уже окончательно непонятна твоя радость по поводу моих отношений к Петру Теркину. Просто он мне не по вкусу. В этом нет никакого прорыва в «духовную углубленность». Кстати, Теркин сидит сейчас на позиции, на горе, со ста пластунами, говорить о нем дурно — нельзя.

Я тоже выступаю на днях. Торчать в ауле без дела, без опасностей, не слышать ружейной трескотни — в конце концов скучно. По дороге сюда купил газет, прочел все, даже о прислугах, и стало ужасно противно. Читатели в России требуют описания кровавых и геройских подвигов, сражений в воздухе и под водой. Все это — скверный романтизм. Я бы взял такого читателя, показал бы ему гнилую лошадь или турку, у которого шакалы отъели голову, напустил бы на него тысяч десять вшей, может этим отучил бы шарить по заголовкам газет, отыскивать чего пострашнее. Ущелья, заваленные гнилыми турками, не вызывают ничего, кроме отвращения; я посмотрел на подобное местечко и пять дней затем питался одним крепким чаем. Думаю, когда-нибудь найдут иной способ разрешать трудные вопросы, более совершенный. Кровопролитие еще не решает ничего.

Не понимаю, для чего я это пишу. Все последнее время занимает меня загадка: вокруг какой точки вертится сейчас моя жизнь и вон того солдата, что стоит за окошком, стругает палочку, и жизнь всех воюющих? Мы такие же, как всегда, даже спокойнее, веселее; никто не ссорится, мелочным быть стыдно; живем, ей-богу, чище, лучше, а центр, вокруг чего все вертится, переместился: он уже не тот, он не жизнь и смерть, а что? Не знаю. Ясно одно: я из мирного обывателя стал полуфантастическим существом; каждую минуту призван или убить, или умереть. И я не приспособился и не насобачился, а есть что-то в этом, чего не могу понять. Ну и к черту! В дверях деликатно сопит денщик Павел. Он принес пакет и растроган — видит, что пишу домой. Я пишу также и его жене длинные письма; Павел тогда становится напротив, прибавляет в лампе огоньку, и его скуластая рожа умиляется, начинает мигать ресницами; неестественным голосом, вздыхая и сопя, он обращается на «вы» к своей супруге; затем мы начинаем описывать походы, битвы и наши подвиги. Павел берет письмо, идет к костру, где всегда сидят солдаты, и взводный читает вслух написанное; солдаты слушают серьезно, качают голо-

вами, вспоминают про свои деревни. Во всем этом есть какая-то тишина, мне непостижимая... Прости, в пакете — спешный приказ о выступлении...

Выступили мы в десятом часу, к полночи достигли подножья, и до рассвета два мои взвода лезли в гору, сначала через изгороди по кукурузным полям, затем пошел лес, чаща кустов и лиан. Плотное облако застряло в деревьях, заслонило лунный свет. Мы двигались как в молоке; стволы чинар в тумане казались фигурами часовых; идущий рядом со мной рядовой, взглянув нечаянно вбок, вскрикнул и вонзил штык в дерево. Подъем все круче, в кустах уже лежал снег; скоро подул ветер, зашумели невидимые вершины; наши голоса едва были слышны; туман сгущался; должно быть, сверху сваливало сюда тучу за тучей. Мы шагали по колена в снегу; передние, самые сильные солдаты разгребали его лопатками, остальные гуськом двигались в этих узких коридорах; лес окончился, и засвистала, закрутила вьюга. Хватаясь за острые камни, мы подтягивались на отвесные выступы, вползали, едва переводя дух; снежные сугробы срывались и засыпали нас с головой... Наконец достигли вершины — небольшой плоской площадки; сквозь несущиеся облака зеленел утренний свет, и в летящем снегу жужжали пчелки. Мы долго дивились на них, пока не поняли по далеким раскатам, что это были турецкие пули.

Солдаты зарылись в снег, обложили камнями окопы; Павел устроил мне снежный домик — собачью будку, и сейчас у входа прилаживает очаг; уверяет, что будет тепло, как в бане. Заботит одно: как будут нам доставлять провиант, если не уляжется метель и буря.

Мне хочется писать тебе часто, все время. Здесь, в снегах, ты мне гораздо ближе, милая Даша. Когда будет оказия вниз, пошлю сразу все написанное...

...Мы все еще в облаках; они носятся вокруг нас, ветер из соседних ущелий гонит их обратно; иногда открывается синее небо, и тогда виден весь облачный белый хоровод.

Солдаты живут очень смирно, полеживают на снегу, покуривают; мы не выпустили еще ни одного патрона,— смешно стрелять в прорву, белую, как молоко. Лазутчики и цепи тоже еще не видели неприятеля, хотя по звукам выстрелов он, должно быть, недалеко.

Наконец! Перед закатом ветер вдруг стих, и облака начали медленно опускаться. Сначала засинело небо, сквозь розоватые обрывки тумана загорелся закат, солнце садилось большое и красное, точно в море, в облачные волны. Из них выступила, как остров, налево от нас скалистая вершина, и затем, словно со дна, стали вырастать острия гор, лесистые гребни; снега и облака посинели в стороне заката, со стороны противоположной побагровели.

Солдаты много всему этому дивились. Мы на горе так далеко от всех и так высоко, что, право же, ничего не остается, как думать, и мысли здесь особенные. Ирония, недоверие, безнадежность гаснут в самом начале; небо, горы, облака да мои мужики, такие же вековечные и первобытные, как все вокруг — ничто не дает даже кончика, чтобы уцепиться гнилым мыслям. Представь, я начал припоминать Лермонтова и теперь жалею, что не знаю его всего наизусть.

Турки оказались совсем близко. Налево скалистая вершина занята нашей частью; между нами и ею, в лесистом увале,— узкое и обрывистое ущелье; на дне его, у ручья, на камне сидит турок; в бинокль я вижу даже, что он делает,— старается набрать воды в медный кувшин. Взводный, лежащий рядом со мной, крякает. «Ну, ну,— говорю я,— попробуй»,— и он, старательно выцелив, стреляет; медный кувшин далеко отлетает в сторону, турок вскакивает и озирается; за ним встают еще несколько солдат в башлыках и фесках; а у нас уже вся гора в огне, стреляют около меня и внизу. Четверо турок падают, остальные скрылись. Они под прикрытием тумана проникли в ущелье, очевидно намереваясь окружить соседнюю скалистую гору, и наткнулись на меня. Не прошло и часа, как всю нашу

гору стали засыпать пулями. Мальчик-доброволец, что увязался за нами разносить патроны, нарочно смешит всех, строит рожи и приседает перед пулей. «Лови ее, лови шапкой»,— кричали солдаты.

Павел сидит на корточках у снежного домика, чистит сковородку и подмигивает, когда я к нему оборачиваюсь. Но дело обстоит гораздо серьезнее: я только что получил извещение, что нас намереваются окружить большими силами и в эту же ночь нужно ожидать обхода.

Даша, я виноват перед тобой. Чувствую себя ужасно гадко и нечисто (знаешь, когда вынимают шубу осенью, она мятая и пахнет нафталином; ее отдают дворнику поколотить камышовой метелкой). Дело в том, что с Петром Теркиным история была гораздо посложнее и погаже... Видишь ли, я недавно вернулся снизу, где едва не лег костьми... Я спустился в ущелье с пятнадцатью стрелками, чтобы занять площадку, откуда можно обстреливать вдоль всю узкую щель и не допустить турок обойти нас справа.

Сползли мы до площадки тихонько; было светло от месяца; внизу, под обрывом, грохотал поток; его шум заглушал наши движения; перед нами невдалеке, на снегу, лежали огромные квадратные глыбы камней. Расставив стрелков, я решил дождаться, когда месяц осветит глубину ущелья, и улегся на спину. Над головой сиял Орион с алмазным поясом из трех звезд; отставив ногу, он натягивал небесный лук. Тогда я стал думать о тебе, милочка, ты кроткая, умная и ясная. Если бы всегда было так тихо и важно на душе!

Ко мне подполз стрелок и прошептал, указывая вперед штыком: «За камнями турки, ваше благородие». Действительно, то, что я принял сначала за осколки камней между глыбами, исчезло. Затем из тени, бросаемой луной, появилась фигура и скользнула вниз в ущелье, за ней — другая, третья,— я насчитал двадцать восемь человек. Они решили зайти нам по ущелью в тыл и взять живьем. Я послал стрелка наверх с распоряжением; солдат побежал по кустам, согнувшись. На крутом и открытом месте было ясно видно, как он карабкается, срывается и вновь лезет в белом снегу.

И вот близко от него, из-за одинокой чинары, блеснул огонек, хлестнул выстрел, и солдат, как мешок, покатился вниз. Мы были окружены. Каждую минуту турки могли ворваться на площадку; отступать наверх было невозможно; оставалось добежать до больших камней, очевидно тоже занятых неприятелем, выбить его и засесть там до утра.

Мы поползли, покуда могли, скрываясь за кустарником, затем поднялись и побежали. Турки сейчас же начали стрелять часто и беспорядочно; с меня слетела фуражка, царапнуло по руке; один солдат упал, но сейчас же, поднявшись, побежал, прихрамывая; мы кричали что было сил и без выстрела очутились между огромными, точно обтесанными камнями. В тени их копошились человеческие фигуры. Один огромного роста восточный человек прижался к камню, точно распластался, раскинув руки. Он скосил белые глаза на дуло моего револьвера; я выстрелил ему в лицо, но промахнулся, схватил за концы башлыка и подмял его под себя,— до того он был испуган. Мои солдаты только хрипели и ахали, как дровоколы, ударяя прикладами; раздавались глухие крики, визг и стоны. Турки сбились в кучу и возились отчаянно; только двоим удалось добежать до обрыва, прыгнуть вниз.

Сверху подошло подкрепление, очистило склон; мы укрепили за собой камни и площадку, и я вернулся на вершину к кострам.

Все это, Даша, было для меня метелкой — выколотило нафталин; дальше стало твориться странное. Павел приготовил чайку попить после трудов, но я не мог оставаться один,— было такое же состояние, когда мучит совесть. Я пошел к костру. У огня сидели пленные, и мой турка, и наши солдаты; они все разговаривали на каком-то особом языке; при моем приближении замолчали,— я был им все-таки чужой. Казалось — вот я избег смерти, перешел через грань, и я — один, одинок, никому не нужен; во мне слишком много гнили, иначе бы не почувствовал всего этого, а просто лег бы на живот у костра да стал калякать, прихвастнул бы и наврал, как мой взводный.

Теперь представь: с соседней вершины в это время начинают сигнализировать огнем, спрашивая, что случилось. Я вынимаю электрический фонарик и, закрывая и открывая его, рассказываю все вкратце. «Молодчина, Рябушкин»,— отвечают мне с горы. «Кто говорит?» — спрашиваю я. «Петр Теркин».

Вот, Даша, я думал, что навек освободился от унизительного чувства, и опять точно иголочку впустили в сердце. Как он смел меня назвать молодчиной? Изволишь ли видеть! И хоть сейчас пойти к нему на гору. Это — как страсть. Это черт знает что! Не имеет названия. Словом, с Теркиным у меня год назад произошла вот какая история. Все, о чем я писал тебе, было на самом деле, но по-другому.

В N., в дождливый день, я тащился по главной улице и заглядывал под зонтики. Делать было решительно нечего. Такое состояние, когда вместо головы точно полоскательница с окурками, на языке — «железный» вкус, и не то потягота, не то похоть какая-то. В общем — мерзко. Конечно, ты этого не знаешь. Под один зонтик заглянули сразу я и этот Теркин. Под зонтиком находился «вертлявый сюжет с препикантной мордашкой». Увидев с боков две усатые физиономии, «сюжет» проскочил дальше, а мы остались друг против друга. Теркин оглянул меня рыжими глазками, захохотал в лицо и повернулся спиной. Я повторяю: лил дождик, и была страшная слякоть. Мы одновременно зашли в кинематограф, оттуда — в кабак; не разлучаясь и не разговаривая, я таскался за Теркиным, все время намереваясь его оскорбить. Под утро попали к женщинам. Теркин пил вино, даже не глядя на меня; девицы безобразничали; я сидел в углу, ненавидел себя, и его, и всех. И нарочно остался там ночевать.

Наутро нужно было забыть все это, но когда мысли, все чувства не выше грязного тротуара, то от таких воспоминаний не отвязаться ничем, некуда уйти. Словом, бывает так, когда человек видит, что сидит в яме. Днем опять встретил Теркина у магазина, подошел и заговорил:

— Потрудитесь, пожалуйста, ответить, что вы на-

ходите во мне смешного? Я не позволю никому...— и т. д. и т. д., произнес все это с завыванием.

— А идите вы к черту, в самом деле,— ответил он.

Теркин не хотел понимать, что я — это я, что я хорош, что я не только бегаю по слякоти, меня ценят и любят и прочее. Далее следовала история в кабаке,— о ней я писал. Он ударил меня при всех очень громко, шлепнул. Вот.

Внизу кончилась перестрелка, только одинокий выстрел будит иногда многоголосое эхо. Я лежу на бурке у собачьего домика. Павел сидит на корточках перед угольями, жарит котлеты, морщится и воротит лицо от чада; на зеленоватом ночном небе отчетливо видны фигуры часовых; у догорающих костров дремлют солдаты; площадка земли, где мы живем третью неделю, вся притоптана, обсижена и, по-моему, даже — уютное место для жизни. У обрыва — два креста; под ними в земле лежат семь человек, и мне не кажется страшной смерть: не умирают ни звезды, ни облака, ни все растущее на земле, не умирает и человек.

У огонька рядовой Василий Черногрибов рассказывает ровным голосом: «Возьмешься это пахать и пойдешь за плугом, а за тобой грачи ходять; руки натрешь, спину ломит, потно, а голове легко; так оно и здесь: работа тяжелая, что и говорить, опасная, а очень просторно, и все так приноровлено, чтобы голове было легче. Ведь богу-то спина твоя, что ли, нужна? Он тебе в темя смотрит. Темя пуще всего береги».

Лежу и размышляю, и мне это не кажется праздным: я точно чувствую на темени твою руку. Все мое прежнее существование было безобразным. Очевидно, кроме всех книг, мыслей и прошлой жизни, нужна была еще эта гора. Отличная гора. Я люблю ее прямо на ощупь. На Большой Ордынке, конечно, безопаснее, там не посвистывают пчелки и не слышно, как из окопов ругаются турки по-русски...

Теркин сигнализирует что-то фонариком. В общем, он — отважный и сильный человек... Дело очень серьезное; турки густыми колоннами обходят его гору...

Треск и грохот — точно земля валится. Внизу стреляют залпами и пачками, и мои цепи отвечают частым огнем; по всему склону горы, где сидит Теркин, точно бегают огненные искры. Вот! Взревел воздух, загрохали ущелья — наше орудие из-за реки пустило по туркам бомбу. Слышны крики — должно быть, внизу штыковой бой.

Утро. Они положили до тысячи человек и все-таки обошли. Теркин — в железном кольце. Он уже отбил пять штурмовых атак. Мои цепи втянулись в гору. Сейчас доставлен приказ: держаться во что бы то ни стало.

Пять часов дня. Теркин сигнализирует флажками,— он отбил еще атаку, но положение отчаянное: провиант не был подвезен, солдаты не ели вторые сутки. Турки роются в горе, как черви. Они подвигаются все выше, медленно и упрямо. До завтра они его задушат в кольце. Ему можно только прорваться к ущелью, к тому месту, где был убит турок с кувшином. Дай бог ему силы! Бой по всему фронту до самого моря. Слышны горные пушки. Помощи пока ждать нельзя. Сообщаю Теркину — пусть он прорывается; я с пятьюдесятью стрелками брошусь вниз, опрокину турецкие цепи на моей горе, достигну ущелья, свалю через пропасть два или три дерева; по ним можно перенести даже раненых.

Он — настоящий человек: «Принимаю ваш план. Всю ночь очищайте огнем склон. На рассвете сходимся внизу. Рубите сосны — те, что четыре в ряд. Они достанут до края. Раненых заберем. Чувствую превосходно. Благодарю». Он сам мне это сказал, махая флажками. Я передал план солдатам; они стали очень серьезны.

Солнце зашло. Мы открыли частую стрельбу веером по всему склону. Со стороны Теркина — такой же огонь. Время идет страшно медленно. Еще только пол-

ночь, а уши болят, и ломит голову от грохота. Велел Павлу заварить чаю; он пролил чайник на угли и сам как муха тыркается. Сюда бы нам композитора какого на часок — вот бы послушал. Все же я ужасно волнуюсь. Кажется, легче самому умереть, чем если убьют его. Четвертый час утра; велел усилить огонь; у солдат зубы и носы — черные.

Мальчик нес жестянки с патронами, гримасничал и вдруг упал. Над бровью у него — красная дырка.

Светает. Пятьдесят человек уже готовы; поснимали шинели, перекрестились. Перекрещусь ведь, пожалуй, и я. Дашенька, если что — я тебя очень полюбил, родная моя. Иду!

Дашенька, поздравь. Теркин и восемьдесят семь человек прибыли на мой плац-парад. Мы устроили то, что в донесении назовут «бешеной контратакой». Турки бросались на нас, как дикие. Теркин сейчас лежит у меня в снежном домике. У него забинтована голова и руки; он выпил рому и свистит из «Периколы». Ранен пустячно. Как странно, моя родная, моя чудесная Даша! (Вот опять сломался карандаш; но на душе-то, если бы знала!) Мне нравится «Перикола». Вообще музыка — самое совершенное на свете. Знаешь: ведь я спас Теркина. Мы рубили деревья и отстреливались. Вдруг, Дашенька, на той стороне вижу наконец — Теркин без оружия, рука в крови, другой машет своим. Из-под ног его выскакивает курд в башлыке, как заяц. Теркин швырнул в него картузом. Курд отбежал, нацелился и — чик! Теркин за голову схватился, но не упал. Я вырвал у солдата винтовку и всю пачку вогнал в курда. Тут рухнули сосны. Кричу Теркину: «Идите же!» Он стоит, ждет, чтобы все его солдаты подоспели. Он — герой, Даша. Когда его перенесли через сосновый мост, я спросил: хочет ли, чтобы я его поцеловал? Он отер кровь с лица, захватил меня за воротник, и мы

поцеловались. У него прекрасное лицо, настоящего воина, и глаза совсем золотого цвета. Он все понял, он мне сказал потом: «Знаете что: уж это мы с вами — навек».

Даша, можно любить только думая, что навек; иначе — не любовь. Тогда все понятно, все просто, торжественно и ясно, как звезды. Сегодня ночью опять над головой взойдет небесный стрелок Орион. Прости меня за все. Я люблю тебя, моя Даша.

ШАРЛОТА

В деревне Ивана Сапрыкина звали — Дурындас. Бог знает, кто так прозвал его, но, должно быть, не напрасно две каких-нибудь бабы, стоя у ворот, посмеивались: «Дурындас боронить выехал. Вот, девоньки, дурак! И-и-х, милая моя!»

Дурындас в это время, низко опустив голову, ехал верхом на рыжей кобыле, позади которой тащилась вверх зубьями борона. Голова у него была редькой — стриженая, сам — конопатый, с галчиными глазами, костистый и высокий парень. Жил он со своей бабушкой на краю села, от зари до ночи находился при деле; если работы не было — так веревочку вил или тесал лесину; слова от него никто не слыхал путного, а если и скажет, то не как люди. Девок на селе не трогал; оженить было его хотели соседи,— сказал: «Куда мне ее, бабу? Наломаешься с ней, а пользы мало». С парнями никогда не гулял; на сходе один раз протискался в круг и закричал ни с того ни с сего каким-то еловым голосом: «Вот, значит, этого, как его, я не согласен». А что ему тогда не понравилось, так никто и не узнал. Пробовали его бить осенью: ничего особенного не вышло, полежал — и все. Когда же забрили Дурындаса, девки пели на все Гнилые Липы:

Ох, я выпила бы квасу,
Да под ложкой колется.
Проводила Дурындаса
До самой околицы!

Рост у Ивана Сапрыкина был дюжий, и повезли его прямо в столицу, сдали в гвардейский полк. Стали учить. Солдат он был исправный, не баловался; только унтер-офицер никак не мог распознать: о чем Иван думает?

Однажды унтер доложил капитану Хлопову:

— Так и так, у рядового Сапрыкина нос шибко вострый. Определить бы его в денщики, кушанья нюхать.

Ивану предложили. Он ответил:

— Если работа подходящая, можно и в денщики.

Хлопов взял его к себе на квартиру, а через месяц отправил на кулинарные курсы. Так стал Дурындас поваром.

Капитан Хлопов был человек веселый, толстый и холостой. Работал он как простой мужик — с семи утра на занятиях. Обедать прибежит, кричит на всю квартиру: «Дурындас, воды! Да похолоднее». И пока Иван его обливает, от его благородия пар идет, а сам красный.

А съест обед — непременно похвалит, выругается для сварения желудка и с полчаса храпит так, что даже страшно. Потом опять уйдет до ночи солдат словесности учить; дело нелегкое: иной такой попадется рязанский мужик — ружье берет с опаской, как бы в ручищах не поломать ему казенную вещь,— а его научить надо писать буквы. И сидят на занятиях офицер и солдаты потные.

Денщиком своим капитан оставался очень доволен; иногда посмеивался, часто говаривал:

— Хоть бы ты, Иван, знакомство завел с кухаркой. Как бы со скуки не натворил чего.

— Никак нет, не натворю,— отвечал Иван.

Однажды в понедельник проснулся капитан Хлопов поздно, потребовал шесть бутылок содовой. Лежит, курит и на Ивана поглядывает, как тот убирает в комнате.

— Скажи, пожалуйста, отчего тебя Дурындасом прозвали? — спросил капитан.

— Не могу знать, ваше благородие.

— Отвечай,— крикнул капитан,— пока с постели не встану — я тебе не начальство. Видишь, у меня голова трещит.

— Значит, прозвали оттого, что я недоделанный.

— Как так?

— Этого я сам не могу знать; себя не чувствую, ваше благородие.

— Ну, если я в тебя, например, сапогом запущу?

— Не в тех смыслах; очень я, ваше благородие, жалобный. С этого — и Дурындас. Не могу, как люди: каждый человек себя уважать привык, а я вроде сонного. Оттого меня и девки не любят. Я так полагаю, ваше благородие, с чего же это я себя уважать стану? Собака, скажем,— должен я ее любить, а не перед ней гордиться.

— Пошел, принеси содовой,— сказал капитан и долго еще смеялся.

Настало лето. Объявили войну. Капитан Хлопов в один день мобилизовался и уехал со своей батареей на позиции; Дурындас успел только купить защитную фуражку с ремешком да захватил кое-что из посуды, ваксу — сапоги чистить и колоду карт. На пятый день хлоповская батарея уже била по немцам.

Случилось это очень просто: ночью выгрузились из вагонов, поехали рысью, к завтраку стали на место, позади пехоты телефонисты побежали с проволоками, саперы вкопали батарею, запутали колючками кусты, ушли; с пушек сняли тряпье, амуницию, колпаки, почистили, смазали, стали ждать.

Неподалеку за пригорочком Дурындас уставил и свою «батарею»: приладил на колышках палатку, постелил в ней войлок, раскрыл его благородия чемодан; за палаткой выкопал ямку, в ней — печурку с двумя продухами: один для дыма, другой — вроде конфорки; развел жар, поставил чайник греться, а сам захватил грязные капитанские сапоги и пошел чистить их на пригорок.

Место здесь было вольное: озера небольшие, протоки между ними, с боков дорог и у озер — деревья, и повсюду хлеба. День — жаркий после дождя, хоть сейчас купаться.

Дурындас поплевывал на сапоги, чистил их щеткой и рукавом, поглядывал, как около пушек хлопочет прислуга, как расхаживает капитан Хлопов, то посмотрит

в бинокль, то нагнется к телефонисту, что сидит в ямке, за деревом, спросит и опять отойдет, а у самого, как у кота, усы топорщатся.

«Ну, где немцам против его воевать,— думал Иван,— народу только зря много погубят».

А в это время телефонист высунулся из ямки. Хлопов подбежал, присел над ним; а уж наводчики так и прилипли к трубкам, и вдруг вся батарея от первого номера до шестого заговорила: бум-фить, бум-фить... у Дурындаса и сапог вывалился.

Уж и птицы все разлетелись, и лошади перестали биться в обозе, и два раза галопом подлетали снарядные ящики, а батарея все бухала; то и дело высовывался телефонист из ямы и пушечный дымок стлался над озером.

Дурындас приготовил завтрак — перловый суп, баранину с рисом и блинчики — и, поджидая капитана, ворчал: «Стражение стражением, а заболит у его благородия пузичко, вот тебе и стрельба».

Не дождавшись, он налил чая в стакан, покрепче, с лимончиком, и понес на батарею. На полдороге услыхал свист, будто летела над землей свинья, ревела не своим голосом. Иван присел, боясь, как бы не пролился чай; в это время неподалеку клюнуло в землю, лопнуло, и столб огня, дыма и пыли заслонил пушки.

«Ну и невежи»,— подумал Дурындас, воротя нос от пыли; все же добрался до капитана, подал ему чай.

— Что ты тут, сукин сын, шатаешься? — закричал на него Хлопов.— Ну, жив, что ли?

— Ничего, ваше благородие, только чаек маленько запорошило.

Капитан сейчас же выпил чай и лимон съел с кожурой, ложку для чего-то сунул в карман и кинулся к орудию.

— Дурындас, это тебе не котлеты жарить? — спросил обозный солдат.

— Конечно, боязно,— ответил Иван,— так ведь и зашибить могут.

Он еще раз добрался до капитана, помянул, что завтрак совсем перепрел, но был сейчас же послан к чертям.

Тогда Дурындас вернулся к палатке и вдруг увидел, что перед оброненной на землю сковородкой стоит черная кудрявая собака — пудель, вертит хвостом — кости догладывает. Иван закричал на нее, замахнулся чуркой, но пес отполз только шага на два, лег на бочок, жалобно завизжал, глядя в глаза. Должно быть, совсем отощала собака.

Тогда взялся Иван уши ей драть. Пудель только заскулил, полизал руки. Беда, конечно, небольшая — суп и без того подопрел, а баранина высохла; провианта же в обозе было вдоволь. Пудель, видя, что обошлось, поползал еще по траве, потом принялся скакать и вдруг показал фокус — встал на задние лапки, прогулялся взад и вперед, глядя на Дурындаса, перекинулся через спину и сунул Ивану морду между колен.

— Дружиться хочешь,— сказал ему Иван.— И то сказать, разве пес знает, чье кушанье сожрал. А как тебя звать-то?

И хотя пудель был черный и кобель, Иван тут же обозвал его Шарлотой.

На вечерней заре пушки замолчали; батарея была скрыта так хорошо, что ни с какой стороны не разглядеть ее за деревьями. Немцы пустили по ней один снаряд, да и тот был шальной. Иван понес его благородию еду на батарею, увязалась туда же и Шарлота. Иван дал ей нести палочку; а когда стали спрашивать, чья собака, он приказал ей пройтись на задних лапках. Все много смеялись, и капитан разрешил оставить Шарлоту при батарее. Только Бабочкин — фейерверкер — сказал: «Шут его знает, кобель-то черный. Как бы чего не вышло».

Дурындас устроился спать около палатки, на тюках с сеном. Он посвистал Шарлоту, чтобы легла в ногах, но она отчего-то, как каменная, стояла неподалеку, задрав ухо, будто прислушиваясь; раз только вильнула хвостом — не мешай, мол; в полусне Ивану показалось, что далеко где-то протяжно свистят.

Перед рассветом он открыл глаза от яркого света, с неба медленно опускался зонтик, под ним как жар горела алая звезда; были ясно видны деревья, пушки,

часовые. Звезда погасла, и сейчас же полетели издалека бомбы, разорвались позади, впереди, с боков наших пушек.

Капитан выскочил из палатки. Волосы у него и усы торчали дыбом.

— Что? Ракеты? — закричал он.

Появился в небе второй зонтик, с зеленой звездой. Проснулся весь лагерь. Открыли огонь из пушек, но немецкие снаряды падали на самую батарею; пришлось сняться и во весь дух скакать по хлебам на новую позицию.

Иван живо посовал имущество в телегу, запряг лошадь и при свете ракет догнал пушки.

В полутора верстах, на новом месте, батарея развернулась и открыла частый огонь. И долго еще дивились солдаты, глядя, как на давешнюю их позицию продолжают падать и хлопать немецкие бомбы.

И уж совсем было чудно, когда три ночи подряд, начиная с пятого часа, немцы открывали пальбу по тому же месту. Похоже, что им донесли о расположении нашей батареи; о том же, что она переехала, донести не успели... Поблизости не было никакого поселка, через линию войск на немецкую сторону доносчику пробраться невозможно, свободно пробегали только зайцы да собаки; аэропланы не летали в этих местах; из всего этого Бабочкин — фейерверкер — вынес такое заключение: «Тут, братцы мои, не без черного».

Иван видел Шарлоту в последний раз, когда ночью она прислушивалась, задрав ухо; во время суматохи собака пропала; Дурындас даже погоревал — очень ему хотелось привезти Шарлоту в Россию: ходила бы на лапках, танцевать ее можно выучить под гармонию и другим штукам.

На четвертый день приказано было наступать, и, будто из-под земли, повсюду, где были видны только поля, холмы и дороги, поднялись войска. Иван трясся на телеге за артиллерийским парком; несколько раз батарея поворачивала хобота и стреляла; Иван, стоя в телеге, видел, как из леска на ржаное поле выбежали кучками чужие солдаты в касках, но поработали пушки, и все остались во ржи.

Капитан ходил веселый, прислуга набекрень картузы стала надевать. Дурындас много в эти дни помаялся, доставляя для его благородия провиант послаще.

— Сознавайся, мошенник, откуда петуха достал? — спросил раз капитан, заглядывая в миску.

— Не могу знать,— отвечал Дурындас.

— Украл петуха?

— Никак нет. Они бегали не при деле. Как есть дикие.

Под вечер Иван услыхал — гуси кричат; вскочил на лошадь, поскакал; смотрит, по шоссейной дороге, с немецкой стороны, бежит черная собака; он окликнул: «Шарлота!» Собака прямо под ноги кинулась. Смотрит — Шарлота и есть; худерящая, шерсть клоками, на ляжке — кровь.

Кинул ей Дурындас кусок сахару. Пока ехал за гусем — посвистывал; Шарлота бежала сзади, веселая, едва хвост не отмотала. Привел он ее в стан, покормил, а чтобы на батарею зря не шлялась и пуще всего не подвертывалась сердитому Бабочкину, побил немного палкой. На побои Шарлота не огорчилась, когда же он удумал привязать ее на веревку — зарычала, подняла вой на весь стан, уперлась, тряся башкой, едва не удавилась, оторвала веревку. Дурындас решил, что она — пуганая...

Капитан пришел поздно, завалился на походную постель и в ответ на рассказ денщика о Шарлоте пустил такой густой храп, что Иван сказал только: «О господи, господи, грехи наши тяжкие»,— и вылез из палатки.

Палатка была низенькая, наполовину врытая в землю, в ней же помещалась и печурка для варева. На следующий вечер Иван сидел на корточках около печурки, держал над углями сковородку с гусятиной; от нее шел такой дух, что Шарлота все время неподалеку скулила; капитан лежал тут же, на вороху седельных подушек, покуривал, говорил Дурындасу:

— Эх ты, с кобелем связался! А может быть, он немецкий?

— Никак нет. По-русски понимает.

— И что же, тебе его жалко?

— Так точно, жалко.

— Без хозяина, сиротка!

— Никак нет. У них, по-видимости, хозяин, да голодом их морит.

И Дурындас рассказал, как в ту ночь, когда Шарлота пропала, он слышал свист. Капитан перестал курить и уже слушал внимательно.

— Поди приведи собаку,— сказал он строго.

У Ивана и сковородка затряслась.

— Ваше благородие, так ведь собака же без разума!

— Ну! — крикнул капитан.

Дурындас вышел на волю. Ночь была тихая. Вдруг, так же как тот раз, он услышал свист, и мимо него прошмыгнула Шарлота. Иван закричал, кинулся, но где было в такой темноте поймать черного пуделя.

На рассвете по батарее был открыт огонь, снаряды падали все в одно место — поправее, впереди пушек, на гороховое поле.

Стало ясно, что в тылу шляется за нами доносчик; но как он умудряется сообщаться с немцами — об этом догадался только один капитан.

Боясь, чтобы обстрел не передвинулся с горохового поля на батарею, капитан приказал уменьшить наш огонь, потом стрелять только из одной пушки. Немцы тогда подняли такую пальбу по гороху, что все поле закурилось, как труба, облако пыли и дыма потянулось на ихнюю сторону. Капитану подали лошадь самую резвую; он посадил верхами телефонистов и ускакал на запад, на холмы.

Дурындасу же был отдан приказ без Шарлоты на батарею не возвращаться. Легко сказать — пойди найди кобеля, когда на полях воробья не осталось, от пушечного треска люди в канавы попрятались, а по деревням — в погреба. Ни посвистать, ни спросить — ходи, ищи, как в море иголку.

Дурындас пошел сначала в тыл, где около соснового леска, у стогов, расположился артиллерийский обоз. Артиллеристы лежали позади двуколок в траве, кто на пузе, кто на спине, ковыряли в зубах соломинками, один наяривал в гармонью; Дурындаса только подняли на смех.

Тогда он побрел вдоль опушки на деревню; от сго-

ревших изб торчали трубы да кучи мусора под ними; на каменном столбе мяукал кривой котенок; старая баба ковырялась в мусоре за обугленными кустами; больше в деревне не было никого. Дурындас сел и покурил. Старуха подошла к нему, протянула руку. Дурындас вынул ей из кисета пятак, спросил, не видала ли черную собаку.

— Нет,— сказала старуха,— все померли,— и заплакала. Дурындас подал ей еще пятачок.

Так он ходил до вечера; слышал, как одно время наша батарея стреляла до того часто, будто не считали уже очередей. Должно быть, ловко нащупав, сбивали немецкие пушки.

Проходя через лес, он увидел каменный домик в два окна. Стекла были разбиты, дверь висела на одной петле; на траве валялся диван, колесо, лоханки, всякий мусор. Дурындас заглянул в окошко: у стола сидел широкоплечий румяный старик, с длинной белой бородой; он, нагнувшись, писал на бумажке. Около, на столе же, валялось драное пальто. Заметив солдата, старик испугался, нахмурился, живо сунул бумажку под пальто и, уже кряхтя и тряся головой, принялся зашивать дыру на рукаве. Иван спросил насчет собаки; старик показал, что ничего не понимает.

— Шарлота, Шарлота,— повторил Дурындас и вдруг услышал визг за углом; там, в плетеной закутке, металась Шарлота, привязанная на веревку; она вставала на дыбки, скулила от радости — так бы вот сейчас и облизнула всего Дурындаса.

Но старик свистнул из окошка; Шарлота сейчас же легла, поджалась; Иван отвязал веревку и потянул за собой; старик, засучивая рукава, выскочил из домика, закричал:

— Не позволяйт, мой собак!

— Полковая собака, тебе говорю, при нашей батарее, понял? — сказал Иван.

Старик рассердился, стал выдергивать веревку, толкать в грудь.

На это Иван пуще всего обиделся.

— Ты что меня в грудки толкаешь, ты как это солдата за грудки берешь? — стал он спрашивать и уже

сам потянулся взять старика за грудки, но вдруг у того седая борода на одной щеке отстала.— Э, да ты ряженый,— крикнул Иван и схватил его за горло; старик ударил в ухо, и оба они покатились на землю.

Дюжий был старик, очень злой; насилу Иван скрутил ему руки, а борода так и осталась валяться. Старик начал проситься, чтобы отпустили; Дурындас только тряхнул головой и повел старика и собаку на батарею.

Дюже ему жалко было Шарлоту; она брела смирная, а когда старик дергался, раз даже приноровился на колени стать, глядела на хозяина, поджав хвост, и скулила.

Около капитанской палатки сидели Бабочкин и пять человек прислуги с орудий. Все они были перевязаны марлей; у фейерверкера из-за повязки глядел один глаз. Он со злобой покосился на подошедшего Дурындаса.

Неподалеку на пригорке солдаты копали яму; около нее лежали трое — кто, Дурындас не разглядел. На батарее же все стояли без шапок и пели «Отче наш». Иван тоже снял картуз и перекрестился, поглядел на старика и с него сдернул меховую шапку. Солдаты прикрылись, пошли ужинать; из толпы вышел капитан в расстегнутой рубашке, красный и веселый; он еще издали заметил Дурындаса и закричал: «Молодчина, привел!» — а подойдя, с удивлением уставился на старика:

— Это что еще за фигура?

Иван рассказал все, как было.

— Так, так, так,— повторял капитан,— теперь все понятно,— и заговорил со стариком по-немецки. Тот поджал губы, опустил голову; к нему приставили двух солдат, третий принялся обшаривать, но ничего не нашел. Тогда капитан приказал подвести к себе Шарлоту. Дурындас ласково похлопал ее, подвел и со страхом стал ожидать, что будет.

— Умная собака, умница,— говорил капитан, поглаживая и ощупывая Шарлоту.

Она стояла смирно, глядела в глаза; капитан в густой шерсти нащупал ошейник, и она готовно подалась к нему, повернула шею. Старик, внимательно глядев-

ший все время, вдруг вскрикнул дрожащим, визгливым голосом:

— Укусает, укусает, не трогайте!

Капитан, сопя оттого, что сильно перегнулся, снял ошейник, в нем была вделана плоская медная коробочка; он вскрыл ее ножом, вынул чертеж и письмо на папиросной бумаге.

— Ничего не понимаю, что такое,— закричал старик.

Солдаты крепче схватили его за локти.

— В штаб,— приказал капитан, указывая пальцем на побелевшего старика, и обратился к Дурындасу: — Вот за это спасибо, Иван, молодчина! Намаялись бы мы без тебя. Придумали тоже штуку — бежит собака, не станешь на нее патрон губить. Вот так нашли себе почтальона! Ну, и мы их пожаловали нынче за все неприятности, четыре орудия ихние расколотили вдрызг.

Почесывая под мышкой, капитан с удовольствием поглядывал на свои пушки и на солдат, в окопе хлебающих похлебку. Старика увели; Шарлота сидела перед Иваном, затем подняла лапку, царапнула его по колену.

— А как насчет Шарлоты? — спросил Дурындас.

— Повесить,— ответил капитан,— сам и повесь.

Иван только брови поднял, откашлялся, проговорил: «Слушаюсь». Он не ел с утра; пошел к телеге, вынул из мешка сало, отрезал ломоть хлеба и стал есть, сняв шапку. Шарлота продолжала глядеть в глаза.

— А! на тебе, стерва, жри,— крикнул Иван и бросил ей все сало, что держал в руке; потом нахлобучил картуз, стал на возу искать веревочку. Шарлота даже припала на передние лапы, зажмурилась — такое сладкое было сало, а когда сожрала, вылизалась и села около колеса; прошел солдат, она на него порычала и, чтобы Иван понял, сунула ему морду между ног.

— Что ты, тварь, ко мне лезешь? — чуть не плача от досады, проговорил Иван.

Нигде не было веревки; он отвязал чересседельник, свистнул и, волоча ноги, побрел к ручью, где стояла расщепленная береза.

Шарлота прибежала первая, вошла в воду, принялась лакать.

Иван привязал к сучку ремень, потянул — крепко

ли, и стал ждать, когда собака напьется. Потом взял ее на руки. Умно и внимательно поглядела она на дерево, и в глаза, и на землю.

— Глядишь,— сказал Иван.

Собака рванулась и вдруг поспешно облизнула Ивану все лицо.

— Уж вижу, вижу. Ничего, потерпи, Шарлота, я легонько,— проговорил Иван шепотом и стал надевать ей петлю, путаясь пальцами в шерсти.

Отойдя немного, Иван почесался под картузом и обернулся; на закате было отчетливо видно сломанное дерево, сучок и Шарлота — она висела, как овчина, чуть покачивалась.

«Что же теперь делать-то,— подумал Иван,— ах ты господи, собаку замучил». Он пошел в стан к телеге, расшвырял в ней все, принялся кирпичом кастрюлю чистить, плевал ей на бока, тер, тер и бросил; стал постилать шинель под телегой, напорол палец на иголку. «Эх, жисть проклятая»,— отчаянно сказал Иван; после этого сел на шинели, обхватил коленки и долго смотрел в сторону тусклого заката, откуда давеча прилетали бомбы, большие, как свиньи. Дурындас тряхнул головой, решительно поднялся и пошел к палатке.

— Ну, что ты у меня над душой стоишь? — спросил капитан досадно.— Ну, я не сплю, чего тебе надо?

Он чиркнул спичкой, закурил и тяжело повернулся на койке, подсунув руку под голову.

Иван снял картуз и сказал:

— Повесил, ваше благородие!

— Ну-ну.

Иван потоптался, откашлялся и тогда проговорил:

— Ваше благородие, в тылу мне неудобно находиться.

— Ты что это, с ума сошел?

— Так точно, желаю воевать.

Капитан засопел и долго глядел на Дурындаса, что стоял едва различимый в темноте, заслоняя звезды, потом он осветил папироской свой нос, круглый, как яблоко, и мохнатые усы.

— Дело твое,— сказал он.— Препятствовать не могу. Ступай.

БУРЯ

1

Василий Васильевич стоял у гипсовой низкой колонны, опустив руки, слегка сутулясь, отчего крахмальная рубашка его смялась на груди под фраком.

По старому и мозаичному паркету залы медленно продвигались танцующие пары под звуки танго. Кавалеры были в черных фраках, полные или худые, иные с проседью, иные с блестящими бородами, иные с круглыми, почти детскими лицами; все они, словно в изнеможении и без сил, двигались, не отрывая замороженных глаз от глаз своих дам.

Их дамы, в желтых, оранжевых, красных платьях, узких и открывающих колена, с хвостами, как у ящериц, или раздвоенными, как змеиный язык, в перьях и пылающих драгоценностях, были словно тропические насекомые, охваченные лихорадкой и зноем вечера.

Тонкие, изломанные звуки танца, пронизывающие и безбольные, обезволивающие и ядовитые, смутили совсем и затуманили Василия Васильевича. Ему вдруг стало казаться, что от танцующих исходят, как паутина, ниточки, запутывают и томят, что эти ниточки — темные силы, просочившиеся из самых глубоких погребов сознания в кровь, и что это совсем не веселый танец танго.

Но едва ли Василий Васильевич сознавал все-таки, что думает: он был, как никто из участников этого рождественского бала в загородном дому князя Красносельского, взволнован и влюблен; не мигая и не отры-

ваясь, он уже давно следил за Еленой Павловной Ходанской. Она была в оранжевом платье с черными кружевами на боках, плечи ее были опущены, как от сильного утомления, маленькая голова на высокой шее слегка запрокинута; на нее было больно и тревожно смотреть; ее кавалер, драгун Красносельский, с прекрасным, очень холодным лицом, в конце третьего тура сбился, покраснел и ласково усмехнулся; Елена Павловна подняла на него темные глаза, брови ее задрожали, обнаженная рука пододвинулась ближе к его плечу.

Василий Васильевич понял: если теперь же, до двенадцати часов, он не скажет ей всего, больше не стоит жить; уже три месяца он думает о ней, трусит, не смеет признаться; в полночь начнется томительный ужин, она сядет, конечно, с Красносельским, затуманенная и обольстительная. Василий Васильевич решился.

Без четверти двенадцать он вошел в маленькую гостиную; у морозного окна стояла Елена Павловна и, глядя на сосны, едва различимые, покрытые снегом, озаренные месяцем, кажется, плакала.

— О чем вы? — спросил Василий Васильевич так нежно, что она сейчас же обернулась и положила ему руку на рукав фрака.

Она ответила, что не знает, отчего плачет, что устала и ей представилась близкая смерть.

Василий Васильевич принес воды в запотевшем стакане, дал отпить и, глядя на зигзаг ковра, наморщив лоб, сказал, точно сдвигая тяжесть, что любит Елену и не может без нее жить.

Елена Павловна так удивилась, так раскрыла глаза и губы, что он уже без страха схватил ее руки, стал их целовать в ладони, в сгибы запястий, в нежные впадины локтей; она молчала и вдруг проговорила низким странным голосом: «Люблю тебя!»

Это было неожиданно и почти страшно. Неужели чувства ее так очевидны и грубы? Или все это накипело после дьявольской музыки? Он представлял ее необычайной и воздушной, не знающей страстей. Она же ответила, как простая девушка. Но Василий Ва-

сильевич сейчас же и забыл об этой мимолетной царапине.

На другой день он поехал к Ходанским. От счастья и радости он не ел, не курил и несколько раз взглядывал в зеркало, не узнавая в нем себя.

Елена Павловна встретила его спокойно, сказав, что много думала и согласна быть его женой. Он опять удивился такому ответу: разве не ясно после ее вчерашних слов, что она его навек?

Они беседовали в гостиной, где обычно принимали и поили чаем всех гостей. Елена Павловна была в синем гладком платье, синеватые круги лежали у нее под глазами и усталая морщинка врезалась между бровей.

Ее точно брало большое нетерпение — окончить все поскорее и уйти на мороз; над ее головой, над мягким диванчиком висели в тяжелых рамах два портрета: толстый хищный полковник в александровском сюртуке и зловредный старичок в орденах, сухонький, с гусиным пером в крошечных пальцах; у обоих у них между бровей была та же нетерпеливая складка.

На минуту Василий Васильевич почувствовал, что он здесь чужой и родным никогда (и никто из людей) быть не может. Он стал смотреть на полные губы Елены Павловны, красные, должно быть необычайные, если их поцеловать. Они задрожали, усмехнулись, и она спросила: «Ну, чего же вы молчите?» И у него опять закружилась голова на много недель.

Елена Павловна была всегда весела и умна; то легкими насмешками, то незаметным упорством, иногда только простым подчеркиванием слов она сделала так, что он считал вкусы ее самыми лучшими, поступки — самыми достойными, взгляды — самыми умными. Василий Васильевич думал, что в день свадьбы он получит несомненно величайшее из сокровищ на земле.

Иногда она запрещала им видеться; он страдал и сидел дома; и однажды узнал случайно, что в один из таких «отреченных» дней она ездила на Иматру.

Василий Васильевич надел сюртук, перчатки, причесал волосы по-старому, назад (теперь ему было при-

казано делать английский пробор), и в таком виде, решительно подняв брови, приехал к Ходанским. Елена Павловна не заметила ни его сюртука, ни того, что он не снял перчаток.

«У нее скверное лицо. Она сейчас солжет»,— подумал он невольно, покраснел от стыда, ужаснулся своей грубости, но все же в длинном и путаном разговоре попросил объяснения таинственных поездок. Елена Павловна опустилась на диван, где и сидела до конца разговора, согнувшись, странная и замученная, затем просто и жалко махнула рукой и сказала:

— Не знаю, я ни в чем не виновата перед вами.

В этот же вечер они поехали в оперу, на «Русалку». Василий Васильевич умилялся несчастной судьбе мельниковой дочери и решил сделать Елену счастливой, чего бы это ему ни стоило. Но на первый день пасхи он столкнулся у Ходанских с офицером, который, смеясь в дверях, придерживая кивер, говорил: «Нет, нет, я гораздо скромнее, чем обо мне думают!» Это был князь Красносельский; он слишком вежливо поклонился Василию Васильевичу и вышел. В гостиной Елена наспех улыбнулась жениху, сказала: «Ах, вот и вы!» — и почти прикрыла дрожащими веками глаза; но все же Василий Васильевич увидел в них и затаенную страсть, и гнев, и разочарование, и досаду.

С этого дня он почти не спал по ночам. Распаленным воображением видел Елену и князя. Срывал с себя простыни и дышал, как в жару. Или распахивал форточку, глотая мокрый воздух. С одичавшими глазами, со спутанной русой бородой, он томительно искал сна то на кожаном диване кабинета, то в последнем изнеможении присаживался в столовой у стола, глядя на скатерть, освещенную лишь мутным отблеском фонаря за окнами. Он писал и рвал письма к Елене. Решал вызвать Красносельского. Мечтал застать их обоих и убить или, не известив, уехать в Индию. На рассвете его сваливал тяжелый сон. А днем Василий Васильевич снова шел к телефону и объяснял свое отсутствие делами по продаже леса или приездом управляющего.

Елена поняла, должно быть, его состояние: вечером неожиданно она приехала одна, взяла крепкими

руками за руку Василия Васильевича, отворившего ей двери, увела в комнату, не снимая шубки и капора, села к нему на колени и стала целовать его, молча, сурово, бледная и холодная. Она сама поторопила со свадьбой. В июне они повенчались и уехали в Италию.

Василий Васильевич так и не сказал жене ничего о ревнивых муках, о всем стыдном, в чем он ее подозревал. Счастье было такое острое, дни такие сияющие, Италия так благодатна, что недавнее прошлое казалось как дым. Елена была все так же весела, ровна и сдержанна. И только по вечерам в поцелуях ее охватывало безумие: словно весь день она сдерживалась, чтобы разнуздаться ночью. Однажды он долго глядел на ее спящее лицо с приоткрытым пленительным ртом, с растрепавшимися по подушке темными волосами и вдруг подумал, что Еленой овладели бесы, союз их душный и грешный.

Но снова поутру Елена вставала чистая и ясная. Шумело море за окнами, качались на нем лодки и корабли, и по залитым солнцем мраморным мостикам хорошо было идти под руку завтракать в любимый ресторан. Казалось, настало время, когда каждая минута словно вечность и не надо ждать иной.

У ресторана уже второй день вертелись и кричали газетчики, точно комары перед дождем, все назойливее приставая с экстренными выпусками. Василий Васильевич, наконец, подозвал чернокудрого оборванца, бросил ему сольд. Елена взяла газетный листочек, ахнула и быстро сказала:

— Боже мой, кажется в Германии война. Вот досада! Пропал наш Мюнхен и старенькие города.

Действительно, о поездке в старую Германию нечего было и думать; подождали несколько дней, но уже войну объявили. Опасность, с каждым часом увеличиваясь, выросла внезапно в чудовищную панику. Начались разговоры о злых силах, сорвавшихся на волю, о том, что возможны ужасы времен Атиллы, сожженные города, вырезанные народы. Непрочной казалась даже земная кора.

Итальянцы суетились и шумели на улицах, как

помешанные. Их решения — направо или налево положат они свой шар — ожидали великие державы.

Елена трусила. Василий Васильевич хотел только одного — быть сейчас в России. Он обегал все агентства и выбрал ближайший пароход на Константинополь. Покупая билет, он сосчитал, что на курсе потерял семьдесят восемь лир, и вдруг с бешенством крикнул усатому, горбоносому кассиру:

— Весь мир летит к черту, вы понимаете? Вам никакие ваши курсы не помогут! Лавочники!

Кассир сейчас же высунулся с обеими руками из окошка, затараторил что-то, доказывая, считая по пальцам, плюясь и задыхаясь. Собралась толпа. Василий Васильевич махнул рукой и вышел. Зараза скандала носилась повсюду; на перекрестках, в гавани, на палубе парохода быстро собирались кучки людей, точно заговорщики.

Но когда медленно опустились вдалеке берега Италии и, кроме воды и неба, ничего не осталось кругом корабля, все вдруг успокоились. Море было ясное, с неуловимо затуманенными краями; в положенный час в его разгоряченные воды ушло солнце и позолотило край небес.

Потом появились созвездия, большие и зеленоватые. Над головой сиял Северный Венец, точно увенчивая корабль, единственный в этой водной пустыне; Скорпион окунал в воду свое жало; простерся Лебедь на востоке, он был похож на взметенный вихрями в небо гигантский аэроплан. Взошел Сатурн; зловещий мутно-желтый след его протянулся до корабля.

Елена сидела на верхней палубе, на парусиновом кресле. Подняв голову, закутанную в серый газ, она словно с тоской глядела на звезды, мерцающие теперь и вверху и внизу: как будто корабль двигался в небесном эфире без дна и берегов.

Василий Васильевич стоял рядом, не шевелясь и не дыша; он поднял воротник пальто и надвинул шляпу. Внизу играла музыка. Вдруг он различил знакомые душные звуки танго, и стало оскорбительно за все, что было вокруг. Он посмотрел на Елену.

— Ты помнишь? — спросила она улыбаясь.

Он затряс головой и, отвернувшись, стал думать: «Нужно о многом, о многом с ней поговорить. Боже мой, мы совсем чужие люди! Я не чувствую ее мыслей; мы нарочно закрылись друг от друга, чтобы не мешать сомнительным удовольствиям. Разве мы муж и жена?»

Он положил руку на ее плечо, сжал его и сказал:

— Ты тоже подумала о том вечере? Мне неприятно о нем вспоминать: что-то слишком откровенное было там, обнаженное. Ты взгляни: мы точно летим в небе, и как далеко остались те переживания, не правда ли? Мне хочется взять тебя за руку, знать, что ты — мой друг,— он заглянул ей в глаза, полные слез и точно звездной пыли.— Ты о чем, Елена?

— Почему ты думаешь — я должна отдать тебе еще и тот вечер? — ответила Елена и освободила плечо от его руки.— Мне хочется остаться одной.

Василий Васильевич отошел к палубному столику, взялся руками за влажные перила. Ему стало вдруг спокойно, холодно и пустынно.

— Если ты даже сейчас прячешься от меня так старательно, значит совсем не любишь,— сказал он и подождал.

Елена молчала. Тогда он негромко, точно добросовестно припоминая, рассказал о всех ревнивых думах, о мелких царапинах, противоречивых мелочах, разжигавших его ревность, и о том, что ему оскорбительны иногда их ласки,— в такие минуты он чувствует, как ее душа томится в духоте неосвященной и нечистой страсти и тоскует по другом... Он назвал имя Красносельского. Елена быстро встала.

— Для меня это новость,— проговорила она взволнованно,— если вы хотите так думать, я вам не мешаю.

Она ушла вниз. Василий Васильевич сел на скамью и просидел всю ночь. Ему было даже приятно, когда утренний ветер точно стал дотрагиваться до костей,— не осталось кровинки теплой в теле. Он решил довезти Елену до Одессы и там расстаться. Теперь он думал о войне: очевидно, призовут его еще не скоро, но хватит ли мужества пойти добровольцем и нужно ли это? Вернуться к прежней жизни, бездельной, суетливой, лишенной теперь прежнего очарования, казалось

самым тяжелым. Поднявшееся солнце припекало. Отчаянье стало безнадежным, и он задремал.

Вдруг Василий Васильевич почувствовал нежный, знакомый, обольстительный запах духов и невыразимо родное прикосновение руки к лицу. Он глубоко вздохнул и открыл глаза. Было уже поздно, около сидела Елена.

— Милочка моя,— сказал он медленно,— милая моя, милочка...

Елена опять провела по лицу его ладонью, поправила шляпу на нем и сказала:

— Посмотри, ты спишь, а вон идет военный корабль. Все трусят, говорят, что это немецкий крейсер.

Действительно, повисшие на бортах, стоящие на скамейках и у капитанского мостика пассажиры всматривались в длинное облачко дыма на юго-западе. Там над водой медленно поднимались мачты и трубы, и, наконец, появилась четкая полоска судна. Тощий господин в клетчатой каскетке, стоявший спиной к Елене, быстро опустил бинокль, обернул веснушчатое, вдруг покрывшееся морщинами лицо и крикнул:

— Он идет на нас!

Тогда кто-то охнул, точно надавили на живот, и толпа мужчин двинулась к капитанскому мостику, женщины начали хватать детей, полная дама, цепляясь коротенькими ручками за воздух, вдруг пронзительно закричала и пошла, как слепая, со сбитой набок шляпой.

— Что с ней? Остановите! Пусть она замолчит! — воскликнуло несколько голосов, и, побелевшая, как клоун, сутулая какая-то девица неожиданно молча повалилась на пол.

Военный корабль приближался; он выкинул сигнал, и капитан, побагровевший под загаром, поспешно приказал застопорить машину. Пассажиры стали вбегать вовнутрь парохода и выскакивали оттуда полураздетые, с пробковыми поясами.

Василий Васильевич все крепче и больнее сжимал Елене руки. Она сидела, побледнев и глядя на зеленовато-серый длинный крейсер; теперь на нем видны были даже пушки и медленно ползающие точки людей.

Вдруг вскрики, плач, суета затихли. Стало совсем страшно. В тишине хриплый голос капитана отчетливо проговорил: «На северо-востоке английское военное судно,— и после молчания добавил: — Это «Гамильтон», я могу поспорить».

И, точно услыхав это, немецкий крейсер изменил курс и быстро стал поворачивать. Тогда все увидели совсем ясно небольшое двухтрубное судно, оно приближалось с огромной скоростью. И вдруг все окуталось дымом. Через много секунд над водой полетел тяжелый грохот, надрывающий шелест снарядов, и раздались металлические удары, будто в борт крейсера хватили молотом; на нем поднялся столб огня, копоти, и сейчас же восемь его орудий, выкинув пламя и дым, ударили, сотрясая море и небо. Но ни один из тяжких снарядов не настиг маленького «Гамильтона»: он летел уже в обратном направлении, сближаясь и страшно дымя, и снова окутался дымом орудий, и, круто повернув, как волчок, дал третий залп, сбивший трубы и мачты с крейсера, покрыв палубу его кипящим пламенем. Подбитый крейсер стал быстро уходить; кругом него взлетали столбы воды...

— Слышишь музыку? — проговорил, наконец, Василий Васильевич.

Елена молча кивнула; мертвенное лицо ее было искажено; она освободила губу, до этого стиснутую; из-под глубокого знака зубов потекла кровь.

— Иди же, беги туда,— сказала она, дрожащими пальцами вытаскивая из сумочки платок.

Василий Васильевич схватил его и, размахивая и крича, как и все на пароходе, побежал к противоположному борту, куда подходил «Гамильтон». На его носу музыканты, сверкая трубами, играли марш. После грохота битвы музыка эта казалась нежной и таинственной, словно выходящей из глубины моря.

2

В том замкнутом кругу, где Василий Васильевич и Елена жили до сих пор, война была принята как очередное и чрезвычайное событие. Немедленно появились

особые правила приличия; стало считаться неудобным носить яркие платья и шляпки и не вязать носков и набрюшников. Были введены в обиходный язык слова, до этого считавшиеся грубыми: портянки, набрюшники, кальсоны и прочее, а к рождеству в гостиные проникло даже слово вошь, хотя и произносилось с некоторой заминкой; словом, круг этот не был застигнут врасплох и сразу применился.

По приезде в Петроград Елена, как и многие из дам, надела косынку и работала в лазарете. Под белым платком ее лицо казалось теперь затихшим и смиренным, и появилось новое выражение: поджатые губы, будто она стыдилась их красоты и выразительности. Василий Васильевич назвал ее «крестьяночкой». Она велела очистить от шкафов и картонок дальнюю комнатку, оклеить ее белым и там спала в ночи, свободные от дежурства. Эта беленькая комната взволновала Василия Васильевича, но он поймал себя на дурной мысли, пересилил и стал проходить мимо дверей на цыпочках и с умилением. Ему казалось — с Еленой происходит то же, что с ним; они оба пережили ожидание смерти и слышали голоса пушек; металлические, неумолимые, эти голоса звенели и теперь в ушах, отбивая новый ритм, подобно чудовищному камертону. Все личное, прежние привычки и страсти словно съежились — их было стыдно иметь. Тогда Василий Васильевич поспешил освободиться от них совсем. Это было нетрудно. Но освободившись (он рассчитал дорогого повара, отдал автомобиль союзу, поклялся не пить, не курить, не играть до окончания войны и, главное, выдержать молчаливое соглашение с Еленой), неожиданно почувствовал себя маленьким, похожим на всех и точно не одетым. Поэтому главное чувство, овладевшее им теперь, было смирение. Он не мог понять хлопотливой болтовни иных своих благотворительных тетушек, убежденных в том, что немцы, придя, например, и увидя, какие они добрые и светские, немедленно поймут свое место и бросят грубить и воевать; хотя убеждение это, правда, уже пошатнулось после того, как тетка Варвара, которой боялся весь Петроград, вернулась из-за границы в одной юбке,

без чемоданов и вставных зубов, с вывихнутым коленом.

Василий Васильевич начал работать в комитетах, потом в союзе по снабжению армии. Он вставал еще при электричестве, звонил по телефонам, разбирал бумаги и письма, затем, довольный и радостный, завтракал у себя в кабинете и ехал по делам.

Он встречался с людьми, которых прежде почему-то привык не уважать. Теперь он старался всячески покрыть эту свою вину, и было радостно казаться незаметным, умаляться, точно этим он докапывался до самого себя, подлинного и единственного. Иногда он с тревогой думал, что, сдирая с себя, как с луковки, шелуху за шелухой, найдет ничтожное и никудышное ядро.

Но когда настала, наконец, очередь Василию Васильевичу надеть форму прапорщика, ядрышко это, самая сущность, не завопила, не перетрусила, а точно засветилась радостным и тихим светом. И он только дивился, каким чудом это его умиротворение сочеталось с единственным теперь долгом войны.

Увидев мужа первый раз в форме, Елена вскрикнула и покраснела.

— Вот привезут без ноги, прямо к тебе в лазарет лягу,— сказал Василий Васильевич, думая, какой бы ему найти предлог, чтобы поцеловать ей руки.

Они были длинные и тонкие, с очень обозначившимися теперь синими жилками. Ему вдруг до боли стало жалко Елену.

— Милочка, зачем ты так мучаешь себя? — внезапно проговорил он и, видя, что она, как всегда, испуганно подбирается, оглядываясь, чтобы уйти, поспешно докончил: — Я уже многое знаю и все пойму. Ты только откройся, будем и в этом вместе. Ведь мы же иные сейчас!

— Я боюсь, что он убит,— сказала Елена, прямо и строго глядя ему в глаза.

Василий Васильевич понял: сегодня весь город облетело известие о больших потерях в Энском полку, где служил Красносельский; в вечерних выпусках ожидали подробностей и списка павших.

Они не сказали больше ни слова. Василий Васильевич взял только руку Елены и молча поцеловал между синими жилками, такими понятными, смертными, простыми. Елена вышла. Он сел на пол перед камином и, глядя, как пылает загорающийся и сыплется догоревший кокс, стал думать о том, что давно ожидал смерти Красносельского, почему-то был в ней уверен и боялся, не принесет ли она ему злой радости. Он закрыл глаза: конечно, если Красносельский убит, то и ему тоже должно умереть! Такой неожиданный вывод удивил Василия Васильевича; он заворочался и подальше отодвинулся от огня. Но вдруг стало ясно одно: все это его спокойствие и умиротворение оттого, что он уже давно, сам того не зная, готов к смерти.

Около семи часов Василий Васильевич услышал, как два раза негромко позвонили в парадном,— принесли из швейцарской вечернюю газету; сейчас же по коридору застучали неровные и быстрые каблучки Елены. Она сама открыла дверь, сказала: «Благодарю»,— и зашуршала газетой, должно быть просматривая ее на ходу; затем остановилась.

Василий Васильевич стал считать на каминных часах секунды.

«Если через тридцать ударов маятника не произойдет ничего, то в газете нет никаких известий и слух о смерти Красносельского неверен»,— загадал он и уже на пятнадцатой секунде сбился: весь красный и потный, захватил бороду и потянул изо всех сил, чтобы хоть этим перешибить внезапно поднявшиеся с самого дна, как дым, дурманящие противоречия. Маятник качался все реже. Между двумя его ударами протянулась вечность. Елена жалобно вскрикнула, Василий Васильевич выбежал в коридор и увидел ее прислоненную к стене, в углу у телефона. Зажмурясь, точно смеясь беззвучно, она медленно сползла на паркет. Он подхватил ее, повторяя: «Возьми себя в руки, пожалуйста, нельзя так, нехорошо»,— и отнес в белую комнатку. Елена обхватила подушку молча, не шевелясь; потом подняла совсем серое лицо и проговорила сквозь зубы:

— Пожалуйста, позвони сорок четыре — шестьдесят семь, сегодня не могу на дежурство.

Спустя два дня сильный морской ветер с утра погнал вдоль улиц дождь и мокрые хлопья. Василий Васильевич, улучив по службе время, вошел в собор, что на Измайловском. Холодный мутный свет с купола и желтенькие огоньки свечей не могли насытить полутьму церкви; дубовый гроб с телом князя Красносельского был покрыт цветами, поверх лежала красная фуражка; Василий Васильевич стал близ дверей, на сквозняке, дувшем в спину и шею; замотанная платками баба оглянулась на него, жалобно вытерла нос и что-то зашептала.

Василий Васильевич стал смотреть поверх голов на колеблющиеся траурные шляпы большой родни, окружившей гроб. Затем поднял глаза повыше; запели на клиросе детские голоса, то сливаясь, то вступая попеременно дисканта и альта,— они пели ясно и без скорби, точно уверяя: «Живите с миром, живущие, отошедший — с вами, он в свету и покое, печаль светла».

Василий Васильевич стал кусать губы, чтобы сдержать подкативший к горлу клубок. Голоса зазвенели, наконец, с такой радостью, словно над клиросом, над мальчиками, раскрылся купол, и оборвались.

Осторожно протискиваясь сквозь народ, Василий Васильевич искал глазами Елену, думая сказать ей: «Он был прекрасен, я теперь понимаю. Сейчас говорили: он погиб как герой. Ты должна была его любить преданно, всем духом». Но когда нашел жену, стоящую на коленях у темной колонны, не посмел ее потревожить и стал позади, глядя, как иногда двумя короткими вздохами поднимаются ее плечи, а сквознячок, отогнув косынку, тревожит завитки волос.

Служба кончилась, народ повалил на волю. Василий Васильевич поднял Елену и вывел на паперть, где с двух сторон толпились нищие, протягивая деревянные и свинцовые тарелочки. За воротами стояли солдаты, и музыканты готовились играть. Снег шел гуще, чем поутру, резкий порывистый ветер крутил его, лепил в лицо, и все — колонны, кареты, люди и лошади — стало белым с одной стороны. Елена поскользнулась на ступенях, ветер распахнул ей шубу, ослепил мокрым снегом. Но она продолжала стоять, ожидая выноса.

Наконец на плечах солдат и офицеров выплыл тяжелый гроб. Протяжно и торжественно запели трубы шопеновский марш, и звуки его, срываемые ветром, понеслись сквозь снег и сумрак впереди заколыхавшейся толпы.

Василий Васильевич попросил Елену сесть в карету; снегом залепило стекла, ветер, раскачивая кузов, шлепал кожей и в углу свистел, словно надрываясь.

— Ах, какой ветер, какой ветер,— повторяла Елена, наклоняясь к окошку.

Муфта соскользнула с ее колен, Василий Васильевич поспешно поднял; тогда она стала смотреть ему в лицо, напряженно думая, потом сказала:

— В тот вечер, помнишь, на святках, я просила его быть моим мужем. Я бы не постыдилась ничего, только бы любил меня, а он, вот видишь, не любил,— она перевела дух и продолжала тем же печальным голосом: — Когда вы встретились у меня, я просилась прибежать к нему ночью, я и на это была согласна, правда. Он понял, что со мной делалось, но обидеть не захотел, засмеялся и сказал, чтобы я приехала не одна, а с тобой, а в дверях повторил: «Нет, нет, я скромнее, чем обо мне думают». Больше мы и не видались. А за тебя я вышла с отчаянья, сам знаешь. Как же могла тебя любить? Ни одного часа не любила истинной любовью; мыслью не хотела изменить ему. И не изменила, не изменила, не изменила. И еще хуже — тебя было жалко невыносимо... Точно ты актер: наряжаешься под другого, под него. Он был повсюду — в моих глазах, в воображении, в крови... Подумай, могла я сознаться тебе?.. Ах нет, не оправдываюсь! Грешна, грешна, знаю. Простить меня нельзя. И не насилуй себя. Не прощай. Теперь ничего, ничего не надо...

Василий Васильевич понимал только одно: сейчас нужно молчать, пусть скажет все. Он молчал, откинувшись в глубь кареты, закрыв глаза. Каждое ее слово точно втыкалось — так было больно. Внезапно он почувствовал всю свою грудь, ребра, сероватую полость между ними и твердое, жесткое сердце, с усилием отбивающее секунды; сейчас на него покушаются, засо-

вывают руку в самую глубь. «Этого не прощают»,— повторил он про себя.

— Я очень прошу, похлопочи, чтобы мне поехать туда, откуда его привезли,— продолжала Елена,— здесь я не могу. Пожалуйста, устрой это мне. Помоги уж мне в последний раз.

Она наклонилась к окошку, залепленному снегом, и опять проговорила:

— Ах, какой ветер, какой ветер!

Василий Васильевич скользнул по кожаному сиденью к ногам Елены, опустил в колени ей голову, из горла у него с натугой вырвался, наконец, давно накипавший крик, несуразный, хриплый, и лицо залилось солью и горечью слез. Елена испуганно рванулась к дверце. Василий Васильевич отерся ладонью, открыл карету и, выскочив на ходу, крикнул:

— Прости! Как это глупо! Господи!

И, с силой захлопнув дверцу, пропал в снежной буре.

3

Лунный свет заливал белую равнину, слегка холмистую, с неуловимыми, насыщенными мглой краями, приподнятыми, как чаша к небу, где медленно плыл месяц, окруженный двойным радужным кольцом.

Из мглы через снега, мимо низкого домика, за холмом, пропадая опять в неясном сумраке, шла, едва приметная сейчас, канава, в которой лежало несколько тысяч человек, один подле другого, за высунутыми винтовками. Вдоль всей этой извилистой, в несколько рядов, прерывающейся канавы были набиты колья, оплетенные проволокой, запорошенные снегом. Дальше на равнине, так же схоронясь, оплетясь колючкой, недвижно лежал враг.

Василий Васильевич, в белой простыне поверх полушубка, вышел из домика и по глубоким сугробам взобрался на холм. Отсюда было видно все голубоватое поле, застывшее и мертвое. Иголочки мороза, переливаясь в лунном свету, медленно опускались на снег, на руку без перчатки, на усы.

Василий Васильевич внимательно еще раз принялся оглядывать в бинокль ту часть огромного поля, откуда на сегодняшнюю ночь ожидалась атака; но не было видно ни пятен, ни теней, не слышно выстрелов; разведчики же донесли, что в этом месте к неприятелю подошли подкрепления. После долгого бездействия германцы вновь намеревались пожертвовать жизнью нескольких тысяч своих солдат, чтобы на военной карте синяя черта, обозначающая русских, продвинулась на полмиллиметра.

Вглядываясь, Василий Васильевич опять представил суровых усатых людей, пришедших в эти снега, чтобы залечь и убивать и гибнуть самим. Но для какой цели? Не могут же они действительно поверить во владычество над миром. Тогда не с этим оружием надо было идти. Из каких подвалов поднялись у них это упорство, ненависть и тягота по убийству? Точно все их племя копило сотни лет неудовлетворенную эту жажду, она просочилась в кровь, закипела ядом и вырвалась, как буря.

Василий Васильевич опустил запотевший бинокль. Невдалеке перед ним на снегу сидело унылое, скучающее существо. Он вздрогнул. Вчера такое же протащилось под косогором, ныряя и волоча зад. Кажется, это был волк, Василий Васильевич с усмешкой шагнул вперед. Существо зашевелилось и двинулось навстречу, бесформенное, в серых зыбких складках, иногда безголовое, иногда будто выныривала из него остренькая головка.

— Фу ты,— громко сказал, даже плюнул Василий Васильевич. Тогда существо приподнялось, вздернуло руки и жалобно крикнуло по-немецки:

— Kaptif, Kaptif, mein Ober!

Перебежчик, худой, истощенный, с землистыми морщинами у рта, был закутан в защитный саван; он стоял перед Василием Васильевичем, показывая отмороженную руку и жалуясь, что третий день не ел и не хочет больше идти на убой. Василий Васильевич повел его в избенку, чтобы снять допрос.

От тепла и табачного дыма немец отошел и подробно ответил на вопросы.

— Наш полк назначен сегодня в атаку, в первую линию,— сказал он, щуря на керосиновую лампу покрасневшие глазки,— дай бог, если останется от него половина. Нам выдали каждому по эфирной лепешке; от нее кружится голова, приходят возвышенные мысли и ничего не страшно. Вот мой совет: будьте очень осторожны сегодня ночью: наши солдаты злы, зачем вы продолжаете сопротивляться. Я также был очень зол, но, как видите, изменил долгу, потому что слишком хотел кушать.

Окончив допрос, батальонный командир, грузный и сонный человек, ушел к себе за ситцевую занавеску, где сейчас же заскрипел постелью. Кто-то из младших офицеров предложил перебежчику чаю. Немец снисходительно улыбнулся, сделал под козырек, взялся за стакан, но сейчас же охнул от боли. Обмороженные пальцы не сгибались, упавший стакан облил ему сапоги, обмотанные тряпками. Тогда Василий Васильевич, поискав бумаги, оторвал от сахарного пакета клочок и написал карандашом крупными буквами:

«Елена, посылаю пленного, позаботься, он очень жалок. Сегодня в ночь ожидается бой. Может быть, мы не увидимся больше. Пожалуйста, не заходи в линию огня, это — никому не нужный риск. Я волнуюсь, но, кажется, значительнее и торжественнее этой ночи не было и не будет ничего».

Передав конвойному письмо, Василий Васильевич вышел из избенки. Солдат и пленный гуськом удалялись по тропе между сугробами. Месяц и радужные круги сияли теперь ярче, над самой головой. Повернувшись на запад, Василий Васильевич увидел, как из мглы над снегами поднялся красноватый шнур, на огромной высоте оборвался и вдруг распахнулся ослепительными красноватыми огнями. Долетел глухой звук, точно от раскупоренной бутылки, и вслед за ним вся залитая багровым сиянием даль грохнула, раскололась, и замигали в ней тысячи искр. Началась подготовка атаки.

Елена сидела перед железной раскаленной печкой, вынимая из кипящей кастрюли инструменты, и опускала их в спирт; в низком, затянутом войлоком

балагане было душно; раненые спали, бормоча, вздыхая, вскрикивая глухо; иной приподнимется, обведет одичавшими глазами низкие койки, привернутую лампу, сестру, копошащуюся у печки, и, ничего не поняв, повалится со стоном.

Вынув последний нож, Елена выплеснула в ведро воду из кастрюли, взглянула на часики и зевнула; ночь еще только начиналась, а уже клонил сон, и надо было думать, как ему не поддаться.

Елена приехала в этот барак с твердым решением умереть; ясно, как на картине, она видела себя лежащей на снегу, подтаявшем и красном около пробитого виска; но с первых же дней навалилось столько работы, что думать о смерти было некогда, а убитая женщина на снегу показалась просто глупостью. Раненые были так беспомощны и покорны, так нуждались в ласке, работа уносила столько сил и жалости, что в часы отдыха Елена спала без снов, с жадностью или садилась на пне у дверей и, не думая, в тихом оцепенении, глядела, как падает снег или вдалеке через бугор проскачет заяц, протрусит казак. Острое горе, заслонившее было весь свет, словно подернулось все той же пеленой снега, ослабело, стало печалью, и впервые Елена почувствовала себя жалкой, неочищенной, ненужной. И на унылом поле ее дум все отчетливее появлялась одна фигура — молчаливая, покорная и обреченная. Елена встряхивала головой и возвращалась в палатку к терпеливым мужикам, разметавшимся в бреду.

Внезапно глухой грохот наполнил балаган, лампа мигнула и выпыхнула клуб чада. Елена с ужасом подняла голову, не понимая, как же это она все-таки умудрилась заснуть и что случилось. Раненые проснулись, один сидел на постели, слушал. «Ну, и зашкваривает немец»,— сказал он негромко. Елена накинула полушубок и вышла на мороз. Снег искрился, как всегда; во мгле не было видно ничего, только в надрывающем грохоте бухали неподалеку четыре пушки, торопливо, точно четыре собаки услышали свалку и, рвя цепи, рявкали в темноту.

Подошли заспанный доктор и вторая сестра. Она куталась и шептала: «Что это, господи?» — «Дело серьезное»,— сказал доктор. Прыгая через сугробы, подбежал фельдшер, сказал, не попадая зуб на зуб, что уже разбудил санитаров и необходимо закладывать сани. Елена пошла распорядиться. На полдороге ее остановил солдат и подал синюю бумажку-обрывочек. Она сунула записку за пазуху и видела мельком, как совсем недалеко, у места, где стояла офицерская избенка, поднялся косматый столб огня.

Уже подходили раненые и садились у дверей барака; двенадцать саней вернулись полные угрюмыми, окровавленными солдатами. Доктор, в одном белом халате, работал на холоду. От радостного, как у всех сейчас, и жуткого возбуждения он резко вдруг крикнул Елене: «Что вы глазами хлопаете, потрудитесь заняться, вон у человека рука болтается!»

Действительно, Елена забывалась на мгновение, останавливалась на полдороге, точно никак не могла что-то вспомнить. Она подошла к раненому и стала резать ему рукав, освобождая из-под одежды и мокрого бинта белую, жалкую руку; солдат сидел как каменный, только закатывал глаза. «Больно тебе?» — спросила Елена. Он облизнул губы, сказал: «Потерплю, сестрица»,— и она увидела его глаза, желтоватые, сосредоточенные, умные, с тем выражением чистоты и примирения, какое бывает у очень страдающих людей.

Окончив перевязку, она сейчас же подошла к лампе и прочла записку. Тотчас вспомнился столб огня, виденный мельком. Елена поспешно сказала доктору:

— Я должна ехать туда, я боюсь за мужа.

— Глупости,— ответил доктор,— не пущу. Хотя вернется фельдшер, тогда поезжайте.

Офицерский домик пылал, далеко освещая снег, уткнувшиеся в него тела, и от кольев колючей изгороди бросал длинные красноватые тени.

Василию Васильевичу с пригорка была видна вся его рота. Он сидел на коленях, стиснув зубами костяной свисток. Теперь уже ясно была различима темная волна людей, двигавшихся по равнине.

Толпы германцев, должно быть орущих дикими голосами, колыхались, то внезапно отливали, оставляя на розоватом снегу бесформенные пятна, иногда кучи, иногда целые борозды тел, то снова упрямо лезли к русским траншеям, наполовину развороченным пушками. Вверху над наступающими лопались огненные шары, навстречу неслась буря взвизгивающих пуль, и рокотал, дрожа от напряжения, пулемет...

Многие ползли, поднимались и, пробежав, падали; была минута, когда их навалило неподалеку длинной грядой, но позади напирали. Они уже достигли теней, бросаемых кольями. Василий Васильевич различал на мгновенье отдельные лица... Офицер, высокий, с маленькой головой, бежал наклонясь, глядя перед собой, затем рванул пальто и упал. Снова замелькали тяжелые фигуры с опущенными ружьями, длинная сталь штыков вспыхивала. Все чаще, чаще спотыкаются, падают ничком, навзничь... Но задние лезут через тела, сигают, вязнут... Огромный германец с разинутым до ушей ртом бросил ружье, схватился за каску, сорвал ее и ткнулся головой в снег. Василий Васильевич услыхал, наконец, их крики.

Он не замечал, как над головой, с боков, по всей его роте поют пули, рвется с тошным визгом шрапнель. В нем сжались сосуды, остановилась кровь... Он сознавал только одно — не пропустить минуты, засвистеть и выбежать навстречу.

Вдруг замолк пулемет; двое солдат, в надвинутых на глаза папахах, поднимали полузасыпанное орудие повыше. «Живей»,— крикнул наводчик и снова прильнул, и пулемет затрещал как в лихорадке.

Василий Васильевич оглянул, много ли солдат осталось в его роте (ушло на это, кажется, не более секунды), а у проволок уже копошились, падая и ползая, человек пятьдесят людей с длинными ножницами. Нельзя было понять, кто живой, кто мертвый; германцы подползали, хоронясь за трупами, стреляя, накапливаясь. «Пора, пора»,— с мучительным, как во сне, усилием повторял Василий Васильевич. Полетели оттуда часто, как мячики, ручные гранаты, оглушительно лопнула одна, другая, еще, еще; германцы набегали, ка-

рабкались на бугор. Василий Васильевич уже стоял, дуя что было силы в свисток, и вдруг, незаметно отделясь от земли, перепрыгнул канаву... Теперь он не видел ничего, глаза застлало туманом, в котором копошились красноватые тени...

С гоготом, гиканьем, бешеной бранью хлынула за ним серая толпа солдат... Затихли разрывы, выстрелы, пулемет...

Теперь в тупой, жуткой тишине слышны были только удары, вскрики, рычание, хруст, ругательства. Поднимались руки, приклады, летели шапки, каски. Немцы визжали дико и в ужасе перед болью и смертью метались с выкаченными глазами, вспененным ртом. Василий Васильевич, лазая через упавших, кричал одно привязавшееся слово: «Дьяволы, дьяволы!» На мгновение туман отходил от глаз, и он увидел, как немец, совсем мальчик, плакал, держась за горло, затем упал, вцепился зубами в проволоку...

И вдруг все кончилось. Ни крика, ни лязга; только стонали раненые. Василий Васильевич с удивлением оглянулся; его солдаты молча и мрачно бродили между упавшими — кто вытирал лицо, кто искал шапку, кто, зажав рану, брел назад на бугор; несколько человек, опираясь на винтовки, угрюмо глядели на последнего германца, старого и толстого; он стоял, держа ружье наперевес, и, сопя, поворачивал грузное, как на медали, бритое лицо. «Бери живьем»,— крикнул Василий Васильевич. «Чего его брать, он весь испоротый»,— сказал солдат и замахнулся было, но германец тяжело рухнул на колени, потом — ничком. «Поклонился, кончился»,— проворчал солдат.

И сейчас же за спиной упавшего Василий Васильевич увидел узкоплечего офицера в маленькой щегольской каске. Он сидел, поджав под себя ноги, упираясь кулаками в снег. Вспыхнувшее в последний раз зарево отчетливо озарило его длинное лицо, и то, что казалось висящей бородой,— было кровью, она медленно текла из разбитой челюсти и рта. «Санитары!» — крикнул Василий Васильевич, начиная дрожать... Отвращение, жалость, все, что дремало до этой минуты, внезапно поднялось в нем. Неуловимой чертой изящества обезобра-

женный офицер напомнил ему людей того круга, где Василий Васильевич всю жизнь чувствовал, страдал, наслаждался музыкой, любовью, комфортом. Он словно утратил внезапно условность сознания того, что происходит, что был штыковой бой и поле полно трупов русских и германцев. Перед ним мучился страшной болью человек.

Увязая в снегу, Василий Васильевич подбежал к раненому и, говоря почему-то по-французски: «Потерпите еще немного, сейчас будут санитары»,— засунул руки ему под мышки, силясь приподнять. Голова раненого запрокинулась. Потухшими ненавидящими глазами он уперся в глаза Василия Васильевича, высвободил из снега кулак, в котором был зажат револьвер, и выстрелил в упор два раза. Василий Васильевич поднялся, отступил и, падая навзничь, слышал, как сгрудились солдаты, жестоко дыша, точно поднимая что-то на штыках. Затем стало темно и глухо. «Ничто»,— подумал он...

Затем страшно медленно это «ничто» растворилось. Была где-то посередине чувствительная точка, но и она прошла. Стало не больно и не тяжело, хотелось всегда чувствовать покой и это мягкое медленное покачивание и думать:

«Вот она какова — смерть! Хорошо бы им всем рассказать. Жаль, что не могу. Но разве запрещено это? Нужно сделать только усилие,— и он открыл глаза,— какая дивная смерть, ясная, синяя. Это все оттого, что я сбросил всю шелуху,— огонек мой разгорелся в большое небо».

Медленно в это время над его глазами проплыла сосновая ветвь, осыпанная снегом. «Все-таки чудесно было жить,— подумал он,— вот такие же ветки были когда-то за окном, у морозного окошка. Елена тогда плакала. Зачем она плакала так горько? Ведь пели же радостно мальчики в церкви, что всем будет хорошо. Нужно заслужить, потрудиться, и тогда все услышат небесную музыку...»

Он долго вслушивался в поскрипывание, в легкий и мерный топот. Вдруг совсем близко изумительный голос проговорил:

— Ты смотришь? Тебе не больно?..

Василий Васильевич еще посилился, поднял голову и вдруг увидал красноватые стволы сосен, медленно уходящую в белом снегу узкую дорогу, краешек саней и Елену, в полушубке и пуховом платке.

Она сердито затрясла головой: «Не шевелись, нельзя»,— понял он и улыбнулся. Тогда Елена быстро припала, обхватила его голову, прижалась щекой к лицу и проговорила нежно и опасливо:

— Родной, единственный, любимый... Всегда теперь, всегда буду тебе служить...

Василий Васильевич все вспомнил, и все понял, и закрыл глаза. Он чувствовал за веками хрустальное небо, белые ветви и родное, человеческое, любимое лицо.

ДЛЯ ЧЕГО ИДЕТ СНЕГ

Кривые переулки Арбата были засыпаны снегом. Бесшумно проезжал извозчик, и толстая дама, сидя на его санках, прятала в муфту иззябший нос. На белом дереве каркала ворона, осыпая с ветки снежные хлопья. Снег лежал на тумбах, на каменных столбах церковной ограды, скрипел под сморщенными башмаками девочки, пробежавшей из ворот в молочную лавочку. Два гимназиста, шатаясь по тротуару, толкали друг друга на сугроб. Снежные мухи крутились у фонаря.

Николай Иванович, засунув руки в глубокие карманы шубы, медленно шел по этим местам. На носках его калош прилипло по кучечке снега. Снежинка села на шею и щекотной каплей потекла за воротник. Ширк-ширк-ширк,— мела метла за углом. Неяркое небо, задернутое ровной пеленой облаков, мягко светилось над переулком.

«Ну, вот зима, ну, снег, ну, я иду, а вон собака! Нудно, тихо, убого,— думал Николай Иванович.— Самобытное и единственное, что здесь только и возможно делать,— забраться на лежанку и задремать, слушать, как мурлычет кот».

Николай Иванович возвращался из кофейни, где ежедневно проводил некоторое время, рассматривая журналы, попивая кофе с лимончиком.

«Ничего дельного из нас никогда выйти не может. Снег, да шубы, да лень, да праздная фантазия. А ведь

сейчас где-нибудь идет пароход. Две прозрачные волны разлетаются перед его носом. Вода и небо. И вдалеке виден берег какой-нибудь Австралии. Какая страна!»

В воображении Николая Ивановича перевернулась страница иллюстрированного журнала и представился город, лежащий амфитеатром по краям извилистой, залитой солнцем лагуны. Высокие здания, колоннады, над колоннадами висячие сады, арки, площади и мосты наполнены прекрасной толпой австралийцев. Какие лица! Какая жизнь!

Бум,— ударил колокол у Николы на Курьих Ножках. Перед калошами Николая Ивановича появились серые ботики. Он задержался и поднял глаза. Перед ним стояла, улыбаясь, Марья Кирилловна. От снега ее глаза казались совсем зелеными. На ней были коричневая шапочка и вуаль. На плечах, на бархате, лежали снежные мухи.

Она вынула из муфты руку, обтянутую белой перчаткой, и крепко поздоровалась. Они сказали друг другу:

— Куда идете?

— Да так, шляюсь, за дело не могу приняться.

— Опять все та же «теория федерализма»,— проговорила она с трудом, и глаза ее усмехнулись лукаво.

— Да, завяз. А вы куда?

— Я тоже гуляю.

— Так пойдемте вместе.

Они перешли улицу. У Марьи Кирилловны шаг был гораздо меньше; Николай Иванович, наконец, попал ей в ногу и спросил, думает ли она остаться в Москве на праздники.

— Нет, не придется. Дней через десять уезжаю,— ответила она озабоченно, углы ее рта, задрожав, чуть приподнялись презрительно.— Вчера получила письмо от мужа, очень тяжелое.

Она посмотрела прямо и ясно. Николай Иванович насупился. Ему вдруг захотелось рассказать о себе, как ему вообще дрянно. Вместо этого сказал:

— Ни я и никто до сих пор не понимает, зачем вам понадобилось выйти замуж за доктора из Харькова. Может быть, он и распрекрасный, но почему — доктор?

Она подумала и ответила спокойно:

— Он хороший человек, умный и дельный. Но в нем нет места, где бы можно приютиться. Хотя почему он обязан быть таким, как я хочу? Мне его бывает иногда очень жаль. Когда становится очень скучно, я уезжаю сюда, к маме. После разлуки живем тихо и уступаем друг другу. Он любит меня по-своему, иначе не умеет.

Она моргнула несколько раз, скользнув ресницами по вуали, и отвернулась. Войлочные ботики ее ровно постукивали, поскрипывали по снегу. Профиль — нежный и тонкий, чуть-чуть заносчиво приподнятый угол рта, глазки и зубки какого-то зверька на ее шляпе, и голос — точно у девочки — никак не вязался с представлением об ее муже, угрюмом докторе, огромного роста волосатом человеке.

— Вообще доктор не имел права на вас жениться,— сказал Николай Иванович.— После вашего отъезда в Москве стало пусто и скучно, точно вдруг все во всем разочаровались. Утешается же один только доктор. Но, оказывается, и ему не легче,— это уже совсем глупо.

Они вышли на площадь. В неясном свете вечера висели опаловые фонари. Со звоном скрещивались трамваи. Над сугробами сутулился в бронзовой шинели носатый Гоголь. За его спиной деревья бульвара уходили в голубоватый сумрак.

— Мне налево, прощайте; заходите как-нибудь до отъезда,— проговорила Марья Кирилловна.

Он со внезапной скукой поглядел под ноги на изъезженный снег. Представилось: проститься, побрести домой, опять думать об Австралии,— безнадежно. Николай Иванович вздохнул, подал руку, проговорил лениво:

— Ну, прощайте.

И они, как обычно, простясь, пошли рядом.

На углу, у освещенного подъезда театра, Марья Кирилловна вдруг сказала с усмешкой:

— Зайдемте.

Они вошли в высокую залу театра и сели в темноте в ложу. Перед ними о скалистый берег плескалась большая волна, издавая звуки вальса. Вдруг вальс перекатился в легкую польку, появился поезд и в замирающих звуках унесся на ледники. А музыка уже играла нок-

тюрн, и вот длинная, полупризрачная гондола заскользила между покосившихся свай вдоль ветхого фасада. Николай Иванович проговорил:

— Я, помню, весной возвращался от вас. Вы тогда еще ходили в гимназическом платье. Я воображал, как мы поедем в лодке. Почему-то дальше лодки, камышей и стрекоз воображение не смело залетать.— Он несколько раз повернулся в кресле, снял шляпу; когда же его плечо нечаянно коснулось ее плеча, он вдруг застыл и продолжал уже совсем тихо:— Такое чувство, будто меня придавили и какая-то давнишняя радость во мне задыхается, умирает... Мне скучно и сухо жить одному. Вы меня точно из лейки немножко полили. Спасибо и за это.

Марья Кирилловна ласково и внимательно оглядела все его лицо. Под яростный треск галопа Глупышкин улепетывал на велосипеде от разъяренных торговцев фаянсовой посудой.

— А еще труднее, когда слишком много неотданной, напрасной нежности,— проговорила Марья Кирилловна.

После «Ловли сардин в Норвегии» она прибавила:

— Хорошо, когда тоскуешь по человеке, когда по тебе тоскуют. Тогда хорошо.

Больше они не сказали ни слова. Скакали ковбои. В рояле были гроза и выстрелы. Горела железнодорожная будка. Николай Иванович отвез Марью Кирилловну домой. В подъезде осторожно поцеловал ей руку и вернулся к себе.

. . . .

Николай Иванович проснулся поздно в маленькой спальне. На зеленых обоях лежал снежный свет. Снег медленно падал за трехстворчатым окном.

Куря папироску, Николай Иванович вспоминал вчерашнее. Воспоминаний было много и еще больше разбежавшихся от них невеселых мыслей. Выкурил пять папирос, и только тогда, морщась, он оделся, выпил кофе и подошел в кабинетике к письменному столу.

Книги, рукописи, начатые листы, окурки и пепел завалили весь стол. Страшно было подсесть,— не только работать в таком хаосе. Николай Иванович принялся читать газету. В три часа звонили по телефону. В че-

тыре часа он раскрыл, наконец, том «Теории федерализма». В половине пятого пришлось лезть в трамвай, ехать на Петровку обедать. Остаток дня прошел, как всегда — никак. В одиннадцать часов на Тверской к нему привязалась бабища с таким количеством перьев на голове, что сидевший в санках у тротуара лихач прохрипел: «Смотри, тетка, не улети!» От бабищи Николай Иванович спасся по Леонтьевскому переулку. Вернулся домой и лег спать. Второй и третий день прошли точно так же, без изменения.

Наконец поутру Николай Иванович поглядел на тощие свои ноги, и у него сильно защекотало в горле,— выпил воды. Он оделся тщательно, походил по кабинету, беря в руки то газету, то книгу, затем с отвращением швырнул томом «Теории федерализма» в кучу мусора на столе и повернулся к окну.

Все так же мягко опускался с неба на землю крупный снег. Но только в сумерки Николай Иванович решился пойти на Молчановку и позвонить в третьем этаже налево. Отворившая горничная сказала шепотом:

— Марья Кирилловна очень больны, к ним нельзя.

Николай Иванович потер лоб, потом вытащил из жилета и дал горничной полтинник, спросил, можно ли оставить записку. Но записки не написал, еще потер лоб и вышел.

Стало ясно,— на улице делать нечего, у себя дома сидеть невозможно и уже совсем бессмысленно пойти к какому-нибудь приятелю. Он перешел улицу, сел на сугроб и принялся глядеть на тускло освещенное окно в третьем этаже. У Николы на Курьих Ножках благовестили к вечерне.

Пять вечеров подряд Николай Иванович заходил на Молчановку справляться о здоровье и все это время думал о том, что четвертое измерение — не чепуха: дни точно остановились, утро, день и вечер смешались в одно... Реальностью были слабо освещенное окошко в третьем этаже и сугроб, куда Николай Иванович садился, чтобы подолгу глядеть на это окошко.

На шестой вечер его впустили в просторную комнату с опущенной шторой. Он увидел синий абажур, спинку карельского дивана, клетчатый плед, несколько подушек

и на них кусок щеки Марьи Кирилловны и большой ласковый глаз. Все остальное было покрыто фланелевым платком. Она выпростала из-под пледа горячую руку. Николай Иванович наклонился над ней низко, поцеловал и сел на стул.

— Спасибо, что заходили,— сказала Марья Кирилловна,— у меня была инфлуэнца и перекинулась на ухо. Думали, придется резать; вот была бы история!

Он откашлялся, но ничего не сказал. Она спросила, не хочет ли он чаю со сладким пирогом, и попросила позвонить. Принесли на подносе стакан жидкого чаю и кусочек пирога, надгрызенный зубами. С волнением, глядя на пирог, он проговорил:

— У вас так хорошо здесь, уютно.

— Ах, у нас ужасный беспорядок все эти дни,— ответила Марья Кирилловна.— Зато я досыта надумалась во время болезни. Всего лучше думать, когда хвораешь. Только нужно решить вперед, что помрешь, решить не совсем по-настоящему, а так — загрустить, что вот умрешь, как жалко... Тогда все прошлое начнет представляться без страстей и обид. Переберешь все мелочи, давно забытые.

Она закрыла глаза. В тишине комнаты, под шкафом, царапалась мышь.

— Я многое решила: не уезжать никогда больше от доктора, по ночам с ним не разговаривать... Он говорит: «На любовь нужно смотреть просто»; когда я теперь уезжала — даже назвал ее «функция». Я обиделась: «Ах, если только функция — могу и совсем к вам не приезжать!» Но мало ли что говорится со зла. Он прав. Должно быть, я просто порчу ему жизнь. А то, что меня переполняет, не знаю,— все это от безделья.

Николай Иванович завертелся, потер переносицу:

— Так все-таки нельзя.

Должно быть, она улыбнулась под платком: сморщился нос и глаз стал длинным.

— Вчера вечером наверху играли на рояле. Я задремала, и было так сладко, точно я полетела от земли. И вдруг слышу звук — однообразный, тонкий, звенящий. Он наполнил меня, и все во мне зазвенело, задрожало этим звуком, и все пространство было как звук.

И показалось: умираю, люблю, жажду того, что вот-вот раскроется, распахнется ослепительным светом. Что это? А проснулась, думаю: доктор один и терзается. Он — чудак и несчастный, и пусть ничего не понимает. Вот видите, милый друг, хорошо иногда подумать...

Она повернулась на бок, положила ладонь под щеку. И точно весь воздух в комнате, пахнущий лекарством, стал спокойным и ласково-грустным.

Из-за шкафа выбежал мышонок. Он был хром и не спеша, как ручной, закружился по паркету.

Марья Кирилловна сказала:

— Дайте ему пирога.

Николай Иванович бросил на пол кусочек. Мышонок подпрыгнул, закрутился и принялся грызть пирог, припав к нему лапками.

Марья Кирилловна засмеялась:

— Говорят, есть примета: хороший человек, если его мыши не боятся.

И совсем прикрыла лицо фланелевым платком.

. . . .

— Сегодня встала после обеда, брожу, как муха,— говорила она Николаю Ивановичу, сидя с поджатыми ногами в столовой, в углу турецкого дивана. Грудь ее и шея были повязаны пуховой косынкой. Пепельные и легкие волосы прибраны заботливо. Разговаривая, она поднимала руку и поправляла гребенку. И рука ее и похудевшее лицо казались прозрачными, а мягкое темное платье — слишком свободным.

Николай Иванович сидел, положив ногу на ногу, локоть — на стол. Перед носом из стакана поднимался чайный дымок. Тикали часы, потрескивали угольки в самоваре. Матушка Марьи Кирилловны за стеной тяжело ходила,— позвякивали хрусталики на люстре.

— В прошлом году здесь на стене висели куропатки вверх ногами,— сказала Марья Кирилловна улыбаясь.— К моему приезду мама вместо куропаток, видите, повесила Дарвина и Толстого.

Николаю Ивановичу стало казаться, что точно после долгих скитаний он добрался до этого стула, чтобы всегда глядеть на милое, улыбающееся, грустное лицо.

Вот у нее дрогнула верхняя губа, приподнялась забавно, и Марья Кирилловна проговорила:

— Я думала о вчерашнем. Вы правы. Я начну много читать.

Она вздохнула и поправила гребенку.

— Предположим, я прочту много, много полезных книг. На это уйдет лет десять. Михаилу Николаевичу будет пятьдесят, мне — тридцать шесть. Вот и хорошо.

Она подняла брови. За стеной громыхнул стул. У Николая Ивановича защекотало в носу.

— По-вашему, так: вы мучаете себя, мучаете доктора,— ответил он, вертя ложку,— жить здесь одной также нельзя — не к чему. Ничего не понимаю.

— Любовь, не отданная людям, никому не нужна,— сказала Марья Кирилловна.

— Тогда знаете, что нужно?

— Знаю...

Николай Иванович поднялся и начал ходить вдоль стены. Наконец он взглянул на Марью Кирилловну. Она сидела, крепко зажмурив глаза, прижав щеку к диванной подушке.

— Уйдите, Николай Иванович. Приходите завтра. О том, что невозможно, говорить не будем.

Он задел по пути стул, толкнулся о буфет и вышел. Голова горела, ноги никак не могли попасть в калоши. На улице он снял шапку, распахнул шубу, и на лицо ему падал нежный, щекотный снег.

. . . .

Николаю Ивановичу внезапно открылось, что в квартире его на Сивцевом-Вражке — мусорная яма. Завал хламу. Он все это утро прибирал углы, чистил обивку стареньких кресел, нашел за комодом папку с гравюрами и приладил их по стенам. Подобный прилив чистоплотности был не без умысла, конечно. Туда, где солнце в одном углу падало на синие обои, Николай Иванович придвинул столик, сбегал в цветочную лавку за веткой рябины, поставил ее на свету, в вазе на столике, отошел, прищурился,— гм, недурно...

Еще хуже обстояло с кабинетом... Пыль и мерзость! Николай Иванович разорвал несколько карточек и пач-

ку писем. Поспешно стал выдвигать ящики, отыскал дамскую гребенку, усыпанную стекляшками, отнес на кухню и сунул в ведро. Книги, рукописи лежали горой. Он сбросил их просто на пол, сел на подоконник, теплый от чугунной батареи, и задумался.

Не только вещи были покрыты пылью; вещи и книги — лишь покорные слуги; каков хозяин, таковы и они. А вот не заняться ли сначала приборкой самого себя? Он закурил папироску и глубже задумался.

Как прошли эти два года на Сивцевом-Вражке? Конечно, университет, а затем что сделано хорошего? Работал? Нет. Вообще, как проводил время? Никак,— покуривал и прочее.

Николай Иванович слез с подоконника и зашагал по трем комнатам, размахивая рукой и бормоча. Точно из тучи хлынули на него суровые мысли. «Гнусно!» — крикнул он.

В это время швейцар позвонил снизу, позвал к телефону. Николай Иванович сбежал в подъезд и вошел в будку, засаленную плечами, исписанную цифрами; под лампочкой была надпись мелом: «Нюра, обожаю».

Говорила Марья Кирилловна. Ее голос немного дребезжал в телефон и казался от этого еще слабее. Она спросила, что он делает, придет ли сегодня, сказала, что больше грустить не будет.

— Марья Кирилловна, спасибо вам,—заговорил он, уткнувшись лбом в угол будки,— дело в том, что я должен вас предупредить: вы, кажется, хорошо ко мне относитесь. Я — маленький и ничтожный человек. Подождите! Я должен — до конца. Я вам болтал о том, как жить, и вы даже внимательно слушали... Какой ужас! Я не рассказал вам раньше о себе, потому что только сейчас почувствовал: во мне даже просвета нет на что-нибудь человеческое. Я не понимаю, что плохо и что хорошо. Недавно, пьяный, ругался и дрался в кабаке и потом даже забыл об этом. Я не помню по именам женщин, которые у меня бывали. Я не любил ни людей, ни родины, ни своего дела. Я жил как во сне, не знаю — зачем. Если пришлось, мог бы украсть и убить. Подождите — я не вру, все это верно...

И он продолжал каяться в том, что было и чего не

было, что представлялось только возможным... Марья Кирилловна долго молчала.

— Все? — спросила она.

— Не знаю, больше не могу.

— Вот то, что вы сказали об этом,— голос ее был странный и прерывающийся,— если положить это на одну чашку весов, а на другую все грехи... Они взлетят наверх.

— Что, что? — переспросил он в крайнем волнении.

— Вы подошли ко мне беззащитный. Что же я могу сделать, как не полюбить вас за это...

Дальше не было слышно. Николай Иванович зажмурился и вдруг глухо заплакал в трубку и не мог удержаться от муки и счастья...

— Бедный, родной...— услышал он легкий шепот...

. . . .

Некоторое время Николай Иванович тыркался у себя по комнате, не соображая, что делает: хватал предметы и бросал их; затем в ванной открыл кран и окатил голову и только тогда сообразил, что нужно одеться. Через полчаса он звонил на Молчановке.

Марья Кирилловна сама открыла ему. Лицо ее было серьезно, глаза сияли.

— Садитесь на сундук,— сказала она и, заперев дверь, продолжала укладывать маленький чемодан в прихожей, на столике под зеркалом.

— Не нужно ни о чем говорить, да вы и сами понимаете. Я уезжаю.

— В Харьков?

— Ну конечно, куда же еще.

— Навсегда?

— Не знаю... Не знаю...

Она тряхнула головой; скользнув, из волос ее упала гребенка. Тогда радость, трепет, свет наполнили Николая Ивановича. Он откинулся на сундуке на висящие на вешалке шубы, закрыл глаза:

— Я понимаю,— все чудесно.

Она надела шубку, сунула ему в руки чемодан; они сбежали вниз и сели на извозчика.

Санки бесшумно скользили по переулкам, узким от сугробов. Зеленоватые лучи фонарей и желтый свет из

окон озаряли мягкую их пелену. Вверху с крыши на крышу крутила вьюга. Валил частый крупный снег.

— А может быть, не встретимся никогда... Смотрите — какая вьюга,— сказала Марья Кирилловна.

Они вылетели на бульвары.

Деревья стояли пушистые и белые, между стволов скользили фигуры.

— Я вас люблю. Я все люблю. Я никогда не видал такой зимы,— сказал Николай Иванович.

Она сняла варежку, нагнувшись, захватила с мелькнувшего мимо сугроба снега в ладонь, откинула вуаль, откусила хрустящего снега и дала Николаю Ивановичу съесть, потом легко вздохнула.

На вокзале, глядя через стекло вагона на милое, вдруг ставшее невыразимо-печальным лицо, Николай Иванович на мгновение почувствовал острую боль.

«Что это? Верно ли все это? Разве так нужно?» — подумал он, и за стеклом Марья Кирилловна подняла палец и погрозила.

Тронулись окна. Он побежал и еще раз увидел за стеклом ее глаза, лицо под вуалькой, шапочку... Поезд наддал, и от него остался хвост, светящийся двумя огнями, много видавшими в пути. Николай Иванович вышел на площадь. Было тихо, и все падал снег, устилая ровный белый путь. Мимоезжий извозчик, засыпанный вместе с бородой пушистыми хлопьями, подивился, когда какой-то человек, широко размахнув руками, крикнул ему, проходя:

— Вот так зима, брат!

И одинокая фигура Николая Ивановича долго еще маячила в глубине улицы, пока его не закрыл трамвай.

ПОД ВОДОЙ

1

Милый друг, вы оказались правы, я — просто искатель приключений. Понял это сию минуту за письмом к вам, в кабачке, на краю стола, залитого джином. Сколько здесь надписей, вырезанных ножами,— любовные признания и клятвы на всех языках! Напротив меня сидит Тоб, первая красавица в гавани, черная и злая, как обезьяна. Тянет через соломинку ликер, то поправляет гребенки, то с яростью одергивает кофточку; платье на ней шелковое и краденое, поэтому узко. Она сказала, что, если я ее брошу,— будет беда.

На рассвете я выхожу на подводной лодке, в арьергарде субмарин. Лодочку мою зовут «Кэт». Наконец-то попадаю на дно моря. А вы странствуете по иным местам, более призрачным, и только.

Помните год назад нашу беседу в подмосковном парке? Куковала кукушка, и запах меда был повсюду — с полян, от лип и вашего платья. Вы сказали, что есть две породы людей,— как ночь и день в вечном круговороте: одни ищут покоя, другие — волнений. Как видите — я второй породы.

За этот год я исколесил полсвета. На три месяца приземлился в этой гавани, где дерусь на кулачках из-за Тоб, вооружаю лодку и вот в такие ветреные ночи, перед

пустой бутылкой от джина, начинаю отчаянно желать приключений... Ау, Татьяна Александровна...

До рассвета еще далеко, но если погода не переменится — нас потреплет. За окошком видна вся гавань, в лужах и дождевых пузырях. Качаются фонари. Ветром сорвало брезент с целой горы мешков. Пляшут огни на мачтах. Завывает сирена, как обманутая дева. Ветер и дождь гонят по мостовой пьяненького матроса в резиновом плаще.

Тоб говорит, что если бы умела, то написала бы вам, что я скот. Она вырывает у меня перо.

. . . .

Без огней и сигналов субмарины вышли в открытое море. Ровно в половине четвертого Андрей Николаевич поднялся на мостик «Кэт»; матросы и два помощника спустились внутрь лодки.

Огромные тучи, озаренные огнями гавани и уже пропитанные бледным рассветом, грудились над портом и морем. Резкий дождь хлестал в стекла и стены кирпичных домов, по бочкам с керосином, по брезентам, покрывавшим мешки, шумел вязами сквера, барабанил по стальной обшивке лодки и лепил к спине Андрея Николаевича плащ.

Неподалеку за завесой дождя краснело окошко кабачка. Там все так же за окном, с края стола, сидела Тоб, оперши острый подбородок о кулачки.

Андрей Николаевич усмехнулся радостно и тревожно: он снова покидал навсегда и этот берег. В жизни не было слаще чувства разлуки и свободы.

Он взглянул на часы и скомандовал полный ход. Остов «Кэт» задрожал, и она скользнула навстречу пологим волнам, покрытым бликами огней и прибрежным мусором.

. . . .

Огни гавани, холодеющие в утреннем свету, остались далеко позади, погрузились в воду и скрылись. Дул резкий ветер. Наискосок, навстречу ходу, поднимались валы и обрушивались за лодкой.

Обрывки облаков проносились над пеной океана. Внезапно в разорванной длинной щели появился бугор солнца. Протянулись вверх и в стороны широкие лучи.

Море стало зеленым. Заблестела сталь на мокром мостике.

Теперь вогнутая поверхность набегающей волны казалась прозрачной, как стекло. «Кэт» подлетала под ее покров и одним взмахом возносилась на бурлящий гребень, наклонялась затем и скользила вниз. Винт дрожал в воздухе, грохотала рухнувшая справа громада. Впереди, у края неба и воды, покачивались две радиотелеграфные мачты передней субмарины.

Из нутра «Кэт» появилось безусое лицо старшего помощника, Яковлева.

— Андрей Николаевич, пора,— сказал он, подняв брови,— у нас у всех голова кругом. Какой приказ?

Он вылез на мостик и закурил. Андрей Николаевич определил секстантом положение судна, расстегнул куртку и достал конверт с пятью красными печатями. На нем были обозначены долгота и широта, где вскрыть тайный приказ. Он сломал печати и, прикрыв от ветра плащом, развернул тонкий листок. В нем стояло краткое и невероятное приказание — идти... в Ганге, через Скагеррак и Зунд.

Яковлев проговорил упавшим голосом:

— Андрей Николаевич, куда же мы на рожон полезем?

— Это — не ваше и не мое дело.

Передав командование, Андрей Николаевич спустился по отвесной лесенке в узкий коридор, куда выходили каютки. С потолка матовые полушария освещали выкрашенные в белое железные стены, линии медных труб, ряды заклепок, провода, тяги и толстый половик на полу.

Теплый сладковатый воздух, напитанный запахом бензина и масла, сильными струями проносился над головой. Шумели вентиляторы, и глухо и мерно, как пульс, работал мотор.

Конец коридора с дверью в машинное отделение то возносился, то падал вниз. Придерживаясь за стены, Андрей Николаевич вошел в каюту с тремя, одна над другой, койками. На самой верхней спал второй помощник, Белопольский, качаясь, как в люльке. Лицо у него было восковое от плохо залеченной лихорадки.

Вдоль наружной выгнутой стены журчали водяные струи. Свежий ветерок подавался снизу, отдувая угол карты на столе. шевеля волосы спящего. Спертый воздух высасывался через решетку в сферическом потолке, залитом сильным электрическим светом. На откидном чистеньком столе стояла початая бутылка коньяку.

Андрей Николаевич, посвистывая, присел к столу и обхватил колено. Приказ был выполним конечно, но с большим риском. Известно, что субмарина, погружаясь в воду, оставляет на поверхности перископ — свой глаз, всегда заметный днем по водяному следу. Опускаясь еще глубже, то есть скрываясь совсем, лодка оказывается слепой и идет ощупью, по компасу, рискуя налететь на мель, на рифы. Но в сравнении с лодками старой конструкции у «Кэт» было преимущество: в носовой части ее находились особые оптические иллюминаторы, уничтожавшие преломление воды. Поэтому «Кэт» не была слепой, даже погрузившись на значительную глубину. На эти иллюминаторы Андрей Николаевич и рассчитывал, обдумывая трудное прохождение через проливы, занятые неприятельским флотом.

В каюту вошел вахтенный Курицын, широкоскулый, плотный матрос,— доложил, что требуют к телеграфу. Радио было запросом, прочтен ли приказ? Андрей Николаевич ответил шифром:

«Есть. Идем согласно приказу».

. . . .

Двое суток «Кэт» ныряла в волнах. Прочная и быстрая, соединенная голосами со всем миром, она веселила сердце Андрея Николаевича. Ему не представлялось, как можно разрушить такое сокровище ударом мины или бомбы, и у «Кэт», казалось, есть более высокое назначение, чем топить корабли.

Команда, выходившая по очереди на палубу, покуривала после духоты кают на легком ветру. Дни стояли ясные, и множество рыб разлеталось перед лодкой, подскакивало на гребнях.

Курицын ухитрился ловить рыбу сачком на ходу. Матросы гоготали, глядя, как он, засучив штаны, доходит до самого края лодки, запускает сачок, вытаски-

вает и по вновь опускающемуся носу бежит обратно и вертится как бес.

Появились дельфины и погнались за лодкой. Из зеленой воды, из-под самого носа, выскальзывали они крутым побегом на воздух, опустив хвост, описывали дугу и вновь погружались без плеска. И с боков, сзади, повсюду вертелись, как колеса, их скользкие коричневые тела с белыми животами.

Днем Андрей Николаевич спал или сидел на телеграфе. Закрыв глаза, откинувшись на стуле, он слушал обрывки донесений о боях в Шампани и на Западной Двине, на границе Австрии, в Дарданеллах.

Весь мир сосредоточился в тиканье, долгом и коротком, в шорохе и шуме аппарата. Прошлое — земля и встречи — было как сон, будущее упиралось в мины. Не осталось ни страха, ни радости, ни сожаления — только вода, стальная эта коробка, набитая, как сардинами, людьми, да черточки беспроволочного телеграфа в мозгу.

Когда склянка била к ужину, Андрей Николаевич поднимался на мостик, сменял помощника, надвигал картуз на глаза и с удовольствием отмечал, что все на том же расстоянии на границе неба и воды покачиваются две коротких мачты.

Море было лиловым. След от лодки по водяным буграм отливал багровым стеклом. Закатный свет заливал полнеба. Из раскаленных туч выскользнуло солнце, сплющилось и медленно кануло в море.

А на востоке уже возникало небольшое зарево, будто от горящего корабля, поднималась луна, оранжевая и огромная. Когда, линяя, бледнея, светясь все ярче, достигла она звезд, по воде побежал серебристый след. Эти минуты были тяжелыми для Андрея Николаевича. В его уверенном спокойствии начинала дрожать нестерпимая какая-то жилка. От таких ненужных вещей, как закат, начинал он чувствовать, что не все еще испытано или самое важное, самое нужное впереди.

. . . .

На третий день, после полудня, Андрей Николаевич вышел из телеграфной рубки и приказал готовиться к спуску. Команда стала к аппаратам, нагнетающим воду.

Осмотрели кислородные резервуары, озонаторы, опреснители, все люки. Артиллеристы прошли в минное отделение. Было приказано по возможности лежать, двигаться как можно меньше, не разговаривать. Яковлев, стоявший на вахте, крикнул сверху в трубу, что на севере — дым, затем сошел вниз, и выходной люк герметически был завернут.

Пройдя в рулевое отделение, Андрей Николаевич скомандовал спуск. Зашумела вода в кингстонах, нутро лодки отяжелело, и качка уменьшилась. «Кэт» погрузилась и пошла под водой по перископу. Андрей Николаевич нажал кнопку, электричество погасло, из трубы перископа полился конус голубоватых лучей.

Поверхность зеркала ожила. Заходили по ней крошечные волны с гребнями, возникли облака, протянулся дымок.

Подперев голову, он всматривался в море, лежащее перед ним на площади квадратного фута. Дымок исчез, и вскоре справа появилась черточка земли. К ночи он решил опять подняться на поверхность и идти без огней.

До утра он простоял на мостике. Воды были тихими, только вал мертвой зыби всплескивал иногда под носом лодки. Тонкая пелена затянула звезды. На юге, в страшной дали, скользнул по облакам голубоватый луч прожектора.

Внимание было так напряжено, что Андрей Николаевич слышал тиканье часов в кармане. Перед зарей невысоко со свистом пролетели утки. Пришло известие, что первая субмарина погрузилась совсем. Вскоре телеграфировала вторая, что погружается. Приближался пояс мин. Одна за другой исчезали под ними лодки,— быть может, навсегда.

Рассвет был долгий; зеленоватый и оранжевый свет его разливался по перистым облакам. Андрей Николаевич различил, наконец, неясное очертание скал над молочной поверхностью залива и скомандовал: «Стоп!» Сошел вниз и сам завернул люк.

«Кэт» на точно обозначенном месте начала опускаться на большую глубину, потом медленно, руководясь только лагом, компасом и картой, двинулась под минами, сдавленная сотнями тысяч пудов воды.

Вертушка лага, крутясь на шнуре позади «Кэт», определяла скорость, хронометр показывал время поворота, а компас — его точное направление. Яковлев наблюдал за приборами. Белопольский по таблицам вычислял поправки и погрешности хода и доносил старшему механику, стоящему у моторов. Андрей Николаевич, склонясь над картой, командовал рулевому: вправо столько-то градусов, минут и секунд, влево — столько-то.

Не чувствовалось ни качки, ни движения. Матросы лежали неподвижно. Все же воздух был тяжкий, густой, звенело в ушах. По временам кто-нибудь пробормочет: «О господи, господи!» — и вздохнет, припомнив, должно быть, три десятины свои где-нибудь под Бугурусланом, гречиху, ржущего жеребенка да ветер в ракитовых кустах.

. . . .

— Стоп! Стоп! — закричал Андрей Николаевич, выскакивая из рулевой будки. Послышался звук, будто днище лодки царапало обо что-то. Корпус заскрипел и накренился...— Стоп!

Завыли шестерни, и моторы перестали биться. В тишине тяжело дышали люди. Сразу стало жарко, как в бане.

Андрей Николаевич пробрался в герметическую камеру, куда через иллюминаторы проливался жидкий зеленоватый свет, и прильнул к стеклу.

В подводном сумраке обозначились тени и очертания, расплывчатые и неясные. Одна из теней, дрогнув, двинулась вдоль стекла. На Андрея Николаевича уставились круглые рыбьи глаза.

Рыба скользнула наискосок, глубоко вниз. Значит, «Кэт» сидела не на мели, и вряд ли здесь могли быть рифы. Андрей Николаевич приказал подняться на несколько футов. Тогда множество теней шарахнулось, и ясно теперь стали видны обрывки проволочных лестниц, канатов и зацепившаяся за них полуобглоданная человеческая фигура. Раскинув руки, она покачивалась вниз головой. Андрей Николаевич откинулся, зазвенело в мозгу. «Кэт» наскочила и остановилась на останках взорванного корабля.

Остановка эта могла оказаться роковой. Равномерное движение лодки было нарушено, направление утеряно. «Кэт» в одно мгновение заблудилась во времени.

Андрей Николаевич забарабанил пальцами по стеклу. Оставаться под водой было невозможно, появиться на поверхности — значит, выдать себя и подвергнуться обстрелу. Все же это был единственный выход определить точно место нахождения. Он скомандовал медленный подъем и вернулся к иллюминатору. Тени ушли вниз. Вода заметно светлела. И вдруг сверху, навстречу, стал опускаться темный шар. «Мина... Сейчас коснемся...» — подумал Андрей Николаевич и, преодолев давящее мозг оцепенение, крикнул: «Левее, как можно левее!» Шар отдалился, а слева приближался второй. Не поднимаясь, продвинулись вперед. Но и там, в зеленоватом полумраке, возникали чугунные шары, поджидая, когда их коснется стальная обшивка лодки. «Кэт» заблудилась в минных заграждениях.

2

С большой высоты морская вода прозрачна. Как впоследствии выяснилось, «Кэт» была замечена неприятельским гидропланом в то время, когда стремилась выбиться между минами на поверхность залива. Самолет выследил под водой ее тень и, кружась над тем местом, телеграфировал сторожевым судам. Но лодка, описав круг, вновь опустилась на большую глубину.

Теперь она шла вслепую. Моторы были пущены во всю силу. Сотни бесов, именуемых лошадиными силами, бились в них, бешено вращая рычаги поршней, шестерни, фрикционы и вал. Корпус дрожал. Полуголые механики ползали около машин, трогая раскаленные, гудящие части. Было жарко и душно; в свинцовых резервуарах оставалось кислороду всего на час, не больше.

Яковлев сидел все там же, около аппаратов, облокотясь о колени, охватив руками помутившуюся голову. В минных погребах, в каютах, в проходах у стен ле-

жали и стояли матросы молча, задыхаясь. И каждого, как поплавок, неудержимо тащило кверху — вынырнуть, глотнуть ветра, глянуть на небо. Белопольский, все еще наклоняясь над бесполезными сейчас таблицами, то и дело вытирал лицо, точно убирая паутину; наконец поднялся, но упал на руки и стошнил. Его подняли без сознания.

Андрей Николаевич держался одним страшным возбуждением. Голос его раздавался во всех концах лодки... «Полчасика, еще полчасика»,— повторял он... Пустив лодку полным ходом, он рассчитывал миновать минный пояс. Хватило бы только кислороду...

Наконец, присев около мотора, он увидел багровый свет и ударился затылком. «Эх, нельзя»,— пронеслось в сознании. Он подполз к кислородному баку, с усилием отвернул кран и потянул благовонную струю газа. Закружилась голова, сладкий огонь вошел в легкие. Андрей Николаевич поднялся, пошатываясь. Все предметы стали отчетливыми. Все лица повернулись к нему, молча спрашивая, прося одними глазами. Скуластые, бородатые молодые лица матросов представились ему особенно человеческими... А придется, видно, умереть, ничего не поделаешь, надо!

В проходе он наткнулся на Курицына,— матрос стоял, привалясь к стене, и глотал, как рыба, воздух. Жилы на лбу напряглись, рябое лицо посинело.

— Угорел маленько,— сказал он хрипло.

Андрей Николаевич, наклонясь к нему, увидел, что глаза Курицына застланы смертной пеленой, и вдруг, повернувшись, скомандовал подъем... «Кэт» понеслась наверх. Четыре с половиной минуты продолжался подъем. Словно четыре с половиной года длилось ожидание столкновения, удара, треска, огня гибели. Вдруг «Кэт» стала. На перископный столик упал свет. Матросы поползли к люку, отвинтили его, и полился холодный соленый воздух, раздирая грудь, туманя голову. Зашумели вентиляторы и насосы.

Андрей Николаевич выпрыгнул на мостик, вскрикнул, зажмурился. Над вознесенными, как дым, грудами теплых облаков висело вечернее солнце. Ни ветра, ни зыби, и во́ды — как зеркало.

Дрожащими пальцами держа секстант, Андрей Николаевич начал измерение. За спиною появились Яковлев, матросы. В небе слышалось сильное жужжание, затем высоко где-то раздался стук пулемета, и, будто от просыпанного гороха, звякнула обшивка лодки. Это падал, описывая широкие круги, гидроплан с заостренными крыльями.

Покосясь на него, Андрей Николаевич продолжал измерение. Матросы защелкали затворами карабинов. Гидроплан, почти достигнув воды, взмыл полого и с резким шипением — «фррр» — понесся над лодкой. Неподвижно в нем сидел летчик, держа рули. Пониже его — наблюдатель с маленькой головой в шлеме, с черными усами, перегибался, глядел вниз, ожидал. Откинулся, поднял обеими руками бомбу и спустил ее между ног в трубу. Снаряд метнулся на мгновение и канул в воду у борта лодки. Курицын выстрелил. Усатое лицо сморщилось, поднялись кожаные руки с растопыренными пальцами. Самолет проскользнул и полого, кругами, пошел наверх. Матросы открыли щелкотню вдогонку.

— Ранен, ранен! — закричал Яковлев.

Над грядой красноватых гор появился второй аппарат, различимый, как черточка. «Кэт» легко, как по стеклу, летела в молочных, оранжевых водах.

Андрей Николаевич надвинул картуз и, пройдясь по мостику, сказал (на щеках его и в глазах блеснул красноватый свет заката):

— Ну-с, Яковлев, мины пройдены, что теперь будем делать?

— Андрей Николаевич, здесь рифы и мели...

— В том-то и дело, что здесь рифы и мели, идти под водой не рискну... Подождите,— он поднял руку.

Солнце село в облака, и они, насытясь его огнем, озаряли воды. Оттуда, из багрового света, стремительно налетал надрывающий свист.

— Прибавь ходу! — Андрей Николаевич направил бинокль на закат.

Просвистала вторая граната по другую сторону, поднялся водяной столб. «Кэт» круто повернула к по-

темневшей полосе гор. Позади, над ее лиловым следом, лопнул третий снаряд.

«Кэт» повернула было опять на восток, но теперь спереди, с боков, повсюду лопались, брызгали огнем шары, и, наконец, по всему тускнеющему горизонту появились дымы. Круг их смыкался.

Наблюдающий гидроплан пронесся тенью над «Кэт», два бледных лица глянули сверху и скрылись.

Затем невысоко над кормой разорвалось пламя, и чернобородый артиллерист, Шубин, выронил карабин и, перевалясь через перила, скрылся под водой.

— Все вниз! — крикнул Андрей Николаевич и, не отрывая рта от рупора, поглядывал исподлобья, где гуще падают снаряды.

«Кэт» вертелась, как затравленная. Повсюду теперь густо дымили трубы миноносцев. Дымовое кольцо смыкалось. Вдруг, настигая, налетел снаряд, дунул жаром; Андрея Николаевича кинуло навзничь. Радиотелеграфная мачта рухнула в воду.

«Кэт», погруженная по самый мостик, мчалась к скалистому берегу.

В сумраке под обрывами метнулись подряд шесть огненных искр, раскатясь по воде, и низко свистнули над лодкой шесть демонов, закованных в стальные цилиндры. Вдоль скал двигалась длинная тень судна.

«Кэт» дрогнула на ходу, и, отделяясь от нее, под водой навстречу тени скользнула мина. Прошло долгое мгновение, и там, где были трубы миноносца, поднялась лохматая гора огня и воды. Рухнула. И тени не стало. «Кэт» вошла между скал в один из глубоких заливчиков, погрузилась и легла на песчаное дно.

3

«Нас, я знаю, считают погибшими. Лежим на дне, на глубине пяти сажен, с величайшими предосторожностями каждую ночь поднимаемся за воздухом. Поправить мачту нет возможности. Да и все равно нельзя тратить горючий материал на электрическую энергию —

телеграфировать. Еды тоже мало. Но все-таки держимся; опреснители работают отлично».

Так, через неделю после морского боя, записал Андрей Николаевич на полях судового журнала.

«Отделались мы одним убитым (Шубин) да мачтой. Сами потопили миноносец и легли в фиорде,— пропали, как иголка. Противник подходить близко боится, но сторожит: нас не считают погибшими, как я надеялся вначале.

Здесь, на дне, в тишине, события недавнего прошлого отодвинулись в глубокое прошлое. Мы не живые и не мертвые. Спим весь день. Никто не разговаривает,— разве только во сне бормочут, вздыхают.

Плох Белопольский. После обморока не может оправиться. Я приказал ему не сходить с койки, он и лежит целыми днями лицом к стене. Гнетет его отсутствие звуков.

Тишина действительно ужасная. Сверху нас слой воды толщиной с четырехэтажный дом.

И только когда наступает время подъема, все оживают, с тревогой поглядывают на часы,— ждут, как воскресения из мертвых. Но вот ворвался в вентиляторы свежий воздух, стукаю пальцем по обшивке и чувствую, что от неба отделяет меня только дюйм железа,— приятно. Вчера были отдаленные выстрелы,— нас сторожат.

Накачаем воздух, ложимся на дно, и людьми снова овладевает сонливость. Время обрывается. Заваливаешься на койку. Темнота не та, что бывает на земле, а бархатная, совершенная... Яковлев бормочет и вскрикивает. Ему снятся сражения, гавани, разукрашенные флагами, и женщины. Спросонок он нагибается с койки и рассказывает всю эту чепуху.

Я начинаю понимать мух, что дремлют между замерзшими окнами. Лежу с открытыми глазами,— ни сон, ни явь, нет мыслей и воспоминаний, только чувствую,— и никогда с такой силой,— бытие. Оно не представляется мне случаями или отдельными картинами, а вне времени,— во всей полноте, где-то надо мной, по ту сторону водной толщи, простирается бытие. Точнее определить не могу. Иногда начинает биться сердце,

точно в предчувствии еще более ясного понимания. Странно, и жутко, и, пожалуй, жаль, что не вижу попросту снов, как Яковлев».

. . . .

«Белопольский совсем ослаб. Сегодня, на одиннадцатый день, начал бредить и свалился сверху, мы уложили его на нижней койке.

Курицын потихоньку его подкармливает. Я делаю вид, что не замечаю. Еды у нас осталось на неделю при расчете почти на голод. Матросы отощали; у большинства, кажется, такое же состояние, что и у меня,— мухи за окном. Белопольского жалеют очень. Старший наводчик сказал, что его надо напоить шалфеем. Жалко, шалфея у нас нет. А травка, говорят, хорошая. Чудесная трава растет на земле.

Белопольский бредит про какую-то Танечку, будто качается с ней на качелях, над речкой, и тошно ему от речки. «Хоть бы мелкая, а то она глубокая, уйдемте подальше от речки». Перестанет, вздохнет и опять про то же. Затем появились у него какие-то два особенных человека, с деревянными руками.

До вечера он боролся с ними, жаловался, что под ногтями — занозы. Наконец начал булькать, барахтаться и затих.

Яковлев, совсем измученный, заснул. У меня началась тоска, смертельная, невыносимая. Когда слез посмотреть, отчего Белопольский молчит, он был уже холодный.

На тринадцатые сутки, в полночь, с величайшими предосторожностями мы поднялись. Тело было завернуто в холст, к ногам привязана граната. Команда пропела «Вечную память».

Первое, что увидел я, взойдя на мостик,— звезды: огромные и частые, сияли они по всему небу и точно дышали в водах залива. Направо поднимался отвесный берег, чернея высоко зубцами скал и ветками низкорослых деревьев. Оттуда шел запах полыни и цветов.

Из люка подняли Белопольского, под холстом обозначался его острый профиль. Тело скользнуло по борту и скрылось в воде без всплеска.

Не понимаю, не понимаю, где грань живого и мертвого,— разве там, где кончается мука и наступает тишина.

За входом в залив прошла тень четырехтрубного судна. «Они» еще не успокоились. Из-за воды возник луч прожектора и уперся за нами в обрыв, где проступили корявые ветви, камни и трещины. А луч уже метнулся в небо, упал и начал шарить в заливе. Пискнули птицы. Загорелась вода. Луч, скользя, остановился в нескольких саженях от нас и замер. Застыли и мы.

Где-то в версте от нас человек замедлил свою работу; поверни он сейчас на волосок левее — мы были бы открыты.

Голубоватый свет освещал воду и на глубине стаю рыб. Их было столько, что Курицын крикнул. Метнулась летучая мышь ошалелым полетом, и мошки и ночные бабочки толклись в свете.

Луч закачался и внезапно прыгнул на вершину скалы; зубчатая верхушка ее засветилась, и оттуда заклекотал ослепший, недовольный орел. Мы вновь погрузились в темноту, в небытие».

. . . .

«Белопольский умер!» — повторяю это по многу раз и не могу понять. Умереть там, на земле,— значит, перестать видеть, слышать, чувствовать. Там говорят: «Ушел от нас». Умереть — значит, остаться одному, в совершенном одиночестве. Так сознаю и я, запаянный в стальную коробку, погруженный на морское дно. Лежу, не шевелясь, в темноте, в мертвой тишине, сдавленный со всех сторон водою. Если бы я похолодел совсем, перестал двигаться — многое ли бы изменилось? Почти ничего.

Еда мне противна. С большими усилиями заставляю себя проглотить несколько ложечек бурды. Тащусь к матросам и слежу, чтобы все были за столом и ели. Оказывается, что чувство голода мучительно лишь первое время, затем наступает перелом, и тело начинает точно подтаивать. Это чувство физического угасания необычайно странно. Бывают удивительные минуты,— они начинаются с легкого озноба, затем холодок пронизывает все тело, и перестаешь его чувствовать. В на-

пряженном сознании возникает чувство свободы и печали. Действительно, весь мир, вместе с травой и звездами,— во мне. Я растворен в нем тончайшим холодком. Я свободен от всего. Но все же мне печально, точно я не выполнил последнего, самого важного долга. Исполнив его, мой дух не разостлался бы этим холодком, а познал бы что-то иное,— не знаю, совершенное ли, но более простое, земное, милое. Но какой долг? И что познать?

Сказал об этом Яковлеву. Он помолчал и заплакал. Лежит теперь все время лицом к стенке и больше уже не рассказывает снов...»

. . . .

Подобными пространными рассуждениями наполнял теперь Андрей Николаевич листы журнала. Происшествий почти не было никаких. Сторожевые суда продолжали зорко следить за побережьем, освещая по ночам берега.

Консервы подходили к концу — и кончились. Остался неприкосновенный запас на одни сутки, но тронуть его можно было только тогда, когда уже самой «Кэт» грозила бы неминуемая гибель. Андрей Николаевич даже прикинул в уме, что человек шесть, если останутся в живых, еще смогут повести лодку, рискнуть и прорваться, а в случае неудачи — взорвать «Кэт». Но пока жива почти вся команда, нужно отлеживаться на дне и ждать.

«Четверо уже больны цынгой, а пятый умирает,— писал затем Андрей Николаевич,— но никто из них не попрекнул меня в том, что подводная лодка ценится дороже человеческой жизни. В самом деле, умирают за знамя, за шелк, прибитый к древку, а «Кэт» и знамя — лишь символ, суровое напоминание о том, чтобы даже в час упадка человек не счел себя свободным от долга.

Мучительно трудно согласовать *себя* с ними, с людьми. Я хочу быть свободным, не должным, *они* требуют уплаты. Хочу жить, а им нужна моя смерть. Но если перестану бороться, отдам им себя всего и сразу стану негоден, ненужен, как труп; а если откажусь от долга, закрою глаза, уединюсь,— ведь это тоже смерть...

Курицын разрешает все эти вопросы гораздо проще:

«Надо, значит — надо, и — все. Сейчас явился ко мне в одних закрученных выше колена штанах, вокруг головы обернуты лески с крючками, за спиной — сетка, сказал: «Дозвольте, пойду — насчет рыбы попытаюсь». Пусть попробует: удастся—продержимся лишние сутки.

На рассвете поднялись. Был густой туман; по нему ползали, шупали его огни прожекторов. Курицын скользнул без шума и поплыл в молочной, дымящейся воде. Через минуту его не стало видно. Я обещал назавтра, в тот же час, подняться.

Весь день думал: если останусь жив, чего бы я хотел? Опять странствий? Приключений? Как все ничтожно! Должно быть, я на много лет постарел под водой. Мне ничего не нужно, и все же никогда с такою силою не хотел снова вернуться туда, на землю...

Всматриваюсь в туман; вдруг слышу всплеск, и на палубу лезет мокрая голова Курицына; за спиной у него — сетка, полная рыбы. Отерся, говорит: «Коньячку бы». И едва сошел вниз и выпил стаканчик, свалился и заснул. Рыбу вытащили на палубу,— хватит на трое суток.

Оказывается, Курицын попросту пробрался днем по кустам и можжевельнику вдоль берега и опустошил рыбацкие сети. Обещался завтра пойти на улов за барашком. Лицо у него, спина, руки ободраны, худ так, что ребра торчат, как у лошадиной падали; при этом невероятно доволен. Попросил еще стаканчик коньяку и опять принялся рассказывать команде свои похождения; под конец же до того заврался, что старший механик плюнул.

История с Курицыным волнует меня ужасно. Я в чем-то глубоко не прав и повинен. За все это время, пока лежим на дне, умер Белопольский, томится Яковлев, угасают матросы. А я только *рассуждаю* о добродетелях, о долге и смерти. Все это — неверно, неверно.

Быть не одному — вот! Одиночество — вот смертельнейший из грехов. Пойти и наловить рыбы важнее, чем впотьмах решить проблему смерти... Черт с ней!

Писать больше не буду.

Сейчас поднимаемся. Слышна глухая мощная канонада. В море идет бой».

4

...На этом оборвался дневник. Далее Андрею Николаевичу писать не было возможности: события пошли стремительно, да и он сам, выйдя из душевных подвалов, почувствовал себя не более как быком, выскочившим на арену.

«Кэт» вынырнула в белый клубящийся туман. От гула и грохота дрожали берега. Мощные, круглые залпы и взрывы чередовались с частой трескотней. Казалось, кашляли, дули друг на дружку, ревели морские черти. Над «Кэт» пронеслась ошалевшая чайка.

— Андрей Николаевич, скорее, пора, прорвемся! — повторял Яковлев, держась за перила, стуча зубами.

Приготовления были окончены. Сильный ветер заколебал туман и погнал его клочьями, обнажив мокрый выступ скалы. Из люка поднялось опухшее лицо Курицына.

— Готово! — крикнул он с такой силой, что напряглись жилы, но голос едва был слышен.

Андрей Николаевич махнул рукой, и «Кэт» полным ходом вылетела из залива на волю. Выстрелы были сзади и с правой стороны, путь в Ганге свободен.

Все, что вынесли за эти две недели, лежа на морском дне, Андрей Николаевич и команда,— отчаяние, оцепенение, смерть наяву и примиренность,— все это преобразилось сейчас в одну волю, и казалось, мало было стремительного бега лодки, разрезающей туманные воды на две волны.

Прорваться, провести «Кэт» невредимой в порт, исполнить только долг — теперь это было слишком ничтожно. Воля требовала *ощутимого.* Так бык, что стоит посреди арены, медлит и дышит тяжко — и вдруг бросается на всадника, чтобы всадить рога.

Андрей Николаевич еще колебался; но теперь не отвага руководила им, не расчет, не увлечение, а только *жадность.* Корабли, люди, земля, показавшееся в желтом тумане огромное медное солнце — все это было «мое», ощутимое, желанное. И то, чего желала душа,— разрушить, не казалось разрушением. Нужно было

излить бешеную живую силу в эту дивную, страшную жизнь. Только одна эта воля бушевала в нем — жажда, жадность, *ощущение* всего.

Солнце поднималось, яснело, и под туманом еще неясно зашевелилась оранжевая вода. Где-то близко, слева, гнались, грохотали невидимые корабли. Ветер усилился. И вдруг выступила в облаках и дыму серая громада; закуталась, прогрохотала, и яснее стали видны очертания башен, труб, мачт, весь профиль, над которым плескало знамя с черным орлом.

Не сдерживаясь больше, видя, что *можно,* с перехваченным от волнения горлом, Андрей Николаевич прыгнул в люк, сбил с ног Яковлева и сам стал заряжать минный аппарат. «Кэт» опустилась и шла теперь под перископом «наперерез».

Тень неприятельского корабля, покачиваясь, скользила по перископному зеркалу и поминутно покрывалась облаком с мелькающими в нем иглами выстрелов. «Кэт» выпустила мину, но она прошла у *того* за кормой. Наклонясь, закусив до крови губу, Андрей Николаевич разглядывал маленький этот теневой кораблик, один снаряд с которого бил в неприятельский борт с силою тридцати миллионов пудов. «Кэт» и корабль сближались, тень его занимала половину стола и вдруг начала поворачивать...

— Вторую! — крикнул Андрей Николаевич.

И в это время на «Кэт» рухнул удар, раздался треск, и зеркальный столик погас. Андрей Николаевич, выскочив из рулевой рубки, крикнул:

— Перископ сбит! Полный ход вперед!

Механик, ухвативший рычаг, не оборачиваясь, переспросил:

— Куда?

— Вперед, вперед, к черту!

У минного аппарата на корточках сидел Яковлев, крикнул что-то и выплюнул кровью. Андрей Николаевич прильнул к стеклу иллюминатора.

За ним крутились пенные струи. И вот, заслоняя свет, показалось темное корабельное днище. Оно было не дальше как в десяти саженях. Андрей Николаевич скомандовал: «Стоп. Пускай вторую мину. Ход назад,

самый полный!» И закрыл глаза. Это был конец всему. Как жаль, что пришлось упереться в днище, а сил хватило бы на большее...

...Андрея Николаевича швырнуло в коридор, приподняло, ударило в стену и потащило вниз. Крики и треск обшивки покрылись глухим грохотом падающей воды. Свет потух. «Кэт» закрутилась и пошла на дно.

. . . .

Силой взрыва и воды «Кэт» далеко отшвырнуло от тонущего корабля и затянуло на большую глубину. Обшивка дала трещины; текло сквозь сальники разбитого перископа. Моторы не работали. В общем, лодка больше походила на поплавок, внутри которого в темноте стонали и хрипели оглушенные, израненные люди. На глубине она пробыла недолго: освобожденная от тяжести двух мин, медленно всплыла, немного не дошла до поверхности, остановилась и незаметно, по мере того как наливалась в нее сквозь трещины вода, начала тонуть.

Первым очнулся Курицын, упавший на половик в пустом коридоре; осторожно поднялся на четвереньки, прислушался и пополз в машинное отделение, где, чиркая спичками, отыскал механика и стал тереть ему уши.

Когда это не помогло, он подтащил кислородный бак и открыл кран ему прямо в лицо.

Механик первым делом ухватился за разбитую коленку.

— Тонем,— в самое лицо прошептал ему Курицын,— машину наладить можешь?

— А кто ее знает.

Курицын зажег свечу и пустил кислород изо всех резервуаров. От живительного, как грозовой воздух, газа зашевелились матросы: кто лез из люка, держась за голову; кто силился подняться и опять падал.

Андрея Николаевича нашли в узком проходе, едва вытащили оттуда, но привести в сознание не могли, отнесли на койку.

Посуетились было около Яковлева и прикрыли куртками и его и еще двух артиллеристов. Курицын поставил всех, кто мог, к ручным помпам. Ими до починки

машины можно было бороться только с поступавшей в трещины водой. Механик и двое подручных возились с мотором, стучали ключами, все с тоской прислушивались к этому лязгу.

«Кэт» была где-то недалеко от поверхности, но где — узнать нельзя, потому что перископ и указатель разбиты. Отвинтить же люк и выглянуть было слишком опасно — могла хлынуть вода.

Наконец механик сказал, что надо менять цилиндр,— хватило бы свечей. Курицын принялся ругать механика, свечные заводы, моторы и того, кто их выдумал. Затем напустился на команду у насосов и приказал околеть, а поднять лодку хоть на аршин. Матросы молчали угрюмо. Механик плюнул, выругался и бросил ключ. Кто-то сказал: «Шабаш, ребята!» — и помпы остановились.

Теперь слышался только мокрый, однообразный, смертельный плеск воды, падающей на перископный стол.

Хрипловатым голосом Курицын проговорил:

— Идите-ка двое кто за мной, отвинтить надо люки, чем так-то ждать.

Двое, кажется, или трое вслед за ним пробрались ощупью, влезли по отвесной лесенке к выходному люку и ухватились за скобы. Кто-то сказал:

— Да, пришлось.

— Молчи, знай свое дело,— ответил Курицын.

И еще кто-то вздохнул:

— Водищи-то, чай, над нами,— вот хлынет!

И в это время наверху раздались стук и шаги. Там были люди. Курицын скороговоркой сказал:

— Марш к кингстонам! Выстрелю — открывать!

Затем, держа револьвер в зубах, нажал на скобы, крышка подалась, и в щель хлынул резкий свет и воздух.

— Эй, кто там ходит? — крикнул Курицын.— Какие люди?

— Свои, свои.

— О господи!

. . . .

Андрей Николаевич, ударившись давеча головой о железную стенку, увидел ослепительный сноп искр. Затем стало темно и глухо. Но одна искорка осталась в глазу и понемногу стала разливаться в немигающий свет.

Он был ровный и голубоватый. Андрей Николаевич долго созерцал его.

Затем началось беспокойство о том, что в свету находится что-то постороннее. Хорошо, если бы оно исчезло и растворилось, но оно не пропадало и было как камень.

Не уменьшался и свет, но не доставлял уже прежней радости; постороннее мешало ему; приходилось уделять много внимания, чтобы узнать, что это такое. И вот однажды он с удивлением, с тоской понял, что постороннее — это он сам. Тогда свет превратился в простую синеватую лампочку над койкой, а тело Андрея Николаевича начало болеть во многих местах. Когда же он почувствовал крутую качку миноносца и стук его машины, то попробовал повернуться, застонал и погрузился в живую темноту сна.

Так началось медленное его возвращение к жизни.

«Кэт» шла на буксире за миноносцем. В кубрике его Курицын, держа осторожно стаканчик, рассказывал разинувшим рот матросам про битвы и подвиги; старался не хвастать, но это ему не удавалось,— слишком крепок был в стаканчике ром, да и, кроме того, давеча командир миноносца, Громобоев, хлопнул Курицына по плечу, некоторое время поминал всех чертей, затем своих и Курицына родителей и сказал под конец самую суть: «Молодец! Представлю!»

. . . .

С высоких носилок, качавшихся на плечах матросов, Андрей Николаевич глядел на влажное синее небо, на черепичные крыши домиков, на кудрявые деревца с обеих сторон чистенькой мостовой.

Большая толпа окружала девять носилок. Все были мирные, казалось — все добрые лица... Кто-то заглянул в глаза, сказал удивленно-радостно: «Живой...» Толпа шелестела голосами, как листья от ветра. На грудь Андрея Николаевича упала белая гвоздика. Он опустил

веки, утомленный теплым, печеным запахом земли. «Дорогу, дорогу, дорогу!» — покрикивали матросы.

Когда улица, ведущая в гору, завернула, он опять открыл глаза и, преодолевая под повязкой боль, раздвинул губы в улыбку. На овальном, темнее неба, заливе лежали военные корабли; недалеко от сходен виднелись остатки мачты и разбитый мостик «Кэт». День был синеватый, хрустальный. Это была уютная старая земля.

Андрея Николаевича положили в лазарете, задернув на длинном окне белые занавеси. Они пропускали молочный свет и шевелились от ветра. Улица — тихая, редко протарахтит экипаж, пройдет неспешно прохожий. Да слышно, как вдалеке, в гавани, бьют склянки или рожок играет зорю.

Просыпаясь, Андрей Николаевич слушал звуки, отдаленный говор, шелест листьев, умоляющий вальс шарманки; глядел на теплую штору,— и без мыслей, без волнений чувствовал только блаженный покой...

Он видел много снов: то усадьбу с прудами и подсолнухами, то ветряные мельницы на бугре, то шалаш караульщика и кругом желтые, спелые дыни. Разбуженный, пил бульон и снова дремал под звуки и шорохи.

Затем сны перешли в воспоминания не близкого прошлого, а давно забытых маленьких случаев, получивших теперь особенное значение. И воспоминания, как и сны, были пронизаны голубоватым светом, отнимавшим у вещей грубость и тяжесть.

Наконец ему позволили сесть на постели и в первый раз отдернули штору. На той стороне улицы он увидел два тополя; между ними — одноэтажный домик и синюю вывеску: «Табачная лавка». У дверей стоял финн в коричневом жилете и курил трубку. Мимо шла девочка в веснушках и грызла яблоко — должно быть, кислое.

Андрей Николаевич окликнул ее. Она взлезла с яблоком на подоконник, раскрыла рот, глаза и подняла рыжие брови. Он попросил сбегать в лавочку, купить бумаги и конверт.

«Милый, добрый человек, Татьяна Александровна,— писал он на следующий день,— теперь начинаю понимать, что я совершил кругосветное путешествие и вновь

возвратился к вам. Казалось, я не думал о вас все это время, но вы присутствовали незримо, были со мной и на дне моря, и в битве, и в последнем отчаянии; я угадывал вас в утренней заре, и в закате, и в веселом прыжке дельфина из волны в волну. Во всем: и в жажде и в тоске по близкому и утерянному — вы (или, вернее, то, что возникло между нами в липовой аллее, от чего, не поняв, я легкомысленно бежал в поисках приключений) указывали мне единственный путь — заглянуть в себя, измерить призрачную, смертельную пустоту одиночества и отказаться от себя навсегда; покуда я один — меня нет, я — глухой, ослепший, бескровный призрак! Милый друг, я только сейчас начинаю жить, а уже сердце полно невыразимым чувством,— каким, еще не знаю. Благодарю вас за все, за все...»

УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ

Дорогой друг, церковку при селе Кожухи отыскал и фрески видел. Они не бог знает какого письма, и, пожалуй, не стоило бы о них подробно рассказывать, но вам непременно нужно, чтобы я написал. Так вот, слушайте...

Из Петрограда я выехал семнадцатого июня в прескверном настроении. Милый друг, я люблю искусство с отчаянием, как любят, должно быть, эскимосы скупое свое солнце. Голова моя была набита высшими соображениями (вы помните наш последний разговор о вырождении искусства, о растущем противоречии его с современностью и о скором конце). Словом, в вагон я сел очень озабоченным, и телеграфные столбы, будки и стрелочники, толпа на маленьких станциях, похрапывающий сосед и унылая дама с кульками и подслеповатой собачонкой казались мне вообще допустимыми с большой натяжкой.

С соседями я не разговаривал, входя в буфет — толкался, морщился от фраз, от запахов, от самого вида обывательских физиономий. После зимы, насыщенной беседами, борьбой кружков, затесаться в толпу, которая не помнит ни строчки Пушкина и пожирает пирожки,— тяжко! Я понял Петрония — и всю дорогу проспал, закрыв лицо носовым платком. Таким я и приехал в Кожухи. Но что из этого вышло?

От станции до села повез меня мужичок, который оказался настолько глуп, что на вопрос о старине принялся рассказывать про какую-то бабушку Аксинью, будто бы заставшую еще французов: она умерла в прошлом году, упав с печки.

Кожухи — живописное местечко. Над рекой, на обрыве, стоит старинный барский дом с колоннами; на другой стороне — белая церковка и село. Крыша на дому — красная, окна наверху заколочены, штукатурка обвалилась местами. Сад зарос бурьяном. Проезжая по мосту, я видел, как из крыжовника выскочил теленок и за ним девушка, в ситцевом платье горошком, с хворостиной в руке.

«Я тебе задам!» — крикнула она сердито. Ямщик сказал, что это — здешняя барышня: живет одна, сиротски, сама хозяйничает.

Церко́вь «Утоли моя печали», шатровая, с пятью синими луковками и тоже облупленная, стоит за селом на лугу; нет кругом нее ни ограды, ни построек, только несколько высоких берез, могильные холмики, да лежащие пестрые коровы, да мальчишка с задранными коленками на бугре. День знойный, снеговое облако в вышине, и чуть трепещут листы берез.

Церковь оказалась запертой. Я спросил, у кого ключ и кто может показать мне фрески и архивы.

— Ключ-та, где же ключ,— сказал ямщик и поскреб ногтем под меховой шапкой,— надо быть, у дьячка.

— А где дьячок?

— А кто его знает.

Он сидел бочком на козлах; лошадь отгоняла хвостом оводов; летали стрижи над куполами. Я рассердился и потребовал, чтобы немедленно везли меня к дьячку.

— Слышь ты, ей, Степка! — вдруг обиженным голосом закричал ямщик.— Филимоныча видел? А?

Но Степка на бугре даже не повернулся. Пестрая корова поглядела на нас печально и, мотнув на слепня мордой, снова задремала.

— Надо быть, Филимоныч чай пьет с учителем,— сказал ямщик.— Разве туда подъехать?

Четырехоконный ветхий домик с поломанными украшениями и деревянными столбиками, бывший когда-то «Монплезиром» и перенесенный на край села из усадебного сада, стоял у самой ржи,— это и была школа.

Желтеющая высокая рожь начиналась прямо от школьного плетня и залегла на много верст.

В палисаднике за непокрытым столом пили чай с вишней учитель Соломин и Филимоныч, старый дьячок, в выцветшем подряснике и без шляпы, для полного благодушия.

И я, мой дорогой друг, вместо того чтобы, не теряя времени, потребовать ключ от церкви и перенестись в XV столетие, попал на это чаепитие третьим собеседником.

По ржи ходили медленные зеленые волны, над ними пели знакомые песни нехитрые жаворонки. При виде меня Филимоныч принялся кланяться, и остроносое красное личико его изобразило величайшее умиление.

Учитель встал и заложил руку за кожаный пояс. На столе стояли корзина с вишнями и чашка, где в топленом молоке плавала муха и ложка. Из самовара шел дымок. Пока я представлялся и объяснял цель приезда, явилась мохноногая курица и тоже глядела на меня с любопытством и готовностью.

Учитель, извиняясь почему-то, что нет никаких консервов, предложил мне чаю. Филимоныч нахлобучил остатки соломенной шляпы на помазанные маслом редкие волосы и, прихрамывая, побежал за ключом.

— Не угодно ли вишни, хотя еще кисла на вкус,— сказал учитель, отодвигая от себя развернутый толстый журнал.— Значит, вы из самой столицы? Очень приятно. Говорят, хорошие фрески в нашей церкви. Хотя я мало в них понимаю.

Тогда я стал рассказывать о церковной живописи, о старине, о том, что если бы не эти остатки красоты, то хоть беги из России — страны варварской, темной и унылой. Честное слово, я говорил с увлечением. Учитель сочувственно мне кивал.

Он был в рубашке, светловолосый юноша, с суровым очертанием лба, прямых бровей и мечтательно-холодных глаз, тогда как губы и едва опушенный под-

бородок казались женственными. На такие лица без волнения я не могу глядеть. В их двойственности чувствуется постоянная возможность вспышки и преображения.

— Вам, я думаю, странно видеть наше убожество,— сказал он, показывая на плетень, где ижицей висели штаны из чертовой кожи да на колу торчал продранный валенок на страх воробьям,— все-таки живем, как видите; я только вот о чем хотел вас спросить,— он положил большую руку на журнал,— как у вас там, в столице, совсем уж, значит, решили покончить с нашим братом?

— С каким это вашим братом? — спросил я, насторожась, потому что лицо его с опущенными глазами надменно усмехалось.

— А так, с мелкотой вроде меня да Филимоныча,— с обывателями. Я к тому хотел вас спросить, что я-то и есть настоящий читатель, про кого пишут и для кого пишут; ведь у вас не сами же для себя сочиняют романы, а для нас; для нашего душевного комфорта в худшем случае, правда? Так вот один здесь пишет: сам ты — зверь, жена твоя — самка, а любовь — инстинкт. Скажем, я согласился с таким определением. Теперь другой режет напрямки: все равно ни до чего хорошего не доживешь, пускай пулю в лоб; и тут же статья о кооперации. Конечно, я читать ее уж не стану. А третий, совершенно непонятно для чего, уныние и скуку напускает на меня,— дышать нельзя. Помилуйте, думаю, мне и без того жить мудрено, для чего же еще мордовать. Или уж действительно мы, читатели,— в диком состоянии, или у вас в столице стало тесно.— Он вдруг весело взглянул на меня.— Вот вы стариной занимаетесь, журнал ваш хороший, старина — вещь прекрасная и полезная; и все же иногда обидно становится: неужели я не более чем случайное явление, вроде мухи, ничего не стою? Подумаешь так, поглядишь на рожь, да и закинешь книжку через забор. Вот какие здесь варвары живут.

Пуская дымок, он облокотился, и лицо его, вначале неподвижное, затем насмешливое, стало теперь задумчивым, осветилось нежностью.

Честное слово, дорогой друг, я был сбит с толку и не понимал, почему учитель Соломин с такой уверенностью решил закинуть меня через забор.

Со стороны усадьбы, по меже, не спеша двигалась женская фигура; ветер отдувал конец легкого шарфа на ее плечах. Из-за плетня появился Филимоныч, вытирая коричневым платком пот. В кулаке он держал огромный ржавый ключ от церкви; повалился на стул и сказал:

— Ох, Солома, надуди стакашку. Извините, у меня вся гортань пересохла,— и, отхлебнув чаю, подмигнул узким глазком на учителя: — Он у нас — философ. Вы с ним поговорите. Козерог. Я давно говорю — в газете надо бы о нем черкнуть, что, мол, в Кожухах такой рогатый человек живет...

— Перестань,— сказал Соломин и поднялся навстречу подходящей девушке, в которой я сейчас же узнал давешнюю барышню, рассердившуюся на теленка. Она была тонкая и высокая, чуть пониже учителя, и, подходя, глядела на него внимательно, почти строго. Пепельные ее непокрытые волосы завязаны на затылке большим узлом, лицо загорелое, овальное, милое, и сердитые губы.

— Когда это кончится? Теперь вы уж стащили грабли,— сказала она дрогнувшим негромким голосом.

Учитель стоял спиной ко мне, тщетно стараясь засунуть ногу между прутьями плетня.

— Честное слово, Вера Ивановна, мне они были нужны. Я принесу...

Плечи под ее ситцевым платьем поднялись и опустились, она поглядела в мою сторону и нахмурилась. Филимоныч потянул меня за рукав и, показывая ключ, настойчиво предложил пойти в церковь.

Рожь с обеих сторон межи доходила до пояса. В теплой зеленой ее чаще синели цветы и вилась повилика, раскрытая белыми и розовыми зонтиками, пахнущими миндалем. Впереди нас, по колее, бегала хохлатая птичка и вдруг нырнула в рожь.

— Грабли стащил! — сказал Филимоныч, ударив себя по бедрам.— Ах, козерог! Все у него через самолюбие, не может, чтобы просто.

Ветер отгибал разодранную его шляпу, и полы подрясника шлепали по рыжим голенищам. Казалось, на Филимоныча извели фунтов пять сливочного масла, чтобы так вымазать.

— Каждый день чего-нибудь у нее утащит; ходят друг к дружке и ссорятся.

Когда же я спросил, для чего учитель таскает у барышни грабли, Филимоныч прищурился, многозначительно повторил: «Для чего? Гм!» — и больше не промолвил ни слова до самой церкви.

Мы вошли в нее по истертым плитам через низенькое сводчатое крыльцо, где облупилась и вылиняла деревенская живопись, а два узких, как щели, окошка были затянуты паутиной. Внутри было тихо и прохладно, пахло ладаном и воском. Филимоныч указал мне на притвор и остался у двери, поправляя лампадку.

Стены и своды, соединенные железом, были покрыты грубой, потемневшей штукатуркой; пятна сырости кое-где да копоть от свечи, прилепленной у деревенского образа прямо к стене. И только в левом притворе, на широкой и плоской колонне, уходящей в сумрак под купол, сохранились древние фрески.

Пока я старался разглядеть их неясные очертания, пролился красноватый свет заката сквозь стрельчатое окно. И в этом свету выступили сражающиеся на конях фигуры в кольчугах, с длинными копьями; над ними — хор монахов со свитками, еще выше — райское тонкое дерево и с боков его большеглазые, изнуренные познанием добра и зла Адам и Ева; свет скользнул левее и выше, угасли всадники и монахи, и только Ева с ветвью в руке еще глядела на меня сурово. Но растаяла в темноте и она.

Мы вышли с Филимонычем на луг. В сумерках неподвижно стояла рожь, казалась сероватою, как воды. Зеленая звезда, едва затеплившись, вздрагивала неуверенно. Тянуло сыростью и болотными цветами. Кричал дергач. И жалобно скрипел колодец на селе.

Филимоныч повел меня ночевать в свою избенку и накормил жареной картошкой, творогом и чаем с ситным и медом. Устраивая в убогом, но чистом «зальце» на сосновом диване постель, он говорил:

— Перины нет — вот горе,— я, чай, понимаю, как спать полагается, хотя до мягкого сам не охотник; а при покойной дьячихе была перина. Не знаю, как вы и заснете; лимонаду-газез нет у нас, провалиться этому лавочнику, кроме дегтя да ситца, ничего не добьешься; электричества тоже нет; а уж петуха, подлеца, я к шабрам отнесу. Я его сварю как-нибудь, дождется,— кричит всю ночь, точно его просят.

Я разделся и лег, с наслаждением вытянувшись на спине. Филимоныч стоял с коптилкой у двери, ковырял ее ногтем и мялся.

— Вот вы человек столичный, объясните мне, что им надо? — внезапно громким шепотом заговорил он, заслоняя коптилку, чтобы не била мне в глаза.— Молодые, отменной красоты оба и, вижу я, часу друг без друга не могут, а все топорщатся, ни он ни с места, ни она ни с места; разные дела выдумывают: грабли он у нее унесет или семенной каталог, а сам отроду репья не посадил; она к нему на другой день идет, и ссорятся, разговаривают, грабли назад тащат. Разве это хорошо? Ну, прямо плохо. Только время теряют. Скажем, книжка — святое дело? Так? Посмотрел ее, помуслил, прочел что-нибудь, вот и хорошо и тихо. Нет, из-за книжки у них ссора: он, мол, это хочет сказать, а она ему: нет, вы не правы, как раз наоборот. Ну, извините, я заболтался, очень досадно — молодые, а чистые оба козероги.

Дьячок притворил дверь и долго еще кряхтел, молился и скрипел постелью в сенях. На стене тикал маятник. И тявкала иногда собака за окошком.

С утра я был уже в церкви,— решил сфотографировать и снять с фресок акварельную копию. В церкви — прохладно. Под куполом возятся голуби, и на пыльном, паутинном окне бьется залетевшая бабочка.

Филимоныч заходил меня проведать и оставил открытой входную дверь; сквозь ее четырехугольник виднелись синее небо и залитая светом желтая, горячая рожь.

Вдруг послышались шаги; я опустил кисть и обернулся; оттуда, из поля, вышли Вера Ивановна и Соло-

мин; они остановились под куполом и не могли видеть меня, сидевшего за решеткой.

— Он здесь? — спросила она.

— Не знаю.

Она грызла соломину. Потом со вздохом опустила руки и подняла на купол глаза; от полусвета они казались еще более огромными; он, уже не отрываясь, глядел на нее.

— Смотрите, голуби,— сказала она.— Боже мой, как тихо.

Ева и Адам устремили точно обожженные огнем темные глаза вниз на истертые плиты. Он держал яблоко, она — ветвь; змей, обкрутясь вокруг дерева, уязвлял свой хвост. У меня начала кружиться голова.

Постояв, Соломин и Вера Ивановна ушли. Я поднялся на цыпочках к окошку и увидел их под тонкой, как райское дерево, березкой на холмике. Вера Ивановна сидела, бродя взглядом по облакам, по ржи; он лежал у ее ног и все так же глядел на нее не отрываясь. Я подумал: когда они встретятся глазами, прочтут в них то, чего, быть может, еще боятся,— Филимонычу не придется больше скулить. Вдруг невероятная его соломенная шляпа вылезла из-за березы. Присев, он начал что-то рассказывать, размахивая руками, гримасничая, показывая единственный желтый зуб.

Щеки Веры Ивановны покрылись румянцем, и она усмехнулась, уронив руку, ладонью вверх, на траву. Соломин сейчас же опустил голову и — я видел — прижался к руке губами.

Мне было радостно и очень грустно, дорогой друг, глядеть через пыльное окошко на все эти вещи. Петроний в конце концов был не более как скептик. На закате я кончил работу и пошел отыскивать Филимоныча; дома его не оказалось, я побрел к школе.

На деревянном крылечке сидела Вера Ивановна, у ног ее — учитель, а Филимоныч в полном благодушии и удовлетворении развалился на последней ступеньке.

Меня встретили радушно, попросили посумерничать, обещали накормить простоквашей. Оранжевый закат широко разлился за рожью. Булькали еще перепела, приглашая спать: «Пать пора». Летучая мышь, отчет-

ливо видная с ушками и курносой головкой, дрожа крылышками, носилась около крыльца. От ржи шел медовый сухой запах. Вера Ивановна, сложив руки под подбородком, говорила:

— Когда отец был жив, мы часто ездили с ним вон по той меже, в плетушке, на рыжем Витязе. Отец был очень шутливый и рассеянный человек; я всегда причесывала его сама, иначе бы он никогда не причесался. В тот вечер его глаза казались особенно печальными. Мы ехали шагом по меже; он сказал: «Иногда мне представляется городок, старый и тихий, на берегу моря; он такой старый и тихий, что там не о чем вспоминать и нечего жалеть, и люди умирают покойно, без боли; старые корабли приплывают с товарами, никто не торопится их разгружать. Знаешь, Вера, хорошо бы в этом городке открыть нам табачную лавочку, жили бы вдвоем». Скоро после этого отец умер.

Она замолчала. Филимоныч тер глаза и покрутил головой, Соломин, поднявшись, подошел к плетню.

Простокваши я не дождался; лег спать один и остановил маятник, чтобы не раздражал он меня, ширкая по обоям. В темноте казалось, что высокая рожь поднимается уже за окном, обступила избушку, сквозь щели в полу вырастают колосья, и мягкая повилика с белыми и розовыми зонтиками опутывает меня, и душно от медового запаха, и нет во мне сил разорвать, стряхнуть с себя это очарование.

На рассвете я решил уехать. Оставаться здесь дольше было опасно: я понимал, как учитель зашвыривает книжки через забор.

Тот же несуразный ямщик повез меня на станцию. Проезжая по мосту, я в последний раз оглянулся на село, на церковку «Утоли моя печали», на дом с белыми колоннами, на тысячу десятин ржи. Затем нахлобучил картуз и принялся обдумывать статью в журнал. И в первый раз я почувствовал, дорогой друг, что мне скучно и не хочется возвращаться к нашим фрескам, спорам, журналам и что все фрески, споры и журналы я бы променял на одно только слово, которое скажет сегодня Вера Ивановна учителю где-нибудь во ржи.

ЛЮБОВЬ

Егор Иванович, морщась от мурашек в затекших ногах, вылез из залепленной грязью плетушки, отпустил ямщика и, придерживая отдуваемые октябрьским ветром полы верблюжьего чапана, отворил калитку,— между железными ее прутьями на ржавом завитке прилип красно-желтый мокрый кленовый лист. Эта калитка, и свистевшие непогодой и унынием голые сучья клена, и в особенности мертвый лист — снова с пронзительной остротой напомнили Егору Ивановичу то, о чем он старался не думать и о чем думал всю дорогу, три дня тащась в плетушке по уезду.

Подняв брови, Егор Иванович сказал: «Да, да», со вздохом, и пошел к дому, разъезжаясь ногами по глиняной дорожке. Сырой ветер мутил лужи и воду в человеческих следах, гнал косые холодные большие капли, рвал и мотал остатки листьев, свистел тоскливо вдоль мокрой деревянной стены дома, казавшегося пустынным. «Да, да»,— иным, злым голосом повторил Егор Иванович, всходя на три ступени деревянного крыльца, поскреб сапоги о железную скобу и сильно несколько раз дернул ручку звонка.

Егор Иванович не испытывал никакого удовольствия — усталым и прозябшим войти к себе в чистый, опрятный, хорошо пахнущий дом,— вошел, заранее мор-

щась. Сбросив чапан на руки востроносой, с необыкновенно тонкой талией горничной Соне — ненавистнице рода человеческого и жениной наперснице,— он спросил, дома ли жена, Анна Ильинишна. «Дома-с, у них гости»,— ответил враг рода человеческого. Егор Иванович, глядя на ее поджатый ротик, на острый, как косточка, веснушчатый носик, сказал: «Соня, от вас опять пахнет карболовым мылом»,— и пошел в умывальную, потом к себе в кабинет. Здесь было светло от трех больших чистых окон, пылали дрова в обложенном дубом, резном камине. «Да, да»,— уже с некоторым примирением, с остатком вздоха, в третий раз сказал Егор Иванович, сел на кожаный диван и стал трогать влажную русую кудрявую бородку.

Он видел — на письменном столе, перед мраморной чернильницей, на которой, на медных крышечках, поблескивал отблеск камина,— лежит пачка нераспечатанных писем, бумаг и газет. Егор Иванович усмехнулся и покачал головой. Эта пачка деловых бумаг — так, нераспечатанная,— лежит вот уже больше месяца, а бумаги, очевидно, есть срочные,— страшно в них заглянуть. «Взять да и бросить всю пачку в огонь — одним словом, моя личная жизнь поважнее вашей трухи бумажной,— вот и все». Вдруг он приметил отдельно одно письмо, оно стояло ребром у самой чернильницы. Он соскочил с дивана, взял письмо,— штемпель был из Петрограда, конверт написан незнакомым крупным почерком. Егор Иванович подошел к окну, на минуту закрыл глаза и разорвал конверт.

«Егор, милый, мне немыслимо тебе писать, труднее, чем я думала... Я все время лгу... Господи, прости меня... Ты пойми, ненаглядный мой: я не чистая, вся душа моя не ясная. Глядеть в глаза мужу и думать о тебе! — я больше не могу лгать. Пожалей меня, пойми, мне — больно... Я пишу сейчас из парикмахерской,— муж бреется, он ни на минуту не оставляет меня одну...» Письмо было подписано — «Маша». Три раза перечел Егор Иванович нацарапанные карандашом, загибающиеся книзу строчки. Боль, жалость, ревность овладели им. Из-за строк он видел ее лицо, каким оно было за стеклом вагона в минуту расставания: прикры-

тое сеточкой вуали, нежное, грустное, с серыми взволнованными глазами. Она улыбалась растерянно... Когда окно двинулось — она зажмурилась...

. . . .

Этим летом Егор Иванович встретил у своей приятельницы, Зинаиды Федоровны (дочери старшего врача земской больницы), девушки суровой, молчаливой и очень хорошенькой, ее замужнюю сестру, Марью Федоровну, Машу. Маша приехала к отцу и сестре из Петрограда — отдохнуть,— «пожить чистенько», как она говорила. От петроградской суеты, мужниных знакомых и их жен, банкетов, ресторанного времяпрепровождения и в особенности от мужа, Михаила Петровича, профессора международного права,—у нее к весне начинались дурные настроения: точно душа, как стекло, разбивалась на кусочки; кровь — мутная, сердце — как высохший мандарин. Зато здесь, у отца, Маша вставала рано, шла гулять в городской сад, еще мокрый от росы, глядела на детей, на птиц, на облака и чувствовала себя маленькой, кроткой, грустной и счастливой. В дождливую погоду она накидывала пуховый платок, садилась на диван с книжкой, подбирала ноги под юбку и слушала, как сестра, Зюм, в круглых очках, стучит молотком по мраморной глыбе,— Зюм была очень талантлива. Ложилась Маша после вечернего чая, глядела на лампадку, плакала часто перед тем, как заснуть, но не от горя, а так — сама не знала от чего.

В этот свой приезд она нашла у сестры нового знакомого, Егора Ивановича, губернского инженера. Он был большой, с близоруким, застенчивым лицом, удивительно весь уютный, косолапый и какой-то — свой. Являлся он в разное время и ненадолго, потому что боялся жены. Маша выходила к нему, какая бывала — в платке или в туфлях на босу ногу. Они садились в мастерской на диване и, чтобы не мешать Зюм, разговаривали вполголоса о всевозможных вещах, ни ему, ни ей не нужных. О себе же они не говорили, точно по уговору.

Через несколько дней Маша заметила, что Егор Иванович при встрече с ней начинает моргать глазами и ни на что непохоже улыбаться. Она сразу догадалась, что

это значит, и неожиданно обрадовалась; когда же поняла, что — рада, то струсила. Но Егор Иванович был так простодушен и весь на ладошке, что она тут же решила — бояться нечего.

Однажды Егор Иванович пришел взъерошенный, с оторванной пуговицей на пиджаке, сел в угол дивана, на котором сидела Маша, и надулся как мышь на крупу, замолчал. Зюм ушла из комнаты. Маша положила ладонь Егору Ивановичу на руку и спросила тихо:

— Что случилось?

— Жена,— ответил он с давнишней досадой.

— Поссорились?

— Конечно, поссорились, что же там может другое случиться. Господи, боже мой, как это все мерзко...

Маша опустила глаза,— что она могла ему ответить? Егор Иванович молча глядел на нее, и она чувствовала, что он глядит с отчаянием. Вдруг он повернулся, взял ее руки — сжал. Маша не подняла глаз. Его руки ослабели, он поднялся с дивана и остановился у окна, спиной к Маше. Она поглядывала на него и думала: «Чужой человек, а до чего близкий. Поссорился с женой, оторвал на себе пуговицу, пришел жаловаться. Люблю, честное слово... Господи, как глупо».

— Не буду я приходить сюда больше,— проговорил он, не двигаясь. (Маша, неожиданно для себя, широко улыбнулась.) Сам, никто другой — сам во всем виноват: устроил себе омерзительную жизнь. Залез по шею, сижу, как в гуще, в этой грязи... Только одно — благополучие. Будь оно проклято!

Маша соскочила с дивана и подошла к Егору Ивановичу, он с крепко зажмуренными глазами замотал головой. Маша сказала кротко:

— Егор Иванович...

— Да, я слушаю...

— Так что же нам с вами делать? Ничего, видно, не поделаешь...

Он стремительно обернулся к ней,— серьезное, страшно важное лицо его начало бледнеть. Маша стояла перед ним, подняв голову, нежная, милая, простенько причесанная, светловолосая. Губы ее доверчиво, чуть-чуть грустно улыбались.

— Ходить-то все-таки будете ко мне, а? — сказала она; подбородок ее дрогнул, в глазах появились искорки смеха.

Так у них началось. Теперь они начали целыми часами говорить только о себе, о самом задушевном, горьком, затаенном. Маша изменилась за эти несколько дней — осунулась и помолодела, серые глаза стали больше, наполнились светом, она особенно, как-то забавно, стала морщить носик. Ей было легко дышать и легко ходить, словно земля стала пухом.

Однажды, поздно вечером, после долгого разговора в прихожей, Егор Иванович нагнулся к ней и нежно поцеловал в губы — и ушел. Маша долго стояла у стены, закрыв глаза, ни о чем не думала,— только горели щеки.

Два раза в неделю Маша писала мужу в Петроград. Неожиданно в ответ, должно быть, на одно из ее писем от него пришла телеграмма: «Безумно встревожен, схожу с ума, выезжай немедленно».

С телеграммой в сумочке Маша побежала на другой конец города, к Егору Ивановичу. Еще издалека она увидела в угловом большом окне их дома, похожего на мокрый ящик, испуганную тень Егора. Затем он, в одном пиджаке, перебежал лужайку, отворил калитку:

— Что случилось?

Она подала ему телеграмму. Он прочел, сейчас же сел на скамейку у калитки, сжал глаза рукой.

— Я, должно быть, что-то написала ему,— сказала Маша, сняла с калитки прилипший к железу мокрый мертвый кленовый лист, прижала его к губам, потом все время держала в руке,— кажется, написала, что здесь мне жить легко и счастливо... Да, так и написала... Зачем бы я стала лгать...

— Да, да,— сказал Егор Иванович,— да, да...

— Егор Иванович, я должна ехать...

Маша глядела на дорогу. Милый рот ее был сжат серьезно. Глаза — строгие и серые, как облака, несущиеся над уездным городом. Егор Иванович понял, что лгать Маша не захочет, как вот он вторую неделю лжет жене, и удерживать ее нельзя. Он спросил негромко:

— Маша, вы вернетесь?

— Не знаю, Егор... Как все это грустно...

На следующий день она уехала. Егора Ивановича вытребовали в уезд. За три дня пути по уездным грязям и оврагам он так ничего не решил и ни в чем не разобрался. Сегодняшнее письмо потрясло его — с такой угрожающей и беспощадной силой рвануло за сердце, что он заметался: нужно было решать. И он в первый раз строго и ясно спросил себя: «Люблю ее? Да, я люблю...»

. . . .

У Анны Ильинишны в очаровательном салончике сидели гости — молодые люди Зенитов и Мухин — и пили кофе с бенедиктином. Анна Ильинишна вернулась поздно утром из загородного ресторана, где слушали цыган. Бессонные ночи и цыганские песни Анны Ильинишна переживала стихийно. Она была одета в бархатное малахитовое платье, с кровавой розой в крепко завитых волосах цвета вороньего крыла. В ресторане в ее честь приезжий знаменитый танцор Родригос, с невероятными бедрами, проплясал сумасшедшую тарантеллу на столе, раздавил в пыль все рюмки и бокалы и выпил полный стакан какой-то адской смеси из тринадцати ликеров. Анна Ильинишна смеялась волнующим грудным смехом. У Родригоса глаза налились кровью. Ее поздравляли с успехом. И когда веселая ночь кончилась, было жутко и нестерпимо подумать, что завтра — снова будни... Зенитов и Мухин провожали Анну Ильинишну на лихаче и остались пить «утреннее кофе»,— то есть понемногу и безболезненно сводили «на нет» цыганское настроение. Костлявый Зенитов, жуя сигару, рассматривал знаменитый «альбом Фрины» с фотографическими карточками Анны Ильинишны, где она была снята в смелых античных позах, обнаженная,— альбом, о котором много говорили в городе. Показывался он, разумеется, только друзьям, вот в такие минуты. Маленький Мухин, с выкаченными склерозными глазами, во фраке, засыпанном пеплом, играл на пианино и, морща глаз от дыма папироски, напевал о забытых лобзаньях.

Анна Ильинишна продолжала еще смеяться, но уже через силу. От табаку и бессонной ночи лицо ее поблекло, зубы пожелтели. Она лежала на кушетке, за-

кинув голые локти, все в том же малахитовом платье, таком ярком сейчас, что хотелось его пожевать. На шелковую подушку облетели лепестки кровавой розы. Туфелька покачивалась на пальце ее ноги, туго обтянутой прозрачным чулком. Полузакрыв глаза, Анна Ильинишна думала о зверской физиономии Родригоса.

— Но, черт возьми вашего мужа! — сказал Зенитов.

Анна Ильинишна загадочно усмехнулась, потом сдвинула брови, лицо ее стало злым. В это время Соня доложила о приезде барина. Гости поднялись и прощались с преувеличенно смущенными лицами. Хозяйка их не удерживала.

Оставшись одна, Анна Ильинишна подошла к высокому зеркалу в простенке, привела в порядок волосы и попудрилась. Глядя на свои руки, открытые до подмышек, она подумала, что совершенна физически,— надменно усмехнулась и вышла в столовую.

Егор Иванович сидел у самовара и задумчиво жевал хлеб. Глаза у него ввалились, лицо обветрело, похудело и казалось новым.

— По крайней мере нужно быть вежливым, Егор,— сказала Анна Ильинишна. Он вскинул голову, быстро отряхнул крошки с бороды и щекой коснулся жениных поджатых губ:

— С добрым утром, Аня. Устал с дороги. Скверная дорога... Ну, а как ты?

Она, не ответив, села к столу, положила на скатерть обнаженные руки и странным взглядом глядела на мужа. От нее пахло бифштексами, табаком и ликером. Покосившись на жену, Егор Иванович подумал: «Не лги ей, не лги... А вот попробуй — скажи всю правду, начнет кричать, как торговка... Нет, не скажу».

И он повторил с ожесточением:

— Ужасно устал с дороги, прямо всего изломало... Хочу пройтись немного, размять ноги...

— Ты мне лжешь, Егор,— проговорила она низким голосом. Он мигнул, нахмурился, не сдался и продолжал ругать дорогу, распутицу и свою службу.

— Ты лжешь мне, Егор,— повторила она и показала зубы до самых десен,— ты даже не потрудился заметить, что я с утра в вечернем платье... Тебе неинтересно

даже знать, где я провела ночь... Нет, подожди, мне теперь не нужно твоих озабоченных глаз... Отчета я тебе никакого не дам, голубчик... Мне вот хотелось бы знать — куда ты сейчас собрался идти...

— Иду гулять, я сказал...

— Врешь!..

— Аня...

— Врешь, я говорю!.. Не успел приехать, поздороваться с женой и сейчас бежишь к этим...

— Я прошу тебя не говорить так о моих...

— Ах, я, оказывается, говорить уже о них не смею!.. Это новость... Ну, так я тебя должна огорчить: мне рассказали, что эта твоя любезная Марья Федоровна — просто дрянь, просто...

Но Егор Иванович уже поднялся, побагровел, прядь волос сама сползла на взмокший лоб, и вдруг,— так самому показалось,— лицо стало безумным, точно пробежал по нему огонь...

— Не тебе об ней судить! — крикнул он и кулаком со всей силы ударил по столу. Анна Ильинишна с перекошенным лицом, злая, зеленая, вскочила, молчала... Он быстро вышел... Жена догнала его в прихожей, сорвала с вешалки бархатную шубку и, не попадая ногами в ботики, бормотала вполголоса:

— Ты еще со мной ни разу так не говорил... Прощай... Прощай, голубчик...

Но Егор Иванович не спросил, куда она бежит. Анна Ильинишна обернулась в дверях и крикнула:

— Иду к одному...— И хлопнула дверью.

— Очень рад,— проворчал Егор Иванович, тоже с остервенением застегивая пальто,— очень рад, пожалуйста, хоть — к черту...

. . . .

Зюм, когда неожиданно явился к ней Егор Иванович, сидела перед круглым станком и напильниками и зубилами, похожими на зубоврачебные инструменты, скоблила и чистила кусок мрамора.

Строгие глаза Зюм были прикрыты круглыми очками, волосы повязаны белой косыночкой, поверх платья надет грязный парусиновый халатик,— в карманах его находились всевозможные необходимые вещи.

Зюм работала сосредоточенно, ее мохнатые от длинных ресниц глаза казались одичавшими. На Егора Ивановича она посмотрела внимательно и опустила долото.

— Вернулись? — спросила она тихо.— Давно?

Егор Иванович пододвинул табуретку и некоторое время молчал. Так хорошо было здесь, точно на другом свете. Вот эта дверь ведет в Машину комнату, теперь пустую. Дверь и та комната, запах глины, Зюм и все вещи были из иной жизни. У него дрожали губы.

— Зюм,— сказал он,— я больше не могу... Глупо, никому не нужно, чтобы было так.

Он показал Машино письмо. Зюм сняла очки и медленно прочла. Синие глаза ее наполнились слезами. Она покраснела и сказала:

— Маша очень скрытная. Если так написала, значит — больше не под силу.

— Зачем она уехала?

— Я думала — сказать вам или нет? Ах, Егор,— Зюм засунула руки в карманы халатика, встала и опять села,— мне кажется, вы хороший человек, но некоторых вещей не понимаете.

Егор Иванович отвернулся, вынул платок и принялся вытирать лицо.

— Я люблю Машу,— сказал он глухим голосом,— милая, родная моя Зюм, как же я мог знать это раньше... Только сейчас — приезжаю домой, прочел Машино письмо, и точно в меня вошел свет... Милая моя Зюм, я не знаю, что делать, но все это страшно важно... Я чувствую — Маша взяла меня за руку, и я этой руки выпустить не могу...

Зюм была строгая, но очень нежная девушка. Из туманных слов Егора Ивановича она поняла то, что считала единственно важным на свете. Она обхватила руками его голову, запачкала мраморной пылью и несколько раз поцеловала в волосы.

— Я вас всегда осуждала, Егор, вы меня простите... Но вы бегали к нам потихоньку, дома — лгали, и разрывались между женой и Машей... И, бог знает, что вам больше было нужно... Было все наполовину, и Маша это чувствовала. Вы не знаете, как она плакала по ночам... Этого вам она никогда не скажет...

Егор Иванович встал и ходил по комнате, набирая воздуху.

— Да, да,— сказал он,— что касается меня, я решил... Пока я шел к вам — я решил... Тут и решения в сущности никакого не было, а просто — ясно... С женой, с домом, со службой — кончено... (Егор Иванович сказал не совсем точно,— лишь в эту секунду, выговаривая эти страшные слова, он услышал их, понял и, с бьющимся от жуткой радости сердцем, решил — так и будет: ни жены, ни дома, ни службы...)

Зюм глядела на него страшными глазами, у нее так дрожали руки, что она вложила пальцы в пальцы и стиснула их. Егор Иванович сказал:

— Жизнь для меня — это Маша. Вы понимаете, как это можно почувствовать в одну секунду... Сразу все, все бывшее со мной — отхлынуло, все связи порвались, как паутина... Я ни о чем не жалею... Если Маша захочет жить со мной — будет хорошо... если не захочет, я буду ждать, я буду терпеть... Буду поблизости, это важно... Зинаида Федоровна, ваши глаза — мой судья, самый строгий, самый высший... Я завтра еду в Петроград... Можно?..

Зюм взяла его ледяные руки, прижала к халатику, к груди и, все так же глядя в глаза, сказала:

— Простите, что я о вас думала хуже... Егор, возьмите меня с собой... Это нужно для Маши, для вас обоих... Можно?..

Егор Иванович в волнении ничего не ответил. Зюм побежала к двери в столовую и крикнула:

— Отец, Федор Федорович, подойди сюда... Сегодня вечером мы с Егором Ивановичем едем в Петроград, к Маше... Ты слышишь?..

В мастерской появился доктор, Федор Федорович. Он только что встал после обеденного сна и был в ночной рубашке, в накинутом на широкие плечи пиджаке, седые волосы его были нечесаны. Закуривая от окурка папиросу, он сел на подоконник, сладко зевнул и спросил у Егора Ивановича:

— Ну, как дела, ничего?

— Ты слышишь или нет? — крикнула Зюм.— Мы едем к Маше...

— Слышу, не кричи...

— Ты, может быть, против этой поездки?

— Это дело не мое... В эти дела я не вмешиваюсь... Пойдемте пить чай... Ветрила-то сегодня какой, а?..

— Отец, мне нужны деньги... Раскрой рот и говори — а-а-а...

Доктор раскрыл рот и начал говорить «а-а-а»... Зюм засунула руку ему в карман, вытащила кошелек, взяла сорок рублей, прибавила еще мелочи и положила кошелек обратно.

. . . .

Подходя к дому, Егор Иванович замедлил шаги. На широкой улице, между палисадниками, у деревянных одноэтажных домов зажигались фонари. Фонарщик уже раз десять впереди Егора Ивановича перебежал улицу.

В черных колеях и лужах плавал желтый свет. А в конце улицы, загроможденной тучами, тускло догорала мрачно-багровая полоса осеннего заката.

«Приду и скажу: Аня, мы честные люди, мы друг друга уважаем, мы с тобой много пережили, было и хорошее и тяжелое... Расстанемся друзьями, уважая друг в друге человека». Так он думал, подходя к дому, и все-таки где-то у него дрожала жилка. В прихожей он медленно снимал калоши, пальто, разматывал шарф. Были уже сумерки.

Затем решительно одернул пиджак, устроил улыбочку и вошел в столовую.

Анна Ильинишна, закутанная в белую шелковую шаль, сидела у окна. Она повернула голову к вошедшему мужу и плотнее закуталась.

Он спросил небрежно:

— Аня, отчего у нас так темно?

Она не ответила. Он прошелся и взъерошил волосы:

— Ты что сидишь? Тебе скучно?

— Нет, не скучно.

— Сердишься? Ну, что же... Вообще, что за манера сердиться... Для этого не стоило жить вместе.

«Скверно говорю. Гнусно. Трушу»,— подумал он,

Анна Ильинишна спросила сквозь зубы:

— Гулял?

— Да.

— Заходил куда-нибудь?

— Заходил к Зинаиде Федоровне.

Анна Ильинишна фыркнула. Он насторожился. И внезапно, только на секунду закрыв глаза, сказал небрежно, как можно небрежнее:

— Кстати, Аня... Нам необходимо расстаться... Я еду сегодня в Петроград... То есть я не по делу еду, ты сама можешь понять, к кому я еду... Навсегда...

Анна Ильинишна повернулась, шаль соскользнула с голого ее плеча.

— Что? — спросила она. Егор Иванович крепко сел на стул, захватил зубами бороду и ждал, как сейчас ему смертельно будет жалко жену. Она поднялась, уронив шаль на пол, быстро нагнулась к мужу. Он продолжал держать зубами бороду. В сумерках всматриваясь в его лицо, Анна Ильинишна проговорила хрипловато:

— Ах, так,— выпрямилась, подняла руки к лицу.— За что, за что,— прошептала она хрипловато.

Егор Иванович вытянул шею,— жена казалась ему ненастоящей, неживой, будто сейчас он видит ее во сне... Теперь ему уже хотелось, чтобы было ее жаль.

— Какой мрак,— еще сказала она, заламывая пальцы у подбородка. Тогда Егор Иванович мягким, тихим голосом стал говорить ей те слова, которые приготовил для этого разговора, подходя к дому... Но она даже не пыталась слушать...

— Я ему отдала всю жизнь,— заговорила она, точно нашла тон,— всю мою молодость, все женские силы... Я превратилась в нуль, стала никому не нужна... Берегла его честь... Я потеряла с тобой всю индивидуальность...

Замотав головой, Егор Иванович перебил ее:

— Аня, ради бога, без иностранных слов...

— Ах, тебе не нравятся мои слова,— крикнула она уже визгливо и зло,— какие мне слова прикажешь говорить, русские, да?.. Дурак!.. Вот что я тебе скажу... Ты разиня и дурак!.. Я тебе изменила сегодня...

— Это твое частное дело,— Егор Иванович отшвыр-

нул стул и вышел из столовой. Он слышал, как жена крикнула за дверью:

— Боже, какой мрак!..

. . . .

Зюм и Егор Иванович ехали в переваливавшейся по грязным колеям пролетке. Ветер трепал на вязаной шапочке Зюм хохолок, как у курочки. Егор Иванович рассказывал о последнем объяснении с женой.

— Егор,— перебила Зюм,— не забудьте послать телеграмму Маше, как я придумала: «Видела ужасный сон, беспокоюсь, выезжаю. Зинаида». Иначе, что скажу ему, когда приеду? А сон я действительно видела.

Зюм задумалась. За поворотом улицы показались высокие фонари вокзала. Мерно цокая копытами, поравнялся вороной рысак, храпя пролетел; в брызжущей грязью коляске сидела незнакомая дама в мехах, к ней наклонилось бритое, в бачках, костлявое лицо Родригоса...

— А не лучше ли телеграфировать просто, не выдумывая... Пусть его догадывается...

— Нет,— ответила Зюм,— если догадается, зачем мы едем,— он на все решится... Страшный человек...

Яркие фонари освещали вокзальную площадь. Пролетка задребезжала по булыжнику и остановилась. Носильщик взял чемодан. В спальном вагоне оставалось только два билета — купе первого класса.

Охраняя Зюм от лезущего в поезд народа, подсаживая ее, помогая снять пальто, устраивая поудобнее на бархатной койке, Егор Иванович только теперь понял, как она для него важна. Девочка в сером клетчатом платье, с сумочкой через плечо казалась необходимой и страшно важной, точно любовь его тоже была встревоженная и тоненькая, в клеточку, с сумочкой, такая же, как Зюм.

В купе сохранился давнишний запах сигар, потрескивало отопление, с боков освещавшего шара покачивались две синих кисточки. Зюм сидела боком к окну, на столике. Егор Иванович рассказывал, обхватив колено:

— Мне тридцать семь лет. У меня два ордена и чин, собственный дом, жена и служба. Зюм, все поле-

тело к черту! Странно? Когда я сейчас уходил из дома — было легко и свободно: вот — вторая жизнь,— а та кончена. Кто такой я сейчас, не знаю! Меня все время холодок бьет, вот это верно.

— На этой станции мы не остановимся,— отвечала Зюм, грызя шоколад.

Мимо окна желтой лентой скользнули огни. Долго свистел паровоз, загибая на повороте. Прогрохотала стрелка, и снова за окном — темнота.

— Вам неприятно, Зюм, что я все про себя говорю?

— Говорите, только короче.

— Зюм, вы поймите: взяли человека, вывели из затхлой комнаты и встряхнули: живи сызнова... Если Маша меня разлюбит, тогда смерть. Я суетился, работал, читал, жил с женой, враждовал с людьми, и все это делалось, конечно, для чего-то. И вдруг оказалось, что только и нужно мне на свете хоть еще раз увидеть Машу.— Егор Иванович поднялся, толкнулся по купе и опять сел.— Сколько лишнего и мерзкого я наделал! Все было лишним, вся жизнь! Если бы вы видели, как Маша заплакала тогда, в окне вагона.

— Нехорошо вы разговариваете,— перебила Зюм,— все равно как из книжки. Это все еще прежнее в вас топорщится. Разве можно знать наше назначение? Если жили так, что приходилось все время плохо поступать, значит — плохо жили.

После этого они долго молчали. Проводник постлал свежие постели. Егор Иванович курил в коридоре, затем осторожно зашел в купе, где была прикрыта половина фонаря и пахло одеколоном, и лег наверху, на спину.

Зюм была права. Он слишком много разговаривает. Будь здесь Маша, она положила бы руки на его голову и взглянула в глаза серьезно и ласково, точно самое важное на земле — взглянуть в глаза, вот так — на веки вечные, при свете вагонного фонаря. И тогда узенькое купе, летящее по степи, показалось бы им родным домом.

Егор Иванович вспомнил просторную и теплую столовую, чайный стол под керосиновой лампой, взъерошенного Федора Федоровича, пьющего восьмой стакан вперемежку с папиросами, и рядом с ним нежно улы-

бающуюся Машу. Из вазочки она накладывала вишневое варенье Егору. Положила столько, что оно потекло на скатерть, и все засмеялись.

Егор Иванович завертелся на койке, и понемногу им овладело ужасное беспокойство. Он кашлянул негромко и позвал:

— Зюм!

— Да, Егор, я не сплю.

— О чем вы думаете?

— Думаю, что Маша может и не поехать с нами.

Егор Иванович быстро перегнулся с койки и различил раскрытые глаза девушки.

— Подумайте, Егор, ведь вас не двое во всей этой истории, а четверо.

Тогда Егор Иванович стал думать, и опять самым важным казалось ему вишневое варенье, пролитое с хрустального блюдечка на скатерть. Зюм тоже не спала. Он слышал, как девушка возилась, вздыхала и переворачивала подушку холодной стороной вверх. Когда она спросила, наконец, упавшим голосом, спит ли он,— Егор Иванович сказал:

— Я стараюсь быть справедливым, но у меня ничего не выходит. Должно же быть что-то, что выше жалости, выше совести...

— Егор, я вас очень люблю,— сказала Зюм.

— Я вас тоже, милочка.

Зюм долго молчала. Потом Егор Иванович слышал, как она шарила под подушкой,— должно быть, искала носовой платок,— осторожно высморкалась, сдерживая глубокие вздохи... Поворочалась и затихла.

. . . .

Утром по вагону затопали мелкие шажки, зазвенели стаканы, и в двери запищали детские голоса:

— Кофе, чай! Кофе, чай!

И чей-то голос прохрипел:

— Эй ты, некрещеный дьяволенок, кофе сюда.

А другой, женский голос спросил испуганно:

— Скажите, это Любань?

Егор Иванович раскрыл глаза, еще не понимая, почему он в Любани. Зюм, уже одетая, причесывалась, держа шпильки в зубах.

Подняв к нему голову, она улыбнулась:

— Некрещеные дьяволята бегают, слышите?..

Петроград грязным облаком разостлался по земле, за путями, за тощими соснами, за кочковатыми лужами болот. Проступили фабричные трубы и очертания соборов. Начался мелкий неуставаемый дождь.

Озабоченная и очень решительная Зюм завезла Егора Ивановича в гостиницу, что на Морской, приказала ждать терпеливо и на том же извозчике поехала на Каменноостровский.

В чистом и знакомом подъезде, так же как и год назад, стояла детская колясочка. Тот же сердитый швейцар, глядя в сторону, пробурчал, что в двадцать шестом номере — все дома. На третьем этаже на знакомой двери привернута тщательно вычищенная доска: «Михаил Петрович Стоянов». Зюм подышала на доску и позвонила.

Послышались ровные шаги, и дверь открыл сам Михаил Петрович, высокий бледный человек с ровным глянцевитым шрамом через висок, с холодными выпуклыми глазами,— словом, все такой же; он отступил на шаг и воскликнул:

— Зиночка! Какими судьбами?

Затем взял холодными пальцами ее руку и усмехнулся. Блеснула золотая пломба, горбатый нос еще больше скрючился. «Сейчас клюнет»,— подумала Зюм; хохолок на ее шапочке вздрогнул.

— Я приехала за Машей,— сказала она твердо.

— Ах, какие мы строптивые, милая моя фантазерка,— он снял с нее шубу.— Маша арестована надолго, и к вам я ее нескоро пущу, детка.

«Посмотрим, детка»,— с яростью подумала Зюм, глядя в холодные его, выпуклые глаза. Они медленно мигнули, как у птицы. С приговорочками, с тоненькими улыбочками он проводил ее в столовую, где кипело кофе и на стуле висел Машин пуховый платок .

«Одна я отсюда не уеду, пусть режут»,— подумала Зюм и, строптиво фыркнув, побежала в спальню.

Маша лежала еще в постели. Из-под пышного желтого одеяла появились сначала ее поднятые брови и большие испуганные глаза.

— Зюм? — проговорила она.— Зюм! Ты?

Зюм остановилась и ахнула: так изменилась Маша; прежде, бывало, просыпалась как вымытая росой, и глаза по утрам были ясными, верхняя маленькая губа вздрагивала — вот-вот засмеется. Сейчас Маша лежала в постели похудевшая, строгая, увядшая...

— Комар, здравствуй же,— прошептала Зюм,— настоящий комар, ни кровиночки...

Она сбросила сумочку, туфли, жакетку и, нырнув под одеяло, обхватила Машу, целуя в шею, в горло, за ушко.

— Зюм, радость моя, глупая, что это значит? — спрашивала Маша, сама стараясь поцеловать. Зюм зашипела ей громким шепотом в самое ухо:

— Я тебе все должна рассказать. Он изумительный человек. Бросил все. И мы прискакали. Сегодня же едем с нами домой.

— Егор? Что ты говоришь? Он здесь? — Маша быстро села на кровати, схватила за руку сестру, к щекам ее хлынула кровь.— Зачем, зачем?

— Чего испугалась? Вообще почему ты такая странная, Маша? Ты не рада, что я приехала? Ты чего-то надумала... Он в гостинице. Но только он чудной какой-то сейчас. Любит, любит, Маша! А мне он — как брат. Мы все будем счастливы! И доктор его любит. Ты знаешь — Михаил едва не заклевал меня в прихожей. Вставай, едем в гостиницу сейчас же.

Отодвинув сестру, Маша в ужасе глядела на нее. Но Зюм опять обхватила ее сильными руками и стала рассказывать все по порядку. Едва Маша раскрывала рот — Зюм кричала на нее,— приходилось молчать.

Понемногу смягчились Машины одичавшие за это время глаза, и даже губа дрогнула один разок прежней улыбкой, и не так уж ей стало невероятно, что приехал Егор. Сестры решили сказать Михаилу, что после завтрака идут гулять одни, без него; затем взять извозчика и ехать в гостиницу, где ждет Егор, и там все выяснить.

В это время Михаил Петрович несколько раз подходил к дверям спальни, но его гнали. Рассердясь, он объявил, что не может работать натощак, а завтра у него лекция.

Сестры вышли в столовую. Михаил Петрович, удовлетворенный комфортом, развернул салфетку, положил с левой руки газету, с правой портсигар, разобрал ложечки и вилочки и холодными глазами уставился на сига по-польски.

Маша сидела на хозяйском месте, подперев пальцем висок. На ней было черное глухое платье с полотняным воротничком, она казалась в нем девочкой, так похудела, и не смела взглянуть ни на мужа, ни на сестру, ожидая каждую минуту, что вот-вот швырнет Михаил салфетку и загремит на всю столовую: «Ты мне лжешь, лжешь, лжешь!»

Зюм, не притрагиваясь к еде, в упор глядела точками зрачков на Михаила Петровича.

— На мне ничего не нарисовано, детка, ешь сига,— сказал он, усмехнувшись и подняв брови, и вслух стал читать передовую статью: — «Утверждают, что работа Государственной думы в предстоящую очередную сессию...»

«Если и сейчас не догадываешься — сам, сам виноват»,— подумала Маша. Михаил Петрович не спеша, обстоятельно прочел статью до конца и зло и умно комментировал ее. В черном галстуке его с красными крапинками блестела острая булавка.

— Ну-с, так как же,— сказал он, отложив газету,— а я бы на вашем месте не рискнул идти гулять — погода прескверная. Посидели бы дома, девочки.— И Михаил Петрович принялся за сладкое.

— Нет, мы пойдем гулять,— ответила Зюм. У Маши больно забилось сердце, и кровь то приливала к щекам, то отливала. Склоняясь над тарелкой, Михаил Петрович сказал:

— Уж не собираетесь ли вы на свидание, чего поди? — Золоченая ложечка с мирабелью остановилась, не донесенная им до рта.

Маша подняла голову, румянец залил все лицо, глаза налились слезами, она быстро отвернулась и мизинцем коснулась уголка глаза. А Михаил Петрович вынул золотую зубочистку, почистил зубы, не спеша всунул салфетку в кольцо, поднялся, улыбкой поблагодарил дам за совместно проведенную трапезу и, закинув го-

лову, прямой и высокий, в наглухо застегнутом сюртуке, торжественно вышел из столовой.

Придя к себе в кабинет, Михаил Петрович взял со стола серебряный разрезной нож и, проведя по нему пальцами, задумался. Надменность и холодность понемногу сошли с его лица, глаза стали печальными.

На синем сукне стола стояли бронзовые тяжелые вещи, вдоль стен — запертые наглухо шкафы, повсюду — кожа и темное сукно, и мутный свет дня, пробиваясь сквозь кружево и шторы, едва освещал весь этот чинный холод. Только перед диваном лежал смятый носовой платок, вчера забытый Машей. Михаил Петрович взял его, сжал в кулаке, затем, постояв так довольно долго, позвонил и вошедшей горничной приказал бросить платок в грязное...

. . . .

В маленькой комнате с потертой красной мебелью и пестрым ковром было жарко от пылающего камина. Егор Иванович отодвинул кресло к окну и глядел, как внизу на дворе дворники вытряхивали ковры, стреляя ими, точно из пушки, как приехавший с возом дров ломовик тяжело спрыгнул на грязный асфальт и бранился с кем-то.

В камине потрескивали поленья. В коридоре слышались звонки и шаги. Егор Иванович подходил к камину, где тикали часы, равнодушные к жизни, к смерти и к любви, видел в каминном зеркале свое изменившееся, незнакомое лицо и вновь садился — глядел на пляшущее пламя. Маша не шла и не звонила.

За дверью, в коридоре, слышались голоса: «Коридорный, что ты мне за бурду принес?» — «Кофе-с...» — «Сударыня, извиняюсь, вы который нумер ищете?..» — «А вам какое дело?..» — «Там подождут, заходите ко мне, поболтаем...» — «Оставьте...» — «Коридорный, две бутылки содовой!» — «Слушайте, не орите — здесь семейные нумера...»

Егор Иванович с тоской прислушивался. Сердце то колотилось, то словно скулило; был третий час, темнело, и комната, освещенная только огнем камина, будто раскалилась. Егор Иванович вышел, наконец, за дверь и повернул по низкому коридору,— глянцевитые

обои на стенах и потолке поблескивали от желтых лампочек. Коридор то поднимался, то заворачивал. Дойдя до вестибюля и узнав у размахивающего дверями швейцара, что никто не приходил и не звонил, Егор Иванович побрел обратно.

«Или больна, или случилось ужасное, или, всего вернее, не хочет видеть»,— думал он, ступая на сиреневые розаны ковровой дорожки. Вот — она кончилась у двери... Дорожка уткнулась в тупик. «Маша не любит, не придет, и — конец. Не хочет меня, тогда черт со мной». Отчаяние, как облако, заволокло его сознание, не хотелось даже передвигать ногами.

Он долго глядел на фарфоровую ручку двери. Невероятно, вся прожитая жизнь — все, все сосредоточилось и уперлось в эту отбитую с одного краешка фарфоровую ручку... Егор Иванович потер морщины на лбу... «Вроде как душевное заболевание...» Нахмурился. Толкнул дверь, вошел и увидел на диване, рядышком, в сумерках, две фигуры. Поближе к камину сидел кто-то родной, нежный, изумительный, в шубке и шапочке, в вуали.

— Маша! — проговорил Егор Иванович и, опустясь на колени на ковер, обхватил ее руками, спрятал лицо в ее коленях, в душистое платье. Зюм высморкалась, сказала что-то насчет Петербургской стороны и пяти часов и вышла.

— Егор, ты любишь меня? — спросила Маша так, точно только за этим вопросом и приехала сюда.

Он стал смотреть ей в измученное, прекрасное лицо. Вокруг глаз лежала синева. Она казалась девочкой, сидела смирно, с грустной и нежной улыбкой, повторяя иногда:

— Егор, милый...

— Маша, на всю жизнь,— сказал он и вглядывался в ее большие глаза с дышащими темными зрачками. Приподнятая вуалька лежала на лбу,— и вуаль, шапочка на пепельных волосах, и глаза, и нежный овал лица, и улыбка — все это с каждым мгновением значило неизмеримо больше, чем просто человеческое лицо.

Мерцая, потрескивали угольки в камине, тикали часы,— и это, казалось, было уже когда-то или точно с

этой минуты, как во сне, началась и потекла в обратном порядке вся жизнь и вновь возвратилась к истоку. Прошлое было не позади, а словно разостлалось вокруг этой горячей комнатки, где остановилось время. Мысли и чувства медленно погрузились в самих себя.

Первая Маша оторвала глаза, вздохнула, повернулась к огню. Лицо ее залилось красноватым светом. Не отрываясь, Егор Иванович глядел на ее рот, она сказала негромко, точно с усилием:

— Что же будет с нами, Егор?

Тогда он присел на диванчик и принялся целовать ей глаза, щеки и нежные, припухшие еще от давешних слез губы.

— С нами ничего не случится дурного. Чего боишься? О чем думаешь?

— Голубчик ты мой, родной,— воскликнула она жалобно и, поспешно погладив его лицо и руки, поцеловала их,— мне радостно, мне грустно ужасно. Расскажи мне все по порядку, как ты надумал приехать? Неужели все, все оставил из-за меня?

Тогда Егор Иванович стал рассказывать о всех чудесах, которые произошли с ним, когда он получил ее письмо...

— Ты понимаешь,— сказал он,— оно было — как пламя... Вся моя прежняя жизнь была сном... И вот с этой минуты...

Она перебила:

— Подожди, я ужасно хочу пить.

Стакана не оказалось, она зачерпнула из умывального кувшина воды горстью, выпила.

— Дай твой платок. Послушай, Егор, мы все-таки начинаем с того, что губим твою жену и Михаила. Я все время думаю, думаю об этом. Неужели иначе нельзя? Или мы должны мучить?

Голос ее дрожал, она вытирала руки и губы платком.

— Я к тому говорю, Егор, нужно все это сейчас выяснить. Подумай — сколько не виделись, как я тосковала по тебе, а сейчас чувствую — не могу еще любить во всю силу, как бы хотела. Помнишь, как было хорошо у папы? Тогда было легко... А сейчас — здесь тяжесть

(указала на сердце)... Прости меня, Егор, милый, не огорчайся, что я такая дурная с тобой. Я все думаю — если мы их погубим... что же будет с нами?.. (Глаза ее расширились страхом,— будто она и Егор замышляли убийство.) Неужели нельзя никак, чтобы нам было легко?..

Она опять села к нему на диван, взяла его руку и тихонько гладила.

— Как же теперь быть? — сказал он медленно.— Ты хочешь, чтобы все кончилось и я уехал...— Клубок смертельной горечи подкатился ему к горлу.— Ты можешь меня оставить, Маша? — Он встал, взял кочергу и засунул ее в угли.— А я думал так — ты и я... Ты и я.— Он с яростью ковырял угли.— Я никак не могу этих других почувствовать... Ну и пусть их страдают, гибнут... Ты и я, больше ничего нет...

Он обернулся. Маша сидела зажмурясь. С влажных ресниц ее лились слезы по щеке. Тогда стало ясно, что весь их этот разговор только оттого, что они не могут разлучиться никогда. Он обхватил ее за плечи, прижал. Она громко плакала, и вдруг слезы высохли, строгие, потемневшие глаза словно погрузились в глаза Егора Ивановича. Рухнувшее полено рассыпалось искрами, озарило комнату. Настало то, для чего не нужно ни воспоминаний, ни слов.

Не осталось ни горечи, ни сомнений. Маше трудно было различить — ее это рука или его лежит на потертом плюше. Егор Иванович повторял:

— Родная моя, дитя мое...

Иным он не мог выразить волнения и радости от того, что Маша с ним и чувствуют и дышат они согласно, как один человек. И все, что живет, и чувствует, и дышит,— способно на такую радость и полноту.

. . . .

Михаил Петрович строго взглядывал на часы, как будто они были виноваты в том, что Маша опоздала к обеду почти на час.

Вообще он много подозревал, еще больше не понимал, но сдерживался, полагая, что если у Маши и было какое-нибудь увлечение, то чувство нравственного долга

во всяком случае перевесит у нее преступные и легкомысленные настроения.

За шестилетнюю жизнь он не раз замечал у Маши перемены в характере, но считал это законным, потому что выше всего ставил духовную свободу и нравственную эволюцию человека.

Все же, когда в прихожей затрещал звонок, Михаил Петрович сильно вздрогнул, поднялся со стула и, трогая бритый подбородок, без прежней уверенности зашагал по ковру. Он слышал, как Маша сказала сестре:

— Нет, я прошу тебя, сядь и жди — вот книга.

Затем она появилась в дверях, привычным движением поправляя высокие волосы. Взглянув в ее лицо, Михаил Петрович внезапно проговорил не то, что хотел:

— Я слушаю, Маша.

Она села на кожаный диван, сложила руки, вздохнула, собирая все мысли:

— Я люблю другого человека, Михаил. Ты меня прости. Главное за то, что не сразу сказала. (Она задохнулась немного.) Я сегодня уезжаю от тебя, навсегда, Михаил....

Он стоял, расставив ноги, держась за дрожащий подбородок.

— Вот как, не ожидал от тебя такого,— проговорил он глухо,— кто же это твой...— И когда она раскрыла рот, он крикнул: — Адюльтер! Вот это что! Мерзость! — На желтом лице его изобразилось глубочайшее отвращение.— Пошла вон,— сказал он. Вернулся к столу и низко нагнулся над рукописью. И сейчас же, едва Маша подошла к дверям, вскочил, сжал ей пальцы и крикнул, уже не сдерживаясь: — Куда! (Маша только ахнула.) Куда ты идешь? Не отпущу. Я тебя запру. Я тебя убью... Тварь!

— Теперь я действительно уйду,— сказала Маша,— пусти мою руку!

Она вырвала ее и повернулась, но он вдруг, как слепой, стал ловить ее платье и заговорил поспешно:

— Маша, этого не может быть. Ты меня обижаешь, подумай! Ты ведь не сошла с ума. Ты не можешь меня

оставить. Я хочу быть с тобой. У тебя увлечение, я понимаю. Но сделай над собой усилие. Ты обо мне сейчас подумай! Мне, мне, мне больно.

— Михаил, я его люблю; ты понимаешь: я люблю,— серьезно и раздельно проговорила она. Он закрутил головой. Волосы его были редкие, на висках седые. «От меня поседел,— подумала она, и опять, как игла, вошла в нее жалость.— Нельзя, нельзя, нужно сдержаться»,— и она сказала: — Он — мне муж, а не ты. О нем я должна сейчас думать.

Тогда Михаил Петрович поднялся и, с отвиснувшей губой, не то хрипя, не то стоная, вращая глазами, принялся выкрикивать совсем уже лишние слова.

И Маше сразу все стало безразличным и ненужным. Она быстро повернулась и выбежала. В столовой, схватив Зюм за руку, сказала:

— Господи, да скоро ли поезд?

— Иди и укладывайся; и не смей больше с ним говорить,— ответила Зюм,— у меня уши болят от вашего крика.

. . . .

Но крику не убавилось. Михаил Петрович выходил несколько раз из кабинета и, стуча в дверь спальной, требовал объяснений или хотя бы только обеда,— «элементарного, чего я требую от вас». Убегая к себе, он принимался хлопать ящиками стола. Затем разбил какое-то стекло, пробежал через столовую и крикнул: «Прощай, ухожу, не вернусь». И действительно, ушел, но вскоре вернулся и спросил через дверь, чужим, каким-то измененным голосом, навсегда ли уходит Маша, или еще думает вернуться.

— Навсегда, навсегда,— крикнула ему в ответ Зюм.

Она и сестра сидели в ванне головами в разные стороны; так с детства любили они залезать вместе в горячую воду, и самые задушевные их беседы велись именно так.

Маша лежала с полузакрытыми глазами, отдыхая, набираясь сил; до поезда оставалось часа полтора; при взрыве мужниных криков она только покачивала головой. Над водой были высунуты кончики ее колен, они озябли и порозовели. Маша казалась маленькой и со-

всем хрупкой под водой. Зюм глядела на ее знакомые коричневые родинки — одна выше локтя, другая на том месте, где сердце, третья на боку; ей нестерпимо жалко было сестру, совсем не похожую на грешницу. Маша подняла мокрую руку и убрала прядь волос, упавшую на глаза,— на руке были синие жилки. Тогда Зюм прильнула к озябшим ее коленям и заплакала.

. . . .

На вокзал Егор Иванович приехал спозаранку. Купил билеты и стоял в вестибюле, куда вваливалось и снова уходило на дождь множество народу. От касс тянулись хвосты. Здесь через несколько минут должно оборваться все старое,— отсюда Маша и он тронутся в долгую дорогу. До отхода поезда осталось десять минут. Страшная тревога овладела им... В толпе он заметил котиковую шубу, кинулся было, но это оказалась незнакомая девушка с заплаканными глазами, с коробкой конфет и сосновой веточкой в руке. Тогда он подумал, что Маша, наверное, тоже очень любит конфеты, а он никогда не позаботился, даже не спросил, чего ей хочется. Он побежал в буфет и купил апельсинов, хотел еще взять конфет, но испугался, что пропустит Машу, и вновь стал у выхода. От апельсинов и еще от чего-то совсем неясного ему было тревожно и печально и смертно жаль Машу, точно она была беззащитна, покорна всему, чего не избежать. «Не отойду всю жизнь ни на шаг от нее. Все, все — для нее. Чего бы только она ни захотела! Пусть будет ей хорошо на этом свете»,— думал он, соображая, что конфеты успеет купить, пока носильщик возится с багажом.

Наконец появился седой носильщик с чемоданами, за ним шли Зюм и Маша. В первую секунду он не узнал ее, хотя понял, что это она, и сжался от испуга, но это прошло. Сестры издали кивали и улыбались. Маша без слов поцеловала Егора Ивановича и взяла под руку. Сразу отлегла тяжесть, и он подумал, что все теперь — хорошо.

У вагона Егор Иванович сказал:

— Я ужасно беспокоился. Как вы там устроились?

— Уехали и все,— ответила Маша,— было очень тяжело.— Она глядела на него, подняв голову, и ее глаза от счастья немножко косили; завитки волос на шее были еще мокрые. Она сказала, что после ванны холодно и нужно было бы пойти в вагон. Зюм тоже торопила садиться.

Заложив руки в карманы, она стояла под окном, иногда внимательно всматриваясь в толпу. Но на площадке вагона вместе с чемоданом и брюхом своим застрял толстяк в бобровой шапке и бабьим голосом ругался с кондуктором. Егор Иванович крепко держал Машу под руку. «Ты так крепко держишь, точно я убегу»,— прошептала она улыбаясь. Толстяк загораживал вход. Стрелка на освещенном циферблате часов подпрыгивала,— оставалось три минуты. Егор Иванович наклонился к Маше, коснулся ее щеки и, волнуясь, проговорил:

— Маша, ты никогда не оставишь меня?

— Нет, не оставлю... А что? — ответила она, побледнев.

В это время Зюм, поспешно подойдя, прошептала:

— Он ищет нас. Идите скорей в вагон.

И сейчас же они увидели Михаила Петровича. Он шел в расстегнутой шубе, в цилиндре, надвинутом на глаза. Обе руки засунуты в карманы. Глаза как стеклянные и неподвижны, точно он видел летящий призрак перед собой. Прошел он близко и не обернулся, только шея напряглась, но глаза не увидали. Через несколько шагов он круто свернул и прошел опять. На желтом лице его выдавилась усмешка. Маша, Зюм и Егор не могли двинуться. Ударил второй звонок. Толпа на минуту заслонила Михаила Петровича, затем он очутился совсем рядом. Правая рука его копошилась в кармане. Егор стал заслонять Машу, и обоим невыносимо было тошно глядеть, как он копошится, выкатив плоские побелевшие глаза. Зюм вскрикнула. Михаил Петрович вытащил руку из кармана — оттуда повалились перчатки, спички, газета — и выстрелил. Маша схватилась за то место, где были мокрые завитки. Егор Иванович раскрыл рот, рванулся, но крик его заглушили пять подряд резких выстрелов. Не разнимая рук, Егор и Маша

опустились на асфальт. У ног их рассыпались апельсины из коричневого мешка. Раздались свистки, толпа окружила Михаила Петровича. Цилиндр слетел с его головы.

. . . .

Зюм уехала на следующий день. Отцу она послала телеграмму: «Маша и Егор убиты, на похороны не осталась, выезжаю». Зюм сидела одна на плоской койке в купе. На ней был тот же клетчатый костюм и желтый ремешок сумочки через плечо. Зюм глядела напротив, на пустую койку, где должны были сидеть Маша и Егор... Их больше — нет... Зюм глядела на хрустальный полушар, где горел газ,— сбоку его покачивались синие кисточки. Они точно так же покачивались, когда Егор говорил о любви.

Держась за ремень кожаной сумочки, Зюм глядела в окно. Она не плакала. Там, в темноте, хлестал дождь и красные искры летели мимо.

То сыплясь густо, то обрываясь, длинными огненными нитями они летели теперь в глазах, в мозгу Зюм. Они рождались живые и легкие в мокрой темноте, прорезывали окно и гасли. Зюм подумала, что так же Маша и Егор вылетели из огня, пронеслись на мгновение и погасли...

И ей стало казаться, что это — не конец; они блеснули и погасли только в ее глазах. Она разминовалась с ними, только... И в каких-то пространствах они снова встретятся, примут и ее, Зюм, в свой неугасаемый костер.

Зюм развернула плед, накинула его на плечи, села на столик и, прижавшись лицом к окну, глядела на эти легкие, живые молнии. Они двоились и троились, и, чтобы лучше видеть, она платочком вытирала стекло, потом глаза, потом опять стекло...

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

Пакет, содержащий тайные, чрезвычайной важности военные документы, был передан Никите Алексеевичу Обозову,— и передача документов и посылка Обозова произошли втайне.

Поручение — долгая и опасная поездка за границу — обрадовало его; штатское платье, зеленый, на трех языках, паспорт, чемодан, бойко под конец укладки щелкнувший замком,— все это были вестники чудесных дней (они наступят — это ясно, когда в руке плед и чемодан).

Рано утром Обозов приехал на вокзал, выпил кофе и, не беря носильщика, занял купе первого класса.

Пакет лежал сначала в чемодане; затем, когда поезд отошел, Обозов переложил парусиновый мешочек в боковой карман пиджака, прикрепил его английскими булавками и с удовольствием растянулся на бархатной койке. Под боком лежали дорожные книги и журналы; он перелистывал их, курил и, поглядывая в окошко, предчувствовал дни, когда несколько стран и тысячи людей проплывут перед глазами.

Экспресс летел мимо дач, хвойных лесов и моховых болот Финляндии, еще покрытых снегом. В назначенные часы в вагоне появлялся лакей, приглашая к столу. Пассажиры, придерживаясь за шаткие стены, брели в ресторан. На площадках резкий ветер крутил снежную пыль.

Никита Алексеевич садился в углу вагона-ресторана за столик и оглядывался.

Вот семейство простоватых англичан с тремя белокурыми девочками и няней-японкой,— семья едет из Владивостока третью неделю. Вот четыре чернобородых француза, низенькие, багровые; они спросили бутылку красного вина и, гутируя, причмокивают. Затем огромный бритый швед — директор предприятия; добродетельные финны из Гельсингфорса; скуластый купчик-москвич, едущий за товаром в Хапаранду и напустивший европейского вида с явным ущербом для своего самолюбия; широкоплечий угрюмый юноша в вязаном колпаке, какой носят лыжники; и еще несколько неясных, серых лиц. Были и женщины конечно, но в них Никита Алексеевич старался не вглядываться: в некрасивых — не находил основания, красивых — боялся.

С женщинами счеты у него были трудные. В юные годы он мечтал издалека о знаменитой куртизанке, Маше Хлебниковой, милой и прелестной женщине, не пожелал приблизиться к ней, хотя и были случаи, переносил издевательства товарищей юнкеров, и это двойное чувство отразилось на всей его жизни. Он с отвращением относился к «знатокам», которые, довольствуясь немногим, находят в каждой женщине одно, и только то, что им удобно и нужно.

Давеча на вокзале, спеша с чемоданчиком к своему вагону, Обозов мимоходом приметил высокую даму в изящной бархатной шубке. Ее небольшая шляпа с черными крылышками сбилась набок. Дама казалась рассерженной, невыспавшейся и ссорилась с кондуктором.

На пути он опять встретил ее в соседнем вагоне, затем на площадке, где она боролась с ветром, придерживая шляпку и шубку, и, наконец, увидал ее у окна около своего купе. Касаясь лакированной рамы плечом, дама глядела, как скользят мимо снежные поля, деревья, столбы, домики. Ее узкое лицо, обращенное к унылым равнинам, казалось печальным. Открытая шея тонка и нежна. На отворотах вязаной шелковой кофточки белело кружево.

Сидя в углу купе, Обозов видел ее затылок с поднятыми пышными темно-русыми волосами, ее спину,

вздрагивающую от толчков поезда, ловкую суконную юбку, касающуюся высоко зашнурованных лаковых башмаков. И когда ему, наконец, показалось необходимым знать, куда и зачем она едет одна в это тревожное время, Никита Алексеевич спохватился и, вытащив из-под себя томик каких-то приключений, погрузился в чтение.

В дверь купе проникал свежий воздух, и вдруг запахло духами, горьковатыми и нежными. Обозов увидел складки синей юбки, волнующейся под давлением ног. Он вновь перечел страницу. Дама стояла теперь прямо у окна, спиной к двери.

Тогда он повернулся к снежной пыли за окном и, усмехаясь, подумал, что — вот и струсил, хоть и тридцать три года и выдержка... Что-то в этой красивой женщине было пронзительное, и жалкое, и волнующее... Кто она? Просто искательница приключений? Нет, пожалуй — не то... Или, как птица, подхваченная страшной бурей войны, мчится черт ее знает куда?.. Во всяком случае, все это надо бы выяснить... Когда он выглянул в коридор, дамы уже не было у окна. За завтраком она не появлялась.

Сейчас, ожидая на угловом столике вагона-ресторана, когда официант в синем фраке и гуттаперчевом воротничке поднесет ему поднос с едой, Никита Алексеевич чувствовал себя покойно и радостно. Нет большего счастья, как после трудов разлениться на мягких подушках вагона, в отдохновении и безделии следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Все кажется немного ненастоящим. Сейчас почему-то особенно остро Никита Алексеевич припомнил одно поле, вскопанное и мерзлое, с гуляющим по нем ледяным ветром; корявые спины солдат за бугорками; песок и ледяная пыль режут глаза; одинокие выстрелы, безделье, скука, ожидание ночи и нескончаемые вереницы тяжелых, как горы, облаков. Это была ужасная спячка перед смертью. Человек казался придавленным последним унижением, нищим и мерзлым, как земля.

Обозов вздрогнул и быстро поднял глаза, — у столика стояла прекрасная дама и в третий раз, уже с

улыбкой, спрашивала, может ли она занять место напротив.

Обозов вскочил, пододвинул ей стул, смутился от свой поспешности, сел опять и, наконец, вспомнив давешнее решение, прямо взглянул даме в глаза. Она ответила взором почти мрачных темно-серых глаз. На мгновение закружилась голова, и точно исчез весь этот вагон, где трещали голоса, над бутылкой чмокали французы и дымил швед сигарой.

Дама положила на стол у мерзлого окна перчатки, раскрыла сумочку, взглянула на себя в зеркальце — без любопытства, но внимательно,— мизинцем провела по губам, по очертаниям тонких ноздрей, щелкнула замочком и спросила:

— Вы ели рыбу, не опасно?

Голос ее был низкий, почти суровый. Никита Алексеевич ответил с готовностью:

— Рыба превосходная, треска.

И подвинул блюдо. Она поблагодарила. Он принялся думать, что еще можно сказать о треске: рыба эта большими массами плывет на север в теплых водах Гольфштрема, огибает север Норвегии и быстро растет; у Мурмана она достигает чудовищных размеров...

Дама перебила его мысли:

— Я — русская по фамилии и по рождению, но бегу из России, как от чумы,— и подняла на него мрачные ясно-серые глаза.— Ненавижу Россию.

Никита Алексеевич, усмехнувшись, сказал:

— Отчего так? — затем поклонился и назвал себя.

Дама продолжала:

— Мое имя — Людмила Степановна Павжинская. Вы спрашиваете, почему я бегу.— Откинув голову, она глядела на собеседника, словно оценивая, достоин ли он откровенности.— Я ненавижу Россию, правда, правда,— и она засмеялась, держа не донесенный до рта кусочек хлеба.

Ее испытующий взгляд, странное начало разговора, затем смех, умный и невеселый, словно наметили сложность ее духа. Обозов так это и воспринял и насторожился.

— Мое эстетическое чувство оскорблено,— говорила дама,— если я люблю красоту, поэзию, картины, мрамор, музыку, то я прежде всего хочу любоваться людьми. Меня раздражает мысль, что где-то на земле в эту минуту ходят великолепные люди. А я в Москве принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее, слабое, с желтой бородкой, в очках, со слабительными лепешками в жилетном кармане; существо, развинченное нравственно, с несвежим бельем и визгливым голосом, ежеминутно наклонное к истерике. Жить в такой стране? Нет, еду в Америку.

— Будто вы там найдете людей!

— Людей изящных и смелых, первого сорта,— уж, конечно, не таких, как в России.

— И у нас водятся смелые люди.

— Ах, полноте, у нас все ничтожно, как в лакейской, все как на барине, только похуже, с пунцовым галстуком, со скуластой рожей. Будем искренни: наша с вами страна — нелепый курьез, случайность...

Никита Алексеевич сдержался, краска хлынула и отлила от лица его. Опустив глаза, он проговорил:

— Разговор мне, простите, неприятен,— и когда дама удивленно повернулась к нему, добавил: — Я был на войне и видел отважных людей. То, о чем вы говорили, это — не Россия. А впрочем, Россию мало кто знает. Я хочу сказать, что ваша ненависть не по адресу.

Он зажег папиросу. Обед кончился, и крылья вентиляторов разогнали над головой табачный дым. Иногда за спущенными шторами в темноте ночи расстилался унылый длинный свист поезда.

Никита Алексеевич заметил, что даме точно немоглось. Медленно отряхивая пепел с египетской папиросы, она сидела, положив ногу на ногу, оглядывая мрачного юношу в лыжном колпачке, финнов, опять чем-то уязвленного купчика,— и углы губ ее приподнимались презрительной усмешкой.

Вскоре они перешли в вагон и молча стояли в проходе, гораздо более далекие, чем до первого разговора.

Людмила Степановна чутьем поняла это и равнодушие своего собеседника. Он стоял, заложив по-воен-

ному большой палец за пуговку жилета, и глядел на завитушку прессованных обоев. Рот его уже несколько раз силился сдержать зевок. Толстая опрятная женщина-проводник принесла бутылочки содовой и поставила против каждого купе. В конце прохода приоткрылась наружная дверь, возникло морозное облако, и на мгновение появилось обветренное лицо юноши в лыжном колпаке. Людмила Степановна посмотрела на ручные часики, поставила ногу на решетку щелкающего отопления и сказала негромко, со вздохом:

— Мне хочется, чтобы вы простили меня: вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию. Я тоже бы всякого оборвала. Но мы так разнузданны. От вашего резкого слова мне стало вдруг тепло.

— Ну, и вы меня простите за резкость,— ответил Никита Алексеевич добродушно.— А вы в самом деле в Америку едете?

— Я подписала контракт на тридцать концертов.

— А, это другое дело, а я думал...

— Что вы думали? — спросила дама, немного слишком поспешно.

— Что вы так... для забавы...

— Я — одинокий человек,— помолчав, проговорила она и опустила глаза,— мне тоскливо подолгу жить на одном месте. Женщине в тридцать лет, без семьи и привязанностей, очень трудно.— Она передернула плечами.— Как холодно, я плохо сплю в дороге. А вы меня растревожили, уж не знаю чем. Я буду думать всю ночь...— Она грустно улыбнулась.— Хотите сделать доброе дело? Пожертвуйте мне несколько часов, пойдемте.

Она открыла купе, где сильно пахло духами, висела шубка и в сетке лежал крошечный чемодан — весь ее багаж,— усадила Никиту Алексеевича на бархатный диван, сама села у окна на столик, охватила поднятое худое колено и сказала:

— Можете курить и дремать...

Это было сказано хорошо. После этого они молчали довольно долго. Щелкало отопление. Стучали колеса: «Путь далек, путь далек». Никита Алексеевич следил за сизою струйкой дыма, потом за женской ногой, тонкой

в щиколотке, затянутой в черный чулок, покачивающейся совсем близко.

— Мы оба холостяки,— сказал он,— встретились, а через день исчезнем друг для друга, как два перекати-поля. А что может быть ближе и нужнее, как человек человеку? Правда, самая грустная вещь на свете — короткая встреча в пути.

Он взглянул на Людмилу Степановну. Нагнув к нему голову, она слушала внимательно, встревоженно. Полуприкрытый прядью волос лоб ее наморщился.

— Бывают минуты, которых не забудешь во всю жизнь,— проговорила она медленно.

— Не знаю, не испытывал. Вот юношеские бредни не забываются, вы правы.

— Нет, нет. Минуты безумия, страсти, налетевшей, как вихрь...

Тогда Никита Алексеевич поморщился: «Эх, что она как сразу, даже слишком...» Опустил глаза и чувствовал, что весь насторожен враждебно. Дама соскользнула со столика. Он не видел, что она делала, услышал только несколько легких вздохов и крепко поджал губы. Ясно, что беседа соскочила с плавного хода и все чувства ринулись к ближайшему выходу, наиболее простому и короткому, за которым — пустота, равнодушие, досада, усталость. Зажигая спичку, он взглянул. Людмила Степановна стояла у стенки, заложив руки за спину.

— Вы очень пугливы,— сказала она.

— Да, вы правы.

— Побледнели от шороха юбки. Бедняжка.

— Как вам сказать, если бы вы мне не нравились, было бы все проще...

— Я вам нравлюсь? Странно. А мне показалось, вы считаете меня просто настойчивой бабой и струсили,— она опустила брови на сердитые глаза и постучала каблучком.— Уверяю вас, что вы ошибаетесь.

— Ну, хорошо.— Никита Алексеевич рассмеялся.— Прошу очень, очень извинить меня.

— За что? Вы, кажется, вели себя на редкость скромно.

Тоненькие ноздри ее раздувались, каблучок притопывал, тень от опущенных ресниц дрожала на щеках. Он подумал: «Лошадка с норовом»,— и вдруг стало тепло от нежности. Протянул руку. Она сердито качнула головой.

— Секрет-то в том,— сказал он душевно,— я всегда боялся женщин. Обжегся в молодости... Ваши соблазны женские и влекут и страшат... (Она презрительно фыркнула.) Людмила Степановна, вы помните: «Любви роскошная звезда...» Об этой звезде роскошной я мечтал, помню, на том мерзлом поле, среди луж крови... У меня был приятель, до смерти влюбленный в какую-то девочку... «Меня, говорит, убить нельзя,— попробуй выстрели в звездное небо! Так и в меня...» Конечно, его убили в конце концов, но так размахнуться — до звезд — хорошо... И мне страшно всегда — подменить: вместо роскоши — почти то же самое, но — то, да не то... Заторопиться, загорячиться, оборвать и взглянуть в уже пустые женские глаза... Вы понимаете? Нет?.. Что же вы поделаете с человеком, когда нужна ему любви роскошная звезда.

Он засмеялся, силой взял руку Людмилы Степановны и нежно поцеловал. Она не отняла руки. Вздохнула, села рядом. Он продолжал рассказывать о себе, о товарищах, о смерти на мерзлом поле. Она затихла, успокоилась. Когда же русая голова ее, клонясь, коснулась его плеча, он замолк с улыбкой, осторожно поднялся и, проговорив: «Я вас утомил, спите, спите»,— на цыпочках вышел из купе.

Дверь за ним задвинулась. Людмила Степановна открыла глаза, сжала кулачок и ударила по бархатной подушке.

. . . .

В полночь к ней вошел широкоплечий юноша в колпачке, сел на диван, уперся огромными башмаками в лакированную стену и, закутавшись дымом из трубки, сказал:

— Надо бы порасторопнее.

Людмила Степановна смолчала. Оправляя волосы высоко поднятыми руками, она держала шпильки в зубах, и сонные глаза ее и щеки казались увядшими, а

все движения резкими и злыми. Задев локтем юношу, она прошипела сквозь шпильки:

— Вы мне мешаете. Уходите с трубкой.

Он отодвинулся и, лениво спрятав трубку в карман, сказал:

— Надо все дело кончить до границы. Мне будет трудно переходить. Вы рискуете ехать дальше одна.

— Перейдете. Я одна не поеду. Вам это известно лучше меня.

— Ну-с, а если подстрелят?

Людмила Степановна дернула плечами. После некоторого молчания юноша спросил еще ленивее:

— Что же, вы ему не нравитесь, что ли?

Тогда дама пришла в ярость. Волосы ее рассыпались, лицо передернулось, стало безобразным. С прекрасных губ посыпались бессмысленные фразы, то заносчивые, то жалкие. Юноша, боясь шума, выскользнул из купе.

На площадке, раскурив трубку, он прислонился к железному столбику; ветер и снег резали его квадратное твердое лицо; прищуренные глаза различали в неясной мгле ровные белые поля, темные конусы чахлых елей; на севере над землей полыхал белый свет полярного сияния.

Через несколько минут на площадку вышла Людмила Степановна, закутанная в шубку и платок. Морщась, она сказала:

— Его дверь закрыта изнутри на цепочку. Он осторожен.

Юноша заслонил даму от ветра, и они стали совещаться.

. . . .

Никита Алексеевич спал долго и крепко. Виделись ему, кажется, хорошие сны. Одеваясь, он с улыбкою снял с пуговицы пиджака светлый женский волос. Как хорошо, что вчера все обошлось благополучно. Иначе бы сидел сейчас с растрепанной головой, курил папиросы. Сейчас было сознание хоть и маленькой, но победы. Голова ясная, все мускулы напряжены, сердце бьется ровно и сильно. И впереди несколько дней прелестной близости, бесед, в которых с каждым словом открываются

новые заслоночки в человеке. Утро было морозное и солнечное.

За весь этот день Обозову мало удалось видеть прекрасную даму. Она встретила его утомленная, под вуалью, в шапочке с крылышками, сказала, что очень беспокоится о багаже и страдает мигренью. Действительно, на пограничном вокзале она сидела за клеенчатым столом среди пассажиров, сундуков, свертков и грязных тарелок, такая печальная, так подпирала кулачком щеку, что Никите Алексеевичу стало ее жаль. Он глядел на нее издали и думал: «Едет в Америку, но, по всей вероятности, врет; болят все нервы, и поутру прячет лицо; говорит пошлости, а глаза мрачные; и нельзя ее ни приласкать, ни успокоить, потому что и сама она не захочет ни ласки, ни успокоения; а кончит или в клинике для нервнобольных, или отравится от злости».

Ему очень хотелось подсесть и заговорить, но мешали суета с багажом, паспортами, затем переезд на санках через границу, осмотр. В седьмом часу его вещи перенесли в низенький и теплый ресторанчик близ шведского вокзала. Здесь было чисто, бело, пахло краской, на спиртовке варился кофе, и шипел, как шмель, керосиновый фонарь под потолком. За переплетом квадратных окон простиралась полярная ночь. Подъезжали на санках пассажиры. Обозов надвинул шапку и вышел. У края земли на севере мерцал свет. Тонкий и мертвенный, он охватил звездное небо голубоватым сектором. Выше его горели ясные созвездия. Морозный, едва светящийся снег покрывал ровные поля с чернеющими зубцами елей. Все это казалось мертвым, точно бывшим когда-то, и в этой темной пустыне он ясно чувствовал, как бьется комочек живого сердца. Невдалеке заскрипел снег. Обозов вгляделся: из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек в фуфайке и колпаке, пролетел мимо и скрылся за низким строением. Лица его не было видно, только блеснули зрачки.

«Что бы это значило?» — подумал Никита Алексеевич, припоминая блеснувшие, словно кошачьи, глаза. Потом ему стало казаться, что жизнь у Людмилы Степановны пустынная и лютая, как эта равнина, и ее жалкое

сердчишко в тоске трепещет смерти. И что он, Никита Алексеевич, не такой уж герой, чтобы уберегать ее от соблазнов. Он жестоко обидел ее вчера глубочайшим своим превосходством! Пустился в рассуждения, стишки даже читал... Фу!

Он крякнул и полез в карман за папиросами. Теперь мысли его бродили тревожно вокруг чего-то неисполненного. Позади хлопнула дверь, и от желтоватого света, льющегося сквозь квадратное окно ресторана, отделилась женская фигура. Никита Алексеевич широко зашагал ей навстречу.

— Возьмите левее,— крикнул он,— здесь сугроб,— и, подойдя к Людмиле Степановне, взял ее еще теплую руку без перчатки и поцеловал. Она стояла совсем близко, доверчиво подняв к нему лицо.

— Я вас искала,— проговорила она тихо.

Он глядел, как на ее печальном и тонком лице лежал отблеск северного сияния. Большие глаза окружены тенью, и в зрачках — искорка звезд. Она показалась ему чудесной. Ее маленькая рука неподвижно лежала на рукаве его шубы.

— Милая, бедняжка!

Ее лицо не изменилось. Прелестный рот был серьезен. Он наклонился и поцеловал ее в губы. Она вздохнула. Серый мех ее шубки был приоткрыт, видна шея и ниточка жемчуга. Никита Алексеевич осторожно застегнул ее воротник и повторил: «Бедняжка!» Вдалеке протяжно засвистел поезд.

. . . .

Снова лежа в купе, с темно-синей лампочкой над койкой, Никита Алексеевич повторял шепотом про себя:

— Волшебство! Колдовство!

Давеча на снегу не сказано было больше ни слова. Сейчас Людмила Степановна, должно быть, спит. Все мысли и чувства Никиты Алексеевича в необычайном напряжении сосредоточились на этой спящей за стенкой, чужой ему женщине. Это ли было не колдовство?

Неожиданно он вскочил, распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось. Припомнилось опять: «Любви роскошная звезда, ты закатилась навсегда. О мой Ратмир». Он засмеялся, застегнул жи-

лет и вышел в коридор. Поезд стоял на первой остановке у маленькой, занесенной снегом станции, где вдоль вагонов прохаживался розовый солдат в белом козьем воротнике и таких же наушниках, похожий на куклу. На перрон из-за снежных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке, взглянул на окно и прыгнул в вагон. У него были те же глаза, что у давешнего лыжника, и вообще лицо страшно знакомое. «Странно»,— подумал Никита Алексеевич, потрогал парусиновый пакет на груди и вновь почувствовал нелепую, смешную радость.

Среди ночи он несколько раз просыпался и повторял: «Любви роскошная звезда», ударял кулаком в подушку и со смехом засыпал вновь. Однажды различил злой мужской голос, упрекающий кого-то в медлительности и трусости. «Континент, континент...» — повторял голос и, наконец, расплылся, смешался со стуком колес.

Как сон промелькнул весь следующий день. Людмила Степановна была молчалива и особенно трогательна какой-то почти робкой покорностью. Когда Обозов звал ее к завтраку, она отвечала: «Хорошо» — и сейчас же шла впереди него, придерживая накинутую шубку. Несколько раз он ловил ее пристальный, недоумевающий взгляд, и сейчас же она отводила глаза с испугом. Все это было непонятно, восхитительно и тревожно...

Поезд летел в лесистых горах, покрытых снегом. За окном ресторана проплывали красные домики из ибсеновских пьес, обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты...

Людмила Степановна взглянула на расписание (через несколько минут должна быть остановка), придвинулась к стеклу и проговорила:

— Вон на горе краснеет крыша. Прожить в том домике до весны... Быть может, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты. Никто так и не догадался использовать меня как добрую подругу.

Она покачала головой, глядя в окно, и спустя немного поморщилась. Поезд засвистел, подходя к остановке.

— И вы бы не соскучились в уединении? — спросил Никита Алексеевич.

Тогда с ней произошло странное: она резко повернулась к сидящим в вагоне-ресторане, затем отчаянно, точно не видя, взглянула в глаза Никите Алексеевичу и низко наклонила голову, ища что-то в сумочке на коленях; волосы скрыли ее лицо.

— Выскочить тайно от всех, без багажа, остаться на зиму, безумство конечно...— прошептала она.

Поезд остановился. Беспорядочные молниеносные идеи овладели мозгом Никиты Алексеевича. Но он продолжал сидеть. За окошком швед в каракулевой шапке с бляхой поднял руку. В самый мозг вошел дикий свист паровоза. Поезд тронулся. Людмила Степановна разжала руки и точно опустилась.

Затем они в сотый раз стояли в проходе, сидели в купе, произнося слова, не имеющие никакого смысла, боялись своих движений, прикосновений рук. Никита Алексеевич глядел на нее не отрываясь, и все обольстительнее казался ему каждый ее волосок. Когда встречались их глаза — пропадал шум поезда и останавливалось время.

Мимо их открытого купе проходил толстяк в помятом мышином жакете. Взглянув на красивую даму, он неожиданно споткнулся, выронил сигару и сказал: «Виноват». У Людмилы Степановны задрожал подбородок. Обозов закрыл стеклянную дверь и дернул занавеску. Она продолжала смеяться. Тогда он притянул ее к себе, обнял и стал целовать. Она, молча и вдруг вскочив, сопротивляясь, воскликнула отчаянно:

— Только не это. Ради бога. Не здесь. Не сейчас.— Лицо ее исказилось. Никита Алексеевич взялся за голову и вышел из купе; в коридоре столкнулся с кем-то, живо отскочившим; прошел к себе и лег ничком...

. . . .

Пробудила его уверенность, что она здесь, и он быстро сел на койке. У двери стояла Людмила Степановна, прижимая что-то обеими руками к груди; синяя лампочка светила над ее головой. Всем телом он потянулся было к ней, но тотчас опустил руки — такой ужас мерцал в ее расширенных глазах.

— Что вы делаете? — прошептал он и вдруг понял все, что произошло и сейчас и за эти три дня.— Положите пиджак,— сказал он отрывисто. Когда же она качнулась к двери, быстро схватил ее за худую, бессильную руку у локтя и повторил хрипло: — Вы с ума сошли... Вы с ума сошли...

С бессильным стоном она бросила его одежду:

— Я хотела только посмотреть... Мне не нужно... Я не могла иначе... Он приказал... Он не пожалеет... Выдаст... Убьет... Я ничего не трогала... Возьмите...

Она дрожала, глядя на Обозова, торопливо и неловко натягивающего пиджак.

Затем он встал и замкнул дверь, сделав это почти бессознательно, вынул револьвер, но тотчас сунул его в карман.

— Вам придется сойти на первой же станции.

Она ответила шепотом:

— Спасибо...

— Подождите,— резко перебил он,— я вас не пущу; сами понимаете — не я, так другой попадется. Сидите!

И она сейчас же присела, продолжая глядеть в глаза. Тогда он, совсем уже не зная для чего, спросил:

— Зачем вы врали?

— Я не врала... Я вас люблю...

Это было неожиданно, дико, нагло. Обозов пробормотал:

— Не смейте говорить об этом...

— Клянусь вам...

Она даже привстала, чтобы всмотреться, и, поняв, что он ничему теперь не поверит, все же повторила чужим, неверным голосом, что любит. Ему захотелось прибить ее, но даже горло перехватило от отвращения. Тихим, точно сонным голосом она проговорила:

— Ударьте меня или убейте, не все ли равно. Когда вы меня поцеловали в снегу — я в вас влюбилась. Я вас люблю два дня. Ни один человек не был мне так дорог. Я продажная, воровка, я шпионка. Вы моей жизни не знаете. Но перед вами я ни в чем не виновата. Милый, любимый, страсть моя...

У нее стучали зубы.

— Что вы там бормочете?.. Я запрещаю, слышите! Молчите! — крикнул он, сжимая кулак.

Людмила Степановна опустила голову, и он услышал звуки,— она глотала слюну...

— Вы не одна, с вами спутник? — спросил он.— Она кивнула.— Вы должны были передать ему украденные документы? Он в нашем поезде? Мальчишка в вязаной шапке? Я так и знал.

Он нарочно спрашивал громко, решительным голосом. Дышать было нечем в купе. От синего неясного света Людмила Степановна, сидящая комочком, казалась еще меньше и беззащитнее... Откашлявшись, он сказал:

— Я выйду, а вы тут посидите.

И, очутившись в коридоре, стал вытираться платком. «Ну, конечно, врет! И вздохи, и слезы, и тот дурацкий поцелуй! Просто — ловкая баба. Еще бы минутка... И, боже мой, непоправимо! Уф!.. Бормоча и спотыкаясь, он пошел подальше от купе. «Нет, матушка, с такими, как вы, не церемонятся... Другой бы прямо — бац из револьвера, потом — пожалуйте, вяжите меня, и был бы прав».

С площадки неожиданно открылось Никите Алексеевичу изумительное зрелище: поезд огибал крутой склон горной гряды, лежащей подковой, и глубоко внизу, куда отвесно падали скалы, расстилалось огромное и длинное озеро, залитое лунным светом. Круглая луна невысоко висела над щетинистым хребтом. Изгибы гор чередовались черными и ослепительно-снежными планами.

Вдруг вагон нырнул в тоннель, темнота ударила по глазам. Никита Алексеевич невольно отшатнулся от железной дверки открытой площадки, и в это время крепкие руки сзади охватили его шею и с силой пригнули вниз.

Нападавший был тяжел, мускулист, сильно дышал, наваливаясь, и пальцы его с бешеной торопливостью мяли и сдавливали горло. Обозов на секунду потерял сознание, затем почувствовал, как тот, продолжая одною рукою душить, другой шарит в кармане. Он крепко схватил эту руку выше запястья, свернул, и она хрустнула. Нападавший замычал и рванулся, увлекая за ноги

и Никиту Алексеевича. В темноте они продолжали борьбу, отбрасывая друг друга к входной решетке; грохот колес заглушал вскрики.

Очевидно, у нападавшего была повреждена рука, он слабел. Тоннель так же внезапно окончился, и сильный лунный свет ударил в лицо. Обозов увидал знакомые светлые, без зрачков, глаза, и с яростью, той яростью, когда кричишь и не слышишь крика, когда выкатываются глаза и — только лютая, дикая, пьяная злоба,— так и сейчас он приподнял противника, швырнул его спиною о железную решетку и разжал руки. Юноша ахнул, перевалился и упал на камни; сейчас же тело его, подхваченное землей, перевернулось, подскочило и уже неживым мешком покатилось по обрыву в озеро. Никита Алексеевич, перегнувшись, глядел на него. За поворотом все скрылось.

Поезд остановился на разъезде. Обозов, покачиваясь, вошел в вагон; дверь купе была открыта. Людмила Степановна исчезла. Он тяжело опустился на койку, положил на столик локти, сжал лицо ладонями и застыл.

. . . .

Не спавший всю ночь, с болью в висках, помятый и желтый, Обозов сел в Бергене на пароход, грузивший бумагу и кожи.

Дул сильный ветер с моря. На набережной по снегу и грязи хлюпали прохожие, гремели окованные колеса фур; моряки, в негнущихся сапогах и кожаных шляпах, топтались у скрежетавших лебедок, катали бочонки, и ветер отдувал полы их ватных курток. Несколько дам, с детьми и няньками, дрожали от холода около изящных чемоданов, брошенных в грязь. Юркий агент Кука, неизменно улыбаясь, приставал к сердитому господину в очках, боровшемуся с ветром, с агентом, с одышкой, с грязью, летящей с автомобильных шин. Над северным мокрым городком, расположенным по склонам горной подковы, волоклись серые облака, задевали за шпили кирок, за сосны, бурые скалы, ползли вверх по лесным гребням.

То стоя на палубе, то забредая внутрь парохода, морщась от боли в виске, Никита Алексеевич ждал толь-

ко — поскорее бы отвалить, закачаться на волнах, лечь, забыться и спать до самой Англии.

В это время в кают-компании две поджарые пожилые женщины, в крахмальных фартуках и чепцах, и солидный лакей накрывали белоснежный стол серебром, хрусталем, багровыми омарами, глыбами сыра, кусками холодной свинины и мяса.

Наверху, в курительном салоне с окнами, где были вставлены диапозитивы с норвежских курортов, десятка два мужчин курили сигары и трубки, пили аперитив. Здесь были шведы, датчане, широкоплечие североамериканцы, норвежцы, со щеками, обветренными в горах. Все одеты в крепкую обувь, в свободное сукно, имели отменный аппетит, веселый нрав и неизменное душевное равновесие.

На палубе звенел колокол, скрежетали цепи лебедок, гремели катящиеся бочонки, и слова команды раздавались коротко и резко. В вантах сильно свистел ветер. Это был иной мир, бодрый и свежий, бесконечно далекий от вагонных переживаний. И вспоминать, копаться в своих чувствах казалось здесь просто стыдным. Хотелось быть вымытым, крепким, свежим, как этот ветер.

Пароход вышел из гавани и повернул на юго-запад, навстречу сильной зыби. Началась качка. Тяжелые волны били в правый борт, поминутно заливая иллюминаторы зеленоватой пенистой влагой. Каюта вместе с койкой, занавесями и лакированным умывальником кренилась, трещала и не успевала оправиться, как обрушивался новый вал.

Никита Алексеевич вышел на верхнюю палубу. Он плотно, как и все, пообедал, выпил несколько стаканов вина и, возбужденный густым соленым ветром, терпким бургундским и движением высокого пароходного носа, ходил по мокрой палубе, подняв воротник, приседая во время крена или придерживаясь за фальшборт. Ему было вольно стоять под ледяными брызгами, на ветру. То, что он убил, не мучило его; человек, вчера сброшенный им под откос, был не его враг или соперник, а враг армии, народа, и вина смерти словно разлагалась на всех, да и не было вины, а только чувство удачи, взятого верха. По-иному обстояло с Людмилой Степанов-

ной: здесь уже выручали ветер и величие Северного моря. Он понимал, что виноват ужасно, и страдал от отвращения и жалости. Когда вспоминалась измученная страхом, полоумная, изолгавшаяся женщина, комочком сидящая в углу дивана, ее острые плечи и сдавленные звуки, точно она глотала слюну, Никита Алексеевич тряс головой, отгоняя этот призрак, подолгу глядел на свинцовый бурный океан.

Мутные волны, пронизанные пеною во всю толщину, громоздились, как холмы, одна на одну, пучились, шипели; ветер срывал и стлал их белые гребни; треща, пароходный корпус поднимался наискосок на эту живую гору, мачты и реи клонились, нос повисал над бездной и спустя мгновение уже падал вниз, в водную долину, а громада воды обрушивалась за кормой. И снова громоздились холмы на холмы, загораживая небо. Низкие рваные тучи проносились над водой, словно зарывались в нее, и косыми полосами сыпались из них крупа и ледяной дождь. Холодное серое небо, взлохмаченное море, и ветер, и невольная печаль севера оковывали душу.

«Либо отравится,— думал он,— либо повесят... И сама знает, что кончит скверно. А как метнулась тогда к уединенному домику... «Пожить бы здесь до весны...» На большее и не рассчитывала,— до весны...»

Солнце, невидимое весь день, проглянуло ненадолго из-за клубящихся туч, залило их багровым светом, осветило косые полосы града, гребни волн, ставших еще больше и будто бесшумнее, и закатилось. На мачтах зажгли огни. Море померкло и приблизилось. Дрожа от холода, Обозов пошел в курительную.

Здесь только два норвежца, красные от духоты, играли в домино да сердитый господин в очках пил виски, держа бутылку содовой между колен. Обозов перелистал журналы, покосился на сердитого господина, боровшегося с тошнотой, зевнул и побрел вниз.

В коридоре его остановила горничная, проговорив шепотом:

— Вас желает видеть одна дама. Пожалуйте за мной.

— Какая дама? Что за вздор? — ответил он, берясь

за медную штангу,— и вдруг почувствовалась качка, и головокружение, и духота.— Какая дама, спрашиваю я?..

И сейчас же пошел вслед за улыбающейся горничной, отворившей дверь крайней каюты. Здесь с порога он увидел Людмилу Степановну, лежащую в кружевном растерзанном капоте на каком-то тигровом одеяле. К голове ее прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные.

— Я безумно страдаю,— проговорила она хрипловатым голосом,— сядьте в ногах. Я хотела вас еще раз видеть. В Англии меня арестуют. Но я ничего не прошу у вас. Пожалейте меня.

Никита Алексеевич, сев в ногах, держа шапку, проговорил сквозь зубы:

— Жалею...

— Я вас люблю безумно. Я схожу с ума. Мне так не жить. Вы, вы, вы во всем виноваты. О, как я страдаю.

Она схватилась за сердце, потом за горло и страшно побледнела. Припадок слабости миновал, и опять глаза ее загорелись.

— Только чтобы отвязаться, я решила украсть ему документы. Да, да,— она подняла руку и погрозила,— я его ненавидела. Он зарезал бы вас во сне, если бы не я. Вы все это и без меня знаете... Вы притворяетесь, вы лжете, вы любите меня. Вы не уйдете от меня.

Ею овладела слабость, лицо покрылось потом. Никита Алексеевич сильно почесал за ухом у себя.

— Да поймите же вы, смешная женщина,— сказал он,— я не могу вас любить. Ничего у нас не выйдет.

— Вы не смеете так говорить о любви.

— А мне противно, когда вы употребляете это слово.— Он поднялся.

— Боже, какой мрак! — закричала Людмила Степановна, цепляясь за его рукав.— Почему вы меня разлюбили? Разве я хуже, чем третьего дня? Я — лучше. Я всем пожертвовала, все отдала. Я — ваша, ваша, ваша!

Кружевной капотик сполз с голого ее плеча. Она закатывала глаза. Никита Алексеевич глядел на нее. Она была слишком жалкой. Сердце его холодело.

— Ну прощайте,— сказал он, освобождая рукав.

Тогда Людмила Степановна сунула руку за подушку, вытащила маленький револьвер,— он дрожал и вертелся у нее в пальцах,— приподнялась и стала целиться. Обозов, стоя в дверях, пожал плечами.

— Подымите предохранитель.

Тогда Людмила Степановна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку, стиснула ее зубами. Обозов постоял, наклонился над дамой, осторожно прикрыл углом тигрового одеяла ее ноги и вышел.

. . . .

Когда на следующее утро пароход подвалил к пустынной набережной Нью-Кестля и из ворот железного амбара вышли агенты полиции, чтобы подняться на палубу для проверки документов, Обозов увидел в толпе пассажиров Людмилу Степановну. Кутаясь в шубку, с растерянной улыбкой, она пробиралась к трапу; здесь ее остановили, и чиновник долго со всех сторон оглядывал паспорт. От амбара отделились два равнодушных «бобби» и взошли на пароход. Никита Алексеевич протолкался к чиновнику, показал свою карточку и, положив руку на пышную муфту Людмилы Степановны, сказал:

— Эта дама едет со мной. Я за нее ручаюсь.

В тот же день он сам отвез ее на «Авраама Линкольна» — пароход трансатлантической линии, отходящий ночью в Нью-Йорк,— и, прощаясь, сказал единственную фразу за весь день:

— Я не прошу простить меня. Я тоже никогда вам не прощу. Когда вам понадобятся деньги — сообщите. Будьте счастливы.

Людмила Степановна молча заплакала. Он сошел по сходням вниз и, не оборачиваясь, пропал в толпе.

МАША

Каждый вечер за воротами усадьбы сидели и покуривали — кривой конюх, садовник, два пленных венгра с черными усами и в синих кепи, надвинутых на глаза, и третий, тоже пленный, чех Ян Бочар.

Снизу из овражка тянуло болотцем и сладкими цветами, тыркал дергач.

За овражком на деревне брехала собака и кое-где светилось окошко,— ужинали. Садовник, московский человек, очень вежливый, развязал из платочка гармонью и начал наигрывать, «Пускай могила меня накажет». И, точно зачарованная музыкой, появлялась в воротах Лиза, горничная, в белом фартучке и с гребенками, спрашивала тонким голосом: «Не видали, послушайте, Петра Саввича?» — и оставалась стоять у ворот. «Не видали, не видали Петра Саввича, не видали»,— не спеша отвечал садовник и наигрывал еще жалобнее. Венгры сидели молча, вытянув жилистые ноги, засунув руки в карманы рейтуз. А Ян Бочар, сидя с краю, глядел, как в закате, среди разлившихся зеленых рек, лежат острова с золотыми очертаниями и на острове у ясного залива — высокий замок, оттуда точно улетает кто-то, заломившая руки, и гаснет, тает над зелеными речными полями.

Яна Бочара взяли в плен прошлым летом. Ночью налетел вдруг сильный ветер, зашумели сосны, с Яна сорвало брезентовую палатку. Подняв голову, он увидал

в свету молнии, как по траве волокло ободранную кожу, летели шапки, обрывки бумаги, и ударил такой гром — господи, помилуй! — что выстрелы показались трескотней орехов. После того Ян вместе с другими побежал к лесу, стал животом к дереву и стрелял в темноту, покуда не вышли патроны. И, наконец, полил дождь, крупный, потоками, трещали молнии, озаряя сеть дождя и серые колоннады сосновых стволов. Между ними метались какие-то фигуры. Это были русские. Один, широколицый бородатый человек, без винтовки, словно закивал Яну, подскочил к нему и ударил в лицо кулаком. Ян потерял сознание, и от этого удара полетел в глубь России, и вот сидит здесь, у ворот.

В сумерках на степной дорожке появилось белое платье. У Яна вздрогнули губы под мягкими усами. Платье приблизилось, оказалось молодой женщиной в соломенной шляпе с двумя ленточками,— это была Маша, племянница здешнего хозяина. Она вытянула ногу в белом чулке, легко перешагнула через лужу у ворот, оглянулась на сидящих и ушла к себе на дачку. Дачка стояла среди берез, которые росли — как веники — пучками из одного корня. Ян поднялся и побрел в людскую — спать.

Назавтра Маша встала поздно, вышла на балкон и села в качалку. Всю усадьбу, как маревом, затянула июльская истома. На огороде, опустив руки, сидели три девки-полольщицы, и даже песни им лень было петь. К ним подбежал Петр Саввич, приказчик, сухой, досадный, в подтяжках, в войлочной шляпе, и начал кричать. По тропинке брел, опустив голову, красавец венгр, тянул за уздцы сонного мерина с бочкой, но не дошел до колодца, облокотился о плетень и стал глядеть на девок. Другой венгр, рябой, ходил с хворостиной за телятами,— не мог выгнать их из смородины. Мимо балкона, переваливаясь, пробежали утки и сели,— нечем было дышать. В воздухе стояли мухи. Суетясь, воробьи таскали паклю из стены дачи. Низко плыл коршун, и клушка внимательно смотрела на него, загнув гребешок.

Лежа в плетеной качалке, Маша читала Чехова, скрестила ноги в белых туфельках, запустила в волосы

холодноватый, слоновой кости, ножик... Все тело ее под легким платьем было покрыто испариной... Подошла к балкону баба с решетом, полным грибов, вытирая нос, запросила два с полтиной за решето; передние зубы у нее были выбиты; Маша сказала: «Убирайтесь!»

Потом прошел мимо Ян Бочар с граблями на худом плече, пристально, как и все эти дни, поглядел на Машу и приложил три пальца к козырьку.

— Послушайте, Ян! — позвала Маша. Он сейчас же бросил грабли в траву и быстро подошел, глаза его были почтительны и серьезны.

— Что я хотела сказать... Да, Ян, у вас на родине осталась семья?

— У меня осталась мать и сестра...

— Вы очень скучаете по жене?

— Я не женат.

— Ах, вы не женаты. А вы хорошо говорите по-русски. Ян, голубчик, скосите, пожалуйста, крапиву на той дорожке, а то я хожу купаться и все руки себе острекала. Вот — больше ничего.

Маша подняла глаза и глядела на облако, тающее в июльской синеве. Налетел ветерок, и зашелестели березы листьями от вершины до корня.

В послеобеденный час, когда венгры храпели под яблоней, прикрыв фуражками лица, Ян наточил косу и выкосил всю крапиву,— теперь молодая дама может спокойно ходить купаться и не острекает рук. Крапиву он сволок в лес, а дорожку прополол. Прибежал Петр Саввич и кричал:

— Кто здесь распоряжается без моего позволения!

Потом послал Яна на выгон за мерином. Возвращаясь с лошадью, Ян видел, как по свежей дорожке шла Маша с мохнатым полотенцем. Испугавшись, что она станет благодарить, Ян нагнулся, будто бы рассматривая у лошади копыто, и мерин больно стегнул его хвостом по лицу.

К вечеру народ на усадьбе приободрился. Садовник, поиграв на гармонье, пропал как сквозь землю, а Лизу-горничную долго кричал с господского крыльца Петр Саввич. Кривой конюх полез через осоку на деревню; сказал, что за дегтем. Венгры пошли к барской кухне

резать кур. Степанида — кухарка — так их и просила: «Господа гусары, зарежьте нам курицу, а то мы боимся». Усатые венгры лазали в кусты ловить курицу, потом резали ее при свечке, говорили по-венгерски, а после ужина пили втроем с кухаркой чай в дощатой кухне, полной мух, хватали Степаниду за полные руки.

На реке слышались песни и балалайка: это гуляли призывные — шатались всю ночь в новых картузах, с балалайкой, грозились запустить, кому нужно, красного петуха.

Ян пошел за граблями, брошенными давеча на лугу. Ветерок шелестел в темных очертаниях деревьев, и они затихли. Дача была вся в тени, но вот в окнах появился свет: со свечою шла Маша в белом халатике, сколотом у горла, остановилась, оглянулась — лицо у нее было точно у дитя — грустное,— взяла со стола платочек, вытерла глаза и ушла со свечой и платком.

Ян стоял и глядел на темные окна. Вдруг сзади в руку ткнулся холодный нос, подошла овчарка Милка, замотала хвостом и положила Яну когтистые лапы на грудь, морду сунула под мышку.

— Эх, собака, собака,— сказал Ян.

Утром Ян косил луг перед дачей. В длинных тенях от берез была еще прохлада, и трава в росе. Между желтоватой, поблескивающей зелени деревьев поднимался дымок из бани прозрачной струйкой. Медовым голосом, точно в дудку с водой, свистала иволга.

Когда на даче хлопнула дверь, Ян оглянулся,— на балкон вышла Маша, волосы ее были заколоты высоко одною шпилькой, и сон еще не совсем отошел от нее. Присев на ступени крыльца, она склонила голову, положила щеку на ладонь. Прекраснее женщины Ян не видал в жизни.

Сейчас было особенно тихо, только — зык, зык — шкркала коса по траве. Но вдруг издалека послышался глухой, торжественный шум леса, точно шли воды. Березы стояли неподвижно. Ян выпрямился и, положив руку сверху на лезвее косы, стал слушать. Шум близился, шумел весь лес, и ветер коснулся, наконец, вершин берез, склонил их, они зашумели. Высоко в воздухе закрутились сухие листья. Беспорядочным полетом про-

неслась лохматая ворона. Ветер ниже клонил березы, пронеслось еще несколько птиц. Полнеба закрыла свинцовая туча. И вдруг мигнул зеленоватый свет, заворчал гром, сильнее, раскатистее, и треснуло все небо над головой. Упала первая капля, зазвенело окошко на даче.

— Ян, какая гроза! — крикнула Маша, стоя на лестнице. От этого голоса Ян вздрогнул так сильно, что лезвее косы, скользнув, врезалось в руку. Он зажал рану, но кровь закапала сквозь пальцы.

— Вы с ума сошли, что вы там делаете! — подбегая к нему, проговорила Маша. И в это время хлынул дождь, отвесный и теплый, покрыл усадьбу серой завесой. Запенились дорожки, заплескалась вода в трубах, запахло травой и мокрым деревом.

На террасе Маша забинтовала Яну руку и, затягивая зубами узел, низко нагнулась. Подняв брови, Ян глядел на ее тонкую шею, на легкие, как шелк, пепельные волосы, пахнущие любовью, и им овладело отчаяние. Маша ушла мыть руки. В это время зачавкали копыта, и из потоков воды выехала на пузатом мокром мерине мокрая до нитки баба-почтальон. «Тпру, родной»,— сказала она, тяжело спрыгивая с телеги, и подошла к окну: «Барыня, вам телеграмма». В открытую дверь Ян видел, как Маша положила руку на горло и побелела. Он опустил глаза. Послышался шелест бумаги и затем громкий радостный крик.

Всю ночь у Яна болела рука, и боль и мысли не давали спать. Он думал о том времени, когда вернется на родину, но будущее — чем только он и жил в плену — сейчас точно выцвело. Ночной шелест деревьев наполнял его печальным волнением. Сдерживая слезы, он слушал, как шумят, шумят березы, растущие пучками из одного корня. Так вот она, эта варварская страна, полная непонятного очарования!

На рассвете он вышел на двор,— было туманно, и над лесом коралловыми полосами проступала заря, с листьев падали капли, крыша дачи была совсем мокрая. Ян пошел на огород, где вчера еще Петр Саввич наказывал прополоть фасоли. Земля казалась легкой. Запевали птицы, как в раю.

Часа через два Ян увидел, как в ворота по лужам въехала на паре плетушка, в ней сидел прапорщик, загорелый, худой, с взволнованными светло-голубыми глазами. Венгр, тащивший за ногу поросенка, бодро взял под козырек. Плетушка повернула к даче. Оттуда по лужайке бежала Маша. Она так спешила, что, казалось, вот упадет. Прапорщик соскочил с плетушки и пошел навстречу.

— Митя, Митя! — крикнула Маша сорвавшимся голосом и, не дойдя двух шагов, расплакалась. Офицер взял ее за плечи и поцеловал.

Наконец и этот день кончился. В сумерках Ян сидел у ворот один. Было сыровато, и месяц тонким ясным серпом стоял невысоко над темными полями. Положив руку на голову овчарки, Ян глядел, как по полю, приближаясь, двигались две белые фигуры — офицер и Маша. Она обеими руками держала его под руку. У ворот они остановились, и Маша сказала:

— Митя, вот Ян Бочар. Ян, это мой муж.

Ян поднялся, отдавая честь. Офицер спросил — какого полка, где был взят в плен, чем у себя на родине занимался.

Ян пожал плечами и, глядя под ноги, ответил неохотно:

— Я скрипач, профессор Пражской консерватории.

— Господи! — испуганно прошептала Маша.— Я так и знала.

Прапорщик поскреб под фуражкой.

— Вот так штука!

— Позвольте идти? — спросил Ян и пошел к людской. На дорожке к нему подошла Лиза-горничная и спросила, всхлипывая:

— Послушайте, садовника не видали?..

ХРОМОЙ БАРИН

Роман

С престола ледяных громад,
Родных высот изгнанник вольный,
Спрядает вольный водопад
В теснинный мрак и плен юдольный.
А облако, назад — горе —
Путеводимое любовью,
Как агнец, жертвенною кровью
На снежном рдеет алтаре.

(Вяч. Иванов. «Кормчие звезды»)

ЛУННЫЙ СВЕТ

1

К полуночи луна, взойдя над Колыванью, осветила с левой стороны неровные стекла изб, направо погнала густые тени по притоптанному гусиному щавелю деревенской улицы и задвинулась заблудившимся в ночном небе облаком,— в это время вдоль села мчалась во весь дух с подвязанным колокольчиком тройка, впряженная в откидную коляску.

Еще не пели петухи, а собаки уже перестали брехать, и только в избе с краю села сквозь щели ставней желтел свет.

У избы этой над двухскатной покрышей ворот торчал шест с обручем, обвязанным сеном, издалека указывая путнику постоялый двор. За избой далеко расстилалась ровная, серая от лунного света степь, куда и уносилась взмыленная тройка с четким, гулким в ночной тишине галопом пристяжных и валкой, уходистой рысью коренника. Человек, сидящий в коляске, поднял трость и тронул кучера. Тройка осела и стала у постоялого двора.

Человек снял с ног плед, взялся за скобу козел и, прихрамывая, пошел по траве к низкому крылечку. Там, обернувшись, он сказал негромко:

— Ступай. На рассвете приедешь.

Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь, а человек взялся за кольцо двери, погремел им и, словно

в раздумье, прислонился к ветхому столбику крылечка. Его узкое лицо было бледно, под длинными глазами — тени, вьющаяся небольшая бородка оставляла голым подбородок. Он медленно стянул с правой руки перчатку и постучал во второй раз.

По скрипящим доскам сеней послышались босые шаги, дверь приоткрылась, распахнулась быстро, и на пороге стала молодая баба.

— Алешенька! — сказала она радостно и взволнованно.— А я и не ждала.— Она несмело коснулась его руки и поцеловала в плечо.

— Принимаешь, Саша? — спросил он.— Я к тебе до утра.— И, кивнув головой, вошел в залитые лунным светом сени.

Саша шла впереди, оборачиваясь и открывая улыбкой на свежем красивом лице своем белые зубы.

— Я видела, как ты о полдень проехал по селу. Наверно, подумала, к барину Волкову, там тебя и ночевать оставят, а ты вот как, батюшка, ко мне прибыл...

— У тебя никто не спит из приезжих?

— Нет, никого нет,— ответила Саша, входя в летнюю дощатую горницу.— Мужики с возами остановились, только все спят на воле,— и она села на широкую, покрытую лоскутным одеялом кровать и улыбнулась нежно.

Свет месяца, пробираясь в горницу через небольшое окошко, осветил Сашино лицо с приподнятыми углами губ, высокую шею в вырезе черного сарафана, на груди — шевелившуюся нитку янтарных бус.

— Принеси вина,— сказал вошедший.

Он стоял в тени, держа шляпу и трость. Саша проворно соскочила и ушла. А он лег на кровать, закинул за голову руки. Понемногу лицо его сморщилось, исказилось. Он повернулся на бок и, охватив подушку, сунул в нее голову.

Саша вернулась, неся небольшой столик, покрытый салфеткой; на него она поставила две бутылки — одну с вином, другую со сладкой водкой, поднялась по лесенке в чулан и вынесла оттуда на тарелке орехи, пряники, изюм. Двигалась она быстро и легко, переходя из лун-

ного света в тень. Лежавший приподнялся на локте, сказал:

— Поди сюда, Саша.— Она сейчас же села в ногах его, на кровать.— Скажи, если бы я тебя обидел, страшно бы обидел, простишь?

— Воля твоя, Алексей Петрович,— помолчав, дрогнувшим голосом ответила Саша.— А за твою любовь — благодарю покорно.— Она отвернулась и вздохнула.

Алексей Петрович, князь Краснопольский, долго старался в темноте разобрать лицо Саши. После молчания он сказал тихо, точно лениво:

— Все равно — ты ничего не поймешь. Рада, что я приехал, а не спросила — откуда и почему я у тебя здесь лежу?.. А то, что я у тебя лежу сейчас,— отвратительно... Да, ужасно, Саша, гнусно.

— Что ты, что ты! — проговорила она испуганно.— Если бы я тебя не любя принимала.

— Поди ближе. Вот так,— продолжал князь и обхватил Сашу за полные плечи.— Я и говорю — ты ничего не понимаешь, и не старайся. Послушай, нынче вечером я досыта наговорился с одним человеком. Хорошо было, очень.

— С барышней Волковой?

— Да, с ней. Вот так — сидел близко к ней, и голова у меня кружилась больше, чем от твоего вина. Знаешь, как во сне покажется, что тебя нежно погладят, так и я о ней словно во сне вспоминаю. Сейчас ехал оттуда, и мне казалось, будто совсем все у меня хорошо и благополучно. А когда въехал в Колывань, подумал: стоит только остановить лошадей у твоего крыльца — и все мое благополучие полетит к черту. Теперь понимаешь? Нет? Нельзя мне к тебе заезжать. Хоть бы ты мне отравы какой-нибудь дала.

Сашины руки упали без сил, она опустила голову.

— Жалеешь ты меня, Саша? Да? — спросил князь, привлек ее и поцеловал в лицо, но она не раскрыла глаз, не разомкнула губ, как каменная.— Перестань,— прошептал он.— Я с тобой шучу.

Тогда она заговорила отчаянно:

— Знаю, что шутишь, а все-таки верю. Зачем же мучаешь? Ведь на душе у меня живого места не осталось.

Знаю — из милости любишь. Баба я, какой мой век, какое уж мне счастье!

За стеной в это время громко закричал петух. Лошадь спросонья ударила в доску. Понемногу в утреннем слабом свете яснее стало видно худое, в тенях, красивое лицо князя. Большие глаза его были печальны и серьезны, на губах — застывшая усмешечка.

Саша долго глядела на него, потом принялась целовать князю руки, плечи и лицо, ложась рядом и согревая его сильным своим, взволнованным телом.

2

На другой стороне села, за плетнем, посреди заросшего бурьяном дворика, в новой избе, на полатях лежал доктор Заботкин.

Снизу была видна только его голова, упертая в два кулака подбородком, на котором росли прямые рыжие волосы. Такие же космы во все стороны, начиная с макушки, падали на лоб и глаза, лицо было неумыто и припухло от сна.

Доктор Григорий Иванович Заботкин, прищуря глаз, сплевывал вниз с полатей, стараясь попасть в сучок на полу.

Напротив, в простенке, под жестяной лампой сидел на лавке попик небольшого роста, тихий и умилительный, с проседью в темной косице. Рукава его подрясника были засалены и в складках, как у гармоники. Запустив в них пальцы, отец Василий морщился и молчал, глядя, как доктор плюется.

— В три года во что себя человек обратил,— сказал, наконец, отец Василий.

— А что, не нравится? — лениво ответил Григорий Иванович.— А у меня с детства такая привычка: когда очень скучно, залезу в тесное место и плююсь. Не нравится — не глядите. У меня даже излюбленное местечко было — под амбаром, где мягкая травка росла. Там наша собака постоянно щенилась. Щенята — теплые, молоком от них пахнет; собака их лижет,— они скулят. Хорошо быть собакой, честное слово.

— Дурак ты, Григорий Иванович,— помолчав некоторое время, сказал отец Василий.— Я лучше уйду.

— Вы, отец Василий, не имеете права уходить, пока не доставите мне душевного облегчения, вам за это правительство деньги платит.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать восемь.

— Университет окончил, года молодые, занятие светское, я бы на твоем месте весь день смеялся. А ты, эх! Ну куда ты годен с твоими идеями? Лежишь и плюешься.

— У меня, отец Василий, идеи были замечательные.— Григорий Иванович повернулся на спину, вытянул с полатей руки, хрустнул пальцами и зевнул.— Вот к водке я привыкнуть не могу. Это верно.

— Эх! — сказал отец Василий, аккуратненько достал из подрясника жестяной портсигар, чиркнул спичкой, по привычке зажигать на ветру подержал ее между ладонями — шалашиком, закурил и, покатав в пальцах, бросил под лавку.— Ну, вот поверь — была бы в селе другая, кроме тебя, интеллигенция, нипочем бы не стал ходить к тебе.

Подобные разговоры происходили между доктором и отцом Василием постоянно, начиная с весны, когда сгорела колыванская больница. Григорий Иванович передал тогда все дела фельдшеру и сидел в избе, нанятой земством на время, покуда не построят новую больницу.

Три года назад Григорий Иванович был назначен на первое свое место в Колывань. Сгоряча он принялся разъезжать по деревням, лечить и даже помогать деньгами. Таскаясь в распутицу по разбухшей навозной дороге или насквозь продуваемый ледяным ветром в январскую ночь, когда мертвая луна стоит над мертвыми снегами; заглядывая в тесные избы, где кричат шелудивые ребятишки; угорая в черных банях — под горой — от воплей роженицы и едкого дыма; посылая отчаянные письма в земство с требованием лекарств, врачебной помощи и денег; видя, как все, что он ни делает, словно проваливается в бездонную пропасть деревенского разорения, нищеты и неустройства,— почув-

ствовал, наконец, Григорий Иванович, что он — один с банкой касторки на участке в шестьдесят верст, где мором мрут ребятишки от скарлатины и взрослые от голодного тифа, что все равно ничему этой банкой касторки не поможешь и не в ней дело. В это время сгорела больница, он шваркнул касторку об землю и полез на полати.

Отец Василий, на глазах которого выматывался таким образом третий доктор, очень жалел Заботкина, забегал к нему каждый почти день, стараясь как-нибудь — папиросочкой или анекдотцем — уж не утешить — какое там утешение, когда от человека осталась одна копоть,— а хоть на часок рассмешить: все-таки посмеется.

Окончив зевать, Григорий Иванович повернулся опять на живот, спустил руку и попросил покурить.

— Сегодня табачок у Курбенева купил,— сказал на это отец Василий и, став под полатями на цыпочки, поднял портсигар, нажав у него потайную пружину.

Григорий Иванович хотя и знал, что портсигар этот «фармазонный» — с фокусом, сделал вид, что не помнит, и потянул фальшивое дно, где папирос не было...

— Что, получил папиросы «фабрики Чужаго»,— засмеялся отец Василий, очень довольный шуткой.— Ну, кури, кури. А я, знаешь, сегодня у Волкова был.

— Говорят, зверь, страшная скотина твой Волков.

— Совершенная неправда! Мало что болтают. Отличный человек, а живет... Вот бы ты, Григорий Иванович, посмотрел хорошенько на таких людей — не валялся бы тогда на полатях. А дочка его, Екатерина Александровна, поверь мне, замечательная красавица, благословенное творение божие... Был бы я живописцем — Марию бы Магдалину с нее написал, когда она перед женихом усмехается.

— Как это так — усмехается перед женихом? — внезапно перебил Григорий Иванович.

— Разве ты этого не слыхал? Великие живописцы всегда эту усмешку отмечали в своих творениях. Девица, девственница, сосуд любви и жизни, постоянно, как бы видя около себя ангела, указующего перстом на ее чрево, дивно усмехается. Я это тебе не шутя говорю. Ты не смейся.— Отец Василий поднял брови и курил, пу-

ская дым из носа; потом сказал: — Да, так вот как,— вздохнул, помолчал и ушел.

Но Григорий Иванович совсем не смеялся. Втянув на полати голову, лежал он тихо — закрыл глаза, стиснул челюсти, потому что недаром было ему всего двадцать восемь лет и могли еще его, как гром, поражать нечаянные слова о девичьих усмешках.

3

Сияет в темно-синем небе лунный свет, и кажется — конца не будет ему,— забирается сквозь щели, сквозь закрытые веки, в спальни, в клети, в норы зверей, на дно пруда, откуда выплывают очарованные рыбы и касаются круглым ртом поверхности вод.

Той же ночью луна стояла над утоптанным копытами берегом пруда,— он вышел светлым крылом из густой чащи волковского сада.

У воды, в траве, на полушубке лежал широкоплечий бородатый конюх, опираясь на локоть. Конюшонок неподалеку дремал в седле, сивый конек его спросонок мотал головой и брякал удилами. По низкому лугу, среди высоких репейников и полыни, паслись лошади. Жеребята лежали, касаясь мордой вытянутой ноги.

Вдоль берега, от высоких ветел плотины, медленно шел старичок в кафтане. Дойдя до конюха, он остановился и долго не то смотрел, не то слушал...

— Да, ночь теплая,— сказал старичок.

Конюх спросил лениво:

— Что ты все бродишь, Кондратий Иванович,— беспокоишься?..

— Брожу, не спится.

— Все думаешь?

— Думается, да... Ведь я по этим местам, как в колесе, всю жизнь прокрутился — по дому да вокруг. Землю-то до камня протер... Они и тянут — старые следы. Помирать, что ли, время?

— На покой тебе нужно, Кондратий Иванович, на пенсию.

— А тут еще барин давеча опять расшумелся,— вполголоса говорил Кондратий.— Князь-то опять в

сумерки приезжал. Коляску оставил за прудом и, вор-вором, на лодке подъехал к беседке и с барышней — разговор... Такой влипчивый, прямо сказать—опасный.

— На то он и князь, Кондратий Иванович, это мы с тобой нанялись — продались да помалкиваем, а он что хочет, то и творит. Сказывали, он — гостей провожать — из пушки стреляет.

— Не то плохо, а зачем ездит и не сватается. На барышне нашей лица нет...

Кондратий Иванович замолчал. Конюх, привстав на полушубке, вгляделся и крикнул:

— Мишка, не спи, кони ушли!

Конюшонок очнулся в седле, дернул головой и зачмокал, замахал кнутом; сивая лошадь шагнула и стала, опустив шею. И опять задремала и она и конюшонок: такая теплая и тихая была ночь.

Постояв, помолчав, проговорив многозначительно: «Да-с, так-то вот оно все», Кондратий побрел обратно к саду.

Старая ветла, разбитая грозой, плетень, канава с лазом через нее, дорожки, очертания деревьев — все это было знакомо, и все, словно ключиками, отмыкало старые воспоминания о тяжелом и о легком, хотя если припомнить хорошенько, то легкого в жизни было, пожалуй, и не много.

Кондратий служил камердинером при Вадиме Андреевиче и при Андрее Вадимыче и помнил самого Вадима Вадимыча Волкова, о котором Кондратий даже во сне вспоминать боялся,— такой был он усатый и ужасный, не знал удержу буйствам и для унижения мелкопоместных дворян держал особенного — дерзкого шута Решето и дурку. От них-то и произошел Кондратий, получив с рождения страх ко всем Волковым и преданность.

Вадим Андреевич, отец теперешнего Александра Вадимыча, был большой любитель почитывать и пописывать, издал даже брошюру для крестьян под названием «Добродетельный труженик», но был решительно против отмены крепостного права и однажды, приказав привести в комнаты кривого Федьку-пастуха, усадил его на шелковый диван, предложил сигару и сказал: «Те-

перь вы, Федор Иванович, самостоятельная и свободная личность, приветствую вас, можете идти, куда хотите, но если желаете у меня служить, то распорядитесь, будьте добры, и вас в последний раз высекут на конюшне». Федька подумал и сказал: «Ладно».

При отце Вадима Андреевича — Андрее Вадимыче — Кондратий начал служить казачком. Барин был сырой, скучливый, любил ходить в баню и там часто напивался, сидя вместе с гостями и с девками на свежей соломе нагишом. Так в бане его и сожгли дворовые.

Теперешний Александр Вадимыч Волков был уже не тот — мельче, да и вырос он на дворянском оскудении, когда нельзя уже было развернуться во всю ширь.

И не то что не боялся Кондратий Александра Вадимыча, а недостаточно уважал и был привязан только, но зато всею душой, к дочке его Катюше, первой красавице в уезде.

Перейдя плотину, Кондратий спустился в овраг, перелез через плетень и побрел по сыроватой и темной аллее.

В саду было тихо, только птица иногда ворочалась и опять засыпала в липовых ветвях, да нежно и печально охали древесные лягушки, да плескалась рыба в пруду.

Овальный пруд обступили кольцом старые ветлы, такие густые и поникшие, что сквозь их зелень не мог пробиться лунный свет,— он играл далеко на середине пруда, где в скользящей стеклянной зыби плавала не то утка, не то грачонок еле держался на распластанных крыльях,— нахлебался воды.

Дойдя до конца аллеи, Кондратий заглянул налево, туда, где над прудом стояла кривая от времени беседка, сейчас — вся в тени.

Вглядываясь, он различил женскую фигуру в белой шали, облокотившуюся о перила. Под ногой Кондратия хрустнул сучок, женщина быстро обернулась, проговорила взволнованно:

— Это вы? Вернулись?

— Это я, Катенька,— покашляв, сказал Кондратий и двинулся к мосткам.

Екатерина Александровна легко по доскам сошла на

берег, до подбородка закутанная в шаль, постояла перед Кондратием, сказала:

— Ты тоже не спишь? А у меня столько комаров налетело в комнату — не могла заснуть. Проводи меня.

— Комары комарами,— заметил Кондратий строго,— а на пруду по ночам девице одной неудобно...

Катенька, шедшая впереди, остановилась.

— Что за тон, Кондратий!

— Так, тон. Александр Вадимыч пушил меня, пушил сегодня, и за дело: разве мыслимо по ночам прогуливаться, сами понимаете...

Катенька отвернулась, вздохнула и опять пошла, задевая краем платья сырую траву.

— Ты папе ничего не рассказывай про сегодняшнее, голубчик,— вдруг прошептала она и губами коснулась сморщенной щеки Кондратия...

Он довел барышню до балкона, с которого поднимались шесть кое-где облупленных колонн, наверху синевато-белых от лунного света; подождал, пока зашла в дом Екатерина Александровна, покашлял и повернул за угол к небольшому крылечку, где была его каморка с окном в кусты.

И только что он сел на сундук, покрытый кошмою, как по дому прокатился гневный окрик Александра Вадимыча: — Кондратий!..

Кондратий по привычке перекрестил душку и стариковской рысью побежал по длинному коридору к дверям, за которыми кричал барин.

Берясь за дверную ручку, Кондратий почувствовал запах гари. Когда же вошел, то в густом дыму, где желтел огонек свечи, увидел на постели Александра Вадимыча, в одной рубахе, раскрытой на жирной и волосатой груди, с багровым лицом,— барин наклонился над глиняной корчагой, из которой валил дым от горящего торфа. Подняв на Кондратия осовелые, выпученные глаза, Волков сказал хрипло:

— Комары заели. Дай квасу.— И когда Кондратий повернулся к двери, он крикнул: — Вот я тебя, мерзавец! Зачем на ночь окошки не затворяешь?

— Виноват,— ответил Кондратий и побежал в погреб за квасом.

НЕОЖИДАННОЕ ЧУВСТВО

1

Григорий Иванович Заботкин долго разглядывал на полатях какие-то тряпки, мусор, окурки, пыль, втянул через ноздри тяжелый воздух, потрогал болевшую голову и медленно, точно все тело его было тяжелое, без костей, полез вниз, морщась и нащупывая ногами приступки в печи.

Став на пол, Григорий Иванович поддернул штаны и нагнулся к осколку зеркала под лампой. Оттуда глянуло на него желтое сальное лицо, осовелые мутно-голубые глаза и космы волос во все стороны.

— Ну и харя! — сказал Григорий Иванович, запустил пальцы в волосы, откинул их, сел к столу, подперся и задумался.

Бывают такие остатки мыслей, прибереженные напоследок, густые, как болотная тина, дурные, как гниль; если сможет человек их вызвать из душевных подвалов, перенести их боль и оторвать от себя, тогда все в нем словно очнется, очистится; а станет переворачивать, трогать их, как больной зуб, снова и снова дышать этой гнилью, болеть сладкой болью омерзения к себе,— тогда на такого можно махнуть рукой, потому что всего милее ему — дрянь, плевок в лицо.

Григорию Ивановичу очень не хотелось расставаться с лежалыми своими мыслями,— за три года накопилось их очень много. К тому же очень бывает спасно для еще не окрепшего духом человека видеть только больных, только несчастных, только измученных людей. А за три года перед Григорием Ивановичем прошло великое множество истерзанных родами и битьем баб, почерневших от водки мужиков, шелудивых детей в грязи, в голоде и сифилисе. И Григорию Ивановичу казалось, что вся Россия — такая же истерзанная, почерневшая и шелудивая. А если так и нет выхода — тогда пусть все летит к черту. И если — грязь и воняет, значит так нужно, и нечего притворяться человеком, когда ты — свинья.

«Все это так, и припечатано,— думал он, помахивая перед лицом тощей кистью руки.— Жизни я себя не лишу конечно, но зато — пальцем не поведу, чтобы лучше стало. Для утешения — девицу Волкову мне приплел. Так вот что, отец Василий, потаскал бы я эту вашу девицу Волкову по сыпному тифу — посмотрел бы тогда, как она станет «усмехаться перед женихом»...»

Григорий Иванович ядовито засмеялся, но затем почувствовал, что не совсем прав...

«Ну, скажем, эта барышня ничего не видела и не знает — тепличный фрукт... Это еще что-то вроде оправдания... Но поп возмущает меня... Да где оно, это все ваше хорошее, покажите мне? Родится в грязи, живет в свинстве, умирает с проклятием... И никакого просвета в этой непролазной грязище нет. И если я честный человек, то должен честно и откровенно плюнуть в это паскудство, называемое жизнью. И прежде всего в рожу самому себе...»

Григорий Иванович действительно плюнул на середину избы, затем повернулся к окошку и увидел рассвет.

Этого он почему-то совсем не ожидал и удивился. Затем вылез из-за стола, вышел на двор, вдохнул острый запах травы и влаги и сморщился, словно запах этот разрушал какие-то его идеи. Потом побрел вдоль плетня к луговому поему речки.

Плетень, огибая с двух сторон избу и дворик, сбегал к воде, где росли ивы; одна стояла с отрезанной верхушкой, на месте ее торчало множество веток, другая низко наклонилась над узкой речонкой.

Небо еще было ночное, а на востоке, у края земли, разливался нежный свет; в нем соломенные верхи крыш и деревья выступали ясней и отчетливей.

По селу кричали петухи. Откликнулся петух и у Григория Ивановича на дворе. А ветерок, острый от запаха травы, залетел в иву, и листья ее, качнувшись, как лодочки, нежно зашумели.

— Все это обман, все это не важно,— пробормотал Григорий Иванович и, стоя у дерева, глядел не отрываясь, как на бледно-золотом востоке, от света

которого уходило ночное небо, делаясь серым, зеленым, как вода, и лазоревым, горела невысоко над землей большая звезда. Это было до того необычайно, что Григорий Иванович раскрыл рот.

Звезда же, переливаясь в пламени востока, таяла, и вдруг, загасив ее, поднялось за степью солнце горячим бугром.

Над рекой закурился пар. По сизой траве от ветра побежали синеватые тени. Грачи закричали за рекой в ветвях, и повсюду — в кустах и в траве — запели, зачирикали птицы... Солнце поднялось над степью...

Но Григорий Иванович был упрям: усмехнулся презрительно, прищурил глаза на солнце и побрел обратно в вонючую избенку.

Когда же вошел — желтым светом на стене горела жестяная лампа, все было прокурено, приспособлено для головной боли.

— Фу, черт, хоть топор вешай,— пробормотал Григорий Иванович и сейчас же вернулся на дворик, где, потерев лоб, подумал: «Пойти искупаться. Ах, со мной творится неладное».

2

Студеная вода ознобила Григория Ивановича, и, окунувшись с фырканьем два раза, он быстро оделся, сунул руки в рукава и сел на ползучий ствол ивы, глядя на восток.

Лазоревые изгибы речки скрывались в камышах и, вновь разливаясь по зеленому лугу, уходили за березовый лес вдалеке.

Напротив, на той стороне, белели, как комья снега, гуси на гусином щавеле. В затуманенной паром воде ходили пескарики, тревожа водоросли. На дне, у самых ног, лежала коряга, точно сом с усами, которого боялись мальчишки за то, что он хватает за ноги. В камышах летали серые птички и посвистывали.

Григорий Иванович, мелко стуча зубами, глядел на все это, а солнце уже припекало ему лицо и босые ноги.

«Конечно, это удовольствие,— думал он,— но все это скоро окончится, все это случайное». Он опустил голову, и почему-то именно сегодняшняя ночь представилась ему как дурной сон — лежание в грязи на полатях, затхлый воздух и головная боль.

Вдруг его испугали гуси: гогоча, побежали они с гусаком во главе к берегу. Раскинув белые крылья, попрыгали в воду и — поплыли, надменно поворачивая головы направо и налево...

Григорий Иванович подавил вздох (словно душе его хотелось и нельзя было крикнуть) и стал глядеть, как от речки в небо уходит туман.

Река длинна, много в ней излучин и заводей, и отовсюду курится тонкий этот туман, собираясь за лесом в белые облака.

И как солнцу встать, поднимается из-за березового леса первое облако, за ним по той же дороге летят еще и еще. Словно в гнезде, клубятся они над лесом. Смотришь, и синее небо уже полно облаков. Плывут они все в одну сторону, медленно, как лебеди, зная свой недолговечный срок. По степи от них скользят прохладные тени. Облака меняют обличья, прикидываются зверем, полянкой, фигурой какой-нибудь и так играют, пока ветер не собьет их в тяжелую тучу, пронижет ее молния, и понесет она плод, чтобы пролить его на землю и самой истаять.

— Я просто щенок,— пробормотал Григорий Иванович,— упрямый и лентяй. А все-таки изумительно...

Не сдерживаясь более, обрадовался он до того, что руки стали дрожать и часто замигали глаза, пошел к плетню, влез на него и принялся оглядываться — нет ли удивительного, милого человека, чтобы все это ему тут же и рассказать.

В это время на улице, сбоку плетня, показались мальчишки: они шаркали ногами, поднимали мягкую пыль, побрыкивали и ходили через голову колесом.

За мальчишками шли, взявшись за руки, девки в ситцевых сарафанах, в пестрых полушалках. Они пели какую-то не новую и славную песню — незнакомую.

Позади увязались парни. Один из них, высокий, худой, в драном армяке, дул в тростяные дудки, верх-

няя губа его надувалась пузырем; другой, коренастый, на кривых ногах, в жилете и картузе, растягивал гармонь.

Мальчишки, девки и парни повернули за угловую избу и плетни. Песни и музыка доносились уже издалече. Потом все показались еще раз, переходя вдалеке через мост, и скрылись за бугром, за обгорелыми столбами больницы.

— Изумительно,— пробормотал Григорий Иванович.— Или день сегодня такой особенный?

К плетню подошел степенный мужик, одетый в новое и красное, без шапки, волосы его были помазаны; он взялся за кол у плетня, сунул между прутьев сапог, смазанный дегтем, на который уже насела пыль и соломины, и спросил:

— Гуляете?

— Здравствуй, Никита. Куда это они пошли? — спросил Григорий Иванович.— Разве сегодня праздник?

— Троица нынче. Троица,— ответил мужик спокойно.— Эх, Григорий Иванович, дни путать стали. Девки венки пошли завивать.

Никита потрогал — крепко ли кол стоит в плетне, и вдруг, раскрыв немного рот, обросший русой бородой в завитках, глянул в глаза Григорию Ивановичу.

И от понимающего этого взгляда выцветших под солнцем глаз мужика, от смуглого его лица, от крепкого, с хорошим запахом тела стало понятно Григорию Ивановичу, что Никита подошел к нему посмотреть на досуге — каков такой барин и какая в нем придурь, и сразу, взглянув, как на колесо какое-нибудь, определил доктора Заботкина, который ему, Никите, ни с какой стороны не нужен, потому что хоть и доктор и читает книжки, а себя определить не может и никуда не годится.

Поняв это, Григорий Иванович засмеялся.

— А у меня к тебе просьбишка,— сказал Никита.— Доезжай со мной к бабушке, давно она помирает, да лошади все заняты и самому не оторваться... А я бы сейчас добежал запряг.

— Вот и хорошо! — воскликнул Григорий Иванович.— Сбегай запряги.

Никита действительно живо запряг и подал к крыльцу новую телегу, полную свежего сена.

Григорий Иванович с удовольствием влез на нее, сбил под себя сено, уселся, скрестил поджатые ноги и сказал:

— Знаешь, Никита, сегодня в самом деле праздник. Ты женат, наверное? Жену-то любишь?

Никита поднял брови, чмокнул, и они поехали. Сапоги его от толчков подпрыгивали у колеса. Григорий Иванович, широко улыбаясь, трясся на волглом сене, поглядывал. Хорошо!

Когда телега с грохотом проехала по земскому мосту, с перил попрыгали в осоку лягушки, утки из-под моста бросились их ловить...

— Лягушек-то сколько,— сказал Никита и подмигнул.

За рекой были выгоны и луга, а дальше — березовый лес. Никита оборачивался и заговаривал с доктором о пустяках; и так как Григорий Иванович больше молчал, не задавая глупых вопросов, Никита стал рассказывать ему о своих крестьянских делах, о том, что передумал за зиму, и вдруг неожиданно сказал, прищурив умные серые глаза:

— Крестьянствовать трудно стало нынче: все на деньги перевели. А мужика перевести на деньги, какакая ему цена — грош. Трудиться, выходит, не из-за чего. Вот и подумаешь...

Никита нахмурился, потом сразу, не ожидая ответа, тряхнул головой и, вновь усмехаясь, показал кнутом на опушку леса.

Между берез ходили девки, плетя из веток венки. Мальчишки лазили по деревьям. Парни лежали в траве, слушая гармонь.

— К вечеру все напьются,— сказал Никита,— и такие хи-хи заведут — один грех. Раньше лучше было.

Телега выехала из леса на неширокую межу между волнуемых теплым ветром хлебов, от которых пахло землей и медом. Облака, теперь белые и крутые, как руно, видны были по всему синему небу. Дорога то

уходила в овраг, то вилась по откосу горы, и у края земли лежали новые огромные груды белых облаков. Что в них удивительного? Но Григорий Иванович будто не замечал раньше, а только теперь понял их красоту в первый раз.

— Посмотри, Никита, облака-то какие! — сказал он.

— Облака действительно,— ответил Никита, посмотрев.— Только они пустые — за водой летят, а как вернутся с водицей — потемнеют. Вот намедни туча одна с лягушками пролетела... Много смеялись.

Он соскочил на землю и пошел у оглобель, помахивая вожжами,— телега взбиралась на песчаный откос.

С откоса открылась глазам Григория Ивановича просторная равнина, исчерченная светлыми, темно-зелеными и желтыми квадратами хлебов, и два серебряных крыла пруда, словно венком, окаймленного ветлами. По эту сторону — деревня. За прудом — сад, и в кудрявых деревьях — красная крыша дома.

— Волково,— сказал Никита, показав кнутовищем.

И Григорий Иванович почувствовал, как теплая, словно ветер, любовная радость коснулась сердца. Захотелось ему полететь к широкой красной крыше и хоть на минутку посмотреть, как это так дивно усмехается волковская дочка.

3

Никитова хворая бабушка жила на той стороне Волги. Лошадка еле волокла телегу по прибрежному песку между тальников, кое-где поломанных и замаранных дегтем. Наконец показалась линялая крыша конторки и флаг с буквами П.О.С.

Ветра не было. Волны от пробежавшего парохода медленно взлизывались на песок, покачивая две полные воды лодки, привязанные к мосткам. Григорий Иванович через зыбкие мостки прошел на конторку и сел, глядя на тот берег, зеленый и крутой, где между деревьями на юру стоял белый дом с куполом и колоннами, всегда забитый досками поперек окон,— усадьба Милое, покойной княгини Краснопольской. Григорий

Иванович за частые поездки привык к этому дому и не заметил сейчас, что все окна были отворены и между колонн двигались люди, маленькие издалече, как мухи.

Вдруг перед домом поднялось белое облачко, прокатился по реке выстрел, и недолго спустя от берега отчалила тяжелая завозня.

— Как по туркам хватил,— сказал Никита, стоя у перил.— Князь гостей провожает.

— Да, да,— ответил Григорий Иванович,— я и не заметил, что в доме живут. С каких это пор?..

— С весны, Григорий Иванович, хозяин явился, хромой князек. Что тут было первое-то время! Так и думали, что дом сожгут. Князь, говорят, жениться хочет,— ну вот и приманивает невест пушкой.

Завозня наискось пересекала реку. Гребли в ней четыре матроса, без шапок, в синих рубахах. Над лодкой покачивался красный зонт, отражаясь в воде.

Скоро уже можно было различить бритые затылки матросов и лица девушки и толстого человека, одетого в поддевку и белый картуз с большим козырьком. Он опирался подбородком о трость, вдоль нее висели его длинные рыжие усы.

Девушка, сидевшая с ним рядом, была вся в белом. Соломенная шляпа ее лежала на коленях. Две русые косы обегали вокруг головы, солнце сквозь зонт заливало розовым светом ее овальное гордое и прелестное лицо с маленьким, детским ртом.

— Серьезный барин,— сказал Никита.— По старине живет, за землю держится, а дочку за князя норовит пропить,— и то сказать — Волков...

«Так вот она какая»,— подумал Григорий Иванович и, застыдившись, отошел от перил, толкнулся по палубе, ушел на корму, за мешки с мукой, и ужасно покраснел, бормоча:

— Что за глупость, мальчишество...— и пальцем принялся ковырять дыру в мешке.

Был уже слышен плеск весел. Завозня подходила, несомая течением. Скоро с лодки крикнули «держи», матрос на конторке ответил «есть» и побежал за ударившей о крышу бечевой; лодка тяжело ткнулась, и

спустя мгновение Григорий Иванович услышал голос, как музыку: «Папа, дайте руку», затем вскрик и всплеск воды.

Холод испуга проколол Григория Ивановича, он ухватился за мешок, потом кинулся к перилам...

Екатерина Александровна стояла внизу трапа, приподнимая с боков намокшую юбку, и смеялась. Волков же говорил ей сердито:

— Ты не коза в самом деле... Нельзя же так прыгать...

И оба — отец и дочь — поднялись наверх, сошли не спеша на берег и сели в коляску, запряженную вороной тройкой.

Екатерина Александровна, обернув голову, взглянула на дом на той стороне, словно погладила его серыми своими, немного выпуклыми, как у отца, большими глазами. Волков сказал «трогай», лошади в наборной упряжи рванулись и унесли лакированную коляску за тальники.

А Григорий Иванович еще долго стоял, глядя вслед, потом вернулся на скамейку, увидел под своим сапогом на полу влажный след от женского башмака и осторожно отодвинул ногу.

Скоро пришел пароход. Григорий Иванович съездил вниз к Никитовой бабушке и домой вернулся поздно ночью, разбитый и неразговорчивый.

В избу он не пошел, а спать лег в сенцах на сундуке. Сон его одолел сейчас же, но ненадолго. От крика петуха он проснулся и глядел на четырехугольник раскрытой двери, через которую были видны звезды, потом лег на бок, повернулся ничком и, зажмурясь, принялся вздыхать и глотать слюни.

ЯДОВИТЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

1

Князь Алексей Петрович проснулся в глубоком кресле, перед туалетным столом, у высокого, с отдернутой шторой окна. Другие два окна спальни были

занавешены, и на камине, в темноте, постукивал неспешно маятник.

За окном видны были вершины сада; далее — лиловая река, за ней конторка, тальниковые пусторосли, заливные луга с красноватыми озерами,— в овальном зеркале их отражался печальный с сизыми тучами закат; туда, через поля и холмы, бежала дорога, узкая, чуть видная.

От закатного, гаснущего света краснели края туч, а облака, что висели повыше, казались розовыми в небе цвета морской воды; еще повыше теплилась звезда.

Алексей Петрович глядел на все это, касаясь холодными пальцами худой и бледной щеки.

Во впадине глаз у него лежала густая синева, по округлой скуле вились тонкие волосы каштановой бородки.

Только это — белая кисть руки, щека и выпуклый глаз — отражалось в зеркале туалета; Алексей Петрович, переводя иногда взор на себя в зеркало, не шевелился.

Он знал, что, если пошевелится, вся муть сегодняшней ночи ударит в голову, нарушив спокойное созерцание всех вещей, ясных, словно из хрусталя. Прозрачными и печальными были и мысли.

Так печалит закат над русскими реками. И еще грустнее было глядеть на убегающую на закат дорогу: бог знает, откуда ведет она, бог знает — куда, подходит к реке, словно чтобы напиться, и вновь убегает, а по ней едет... телега ли? — не разберешь, да не все ли равно.

В этой печали неба и земли отдыхал Алексей Петрович. Ему казалось, что все бывшее не коснулось его, а то, что будет, пройдет так же ненужно и призрачно, а он — после шумных попоек с друзьями, после тревожных свиданий с Екатериной Александровной в саду по вечерам, когда хочется коснуться губами хоть платья и не смеешь, после трогательных ласк Саши, после радостей и раскаяния, после, наконец, острых до холода воспоминаний о Петербурге — снова, как усталый актер, сотрет румяна и будет

всегда, всегда глядеть на этот закат, холодящий сердце, на дорогу.

Но едва только Алексей Петрович подумал об этом покое, противоречивые мысли, словно спорщики, принялись беспокоить исподтишка...

«А ведь ты, как покойник, холоден и одинок,— пришла и сказала одна мысль.— Ты только разрушал и себя и других, и до тебя, вот такого маленького в этом кресле, никому дела нет... А ты, быть может, изо всех самый печальный и очень нуждаешься в ласке и участии...»

«Даром никто не дает ни ласк, ни участия»,— ответила вторая мысль.

Третья сказала горько: «Все только брали от тебя, требовали и опустошали».

«Но ведь ты никого не любил,— опять сказала первая,— и теперь отвержен, и сердце уже высохло».

— Нет, я любил и могу, я хочу любить,— прошептал Алексей Петрович, повертываясь в кресле.

Спокойствие было нарушено. А за окном выцветал закат и тускнел, с боков заливаемый ночью.

— Боже мой, какая тоска,— сказал Алексей Петрович и крепко зажал глаза ладонью, до боли. Он знал, что теперь настал черед метаться по креслу, мучиться от стыда и думать о Петербурге...

Нельзя уйти от этих воспоминаний, они всегда настороже, и утолить их можно вином или разгулом.

2

Алексей Петрович служил в ... гвардейском полку, зачислясь туда в год смерти матери и отца, восемь лет тому назад.

Небольшие деньги он старательно проживал, уверенный, что, когда разменена будет последняя сторублевка, кто-нибудь умрет из родственников или вообще что-нибудь случится.

Благодаря этой уверенности трудно было найти в Петербурге человека беззаботнее, чем князь Краснопольский. Он очень нравился женщинам. Связи его

были всегда непродолжительные и легкие и не оставляли в нем следа, кроме разве милых или забавных воспоминаний.

Прошло шесть лет службы в полку. В шумной и угарной перспективе этих лет дни походили один на другой. И вот однажды Алексей Петрович оглянулся — и ему представилось, что он словно шел все это время по однообразному коридору и такой же серый, глухой коридор был впереди. Это новое ощущение жизни его удивило и огорчило.

В это как раз время в скучном и малознакомом доме, в гостиной княгини Мацкой, он встретил женщину, которая неожиданно, как гроза, разбудила его дремавшие страсти.

Алексей Петрович стоял подле истощенного молодого человека из дипломатического корпуса, слушая идиотские, давно всем известные экспромты и остроты, и уже собирался незаметно скрыться, когда лакей распахнул золоченую дверь. Шумя суконным платьем, вошла дама, очень высокая, в накинутом седом и буром мехе, и быстро села на диван.

Ее движения были стремительны и связаны платьем. Под шляпой от низкого лба поднимались волосы цвета меди. Лицо было матовое, с полузакрытыми прекрасными глазами и узким носом, — тревожное, невеселое.

— Кто она? — быстро спросил Алексей Петрович.

— Мордвинская, Анна Семеновна, о ней говорят, — ответил дипломат, проливая кофе из чашки на ковер.

Такова была первая встреча. Алексей Петрович помнил ее до мелочей.

Когда его представили, Анна Семеновна, прищурясь, мимолетом взглянула, словно примерила его.

Алексей Петрович, позванивая шпорой, придерживая шапку у бедра, старался найти слова, — всегда такие обычные и легкие, теперь они казались лишенными смысла.

Анна Семеновна слушала, вытянувшись, слегка приподняв розовое ухо. В черной ее юбке лежал белый платок, благоухая как-то особенно — по-женски, а быть может, от нее самой исходил этот запах. По-

том она улыбнулась, словно окончила прием. Алексей Петрович не догадался сейчас же отойти, и она поднялась, шурша шелком и сильно выпрямив грудь, кивнула знакомым и прошла в другую гостиную, недоступная и необычайная.

После встречи Алексей Петрович несколько дней жил в чудесном мире запахов. Все, что не походило на аромат платочка, брошенного тогда в колени Анны Семеновны,— не существовало, и от слабого хотя бы намека на тот запах глаза Алексея Петровича темнели, сжималось сердце.

Сидя в трех комнатах холостой своей квартирки в первом этаже на Фонтанке, близ Летнего сада, Алексей Петрович рассеянно глядел на стены, простреленные кое-где во время холостых пирушек, присаживался к столу, уставленному женскими фотографиями, лежал на кожаном диване, курил, насвистывал из Шопена — и повсюду видел бледный профиль с нежным ртом и глазами, будто подернутыми горячим теплом. Даже денщик, певший обычно на кухне бабьим голосом солдатские песни, не раздражал более.

Когда повалил за окном крупный снег, Алексей Петрович, прижав лоб к стеклу, долго глядел на зыбкое, опускающееся с неба покрывало и вдруг закричал денщику: «Скорее шинель и шапку!»

Таков снег, когда он застилает небо, и землю, и дома, когда женщины запахивают шубы, согревая плечами и грудью душистый мех, когда из вьюги вылетит рысак с отнесенным по ветру хвостом и пропадает вновь так быстро, что едва приметишь, кто сидит в низких санках,— тогда нужно стать за углом и караулить: кто набежит, блеснув из-под капора темными глазами на разрумяненном лице? Тогда нужно самому сесть на лихача и мчаться, пряча лицо в воротник, и думать: кого встретишь в этот вечер, с кем потеряешь сердце?

Алексей Петрович быстро шел по набережной, распахнув меховую шинель. Снег таял на его щеках, и ласковый звон шпор поддразнивал. На Эрмитажном

мосту он остановился, сообразив, что идет к дому княгини Мацкой.

Он вздернул плечами, усмехнулся и поглядел вокруг.

Густой снег застилал свет фонарей, ложась на все карнизы и статуи, покрывал подушками темный гранит. Прохожих не было; окна дворца были темны; часовой у подъезда стоял недвижно, закутанный в тулуп, с прилипшим к боку ружьем.

Вдруг раздался вскрик, и, взлетев на Эрмитажный мостик, промчался вороной рысак, в пене и снегу, далеко выбрасывая ноги. В узких санках за широкой спиной кучера сидела, наклонясь вперед, Анна Семеновна в темных соболях...

Алексей Петрович, приложив руку к высокой бобровой шапке, так и остался стоять, глядя в пургу, где пропал рысак. Шинель сползла с его плеча, открыв золотые галуны, холод словно ожег до сердца...

Назавтра Алексей Петрович приехал к Мордвинским с визитом. Краснея и путаясь, он объяснял мужу, что имеет честь засвидетельствовать почтение Анне Семеновне, с которой встретился у княгини, и, объясняя, все ждал, не выйдет ли она из комнат. Мордвинский холодно слушал князя, приподняв брови, ни разу не вскинул глаз. Был он велик ростом, сутул и толст, и Алексей Петрович, глядя на землистое его лицо с хищным носом и усами вниз, представлял, как он будет морщиться после ухода гостя, зная, что необходимо отдать ненужный визит.

Но Мордвинский с обратным визитом не приехал, и Алексей Петрович, прождав его неделю, решил при первой же встрече наговорить дерзостей и драться...

А спустя время в одной гостиной, уже уходя, встретился с Анной Семеновной в дверях. Она подняла синие глаза на князя и усмехнулась. Он остался стоять, словно скованный великой силой.

Полтора месяца он разыскивал Мордвинскую по салонам, балам, вечерам и вечерням в светских церквах. Он и не гадал никогда, что может так страдать. Он постоянно привык думать о ней, напряженно, как о болезни. Входя в гостиные, он всегда знал, еще не видя, там ли она. Однажды, когда она неожиданно

подошла сзади, он задрожал и быстро обернулся, расширив глаза...

— Вы, кажется, боитесь меня? — спросила она.

Это были первые ее несветские слова...

Анна Семеновна обращала на него, быть может, больше даже внимания, чем на других, но он считал себя ничтожным и недостойным. И не радовался более чувству: был не волен в нем, оно жгло и подтачивало. Недаром говорят в народе, что любовь — как змея...

Тогда неожиданно (как поступал он всегда) Алексей Петрович признался во всем малознакомому офицеру, принятому у Мордвинских... Офицер, покусывая усы, внимательно выслушал (они сидели в кабаке,— над ухом, заглушая слова, выли румыны), а на следующий день все рассказал Мордвинской.

В этот памятный вечер они встретились на балу. Алексей Петрович, похудевший и серьезный, проходил в толпе мундиров, фраков и женских платьев, поглядывая исподлобья; звякал шпорами, кланялся, сейчас же отворачиваясь, и пристально искал ее, словно боялся не узнать или ошибиться.

Анна Семеновна стояла у колонны. На ней было платье из зеленого шелка, простое и открытое, на подоле брошена большая розовая роза.

— У меня с вами длинный разговор,— сказала Анна Семеновна князю, который, касаясь губами ее руки, не слышал больше ничего, не видел... Ему было тяжело до слез — страшно и радостно.

— Не гневайтесь на меня,— проговорил он тихо.

Они прошли через зал в зимний сад.

Анна Семеновна села на диванчик у неровной, обложенной диким камнем стены... Камни и выступы оплетал плющ, сверху висели нити ползучих растений; с боков диванчика до стеклянного потолка стояли пальмы, и ровный свет, не бросая теней, был повсюду, освещая зелень, журчащий фонтан и всю тонкую, злую Анну Семеновну. Ударяя веером по ладони, она усмехнулась, потом сказала:

— Я слышала, вы отзывались непочтительно обо мне, правда это?

Алексей Петрович вздохнул и опустил голову, Анна Семеновна продолжала:

— Вы не отвечаете, значит это правда?..

Он раскрыл сухие губы и вымолвил невнятное...

— Что, что?! — воскликнула она и вдруг добавила неожиданно тихо: — Видите сами — я не слишком сержусь на вас.

В словах этих показалась ему и насмешка и участие совсем женское — ведь так легко исцелить печаль. У него смешались все мысли, он почувствовал, что сейчас забудется,— тогда погибло бы все.

Но в это время вошел Мордвинский; увидав князя, он сделал тошное лицо и сказал жене:

— Получена депеша, я уезжаю.

— Да, но я не читаю ваших депеш,— ответила Анна Семеновна.— Меня проводит князь.

Мордвинский, поклонившись, вышел. В коротком слове «князь» было обещание... Анна Семеновна взяла его под руку, и они пошли в зал, где были танцы. Там Алексей Петрович, словно внезапно опьянев, рассказывал, смеясь, о том, как проводил эти дни. Анна Семеновна чуть-чуть сдвигала брови, когда он слишком пристально взглядывал ей в глаза.

В три часа они ушли. Садясь в автомобиль, Анна Семеновна приподняла серую шубку, открыв до колена ногу в белом чулке,— сквозь него видна была кожа... Алексей Петрович закрыл глаза. Сидя рядом на мягко подпрыгивающем сиденье, он словно видел всю ее, от белых чулок до алмазной цепочки на шее, и молчал, откинувшись и чувствуя, как глаза ее, холодные и светлые от бегущего навстречу фонаря, следят за каждым его движением...

Наконец стало невыносимо молчать. Он засунул палец за воротник, потянул, и отскочили крючки и пуговицы на опушенном мехом мундире.

— Не нужно волноваться,— сказала Анна Семеновна; рукой в белой перчатке потерла запотевшее стекло и добавила тихо: — Вам я все позволю...

Была ли то прихоть Анны Семеновны, или зашла она слишком далеко в игре, но до пяти утра, сначала в автомобиле, потом у Алексея Петровича на дому,

они ласкали друг друга, отрываясь только, чтобы перевести дух...

Анна Семеновна, как только вошла в спальню, сказала удивленно: «Какая узенькая кровать»,— и это были ее единственные слова.

В спальне, освещенной лампадкой перед золотым образом, на креслах и ковре разбросала она шубу, платье и надушенное белье. Алексей Петрович трогал разбросанные эти вещи, качаясь, как пьяный, потом, торопясь, снова ложился на подушки, серьезно глядя на молодую женщину, еще более чудесную в сумраке, и, чтобы почувствовать, что она не снится ему, прикасался к ней губами и забывался в поцелуе, закрыв глаза.

Эта ночь преломила жизнь Алексея Петровича. Он познал страдание, несравненную радость и потерял волю. С каждым часом следующего дня он все нетерпеливее хотел повторить то, что было... И если бы это было нужно, сейчас бы согласился поступить к ней в кучера, в лакеи... Он бы трогал ее вещи, смотрел на нее, слушал, целовал сиденье кресла, где только что она сидела.

Но Алексей Петрович не был ни кучером, ни лакеем. Анна же Семеновна не назначила места новой встречи.

Прошли — день, бессонная ночь и новый день, полный тревоги... Вечером был в Дворянском собрании благотворительный базар. Алексей Петрович, едва вошел в огромный зал собрания, увидел ее за прилавком. Анна Семеновна продавала грубые кружева и крестьянские вышивки. Направо стоял муж, а налево, опираясь о прилавок, вертел моноклем истощенный молодой человек из дипломатического корпуса.

Словно солнце осветило все вокруг, когда Алексей Петрович, широко улыбаясь, подходил к прилавку... Анна Семеновна взглянула на подходящего, резко сдвинула брови, опустила глаза и отвернулась к истощенному молодому человеку. У Алексея Петровича схватило дыхание... Он поклонился. Она не протянула руки. Муж едва ответил на поклон.

Весь вечер Алексей Петрович ходил, толкаясь в толпе, покупал ненужные вещи, носил их, потом оставлял на подоконниках и каждый раз, описав круг, останавливался невдалеке от киоска с кружевами. Анну Семеновну загораживали офицеры, и слышно было, как она смеялась. За час до разъезда он сошел в раздевальню и разыскал шубу Мордвинской. Когда она показалась на лестнице под руку с мужем, Алексей Петрович подошел и, не глядя, чтобы уже не видеть ее холодных глаз, заговорил о продаже кружев... Она не ответила. Швейцар, бросив ее ботики на пол, помогал надевать шубу. Алексей Петрович нагнулся к серым ботикам и, слегка отодвинув полу ее шубки, стал обувать, зная, что делает ужасное. Голова его наклонялась все ниже к синему прозрачному чулку, он быстро коснулся ее ноги губами, поднялся весь красный и увидел Мордвинского, который, совсем одетый, глядел на ноги жены, криво и странно усмехаясь...

Это было началом той ужасной катастрофы, после которой Алексей Петрович оставил полк и бежал в имение Милое, полученное по наследству от бабушки Краснопольской, умершей этой весной где-то в Германии на водах.

Катастрофой кончилась молодость Алексея Петровича, и казалось ему теперь, что нет избавления от этой жизни — нудной и призрачной. Быть может, спасет иная любовь. Но он чувствовал, как сердце его истерзано и полуживое, а чтобы полюбить еще раз, надо родиться дважды.

3

Алексей Петрович, чтобы не оставаться с ядовитыми воспоминаниями с глазу на глаз, каждый вечер звал гостей,— одних и тех же. Гости приезжали в сумерки: братья Ртищевы на двухколесной таратайке, старый Образцов в плетеном тарантасе, и после всех, в кебе,— Цурюпа, купеческий сын, пообтертый по заграницам. Так было и сегодня.

В положенный час лакей поднялся наверх к Алексею Петровичу и, приотворив дверь спальни, увидел князя, лежащего головой на подоконнике.

Алексей Петрович не сразу расслышал, что зовут обедать и гости уже приехали. Сквозняк из отворенной двери поднял его волосы. Он оглянулся, болезненно щуря глаза на свет задуваемого канделябра в руке лакея, и сказал:

— Пусть гости садятся за стол.

Обедали обычно в большом зале. Вдоль четырех его стен и отступя от них, чтобы образовать проход, стояли два ряда круглых колонн; шесть окон за ними открывались в сад; на противоположной стене окна были фальшивые, со вставленными зеркалами; между колонн были поставлены диванчики без спинок...

Когда лакей доложил об обеде, с этих диванчиков поднялись, крякая и потирая руки, братья Ртищевы, Цурюпа и Образцов, сели за стол и раздвинули локтями на снежно-белой скатерти хрусталь и тарелки. Братья Ртищевы всегда садились рядом,— широкие спины их были обтянуты серыми поддевками с кавказскими пуговицами, у обоих были косматые усы, курносые, отменного здоровья лица и коровьи глаза. Братья стеснялись и ждали, когда Цурюпа, за хозяина развалившийся в конце стола, возьмет первый кусок. Лысый Образцов, сложив губы сладкой трубочкой, шарил по столу стариковскими глазами, мутными от подагры.

— Шампанское подашь вчерашней марки,— вытянув нижнюю губу, приказал Цурюпа... На нем был смокинг, а за жилет заложен красный, как для причастия, носовой платок.

— А вишневочку, душенька, ты забыл подать, я просил тебя сладенькую,— помнишь, вчера? — сказал Образцов.

— Слушаю-с,— хмуро ответил лакей.

Кухонный мальчик внес в это время суп. Ртищевы, Иван и Семен, сказали, потолкавшись:

— Полезнее всего простая водка, от шампанского живот пучит... Передай, Семен, грибков да налей-ка...

Цурюпа ел мало и молчал, мигая веками без ресниц: он приберегал остроты к выходу князя.

Образцов с удовольствием, подвязавшись чистой салфеткой, хлебал суп, и мешочки под глазами у него вздрагивали. Он сказал, кивнув на братьев:

— Они имеют резон: у нас прокурор опасно заболел от шампанского — распучило донельзя. Но, разумеется, нельзя же все на водку напирать да на водку...

Цурюпа визгливо захохотал, катая хлебный шарик. Братья Ртищевы положили вилки, раскрыли рты и тоже засмеялись, точно из бочки.

— Вот мой брат был шутник действительно,— продолжал Образцов,— он, бывало, так скажет, что даже дамы уйдут...

Лакей и мальчик вносили блюда и вина. Над люстрой кружились бабочки, падая с обожженными крыльями на стол. Гости ели молча, иногда только Иван или Семен шумно вздыхали от неумеренности.

Наконец за стеной послышались знакомые припадающие шаги. Цурюпа поспешно вытерся салфеткой и, вынув из жилетки монокль, бросил его в плоскую впадину глаза. Вошел князь. Глаза его были красны, влажные волосы только что зачесаны наверх, а в сдержанных движениях и в покрое платья в сотый раз увидел Цурюпа необъяснимое изящество; стараясь его перенять, он покупал тройные зеркала, выписывал одежду и белье из Лондона, родных своих, захудалых купчишек, всех разогнал, чтобы не портили стиля.

— О, не вставайте, не вставайте, друзья мои,— сказал князь, здороваясь.— Надеюсь, повар исправил вчерашний грешок?

Ртищевы из благовоспитанности шаркнули под столом ногами. Образцов потянулся поцеловаться. Цурюпа же вскочил и не удержался — потрепал князя по плечу.

Алексей Петрович присел к углу стола, взял хлеб и ел. Ему налили вина, которое он жадно выпил. Облокотясь, коснулся пальцами щеки.

— Расскажите, что случилось нового. Да, пожалуйста, дайте мне еще вина.

— Всегда новое — это вы сами,— сказал Цурюпа.— А вот, кстати, я привез анекдот...

Он перегнулся к уху князя и, давясь от смеха, стал рассказывать. Князь усмехнулся, братья Ртищевы, посмеявшись, морщили лбы — старались придумать интересное, но в голову им лезли собаки, потрава на покосе, захромавший коренник — все, мало подходящее для такого высокого общества. Образцов же сказал:

— Если разговор пошел на девочек, то князюшке нашему и книги в руки... Он угостит.

— Да, да, непременно,— зашумели гости,— пусть князь достанет хорошеньких девчонок!

— Лучше махнем в Колывань, господа!

— На взъезжую! К Саше!

— Это не по-дружески — сам пользуется, а нам — шиш,— нет, в Колывань! В Колывань!

Князь нахмурился. Братья Ртищевы топали пудовыми сапогами и, вспотев, кричали: «В Колывань!.. В Колывань!..» Цурюпа лез к уху князя, шепча: «Нехорошо, князь, нехорошо». Образцов тер салфеткой лысину и высовывал кончик языка, совершенно раскисая при мысли о Колывани. Все были пьяны. Князь, облокотясь, опустил голову. Выпитое вино, да еще на вчерашнее похмелье, отуманило голову, как душное облако. «Сегодня нужно быть пьяным больше, чем когда-либо»,— подумал он, поднялся и, подхваченный под локоть Цурюпой, усмехнулся:

— Идем в сад.

Лакей тотчас распахнул балконные двери, откуда влетела вечерняя прохлада, и гости по ступеням сошли в сырой сад.

Песчаная дорожка от балкона вела к оврагу, на краю его стояла полускрытая кустами шиповника балюстрада с одной уцелевшей каменной вазой.

На вазу эту, на несколько балясин меж листвы, на деревья, на дорожку падал свет из шести окон зала. Под обрывом на широкой, едва видимой реке горели красные и желтые сторожевые огни.

— Надо уговорить братьев побороться,— шепнул Цурюпа князю, который, прислонясь щекой к вазе,

глядел на Волгу, думая: «Сегодня, непременно сегодня, неужели не хватит храбрости?»

— Уговорите,— ответил князь.

Винный хмель брал его не сразу. Сначала князь настораживался, как бы предчувствуя что-то, потом становилось печально до слез: все звуки казались отчетливыми, вещи — понятными, и над всем словно тяготел роковой конец. Но вдруг — как в туче открывается молния — пробегала у него острая боль от сердца по спине к ступням холодеющих ног, он встряхивался: тогда начинался разгул.

Пока князь стоял у балюстрады, Цурюпа колкими словами принялся стравливать братьев, и уже Иван Ртищев косо поглядывал на Семена.

Ртищевы славились в уезде силой и не раз на конских ярмарках вызывали какого-нибудь табунщика-татарина на борьбу между телег, в кругу помещиков и мужиков. Когда же не было противников, возились обыкновенно брат с братом.

— А Семен тебя уложит,— шептал Цурюпа, подталкивая Ивана.

— Конечно, брякну,— ответил Семен, а Иван уже наступал на брата, и Семен выпячивал грудь и сопел.

— Эх, трусишки! — воскликнул Цурюпа и, мигнув Образцову, который плечом стал подпихивать Ивана, со всею силою толкнул Семена между плеч.

Братья засопели и столкнулись. Иван схватил Семена под «микитки».

— Не по правилам,— воскликнул Семен, присел и поднял брата, который болтнул ногами. Потом они сцепились и заходили, тяжело дыша. Цурюпа вертелся около них и хлопал в ладоши. Братья допятились до края оврага, Цурюпа «подставил ножку», Семен опрокинул Ивана, и оба, рухнув на землю, покатились под обрыв, ревя и ломая кусты.

Алексей Петрович громко засмеялся. Туча, давившая сердце, отошла. Хохоча, он держался за край холодной вазы.

Прибежали на зов лакей и садовник с веревкой, братьев вытащили из оврага запыхавшихся, веселых и ободранных. Тут же они принялись ловить Цурюпу,

он убегал от них в лакированных башмаках по мокрой траве, пронзительно вскрикивая деревянным голосом...

А у крыльца уже стояла заложенная коляска. В ноги туда положили ящик с вином, спинами друг к другу посадили на ящик братьев. Образцов просунулся в сиденье между князем и Цурюпой. Князь надвинул шляпу. Цурюпа крикнул «пшел», и кони под гору понесли коляску на перевоз в Колывань.

4

Саша стояла посреди чистой, теперь дымной от табака избы, сложив голые до локтя руки под грудью, перетянутой зеленым запоном.

Милое свое лицо с прямыми бархатными бровями она обратила на князя, заливая его любовью темных глаз. Рот ее был полуоткрыт, Саша только что пела, немного теперь запыхалась, на шее у нее двигались янтарные бусы.

— Дальше пой! Дальше, Саша! — кричали гости. Саша улыбнулась, кивнула и низким голосом, словно в груди у нее заплакала душа, негромко запела:

Ах, полынь, полынь,
Трава горькая,
Не я тебя садила,
Не я сеяла,
Сама ты, злодейка,
Уродилась,
По зеленому садочку
Расстелилась...

Князь, положив локти на некрашеный стол и охватив одурманенную голову, внимательно слушал. Образцов прохаживался по горнице мимо Саши и, прищелкивая пальцами, закатывал глаза. Ртищевы сидели на лавке, расстегнув поддевки. Цурюпа же, протянув ноги, сунул руки в карманы штанов и покачивался.

Саша отпела. Князь сейчас же сказал охрипшим голосом:

— Ну, а ту, другую, Саша, помнишь?

— Нехорошая она,— молвила Саша.— Неверная, не люблю ее. Только разве для вас...

Она опустила ресницы и, вздохнув, запела печально:

Не в Москве было, во Питере,
Во Мещанской славной улице,
Тут жена мужа потребила,
Вострым ножиком зарезала.

— Саша! — крикнул князь, повторяя последние слова песни.— А ведь это хорошо — «правый локоть на окошечко, горючи слезы за окошечко», и делу конец, а милый-то под окошечком ждет, смеется над старым мужем. Теперь ты вот эту спой, в ней подробности хороши...

Петельку на шею
Накидывала,
Милому в окошко
Конец подала...

— Ведь подходит как — именно сегодня. Будто для нас писано. Ну, Саша...

Саша испуганно и серьезно запела:

Толстый узлище
Не оборвется,
У старого шея
Не оторвется.
Старый захрипел —
Будто спать захотел,
Ногами забил —
Будто шут задавил.
Руки растопырил —
Зубы оскалил —
Плясать пошел,
Смеяться стал.

— Я бы, Алексей Петрович, плясовую лучше,— перебила она поспешно.

Князь двинул стол и, хлопая в ладоши, стал топать ногой. Саша закружилась, поводя руками, приговаривая частушку.

Кумачовые юбки ее развились колоколом, и под ними ноги в белых чулках и козловых башмаках поплыли, притопывая...

Образцов засеменил около Саши, крича: «Гляди, гляди!» Иван Ртищев, разгораясь, не выдержал, уперся в бок и пошел ходить присядкой, отбрасывая полы. Цурюпа, хихикая, сорвал с волос Саши платок.

— Не трогай ее, хам! — закричал князь.

Маленькая Сашина головка с черными косами вертелась на полной шее, как подсолнух к солнцу,— солнцем был князь. Он сидел бледный и пьяный, с высохшим ртом. Вдруг Саша, закрутясь, упала к нему на лавку и, обнимая, прижалась к плечу.

— Девок! — заревели братья Ртищевы.— Девок давай!

Обиженный Цурюпа ушел в светелку и лег, стараясь не помять смокинга, на Сашину кровать...

— Любопытный сюжет,— пробормотал он, вытирая платком лицо.— Интересно будет порассказать, как наш князюшка веселится... Это хваленый-то жених... «Хам». Я ему припомню хама. Эх, сволочи вы все!

В это время распахнулась дверь, осветилась светелка, вылетел из табачного дыма и грохота Образцов, придержался за притолоку, кинулся к выходу и скрылся во дворе.

— За девками,— продолжал Цурюпа.— Погодите, теперь устрою бал, брошу вам собачий кусок — из Москвы Шишкина хор выпишу. Да не то что Шишкина, самого Шаляпина позову... Гонор гонором, а денежки вы все любите.

Долго Цурюпа размышлял, какие сногсшибательные штуки он придумает для утирания дворянского носа. Наконец со двора в светелку, шушукаясь и упираясь, вошли четыре солдатки,— их подталкивал Образцов, громко шепча:

— Дуры, чего боитесь, не съедим, а сладенького поднесем, погреемся.

Дверь за бабами закрылась. Изнутри поднялся визг и жеребячий хохот Ртищевых. И сейчас же в светелку вышли князь и Саша.

— Куда ты, голубчик? Не езди,— говорила Саша.

Князь, не отвечая, прошел на крыльцо. Здесь на столбике висел глиняный рукомойник. В сумерках сквозь дверь было видно, как князь налил воды в

ладони, плеснул на лицо и вытерся. Саша, охватив другой столбик, продолжала просить:

— Она молоденькая, разлюбит тебя, а мне ничего не надо, я и пьяного тебя спать уложу. Не езди... Завтра поедешь, если надо, миленький.

— Ах, пожалуйста, оставь, что за слова, ты сама пьяна, должно быть! — ответил князь.

Саша смолчала. Князь перевел дух, кликнул лошадей и сошел по лесенке вниз. Саша продолжала стоять у столбика. На дворе затопали кони, кучер их обласкивал. Потом тяжело заскрипели ворота и голос князя приказал:

— Волково...

Коляска укатила. Саша отошла от столбика и села на ступеньках, по которым ступал Алексей Петрович. Неподвижная и темная ее фигура с локтями на коленях и опущенной простоволосой головой и наверху неровные линии надворных крыш и шест колодца хорошо были видны в ночном сумраке сквозь четырехугольник двери.

Все это казалось Цурюпе до того знакомым и тоскливым, что он стал морщиться, думая: «Русский ландшафт,— черт бы все это побрал. Уеду совсем в Париж; в самом деле, денег, что ли, у меня мало?.. А про князя все будет доложено кому надо. Ну и прохвост...»

За дверью все громче топали ногами, гоготали и вскрикивали, много веселясь.

КАТЯ

1

Александр Вадимыч перекрестил, поцеловал дочь и подошел в туфлях к дивану, где приготовлена была ему постель.

Катя притворила дверь кабинета и, закутав плечи в пуховый платок, вышла в зал. На старом паркете лежал переплетами окон лунный свет. Углы зала, где

стояли диваны, были в тени. Глядя на лунные квадраты на полу, Катя поднесла к щеке ладонь и вдруг усмехнулась так нежно, что сердце у нее стукнуло и замерло.

«Еще рано! — подумала она.— Может быть, он ждет? Нет, нет, все-таки нужно обождать».

Она приподняла с боков платье и, сделав страшные глаза, стала кружиться...

Невдалеке в это время хлопнула дверь; Катя сразу присела: вдоль стены шел Кондратий, неся свечу и платье Волкова.

Увидев барышню на полу, он остановился и пожевал губами.

— Я думала — это привидение идет,— сказала Катя срывающимся на смех голосом.— А это ты, Кондратий? Кольцо потеряла, поди поищи.

Кондратий подошел и наклонился со свечой к паркету.

— Какое кольцо? Нет тут кольца никакого.

Катя засмеялась и убежала в коридор... За дверью она высунула язык Кондратию и, нарочно топая, пошла как будто к себе, но, не дойдя до конца коридора, где висел ковер, стала в нишу окна, от смеха закрывая рот.

Когда воркотня и шаги обманутого Кондратия затихли, Катя вернулась на цыпочках в зал и через балконную дверь проскользнула в сад. Там под темными деревьями она остановилась — стало вдруг грустно.

«Я, наверно, ему надоела,— подумала она.— А если не надоела, так надоем. Что он во мне нашел? Разве я его утешу? Он столько страдал, а я с глупостями пристаю. Хороша героиня!»

Она до того огорчилась, что присела на дерновую скамью. «Настоящая героиня ничего не ест, ночью разбрасывает простыни, и на груди у нее дышат розы, не то, что я — сплю носом в подушку...»

Катенька вдруг громко засмеялась. Но огорчение еще не прошло... Вдалеке ухали и квакали прудовые лягушки. За деревьями между черных и длинных теней трава от лунного света казалась седой.

Катя вдруг вытянула шею, прислушалась — и побежала по аллее, придерживая за концы платок.

К щеке прилипла паутинная нить. Катя смахнула паутину, и там, где аллея заворачивала вдоль пруда, раздвинула кусты смородины, чтобы сократить путь, и, цепляясь за них юбками, вышла к мосткам. За беседкой над прудом стоял месяц, светя в воду и на глянцевитые листья кувшинок. В беседке у откидного столика, где обычно пили с гостями чай, сидел, подперев обе щеки, Алексей Петрович. Катеньке показалось, что он широко открыл глаза, смотрит и не видит.

«Что с ним?» — быстро подумала она и позвала:

— Алексей Петрович!

Князь сильно вздрогнул и поднялся. Катя, смеясь и говоря: «Спал, спал, как не стыдно», сбежала к нему по зыбким доскам.

Алексей Петрович припал губами к ее руке и проговорил хрипло, как после долгого молчания:

— Спасибо, спасибо...

— Вы опять думали о себе? — спросила Катя ласково и села на скамью, положив локоть на ветхую балюстраду.— Ведь я просила не думать. Вы очень хороший, я все равно знаю...

— Нет,— тихо, но твердо ответил Алексей Петрович.— Катя, милая, мне очень, очень тяжело. Подумать только, что я делаю?.. Вы любите меня немножко?

Катя усмехнулась, отвернув голову,— не ответила. Князь сел рядом, глядя на ее волосы, лежащие ниже затылка, на овальную щеку, четкую на зеркале воды. Повыше, над головой ее, в тенетах висел паук.

— По дороге сюда я думал: сказать вам или нет? Если не скажу, то никогда, быть может, не посмею больше прийти, а если рассказать — вы сами отвернетесь, будет тяжело, но постараетесь меня забыть... Что же делать?

— Сказать,— ответила Катя очень серьезно.

— А вы не подумаете, что я лгу и прикидываюсь?

— Нет, не подумаю.

— Я сделал много плохих вещей, но одна не дает жить,— с трудом, с хрипотцой сказал князь.— Вот так всегда бывает: думаешь, что забыл уже, а гадость, которую сделал давно, становится определенною гадостью, и жить от нее нельзя...

— Я прошу, рассказывайте,— повторила Катя, и руки ее, держащие концы платка, задрожали.

— Вот-вот, я так и думал, что нужно сказать. Это было очень давно. Нет, недавно, в прошлом году... Я встретил одну даму... Она была очень красива. Но не в этом ее сила... Она душилась необычайными духами, они пахли чем-то невыразимо развратным. Вот, видите, Катя, что я говорю. Так нельзя... Не оглядывайтесь... До этой встречи я не любил ни разу. Женщины казались мне такими же, как мы, той же природы. Это неправда... Женщины, Катя, живут среди нас как очень странные и очень опасные существа. А та была еще развратна и чувственна, как насекомое. Это ужасно, когда развратна женщина. Я жил, как в чаду, после встречи... Я чувствовал точно острый ожог.

Алексей Петрович вдруг остановился и поднес пальцы к вискам.

— Я не то говорю. Я мучаю вас. Поймите — все это прошло. Я ненавижу ее теперь, как только могу... Она околдовала меня, сошлась и бросила, словно раз надетую перчатку. Я потерял рассудок и стал преследовать ее... Словно жаждал — дали воды, коснулся губами, а воду отстранили: тянешься, а рот высох, как в огне... Однажды после бала, в отчаянии, быть может со зла, при всех я ее поцеловал. На следующий день меня встретил муж этой дамы и пригласил к себе за какими-то билетами. Я предчувствовал, зачем зовут,— и поехал. Помню, было морозное утро, и я так тосковал, глядя на снег! Муж ее сидел в кабинете у стола и, когда я вошел, тотчас опустил голову. Он держал в толстых руках серебряную папиросочницу. Я глядел, как его пальцы, короткие и озябшие, старались схватить папироску и не могли — дрожали. Такие папироски я купил потом. А на столе, поверх бумаг, увидел хлыст, окрученный белой проволокой. Я стоял перед ним, а он все глядел на папироски. Вдруг я сказал развязно: «Здравствуйте же, где ваши билетики?» — и протянул руку почти до папиросочницы, но он руки не подал, сердито замотал жирным лицом и сказал: «Ваше поведение я нахожу непорядочным и подлым...» Тогда я закричал, но, кажется, очень негромко: «Как вы смеете!»

А он задрожал, как в лихорадке, лицо его затряслось, схватил хлыст и ударил меня по лицу. Я не двинулся, не почувствовал боли. Я увидел, что на жилете его две пуговицы расстегнуты, как у толстяков. Он же проговорил: «Так вот тебе»,— перегнулся через стол и стегнул еще раз по воротнику, потому что я глядел в глаза. Я поспешно сунул руки в карман и вынул револьвер. У него тоже в руке появился револьвер, и он двинулся ко мне, даже улыбаясь от злости, а я смотрел на свинцовые пульки и темную дыру в его револьвере... Ужасно! Я почувствовал, что не могу умереть, не могу убить, и попятился,— задел ковер у зеркала. В зеркале отражалась раскрытая дверь, а в двери стояла та дама, в шляпке и длинных перчатках. Она сжала рот и внимательно следила за нашими движениями. «Я пришлю секундантов»,— сказал я. Тогда муж топнул ногой и закричал: «Я тебе покажу секундантов, щенок! Вон отсюда!» Я закрыл глаза и поднял револьвер. А он ударил меня по руке, потом по глазам, и я упал на ковер. Потом я поднялся, в прихожей надел пальто. А он, стоя с хлыстом в дверях, провожал меня, словно гостя, но больше не ударил...

Алексей Петрович перевел было дух, но сейчас же продолжал поспешно:

— Мне оставался один выход. Я три дня в ознобе лежал на кровати, лицом к стене. Я не мог спать и припоминал все, как было: как я пришел, а он держал папиросочницу, все мои слова, и как он стегнул... Тут я принимался ворочаться и соображать: что нужно было сделать? Как бы я сейчас, например, расправился... Я садился на кровати и скрипел зубами... Но воля моя опустилась... Я знал, что нужно встать, поехать в магазин купить новый револьвер (старый остался у него в прихожей), поехать туда и убить. Но я не мог этого сделать, опрокидывался на постель и глядел на обои. Наконец я понял, что нужно думать о другом: я стал припоминать корпус и деревню, куда ездил в отпуск. Мне стало жаль себя, я заплакал и уснул. Пробудился я наутро с тою же жалостью к себе. Не хотелось мне верить, что случилось — зло. А я ведь должен совершить еще худшее. Так недавно я еще был свободен.

Но я должен, должен, должен дойти до конца... Ужаснее всего, что я не волен... Я оделся, вышел на улицу, поднял воротник, крикнул извозчика и сказал адрес оружейного магазина, но сейчас же подумал: выбирать для этого револьвер я не могу, лучше ткну его саблей... На углу, близ его подъезда, я слез и стал ходить по тротуару.

Мимо, как сейчас помню, прошел старый генерал с бакенбардами и багровым носом. Было ясно и морозно. «Нужно,— подумал я,— попросить у него прощения, тогда все устроится. Нет, нет. Люди совсем не любят, они злые и мстительные, нужно оскорблять их, убивать, надругиваться...» В это время на меня наскочил какой-то армейский офицер, розовый, совсем мальчик, пребольно толкнул и вежливо извинился. Но я уже потерял голову и крикнул ему: «Дурак!..» Офицер ужасно сконфузился, но, заметив, что я гляжу в упор, нахмурился и сказал, подняв курносое личико: «Милостивый государь...» и еще что-то. Я оскорбил его и тут же вызвал на дуэль. Наутро мы дрались, он прострелил мне ногу. Бедный мальчик, он плакал от огорчения, присев около. Я лежал на снегу, лицом к небу, ясному и синему... Тогда было хорошо. Вот и все...

Катя долго молчала, спрятав руки под платком, потом резко спросила:

— А та женщина?

Алексей Петрович соскользнул со скамьи к ногам Катеньки, коснулся лбом ее колен и проговорил отчаянно:

— Катюша милая, простили вы? Поняли? Ведь это не просто... Я вам не гадок?

— Мне очень больно,— ответила Катя, отстраняя колени.— Прошу вас, оставьте меня и не приезжайте... несколько дней.

Она встала. Подавая пальцы князю, отвернулась и медленно пошла через мостки на берег к темным деревьям. За ними ее платье, белое от лунного света, шло в тень.

Долго глядел на это место Алексей Петрович, спустился по ступенькам к воде и горстью стал поливать себе на лицо и затылок.

2

Катя вошла на цыпочках к себе, зажгла свечи перед зеркалом туалета, сбросила пуховый платок, расстегнула и сняла кофточку и вынула шпильки,— волосы ее упали на плечи и грудь.

Но гребень задрожал в ее руке, ладонью прижала она мягкие волосы к лицу и опустилась в полукруглое кресло.

За этот прошедший час она услышала и пережила так много, что, хотя не поняла еще ни зла, ни правды — ничего, знала уже и чувствовала, что пришло несчастье.

Всего какой-нибудь час назад ей казалось, будто она с князем — одни во всем свете и до них, конечно, никто так нежно не любил. И как тяжелые волосы оттягивают голову, так чувствовала Катя в сердце горячую тяжесть любви. До этой любви она не жила. И князь разве мог жить до нее? Он явился вдруг, и весь он — ничей, только Катин. Так было всего час назад.

— Ах, все это чудовищно,— прошептала она.— Так подробно все рассказать. Ведь грязь пристанет, ее не отмоешь... Он был всегда грустный,— так вот почему? Конечно, он и сейчас любит ту... Конечно, иначе бы не тосковал, не рассказывал бы. А эти побои по лицу, по глазам, по его глазам... Я не смела их даже поцеловать... И он ничего не сделал, не бросился, не убил... Бессильный, ничтожный... Да нет же, нет... если бы ничтожный был — не рассказал бы. А потом лежал один три дня и тосковал. Глаза грустные, замученные. Я бы села на кровать, взяла его голову, прижала бы... Один, один, в тоске, в муке... И никто, конечно, не понимает, не жалеет его... Но я-то не дам в обиду... Поеду к этой женщине, скажу ей, кто она такая... Ох, боже мой, боже мой, что мне делать?

Катя провела языком по пересохшим губам и долго потемневшими, невидящими глазами всматривалась в зеркало. Затем медленным движением откинула на голую спину волосы. Покатые ее плечи и руки и начало выпуклых грудей, полуприкрытых кружевами, были белы, как выточенные... Щеки пылали. Наконец она увидела себя и гордо усмехнулась.

«Вот я такая,— подумала она.— Меня никто не трогал и не посмеет, а он — нечистый и побитый».

Она быстро встала, освободилась от лишнего белья, не спеша заплела косу, но когда доплетала до конца, остановилась, задумалась, тряхнула головой и легла в кровать.

Второе овальное зеркало на стене отразило широкую и низкую, бабкину еще, кровать на бычьих ногах и в подушках разгоревшееся лицо Кати с презрительно сжатым ртом. Губы ее дрогнули, она прошептала:

— Еще и я его обижу,— и, быстро повернувшись ничком, она, как девочка, заплакала, вздрагивая плечами.

После слез Катя забылась. В белой ее высокой комнате горели две свечи, бросая темные и теплые тени от мебели на ковер. Было так тихо, что казалось, могло само пошевелиться платье, брошенное на стуле. В углу принялся сухо и надоедливо трещать сверчок.

Потом из-за кровати появился сухой, как соломинка, высокий и красный человечек. Не касаясь пола, он стал подпрыгивать и дрыгать ногами, держа в руках тонкие проволоки. Они тянулись и опутывали Катю, а человечек все подпрыгивал.

Потом одеяло стало свертываться, легло, словно камень, на грудь, и ноги застыли. И над головой завертелись, сходясь и расходясь, красненькие проволоки, кольца... Человечек прыгнул верхом на грудь и схватил за горло...

Катя крикнула, приподнимаясь на подушках. Протянутыми руками хотела столкнуть тяжесть. Свет от свечей уколол глаза, и она опрокинулась вновь... У нее начался жар.

ДОНОС

1

Этой же ночью Александр Вадимыч спал очень хорошо — комары его не кусали, а проснулся он, по обычаю, рано.

Разлепив глаза, Александр Вадимыч протянул руку за кружкой с квасом, выпил, крякнул, перевернулся на

спину, отчего затрещали пружины в тюфяке, сделал свирепое лицо и, сказав «пли!», сел, сразу попав ногами в войлочные туфли.

После этого он решился посидеть немного и с удовольствием оглянул комнату. Кабинет был старый и облезлый, в нем ничего не переделывалось со смерти отца. На одной стене висели хомут, расписная дуга и сбруя, подаренная еще прадеду Алексеем Орловым. У стены противоположной стояло собачье чучело и черкесское седло на подставке. Над диваном прибиты фотографии любимых лошадей, а на письменном столе лежали — переплетенная за много лет сельскохозяйственная газета, всевозможные семена на бумажках, счета, груды мундштуков и прочий мусор.

Александр Вадимыч, скучая зимой, когда снегом заносило крыши дворов и свистела, выла метель, придумывал разные занятия и выписывал для этого приборы из Берлина и Москвы... Так, однажды понадобилась ему автоматическая машинка для чинки карандашей, и Кондратий повсюду разыскивал сломанные карандаши, относя их барину... Потом увлекался Александр Вадимыч фотографией, и тогда повсюду лежали негативы и стояли мензурки с кислотой. Иную зиму вырезывал он из картона и клеил примерные хутора, мельницы и сельскохозяйственные машины. Однажды, узнав от заезжего землемера, что можно домашним путем провести электричество, выписал все для этого нужное и осветил, после многих трудов, кабинет; обещался даже Катеньке провести электрический свет, но лето отвлекло Александра Вадимыча от этой затеи,— с первым шумом весенних вод начинал чувствовать он, как бежит в жилах кровь, и предавался лишь благородным занятиям: в марте случал коней, в апреле гатил плотины, в мае наезжал лошадей, а там — покос, жнивье, молотьба и осень, когда все пьяным-пьяно и везде свадьбы.

Александру Вадимычу надоело сидеть на постели, и он крикнул бодро:

— Кондратий, штаны!

Кондратий вошел, держа на руке просторные штаны, поклонился и сказал:

— С благополучным вставанием.

— Ну как, все благополучно? — спросил Александр Вадимыч.

— Ничего, слава богу, все благополучно.

— Ничего не случилось, а?

— Будто ничего.

— А мужики приходили?

— Мужики действительно приходили.

— Что же ты им сказал?

— Да сказал, что, мол, барин велел в шею гнать.

— А они что?

— Да ничего. Потеснились. Одно занятие — затылок чесать, ежели скотину выгнать некуда...

— Это еще что за разговоры? Смотри, Кондрашка...

Александр Вадимыч свирепо уставился на Кондратия, который отвернулся, пожевал и молвил:

— Барышня у нас будто захворали.

— Как так?

— Так и захворали, всю ночь метались... Вот что.

Александр Вадимыч сказал «гм» и поморщился. В то, чтобы Волковы могли хворать, он не верил, а если дочь не спала ночью — значит, одолевала ее девичья дурь, от которой лечат свадьбой. Вот предстоящая свадьба и была причиной, почему Александр Вадимыч поморщился. Где найти подходящего жениха? Черт его знает! Намечается, пожалуй, князь, но как его сосватать, когда он в дом ездит, даже по ночам, говорят, видается с Катей в саду, а не сватается — нахал. Все это канительно до тошноты, и было бы хорошо, например, заснуть с вечера, а наутро Кондратий бы сообщил: «Барышня замужем-с...»

— А черт, расстроюсь я с вами,— сказал, наконец, Александр Вадимыч, повернул голову, кашлянул и плюнул. Потом протянул Кондратию ноги, застегнул на костяную пуговицу просторные штаны, встал и, сказав: — Распорядись Кляузницу в дрожки заложить,— подошел к умывальнику.

Умывальник был устроен в виде фаянсового кувшина, который; если коснешься его носика, перевертывался на ушках и обливал сразу и много. Александр Вадимыч, фыркая, помылся, надел парусиновый кафтан,

от долгого ношения принявший форму тела, обозначив даже сосочки на грудях, и прошел в столовую.

В столовой за кофе Александр Вадимыч вспомнил о дочери, опять поморщился и направился к ней по коридору.

Катя лежала в постели, осунувшаяся и бледная. Привстав, она поцеловалась с отцом — рука в руку — и вновь опустилась на подушку, засунула обе ладони под щеку, закрыла глаза.

— Ах ты кислятина,— сказал Александр Вадимыч, сильно потрепав указательным пальцем нос.— За доктором, что ли, послать?

Катенька, не открывая глаз, медленно покачала головой. Тогда Александр Вадимыч из упрямства тотчас приказал Кондратию гнать в Колывань и тащить доктора, живого или мертвого. Потом потрепал дочь по щеке. Вышел на крыльцо и, упершись в бока, залюбовался гнедой кобылой, запряженной в дрожки.

Кобыла Кляузница поводила налитыми глазами, пряла ушками и приседала, дожидаясь, когда ее отпустят, чтобы накуролесить.

— Шельма кобыла,— весело сказал кучер, держа под уздцы Кляузницу,— утрась конюху ужасно всю руку выгрызла.

— За увечье поднести надо, Александр Вадимыч,— проговорил конюх, снимая шапку.

— Ладно, поди на кухню,— ответил Александр Вадимыч, сошел с крыльца и с удовольствием почувствовал легкую дрожь. Сдержав себя, сел верхом на дрожки, разобрал вожжи, глубже надвинул белый картуз и сказал негромко: — Пускай.

Кучер отпустил. Кляузница не двигалась, шумно только вздохнула, раздула розовые ноздри.

Александр Вадимыч сказал: «Но, милая» — и тронул вожжой. Кляузница попятилась и присела. Кучер хотел было опять схватить под уздцы, но Волков крикнул: «Не тронь!» — и хлестнул обеими вожжами.

Кляузница рванулась, села и вдруг «дала свечку». Волков еще ударил, тогда она махнула задом, окатила седока и понесла... Конюх и кучер побежали вслед. Но

Кляузница уже вынесла на дорогу, и Александр Вадимыч, тщетно натягивая вожжи, отплевывался только, пыхтел и выкатывал глаза. Кучер же и конюх, добежав до околицы, ударили себя по коленкам, хохоча и приговаривая: «Это тебе не квас...»

Кляузница скакала без дороги по бьющей по ногам траве, лягалась, взвизгивала и всячески старалась вывернуть дрожки, но Александр Вадимыч сидел крепко, с усами по ветру, и старался направить кобылу вверх на холмы.

Это ему удалось, но Кляузница, выскакав на горку, за которой скрылась усадьба, выдумала новую штуку — ложиться в оглоблях на всем ходу.

Волков этого не ждал и, когда лошадь упала, слез с дрожек, чтобы помочь ей подняться.

Но Кляузница сама проворно вскочила, опрокинула Волкова и унеслась по полю, трепля дрожки.

Необыкновенно досадно стало Александру Вадимычу, побежал он было за Кляузницей, но тут же загорелся и лег отпыхаться у прошлогоднего стога.

В это как раз время неподалеку стога по дороге трусцой проезжала плетушка, запряженная парой кляч в веревочной упряжи...

Сидящие в плетушке отлично видели позор Волкова, остановили клячу, и знакомый голос крикнул из плетушки:

— Александр Вадимыч, не расшиблись?

Волков посмотрел на проезжих и выругался про себя. В плетушке, повесив голову, спал Образцов, по траве к стогу бежал Цурюпа, в смокинге и лакированных башмаках...

«Увидал, мерзавец,— подумал Волков.— Теперь по всему уезду раззвонит, что меня паршивая кобылешка обошла».

Цурюпа, добежав, поддернул брюки и присел над Волковым:

— Боже мой, вы без чувств!

Волков тотчас же сел.

— Что вы все пристали ко мне в самом деле! Ездил, ездил, уморился и лег в холодке.

— А где же лошадь ваша, Александр Вадимыч?

— Ах, черт возьми, ушла... Вот неприятность!.. Стояла все время смирно,— должно быть, мухи заели.

— Лошадь на хутор ускакала, мы с горы видели,— сказал Цурюпа.— Но это пустяки... Я очень рад, что мы встретились, я хотел сам к вам пожаловать и сообщить очень важное.

Он наклонился к уху Волкова и прошептал:

— Должен предупредить: князь Краснопольский, Алексей Петрович, прямо-таки подлец, только между нами.

— Что такое? — спросил Александр Вадимыч, вставая на четвереньки, потом во весь рост. Одернул кафтан и добавил: — Опять сплетня?

— Ах, я сам не люблю сплетен,— поспешно продолжал Цурюпа.— Это моветон, но из дружбы к вам, притом же замешана честь. Вчера, видите ли, приехали к нему обедать — я, Ртищевы и Образцов,— полюбуйтесь, в каком он виде сейчас. Излишество, конечно, у князька за столом — прямо непристойное. После обеда всевозможные самодурства, и предлагает вдруг ехать в Колывань к девкам. Что за манера! Но — компания. Поехали. В Колывани все напились до полной потери культуры и — привели четырех голых девок.

— Голых? — переспросил Александр Вадимыч.

— В том-то и дело... Противно ужасно, но — думаю — пусть покажет себя князек до конца. И представьте, что он выкинул? — Цурюпа на миг приостановился, глядя в глаза Волкову, который внезапно крякнул и подмигнул.— Представьте — около полуночи князек выбежал на двор и кричит: «Эй, лошадей, еду в Волково...»

— Ко мне? — спросил Александр Вадимыч.

— Ну да же, поймите... Это ужасно щекотливо: конечно, он ехал к вам — Александру Вадимычу, но,— как бы изящно выразиться,— люди могут подумать, что и не к вам.

Цурюпа для ясности растопырил пальцы перед носом Александра Вадимыча, который вспыхнул, вдруг поняв намек.

— Ах ты болван!

Но Цурюпа слишком уже разошелся и поэтому, не обидясь, продолжал еще поспешнее:

— И действительно, к вам ускакал, и все, знаете ли, принялись такие штуки неприличные отмачивать, что я закричал, приказал прямо: довольно гнусных сцен, едем отсюда! Но мы своих лошадей в Милом оставили,— вот и плетемся на земских. Я давно говорил: этого князька нельзя принимать. Да и князек ли он, не еврей ли?

Но Александр Вадимыч уже не слушал Цурюпу. Подогретый к тому же афронтом с Кляузницей, освирепел он до того, что не мог слова вымолвить, и только сопел, раскрыв рот, отчего Цурюпа даже струсил. Наконец Волков выговорил:

— Да где же этот мерзавец? Подать сюда лошадей! Запорю!

— И отлично, и отлично, доедем на клячах до меня, а оттуда вместе нагрянем в Милое и Ртищевых захватим: пусть даст отчет,— шептал Цурюпа и, завиваясь ужом, бежал за Волковым к тарантасу, радуясь, что отомстил за вчерашнего «хама».

2

Только после обеда выехали разгоряченные вином всадники из усадьбы Цурюпы в Милое.

Впереди на косматом сибиряке, храпевшем под тяжестью всадника, скакал, раскинув локти, Волков. За ним неслись братья Ртищевы, поднимали нагайки и вскрикивали:

— Вот жизнь! Вот люблю! Гони, шпарь!

Ртищевым было все равно — на князя ли идти, стоять ли за князя,— только бы ветер свистел в ушах. К тому же, после уговоров Цурюпы, они решили покарать безнравственность.

Позади всех, помятый, угасший, но в отличной визитке, рейтузах и гетрах, подпрыгивал на английской кобыле Цурюпа.

Швыряя с копыт песком, мчались всадники по тальниковым зарослям, и чем меньше оставалось пути до Милого, тем круче поднималась рыжая бровь у Волко-

ва, другая же уезжала на глаза, и он выпячивал нижнюю челюсть, с каждой минутой придумывая новые зверства, которые учинит над князем.

Алексей Петрович, тревожно проспав остаток ночи, взял прохладную ванну, приказал растереть себя полотенцем и сидел у рояля в малом круглом зале с окнами вверху из цветных стекол.

Рояль был в виде лиры, палисандровый, разбитый и гулкий. Князь проиграл одной рукой, что помнил наизусть,— «Chanson triste». Солнце сквозь цветные стекла заливало паркетный пол, на котором мозаичные гирлянды и венки словно ожили. На синем штофе стен висели скучные гравюры и напротив рояля — портрет напудренного старичка, в красном камзоле, со свитком в руке. Все это — и потертые диваны, и круглые столы, и ноты в изъеденных корешках — было нежилое, ветхое и пахло тлением. Алексей Петрович, повернувшись на винтовом стуле, подумал:

«Они глядели через эти пестрые окошки, слушали вальсы, лежали на диванах, любили и целовались втихомолку — вот и все, потом умерли. И насиженный дом, и утварь, и воспоминания достались мне. Зачем? Чтобы так же, как все, умереть, истлеть!»

Он снова перебрал клавиши, вздохнул, и усталость, разогнанная ненадолго ванной, снова овладела им, согнула плечи. Он проговорил медленно:

— Милая Катя!

И закрытым глазам представилась вчерашняя Катенька, ее повернутый к лунному свету профиль и под пуховым платком покатое плечо. Прижаться бы щекой к плечу и навсегда успокоиться!

«Разве нельзя жить с Катей, как брат, влюбленный и нежный? Но захочет ли она *такой* любви? Она уже чувствует, что — женщина. Конечно, она *должна* испытать это. Пусть узнает счастье, острое, мгновенное. Забыться с нею на день, на неделю! И уехать навсегда. И на всю жизнь останется сладкая грусть, что держал в руках драгоценное сокровище, счастье и сам отказался от него. Это посильнее всего. Это перетянет. Сладко грустить до слез! Как хорошо! Вчера ведь так и кинулась, протянула руки. Зацеловать бы надо, ах, боже

мой, боже мой... Рассказал ей пошлейшую гадость... Зачем? Она не поймет... Не примет!»

Алексей Петрович провел по лицу ладонью, встал от рояля, лег навзничь на теплый от солнца диван и закинул руки за голову. В дверь в это время осторожно постучался лакей — доложил, что кушать подано.

— Убирайся,— сказал Алексей Петрович. Но мысли уже прервались, и, досадуя, он сошел вниз, в зал с колоннами, где был накрыт стол, мельком взглянул на лакея,— он стоял почтительно, с каменным лицом,— поморщился (еще бродил у него тошнотворный вчерашний хмель) и, заложив руки за спину, остановился у холодноватой колонны. За стеклянной дверью, за верхушками елей садилось огромное солнце. Печально и ласково ворковал дикий голубь. Листья осины принимались шелестеть, вертясь на стеблях, и затихали. Все было здесь древнее, вековечное, все повторялось снова.

«Я изменюсь,— думал Алексей Петрович.— Я полюблю ее на всю жизнь. Я люблю ее до слез. Милая, милая, милая... Катя смирит меня. Господи, дай мне быть верным, как все. Отними у меня беспокойство, сделай так, чтобы не было яду в моих мыслях. Пусть я всю жизнь просижу около нее. Забуду, забуду все... Только любить... Ведь есть же у меня святое... Вот Саша — пусть та отвечает. Сашу можно замучить, бросить! Она кроткая: сгорит и еще благословит, помирая».

Алексей Петрович сунул руку за жилет, точно удерживая сердце,— до того билось оно все сильнее, пока не защемило. Он крепче прислонился к колонне. На лбу проступил пот. Алексей Петрович подумал: «Надо бы брому», шагнул к широкому креслу и опустился в него, обессиленный припадком чересчур замотанного сердца.

А в это время в доме захлопали двери, затопали тяжелые шаги. Лакей с испуганным лицом подбежал к дверям, дубовые половинки их распахнулись под ударом, и в зал ввалился Волков, за ним Ртищевы и Цурюпа.

— Подай мне его! — закричал Волков, поводя выпученными глазами. Обеденный стол он пихнул ногой так, что зазвенела посуда.— Он еще обедать смеет! — Потом шагнул к балконной двери и, увидев между ко-

лонн князя, который, ухватясь за кресло, глядел снизу вверх, проговорил, выпячивая челюсть: — За такие, брат, дела в морду бьют!

— Да, бьют! — заорали Ртищевы за его спиной.

Цурюпа же, стоя у двери, повторял:

— Господа, господа, все-таки осторожнее.

Князь побледнел до зелени в лице. Он подумал, что Катя все рассказала отцу. Теперь его — битого — оскорбят еще. Так же свистнет блестящий хлыст. Опять нужно будет лечь, кусать подушку...

Но Волков под взглядом князя вдруг притих, словно стало ему совестно. Такой взгляд бывает у перешибленной собаки, когда подойдет к ней работник с веревкой, чтобы покончить поскорей — удушить,— защита ее в одних глазах. У иного и рука не поднимется накинуть петлю,— отвернется он, отойдет, кинет издали камешком.

Так и Волков попятился и проговорил, опуская бровь:

— Ну что уставился? Так, брат, не годится поступать, хоть ты и хорошего рода. Я все-таки — отец. Ты пьянствуй, а девицу марать не смей!

При этих словах он опять запыхтел и закричал, наступая:

— Нет, побью, сил моих нет!

— Что я сделал? — тихо спросил Алексей Петрович, начиная вздрагивать незаметно от острой радости,— самое страшное миновало.

— Как что? С Сашкой безобразничаешь, а потом при всех хвастаешь, что ночью ко мне едешь. Я тебя и в глаза не видел. На весь уезд меня опозорил.

Алексей Петрович быстро поднялся, не сдержав легкого смеха. Схватил удивленного Волкова за руки.

— Идем, дорогой, милый,— увлек Александра Вадимыча на балкон и, прильнув к его плечу, пахнущему потом и лошадью, проговорил: — Я люблю Катю, выдайте ее за меня. Милый, я изменился... Теперь все перегорело...

Он задохнулся. У Волкова голова затряслась от волнения:

— Так, так, понимаю. Ты вот как обернул? Это со-

всем дело другое. Я и сам хотел... Только ты, братец, как-то сразу. Экий ты, братец, торопыга.— Он потер лоб и окончил упавшим голосом: — Я по саду пройдусь, в кусты. Дело важное, не бойся,— только отойду немножко...

И Волков, тяжело ступая, спустился с балкона. Князь вернулся в зал и, крепко сжав сухие кулаки, сказал сквозь зубы Ртищевым и Цурюпе:

— Пошли вон!

Волков не любил медлить и раздумывать, если чего-нибудь ему очень захотелось. Поэтому, посидев в кустах, он вернулся и объявил князю, что этим же вечером нужно все покончить. Сам пошел на конюшню, где долго ругал конюхов, хозяйским глазом уличив их в нерадении. Походя заглянул во все стойла и в каретники и, уже идя обратно, крикнул князю, стоящему на крыльце:

— Ну, батенька, ты меня прости, а ты фефела — так запустить конюшни! Вот, слава богу, уж я у тебя порядки наведу.

Князь же только смеялся мелким смешком. Смешок этот нельзя было удержать, он боялся его и чувствовал, что не ждать добра. Поэтому, когда Волков, выбрав лучшую коляску, велел запрячь в нее вороную тройку и повез Алексея Петровича к себе, князь держался во время дороги так странно, что, когда они проехали полпути, Волков сказал, покосясь на спутника:

— Что ты такой неудобный стал? Перестань, говорю, вертеться,— Катерина тебе не откажет.

Но в Волкове, куда они приехали на закате, ждала их неожиданная неприятность, которая, ускорив событие, отозвалась тяжело не только на князе и Катеньке, но и на докторе Григории Ивановиче Заботкине, влетевшем во всю эту историю, как муха в огонь.

3

Утром этого дня за Григорием Ивановичем были посланы лошади.

Он в это время, растворив окна и дверь, мыл кипятком и мылом засиженную свою избенку, повсюду

раскладывая чистую бумагу, найденные под печкой глубоко неинтересные книги, и останавливался иногда с тряпкой в руке поглядеть на солнышко, от которого быстро высыхали и лавки и пол.

«Люблю чистоту,— думал Григорий Иванович.— От нее на душе чисто и празднично. А день-то какой! — и гуси на воде и облака на небе. Восторг».

Забежал на минуточку поп Василий и до того удивился, что спросил озабоченно: «Да ты здоров, Гриша?» Но с первых же его слов все понял и, боясь потревожить еще непрочную (как ему казалось) радость, поулыбался и потихоньку ушел,— Григорий Иванович и не заметил его ухода.

Казалось ему, что именно сегодня придет счастье. А если не придет? Нет, иначе быть не может.

Часу во втором к докторскому домику подкатила пара вороных, запряженная в шарабан. Григорий Иванович, удивясь, высунулся с тряпкой в руке в окошко. Кучер соскочил с шарабана, подошел к окну и спросил:

— Что, садовая голова, дома доктор или уехал? — Заглянул в избенку и прищурил на Григория Ивановича глаза.— Расстарайся, покличь доктора,— у нас барышня нездорова. К Волкову, скажи, Александру Вадимычу.

Григорий Иванович сейчас же отошел от окна и уронил тряпку. Сердце заколотилось, захватило дух. И ему представилась Екатерина Александровна, когда, приподняв намокшее платье, всходила она по трапу; показалась сияющая ее голова, круглые плечи и высокий стан, охваченный шелком...

«А вдруг тиф? — подумал Григорий Иванович.— Нет, не может быть».

— Эй, ты! — воскликнул он, подбегая опять к окну.— Я и есть доктор, сейчас еду! — И уже держа в руке фуражку, взглянул в осколок прибитого между окошек зеркала, в котором криво-накосо отразилось красное, с пухом на щеках, широкое лицо, покрытое до плеч мочальными волосами.

— Что за пакость,— отступив, пробормотал Григорий Иванович.— Действительно — «садовая голова». Нельзя, я не могу ехать.

Он быстро присел на лавку, в недоумении наморщив лоб, но тотчас вскочил, взял ножницы и, тыча в голову их концами, стал отрезать сбоку прядь волос, которая, не рассыпаясь, упала на пол. Григорий Иванович наступил на нее и, косоротясь, резал еще и еще, окорнал себя с обеих сторон и сейчас же догадался, что сзади ножницами не достанет и вообще сходит с ума.

Бубенчики позванивали за окном, кучер нарочно громко зевал, поминая господа, а Григорий Иванович, весь в поту, подогнув колено, скривив шею, стриг затылок. Потом швырнул ножницы, схватился за умывальник, а воды не было. Неизвестно, где лежал сюртук. Кучер постучал кнутовищем о ставню, спросив: «Скоро ли?» Заботкин только ногой топнул — с ним не случалось подобного,— разве во сне, когда нужно бежать, а ступни приросли, хочешь замахнуться — и руки не поднять.

— Гони, гони вовсю,— проговорил, наконец, Григорий Иванович, впрыгивая в шарабан. И всю дорогу прихорашивался, тер платком лицо и отчаивался. Когда же с горы стали видны пруды, сад и красная крыша Волкова, хотел выскочить. Все, что происходило в нем в этот день, было словно во сне.

На крыльце доктора встретил Кондратий и повел в дом. Григорий Иванович, вдохнув тонкий, чуть-чуть тленный запах старых этих комнат, сейчас же пошел на цыпочках, понимая, что здесь говорить нужно деликатно и делать изящные жесты,— ведь по каждой половице прошла хоть раз Екатерина Александровна, у каждого окна стояла; это был не обыкновенный дом, а чудо.

— Вот сюда,— сказал Кондратий, останавливаясь перед ковром, покрывавшим дверь.— А вы вот что,— он пожевал,— не больно на порошки-то налегайте.

И он отогнул ковер. Григорий Иванович, пробормотав: «Погоди, погоди, ну ладно», одернул сюртучок, повел ладонью по лицу, вошел, и разбежавшиеся его глаза сразу остановились на подушках, где лежала повернутая к двери затылком девичья голова. Две косы, разделенные полоской пробора, огибали шею, поверх голубого одеяла покоилась голая до локтя рука.

Григорий Иванович зажмурился, потом поглядел на красные туфельки на ковре и краешком подумал, что он — доктор Заботкин — шарлатан и куча грязных тряпок. И сейчас же забыл об этом.

А Катя в это время вздохнула и медленно повернулась на спину. Григорий Иванович в страхе попятился. Она быстро мигнула, совсем пробуждаясь, и глаза ее с удивлением остановились на вошедшем. Потом она опустила веки и покраснела.

— Ах, это вы, доктор,— сказала она.— Здравствуйте... Простите, что вас потревожили... Но папа...

Григорий Иванович с усилием подошел. Катя протянула ему теплую еще от сна руку, и он, страшно покраснев, пожал ее, спохватился, вынул часы, но стрелок не увидел, принялся ногой отбивать секунды, сейчас же понял, что запутался, погиб, выпустил ее руку и уронил часы. Тогда Катя медленно закрыла ладонями лицо, плечи ее колыхнулись, и она, не в силах сдержаться, засмеялась.

Лютый мороз пополз по доктору Заботкину, затошнило даже, а губы раздвигались в дурацкую улыбку,— будь она проклята! Наконец Катя, с глазами, полными веселых слез, проговорила:

— Не сердитесь, милый доктор, ради бога объясните, что с вашими волосами? — И уже совсем громко и звонко засмеялась.

Тогда он, в отчаянии взглянув в зеркало, увидел перекошенное свое лицо, на голове пролысины, зубцы и сзади косицу...

— Это в темноте,— пробормотал он.— Я всегда имею привычку...— и, не выдержав, попятился и выскочил за дверь.

4

У дверей, в коридоре, ждал его Кондратий.

— Послушай!— с отчаянием крикнул ему Григорий Иванович.— Сбегай, вели лошадь подать, сию минуту уеду, я не могу.

— Не извольте фордыбачить,— ответил Кондратий строго.— Вы не у себя-с, пожалуйте за мной.

Григорий Иванович сказал «ага» и послушно последовал за Кондратием по коридору, под лестницу, в каморку, где и сел на сундук, покрытый кошмой.

— Меня не «послушай» зовут, а Кондратий Иванович,— после молчания сказал Кондратий, прислонясь к дверному косяку,— вот что. А вы что же — барышню уморить приехали, нарочно так остриглись, для невежества?

— Кондратий Иванович,— закричал доктор,— замолчите! Я сам все понимаю!

— Слушаться надо, а не мудрить, господин доктор. Лошадей все равно не дам. А насчет Катеньки, так я ее на руках вынянчил и мудрить над ней, пока жив, никому не позволю. Лечить ее надо не порошками, а добрым словом,— хворь у нее самая девичья. Поняли? Ну, ладно. А что вы ее дурацким видом своим насмешили — это хорошо. Я и сам — был молодой — шутки откалывал. Как расколыхается барин на доброе здоровье, так в дому сразу хозяйственно, и слуги дело свое исполняют. Дайте-ка я вам подчищу. Второй раз явиться в уродливом виде — невежество, а уж не смех.

Кондратий взял ножницы, и Григорий Иванович, угодливо подставив ему голову, спросил:

— Вы, Кондратий Иванович, разве барышню на руках выходили?

— Да-с, на руках,— ответил Кондратий и вдруг опустил ножницы, прислушиваясь: кто-то ходил по коридору, пробуя ручки дверей, потом не то закашлял, не то заплакал глухо.

— Будто чужой кто? — сказал Кондратий.— А?

Шум затих, и старый слуга озабоченно вышел.

Вскоре послышался его голос: «Нельзя, уходи, уходи», и другой — женский, торопливый и умоляющий. Но Григорию Ивановичу было все равно, он помылся, пригладился, почистил сюртучок и, подумав: «Конечно, я некрасив, даже мешковат, но есть известная молодость в лице и особенно выражение глаз», сдержанно вздохнул и вышел в сад, ожидая, когда позовут к больной.

В саду он завернул за угол дома, пошел по траве и

сел на чугунную скамью, против окон, положив руку на зеленую лейку, стоящую около.

У ног, над травой, крутились пчелы, пахла медовая кашка, и запах этот, и теплое, совсем низкое солнце, залившее сквозь листву штукатуренную стену дома, и Катенькино окно с опущенной занавеской (по занавеске он и догадался, чье это окно) волновали, как музыка, и Григорий Иванович, жмурясь и подставляя затылок солнцу, чувствовал, что все в нем слабеет (да и зачем ему это свое?): он будто растворяется в свете, в тишине и все — небо, облака на небе, вода, деревья и луг — все в нем. Или он сам это расплывается, отдавая глаза — небу, душу — облакам, кровь — воде, руки — деревьям, тело — земле? Это было похоже на смерть, на сон или на любовь. «Пусть всю жизнь буду по дорогам таскаться, по вонючим избам,— подумал он.— Пусть я урод, не способен умереть за нее,— ну нет, умереть-то я очень способен, пусть только прикажет,— что мне нужно? Ничего! Только жить, чувствовать, вздыхать...»

На балконе в это время, между облупившихся кое-где до кирпича колонн, появился князь Алексей Петрович. Одет он был в черный сюртук и полосатые панталоны, правой рукой опирался на трость, а левой, держа перчатки, отмахивался испуганно от пчелы. Пчела улетела. Князь поспешно сошел в сад и, не замечая Заботкина, принялся в необыкновенном волнении, поднимаясь на цыпочки, смотреть на занавешенное окно.

— Не может этого быть! — проговорил он громко.— Это слишком! — взмахнул тростью, повернулся и, увидев Григория Ивановича, выпятил нижнюю губу.

«Это еще кто?» — подумал доктор, разглядывая князя.

Алексей Петрович спросил:

— Вы — доктор? Кто сейчас у Екатерины Александровны? Вы знаете что-нибудь?

— А что случилось? Разве несчастье?

— Нет, впрочем, я не знаю,— Алексей Петрович сел на скамью, коснулся руки Григория Ивановича и особенно мягко заговорил:— Перед священниками и докторами не скрываются, правда? Скажите, быть может есть

средство, чтобы сердце не так болело, чтобы им владеть?

— Бром,— ответил Григорий Иванович.

— Ну да, но я не про то. Когда узнику открывают тюрьму и он с порога видит солнце, тогда ему говорят: «А мы старый грешок вспомнили,— иди назад...» — «Но я исправился...» — «Нет, иди обратно». Доктор, муж Екатерины Александровны должен быть чист и свободен, правда?

— Вы женитесь? — спросил Григорий Иванович, всматриваясь в слишком красные губы князя и беспокойные его глаза. «Руки белые какие»,— подумал Григорий Иванович, и ему стало вдруг необычайно грустно.

Князь продолжал:

— Я не враг себе, пусть и она поверит, что не враг. Я мучаюсь больше ее. Не для радости же в Колывань ездил... Впрочем, вы ничего не знаете... Я приехал просить ее руки, вот... Доктор, если выйдет несчастье — вы поможете? Сейчас за окном, я знаю, на меня донос.

Он перевел дух, вздохнул, поглядел доктору в глаза и улыбнулся жалобно.

— Екатерина Александровна достойна, чтобы из-за нее страдали,— проговорил, сам не зная для чего, Григорий Иванович и, смутившись, стал нагибать лейку, пока из дудочки не потекла вода.

В это время за Катиным окном раздался вопль и его покрыл густой бас, кто-то кинулся к раскрытому окошку, занавеска заколебалась, и простоволосая женская голова опрокинулась изнутри на подоконник. Закинулись голые руки, стараясь отодрать от горла чьи-то короткие волосатые пальцы.

Затем раздался другой отчаянный женский крик, от которого Заботкин похолодел, а князь, страшно бледный, вскочил со скамейки, мучительно повторяя: «Не трогай ее, не трогай, не трогай...» Волосатые пальцы отпустили шею, голова женщины соскользнула с подоконника. Григорий Иванович хотел встать, но на колени его, хватаясь слабеющими пальцами, склонился князь,— голова его моталась.

— Это ничего, прислонитесь, вот так, сейчас пройдет,— бормотал Григорий Иванович, смачивая лоб князю водой из лейки.

ВОДОВОРОТ

1

Григорий Иванович, поддерживая князя, повел его через балкон в зал, ища — где бы спокойнее уложить. Из зала правая боковая дверь вела в библиотеку. «Туда»,— сказал князь, пожимая его руку. В это время изнутри дома послышались голоса, вскрики и топот ног.

И едва князь и Заботкин подошли к библиотеке, как дверь в зал из коридора распахнулась, и в сумерках было видно, как конюх и кучер вели под руки Сашу. На ней черный сарафан был порван, волосы растрепаны, заплаканное лицо с поднятыми бровями запрокинуто. Саша тихо и отчаянно повторяла:

— Что вы, что вы...

Сзади подталкивал ее Кондратий. Волков, стуча кулаком по двери, чертыхался и кричал:

— В амбар ее, мерзавку, на замок!..— Князя и Заботкина он не заметил,— они успели войти в библиотеку.

Сашу вывели. Волков звякнул балконной дверью и, ругаясь, ушел во внутренние покои.

Долго на диване у книжного шкафа молчали Григорий Иванович и князь,— у доктора тряслись коленки, князь не двигался, прислонясь затылком к спинке, закрыл глаза.

— За что они ее? — наконец спросил доктор шепотом и посмотрел на князя,— лицо его, едва различимое в тени сумерек, было очень красиво. «Вот как нужно любить,— подумал Григорий Иванович,— изящно и сильно, падать в обморок, переживать необыкновенные страсти! Он настоящий муж для Екатерины Александровны. О таких в книгах пишут». Доктор осторожно потянулся и погладил князя по руке. Алексей Петрович сейчас же спросил негромко:

— Доктор, вы побудете со мной?

Григорий Иванович кивнул головой.

— Ее увели? — продолжал князь.— Это ужасно. Не так-то просто жить, милый доктор. Бедная Саша!

Алексей Петрович выпрямился вдруг, словно сбросил маску.

— Я знаю, что благородно и что честно,— сказал он,— а поступаю неблагородно и нечестно, и чем скmarkdown сквернее, тем слаще мне... Так можно с ума сойти. А что может быть слаще, как смотреть на себя сбоку: сидит в коляске негодяй, в серой шляпе, в перчатках, и никто его не бьет по глазам, и все уважают, и сам он себе нравится. Дух захватит, когда это до глубины поймешь. И разве не странно — я возвращаюсь ночью отсюда, от Екатерины Александровны, гляжу на небо с луной (непременно с луной) и смеюсь от счастья потихоньку, чтобы не слышал кучер. И сейчас же, глядя сбоку, вижу, что было бы чудовищно сделать мерзость. А ладонь моя еще пахнет ее духами. И когда совсем захватит дух, я останавливаю лошадей у Сашиного двора, захожу, беру за руку, прислоняю голову к ее груди и притворяюсь: «Саша милая, утешь»,— и она утешает, как может. А после утешения я рассказываю, зачем приехал,— это еще высшая гадость: я опять лгу, а у ней сердце разрывается... И так накручивается все сильнее, а сейчас вот — лопнула пружина.

— Послушайте, ведь это чудовищно, вы с ума сошли,— отодвигаясь, прошептал Григорий Иванович. Он еще не совсем понял, только почувствовал, что князь, путаясь и скользя, как уж, обнажается. Григорию Ивановичу стало гадко и смутно. Он принялся теребить бородку, встал и заходил.

— Да, это чудовищно,— продолжал князь, и голос его был ровный, словно он разглядывал себя.— Но еще хуже, что и вам сейчас налгал... Очень трудно сказать настоящую правду; крутишься около нее, вот-вот скажешь,— смотришь, а уж правды не видно — удрал от нее по кривой дороге. Все равно как дневник писать... Вы пробовали? Не пытайтесь. Я перед вами сейчас себя выставил носителем чуть ли не великих тягот... Какой я там носитель! Просто человек с изъяном, с трещинкой,— вот как эта нога: пуля вот сюда вошла; кажется, совсем ногу могу выпрямить, а она пошаливает,— видели, опять в сторону увильнула... Только — чтобы свою главную сущность не обнаружить... Да, да. Нужно

слишком, что ли, напиться, чтобы обнаружить... Милый доктор, поверьте, я больше жизни люблю Екатерину Александровну, и если она откажет теперь, погибну. Это правда... Я узнал это вчера: вчера было последнее испытание, его я не выдержал; хотя никакого испытания, конечно, не было, простое распутство,— ночью прискакал сюда, омылся красотой Екатерины Александровны и лунным светом и тем, что раскрылся... Милая девушка, я на нее взвалил все, что мне плечи натерло. А наутро послал к Саше кучера и велел сказать: «О барине, мол, не смей думать, барин женится...» Саша не выдержала — пешком сюда прибежала... Я знал, что она донесет.

— Все вы лжете! — вдруг воскликнул Григорий Иванович, хотел что-то прибавить, но заикнулся и снова принялся бегать, трепля бородку.

— Доктор,— едва слышно, просительно молвил князь,— подите к Екатерине Александровне, расскажите ей все,— она поймет...

— Не пойду и не расскажу! — крикнул Григорий Иванович.— Объясняйте сами. Я ничего не понимаю, а сумасшедших терпеть не могу.

Он прислонился горячим лбом к стеклу. Было совсем темно, и за деревьями, еще не светя, поднималась неправильным кругом оранжевая луна, словно зеркало, отразившее в себе печальный мир.

«Ну что я ей скажу? — подумал Григорий Иванович.— Что он эгоист и сумасшедший? Но ведь он любит ее? Не знаю... не понимаю такой любви. Я бы глядел на нее и плакал, даже не говорил бы ничего... Разве облаку скажешь, как любишь».

Пока Григорий Иванович раздумывал, луна просветлела, тронула холодным светом росу на листах, погнала длинные тени. Над травой закурился легкий туман. Сквозь окно библиотеки лунный свет залил половину лица Алексея Петровича, руку его, зацепленную большим пальцем за жилет. На книжном шкафу заблестели медные уголки.

Вдруг Григорий Иванович вздрогнул: мимо окна быстро прошла Екатерина Александровна (он узнал ее по линии плеч, по гордой голове), оглянулась у поворота

в аллею и побежала,— за спиной ее надулась белая шаль...

— Она в сад побежала,— обернувшись, быстро сказал доктор.

Князь вскочил и распахнул окно.

— Идем скорее, скорее! — прошептал он.

Они поспешно вышли.

2

Между канавой — границей сада — и длинными ометами стоял на выгоне деревянный амбар. Под навесом его были сложены сани и бороны. На двери, с квадратной дырой внизу — для пролаза кошек, висел большой замок.

За дверью были слышны вздохи и негромкий плач.

От канавы по выгону до амбара пробежала Екатерина Александровна, остановилась у двери, запыхавшись, опустилась на колени и, приблизив лицо к кошачьему лазу, окликнула:

— Саша, ты здесь? Ты плачешь?

Плач за дверью прекратился, и Катенька почувствовала на лице своем Сашино дыхание, даже различила ее глаза.

— Я бы тебя выпустила,— сказала она,— да ключа у меня нет.

Саша вздохнула. Катенька просунула руку и погладила Сашу по щеке.

— Я попрошу Кондратия, он потихоньку возьмет у папы ключ, мы тебя выпустим, только попозже. Саша, ты вот что мне скажи... Подставь-ка щеку, я тебя поцелую... Милая, голубушка, тебе очень больно? Я непременно устрою, чтобы он к тебе вернулся. Ты не поняла: он подшутил над тобой. Про меня он глупости рассказывал... Не ко мне же одной он ездил сюда — и к папе. А ты сама провинилась... Зачем при папе все рассказала... Сашенька, ничего плохого не случилось. Обдумай спокойно. Он завтра же к тебе вернется.

Но Саша в это время ужасно заплакала, стукаясь головой о дверь. Катя схватилась за виски, стала оглядываться — чем бы ее успокоить?

— Нет меня несчастнее, милая барышня,— проговорила Саша.— Я за него на пытку пойду,— и все знаю, что и врал он мне, и смеялся, и что лестно ему, когда я перед ним мучаюсь. А вот не вытерпела... Как конюхто прискакал и говорит: «Барин тебе приказал, чтобы думать о нем забыла. Да, говорит, еще велел, чтобы со мной спать легла». А сам смеется. Обмерла я... Глупый разум помутился, выбежала за ворота, думаю: к нему бежать или в речку? А тут сестра моя двоюродная на телеге мимо ехала, да как засмеется. «Что, говорит, князя, что ли, не дождешься? Поди на дорогу, покличь...» И откуда у меня столько злобы взялось, сама не знаю.... Все равно, думаю, пусть и вы, барышня, узнаете, каков он, наш-то...

Екатерина Александровна резким движением поднялась с колен и села на порог, лицом к пруду. На берегу стояли темные лошади. И уже высоко теперь плыл пустынный месяц, загасивший вокруг себя звезды.

Опираясь подбородком о ладони, Катенька думала, глотая слезы: «Что за глупости! Я отлично наказана и должна забыть его, забыть». И ей казался пушистым и неясным свет месяца в голубой пустыне.

— Барышня,— позвала Саша,— милая, ягодка, стерпись с ним, слюбись, ведь ты тоже баба. Кабы я могла, не уступила бы тебе его. Трудно мне. Ну, лето мое прошло, теперь твой черед страдать...

Не дослушав, Катенька встала и посмотрела на дверь, хотела ответить, но промолчала и пошла от двери; завернув же за угол амбара, тихо вскрикнула и стала.

На сложенных вниз зубьями боронах сидел князь.

— Который теперь час? — проговорила Катенька, глядя, как вдалеке на выгоне торчал доктор, делая князю отчаянные знаки.— Я думаю, папа ждет с ужином.

Князь пошевелился. Она быстро отвернулась и пошла к дому.

3

Волков, кроме всего, был упрям необыкновенно. Сватовство князя неожиданно устраняло все беспокойство и льстило Александру Вадимычу: Краснопольские

вели имя от Рюрика и в свое время сидели на столе. Сообразив насчет Рюрика (по дороге из Милого к себе), Александр Вадимыч обиделся, представив, что князь может зазнаться, и тут же плечом прижал его в угол коляски, чтобы сделать больно. Но Алексей Петрович не понял этой тонкости, Волков же сердиться долго не мог и, чтобы об унижении больше не думать, тут же решил выдать невиданное приданое за дочерью и уже проговорился об этом, как сразу же по приезде в Волково глупая баба устроила скандал. Все пошло к черту.

Сорвав первый гнев на Саше, Александр Вадимыч понял, что буйством помочь нельзя, но положение было действительно непереносимо, и, очень угнетенный, ушел он в кабинет, где и сел у стола.

«Разорвусь, а выдам ее за этого мошенника»,— думал Александр Вадимыч и ругательски ругал князя; потом обозлился и на дочь.

Долгие размышления привели Александра Вадимыча к неожиданной мысли, что все ерунда и никакой трагедии между Катей и князем нет,— мало ли, кто блудит, на то и свет разделен пополам, и безо всего этого была бы скучища, хоть подохни.

Тогда он ударил кулаком по столу и воскликнул: «Помирю!» И чтобы привести себя для этого в легкое настроение, умышленно принялся думать о вещах более или менее приятных.

Для этого он взял карандаш, разыскал заклеванный мухами листок бумаги и нарисовал зайца.

— Ишь улепетывает, косой,— пробормотал Волков.— А не хочешь — я за тобой лису пущу? — И нарисовал позади зайца лису.— Охота тебе зайчатинки,— продолжал Александр Вадимыч.— Ах, шельма, а волка боишься? Вот он, толстолобый, бежит — хвост поленом. Обоих вас сожрет, голубчики. А я на тебя — собачек, с подпалинами,— густопсовые, щипцатые. Ату его, милые, ату, голубчики, не выдавай, улю-лю!

Волков, нарисовав собак, до того разгорячился, что, приподнявши над стулом зад, хватил по нему пребольно рукой, думая, что это иноходец. Потом отложил карандаш, посмеялся и, довольный, вышел из кабинета, по пути приказывая звать всех к ужину.

Два кухаркиных сына помчались искать гостей. Волков же прошел к дочери. Катя, одетая, сидела на постели.

— Ну, дочка, побушевали и будет, приходи ужинать,— сказал он, и когда Катя отказалась было, он так засопел, что она тотчас проговорила:

— Хорошо, папа, приду.

Кухаркины дети нашли гостей на выгоне, где князь и доктор ходили от амбара до канавы. Князь, когда его позвали, поспешно повернул к дому, Григорий же Иванович принялся доказывать мальчишкам, что есть не хочет, а просит дать ему лошадей. Потом рысью догнал князя.

В небольшой столовой Александр Вадимыч встретил гостей словами:

— Я, господа, полагаю, что бы там ни случилось, а вся сила в желудке,— прошу.

И, указав рукой на круглый стол, сел первый, обвязал вокруг шеи салфетку.

В это время вошла Екатерина Александровна, очень бледная, с тенью под глазами. Ни на кого не глядя, быстро села она против отца. Лицо ее было спокойное и гордое, только внизу, на открытой шее, на горле, чуть заметно вздрагивала и билась жилка.

— А вот и наша болящая! — воскликнул Александр Вадимыч.— Катюша, а ведь ты не здоровалась с князем...

— Здоровалась,— ответила Катя резко.

Алексей Петрович, словно ему не хватило воздуха, вытянулся на стуле. Григорий Иванович опустил лицо и вилкой царапал скатерть.

Но не так-то легко было сбить с толку Александра Вадимыча. Захватив усы, оперся он о стол и обвел всех веселыми глазами. Молчание продолжалось. Кондратий, неслышно ступая, обносил блюда и лил в стаканы вино. Доктор, у которого даже ладони запотели, первый поглядел на хозяина,— у Александра Вадимыча прыгали неудержимым смехом глаза.

— Ерунда! — крикнул он, хлопнув по столу.— Надулись, как мыши. Подумаешь — беда какая! Катька, подбери губы — отдавят! А по-моему, коли доктор

здесь, то я говорю, чтобы у меня был внук! Ага, шельмецы, стыдно? Вот и все устроилось... И — никаких!

При этом он для большего действия раскатился таким смехом, что, казалось, все, и даже Кондратий, должны схватиться за бока. Но сощуренные глаза Александра Вадимыча отлично видели, что смех не удался. Князь напряженно улыбался, Григорий Иванович поднес было ко рту цыплячью ногу, да так с ней и застыл, мучительно сморщив лоб. Катенька подняла на отца глаза, темные от злобы и тоски, и сказала, едва сдерживаясь:

— Папа, перестаньте, я уйду.— И сейчас же щеки ее залил густой румянец. Она поднялась.

— Стой! Не смей уходить! — уже гневно закричал Волков.— Я объявляю: вот жених, а вот невеста. Подойди, князь, вались в ноги, проси прощения.

Князь, страшно побледнев, медленно снял салфетку, встал, фатовски приподняв плечи, подошел, подрагивая коленками, и сказал омерзительным голосом:

— Надеюсь, дорогая, вы простите мне все прошлое,— при этом схватил и сжал ее руку.

Катя медленно, как во сне, высвободила руку, побледнела до зелени и тяжело ударила князя по лицу.

4

Так внезапно оборвался хитро задуманный Волковым ужин. Князь стоял, опустив голову, лицом к двери, в которую стремительно вышла Катя. Григорий Иванович закрыл руками лицо. Волков же, держа вилку и нож, свирепел, поводя глазами.

Вдруг вошел Кондратий. Рот его был решительно сжат, глаза колючие, большим пальцем он показал через плечо и проговорил:

— Конюшонок докладывает, что баба эта — давешняя — сейчас из амбара убегла и очень нерасторопна насчет воды...

— К черту с бабой! — не своим голосом закричал Александр Вадимыч.— Иди к черту с своей бабой! Понял?

Кондратий, мотнув головой, скрылся. Волков сдернул с шеи салфетку, подумал, рванул салфетку и, широко расставляя ноги, побежал в коридор за дочерью.

Князь же присел к столу, налил вина, подпер покрасневшую щеку и усмехнулся.

— Все это мелочи,— сказал он.

Григорий Иванович сейчас же отошел от стола, дрожа так, что стучали зубы. Вдалеке слышно было, как Волков дотопал до конца коридора, и оттуда донесся глухой его голос.

— Как смешно: «нерасторопна насчет воды»,— сказал князь.— Правда?

Он усмехнулся, дернул плечом и на цыпочках подошел к двери, на один миг припал, ослабев, к дверному косяку и вышел.

«Они все погибнут сегодня же,— подумал Григорий Иванович.—Что они делают? Все это князь... Он — как зараза. Почему не прогонят его?.. Выгнать и сказать: не огорчайтесь, Екатерина Александровна, я же люблю вас как... Что — как? Я просто дурак! Уйду отсюда пешком, сию минуту. Не понимаю здесь ничего. Какой любви им нужно? Им нужно мучиться — вот что, а не любить. А я и без нее проживу, у меня своего много, на всю жизнь хватит... А вот она отравится сейчас, непременно отравится, а я о себе забочусь. Чему обрадовался? Да я последний мерзавец, если так. Все только о себе думают: и князь, и Волков, и я, этим и замучили ее... Святая моя, несчастная...

Григорий Иванович запутался и в тоске не знал — уйти ли ему, или ждать? А чтобы не слышать ужасных этих голосов в конце коридора, отправился в сад, постоял у темных кустов, вспоминая, что же еще случилось скверного, и вышел на выгон к амбару.

«И Саша в этот водоворот попала,— думал он, глядя на раскрытую дверь амбара.— Как завертит вода воронкой — все туда затянет...»

И сейчас же понял слова князя: «Как смешно — нерасторопна насчет воды!» Саша бросилась в пруд...

Конечно... Выбежала из этой двери, кинулась по выгону и — в пруд!

Григорий Иванович охнул и побежал, болтая руками. На берегу пруда, там, где вода была черная от тени ветел, стояли Кондратий и конюх. У ног их на траве навзничь лежала Саша. Конюшонок, сидя на корточках, глядел в ее неподвижное, с раскрытым ртом, белое лицо.

— Ничего, отойдет,— сказал конюх подбежавшему Григорию Ивановичу.— Как я ее потащил — дышала еще, отдыхается.

— Отдышится,— сказал Кондратий.— Обморок.

Григорий Иванович присел над Сашей, расстегнул, обрывая пуговицы, черную кофту и приложил ухо под ее твердую, высокую грудь,— она была еще теплая. Тогда он начал закидывать ей руки, нажимать на живот, приподнимать и опускать ее тяжелое тело. Конюх, помогая, рассказывал:

— Видим, баба бежит, непременно это она, говорю, и покликал: «Саша, а Саша». Она — ничего, подошла, только трясется, как больная. Я спрашиваю: «Барин выпустил тебя?» — «Выпустил». И на воду глядит. «Куда же ты, говорю, пойдешь, Саша?» — «Прощайте»,— отвечает, да так заплачет — и пошла к плотине. Я еще посмеялся — очень плакала шибко. А она зашла на плотину и зовет: «Конюх, ты здесь?..» — «Иди, проходи плотину-то»,— кричу ей, а самому уж страшно... Вдруг она — бух в воду...

— Дяденька, она с плотины не тебя звала,— сказал конюшонок.

— А ты молчи,— цыкнул конюх и щелкнул конюшонка по стриженому затылку.— Мальчишка противный!

Григорий Иванович, наклонясь к Сашиному рту, старался вдунуть в нее воздух, руками раздвигал за плечи ее грудь. Вдруг холодноватые губы ее дрогнули, и Григорий Иванович быстро отвернулся, словно от неожиданного поцелуя. Саша пошевелилась. Ее приподняли, посадили. Из раскрытого ее рта отошла вода. Саша закатила белки глаз и застонала.

— К садовнику в теплушку отнести женщину,— сказал Кондратий.— Ах, баба, дурья голова...

5

В конце белого коридора, прислонясь затылком к двери, покрытой ковром, стояла Катя и упрямо сжимала губы на слова отца, который все старался схватить ее руку, но она заложила руки за спину. Князь стоял неподалеку, под висячей лампой.

— Я тебя заставлю извиниться,— заикаясь от злости, повторял Волков.— Это откуда у тебя мода — по лицу драться? Ты от кого научилась? Дай-ка руку, дай! Я тебе говорю — извинись!

Но Катенька еще крепче прижалась к пестрому ковру, коса ее развилась и упала на плечо, круглое колено натянуло шелк серого платья, охватившего стан под высокой грудью.

Князь уловил это движение и, глядя на колено, почувствовал знакомую боль в груди. Чувство было острое и ясное. Нечаянно согнутое колено будто распахнуло перед ним все покровы, и Катенька представилась женой, женщиной, любовницей. Он покусал пересохшие губы и двинулся вдоль стены.

— Да ты шутишь, что ли? Или я сплю? — продолжал Александр Вадимыч, с которым никогда не случалось столько неприятностей подряд. На мгновение ему показалось, что не сон ли это, и он сейчас же затопал ногами, крича: — Отвечай, каменная! — Но дочь продолжала молчать, и он повторял, теряясь: — Проси прощенья, ну же, проси прощенья!

— Нет, лучше умереть! — быстро сказала Катенька. Она глядела на медленно подходящего князя, и брови ее сдвигались. Она не понимала, на что он глядит, зачем подходит, и, следя, вытянула даже шею, и вдруг, поняв, залилась румянцем и подняла руку...

Александр Вадимыч потянулся, чтобы схватить дочь за руку, но не поймал и сердито крякнул, а князь, подойдя, проговорил глухим голосом:

— Екатерина Александровна, теперь еще почтительнее прошу вас не отказать мне в вашей руке.

Глаза его были сухие, немигающие, страшные, лицо обтянулось. Волков воскликнул:

— Ну вот видишь, Катюшка! Эх, дети, плюньте, поцелуйтесь!

Но Катенька не ответила, только нагнула голову и, когда отец подтолкнул было к ней князя, быстро скользнула за ковер, хлопнула дверью и щелкнула ключом.

— Видели?..— закричал Волков.— Нет, врешь!

Он приналег плечом на дверь, но она не поддавалась, и он принялся колотить в нее кулаками, потом повернулся и ударил каблуком.

— Не нужно, оставьте, уйдем,— зашептал князь в необычайном волнении.— Я знаю, что она ответит. Уйдем, ради бога.

Но упрямого Волкова долго еще пришлось уговаривать. Наконец он отер пот с лица и сказал:

— Вот, брат, не так-то просто дочерей замуж выдавать,— штука трудная, вспотеешь. Только уж ты, пожалуйста, молчи, не суйся. Я сам все устрою.

Когда в дверь перестали стучать и шаги затихли, Катенька легла ничком на кровать, обхватив обеими руками подушку.

«Так его и нужно, и хорошо»,— повторяла она, видя (словно подушка была прозрачная) глаза Алексея Петровича, сухие и страшные. Боясь понять то, что она прочла в них, Катенька повторяла гневные слова, но они уже потеряли и остроту и смысл, словно весь ее гнев ушел в тот безобразный взмах руки, словно этим ударом она связала себя с князем так сильно, как никогда не вяжет любовь.

«Господи, сделай так, чтобы не было сегодняшнего дня»,— повторяла она и не могла вздохнуть, не видела пути к освобождению. Ее ненависть, злоба, ревность, вся гордая воля разбилась, как стекло, от взмаха пощечины; и князь, конечно, захочет — и возьмет ее теперь, как *свое,* а захочет — бросит: все в его воле...

Словно огнем, обожгло ее воспоминание, как он подошел, застегивая сюртук: «Надеюсь, дорогая...» — «Конечно, притворство все это — ведь мучился же он тогда в беседке, рассказывая. А быть может, лгал? Ведь ни слова тогда не сказал про Сашу... Нашел кого любить!.. И не любовь это, конечно, а ужас, невыноси-

мое распутство! Ведь недаром отец едва не задушил Сашу». В ушах Катеньки опять повторился давешний крик. Она быстро села на кровати. «Да кто же он такой, если по нем такая мука? В чем он лжет? Кого надо ему? Для чего он и ту, и Сашу, и меня?... Кого любит? Для чего ему я? Значит, нужна для чего-то? Чужой он? Никогда меня не любил? Что делать? Знаю, знаю,— он будет настаивать, и я выйду за него, знаю. И выйду, выйду, и отомщу, назло всем выйду за него. Пусть он не смеет равнять меня с теми... Нарочно на муки пойду. Не удалось любить, и не надо... Не хочу никакой любви».

Катенька спустила с кровати ноги в белых чулках, подперла щеки, и на платье ей, на колени, закапали частые слезы. И с новой остротой почувствовала, что нет ей теперь жизни, нет выхода, и подавила крик и — пуще заплакала.

Наконец долгие слезы облегчили ее. Еще вздыхая и вздрагивая плечами, Катенька медленно расстегнула смятое платье и подошла к зеркалу. В глубоком зеркале, освещенном с боков, увидела она свое лицо, совсем новое. «Красавица-то какая, милая, бедная Катюша»,— прошептала она в отчаянии, вглядываясь. И потом, далеко за полночь, сидя перед зеркалом, думала о себе, грустно и тихо, как будто сегодняшним днем кончилась в жизни ее радость.

СУДЬБА

1

Князь остался в Волкове. Ему были отведены парадные комнаты, куда из Милого перевезли нужные для обихода вещи. Из парадных этих комнат Алексей Петрович не выходил никуда. С утра ложился он, тщательно одетый и выбритый, на софу и проводил на ней время, разглядывая ногти и думая. Когда в дверь просовывалась голова Александра Вадимыча, приносив-

шего известие о судьбе переговоров с дочерью, князь показывал вид, что дремлет.

Алексей Петрович отлично сознавал, что только здесь, близ Кати, последнее его спасение. Он понимал также, что с каждым днем его пребывания в Волкове увеличивается надежда на согласие Кати: уже по всему уезду говорили о пощечине и о Саше, добавляя такие подробности, от которых дамы выбегали из комнат. Да и для самого Александра Вадимыча подобное положение вещей казалось самым подходящим. Он с утра отправлялся к дочери, садился в кресло у окна и говорил:

— Фу ты, как пудрой здесь воняет. Прихорашиваешься? — и в ответ на равнодушный взгляд Кати фыркал и продолжал: — Чего этим девкам надо, не понимаю,— ангела, что ли, тебе надо? Вот твоя мать покойная — уж на что была женщина деликатная, с английским воспитанием, а приналег я на нее — и вышла за меня замуж, хотя плакала действительно много. Вот какие дела, дочка,— поплачешь, а будешь княгиня.

От дочери он шел к Алексею Петровичу и, если тот не притворялся спящим, садился у него в ногах на кушетке, трепал его за коленку и говорил:

— Сдается. Бес девка. И надо же было тебе так наблудить мерзко! Ну уж ошибся — должен молчать. Одного не пойму, почему ты до сих пор не сватался? Повенчали бы уж вас,— за границу бы уехали.

— Действительно, не понимаю, отчего я раньше не сватался,— отвечал князь и после ухода Волкова смеялся про себя.

Первое свидание жениха и невесты произошло в саду, на скамейке. Волков привел сначала князя, потом Катю, сам же, воскликнув: «Батюшки, телята в малинник ушли»,— убежал.

Князь и Катя долго сидели молча. Катя перебирала концы платка, князь курил. Наконец он бросил папироску и сказал, отворотясь:

— Если бы вы своей охотой шли за меня, любили — я бы на вас не женился.

Катенька побледнела страшно, пальцы ее запутали бахрому платка. Она продолжала молчать.

— Давайте кончим это, повенчаемся,— сказал он тихо и печально.

Тогда краска стыда и гнева залила Катины щеки, она резко повернулась к нему.

— Я вас ненавижу! — крикнула она.— Вы мучаете меня! Вы губите меня нарочно! Другой вы разве не нашли на свете?

— Катя, вы страшно умны, вы все должны понять,— перебил князь поспешно.— На будущей неделе мы венчаемся? Да?

— Да,— ответила она едва слышно, поднялась, постояла мгновение и ушла, не оборачиваясь.

2

Употребление так называемой «щетки» — очень древнего происхождения. «Щетка» приготовляется из капусты, хрена, тертой редьки и огуречного рассола, едят же ее после пиров.

Но никакой «щеткой» нельзя было выгнать угара волковской свадьбы, на которую собрался почти весь уезд. Словно на веселую ярмарку скакали, поднимая пыль по проселочным и почтовым дорогам, коляски, шарабаны, тарантасы,— даже трудно было понять, откуда вдруг взялось столько дворян в уезде.

Только старики, дамы и девицы поместились в небольшой колыванской церковке, остальные гости расположились на паперти, держа цветы и овес, чтобы осыпать князя и княгиню.

Отец Василий, в золотом облачении, читал медовым голосом, молодые стояли рядом на пунцовом платке, около них мальчик в голубой рубашке держал образ. Вокруг шел легкий говор и шепот нарядных дам. Екатерина Александровна, со свечой в руках, глядела на огонь спокойно и серьезно.

— Ужасно мила! Ангел! — шептали дамы.

Князь, очень маленький от черного фрака, серьезный и бледный, внимательно исполнял торжественный обряд.

Когда священник поднес вино, князь едва коснулся

краев корца, а Катя выпила все до дна, не отрываясь, словно жаждала. На клиросе запели «Исаия ликуй», священник соединил руки жениха и невесты. Катя, ударом колена преодолевая упругость шелка и волоча шлейф, быстро пошла вокруг аналоя, и все увидели, что князь сильно прихрамывает, стараясь поспеть за невестой.

— Нет, все-таки он мелок перед ней,— решили дамы.

Из церкви гости, с молодыми во главе, двинулись в Волково. При выезде из Колывани Катенька увидела доктора Заботкина,— он взлез на плетень и махал носовым платком. Она быстро отвернулась.

В большом зале Александр Вадимыч встретил молодых с иконой древнего письма — нерукотворным спасом, благословил и при гостях приказал внести приданое. Четыре парня в малиновых рубахах внесли большой серебряный поднос, на котором столбиками стояли червонцы.

— Вот, не осуди, князь, чем богаты,— сказал Волков.

Князь и княгиня после благословения вышли в разные двери, переоделись и, найдя друг друга в саду, просидели у пруда до тех пор, пока им не подали лошадей. Гости высыпали на крыльцо, набились в окна и громкими криками проводили молодых. Волков прослезился. Пир продолжался до заката. В сумерках в соседнем зале, где месяц назад в лунном свете кружилась Катенька, грянули с хор музыканты...

Но уже мало было кавалеров, способных двигать ногами,— девицам пришлось танцевать «шерочка с машерочкой». Весельчаки заперлись в курительной и там грохотали. Старики сели за зеленое сукно. К полуночи капельмейстер, махая палочкой, до того намахался, что мотнул носом, ухватился за барабан и вместе с ним повалился как мертвый.

Этим окончились танцы, и дамы с дочерьми уехали, а молодежь и мужья без дам остались ночевать, и до утра — иные бились в карты, иные бушевали по дому. Ртищевы в саду показывали силу, Александр Вадимыч уже давно потерял голову и то разнимал буянов, то при-

саживался к карточному столу, без толку глядя на карты и свечи, и все что-то вспоминал.

Ни бледный рассвет, ни знойный июльский день не угомонили гостей, и только на третьи сутки разъехались последние из них от Волкова и мчались на застоялых конях без дорог, в перегон и угон, завывая колокольчиками на страх мужикам, которые, сняв шапки, долго еще глядели вслед прокатившему, говоря:

— Ишь ты, как пропылил, дьявол гладкий!

3

Доктор Заботкин висел на заборе и махал платком вслед поезду новобрачных, выражая искреннее удовольствие тому, что все, наконец, устроилось по-хорошему. Все это время Григорий Иванович жил в умилении от себя и от людей. Умиление началось с того часа, когда, перенеся Сашу в сторожку садовника на деревянную кровать, он остался сидеть один около заснувшей молодой женщины.

Огарок в бутылке, поставленной на бочке, освещал дощатые стены сторожки, паутину в углах, разбитое окно, заросшее черным и глянцевитым плющом, и между печью и стеной лежащую под полушубком Сашу.

Она вздрагивала иногда в ознобе, натягивала полушубок, отчего открывались голые ее ноги или сползала пола,— тогда Григорий Иванович вставал и заботливо поправлял одежду.

Наклонясь, он подолгу глядел ей в лицо,— оно было кроткое и во сне, и казалось, что он где-то уж и видел и любил эти ясные, родные черты. На душе было тихо, весь сегодняшний день отошел далеко в память, и было бы странно подумать сейчас о каком-то другом еще мире, кроме этой ветхой избенки и спящей Саши.

Григорий Иванович вновь подсаживался к свече и, заслонив свет ее ладонью, слушал, как дышит Саша, или как птица, просыпаясь, ворочается в кусту, или вдруг принимаются шелестеть листочки осины. Ветерок, влетев в окно, колебал огонь свечи,— тогда Сашино лицо от скользящих теней во впадинах глаз точно хму-

рилось. Григорию Ивановичу казалось, что только эту тишину, полную таинственного значения, он и должен любить, и самому теперь нужно стать таким же тихим и ласковым, как тени на Сашином лице.

«До какого же отчаяния дошла, какая же мука была у нее, если, не жалуясь, побежала скорее, скорее и — в пруд, в воду, и — конец. Кто я перед этими муками? Комар, мразь,— думал Григорий Иванович.— Полез к богатым, до тошноты счастливым людям, явился со своим самомненьишком, с красной рожей... Очень, очень противно! А она проснется и спросит: как теперь жить? Что ей отвечу? Служить буду вам до конца дней,— вот что ей надо ответить. Вот задача — простая и ясная, вот в жизни и долг: послужи такой женщине, сделай так, чтобы забыла она...»

Григорий Иванович не замечал, что разговаривает вслух. Саша пошевелилась,— он обернулся и увидел, что она, приподнявшись, глядит на него большими темными глазами. Испугалась ли Саша этого бормотания, или вспомнила давешнее, или была еще слишком слаба,— только она подобрала ноги, натянула полушубок до подбородка и застонала.

Григорий Иванович тотчас присел у ее изголовья и, гладя ее волосы, стал рассказывать про все, о чем только что думал.

— Барин, милый, оставьте лучше меня. Ничего, ничего мне не надо, благодарю вас покорно,— ответила Саша, и заплакали и она и Григорий Иванович: она горько, он — от радостной жалости.

Первые дни, возвратясь домой, на постоялый двор, Саша жила так, словно забыла обо всем. Григорий Иванович заходил ежедневно, спрашивал, не может ли ей чем помочь, и с папироской садился на крылечке. Саша, проходя мимо, говорила: «Зашли бы, Григорий Иванович, в светелку, а то здесь блох наберетесь»,— и все что-то делала, работала по двору и по дому. Однажды он застал Сашу на огороде у плетня. Она глядела в степь, лицо ее было спокойное и важное, глаза мрачны, голова повязана черным платком.

— Уйти хочу, сил больше нет, думается,— сказала она.

Тогда Григорий Иванович почувствовал, что жить ему больше незачем. Он до того растерялся и упал духом, что мог проговорить только:

— Саша, если не очень уж я противен, вышла бы за меня замуж.

Саша помнила смутно, что рассказывал ей тогда ночью Григорий Иванович, и сейчас поняла: «Он несчастный», и пожалела его, и он стал ей вдруг мил, как ребенок.

Теперь каждый день она стала забегать к доктору. Вымыла его избу, окна и двери, чинила его белье, сама поправила печь в баньке, что стояла полуразвалившаяся на обрыве над речкой. Баньку она истопила и велела Григорию Ивановичу пойти попариться. Когда же он вернулся, распаренный, усталый и счастливый, Саша ждала его с самоваром,— в избе было чисто, пахло вымытым полом, шалфеем, восковой свечечкой, зажженной в углу.

Но когда он заговорил о свадьбе, Саша качала головой.

— Не нужно нам этого, Григорий Иванович,— грешно, нехорошо.

А потом увидела, что он плохо спит, и страдает, и вздрагивает, когда она нечаянно к нему прикоснется, и согласилась.

Плакала до того, что голову всю разломило, но согласилась: видно, против человеческого не пойдешь. Отец Василий, всем этим очень довольный, перевенчал их в конце лета. А на свадьбе выпил три рюмочки и даже сплясал: Григорий Иванович бил в ладоши, а отец Василий топтался, приговаривая: «Ходи изба, ходи печь».

4

Двумя свадьбами как будто благополучно окончилось лето. Григорий Иванович вместе с Сашей жил пока в избенке, ожидая, когда отстроят земскую больницу.

Взъезжую Саша сдала и все время теперь отдавала мужу, стараясь понять его, угодить, не раздражать

бабьим своим видом; и хотя на селе тотчас прозвали ее «докторшей», она продолжала носить платочек и темные ситцевые платья. Григорий Иванович понял это и не настаивал на ином. Каждый день он читал ей вслух что-нибудь и старался также ни одного дела и ни одной мысли не скрывать от Саши, быть с ней — как один человек.

Молодые князь и княгиня Краснопольские катались по Европе, посылая открытки из разных городов, чему Волков, географию знавший слабо, много дивился: сегодня, например, пришло письмо из Италии, а завтра— из Франции. «Как блохи скачут»,— говорил он Кондратию, который из вежливости произносил: «Тсс...»

Кончив уборку хлеба, Александр Вадимыч принялся отделывать в Милом княжеский дом. Партии штукатуров, обойщиков и столяров стучали молотками по высоким залам, повсюду воняя клеем, известкой и стружками. Сам Волков с утра являлся в Милое, причем для порядка до того громко кричал, что рабочие прозвали его «пушка-барин» и нисколько не боялись.

В конце сентября, когда с открытием в губернии конской ярмарки оживает весь уезд, начинаются вечера, охоты и свадьбы, стал поджидать Александр Вадимыч молодых и быстро закончил работы в Милом. Вдруг письма из-за границы прекратились. «Неужели в Америку махнули?» — подумал Волков и через несколько дней получил телеграмму: «Еду, Катя».

Всполошился Александр Вадимыч, выбрал лучшую тройку белых, как снег, коней (это был подарок молодым по случаю приезда) и долго колебался: уж очень хотелось самому выехать на вокзал, но сдержался, только строго наказал кучеру, стуча пальцами в его лоб: «Смотри у меня, духом лети, а как отвезешь князя и княгиню, сыпь обратно. Да не забудь сказать, что лошади — презент». Но едва тройка скрылась за горой, Александр Вадимыч расстроился, пригорюнился, сел у окна. Стало ему почему-то жалко дочь, Катю: «Выдал замуж сгоряча. А девица хорошая, кроткая, сирота... И какого черта я тогда думал? Ах, боже мой, боже мой, вот ведь как это все не того... Не такого бы ей надо мужа...»

Вечером вернулся кучер верхом на меринке из княжеской конюшни. Соскочил у крыльца и вошел прямо к Александру Вадимычу, у которого даже голова затряслась от волнения...

— Ну что? Привез?

— Привез, Александр Вадимыч, слава богу, благополучно.

— Веселые приехали?

— Ничего, все слава богу...

— А что барин, князь?

— Вот его будто я и не видал...

— Как не видал? Да что ты молчишь!.. Говори, голову оторву!

— Да так, князь-то, видишь ты, не приехал. Одну нашу барышню я привез.

Александр Вадимыч только рот разинул. Вошел Кондратий со свечами. Волков, сидя в кресле, перевел на него глаза и сказал:

— Беда случилась, Кондратий Иванович...

— Что такое?

— Поезжай-ка ты туда сейчас, да и разузнай... Ах, боже мой, чуяло мое сердце...

5

Екатерина Александровна приехала действительно одна, без мужа. Встреченная управляющим, Катя прошла в зал, сняла дорожное пальто, шляпу и вуаль. Стоя у окна, долго глядела на парк, на Волгу внизу, на луга Заволжья. Глядела долго. Вздохнула и обернулась к управляющему, который, стянув на животе, сколько мог, синюю куртку, чтобы не так уж лезть в глаза утробой, почтительно ждал.

— Князь вернется через некоторое время,— нахмурясь, проговорила Екатерина Александровна.— Его задержали дела. Отчет по хозяйству и дому вы дадите мне, покажете все книги...

— Желаете, ваше сиятельство, сначала осмотреть дом или же принести книги? — спросил управляющий.

— Нет, нет, книги потом,— и она пошла по всем комнатам, спрашивая, где кабинет князя, где спальня, где больше всего любил он сидеть...

Залы внизу были холодные и высокие. Катенька поднялась наверх, в покои князя, но только заглянула туда и приказала все комнаты внизу и наверху, кроме столовой-зала, наглухо закрыть до весны; для себя же выбрала зальце с цветными стеклами и роялем и рядом небольшую, совсем белую комнату, где около изразцовой и круглой, как башня, печи поставили кровать и умывальник...

Когда управляющий, скрипя сапогами, ушел, Катенька вернулась в зал, села за колоннами у столика, облокотилась на зеркальную его поверхность (в ней опрокинулись красивые ее руки в узких до локтя рукавах), прикоснулась щекой к скрещенным пальцам и опять стала глядеть на парк, реку, луга.

Лицо у нее похудело, потемнели пышные волосы, окрученные короной вокруг головы, и дорожное темное платье с кружевами вокруг шеи было строгое и теплое, как у женщины, которая не разрешит себе ни резкого движения, ни опасной мысли, если это может нарушить покой.

Сад за окном увядал и осыпался. Между темных конусов елей нежно желтели поредевшие, поникшие березы, сквозь тонкие их веточки сквозило небо. Старый клен на поляне разлапился, весь налился пурпуром, вот-вот готовый хмуро уснуть. Еще зеленели липы, но высокие тополя совсем облетали, и бронзовые листья их устилали дорожки и скошенную траву. Глядя на это увяданье, на синюю реку внизу, где полз перевоз, думала Катенька, что теперь наступает долгий, страшно долгий покой.

Три прошедших месяца она твердо решила не вспоминать — запереть их на ключ и жизнь построить разумную, суровую.

Вдохнув запах увядания, вместе с ветром проникший сквозь полуотворенную раму окна, она почувствовала горячую каплю на щеке.

— Ну, вот этого не надо,— сказала она.— Раз решила, так и будет.

Она быстро обернулась, ища платок, встала, взяла сумочку, вынула платок, отерла глаза, налила на пальцы духов, смочила виски и позвонила. Вошел лакей, и Катенька приказала ему достать из чемодана бювар.

Настали сумерки,— их-то и боялась Катенька больше всего. Стоя спиною к окнам, ждала она, когда зажгут свет. Лакей принес бювар из красного сафьяна, взлез на стул и одну за другой зажег свечи в люстре над столом.

Тотчас теплый свет залил лепной потолок, белые стены и погнал синеватые тени за колонны, затеплив позолоту на их завитках.

Катенька села к большому столу, подумала и написала:

«Алексей, я вас прощаю. Я много думала за эту дорогу и решила, что вы должны жить со мной, это необходимо для моего спокойствия. Мы будем как брат и сестра, как друзья».

Она перечла, постучала каблучком о паркет, подняла хрустящий листок письма, чтобы разорвать, но раздумала и запечатала.

В это время высокая дубовая дверь в глубине потихоньку начала раскрываться, и между половинок показалось морщинистое бритое лицо.

— Кондратий! — воскликнула Катенька.

Он, всхлипнув, подбежал и припал к плечику.

— Здравствуй, милый, голубчик,— проговорила она, взяв старика за виски и целуя.— Что у нас? Папа что?..

— Ненаглядная Катюшенька, истосковались мы, какое наше стариковское житье — все о тебе думали.

— Правда? Я так и знала. Конечно, надо было сейчас же к папе поехать, а я сюда. Но мне очень тяжело было, Кондратий.

— А князюшка где? — спросил он шепотом.

— Не знаю, Кондратий, ничего не знаю. Озлобилась я немного.

Она опять вынула из сумки платок и заплакала. Кондратий коснулся ее волос, заглядывая в лицо.

— Кондратий, ведь муж меня бросил,— сказала Катя.

— Батюшки-светы!..

Когда она успокоилась немного, рассказала все, как было. Кондратий долго молчал, поджимал трясущиеся губы, потом проговорил, грозя пальцем:

— Вот он каков! Нет, Катюша, это ему так не пройдет.

Катенька не захотела ночевать в Милом, и к полуночи она и Кондратий въезжали в Волково. Уже на плотине Катенька начала волноваться, вдыхая родимый запах прудов и грачиных гнезд. Фонари коляски освещали то лаз через канаву, то угол амбара у крыльца (оно показалось маленьким и тесным). В двух первых окнах был свет, и Катенька различила в окне склоненную голову отца.

— Смотри, ничего не говори, понял? — торопливо прошептала она, дергая Кондратия за рукав.

6

Когда Александр Вадимыч, поддерживая халат, выбежал в сени и припал к дочери, спрашивая: «Дочурка, радость моя, что случилось?» — Катенька солгала,— сказала, что князя задерживает в Петербурге неотложное дело.

Волков поверил — не такой он был человек, чтобы не верить,— хитростей не понимал, а какое дело задерживало князя — не спрашивал подробно: бог их разберет, чужие дела, примешься расспрашивать, да и влезешь, как шмель в паутину.

Катеньку он сразу обозвал «княгинюшкой» и повел в малую столовую, где валил до потолка паром большой самовар.

— Хороша, ей-богу, породиста, Катерина,— говорил Александр Вадимыч, повертывая дочь за плечи. Сам налил ей чаю и предлагал всякой еды.

У Катеньки даже слезы навернулись, но она прогнала их, крепко зажмурясь.

— А я все хандрил без тебя,— говорил отец.— Отвык, знаешь, один жить... Не езжу никуда. Все на меня рассердились. А тут еще беда: купил я паровик,— по-

тащили мы его через Колыванку, он через мост и провалился. До сих пор из воды труба торчит. Ну, а ты, душа моя, как съездила? Я вас блохами обозвал. А князь? Ах, да. Что же, на старой кровати ляжешь спать? Утомилась, я чай, с дороги. Знаешь, Катюша, я весьма рад тебя видеть.

После чая Александр Вадимыч, болтая и суетясь, повел дочь в девичью ее комнату. Катеньке становилось все тоскливее: так радовалась она, подъезжая,— но отец и слова его и все вокруг — все потускнело. Или отвыкла она от всего, или выросла? Прощаясь с Александром Вадимычем у двери, завешенной ковром, особенно поняла она, что одинока и нечем этому одиночеству помочь.

В комнате не было перемен. Катенькино сердце ужасно билось, когда, войдя, увидела она туалет, карельские кресла, кровать, даже туфельки свои на ковре. Но не прежний уют, запах духов или свежесть пролитой воды, а нежилой холодок охватил ее плечи, когда, сняв платье, села она на кровать и стала глядеть в темное окошко.

Как будто жила здесь другая Катенька, веселая и невинная, и умерла, и ее было очень жалко. Жалостным вспомнился и Александр Вадимыч — уж очень желал угодить: и суетился и болтал о мелочах, а сейчас, обиженный ее равнодушием и тем, что ушла она рано спать, даже не поцеловалась с ним на прощанье, наверно вздыхает у себя в кабинете.

Катенька встала и хотела пойти к отцу — сказать, что очень любит его и сама нуждается в ласке. Но, покачав головой, легла под влажные простыни.

«Жаль, что у меня нет сестры,— подумала она.— Я бы ее с собой сейчас положила, поцеловала бы милые волосы, объяснила, что «женщине очень трудно жить, очень трудно».

Все следующие дни у нее была ровная и тихая грусть. Катенька ходила медленно по дому, с улыбкой слушая отца, который повеселел и показывал разбираемые им теперь письма и дневники (новое чудачество), сидела на скамейке в саду, подняв голову, глядела, как увядший лист, зацепившись за паутину, покачивает-

ся — не может упасть. Деревья были словно из золота на темно-синем небе,— так бывает в хрустальные дни бабьего лета.

Потом она уехала в Милое. Ей слишком тяжело было скрывать от отца правду. Время пошло однообразно, не нарушаемое ничем. Разлетелись было помещики с визитом к молодой княгине, но всем было сказано, что Екатерина Александровна больна.

Помещики обиделись, а Цурюпа стал из-под полы распускать разные слухи.

7

Катя ждала ответа от мужа и, чтобы не думать, не очень скучать, ходила по хозяйству каждый день, надевая бархатную шубку, отороченную серым мехом.

Надвигалась осень. По утрам на пожелтевшей траве лежал иней, отчего зелень казалась сизой. Иней подолгу лежал и на скатах крыш, и у колодца, откуда черпали в глубокие колоды студеную воду, пахнущую илом, и на перилах балкона, и на листве.

Каждое утро заходила Катенька на конюшню, и конюхи весело отвечали ей на вопросы, улыбаясь, словно она была маленькой. Управляющий, завидев на дворе княгиню, кланялся издали и озабоченно уходил куда-нибудь в амбар, гремя ключами (Катенька невзлюбила управляющего, а он, не приглашаемый к ее столу, обижался). Спросив у пастуха об овцах — не унес ли какую-нибудь волк этой ночью,— заглядывала она и на скотный двор, покрытый навозом. Скотница, сидя на скамейке, под коровой, доила парное молоко в звенящую дойницу; оставив соски, вытирала рот и наклоняла голову,— кланялась подошедшей барыне. Однажды скотница спросила, сколько Катеньке лет, и назвала при этом барышней и ягодкой.

На дворе около людской восемь поденщиц-девок начали рубить капусту в коротком корыте — весь день бойко стучали тяпками. Кочаны лежали на пологе, и, сидя тут же на корточках, два чумазых мальчика грызли острыми зубами студеные кочерыжки.

Завидев барыню, девки повертывали к ней румяные лица и перешептывались. Катенька заглядывала в корыто,— пахло сладким и чесночным духом капусты,— спрашивала, много ли нарубили, и улыбалась здоровым девушкам, спрашивая:

— Вы ведь все девки — незамужние?

— Вот Фроську косую у нас пропивать будут, только женихи все разбежались, боятся — с косого глаза впотьмах мужа не признает.

Они звучно смеялись над некрасивой Фроськой. Катенька, отойдя, думала с грустью, что нужно будет опять провести этот день одной.

Дома она, заложив за спину руки, ходила по комнате или, присев у печи и касаясь спиной и затылком теплых изразцов, глядела через окна на небо, по которому с севера шли облака, полные снега.

Снег выпал сразу — наутро покрыл всю траву, садовые скамейки, лег подушками на пнях. Деревья стояли в инее. Белый, словно опаловый, прохладный свет разлился по высоким комнатам. Топились печи. На полу разостланы были половики, у выходной двери наследили валенками.

В это утро Катенька, проснувшись, до того обрадовалась чистому этому свету, снегу на окне и горящим печам, что, поспешив надеть шубку и валенки, побежала через стеклянную дверь в сад.

Мороз ущипнул ее за щеки. В снегу от валенок остались глубокие следы до мерзлой травы. Катенька, захватив горсти снега, засмеялась.

— Как хорошо, господи, как хорошо!

И словно от этого снега, от веселых белых деревьев, поднявших из-под косогора неподвижные, залитые солнцем снежные верхушки, почувствовала она, что горе пройдет.

Как прежде, бывало, у себя в Волкове, подобрала она шубку и юбку и, выбрав гладкое место, скатилась вниз к реке по снежному скату. Смеясь, полезла было опять наверх, но запыхалась и подошла к воде. У берега подмерзло, а дальше по всей реке, пенясь и шурша, шло свинцово-серое сало. Катенька вздрогнула от холода и села под деревьями, лицом к реке. Потом на-

верху затявкала собака, и голос лакея позвал к столу.

Услышав лай, неподалеку из куста выскочил заяц. Катенька опять засмеялась, глядя, как собака, скатившись с горы комком, пошла за косым зверем.

Все в этот день радовало Катеньку, и она ждала, что по первопутку приедет отец, но он не приехал, и пришлось одной провести вечер в кресле у печи.

Голова ли слишком разгорелась от мороза или натопили непомерно печь, только начался у Катеньки легкий озноб, и от затылка по спине пробежали мурашки... Она глубоко ушла в кресло, щеки у нее вспыхнули. Катенька усмехнулась, глядя на огонь, положила ногу на ногу... Представился ей Алексей Петрович, когда, настойчивый и бледный, в первый раз (это было в Москве) стал ее целовать, говоря слова, о которых не нужно было, конечно, в этом одиночестве думать.

Спохватилась Катенька, хотела было встать, но истома легла на нее, не дала двинуться, и — словно кто-то принялся открывать и закрывать перед ней свет, показывая картинки,— понеслись в ее памяти воспоминания и волнующие запахи — все, что долго сдерживала она суровым смирением. Она крепко закрыла глаза, положила руку на грудь, и мечты, как метель, обожгли ее и ослепили.

8

Пришла коренная зима. Вдоль застывшей реки проносились метели, свистя голыми тальниками, перебрасывались в поля, крутили снегом и насыпали сугробы на замерзший куст, на стожок в степи, на упавшего путника.

Эту зиму Григорий Иванович много читал, выписывая из Петербурга книги и журналы. В журналах он сначала просматривал статьи, отмечая иные строки карандашом, и много раздумывал над всем этим, потом прочитывал Саше рассказы, ища в них ответа: как жить?

Принеся этим летом жертву, Григорий Иванович

успокоился, но ненадолго: жертва была, пожалуй, и не настоящая, а похожа на удовольствие, ему же хотелось многого.

Время было тревожное, не то, что прежде. В газетах попадались прямо-таки дерзкие статьи, от которых дух захватывало, и студенческие годы в Казани казались мальчишеством. Одна газетная статейка (в провинцию она попала только подписчикам, в Петербурге же продавали этот номер за пятьдесят рублей) словно открыла Григорию Ивановичу глаза: он увидел, что есть верный путь для совестливого человека. Да какой путь! Можно голову положить за него.

Много тогда пришлось Саше не спать ночей, слушая Григория Ивановича, который бегал по избенке и доказывал ей, как должен честный человек жить. За ним по стене металась тень, на которую Саша со страхом поглядывала, внимая мужу. Доктор был очень горяч и решил, не откладывая, начать новую жизнь, но все это неожиданно плохо окончилось.

В студеную, вьюжную ночь Григорий Иванович сидел у соснового стола, читая. Саша возилась за перегородкой, и доктор по звону посуды знал, что скоро будет чай.

Снаружи, в углу избы, посвистывала метель, будто на крыше, поджав лапки, сидел черт, жалуясь на стужу.

— Вьюга-то какая, господи, кого еще занесет в степи,— сказала из-за перегородки Саша.

Доктор, заслонив ладонью лампу, поглядел в обледенелое окно. Иглистый лед и перья мороза на стеклах загорались иногда синим светом — это в страшной вышине, между обрывков туч, сыплющих снегом, нырял и летел месяц...

— А знаешь,— сказал Григорий Иванович,— я все думаю: в Петербурге, где-нибудь у стола, сидит умный и честный человек и пишет, а я здесь, за две тысячи верст, переживаю его мысли,— удивительно!.. Какое же я имею право оставаться в бездействии!

— Кто такой? — спросила Саша.— Здешний он или так где встретились?

— Ах, ты не понимаешь,— ответил доктор, положив руки на книгу.— Ты, Саша, пойми, я не так живу —

слишком уютно и много покоя: бессовестно живу! Понимаешь?.. Так нельзя. Я не имею права жить с удовольствием, когда там за меня погибают. Нужно «поднять голову»,— вот здесь об этом говорится... И твоя обязанность — не тянуть меня назад в тину, а ободрить и зажечь. Так поступают настоящие женщины...

У Григория Ивановича от раздражения задрожал даже голос. Саша вышла из-за перегородки, стала близко за стулом мужа, сложила руки, опустила глаза, сказала негромко:

— Виновата, Григорий Иванович...

И надо было ему тогда засмеяться, объяснить Саше — она бы все поняла. Но он не сделал этого и, сердясь на себя за слабость, винил жену, создавшую, как он сейчас думал, «мещанский уют».

В это время за окном зазвенели подхваченные метелью бубенцы, заскрипел снег, и было слышно, как близко задышали лошади.

— Неужто поедешь, Григорий Иванович? Занесет ведь, вот беда,— сказала Саша, уходя опять за перегородку.

— Удовольствия мало,— проворчал он.— Кто-нибудь из помещиков животом валяется.— Откинул волосы, захлопнул книгу, встал и, с трудом толкая коленом, открыл набухшую дверь.

В сенях от повалившего клубами пара ничего нельзя было разобрать, но кто-то уже вошел. Григорий Иванович вгляделся, отступил и ахнул: на пороге стояла Катя.

Черную шубку на ней запорошило снегом, под капором раскраснелось лицо, ресницы были белые. Она притворила дверь, сняла рукавички, потопала ногами и сказала:

— Не ждали? А я чуть не заблудилась. Поехала к папе, а буран такой, что не пробраться через ваши мосты. Увидела свет и завернула. Принимаете?

Она расстегивала большие пуговицы. Григорий Иванович опомнился наконец, снял с нее шубку, которая была теплой внутри, пахла мехом и духами, взял ее капор.

Под капором волосы слежались, Катенька поправила их и села к столу.

— Где Саша? — спросила она.

— Там,— ответил Григорий Иванович, кивнув головой на перегородку.— Мы читали, собирались пить чай.— И сбоку поглядел на Екатерину Александровну, словно готовый спрятаться или удрать.

— Саша, это я, выходите,— сказала Катенька, оправляя кружево на темном платье, и вдруг усмехнулась.

Григорий Иванович раскрыл рот и с трудом вздохнул.

Саша, наконец, вышла, держа руки под черной кофтой, и достойно, медленно поклонилась одной головой. Катенька охватила ее рукой за шею и сказала, целуя:

— Все такая же красавица! Ну, как ты живешь, хорошо?

— Благодарю вас, все слава богу,— медленно ответила Саша, не поднимая глаз.

Катенька еще раз поцеловала ее, но Саша была как каменная, и Катя сняла руку с ее плеч. Григорий Иванович глядел на обеих женщин и мучительно морщился, понимая, как тяжела для Саши эта встреча. А морщась, все-таки сравнивал: Саша казалась грубой и тяжелой; у Екатерины Александровны все было изящно — и движения, и высоко подобранные тонкие волосы, и голос был особенный, как музыка, и платье — мягкое и прелестное...

Григорий Иванович возмутился этими мыслями, но, сколько ни старался придать себе равнодушный вид, глаза сами видели то, чего не нужно и грешно было видеть,— завитки волос, приподнятый уголок рта, двигающиеся от дыхания складки платья на ее груди.

Наконец под коленкой у него начала дрожать какая-то жилка, как мышь. Это было так противно, что он проговорил грубым голосом:

— Что же, самовар, наконец, будет?

Саша медленно повернулась и ушла за перегородку. Было слышно, как она дула в самовар, гремела трубой. Запахло угарцем. Катенька перелистывала журнал, затем бросила книгу на стол, облокотилась и сказала:

— Я писала вам два раза, просила приехать,— была нездорова. Почему вы не приехали?

— Да я не мог,— ответил Григорий Иванович.

Саша внесла самовар и вытирала посуду, не поднимая головы, спокойная и сосредоточенная.

— А я все одна целые дни. Слушаю, как ветер поет... Думаю, думаю... Боже, во всю жизнь столько не передумала! А вот у вас даже ветер уютный, право... Мне нравится у вас... Даже завидно.— Катенька вдруг усмехнулась и прямо в глаза взглянула Григорию Ивановичу,— он даже голову втянул в плечи, не в силах оторваться от ее серых, холодных, странных глаз. Она проговорила: — А помните, как вы остриглись так смешно? Мне потом Кондратий рассказывал, как он вам косичку отстригал ножницами...

Григорий Иванович почувствовал, что багровеет, погибает. Наконец Саша сказала, оборачиваясь к двери:

— Григорий Иванович, сходи-ка в сени, принеси молока, крайнюю кринку, я-то в чулках.— И обратилась к Катеньке: — У нас две коровы, пестрая и красная, и бычок. Полное хозяйство.

«Вы видите, вы понимаете»,— глазами сказал доктор и тотчас вышел. В холодных сенях он пошарил на полке: он знал, где стоит кринка, но хотел нарочно, чтобы упала какая-нибудь дрянь, но ничего не упало, взял ее и, стоя в темноте, прошептал: «Ах, черт!» — и хотел расшибить проклятый горшок, но сморщился только и цыкнул языком, зная, что подлость уже сделана и несчастье (или счастье?), подошло.

— Этот, что ли, горшок? — грубо сказал он, ставя перед Сашей кринку, и сел в тень.

В избе после сеней сильно пахло духами. Григорий Иванович подумал, что это не духи, а волосы пахнут Катенькины, ее руки, платье.

Она не спеша пила чай, ее губы были красные, очень красные. Саша хоронилась за самоваром, перетирая чашки. Григорий Иванович подумал, что Саша потолстела, упряма и зла.

«А потом еще расплывется. Собственностью меня считает. Думает — сделала мне большую честь. Сидит — ненавидит, а я горшки носи! Ах, гадость, ах, гадость!.. Да и я-то — просто мерзавец в конце концов!»

Катенька спросила, много ли у него работы. Григорий Иванович, глядя в сторону, вкось, ответил, что много:

— Ездишь, ездишь по уезду, на человека не похож. Жизнь, знаете, у нас не княжеская. Живем по колено в навозе. Не разжиреешь.

У Саши в это время выскользнуло блюдце из рук и разбилось. Катенька ахнула:

— Ах, какая жалость! — и сказала это с таким участием притворным, что Григорий Иванович задышал и вдруг проговорил дрожащим голосом:

— Нищеты вы не видели, что ли? Так вот она, глядите!

— Что ты, что ты! — испуганно подняв глаза, прошептала Саша.

У Екатерины Александровны задрожала ложечка в руке, задребезжала о стакан. Григорий Иванович отбежал к печке, повернулся, поджал губы.

— Убожества сколько угодно, больше, чем даже нужно, а дух все-таки горит, этим вы его не потушите, да-с! Не обидеть вас хочу, Екатерина Александровна, а мне больно, что вы смеяться над нами приехали. Так позвольте вам заявить, что смеяться-то и не над чем. Кроме этих вот горшков, есть кое-что поважнее, чем мы живем! И живем, как в огне горим, да-с! Идеями живем! А перед ними все это убожество — пустяки. И мне наплевать, что личная жизнь не удалась. Не удалась — вот вам новый боец!

Много еще в этом роде говорил Григорий Иванович. Катенька слушала, опустив голову. Наконец, когда он сел вдруг на лавку, словно сам стараясь разобраться во всей путанице слов, Екатерина Александровна поднялась из-за стола и проговорила:

— Вы не так поняли меня. Я живу совсем одна, не с кем слова сказать. Сегодня вот вспомнила вас и Сашу, вы мне показались близкими, приехала подружиться. Ну, видно, из этого ничего не вышло. Прощайте, друзья мои. Не судьба.

Она надела шубку, медленно застегнула пуговицы, натянула пуховые белые варежки, улыбнулась грустно, простилась и вышла.

Григорий Иванович не в силах был вымолвить сло-

во,— все только что сказанное им будто вихрем вылетело из головы. Саша, сложив опять руки под кофтой, проговорила негромко:

— Все-таки гостья, Григорий Иванович, обижать-то не надо бы.

Тогда он, как был, в черной рубахе, без шапки выбежал на двор.

Месяц окончил небесную погоню и медленно теперь плыл в морозной высоте, круглый и ясный. Сивая тройка, запряженная в возок, позванивала бубенчиками. У крыльца намело голубоватый снег крутым сугробом. Увязая в нем по колено, Григорий Иванович подбежал к Катеньке,— она глядела на него, стоя у возка.

— Екатерина Александровна, я не хотел вас обидеть... Господи, боже мой, поймите меня.

— Я вас понимаю,— она подняла глаза и глядела на месяц.

— Екатерина Александровна, могу я вас проводить?

— Да.

Григорий Иванович бегом вернулся в избу, накинул полушубок и испуганно-торопливо проговорил Саше:

— Проводить хочу Екатерину Александровну, нельзя отпустить одну, к тому же обидели. Вернусь поздно, может утром,— и он замялся в дверях. Саша не отвечала, убирая посуду.

— Что же ты молчишь? — спросил он.— Не хочешь, чтобы провожал?

— Воля твоя, Григорий Иванович, делай, как знаешь.

— Какая там моя воля,— он отошел от двери, голос его дрожал.— Терпеть не могу таких ответов... Что же, и проводить даже не могу? Ну?

— Какие мои ответы, Григорий Иванович, на что сердишься?

Он тотчас сел на лавку, прижал кулаки к вискам:

— Непереносимо!

За окном звякнули бубенцы — это Катенька садилась в возок. Григорий Иванович вскочил и сказал отчаянно:

— Не сердись ты, Христа ради, не могу оставить тебя такой.

— Ничего, потерплю,— ответила Саша и ушла за перегородку.

— Ну и к черту! — гаркнул он.— Не поеду! — И тотчас выскочил за ворота.

Лошади уже тронулись.

— Погоди, погоди! — закричал Григорий Иванович и, увязая в снегу, побежал за широким задком саней.

9

В окно возка сквозь морозные зерна светил месяц и была видна тусклая, сливающаяся с небом равнина снегов. Скрипели полозья. Как стеклянные, звенели однообразно бубенцы. При поворотах возка выплывало из темноты тонкое Катенькино лицо, опушенное седым мехом, и в глазах ее загорались лунные искорки.

Григорий Иванович глядел на нее и чувствовал, что вот для этой минуты он и протащился через всю жизнь. Теперь — только глядеть на это волшебное лицо, только вдыхать кружащий голову запах снега, духов, теплого меха.

— Вы знаете, что меня бросил муж? — сказала Екатерина Александровна, появляясь в синеватом свету.

Григорий Иванович вздрогнул, подумал, что нужно ответить ему на это, и внезапно, точно ждал только знака, начал рассказывать негромким и каким-то новым, особенным, но — он чувствовал — истинно своим голосом о том, что этим летом видел, как из реки поднимались облака и уходили за лес, и тогда его сердце наполнилось любовью, о том, как он увидел Катеньку, подъезжавшую к берегу в лодке, и понял, что любовь — к ней. Он рассказал о пчелах, крутившихся в траве, и о том, что его любовь была так велика и так светла,— казалось — человеку невозможно вынести такую любовь, хотелось отдать ее небу, земле, людям.

— А как же Саша? — вдруг тихо спросила Катенька.

Лицо ее было такое странное в эту минуту, такой мучительной красоты, что Григорий Иванович застонал, откинувшись в глубь возка. Катенька погладила его по

плечу. Он схватил ее руку и прижался губами к мягкой надушенной варежке.

— Люблю вас,— проговорил он.— Дайте мне умереть за вас...

Он держал ее за руку, повторяя эти слова глухим голосом, и на ухабах, когда возок подбрасывало, все словно кланялся. Лицо у него было некрасивое, взволнованное.

И Катенькой овладела тоска. Хотела было посмеяться над Григорием Ивановичем, сказать, что не к отцу сегодня ехала, а к нему,— нарочно, со зла и скуки, поехала мучить. Что он — жалок ей. А любовь его, как вот эти поклоны,— смешная, и действительно за такую любовь только и можно, что умереть. Но ничего этого она не сказала. Хотелось горько, надолго заплакать...

— Взгляните на меня... Полюбите меня на минутку,— проговорил Григорий Иванович.

Тогда Катенька выдернула у него свою руку. Он не сопротивлялся, только сполз к ее ногам, коснулся лицом ее коленей. От этого ей стало еще темнее и тоскливее.

И оба они не заметили, что возок начало валять на стороны, клонить и вдруг помчало вниз. Кучер, не в силах поворотить молодых лошадей при спуске вбок, на дорогу, пустил тройку прямиком с горы на речной лед.

Вздымая снег, раскидывая грудью сугробы, вынеслись кони на реку. Лед затрещал, возок качнулся, осел, и хлынула в него черная вода.

Катенька закричала. Григорий Иванович живо распахнул правую, не залитую водой дверцу. Между тонких льдин полыньи, в синей, с лунными бликами, текучей воде бились белые лошади. Коренник держался передними копытами о лед — и вдруг заржал протяжно, жалобно. Левая пристяжка храпела,— только морда ее была видна над водой. Правую затягивало течением.

— Тоне-ем! — вытянувшись на козлах, закричал кучер.

Григорий Иванович впотьмах обхватил Катеньку, как сокровище, высунул ее из возка, говоря: «Не бойтесь, не бойтесь...» Она ухватилась за решетку наверху кузова, подтянулась, возок сильно накренило, и Григория Ивановича залило по пояс.

ВОЗВРАТ

1

Алексей Петрович ехал на самолетском пароходе по второму классу от Рыбинска и вот уже несколько дней, не выходя из каюты, лежал, даже не от расстройства какого, а просто незачем было двигаться и разговаривать,— только пил и спал.

В кармане помятого его пиджачка были завернуты в газету последние сто рублей. Алексей Петрович притворялся, что сам не знает, зачем сел на пароход и едет: казалось, точно с больной собаки лезет с него шерсть клоками, до того было нечисто, гнусно и тоскливо.

После года беспутной жизни Алексей Петрович опустился на последнюю ступень — дальше была только смерть в ночлежном доме, и он чувствовал теперь некоторое удовлетворение, даже приятную остроту: не мучила совесть, ничто не вспоминалось, да и не было времени вспоминать. Проснувшись в каюте, откашливался он, выпивал водки и, присев к столу у зеркала, зевал или раскладывал пасьянс, пока от хмеля опять не одолеет сон...

Перед свадьбой, объясняясь в саду на скамейке, Алексей Петрович сказал Катеньке, что, если бы она охотой шла за него, он бы не женился. Тогда же Катенька поняла, что ему нужна «жертва». Алексею Петровичу действительно нужна была «жертва», но особого рода (это она не совсем себе уяснила): живая, теплая, вечная. Бывают жертвы глухие и бесповоротные, когда человек отдаст всего себя, пропадет и исчезнет, при воспоминании об этом мучает совесть и сам себе кажешься недостойным. Бывают жертвы огненные, радостные, мгновенные, при воспоминании о них жалеешь, что не повторяются они еще раз. Алексей же Петрович мог жить только так: если близ него находилась любящая женщина с измученным сердцем, без воли, всегда готовая отдать всю себя за ласковое слово. Он должен был чувствовать постоянный нежный укор, милую тяжесть, грусть оттого, что не в силах дать ей всего счастья, ко-

торое заслужила она, и в эту любовную меланхолию он погружался с головой, пил ее, как восхитительный, горький, дьявольский напиток.

Таковы были его отношения с Сашей. Когда же она от тихой жертвы перешла к бесповоротной, он пришел в ужас, и Катя тогда показалась ему единственным спасением. Она была любящая, нежная, прекрасная. Князь полагал, что их союз будет — как печальная осенняя заводь,— грустный, последний приют на земле.

Но после пощечины в нем вспыхнула злоба и страсть: пощечина напомнила прошлое, с той лишь разницей, что здесь властвовал, решал судьбу — он.

В первые дни свадебного путешествия Алексей Петрович, словно боясь, что Катенька опомнится и поймет весь ужас их союза, был до оскорбительности вежлив и предупредителен. Но она, сама не ожидая, став женщиной, внезапно и пылко влюбилась в мужа, точно из сумерек вышла на ослепительный свет. Это было жгучее ощущение самой себя, своей женственности, огнем закипевшей крови. Перед этим чувством все прошлое померкло, сгорело,— не стоило вспоминать.

И Катенька втянула мужа в водоворот женского первого чувства. Для Алексея Петровича, так же неожиданно, наступили дни забвения, взволнованной радости, счастливых забот о милых мелочах. Казалось — настала вторая жизнь, когда он видел только глаза Катеньки, полные восторга, почти безумия, когда для него не было ни прошлого, ни будущего, лишь этот взволнованный, бездонный женский взор.

Кружащее голову счастье продолжалось недолго. Алексей Петрович начал понимать, что не выдержит такого напряжения, и растерялся. Произошла первая ссора; Катеньке было оскорбительно и стыдно, что ее влюбленность встретила холод, почти насмешку. Она почувствовала, как они далеки с мужем, точно два чужих человека. Это было вечером, в старом отеле в Венеции. Алексей Петрович стоял у окна, выходящего в узкий канал, красноватый от дождевого заката. Катенька лежала на диване и плакала.

— Ради бога, Катюша, перестань, никакого несчастья не произошло,— негромко говорил Алексей

Петрович.— Ты хотела меня поцеловать — я был рассеян. Вот и все. Я думал, что мы в конце концов ничего, кроме ресторанов, так и не осмотрели толком в этой Венеции. Ты согласна? Просто, я думаю, в сумерки тебе взгрустнулось. Или мы устали...

Все это было верно, и плакать не стоило.

Но Катенька сама не знала, отчего ей так печально, словно солнце ушло навсегда за далекий край моря и теперь всю жизнь будет вот так же безнадежно и сумеречно.

Внизу бесшумно скользила черная гондола. Князь, облокотясь о подоконник, глядел, как узкий нос лодки разрезает красноватую воду. Сидящая в гондоле дама опустила лорнет и, подняв лицо, обернулась к лодочнику. Алексей Петрович узнал Мордвинскую.

Он отшатнулся от окна и взглянул на Катю. Она сидела теперь опустив лицо. В сумерках белел платочек на ее коленях. Алексей Петрович почувствовал острую жалость к этой чистой и милой, так ничего и не понявшей молодой женщине. Он опустился на колени перед диваном, взял ее руку и прижался губами, но рука ее была неподвижна и губы его холодны. Ему стало ясно, что не ее он любил, а ту, и никакой жертвой не затопить той любви.

На другой день Краснопольские уехали в Рим, потом в Геную, в Ниццу, в Париж.

Алексей Петрович не мог достоверно сказать, была ли то Мордвинская, скользнувшая, как призрак, в черной гондоле, обмануло ли его случайное сходство. Но все равно, в нем распахнулась дверь в тайник, наглухо запертый и позабытый с той ночи, когда Анна Семеновна опутала его паутиной ласк, отравила поцелуями. Он знал теперь, что все это время обманывал себя, и обман, так ловко возведенный, рухнул от одного взгляда женщины; что все, даже удар хлыста по глазам, он простит и забудет за встречу с Мордвинской; что нет у него ни воли, ни гордости, только измученное сердце, каждую минуту готовое залиться смертельным пламенем любви.

Ему стало вдруг безразлично, уйдет ли Катенька от него, или до конца дней будет страдать под боком, или,

как Саша, принесет глухую жертву. Она молчала, грустила, но еще не решалась спросить, отчего он так внезапно переменился.

В Париже Алексей Петрович иногда на целые дни оставлял Катеньку одну в отеле. Она садилась к окну и ждала. Внизу, на площади Оперы, скрещивались потоки экипажей, перебегали люди, слышались гудки, свистки, шумы колес, говор. Только малое пространство отделяло ее от этой суеты, но одиночество, обида чувствовались еще острее.

Алексей Петрович возвращался несколько раз очень поздно. Катенька с тоской глядела в его похудевшее лицо с измученными и словно невидящими глазами. «Не люблю, не люблю, все равно, пускай пропадает»,— повторяла она, стискивая пальцы. Князь просил извинить его, объяснял, что бродил весь день по городу, и слова его были смутные, сбивчивые, непонятные... Потом он ложился в постель, протягивал руки поверх одеяла и закрывал глаза, притворяясь, что засыпает.

Катенька уловила из этой путаницы только одно — что муж настойчиво пытается встретить кого-то, заходит в рестораны, театры, кабачки, магазины, сидит в людных кофейнях, бродит по бульварам. Катенька пыталась узнать, кого он ищет, умоляла, грозилась и плакала, но князь молчал. Однажды под утро, глядя в позеленевшее от рассвета лицо его с ввалившимися, тусклыми глазами, Катенька села на постели, обхватила голову, проговорила:

— Не понимаю, ничего не понимаю... Все это безумие какое-то... Ложь, ложь, ложь!..

— Да — безумие и ложь, Катя...

Катенька более не сдерживалась, гордость ее была сломлена. Соскочив с постели, она босиком подбежала к окну и крикнула, что, если он еще хоть раз оставит ее одну в этой комнате, она выкинется на улицу под экипажи. Отчаяние ее было так велико и неожиданно, что Алексей Петрович будто опомнился, начал успокаивать Катеньку и сказал с усилием, что пора — нужно ехать домой, в Россию.

Произошло все это оттого, что по приезде в Париж Алексей Петрович пошел в посольство и там ему ска-

зали: «Мордвинская вдесь, и одна, но адрес ее не известен». Тогда он стал искать Анну Семеновну по всему городу и действительно видел ее два раза издали, но подойти не мог: она была с каким-то рослым молодым человеком, по виду — содержателем скаковой конюшни.

За последнюю неделю Алексей Петрович не встречал ее больше нигде: должно быть, уехала на юг, в Биарриц или Ниццу, где начинался сезон.

В Петербурге была уже осень. Над городом тащились мокрые облака. В воздухе пахло железом. Прохожие, деловитые и злые, с испитыми от неврастении лицами, не раскрывали даже зонтиков — до того все привыкли к мокроте: пусть льет.

В один из таких дней Краснопольские с Варшавского вокзала проехали на Морскую в гостиницу. Катенька не хотела было останавливаться, но Алексей Петрович сослался на дела, и начались томительные и однообразные дни. Лил дождик, весь день горело желтое электричество в номере, князь отлучался ненадолго, остальное время проводил на диване,— то молчал, то раздражался на мелочи, то уговаривал Катеньку поехать с визитами к родным, но от этого она отказалась наотрез. Однажды Алексей Петрович ушел поутру и не вернулся ни днем, ни ночью, ни на следующий день.

Случилось вот что. Выйдя утром из гостиницы, Алексей Петрович, как всегда, взял извозчика и поехал на Шпалерную. Поравнявшись с домом Мордвинских, он от волнения закрыл глаза: вчера еще замазанные мелом, окна были вычищены, подняты шторы, и в глубине залы светилось несколько электрических лампочек. Алексей Петрович отпустил извозчика на углу и вернулся к подъезду. Сердце у него билось так, что надо было придерживать его рукой. Он позвонил, вошел в дом и передал лакею карточку. О том, что будет дальше — выйдет муж или она сама и как он в том или ином случае поступит,— князь не думал.

Лакей долго не приходил. «Негодяй, нарочно держит меня в прихожей»,— подумал князь. Лакей появился в глубине комнат и оттуда поглядел на князя — нагло, конечно,— и скрылся. Кровь бросилась в голову Алек-

сею Петровичу, он взял с подзеркалья черную женскую перчатку и, дернув, разорвал пополам. Лакей снова появился, с пестрой метелкой, смахивая походя пыль. «Дурак!» — закричал Алексей Петрович, и голос его покатился по комнатам. Откуда-то позвонили, лакей исчез, и князь, со всей силой махнув парадной дверью, выбежал вон.

На улице моросил дождь, облака тумана тащились по крышам, и ржавый воздух проникал в кости. Алексей Петрович медленно двигался по тротуару. Он предвидел все, но только не лакея с метелкой.

«Теперь поскорее забыться,— подумал он.— Но только куда-нибудь погрязнее». Он ясно понял теперь, что это — конец, полтора года страшного напряжения разрешились метелкой и ржавым дождем. Иного, конечно, и нельзя было ожидать, потому что сам он — маленький, хилый, ничтожный, и, если пойдет дождь посильнее, смоет его дождем в канавку сбоку тротуара, унесет в подземную трубу. Тогда он вспомнил о Кате: «Нет, нет, до нее далеко. Нельзя. В трактир куда-нибудь».

На перекрестке оглянулась на него страшная, точно обсыпанная мукой, женщина в мокром боа.

— Что вы какой серьезный, миленочек? — прохрипела она и позвала к себе.

Князю стало до тошноты противно, и он сейчас же пошел за ней.

Женщина привела его в ободранную, затхлую комнату. Алексей Петрович, не снимая пальто и шапки, сел у непокрытого стола и глядел на фотографии каких-то вольноопределяющихся, прибитые над красным рваным диванчиком. Сквозь щель в двери была видна вторая женщина, полураздетая, с распущенными волосами. Заметив, что князь на нее смотрит, она показала изъеденные зубы и вышла. За ней появился рослый парень в малиновой рубахе, кудрявый, с мешками под глазами. На ремне через плечо у него висела гармонь. Он поклонился, тряхнул кудрями и, поставив ногу в лаковом сапоге на стул, перебрал лады.

— Да, да, пойте,— сказал князь.— Я заплачу.

Женщина с распущенными волосами подобрала

сзади канареечный капот, щелкнула пальцами и запела — неожиданно басом. Князь оглянулся на нее и взялся за бутылку, неизвестно как попавшую на стол. Набеленная женщина подсела к нему и стала глядеть в рот. Глаза у нее были без ресниц, слезящиеся. Она поправила слежавшуюся прическу, и из-под накладных волос у нее вылез клоп.

Князь гадливо усмехнулся, сказал: «Хорошо» — и выпил полный стакан. Вино сильно ударило в голову. Женщина гудела басом: «Не разбужу я песней удалою роскошный сон красавицы младой...» Князь пил стакан за стаканом сладковатое и тошное вино. Звуки гармони звучали все отдаленнее. Он привстал было, чтобы сорвать, наконец, этот страшный шиньон, полный клопов, но пошатнулся и, хватаясь за женщину, повалился на пол.

Проснулся он в незнакомой, но не вчерашней комнате, на железной кровати. Голова мучительно болела. Долго, сидя на грязном тюфяке, вспоминал он вчерашнее, потом, пошатываясь, вышел в прихожую. Там валялись узлы, баулы и на стуле стоял портрет какого-то генерала. На шаги князя отворилась кухонная дверь, в щель высунулась сморщенная старушка, поглядела и скрылась. Князь вышел на парадное,— дом был многоэтажный и каменный, а тот — деревянный. «Черт знает, что такое»,— сказал он и долго брел пешком, не в силах ни позвать извозчика, ни сообразить, куда идти. Пробежал впереди фонарщик, и один за другим зажглись фонари. Алексей Петрович, глядя на желтые отблески под ногами, замотал головой и в тоске прислонился к сырой стене. Потом полез в карман за папиросами, но ни папиросочницы, ни бумажника не оказалось.

Второй раз вспомнил он о жене. И теперь отметил с удивлением: до того уж загажен, измят и нечист, что думать о ней стало легко и сладко. Мордвинская же словно исчезла из памяти, образ ее расплылся в уличной грязи; должно быть, все, что было связано с ней, отжило в эту омерзительную ночь. И это наполнило его радостью, точно была окончена часть тяжелого пути, самое трудное и мучительное миновало.

Забрызганный грязью, промокший, но спокойный, Алексей Петрович добрался, наконец, до гостиницы. Швейцар не узнал его, и князь рассмеялся: значит, сильно переменился за эту ночь. Перед дверью номера он снял помятый цилиндр, ладонью пригладил волосы и постучал.

Катенька, закутанная в белый пуховый платок, стояла посреди комнаты. Лицо ее было совсем бледное, глаза огромные, сухие.

— Где ты пропадал? — спросила она, оглядела его и отвернулась.— Какой ужас!

Не отходя от двери, князь проговорил:

— Милая Катя, я весь мокрый, сесть не могу, испачкаю все у тебя... Но это именно очень хорошо, что так все случилось.— Он переступил с ноги на ногу и усмехнулся.— Встречу ли я тебя еще когда-нибудь — не знаю. Но теперь я спасен, Катя.

— У вас бред; вам нужно в постель,— поспешно проговорила она.

— Нет, нет, ты думаешь — я пьян? Я сейчас все тебе объясню.

Князь, вздохнув, оглядел комнату, посмотрел на грязные свои сапоги, потом, на одно мгновение, с огромной нежностью, почти с мольбой, взглянул Катеньке в лицо, опустил глаза и стал рассказывать все по порядку, начиная с видения на венецианском канале.

Слушая, Катенька подошла к дивану и села,— ноги не держали ее. Она поняла все, вплоть до сегодняшнего утра. Но то, почему и как исчез из сознания князя образ Мордвинской, осталось для нее неясным. Алексею же Петровичу только *это* и было важно сейчас. Он говорил о себе так, словно был уже новым человеком, а тот, вчерашний, чужой и враждебный, отошел навсегда. Ему все это представилось до того ясно и хорошо и было так ясно и хорошо на душе, что он никак не мог понять, почему Катенька с такой злобой смотрит ему в лицо.

— Ну, а обо мне-то вы подумали? — крикнула, наконец, она, и лицо ее порозовело.— Мне что теперь делать? Мне как жить с вами?

— Тебе? Ах да...

Действительно, весь этот разговор клонился к тому, что Катенька вот сейчас, в это мгновение, должна была принести огненную жертву, отдала бы всю свою чистоту, всю чудесную силу женщины, наполнила бы ею опустошенную душу князя.

Алексей Петрович понял это. Стало противно, как никогда: кто же в самом деле он — упырь? Только и жив чужой кровью — нажрется и отвалится.

— Катя, я ухожу от тебя, навсегда. Потом ты все, все поймешь,— проговорил он, и вдруг страшный восторг охватил его, голос оборвался.— Милая моя... Помни, помни: что бы ни было — я всегда верен, верен, верен тебе до смерти. Прощай.

Алексей Петрович поклонился низко и вышел. В тот же день он выдал жене векселей на всю стоимость именья и полную доверенность на ведение дел. Себе же взял только несколько тысяч. И в ту же ночь уехал в Москву.

Алексей Петрович не знал хорошенько, что будет делать в Москве. Поселился он в плохонькой гостинице и первые дни ждал, что та минута страшного восторга повторится, разольется в чудесную долгую радость. Но понемногу становилось ясно, что чуда неоткуда ждать, а прошлая жизнь, на минуту отпустившая, висит над головой, каждую минуту готовая снова придавить. Тогда настали дни невыносимой тоски, тем более острой, что не виделось иного выхода, кроме смерти. Вернуться к жене было невозможно. Да князь и не знал, где Катенька, что сталось с ней после его ухода.

Тоска усиливалась. Можно было почти указать, где находится она— посреди груди, под средней косточкой. В этом месте с утра начинало сосать, к вечеру же словно наваливался жернов. От рюмки вина боль ослабевала. Князь начал пить коньяк, потом перешел на водку. Тогда появились знакомые, довольно странные по виду, но все хорошие люди. Имен их князь не запоминал, а лица под конец дня все равно расплывались, трудно было отличить мужчин от женщин, да и не все ли это

равно. Часто играли в карты. Князь проигрывал, и денег у него осталось немного.

Во время этого чада — забвения всего — мелькнула одна встреча, незначительная, но запомнившаяся. Князь проходил днем около Иверской. Часовня была словно островом, где на минутку отдыхали прохожие, снимая шапку, крестились, глядели на темный лик, на свечи. Князь тоже остановился и начал вспоминать молитвы, но ни одной не вспомнил, только смотрел на переливающиеся огоньки, на теплые отблески ризы. Сзади в это время веселый голос произнес: «Христа ради прохожему, милый человек». Князь достал мелочь и обернулся. Перед ним стоял монашек и улыбался, лицо его было рябое, тощее, и на нем — светло-синие ясные глаза. Князь посмотрел в них и тоже улыбнулся,— показалось, будто монашек знает что-то очень важное, что и ему непременно нужно узнать...

— Вот медяки,— сказал Алексей Петрович,— а приходи ко мне — я тебе рубль дам.

Приходил ли монашек к нему, князь не помнил хорошенько, но, кажется, мелькнули на одно мгновенье среди играющих в карты, за облаками табачного дыма, пытливые синие глаза.

Настала весна. Князю очень хотелось думать о Катеньке, и чтобы не делать этого, он еще сильнее, беспробуднее пил. Однажды к нему в номер явился купчик, назвался волжанином, будто бы знавшим князя по имению, бойко выспросил про положение Алексея Петровича и рассказал между прочим о происшедшей зимою напротив Милого катастрофе.

Из путаного рассказа купчика все же можно было понять, что произошло тогда, зимней ночью, на берегу Волги.

Возок слетел с горы в полынью, погрузился до половины, но не опрокинулся, поддерживаемый коренником, который уперся передними ногами о лед. Кучер успел перерезать вальки, одна пристяжная ушла под воду, другая еще билась. Кучер по оглоблям пробрался на коренной лед, ухватив за хвост, помог выбраться пристяжной, вскочил на нее и погнал через реку за народом в Милое.

Катенька лежала на верху возка в забытьи. Григорий Иванович, стоя на отводе, по пояс в воде (козлы тоже были затоплены, а взлезть наверх он побоялся, должно быть), обхватил Катеньку, положил голову на ее грудь и глядел в открытые ее глаза.

Снег повалил опять, окреп ветер. Вдоль реки дымом несло поземку, и снежной пылью стало засыпать у Катеньки словно мертвое лицо. Это было так страшно, что Григорий Иванович поднял голову и закричал. Забился и коренник, ослабевая. Возок раскачивало ледяным ветром. Катенька вдруг привстала, спустив ноги в тонких чулках, огляделась, всплеснула руками, обхватила голову Григория Ивановича и прижала к себе, словно боясь отпустить. Так просидели они молча, покуда из Милого не прискакали с веревками и шестами работники. Спешась у полыньи, они думали, что княгиня и доктор застыли, но потом заметили, что Екатерина Александровна немного поворачивает голову, следя, как накладывают шесты, закидывают веревки за возок и тянут на лед верного коренника.

Но вдруг произошло непонятное: совсем уже у края коренного льда, когда крепкие руки мужиков ухватили княгиню, Григорий Иванович поднял голову, раскрыл рот, и все слышали, как проговорил он коснеющим языком: «Не надо, не трогайте»,— потянулся за Катенькой, застонал и, не сгибаясь, рухнул с воплем в воду и сейчас же ушел, будто каменный, под лед.

Княгиню положили в сани, завалили тулупами и доставили в Милое. На другой день Александр Вадимыч перевез дочь к себе.

В этой истории Алексея Петровича особенно поразила гибель доктора Заботкина. Чем больше он раздумывал, тем ясней становилось, что гибель была не простая, не случайность, а восторг смерти, жертва.

Все эти мысли очень волновали. Князь не был даже уверен, жива ли Катенька. Оставаться в Москве казалось немыслимым. Он завернул в обрывок газеты последние сто рублей и поехал на Ярославль. Там сел на пароход.

Одно время он решил было пробраться в село близ

Милого и там разузнать о Кате, но потом раздумал. Просто нужно было проехать мимо Милого, вздохнуть один раз *тем* воздухом, а потом — наплевать, хотя бы смерть от белой горячки.

2

Алексей Петрович лежал на боку в одноместной каютке, обитой жестью и выкрашенной под орех. Около двери бежала вода в раковину. Дрожали жалюзи. Солнечный свет, отражаясь в реке, проходил сквозь щели жалюзей, играл на белом потолке зыбкими зайчиками.

На столике перед зеркалом стоял графин с водкой и тарелки да еще табак в газетной бумаге, на полу — раскрытый чемодан, почти пустой, и пальто в ногах.

Усыпителен в летний зной мирный стук машины, и легко дремать на мягкой койке, обдуваемой ветром через окно. Алексей Петрович похрапывал, лицо его было розовое, как у пьяниц. Он почти ничего не ел за последнее время, только пил, щипля невкусную пищу. Когда же слишком начинал жечь алкоголь и пересыхало во рту, он, морщась, просыпался, протягивал руку за бутылкой с квасом, отхлебывал и повертывался к стене, подогнув колени.

На реке есть хочется ужасно, и, кажется, не успели отобедать, а уже зовут к полднику. «Недурно бы теперь солененького»,— подумал князь, когда услышал стук в дверь каюты, и сказал спросонок:

— Ау,— и приоткрыл глаз.

В дверь опять постучались. Князь проговорил дребезжащим голосом:

— Приготовь-ка мне, дорогой, похолоднее графинчик да что-нибудь там...

«Что-нибудь солененькое — это хорошо,— подумал он,— под тешку малосольную с хренком можно выпить».

Но стук в дверь продолжался.

— Что тебе нужно, черт? — воскликнул Алексей Петрович, спуская с койки ноги, и отомкнул задвижку.

Дверь осторожно раскрылась, и вошел монашек с

косицей и в скуфейке. Кончики пальцев он держал в рукавах подрясника.

— А ты говоришь — черт, — проговорил монашек. — Здравствуй! — и низко поклонился, потом с улыбкой осмотрел беспорядок в каюте.

Князь с испугом глядел ему в синие-синие ясные глаза на рябоватом и мелком лице. Да и весь вид монашка был мелкий и не то что потрепанный, а казалось, трепать-то в нем нечего было.

— Я за милостыней, — продолжал монашек. — Капитан у нас хороший человек: «Ладно, говорит, проси, только не воруй». А мне зачем воровать, когда и так дадут. Про тебя он сказал — запойный. А ведь ты не совсем запойный, а? Уж тебя-то я хорошо знаю.

Он сел рядом и руки положил на колени Алексею Петровичу; князь отодвинулся, тараща припухшие глаза.

— Кабы не тоска, человек должен в свинью обратиться. Ведь так, милый? — спросил вдруг монашек.

Алексей Петрович кивнул головой, коротко вздохнул и ответил:

— Хуже, чем я, жить нельзя! — Потом спохватился и сказал сердито: — Послушай, я тебя не звал, ты зачем затесался? Уйди, пожалуйста, и без тебя скучно.

— Ни за что не уйду, — ответил монашек. — Ты, я вижу, совсем поспел. Нет, я от тебя не отстану.

Алексей Петрович тряхнул головой, все у него перепуталось и поплыло. Потом проговорил тоскливо:

— Неужели ты мне представляешься? Да, значит, очень плохо. Послушай, ты водку пьешь?

— Зачем ее пить?

Алексей Петрович опять поднял мутные глаза, — лицо монашка словно плавало по каюте.

— Пей! Убью! — заорал Алексей Петрович не своим голосом. Но монашек продолжал улыбаться. Князь, обессилев, лег и закрыл глаза.

— Ай-ай-ай! Дошел же человек до чего! — Помолчав, монашек проговорил неожиданно громким и резким голосом: — А я тебя другим хмелем напою. От моего хмеля сыт будешь, и сыт, и жив... Слушай меня... Много тебе было дано, а ты все растерял. Но ты для

того растерял, чтобы не многое найти, а вечное. Встань и, куда прикажу, туда пойдешь.

«Не кричи, все сделаю, ушел бы лучше»,— подумал князь. Монашек нагнулся над Алексеем Петровичем и погладил его по голове. Князь опять зажмурился.

— Милый, идем со мной,— продолжал монашек.— Верно говорю — обрекись. Скоро к *Ундорам* подойдем, там и слезешь; меня найдешь на берегу. Подумай хорошенько да приходи. Понял?

Он постоял тихонько, потом, должно быть, вышел,— щелкнула дверная щеколда.

Алексей Петрович продолжал лежать, с натугой собирая мысли, чтобы сообразить — действительно ли говорил с ним сейчас человек, или только привиделся?

Так прошло много времени. Зайчики на потолке давно погасли, в каюте становилось все темней, и скоро над зеркалом, раскаляясь, сама зажглась лампочка.

— Ерунда,— сказал князь.— Вчера вот тоже мне жокей какой-то мерещился в желтом картузе.

Он слез с койки, взглянул на себя в зеркало и, с трудом волоча ногу, поплелся в рубку второго класса, где и сел в уголок, ни на кого не глядя, а чтобы не слышать разговоров, облокотился о стол, прикрыл уши ладонями. Лакей принес холодный графин с водкой и севрюжку. Князь налил запотевшую рюмку, поперчил, медленно выпил и, выдыхая из себя винный дух, покосился на рыбу.

Пароход в это время заревел и стал поворачивать. Штору в окне надуло, за соседним столом сказали уверенно:

— *Ундоры*...

Алексей Петрович сейчас же вскочил и спросил негромко:

— Неправда? — потом вышел на темную палубу.

Поворачивая к пристани, пароход взволновал черную воду. Из-под борта, освещенная иллюминатором, вынырнула лодка с двумя мальчишками: один греб, другой играл на балалайке. Лодка скрылась в темноте.

Князь, прислонясь к столбику перил, глядел, как приблизилась конторка, как бросили чалки на загремевшую крышу, как матрос и трое оборванцев навели

мостки и, широко ступая, сбежали по мосткам грузчики в мешках, накинутых, как клобуки, на голову.

Потом из пароходного нутра повалил народ с котомками и сундучками за спиной, суя матросу билетики.

Алексей Петрович внимательно вглядывался и вдруг вздрогнул, приметив среди мужиков и баб знакомые глаза, но их сейчас же заслонил тюк с шерстью.

Князь поспешно сошел вниз, втерся в толпу и, кусая губы, нетерпеливо оглядывался.

С конторки он поспешил на берег, где с фонариками перед лотками сидели бабы, крича и тыкая в проходящих то жареным поросенком, то булкой.

На прибрежном песке Алексей Петрович совсем запутался в толкотне среди мешков и поклажи. Он помнил только, что необходимо ему найти кого-то и спросить: что делать дальше? Один раз показалось, будто кто-то очень знакомый наклонился над лотком. Потом вдалеке, между телег, будто помахали ему рукой.

— Заманиваешь,— прошептал Алексей Петрович и обходом, нагнувшись, побежал к возам.

Пароход в это время заревел и, отвалив, потушил огни.

3

— Эй, подождите, постойте! — ковыляя к мосткам, кричал Алексей Петрович уходящему пароходу.

Дорогу ему преградил коренастый крючник.

— Ай, баринок, пароход-то ушел!

Подошел матрос, бабы-торговки и озабоченный мужичок с козлиной бородкой. Окружив князя, все стали спрашивать: куда он и откуда едет? Не оставил ли денег на пароходе? Женатый ли? Охали, качали головами. Озабоченный мужичок всех больше хлопотал, будто он-то и остался, а баба одна, подсунувшись к самому носу Алексея Петровича, заявила вдруг, радостно удивясь:

— Да он пьяный!..

Тогда все успокоились и уже душевно начали относиться к Алексею Петровичу.

Но князю тошно стало от этих бестолковых расспро-

сов, и он, протиснувшись сквозь народ, пошел прочь по берегу.

«Упаду где-нибудь и умру, и хорошо,— подумал он.— Никому я не нужен, пойду, покуда сил хватит. Как жалко, ах, как жалко! Вот чем окончилась жизнь».

Алексей Петрович шел сначала вдоль песчаного берега, на который медленно находили невидимые волны, поднятые пароходом. Но скоро стрежни изрезали песок, князь споткнулся и повернул от реки на холм и в луга.

Только теперь, с трудом взобравшись наверх, увидел он частые звезды над головой. Трава была уже покошена и собрана в копны. Он постоял, слушая бульканье перепела невдалеке, и пошел быстрее,— не то, что у реки, где в песке увязали ноги.

«Куда я тороплюсь, будто гонятся»,— наконец подумал он и вдруг сообразил, что ни разу еще не оглянулся. Он до того испугался, что тотчас присел и медленно, из-за плеча, поглядел назад.

Позади, из-за холма, на сероватое от звезд поле поднималась темная фигура монашка в остром колпаке.

«Гонится,— подумал Алексей Петрович.— Надо спрятаться»,— и, пригибаясь к земле, быстро пробежал до первой копны и лег в сено, поджал ноги, стараясь не дышать. От увядающего сена пахло беленой и диким луком. Алексей Петрович задыхался. Вдруг монашек быстро прошел мимо,— его глаза словно блеснули синим светом.

«Вот так черт,— подумал князь в страхе.— Я пропал! Увидит или нет? Прошел, слава богу... Нет, опять повернул. Обходит, как зверя... Только бы не закричать... А может, опять представляется: я в каюте лежу и вижу сон?.. Нет, вот земля, вот сено... А вот звезды. Милые звезды, я всегда вас любил... Господи, вот я сейчас верю в тебя».

Алексей Петрович, схватясь за сердце, повернул голову и застонал. А в это время монашек, выйдя из-за копны, присел над ним и погладил по плечу. С воплем вскинулся князь и тотчас упал навзничь. Широко открытые глаза его были безумны.

— А ты не бойся,— негромко сказал монашек.—

Видишь, как тебя перекорячивает. Зачем от меня прятался, а?

— Не буду больше,— с трудом проговорил Алексей Петрович.— Теперь я вижу, что это ты, от Иверской. Как ты велел, так я и сделал...

Монашек улыбнулся, а князю опять показалось, будто усики у него раздвинулись и выскочил из-под них язык, как у ящерицы,— выскочил и спрятался...

Князь тотчас поднялся и побежал было, но монашек словил его и, вновь уложив на копну, сказал:

— Вот дурашный, ей-богу. Нечего делать, поспим и на траве. А я было сначала норовил с возами устроиться, на возах бы и выспались... Ну-ну, подремли, голубчик, а я тебе спою.

Он лег в сено рядом с князем и немного погодя запел тонким, протяжным голосом:

Задремал я, маменька,
В пору вещих снов.
Видел — будто по степи
Конь меня разнес.
Спала моя шапочка,
Сам я неживой...
Видно, не уйти мне
От судьбы лихой...
Отвечает матушка:
— Чей-то скачет конь,
На коне невеста,
В белом убрана,
В белом убрана,
Не твоя ль жена?

4

Когда утреннее солнце забралось под закрытые веки, Алексей Петрович проснулся и, приподнимаясь на руках, застонал — до того всего разломало.

Рядом в сене сидел монашек, разложив перед собой на полотенце ножик, хлеб и две луковицы.

Белыми зубами он грыз третью луковку. По рябоватому лицу его, у голубых глаз и под ощипанными усами, играли смешливые морщинки.

— Прошла одурь-то? — спросил он.— На, хлебни, для тебя припас,— больше не дам, ей-ей...

Он снял скуфейку, вынул оттуда и подал Алексею Петровичу пузырек, где было на глоток теплой водки. Алексей Петрович взял пузырек, с натугой вспоминая, что случилось. Когда хлебнул — память прояснилась, побежала быстрее кровь. Князь поднялся, оправляя измятое платье, потрогал шею, натертую воротничком, расстегнул его и бросил.

— Душе легче,— сказал монашек.— Ну-ну, похлебай теперь вольного воздуху,— видишь, какой ты желтый.

— Постой,— спросил Алексей Петрович,— ты меня с парохода увел?

— Я.

— Зачем? Ведь я по делу ехал.

— Пустяки, какие у тебя дела.

— Зачем же ты меня увел?

— Жить. Чего же другое летом-то делать. А работать — ты не работник,— хилый и хромой. Вот зимой холодно. Зимой, милый, я норовлю в острог попасть. Пачпорт запрячу, явлюсь и говорю: не помнящий, мол, родства, и места жительства нет! Меня и кормят,— а к весне объявлюсь. Тоже били не раз за такие дела. Так-то.

Алексей Петрович слушал внимательно, сдвинув брови: неприятным казался ему монашек, но была в его словах ясность и сила. «Ну его к черту,— думал князь.— А что дальше, если и его к черту? Опять на пароход? Да куда же ехать? И зачем? С ним разве пойти? Смешно все-таки: мне вдруг — и шататься по дорогам».

— А знаешь ли ты, с кем говоришь? — спросил Алексей Петрович, прищурясь.

Монашек подмигнул лукаво:

— Да будь ты хоть король турецкий, мне все равно.

«Черт знает, ерунда какая,— подумал князь.— Кажется, действительно пойду с ним бродить. Где-нибудь и сдохну. Король турецкий!» И он сказал вяло:

— Ну, расскажи еще что-нибудь. Как же мы бродить будем?

Так они и пошли по скошенному полю, направляясь за дальний лес, над которым высоко клубились белые облака.

Облака медленно выплывали из-за леса, поднимались над полем, гоня под собою прохладную тень, и, обогнув небо, ложились кучами у противоположного края земли. Солнце стояло уже на девятом часу. В сизой дали играла искрами по всему водному простору синяя река, уходя за меловые холмы.

— Поди меня отсюда выгони,— сказал монашек, обертываясь к реке, потом к лесу.— Ничего не выгонишь. Я, как суслик, имею законное право жить где угодно. А знаешь, как суслики живут?

И он принялся рассказывать, как живут суслики. Поймал кузнечика и попросил у него дегтю. На вылетевшего из-под ног перепела захлопал в ладоши.

— Вот я тебя, кургузый!

Алексей Петрович шел, немного отставая, и щурился: ему начало казаться, что скоро кончится земля и они пойдут по хрустальному воздуху до облаков и еще выше, туда, где только ветер и солнце.

Скоро он устал идти и, присев у дороги, попросил есть.

«Удивительно, удивительно,— думал Алексей Петрович, после еды ложась навзничь.— Небо какое голубое. Пойти и странствовать в самом деле,— ведь бродят же по свету люди... Ветром выдует все лишнее, да, да,— ветер и облака! А что били меня, так и монашка били. Постой, постой, что он мне сказал у Иверской? Конечно: это странствие тогда же и началось, и свобода эта, и легкость, и весь мир как хрустальный. Удивительно — ничего не помнить, ни к чему не привыкать...»

К вечеру они вошли в лес, а ночевали на соломе в клети у бабы, которая спросила только:

— А вы не жулики будете?

Утром они опять побрели в поля. С обеих сторон волнилась спеющая рожь, в нее из-под ног прыгали кузнечики. Алексей Петрович стал жаловаться на ноги. Монашек снял с него башмаки, спрятал в мешок, а ноги князю обмотал шерстяными онучами,— в них идти было легко и мягко. Алексей Петрович делал все, что говорил ему монашек, и, прихрамывая, с палочкой, шел и думал, что вся жизнь теперь осталась позади, в той желтой каюте, а здесь перед лицом только ветер шумит по

хлебу, ходят вдалеке столбы пыли, на меже — телега и около нее — дымок, а за сизой, волнующейся, как призрачное море, далью, невидимая отсюда, живет Катя.

— Знаешь, у меня здесь сестра живет, зовут — Катя,— сказал однажды князь, лежа во ржи и поглядывая, как в небе над головой покачиваются золотые колосья.

— И к ней, и к ней зайдем,— ответил монашек.— Лето долгое, а человек, милый, подобен облаку; сказано: возьми посох и ходи,— чтобы ты к дому не привыкал, не набирался подлости.

Но Алексей Петрович не дослушал до конца этого рассуждения,— он повторял только про себя, что «к ней, и к ней» они зайдут — и непременно вместе.

Монашек избегал больших сел, где живут становой или урядник, и князю приходилось ночевать то в овраге, где поутру над головой кричат острокрылые стрижи, то на гумнах хуторов или под телегой в поле.

И дивился сам себе Алексей Петрович, почему не противно ему ни вшей, ни грязи, ни конского навоза, когда, усталый, валился он куда ни попало и наутро вставал веселый и свежий.

Повсюду путников принимали попросту, не спрашивали, кто они, а больше слушали рассказы монашка и понимали их по-своему: кто засмеется, не поверив; кто подивится, «как свет велик»; кто только головой покачает; а баба какая-нибудь вздохнет, сама не зная отчего. Князя называли «баринок» и жалели, и Алексей Петрович удивлялся также, как много этой жалости на свете у простых людей.

— Много так-то нашего брата по дорогам шляется,— однажды сказал монашек.— Живет человек, все у него есть, а скучно. Я сам через это прошел. Водку пил — ужасти. Лежу, бывало, на полу, около меня четверть и стакан, не ем ничего, только пью, и весь черный. До того допился, видеть стал — лезет из-под кровати лошадь с рогами, морда птичья, а сама голая. Долго я маялся. Многое было. А другой до того дойдет — бац себя из пистолета, здорово живешь! Сколько их на себя руки накладывают. А то с тоски есть которые и людей режут, ей-богу. Представится ему, что ужо,

как и сегодня будет: поест, поспит и помрет потом. Остается блудить без ума, чтобы проняло, как иголкой, блудом. Отчего же в таком положении человека ножом не пырнуть?.. Очень просто, коли захотелось до смерти. Ну, а иные, которым себя-то уж больно жалко, уходят. Немало и я увел. Со мной прошлое лето, вроде тебя, товарищ увязался. Походил, походил, а потом взял да на себя и донес в убийстве.

— Верно все это, верно, — ответил Алексей Петрович (разговаривали они под прошлогодним ометом, на пригорке, глядя вниз на село, обозначившее темную линию крыш, скворечен и труб на закате). — Я вот, кажется, понимаю теперь, зачем хожу. Может быть, чище стану, и тогда... — Он вдруг замолчал, отвернулся, и глаза его наполнились слезами. Чтобы скрыть волнение, он окончил, тихо смеясь: — А ведь ты весь век бродишь, как лодырь, настоящий лодырь.

— Я считаю за пустяки подобные разговоры, — ответил монашек. — Всякому свое: бывают и такие, что, сидя у себя на стуле, большое веселье чувствуют, а есть и такие, что по городу на извозчике с гармоньей ездят и тоже много веселятся. Не это плохо, а то, что у человека муть в голове. А я, может быть, тоже от своей совести бегаю?.. Ты почем знаешь?

На десятые сутки подошли они опять к Волге. После разговора под ометом не пел больше монашек песен, а все думал, глядя под ноги. Думал и Алексей Петрович, ясно и радостно. Казалось ему, что все прошлое было наваждением, как душный бред, а вот сейчас он идет во ржи, под солнцем, — и любит, любит так, как никогда не любил...

В приречном селе, в тридцати верстах от Милого, монашка задержал урядник, а у князя посмотрел паспорт, покачал головой и сказал:

— Ну ладно, ступай. Только у нас не разрешается без занятий гулять... Да смотри, сукин сын, если еще попадешься, — в остроге сгною.

Алексей Петрович взял паспорт и ушел за село — в дубовую рощу, на речной берег. Когда настала ночь, на той стороне по горам, как звезды, засветились огни губернского города.

Тишина в роще, шелест и шорох реки и эти мигающие огни были знакомые и кроткие. Лежа в темноте на траве, Алексей Петрович плакал, думая: «Милая Катя, родная моя жена».

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

1

Вечером следующего дня у гостиницы Краснова, где помещался городской театр, был большой разъезд. Дождик смочил асфальтовый тротуар, освещенный матовым фонарем. Из подъезда, как в трубу, валил народ, разделяясь на тротуаре: кто спешил домой, кто в ресторан, кто оставался еще поглядеть на дам и на барышень.

Помещики из медвежьих углов распихивали публику крутыми локтями, говоря: «Виноват-с»; помещики-земцы вежливо сторонились, толкуя об идее пьесы; когда вышел предводитель, образец английского воспитания, соединенного с дородностью, швейцар, покинув двери, крикнул отчаянно: «Коляску!»

Чиновники, стоя по бокам подъезда, с любопытством разглядывали знать; гимназисты в картузах прусского образца сбились у самых дверей, чтобы видеть лучше барышень и знаменитой актрисе, которая давала спектакль, крикнуть «бис».

Дамы и барышни, чиновницы и купчихи, накинув шарфы и шали, ступали, приподнимая юбки, на сырой тротуар.

Наконец в дверях появились Волков и Катя.

— Краснопольская, Краснопольская,— зашептали гимназисты.

Мущинкин, чиновник малого роста с четырехвершковыми усами, шарахнулся даже как-то из-под Катиных ног, задрав голову.

Действительно, Катенька была необычайно красива в белом пальто и маленькой шапочке из фиалок. Мато-

вое, как слоновая кость, лицо ее было строго, рот надменно сложен, глаза пылали,— лихорадочные и большие.

Катеньку взволновала пьеса, где каждое слово было написано о ее прошлом. Мужчины из лож и партера, как нарочно, глядели на Краснопольскую нагло и бессовестно, ее мучили эти взгляды.

Швейцар, сняв картуз, спросил Волкова:

— Ваше превосходительство, как закричать?

— Кричи, братец, Петра, да погромче,— ответил Волков.

И швейцар гаркнул на всю площадь:

— Пет-а-а-р-р, тройку!

Ступая в коляску вслед за отцом, Катенька задела платьем за медную скобку и обернулась. «Катя!» — услышала она голос неподалеку, вздрогнула, вгляделась, потом сейчас же поднесла ладонь к глазам, опустилась в глубокое сиденье, и лошади тронули.

У фонаря стоял князь — оборванный, без шапки и в опорках. Вытянув шею, глядел он на уезжавшую коляску и повторял одно слово: «Катя...»

— Что стоишь? Пошел, пошел,— сказал ему городовой.

Князь отошел от фонаря и сейчас же увидел Цурюпу, который с неистовым любопытством глядел на него в лорнет.

— Князь, что за маскарад? — воскликнул Цурюпа, схватывая Алексея Петровича под руку, затем крикнул свой кеб и, сколь князь ни вырывался, бормоча: «Так нужно, оставьте, я не хочу», силой посадил его в лакированный экипаж и велел гнать под гору, чтобы с последним паромом попасть за реку.

Алексей Петрович притих, согнувшись в экипаже, и на вопросы отвечал коротко, сдерживаясь только, чтобы не стучали зубы от неудержимой дрожи. Князь понял: Цурюпа и все, конечно, естественно и просто сделают то, на что сам он никогда бы не отважился.

— Преглупая вещица; скажу тебе,— покачиваясь в коляске, говорил Волков дочери.— Не понимаю, о чем кричат, я даже вздремнул. А тебе, душа моя, не надо бы волноваться. Ты не устала?

— Нет, нет, папочка,— сжимая незаметно руки, ответила Катя.— Только мне не хочется ночевать в городе, поедемте домой.

— Ты прямо, Катя, без ума! Нас тетка Ольга с ужином ждет. Как можно обидеть старуху? Ну-ну, не волнуйся, перекусим, извинимся делами какими-нибудь и уедем. Ах, Катенька, не понимаю я теперешней молодежи. Суета у вас в голове, вертуны. Раньше проще жили.

2

Недаром упомянул о «вертунах» Александр Вадимыч, или «вертиже», как выражалась тетка Ольга. Туго пришелся Волкову этот год. Катенька прохворала всю зиму, а едва поправилась, как проговорился ей нечаянно Кондратий, что доктор утонул тогда в полынье, и у Катеньки в голове начался «вертиж». Александр Вадимыч даже уйти хотел одно время к черту, до того стало ему это несносно.

По ночам Катенька, полураздетая, приходила к отцу, дрожала, вглядывалась в темные углы, садилась на диван, подбирала ноги и не двигалась, уставясь на свечу. Потом по лицу ее проходили судороги, и она начинала биться, стиснув зубы, и рассказывала отцу в сотый раз все, что случилось в ту ночь. Чтобы как-нибудь сдвинуть ее с этих рассказов, Александр Вадимыч придумал и сказал дочери:

— Григорий-то Иванович не сам, по-моему, погиб, и ты тут ни при чем: так ему было назначено, обречено.

— Что ты говоришь? — словно вся затрепетав, спросила Катенька.— Обреченный? Значит, он — жертва?

И вдруг она успокоилась. И однажды заговорила о князе, просто, с одною горькой усмешкой на губах. Александр Вадимыч выругался. Она разговора не продолжала, но, должно быть, много думала, догадывалась о чем-то. Настала весна. Александр Вадимыч сказал однажды:

— Катюша, а съездим, друг мой, к тетке Ольге.

Катенька только пожала плечиком:

— Поедемте...

По-другому отозвалось несчастье это на Саше. Когда Григорий Иванович уехал с княгиней, Саша поняла, что он не вернется. А если и приедет, то чужой. Поняла она также, что ее жизнь с доктором была неверной и еще тогда, на огороде, надо было не поддаться и уйти. Лежа за перегородкой, она думала, как наденет старушечий сарафан и побредет по дорогам, прося Христовым именем. Саша чуяла, что не в страсти будет она жить, как теперь, а в постоянном этом умилении перед небом, перед землей и перед людьми.

На рассвете в дверь постучались. Саша вся задрожала, как осиновый лист, оправилась и пошла отпирать. В избу вошел отец Василий, взглянул строго и сказал:

— Утоп он, утонул, Григорий-то Иванович.

Саша наклонила голову, молвила:

— Господи помилуй,— перекрестилась, села на лавку — ноги не сдержали.

Отец Василий рассказал все, что ему передал колыванский мужичок, выручавший вместе с княжескими рабочими княгиню из полыньи. Саша выслушала все спокойно и сказала под конец:

— Вот тебе, отец, деньги, отслужи панихиду по рабу Григорию, не утоп он, а его утопили.

Всю зиму прожила Саша в избе, так же ходила за скотиной, смотрела, чтобы все было чисто и в порядке, по вечерам присаживалась к столу и глядела на книжки, которые любил Григорий Иванович. Когда очень сильно свистела вьюга на крыше, сдвигала Саша брови,— казалось, не вьюга это воет, а плачет непокаянная душа Григория Ивановича.

По весне она ушла из села, подвязав по-монашечьи ситцевый черный платок. С тех пор никто ее не встречал.

3

Сколько отец ни подмигивал круто, а тетка Ольга ни уговаривала, Катенька настояла, чтобы сейчас же после ужина ехать домой. На рассвете она уже сидела в своей постели, разбитая и переволнованная, дожи-

даясь, когда придет Кондратий, прибиравший Александра Вадимыча ко сну.

Катеньке всегда казалось, что князь еще устроит ей какую-нибудь последнюю обиду, она ждала этого и готовилась к защите. В ее представлении он всегда появлялся издевателем, она — безвинно обиженной. Вернейшая защита была, конечно,— высказать равнодушие, презрительное, «ледяное» спокойствие при встрече. Но сейчас все эти глупые выдумки никуда не годились.

Князь, оборванный, несчастный, худой смутил ее воображение, разжег любопытство. Он был не торжествующий, не издеватель, а просил милости, умолял, словно ее взгляд был для него жизнью или смертью.

Так ей казалось теперь. И сердце разрывалось от горя. И всего страннее, что не чувствовала Катенька — хотя и хотела — злой, как прежде, обиды.

Наконец пришел Кондратий, притворил осторожно дверь и спросил таинственно:

— Что угодно-с?

— Кондратий, я видела князя. (Кондратий только кашлянул.) Я ничего не понимаю... Он просил милостыню. Несчастный, худой... Убил он, что ли, кого-нибудь?.. Почему скрывается?

— Очень просто, и убил,— сказал Кондратий.

— Ради бога, ничего не говори папе. Сейчас же поезжай в Милое или в город... куда хочешь...— На минуту голос ее оборвался.— Увидишь его, не говори, что я послала... Ах, все равно — скажи, что хочешь... Только бы не мучил он больше меня.

Кондратий ушел. Катенька сидела на кровати, глядя, как солнце сквозь листву положило отблески на старый паркет. В саду, за раскрытым окном, свистела иволга, грустил голубь, чирикали воробьи, сад был еще в росе, пышный и зеленый. В комнате о верхнее звено окна, не догадываясь опуститься ниже, билась глупая муха. Мухе казалось, должно быть, что голубое небо за ее носом, скользящим по стеклу, и деревья, и белые, как цветы, бабочки, и птицы, и роса — только сон, куда проникнуть можно, лишь забившись головой до смерти.

— Как надоела муха! — сказала Катенька, соскользнула с постели и, полотенцем ударяя по стеклу, вы-

гнала муху в сад, потом заложила руки за спину и принялась ходить.

В ее памяти прошел весь этот тяжелый, страстный год жизни. Все было безотрадно. Но сейчас ни безнадежности, ни боли не чувствовала она, вспоминая. Словно все, что было, завершилось и отошло в туман, в сладкую печаль. Осталось чувство свободы и той необъяснимой радости, которая бывает еще у очень молодых, сильных и страстных людей.

Катенька крепко провела ладонями по лицу и по глазам, встряхнула головой и вдруг с необычайной ясностью заглянула в самую глубь души.

А заглянув, забылась, нежно усмехнулась, ясная и свежая.

— Ну, что же,— проговорила она.— Я готова.

4

В Милом вся прислуга княжеского дома собралась на кухне, слушая, как лакей Василий рассказывал о его сиятельстве князе, неожиданно прибывшем этой ночью неизвестно откуда.

— Вижу я,— бродяжка лезет в дом, я ему: куда, небритая морда? А он кланяется: «Здравствуй, говорит, Василий. Ну, что у нас — все благополучно?» Обмер я — вижу, он. А на нем одежда хуже, как у нашего пастуха Ефимки. Ну-с, повел я его наверх, в спальню. Он на кресло показывает: «Здесь, спрашивает, барыня сидела?» — «Сидела, отвечаю, везде сидела». А он на кресло глядит, будто оно — баба. Я едва со смеху не лопнул. «Теперь, говорит, уйди, я сам справлюсь, да приготовь ванную». А я в щель вижу — вот до чего он дошел: лег на барынину кровать и подушки обнимает. Наголодался. Общипали его в городе разные мадамки. Сейчас спит, суток двое проспит, если не будить. Да-с, жил я на многих местах, а таких чудес не видал.

Василий одернул жилет с двумя цепочками, достал княжеский (дареный), портсигар, закурил и завернул ногу за ногу.

— Как он теперь с княгиней разделается — не знаю. Очень будет ему трудно. Большие будут чудеса.

На кухне всех грызло любопытство. Прибегали и из людской слушать Василия. А князь все спал. И вдруг с черного хода появился Кондратий, в пыли, хмурый, и спросил отрывисто:

— Князь приехал?

— Приехать-то он приехал,— ответил Василий,— да будить не приказано.

— Ну нет, придется разбудить.

Кондратию пришлось долго покашливать около двери в спальню, постукивать пальцем. Наконец князь проговорил спросонок:

— Что? Встаю, да, да...— И, должно быть, долго сидел на постели, приходил в себя, потом иным уже голосом сказал: — Войдите.

Кондратий, поджав губы, вошел. Алексей Петрович несколько минут смотрел на него, соскочил с постели, подбежал, усадил его на стул и так побледнел, так затрясся, что старый слуга забыл все обидные слова, какими хотел попотчевать его сиятельство, отвернулся, пожевал ртом и сказал только:

— Княгиня приказали спросить о здоровье. Сами они едва по зиме не померли. А вас видеть не желают нипочем.

— Кондратий, она сама тебя послала? — Князь схватил его за руку.

— А вы сами понимайте. Мне нечего вам отвечать, когда поступили бесчестно. Приказано спросить о здоровье и больше ничего.

Князь долго молчал. Потом, облокотясь о столик, заплакал. Сердце перевернулось у Кондратия, но он все-таки сдержался.

— Вот, все-с.— И попятился к двери.

— Не уходи, подожди,— проговорил князь, потянувшись через столик,— я напишу.

И он, брызгая ржавым пером, принялся писать дрожащими буквами:

«Милая Катя... (он зачеркнул). Я ничего не прошу у вас и не смею... Но вы одна во всем свете, кого я люблю. У меня был спутник, он теперь в тюрьме, он

научил меня любить... Когда я думаю о вас — душа наполняется светом, радостью и таким счастьем, какого я никогда не знал... Я понимаю, что не смею видеть вас... Все же — простите меня... Если вы можете простить... *я приду на коленях...»*

5

К вечеру в Волково приехал Цурюпа (он частенько стал наезжать за это лето), прошел прямо в кабинет к Александру Вадимычу и, ужасно возмущенный, стал рассказывать о князе. Но Волков обрезал гостя:

— Знаю все-с, считаю большим несчастьем и сам даже поседел, а о стрикулисте прошу мне больше не напоминать-с.— И, подойдя к окну, перевел разговор на сельское хозяйство.

В это время на двор въехал Кондратий на двуколке.

«Куда это старый хрен мотался?» — подумал Волков и, перегнувшись через подоконник, закричал:

— Ты откуда?

Кондратий покачал головой и, подъехав к окну, объяснил, что привез письмо для барыни. «Угу!» — сказал Волков и, закрыв окно, пошел к дочери.

Цурюпа впал в необыкновенное волнение, догадываясь, что письмо от князя.

Но не прошло и минуты, как вбежал Волков, тяжело дыша, красный и свирепый.

— Чернил нет! — закричал он, толкая чернильницу.— Куда карандаш завалился? — И, схватив быстро подсунутый карандаш, с размаху написал: «М. Г.» — на том листе бумаги, где на оборотной стороне год назад были нарисованы заяц, лиса, волк и собачки, потом откинулся в кресло и отер пот.

Цурюпа спросил осторожно:

— Что случилось? Посвятите меня, не могу ли помочь?

— Ведь это наглость! — заорал Александр Вадимыч.— Нет, я отвечу. Вот пошлый человек! «М. Г., не нахожу слов объяснить столь дерзкий поступок»,— написал он.— Понимаете ли, просит извинения, письмецо

прислал, будто ничего не случилось! Вот я отвечу: «Моя дочь не горничная, чтобы ей посылать записки. Не угодно ли вам действительно на коленях (он подчеркнул) прийти и всенижайше под ее окном просить прощения...»

— О, не слишком ли резко? — сказал Цурюпа, с моноклем в прыгающем глазу, читая через плечо Волкова. — Хотя таких нечутких людей не проймешь иначе. Я бы посоветовал передать дело адвокату. А что с Екатериной Александровной? Расстроена она?

— Что! — заорал еще шибче Волков. — Плачет конечно. Да вам-то какое дело? Убирайтесь отсюда ко всем чертям!

Но Катенька не плакала. Ожидая, когда вернется Кондратий, она то стояла у окна, сжимая руки, то садилась в глубокое кресло, брала книгу и читала все одну и ту же фразу: «Тогда Юрий, полный благородного гнева, поднялся во весь рост свой и воскликнул: — Никогда в жизни». Откладывала книгу и повторяла про себя: «Нужно быть твердой, нужно быть твердой». А мысли уже летели далеко, и опять она видела электрический шар, под ним на мокром асфальте жалкого человека и его глаза — огромные, безумные, темные... Катенька закрывала ладонью лицо, поднималась и опять ходила, брала книгу, читала: «Тогда Юрий, полный благородного гнева...» Боже мой, боже мой, а Кондратий все не ехал, и день тянулся, как год.

Наконец по коридору раздались грузные шаги отца, дверь с треском распахнулась, и вошли Кондратий и Александр Вадимыч с письмом.

Катенька побледнела как полотно, сжала губы. Отец разорвал конверт и сунул ей листик. Она медленно стала читать. И, не дочитав еще до конца, поняла все, что чувствовал князь, когда царапал эти жалостные каракули. На душе у нее стало тихо и торжественно. Она передала письмо отцу. Он быстро пробежал его и спросил пересмякшим от волнения голосом:

— Сама ответишь?

— Не знаю. Как хочешь. Все равно...

— Ну, тогда я отвечу, — рявкнул Александр Вади-

мыч.— Я ему отвечу... Пускай на коленках ползет... Хвалится — на коленках приползти... Ползи!

— Его сиятельство не в себе-с,— осторожно вставил слово Кондратий.— Они весьма расстроены.

— Молчать!.. Я сам знаю, что делать! — заревел Александр Вадимыч, сунул письмо князя в штаны и выбежал из комнаты...

Катенька крикнула:

— Папа, нет, я сама... Подождите! — И побежала было к двери, но остановилась, опустила руки.— Все равно, Кондратий, пусть будет что будет.

— Приползут, на коленях за тобой приползут,— сказал Кондратий.— Они в таком состоянии, что приползут-с.

Письмо отправили князю на другой день, чуть свет. Катенька знала, что написал отец, но сердце ее было спокойно и ясно.

6

С утра поползли серые, как дым, облака на Волково, от хлебов и травы шел густой запах, вертелись по дорогам столбы, уходя за гору, погромыхивал гром, поблескивало, а дождь все еще не капал, собираясь, должно быть, сразу окатить крышу, и сад, и поля теплым ливнем.

В мезонинном окне барского дома над крыльцом, за ветками березы, сидел Александр Вадимыч с подзорной трубкой и, закрыв один глаз, глядел на дорогу.

Дворовые мальчишки залезли на крышу каретника и глядели туда же, где дорога, опоясывая горку, пропадала между хлебов.

В раскрытых воротах каретника стоял серый жеребец, запряженный в шарабан. Кучер сидел тут же у стены на бревне, похлопывая себя по сапогу кнутовищем. Скотница, выйдя из погреба, поставила ведро с молоком на траву и тоже принялась всматриваться, сложив под запоном руки.

Приехал мужик на телеге, снял шапку, поклонился барину в окошке и слез, стоял неподвижно. Все ждали.

Катенька, одетая, лежала на постели, зарывшись го-

ловой в подушки. Нарочный, возивший в Милое письмо, прискакал с ответом, что князь уже пополз.

Часа три назад навстречу ему выехал Кондратий. Сейчас, по расчету Александра Вадимыча, князь должен был взлезать на песчаную гору, откуда начинаются прибрежные тальники и куда даже лошади с трудом втаскивают экипаж.

Вдруг мальчишки на крыше закричали:

— Идет, идет!

Волков, шлепая туфлями, поспешил к дочери. Но Катенька была уже на крыльце. Косы ее развились и упали на спину. Держась за колонну на крылечке, она пронзительно глядела на дорогу, вдаль.

Мужик, стоявший у телеги, спросил скотницу:

— Тетка, губернатора, что ли, ждут?

— Кто его знает, может, и губернатора,— ответила баба, подняла ведро и ушла.

На дороге из-за горки появился пеший человек, и мальчишки опять закричали с крыши:

— Женщина, женщина идет, нищенка...

Тогда Катенька оторвала руку от колонки, сошла на двор и крикнула:

— Скорее лошадь!

Серый жеребец с грохотом вылетел из каретника. Катенька вскочила в шарабан, вырвала у кучера вожжи, хлестнула ими по жеребцу и умчалась — подняла пыль.

Облако пыли долго стояло над дорогой, потом завернулось в столб, и побрел он по полю, пугая суеверных,— говорят, что если в такой бродячий вихрь бросить ножом, столб рассыплется, а на ноже останется капля крови.

На песчаной горе, поднимающейся из тальниковых пусторослей, на середине подъема, стоял на коленях Алексей Петрович, опираясь о песок руками. Голова его была опущена, с лица лил пот, горло дышало со свистом, жилы на шее напряглись до синевы.

Позади его, держа за уздечку рыжего мерина, который мотал мордой и отмахивался от слепней, стоял Кондратий, со вздохами и жалостью глядел на князя.

Слепни вились и над Алексеем Петровичем, но Кондратий не допускал их садиться.

— Батюшка, будет уж, встаньте, ведь горища,— говорил он.— Я на мерина вас посажу, а как Волково покажется, опять поползете, там под горку.

Алексей Петрович с усилием выпрямил спину, выбросил сбитое до запекшихся ссадин колено в разодранной штанине, быстро прополз несколько шагов и вновь упал. Лицо его было серое, глаза полузакрыты, ко лбу прилипла прядь волос, и резко обозначились морщины у рта.

— А ползти-то еще сколько,— повторял Кондратий,— садитесь на мерина, Христом-богом прошу!

С тоской он взглянул на песчаную гору — и обмер.

С горы, хлеща вожжами серого жеребца, мчалась Катенька. Она уже увидела мужа, круто завернула шарабан, выпрыгнула на ходу, подбежала к Алексею Петровичу, присела около и торопливо стала приподнимать его лицо. Князь вытянулся, крепко схватил Катеньку за руку и близко, близко стал глядеть в ее полные слез, изумительные глаза...

— Люблю, люблю, конечно,— сказала она и помогла мужу подняться.

ЕГОР АБОЗОВ

Роман

Любовь, любовь, небесный воин,
Куда летит твое копье?
Кто гнева дивного достоин?
Кто примет в сердце острие?

Наталья Крандиевская

1

Девятого сентября в трех столичных газетах появилось объявление: «Вышла и поступила в продажу первая книга журнала «Дэлос». Сегодня при помещении редакции вернисаж. Фонтанка, против Летнего сада».

Больше не сказано было ничего. Характер журнала и имена сотрудников разумелись сами собой. Объявление это с большим удовлетворением прочли три тысячи человек, те три тысячи изысканных любителей красоты, которых секретарь редакции с точностью предугадал в Петрограде.

Это были: крупные чиновники; денежные тузы, покровители искусств; утомленные молодые люди из общества; писатели, художники и артисты; человек полтораста присяжных поверенных и врачей; личности без профессий, но покупающие брик-а-брак, и, наконец, эстетический кружок под названием «Пудреница Элиноры».

Заметки о «Дэлосе» появлялись еще с прошлой весны. Многие ждали журнала, как ключа студеной воды в пустыне. Вокруг еще не рожденного дела ходили слухи, сплетни и злословия. Говорили, что в первом выпуске будет напечатан неизвестный поэт, превзошедший остротою стиля даже александрийцев; что видели будто бы в редакционном столе неизданные рукописи Казановы; кружок «[Пудреница] [1] Элиноры» ожидал обнародования фресок сомнительного содержания, открытых на юге Крита; иные утверждали, что издатель

[1] Квадратные скобки заключают добавление редакции.

«Дэлоса» — Абрам Семенович Гнилоедов — просто сильно нажился на валенках в японскую кампанию и теперь «делает бум», чтобы задавить совесть и толки; в одной гостиной ручались за подлинные слова Абрама Семеновича, будто фамилия Гнилоедов ничуть не хуже фамилии Грибоедов, все дело во вкусе, а при помощи золота ее можно прославить и не меньше; и, наконец, те из петроградцев, у кого с закатом солнца сильно начинает чесаться язык, поминали в связи с «Дэлосом» имя Валентины Васильевны Салтановой, но здесь уже начиналась путаница и нелепые догадки.

Словом, девятого сентября с двух часов пополудни к старинному дому на Фонтанке покатили гужом автомобили, кареты и простые «изво», и парадная комната редакции, завешанная картинами по серому холсту, стала наполняться народом.

Первыми явились три рецензента, в перчатках, визитках и причесанные на пробор. Боясь, чтобы не подумали, будто они оделись так из подобострастия к богатому журналу, рецензенты повели себя развязанно: тыкали карандашами в картины, нюхали букетики фиалок, расставленные на деревянных панелях вдоль стен, и, встряхивая свежими номерами «Дэлоса», говорили не без иронии: «Посмотрим, увидим, пока еще темна вода во облацех». «Темной водою» они намекали также на странную картину молодого художника Белокопытова, висящую на печке, направо от входа.

Затем вошли один за другим молодые люди из общества; они были тоже в визитках и проборах, но без перчаток; журналисты поглядели, замолчали и подались в угол.

Прибыли дамы. Они наполнили комнату запахом духов и тоненькими голосами; большие шляпы и перья заслонили произведения искусств; в ту пору хорошо было быть худой, и дамы в черных и темно-лиловых платьях казались едва живыми, едва держащими в руках муфты и меха. Рецензенты записали: «Среди присутствующих мы заметили графиню А., баронессу X.». А самый остроумный из них обещал пустить слух, будто редакция нарочно забыла послать толстым женщинам билеты на вернисаж.

Появился кружок «Пудреница Элиноры». Это были молодые люди в пиджаках. Рецензенты записали: «Среди пестрой, щебечущей, душистой толпы выделялись изысканно одетые господа такие-то, члены небезызвестного кружка. Кстати, в нынешний сезон пиджак окончательно вытесняет визитку до заката солнца».

В комнате становилось теснее и жарче. Появились красные и зеленые генералы, с раздвинутыми бородами, внушающими почтение и страх кому нужно, или со щеками, как у легавых собак. Стали называть имена денежных тузов. Вплыла пожилая дама в шляпке с вороньим пером и в старомодном платье; она подняла лорнет и посмотрела вялыми глазами поверх голов; перед нею почтительно расступились. Рецензенты узнавали знаменитых писателей; они пробыли недолго и скрылись за дверью. Художники были прижаты толпой к своим картинам и, наслышась всякого, красные и раздраженные, протискивались вслед за писателями в кабинет секретаря.

Наконец среди гудков, топота копыт за окнами раздался громкий и простуженный кашель. Это был всем известный автомобиль с чахоточным гудком, только что входившим в моду. Гнилоедов с улыбающимся и перепуганным лицом пробежал в прихожую. Прибыл сам князь.

Рецензенты сняли перчатки и царапали карандашами уже на обложках «Дэлоса» и на манжетах. Все шло отменно, хотелось только еще скандальца для остроты.

В дверях появилась высокая фигура князя. Он был в военном сюртуке, у бедра держал фуражку и каталог. В ответ на приветствия на его худом лице выдавилась улыбка. Гнилоедов, выглядывая из-за княжьего локтя, торопливо говорил о чести, которой удостоился, и о служении искусству. Рецензенты записали: «Не можем не отметить слишком патриотическое вдохновение некоторых членов редакции».

Князь, не дослушав, подошел к небольшой картине знаменитого художника Спицына. Она изображала гуляющих вольно маркиз и хватающих их маркизов с курносыми и развращенными лицами.

— Что это? — громко спросил князь.

В дверь секретарской высунулось толстое лицо Спицына и тотчас скрылось. Гнилоедов доложил:

— Это на сюжет эпохи Людовика Пятнадцатого. Вольное подражание Буше.

— Хорошо,— сказал князь, повернулся к печке, на которой висело странное произведение Белокопытова, и все увидели, как на худом его лице дрогнули вдруг и мигнули веки несколько раз.

И тут только понял Гнилоедов и содержание картины и что сам сделал промах, повесив ее на виду. Белокопытов изобразил на лужку двух купальщиц; они вылезли из воды и делали что-то нехорошее; за прудком из красной, какой не бывает, мельницы высовывались две рожи с подзорными трубками. С боков на деревьях сидело по амуру, из облака вылетал третий амур и держал над всем этим венок. Картина была написана явно на скандал.

— Странная штука,— проговорил князь.

В толпе хихикнули. Гнилоедов зажмурился, понял, что погиб, и пробормотал, разводя руками:

— Мы это для курьеза повесили. Яркие краски, молодой автор. Вещь скорее для прихожей. Я уже говорил ему, к чему здесь амур с венком?

Тогда из толпы отделился юноша, небольшого роста, в сюртуке и замшевом жилете. Он рванул дверь в секретарскую и скрылся.

— Белокопытов,— сказали в толпе.

Князь проследовал дальше. Рецензенты протиснулись к сразу нашумевшей картине и записали: «Вернисаж, как и следовало ожидать, закончился легким скандалом».

За дверью секретарской в это время послышались громкие голоса спорящих.

2

Было еще совсем светло, но слуга, похожий на обезьяну с баками, занавесил в секретарской окна и включил электрическую лампу. На минуту разговоры затихли, и несколько человек подняли головы к матовому полушарию под потолком, откуда исходил яркий белый свет.

Стало слышно позвякиванье ложечек о чайные стаканы. У стола, где под паром кипел серебряный самовар, пили чай знаменитости: романист Норкин и его жена; художник Спицын; непомерно известный драматург Игнатий Ливин, и с краю стола два поэта Шишков и Сливянский держали друг друга за пиджаки, с яростью споря о символизме.

В глубине комнаты у секретарского бюро и на кожаной тахте сидели «молодые». Было жарко и накурено. Как улей, гудел вернисаж за стеной. На минуту шум увеличился — это Спицын приоткрыл дверь. Вернувшись к столу, он сказал:

— Приехал князь.

На это ответил Норкин:

— Хорошо. Сам князь приехал. Успех будет журналу. Хороший журнал, и самовар серебряный, и ликеры хорошие, и торты хорошие.

Норкин был умный и весьма упитанный человек с подстриженной русой бородой. Говоря, он потрогал холеными пальцами рот, прикрывая улыбку. Его жена проговорила с гримасой:

— Толпу хотят удивить. Я потолкалась там пять минут, меня чуть не стошнило.

И она продолжала прерванное занятие — с ненавистью щуриться через круглый лорнет на врага своего и мужниного, поэта-мистика Шишкова.

Он отвлекся от символизма и воскликнул:

— Я приветствую общество, идущее к живому источнику.

Тогда Игнатий Ливин, чистивший спичкой ногти, встряхнул густыми волосами, лезущими на глаза, и заметил:

— Я бы с удовольствием обошелся без этого стада.

Он был под запретом у символистов и демагог.

Сидевший на подоконнике лирический поэт Градовский вдруг засмеялся, точно проснулся только что и услышал, что говорят. Сливянский обернулся к нему с восхищением и засмеялся тоже. Игнатий Ливин сломал под ногтем спичку и сказал: «Тэкс!»

Дверь резко распахнулась, появился Белокопытов с дерзким, бледным от волнения лицом; он пробежал в

глубину комнаты, где его сейчас же обступила молодежь.

— Возмутительная наглость! Вы знаете, что произошло? — воскликнул он слегка хриплым голосом и обвел злыми глазами друзей. Вокруг него стояли — новеллист Коржевский, бледный юноша в бархатной блузе, и поэт Горин-Савельев, кудрявый и матовый, как метис, и голенастый беллетрист Волгин, и начинающий писать толстый юноша Иван Поливанский, с детским лицом и прической, как у кучера, и критик Полынов, похожий на Зевса в велосипедном костюме; художник Сатурнов; поэтесса Маргарита Стожарова и еще человек шесть уже менее известных поэтов и художников.

Это была партия «молодых». Она хотела всего, ждала славы и власти. Белокопытов рассказал, что произошло между Гнилоедовым и князем. «Молодые» заволновались. Он продолжал:

— Итак — меня здесь вешают для курьеза. Покупают для прихожей. Точно так же они поступят со всеми. Всех молодых талантов здесь будут затирать. От этих людей ожидаю всего!

— Возмутительно! — точно из глубины живота проговорил критик Полынов. От кружка отделился Велиеградский — композитор, сонный, с впившимся в толстый нос пенсне; он подошел к столу знаменитостей и задумчиво воткнул ложку в торт.

— Что возмутительно? Кто возмутительно? — вертя маленькой головой, спрашивал Горин-Савельев. Белокопытов продолжал:

— Молодых поэтов и беллетристов пригласили только перед подпиской. Без нас, художников, они бы не могли открыть вернисажа. У них у всех пятнадцати квадратных аршин не найдется. Что они на пустое место повесят? Штаны?

— Что ты горячишься, Николай, по совести, твоя вещь на печке такая, что прямо растеряешься,— сказал его друг художник Сатурнов, скривил на сторону рот и махнул, как деревянной, рукой по воздуху — сверху вниз,— ты говори дело, чего нам надо.

— Хорошо. Я ставлю такое требование... Но мне нужно согласие всех...

В это время двери опять раскрылись, и вошел сам Абрам Семенович Гнилоедов, вытирая платком череп и довольное свое лицо. Сзади держался секретарь, высокий человек, подслеповатый, с портфелем и в крупных веснушках.

— Поздравляю, господа, от души поздравляю, друзья и сотрудники,— повторял Гнилоедов, пожимая руки, кланяясь, кое-кого похлопывая по плечу. Затем взял стул, сел у самовара, оглянул хозяйственно яства и питья и сказал:

— Как говорится — двинули. Теперь надо ехать. Предлагаю выбрать председателя, и начнем пока здесь, а когда залу очистят от публики, перейдем туда.

Знаменитости сели полукругом у стола: «молодые» расположились поодаль. Председателем выбрали Норкина. Он позвонил в колокольчик, проговорив не спеша:

— Кто сочувствует, пусть скажет приветствия новому журналу.

Фраза эта была бестактна. Некоторое время все молчали. Первым встал Шишков, вынул портсигар, дрожащими пальцами закурил папироску, выпустил три струи дыма и, глядя на Норкина, начал говорить высоким голосом, который перешел затем в пронзительный:

— Конечно, во всяком начинании найдется недоброжелатель. Он постарается воздвигнуть призрак раздора в обители муз. Он бросит семена бури на Пелион. Дэлос! Священный остров. Храм Аполлона. Мы, пришельцы, возлагаем каждый на алтарь свою молитву. Не место вражде на острове Циклад. Мы не гунны, чтобы сжигать Дельфийский храм. Я приветствую «Дэлос», как приветствуют форму. Довольно молчания. Мы выходим из пещер, неся свои факелы (он покосился на Игнатия Ливина). Теперь не демагоги, а мы заговорим с народом, облеченные в царские одежды, в виссон и пурпур...

Он сел, и сейчас же вскочил Сливянский, теребя длинные волосы пальцами сзади наперед и спереди назад.

— «Дэлос»,— крикнул он с яростью,— конечно, я приветствую начинание! Я приветствую толстые журналы. Я приветствую всякий огонь, зажженный от

искры безумия! Приветствую и боюсь. Предостерегаю. Пусть не упомянуто будет одного слова: *эстетизм.* Эстетизм — разврат умственный, нравственный, религиозный. Ни жизнь, ни смерть! Эстетизм — гниль, распад! Ни страсть, ни ненависть, ничто! Майя. Обман! Антиномично Логосу. Это дело Сатаны.

Он сел, тяжело дыша, и сейчас же выпил чаю, пролив его на жилет.

Гнилоедов, зажмурившись, с удовольствием кивал головой.

— По-моему, это просто дерзость,— шепнула ему Норкина.

Не открывая глаз, он ответил:

— Логос Логосом, а что красиво, то красиво. Ничего, пусть поговорят.

Игнатий Ливин прекрасным баритоном долго и обстоятельно объяснял, что для России подобный журнал есть желательное и высококультурное приобретение. Он советовал понизить подписную цену и рассылать его даром в библиотеки, а под конец даже размечтался о том, как в деревне Липовый Брод репродукции с картин Рафаэля будут вырезаны и повешены под образа. Его речь имела бы несомненный успех в другом месте.

Красавец Градовский отказался говорить, сколько его ни просили. Председатель, поднеся к подслеповатым глазам записочку, назвал имя Белокопытова. Абрам Семенович кашлянул и начал разговор с Норкиной о последних произведениях ее мужа.

Белокопытов вышел из толпы, положил локоть на дубовую конторку, правой рукой схватил воздух и, вздернув круглое надменное лицо, сказал:

— Нас, молодых, большинство. Здесь говорили о направлениях. Наша программа в двух словах: «Мы хотим». Печальный случай на сегодняшнем вернисаже принуждает меня от лица всех «молодых» поставить условия. Первое: нам предоставляется четыре номера в год для прозы, стихов и репродукций. Второе: критический отдел, касающийся нас, должен быть в наших руках. Его пишет Полынов...

У чайного стола зашептали. Никто не смел уже взглянуть ни на Белокопытова, ни на «молодых». Абрам

Семенович, густо покраснев, проговорил дрожащим голосом:

— Николай Александрович, я не понимаю вашего тона. Здесь не торговое предприятие. Я ничего не имею против каких бы то ни было предложений. Но ваш тон...

— Вы понимаете, почему я имею основание говорить таким тоном, Абрам Семенович, не раскрывая его причины,— Белокопытов усмехнулся.

И вдруг все увидали, как кровь отлила от лица Абрама Семеновича и снова прилила, чайная ложечка задрожала в его коротких пальцах и упала на севрскую тарелку.

— Во всяком случае, ваше предложение должно быть рассмотрено на следующем заседании,— проговорил он наконец.— А теперь, господа, я попрошу всех в залу. Нужно побеседовать о ближайших предметах. Первое, что бы я просил поставить на очередь,— это роман или большая повесть в нескольких книжках, у нас ее нет.

3

На Николаевском мосту, облокотясь о чугунную решетку, стоял человек, в потертом пальто и мягкой шляпе, надвинутой на глаза; крупное его бритое лицо со стиснутыми мускулами щек и печальным ртом было обращено на закат.

Солнце опускалось за трубами Балтийского завода в длинную тучу. Оно казалось совсем близким, и пышные лучи его шли прямо в глаза. Края лиловой тучи раскалялись, и тело ее густело. Меняясь из алого в красное, в густо-пурпуровое, солнце подняло, наконец, в небо, раскинуло по нему все свои лучи и медленно кануло. И багровое мрачное пламя залило полнеба. Профили крыш, башни кадетского корпуса, купола, высокие трубы и дымы из них казались начертанными на закате. Одно за другим засветились в небесной высоте облака, то как острова, то как вознесенные застывшие дымы, и словно разлились между пылающими этими островами чистые реки, зеленые, как морская вода. Солнце из облаков и света строило призрак райской земли.

Но вот, раньше чем звезды, зажглись на улицах города газовые фонари, светясь, точно гнилушки. Под мостом на Неве угасали отблески. Вода становилась тяжелой, как чернила. В ее волнах зарывался носом, плелся чухонский ялик со вздернутой кормой. У левого берега, там, где тысячи стекол эллинга еще светились, как угли, в последних лучах, стоял военный корабль без труб и мачт.

Над городом отгорало видение. В лужах под ногами, на куполах церквей, в стеклах прокатившего по набережной автомобиля еще скользили его последние искры.

Неподалеку жалобно взвизгнул пароходик; он таскался, набитый народом, с берега на берег и, преодолевая течение, лез под мост. Он был плоский и серый, как мокрица, и вдруг так надымил, что Егор Иванович Абозов, глядевший на все это с Николаевского моста, сморщился и отошел от решетки.

И тотчас перед ним остановился одутловатый мальчишка с лотком на голове и, грызя подсолнухи, принялся бессмысленно глядеть [ему] в лицо.

— Ну, что уставился, пошел прочь, — сказал ему Егор Иванович.

Мальчишка тогда упрямо и прочно устроился на кривых ногах, обутых в сапожищи, и плевал семечками прямо уже на пальто. Абозов повернул в другую сторону и пошел на Васильевский остров. Дымы завода затянули закат.

Вдруг в грудь Егору Ивановичу ударился плечом прохожий, извинился и проскочил. Он был в цилиндре, в черном пальто и через несколько шагов обернулся. Егор Иванович увидел круглое дерзкое лицо, синеву под впавшими глазами, маленький рот и знакомое пятнышко на щеке.

— Белокопытов? — проговорил он еще неуверенно. У прохожего расширились и вдруг повеселели серые глаза. Подойдя, он протянул руку в светлой перчатке и сказал:

— Ты? На самом деле Егор Абозов?

— Да. А я тебя тоже насилу узнал. Какая перемена ужасная, то есть хорошая. Ты стал какой-то великолепный. Ты чем занимаешься? Художник? Знаменитый?

— Художник, но еще не знаменит,— ответил Белокопытов, отчеканивая каждое слово.

Егор Иванович глядел на него с умилением. Они были когда-то одноклассники и друзья.

— Я здесь недавно. Третий день брожу по городу и мечтаю. Чудесный город! У меня планы. До чего я рад тебя видеть. Ты мне нужен.

Белокопытов покосился опасливо. Тогда Абозов поспешил рассказать ему, что весною вернулся из ссылки, с партией порвал и здесь, в Петрограде, по делам вполне легальным. Он описывал год жизни в Туруханском крае и туманно и сбивчиво старался объяснить, как у него произошел этот перелом в сознании — и он решил пожертвовать общим делом для своего, личного. Он и сейчас еще не уверен, имеет ли на это право, и во всяком случае должен положить на свое дело все силы, чтобы оправдаться.

Они миновали Академию и медленно шли по Пятой линии. Белокопытов покусывал губы; иногда он не словам друга, а точно своим мыслям в такт ударял тростью об асфальт. Егор Иванович спросил осторожно:

— Я тебя задерживаю, ты занят, неотложное дело какое-нибудь?

— Дела? О нет. Я еще не собираюсь сделаться буржуа.

Белокопытов поднял руку в дэнтовской перчатке, развел пальцами, поправил белую гвоздику в петлице.

— У меня сорок минут свободного времени. Я гуляю. Говори, что ты от меня хочешь. А вот кстати и кабачок. Заходи.

Он коснулся края цилиндра, чтобы надвинуть его немного набекрень, и первый вошел в дверь кабачка, что на Пятой линии.

Они сели у тлеющего камина, за столик под газовой лампой. За спиной Белокопытова было цветное окно с изображением рыцарей, летящих птиц и облаков над водой. Полная девушка принесла две кружки с пивом. Белокопытов спокойно оглядел ее лицо, шею и стан. У нее на глазах показались слезы: «Давно не заходили к нам»,— проговорила она и, отвернувшись, медленно ушла.

Он засмеялся и погрузил губы в пивную пену, затем откинулся на стульчик, тронул блестящий пробор и сказал:

— Я слушаю.

Абозов даже вздохнул, так внимательно следил за движениями друга. «Артист, артист,— подумал он,— ловкач»,— и вдруг спросил:

— Николай, ты веришь в русский народ?

— Не понимаю.

— В Россию, в русский народ веришь?

— У меня был один знакомый, после второй бутылки вина он говорил, что не верит в Шпалерную.

Егор Иванович засмеялся и покачал головой.

— С тобой трудно будет столковаться. Правда, я одичал сильно. Ты попробуй не придираться.

— Форма, форма, друг мой, важна,— сказал Белокопытов, закуривая сигару,— по-корявому только одни корявые мысли говорятся. А все новое, острое ищет себе такую же форму.

— Хорошо. Так вот в чем дело: я написал повесть.

Белокопытов наклонил голову, признавая совершенное. Егор Иванович сильно покраснел, его лицо стало детским и нежным от этого, и, точно в обиде, задрожали губы:

— Я понимаю, тебя это не может волновать. У нас все мелкие чиновники, выгнанные со службы, и сельские учителя пишут повести. А юноши по двадцати лет — стихи. Издать книжку стихов так же мило и приятно, как поехать в Крым или жениться на барышне. Я тоже так писал года четыре в разных провинциальных газетках. Бросил, конечно, это занятие. А за прошлый год в тайге многое случилось во мне самом. Рассказать тебе очень трудно; я лучше тебе опишу один сон. Идет на реке крупный дождик сквозь солнце; пузыри по воде, круги, и радуга играет,— то пропадет, то опояшет все небо. Я раздеваюсь и вхожу в воду, а дна нет; глубина такая же, как в небе, и облака и радуга внизу. Я опускаюсь все глубже и плыву на тот берег и самого себя вижу под водой, вижу, как двигаю с усилием руками и ногами. А на той стороне посреди поля

стоит белый дом со множеством окон. Я переплыл и захожу в него, рад, что все-таки добрался. В комнатах бело, жарко, и мухи звенят о стекла. Душно мне, скучно; я гляжу — по полю тени бегут от облаков. Подхожу к окну и ударяю в форточку. И вдруг она распахивается в темноту, в такой мрак, какого нет на земле. И там полно, сыро, чувствую, как пламень пробегает. И каждый раз после этого сна такое чувство, точно сквозняк идет из сердца прямо туда.

— Ого, да ты молодец,— проговорил Белокопытов. Брови его двигались, как у осы; заложив сигару в угол рта, он с любопытством теперь осматривал приятеля.

— Не знаю, чем я молодец, только повесть моя хорошая,— сказал Егор Иванович,— я не выдумал ее, а писал, точно мне в ухо диктовали. Подумай — я мужик; деревне нашей лет двести, а как жили при Петре, так все и осталось стоять. Темнота, как в форточке. Сколько же силы должно накопиться? Иногда кажется — душит она меня, забор какой-нибудь хочется своротить.

— Я должен слышать твою повесть,— сказал Белокопытов, трогая фарфоровые пуговки на жилете; дым от сигары стоял облачком над его головой.

Егор Иванович дунул, облачко заколебалось; он спросил:

— Ты хочешь, чтобы я тебе прочел?

— Завтра вечером. Сегодня не хочу. Я могу разволноваться, а мне предстоит сложная беседа с одной женщиной. Я должен быть свежим и остроумным.

Егор Иванович, тяжело облокотясь о стол, сам уже теперь глядел на приятеля, и глаза его становились ясными, точно дикими. Белокопытов завертелся на стуле, бросил сигару:

— Пожалуйста, не обижайся, не горячись, Егор. Все это меня ужасно нервит. Сегодня нельзя. Завтра я соберу нужных людей. Вот моя карточка. Ты придешь в десять часов. Если повесть твоя хороша, это необыкновенно кстати. На днях открылся художественный журнал. Вышла история. Я все тебе потом объясню. Мы должны бороться, у нас есть один козырь, крупнейший.

Но нам нужен еще романист, свежий, блестящий, чтобы все газеты сбесились, чтобы это был бум! Прощай!

Белокопытов поднялся, взглянул на часики, плоские, как рубль, бросил мелочь на стол, коротко пожал руку Егору Ивановичу и вышел, постукивая каблучками, прямой, ловкий, изящный.

Абозов остался сидеть за кружкой, подперев голову, поглядывая на визитную карточку с загнутым уголком; на ней было написано старинным шрифтом: «Николай Александрович Белокопытов. Свободный художник. 5 линия, дом 10, мастерская». Огорченная девушка принесла еще кружку, Егор Иванович спросил:

— Вас как зовут?

— Лиза,— ответила она смирно. И вдруг широко улыбнулась, сама не зная отчего.

Он вышел из кабачка и, быстрым шагом добежав до набережной, вскочил вслед за толпой в отходивший на ту сторону пароходик. Пассажиры расселись на пароходных лавках тесно и молча. Трудно было разглядеть хотя бы одно из этих унылых лиц. За бортом поднимались черные волны, в них дробились и трепетали столбы света с высоких мостов. Егору Ивановичу казалось, что пароходик везет на ту сторону горсть призраков.

4

— Ты знаешь, кого я только что встретил? — спросил Егор Иванович, входя в маленькую столовую и всеми пальцами отбрасывая назад волнистые волосы.— Николая Белокопытова. Теперь он художник и такой стал франт, не подступись. Помнишь, я рассказывал тебе о нем?

Молодая женщина, глядя снизу вверх на Абозова, старалась вспомнить; ее спокойное лицо, с еще не отошедшим загаром, веснушками на носу и высоком лбу, осветилось улыбкой: открылись ровные немелкие зубы, от глаз побежали лучики, тонкий румянец разлился под кожей.

— Право, не могу вспомнить,— проговорила она

медленно, и парусиновый фартучек и игла с белой ниткой в ее руках стали дрожать. Егор Иванович нахмурился. Она опустила голову и продолжала шить. Висящая лампа, окруженная восковой бумагой, освещала круглый стол и ее руки в кружевных манжетах.

— Так вот, этот франт вскружил мне голову. Завтра поеду читать ему повесть. Пожелай успеха, Маша,— сказал Егор Иванович и не спеша сел на зеленую оттоманку. Над ней на стене висела, покосясь на сторону, большая фотография, где были изображены сосны, покрытые снегом, юрта, два оленя, запряженные в санки, и около — Егор Иванович, с бородой, в ушастой шапке, и молодая женщина, одетая в якутскую шубку,— та, что сидела сейчас под лампой и шила.

По другой стороне стола за плохоньким буфетом стукал маятник часов. Дверки их раскрылись, и кукушка прокуковала девять раз. Егор Иванович, вытянувшись на скрипнувших пружинах дивана, спросил:

— Козявка спит?

Марья Никаноровна наклонила голову:

— Теперь вспоминаю твоего товарища. Я, кажется, читала где-то его имя.

Егор Иванович произнес: «Угу»,— и закряхтел, поворачиваясь:

— Ох же и натрепался я по городу сегодня.

Марья Никаноровна подняла брови, губы у нее и подбородок дрогнули. Абозов спросил, осторожно улыбаясь:

— Ты что-то хотела сказать, Маша?

— Ничего. Я очень рада за тебя. Сегодня опять перечла твою повесть. Очень хорошо. Прекрасно,— она нажала кулачком на стол,— тебя ожидает большое будущее.

— Посмотрим. А пока, ей-богу, не хочу об этом думать. А все-таки ты сердишься на меня, скажи?

— Как тебе не стыдно, Егор. Я рада уже и тому, что ты остановился у меня. Разве я могу большего... (голос у нее дрогнул, она подумала) — большего хотеть! Мне приятно видеть твой чемодан в прихожей и знать, что я не одна.

Егор Иванович глядел на пробор ее темных волос, на

пальцы, в десятый раз старающиеся схватить иглу, на ее пополневший стан в просторном синем платье. Ему не хотелось шевелиться. Но когда она, так и не схватив иголку, уронила на стол руку свою ладонью вверх, он поднялся, проговорил:

— Маша, милая, не надо,— и коснулся губами ее темени.

Она сейчас же застыла без движения. Он обошел кругом стол, закурил папироску и, вернувшись на диван, принялся рассказывать:

— Бегаю по городу весь день. Не могу наглядеться и надышаться. Чудесное чувство: зайти в незнакомую улицу, огромные дома, кто там живет? — ученый, министр, великий художник или испорченный какой-нибудь барин. В большое волнение меня приводят эти фасады, колонны, пустынные окна. Мне хочется представить себе людей, которые строили эти дома. Подумать только, здесь сосредоточена Россия. Город, как сердце, гонит со страшной силой кровь и вновь ее засасывает. Но каждый раз смущает меня какое-то постоянное противоречие: огромный дом, совсем дворец, а внизу вывеска: «Свечная и мелочная торговля» или «Скопы яиц». Весь город покрыт этими лавчонками, никуда не укроешься от глубоко мещанского запаха керосина, селедки и прели.

— Но это очень удобно, Егор,— точно с давнишней еще досадой проговорила Марья Никаноровна,— здесь все живут на книжку. Поэтому столько и лавочек.

Егор Иванович фыркнул носом, потом зевнул, завертелся...

— Говоря попросту, набегался я так, что ноги гудят. Ну, а ты что делаешь, Маша?

— Шью,— ответила она.

— Господи боже мой, я вижу. Я спрашиваю, чем ты сейчас занята? В банке работаешь, как прежде?

Она не ответила. Сильнее задрожали губы ее и подбородок. За стеной послышался детский плач. Она испуганно поднялась и, бросив шитье, выбежала легкой походкой. Егор Иванович услышал ее успокаивающий, воркующий голос за стеной. Он закрыл глаза, и на лице его появилось глубокое утомление и досада.

5

По тускло освещенной лестнице, хватаясь за железные перила, Егор Иванович поднялся на пятую площадку. Одна из дверей была запачкана красками; они лежали на ней полосами, кляксами и мазками. Должно быть, много потрудились, чтобы привести ее в такой пестрый вид.

Абозов ощупал рукопись в кармане, отер ладонью лицо (эта привычка «умываться» в минуты волнения была у него издавна) и покрутил ручной звоночек, звякнувший сейчас же боязливо.

Изнутри послышались быстрые шаги, и голос Белокопытова произнес:

— Войдите, дверь не заперта.

Прихожая была высокая, длинная и узкая; у стен прислонены холсты, подрамники и картины; до потолка висели эстампы, едва теперь различимые; все это освещала масляная лампочка в два огонька, распространяя сладковатый запах тления. В конце коридора, отогнув портьеру, в свету стоял Белокопытов, в бархатном пиджачке и в черной шапочке.

— Я тебя по двери нашел, вижу — художник живет,— проговорил Егор Иванович, распутывая шарф и снимая калоши.

— Я вытираю кисти о дверь, когда прихожу. Это ей придает живописный вид и бесит моих соседей. Я беден и тщеславен, друг мой, запомни.

Белокопытов с усилием двинул занавес: кольца наверху звякнули, скользнули по медному пруту, и Егор Иванович оказался в мастерской. Прямо против него всю стену занимало окно со множеством стекол; по сторонам его в двух канделябрах горели свечи. Направо висела вторая портьера серого сукна, неплотно задернутая, чтобы виден был угол огромной постели и красного же дерева туалет со множеством фарфоровых статуэток и флакончиков, отраженных в старинном, чуть завуаленном зеркале.

Налево от окна стояло вольтеровское кресло перед крошечным письменным столиком с витыми ножками, ящичками и множеством пустяковых вещей. Подальше

в углу — диванчик и креслица, обитые синим кретоном, с нашитыми по нему розами; здесь на высокой витой подставке горел третий канделябр. Напротив окна висело большое трюмо, опрокидывая в зеленоватой своей поверхности всю комнату и огоньки города, лежащего глубоко внизу.

Посреди мастерской стояли на столе вазы с цветами, фруктами и бутылочки ликера. Повсюду по сукнам, коврикам, пестрым платкам раскиданы подушки и пуфочки. На стенах масляные картины, мольберт и два больших холста, задвинутые в угол. Пахло красками, левкоями и табаком. Егор Иванович опустился на первый же пуфчик; Белокопытов облокотился о высокий подоконник и, не выпуская изо рта коротенькой трубочки, сказал:

— Тебе повезло. Писатели начинают с грязного трактира, где говорят о нутре, поглощая пиво, и пьяными слезами плачут за матушку Россию. В кабаках и ночлежках погибает из десяти девять талантов. Ты прилетел прямо на свет: смотри, — он положил растопыренные пальцы на стекло и обернул туда голову, — сколько огней! Но во всем городе светится одна точка — это мы. Мы таинственны, мы притягиваем, на нас летят. В трактирах спиваются, а близ нас погибают от более тонкого яда. Я предупреждаю тебя, Егор!

Он пыхнул три раза трубкой. На фоне окна его профиль был острый и надменный. Егор Иванович спросил:

— Ты живешь один?

— Да. Женщины задают мне этот вопрос каждый день. У меня есть двадцать скверных привычек. Для чего я должен иметь их сорок. Жить одному холодно, но чисто. В сумерки я гляжу, как загораются огни города, и мне грустно и хорошо. Вместо этого я почему-то должен отравлять жизнь другому существу. Я не женюсь, потому что не хочу сидеть непрерывно в грязной тарелке от только что съеденной еды.

— Я все-таки не так думаю. Если бы я полюбил, я бы устроил свою жизнь лучше и чище, чем она есть сейчас, — ответил Егор Иванович, присаживаясь поближе, — все дело в том, как полюбить! Вот у меня есть большой друг, хорошая женщина, простая, грустная,

необычайно высокой души. А я знаю — сойдись я с ней опять, получится плохо, скудно. Все дело, как полюбить!

Белокопытов усмехнулся, оглянул Егора Ивановича всего, с кудрявой головы его на широких плечах до косолапых ступней, и засмеялся коротко.

— Ты чернозем и так далее,— сказал он,— женщинам будешь нравиться, если сам не напортишь дела. Но суть не в женщинах. Честолюбие, известность, деньги, слава. И главное — такое состояние, когда ты сам в последнем восхищении от себя. Понял?

— Понял,— сказал Егор Иванович.— Все это, конечно, хорошо, если мне это нужно. А у меня бывает так, что ничего не нужно. Опротивеет все, и ничего не хочется. Уж на что повесть моя дорога, а и то думаю: ну примут, напечатают и расхвалят, а еще что? Разве это меня насытит?

Белокопытов вынул трубку, выколотил и, заложив руки в бархатные штаны, остановился перед Егором Ивановичем.

— Ты должен был сказать это не сейчас и не мне одному, а после прочтения твоей повести, при всех, и мысль развить гораздо подробнее. Тогда твои слова произведут впечатление.

— Господи помилуй, я на самом деле так думаю. А вовсе не для впечатления.

— Ты пессимист,— сказал Белокопытов,— при этом мягкотелый, рыхлый славянин. Стержень твоих идей — все смертно, тленно, непрочно. Но горе в том, Егор, что подобного направления держится романист Норкин. Он пока наш враг. Ты должен выбрать себе другую позицию, если хочешь успеха. Мы вместе подумаем с тобой на досуге. Кстати, знаешь ли ты, что такое Россия?

Но в это время звякнул звоночек. Белокопытов повернулся на каблуках и крикнул опять, что дверь не заперта. Егор Иванович поднялся и стал глядеть в окно на мерцающие пунктиры огней, то прямых, то изломанных, то полудугой, на сияющие вдалеке электрические солнца вдоль набережной. В прихожей в это время Белокопытов спросил негромко и встревоженно:

— Ну что?

— Ну что, что? — ответил злой, деревянный голос.

— Придет, я спрашиваю?

— А я почем знаю.

— Ты ее видел?

— Сейчас от нее, видел.

— Что же она сказала?

— Сказала, что придет, а может быть, не придет.

Белокопытов помолчал, затем проговорил со страшной досадой:

— Как же ты не понимаешь, что если не она, то все к черту!

— А я руки ей свяжу? Она ведьма, а не баба. И не верю я в твои махинации. Не держи меня, пожалуйста, за пиджак.

В мастерскую вслед за Белокопытовым вошел небольшой человек со злым и скуластым лицом. От черных усиков и острой бородки оно казалось очень бледным. Он подал, как деревянную, прямую руку, сказал: «Сатурнов»,— громко высморкался и сел у среднего стола на пуфчик, оглядывая ликеры.

Белокопытов, подмигнув на него, проговорил уже иным, простецким голосом:

— Хорошенько посмотри на Александра Алексеевича, поучись! Человек прямой, суровый и фанатик в искусстве. Мы друзья, хотя противоположны, полярны. А мы тут с Егором Ивановичем в философию залезли, добрались до России.

— Перестань! — ответил Сатурнов и сморщился до невозможности; черная бородка полезла у него на сторону, а татарские усики вкось.— Дурака корчишь. Философия твоя — к бабам ездить.

Белокопытов сразу побледнел, сжал маленький рот.

— У всякого свой стиль,— отчеканил он и обратился к Егору Ивановичу: — О России мы еще поговорим, но если ты попал к нам, помни главное: вся Россия — это «что», а мы — это «как». Мы эстеты, формовщики, стилисты, красочники. Вне нас формы нет, хаос...

Он уже сердился и настаивал, но договорить ему опять не пришлось. В прихожей раздался кашель, и вошли трое юношей. Один с детскими щеками, вздернутым носиком и челкой на лбу, одетый, как картинка, другой кривоплечий с перекошенным и унылым лицом

и нечесаный, третий же был высок, в застегнутом сюртуке с хризантемой на шелковом отвороте, и походил на Уайльда. Все трое были из кружка «Зигзаги», из тех еще никому не известных поэтов и художников, которые первые поддержали Белокопытова на редакционном заседании «Дэлоса».

Молодой человек с челкой и взлохмаченный молодой человек только поклонились, похожий на Уайльда сухо пожал руки, и все трое сели в угол на диванчик. Белокопытов зажег под никелевым чайником спиртовку и хлопотал с посудой. Сатурнов, облизнув усы от ликера, побарабанил ногтями и проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Много сволочи развелось, сделай одолжение!

Он очень начинал нравиться Егору Ивановичу. От присутствия его в комнате все речи Белокопытова казались милой болтовней, «Зигзаги», на диване, только смешными, а вся суетливо убранная комната — бонбоньеркой. В маленьком сухом Сатурнове была крепость и неповоротливость корня. Егор Иванович чуял его нюхом, как собаки слышат запах родного дыма.

Вошли Волгин и толстый юноша Поливанский. Они оба задержали руку Егора Ивановича в своей и поглядели на него насквозь; после этого занялись чаем.

Белокопытов вертелся на каблучках, говорил одним: «вам чаю», другим: «вам ликеру», третьим: «нет, нет, вам только грушу»,— определяя вкус каждого вдохновенно, и все более жеманился, поднося платочек к губам и векам, влажным от пота. С ним не спорили и ели что дают.

Поэт Горин-Савельев и новеллист Коржевский пришли вместе и еще с порога начали болтать всякий вздор. Поэт схватил Белокопытова под руку и зашептал на ухо милую сплетню, прерывая рассказ пронзительным и неживым смехом, при этом откидывал голову и поправлял височки. В прихожей послышалось густое сопение, и глубокий, как из чрева, голос произнес:

— К вам можно?

Вошел Полынов, как всегда в велосипедном костюме. Его большие волосы и борода растрепались от ветра. Зелеными глазами из-за пенсне он оглядывал при-

сутствующих весело и с наслаждением, затем увидел «Зигзагов», замер, наклонил голову и стал похож на большую собаку. Белокопытов воскликнул громко:

— Я предлагаю подождать с чтением до полуночи. Я жду одного замечательного человека.

— Бабу,— проворчал Сатурнов.

— Кого? Женщину? Болтунову? Скороговоркину? Мадмазель Злючку? Я боюсь,— затараторил Горин-Савельев, весело хохоча, тогда как глаза его оставались безучастными и даже тоскливыми.

— Ведьму,— подтвердил Сатурнов.

— Представь, я ее никогда не видал; говорят, замечательная женщина? — сказал толстяк Поливанский другу своему Волгину, который, приуныв, сидел у окошка.

— Ее преувеличивают и раздувают. А сама по себе ничего. Петроградское порождение,— ответил Волгин, подумал, вынул книжечку и записал: «Как на болоте растут ядовитые лютики, так же точно Петроград порождает людей с отравленной и злой кровью».

Написав, он поставил сбоку нотабене, повеселел и закурил папироску.

Полынов, ходя неслышно, как кот, между гостей, подобрался сбоку к Егору Ивановичу и спросил его неожиданно и необычайно мягко:

— Вы давно занимаетесь литературой?

Егор Иванович вздрогнул. От бархатного глухого жилета критика пахло духами, книжной пылью и едой.

— Нет, это моя первая серьезная вещь.

Полынов продолжал его разглядывать так, точно Абозов был в эту минуту самой интересной штукой на всем свете, и проговорил еще более вкрадчиво:

— У вас очень любопытное лицо. Можно посмотреть вашу ладонь?

Егор Иванович не знал, как ему на это ответить, смутился, тщательно обтер платком большую свою руку и молча сунул ее Полынову, который сразу, вдохновясь, начал что-то говорить о бугре Сатурна. В это время ударили по старинным клавишам клавикордов, и дребезжащий, но очень музыкальный голосок Горина-Савельева запел:

Дева хочет незабудок,
Бедный юноша молчит.
Ах, зимою незабудки
Расцвели бы на снегу!

Гости затихли. На крышке клавикорд дымила оставленная папироска. Мигала, широко разгоревшись, свеча в канделябре.

Полынов, продолжая шептать над ладонью, щекотал ее бородой. Вдруг Сатурнов, сильно, должно быть, охмелевший, еще более бледный, бросил со своего места мандарином в Горина-Савельева и крикнул:

— На!

Поэт вскочил, теребя пуговицу, повторяя:

— Я не позволю. Я не могу. Я обижен.

Его стали успокаивать, он ушел за занавеску и затих. Гости потребовали чтения. Полынов сказал:

— Мы докончим с вами потом. Читайте! — и сам принес ему на столик канделябр.

Егор Иванович вытащил из кармана рукопись. Все повернулись к нему и начали рассматривать. Он пробормотал:

— Я прочту главу из повести. Тут я описываю мое детство. Хотя это все равно, конечно. Ну, так вот.

— Подожди! — воскликнул Белокопытов и широко отбросил портьеру.

В комнату вошла молодая женщина, худая и высокая, в черном платье. В темно-рыжих волосах ее был вколот большой гребень. Лицо маленькое, словно измученное, и почти некрасивое. Очень выделялся только красный пышный рот и серые глаза, холодные, будто прозрачные, окруженные синевой. Она сказала слабым, но ясным голосом:

— Извиняюсь. Продолжайте чтение. Я не здороваюсь пока ни с кем.

И села у входа в кресло.

6

Егор Иванович пододвинул канделябр и, наклонившись над клеенчатой тетрадью, начал читать глухим голосом, понемногу затем окрепшим:

— «Каждую весну Чагра лезла из берегов и ветреной ночью прорывала плотину. Все село сбегалось с фонарями и лопатами глядеть, как река уходила в степь. Вода шумела, ломался лед, выли собаки, и ребятишки ревели со страха. До мая Чагра стояла такая мелкая, что раки в неглубоких омутах кусали от голода уток за лапки, коров под копыта, мальчишек за голое пузо. Потом реку запружали, по берегам она порастала камышом и утром казалась широкой и голубой от тумана. По ней плавала птица русская и дикая; с бугров на берег сходило и пило стадо, и звонко весь день стучали вальки на мостках.

Кулик вместе с бесштанными ребятишками ловил в реке противных водяных жуков, вытаскивал раков на кошачий хвост, нырял и плавал, как лягушонок, и в голове у него от постоянной мокроты прыгали водяные блохи.

Когда шумел ветер, Чагра синела и ходили по ней волны,— Кулику становилось грустно, он сидел на берегу, подперев кулаком немытое рыльце.

В ясный день, после дождя, зажигалась в небе радуга и опрокидывалась в реке; Кулик думал, что это бог поехал в синее поле за льном и радуга — колесо его большой телеги.

Зимою река задыхалась подо льдом и пускала пузыри; они обозначались белыми пятнами, и если их проткнуть и поджечь, то надо льдом поднималось холодноватое пламя. Кулик лепил ледянку, заливал ее снизу водой и, держась за веревочку, скатывался вертуном с высоких сугробов на лед. А запыхавшись, любил нагнуться к проруби, испить студеной водицы, пахнущей дном, и подолгу глядеть, как там, в зеленой глубине, плавает рыбешка и еще кто-то.

Так его и прозвали — Кулик, за то, что он, как птичка кулик, все время сидел и скулил на реке.

Когда же в корявом окошке избенки зажигалась жестяная лампа, Кулик обеими руками отворял дверь и появлялся на пороге. Мать говорила, вздыхая: «Поди поешь горяченькой картошечки»,— вытирала ему пальцами нос и обдергивала рубашку. Кулик живо совал деревянную ложку в горшок, потом в рот и глядел на

печь, где, свесив ноги, сидел дед,— либо молчал, либо кряхтел, почесывая старые бока.

Куличихина мать, Матрена, была баба тощая и невеселая; Иван, родитель Кулика, с нею не жил, нанимался в годовые работники на усадьбу, и хотя до дела был лютый, говорят, но запивал в год раз восемь. И всегда чуяла это Матрена, металась по избе, жить никому не давала, к вечеру уходила на усадьбу и возвращалась оттуда совсем уж серьезная, просилась у соседей в баню и долгие ночи простаивала потом у образов.

Раз Кулик увидел: на санях по селу едет отец, лицо бледное и злое, борода черная, кафтан разодран, а рядом с ним сидит румяная баба, про нее все так и говорили, что она солдатка. Проезжая мимо своей избы, родитель покосился; в калитке стояла Матрена и низко поклонилась мужу, а солдатка подняла бутылку с вином, плеснула из нее и засмеялась громко.

Дед было не велел, но Матрена все-таки ушла в тот же день на хутор и не вернулась ни на следующие, ни на вторые сутки. Тогда дед надел полушубок, обмотался шарфом, взял Кулика за руку и пошел с ним в поле. Кулик плакал; вдруг дед говорит:

— Мамка идет, не замерзла, живая.

Кулик увидал вдалеке на снегу мать. Она шла шибко, махала рукой, а когда поравнялась — отвернула только голову, не остановилась. Дед позвал ее вдогонку три раза по имени, потом сказал:

— Кулик, мамку-то били.

Кулик бежал за матерью до самого двора. Она ни разу не обернулась, вошла в избу и прямо села на лавку. Один глаз у Матрены глядел, на другом — шишка, сама дурная и страшная. Дед распутался и улез на печь. Мать поманила Кулика, взяла за голову, прислонилась к ней щекой и сказала:

— Эх ты, Куличок мой, Куличок.

Потом поставила его в красный угол и наказала молиться, слов не путать, а сама все слова спутала, зашептала:

— Божья матерь, утоли моя печали! Уйду — покрой мальчика покровом пресвятыя богородицы. Пожалей.

Накажи Егорию, чтобы устерег его; он и волков стережет, Егорий Храбрый, и бычка стережет...

Больше ничего не разобрал Кулик. Стало ему мать жаль, и он сказал ей грубым голосом:

— Буде реветь, мать. Чай, я не маленький, сам управлюсь.

На другое лето Матрена ушла и вернулась только осенью; Кулик сильно за это время подружился с дедом. На весну отвез его дед в город, определил в легкие извозчики. Кулику обрили голову, выдали кафтан и шапку, стал он возить господ, слушать их разговоры, в трактире пить чай с мужиками. Было ему тогда одиннадцать лет.

Господа были всякие — сердитые и пустяковые, на извозчиках любили ездить все, а тем, кто шел пешком, Кулик говорил с козел:

— А вот на резвой! Наймите извозчика, прокачу.

Учили они Кулика и гадким словам, и французским, и таким вещам, которые мудрено было понять.

На углу Кошачьего переулка садился на Кулика каждое утро Семен Семенович Рыбкин, в калошах и с книжками,— учитель. Наймет за гривенник и разговаривает всю дорогу.

— Ну, Кулик, скажи: перпендикуляр.

— Совестно, Семен Семенович.

— А где у тебя совесть сидит?

— Я неграмотный, не знаю.

— А у лошади твоей совесть есть?

Словом, Семен Семенович сбивал его с толку и нравился Кулику ужасно, главное потому, что был чудаковат.

Осенью на извозчичий двор пришел из деревни дед. Стал он совсем хилый, едва узнал внука и поздоровался с ним за руку. С Куликом случилось это в первый раз, но он и виду не подал, сказал только твердо, по-мужицки:

— За деньгами, что ли, дед, пришел? Можно.

Дед поспрошал насчет работешки: не обижают ли Кулика люди, и захотел попить чайку. Кулик повел его в трактир, заказал порцию чаю и воблы. Дед жмурился, хлебал кипяток, пропотел сильно, а как отошел немного, сказал:

— Вот что, Кулик. Мамка твоя опять ушла по Расеи. Не знаю, когда и вернется. Кланяться тебе наказала. Хотела сама повидать, да не по пути. Вот, значит, я тебя видел, и все слава богу. Очень я хил стал, изжога у меня от хлеба. Помирать надоть.

Но Кулик и про воблу забыл, и про чай, и про то, что он перед дедом теперь как старший. Очень мать ему стало жалко. Заслонился рукой, стал глядеть в окошко. А дед шамкал беззубым ртом:

— Вот тебе наказ, Кулик: мать не забывай. Она баба тощая, ничего не стоит, ну баба и баба, а только в ней, парень, ядро. Разуму нет, а через это ядро все понимает. Поговорили мы с ней зимой — ай-ай сколько. Видит она постоянно будто свет, и в нем лицо ужасное, волосья веником, ну вот никак нельзя на него глядеть. И говорит оно ей: «Матрена, обуй лапти, Матрена, обуй лапти».

Я ей десять пар лаптей сплел за зиму. Очень меня уважала Матрена за это. Каждый день горячее варила, солонину варила и денег дала, как ушла, шесть копеек. Значит, и ты меня, Кулик, уважай. Вдруг я заживусь. Ведь я тебе дед. Ты денег отцу не давай — все прогуляет. Очень Матрена через него помаялась. Бил он ее летось смертно. Я уж и к акушерке возил, помирала, все про тебя спрашивала.

Дед выпросил четыре рубля и семь гривен с пятаком и на другой день ушел.

Время было знойное, летнее. Ездоков мало. На улицу только приказчики выходили из магазинов, зевали и дурели от жары; иногда на дворе играла шарманка или глупая баба, надумавшись в такое пекло продавать соленую тарань, кричала дурным голосом: «Рыбы воблой, рыбы».

Кулик подолгу простаивал на углу, глядел, как дремала его кобыла, как лениво шлялись люди, как варили асфальт два мужика, мешая, точно черти, в котле железными лопатами.

«Стоишь, стоишь, а овес-то сорок три копеечки. Что за жисть! — думал Кулик. — А тут еще дед напустил скуки — податься некуда: в деревню уйти — отец заест, а здесь — каторга».

Увидел раз Кулик — идет Семен Семенович с удочками; подъехал к нему и посадил даром, из уважения только, довезти до реки. Семен Семенович спросил:

— Ну что, голова, как дела?

— Плохо, Семен Семенович,— ответил Кулик.— Разве это житье? Сиди без толку на козлах. Ну, я, скажем, годов через восемь лошадь себе куплю — опять то же самое. Мать у меня по миру пошла, дед помирает, про отца-то и говорить бы не хорошо — чистый разбойник. А мне, Семен Семенович, тринадцатый годок пошел. Вот и думаешь: куда деться? Ни грамоте, никакого ремесла не знаю.

Доехали они до реки. Семен Семенович пристроился на плотах, закинул две удочки, а Кулик кобылу привязал и присел около учителя. Оба стали глядеть на поплавки. Семен Семенович жевал губами, как заяц. Рыба не клевала. Вдруг он спросил сердито:

— Ну, а если я тебя в услужение возьму, ведь избалуешься?

— Нет, я не избалуюсь.

— За тебя строго примусь, смотри, я — лютый.

— А какое будет ваше жалованье, Семен Семенович?

— Ни копейки и колотить еще буду, если что, поросенок!

Кулик обещался подумать, а на другой день спозаранку сидел уже на крылечке у Семена Семеновича, дожидался, пока проснется учитель. Кулик помазал волосы коровьим маслом, расчесал на две стороны, захватил все свое имущество: сундучок и валенки.

Ждать пришлось долго. Не смея стучаться, он заглянул в окошко деревянного домика и увидел: у стола перед непотушенной лампой дремал Семен Семенович в ватошном халате: очки у него сползли на кончик носа, лицо было старое, смирное и убогое. Кулик постучал в окно и крикнул:

— Куда одежонку-то положить? Стали мы на работу, Семен Семенович.

А вернувшись на крыльцо, достал хлеба и луковку, стал закусывать. На душе у Кулика было спокойно теперь и весело.

Учитель жил в трех комнатешках один. Спал где попало; обедал в трактире; по ночам читал книжки. Было похоже, что его бросили люди, он и завалился в хламе, живет без доли.

Кулик сразу же пообсмотрелся и доказал свою расторопность, готовность обезживотеть от работы. С прокуренным, пыльным помещением, заваленным книгами, расправился он, как в конюшне: выкинул вороха мусора, обмел пыль, все вымыл, вещи свалил в углы, и до того разошелся, что, подавая учителю мыться, так уж и смотрел, что вот сейчас и вычистит его скребницей. А ночью однажды вылез из кухни, стал в дверях, почесал под рубашкой и сказал сердито:

— Будет вам читать. Глаза проглядите, спать надо.

Семену Семеновичу все это ужасно понравилось. Он целые дни проводил теперь в разговорах, в чаепитии на травке около домика; ходил с Куликом удить рыбу. В болоте они наловили тритонов. Семен Семенович посадил их в банку и поставил около окошка на куче книг. Кулик посмотрел на это неодобрительно. Убираясь раз в кабинетике, заворчал:

— Читать не читают, книжки только гноят. Чтецы!

Семен Семенович банки переставил на подоконник, а Кулика спросил:

— Хочешь, я тебя грамоте буду учить? Кто знает, может и в гимназию определю.

Кулика бросило в жар, но сейчас же он отставил ногу, заложил руки и ответил степенно:

— Благодарим. Только нам не приходится. Беспокойства много.

Семен Семенович после этого целую неделю жевал губами, все чего-то прикидывал, а Кулик сердился и, убирая комнаты, такую поднимал пыль и возню, что приходилось выходить на крылечко. Наконец он не вытерпел: вечерком надел чистую рубашку, причесался расческой и, став у дверей в кабинетике, сказал:

— Что же, посулились, так уж показывайте и буквы и цифири.

За ученье Кулик принялся сурово, въелся в него. Просидел за книжками всю зиму, сдал экзамен весной, потом осенью и был принят во второй класс.

В серой курточке, при галстуке, при всех застегнутых пуговицах Кулик пошел к ранней обедне, помолился о матери, о Семене Семеновиче, о всех начальствующих, о себе; потом вернулся домой, поставил самовар и стал ожидать, когда проснется учитель.

Семен Семенович даже снял очки и вытер их, глядя на Кулика в гимназической форме. Оба они взволновались, пока по знакомым улицам шли до гимназии. Здесь Кулик поклонился швейцарам, всем встречным мальчикам, и был посажен на первую парту, с наказом сидеть смирно. Он так и просидел, не шевелясь, все пять часов, хотя гимназисты, одичавшие за летнее время, пускали в него катышками, стрелками и норовили подраться. Кулик терпел, уважал всех и только мигал глазами.

Хозяйственно и с высоким почтением относился он ко всему, что касалось гимназии: к одежде своей, книжкам, швейцарам, к вешалке, даже промокашку называл чернило-промокательной бумагой. А учителей слушал, не смея дыхнуть. В середине зимы он был первым учеником. И гимназисты уже всерьез начали его поколачивать, уверенные, что он прорвется, наконец, и наподличает. Его прозвали «извозчиком» и «портянкой».

На следующий год, осенью, Кулик получил письмо из деревни от отца, где родитель приказывал ему ехать домой и везти денег, а не то грозился оторвать голову, если что. Семен Семенович сказал: «Глупости»,— и бросил письмо в печку.

В это время в гимназии случилась мелкая история. Учитель географии, по прозванию Хиздрик, напился в именинный день, пришел в класс совсем мокрый, сидел, хлопал глазами, кашлял и плевал около кафедры; потом ушел зачем-то, вернулся минут за пять до звонка и, уставясь на наплеванное место, спросил:

— Кто напакостил?

Тогда Кулик, крайне всем этим удрученный, встал, взял с доски тряпку, вытер плевки, вернулся на свое место и тут только заметил, что все ученики глядят на него, а Хиздрик стоит красный, вот-вот лопнет. Кулику стало жарко. Ученик Арочкин, который на задней парте

ел яичницу, сказал басом: «Перестарался!» И началось хихиканье, фырканье, ждали, что скажет Хиздрик. Он засунул пальцы в жилетные карманы, закинулся, разинул рот и во всю свою пьяную глотку загрохотал смехом. Завизжал и покатился за ним весь класс.

— Мерси-с и благодарим за усердие,— выговорил, наконец, Хиздрик.

— Василий Васильевич, объясните ему — здесь не конюшня,— сейчас же загудел Арочкин.

— От всей нашей конюшни говорим мерси-с! — повторил Хиздрик и принялся расшаркиваться, пока его не качнуло к стулу и он сел.

Тогда Кулик начал совать в сумку пенал и книги; они никак не лезли. Он почувствовал, что уши у него прижимаются и вся комната, ученики и Хиздрик летят, как с горы, к чертям. Он сгреб сумку, вылез к дверям, оглянул всех напоследок и крепко, по-мужичьи, обругался.

Вернувшись из гимназии, Семен Семенович нашел Кулика в кухне и закричал:

— Ты что это натворил? Да ты спятил! Ах ты волчонок! Вот уж действительно, корми его, а он в лес глядит.

— Не трогайте меня, Семен Семенович. Я домой, к отцу пойду. Покорно вас за все благодарю,— ответил Кулик, не глядя в глаза, и сел на заднем крылечке, а в сумерках ушел не простясь.

Кулику стало душно, когда он миновал последний фонарь окраины. В темное поле уходило много разъезженных дорог. Позади в дождевой мгле рассыпались мутные огни — все, что осталось от города.

Идти нужно было нагнувшись к сильному ветру. Дождик сек лицо. За этим темным полем где-то были глинистый обрыв и светлая речка, и радуга над ней, и все до последней травки родное и милое.

Чтобы не очень бояться, Кулик ворчал:

— Я вам полы подтирать не стану. Своим горбом копейку вышибу. А уж кланяться — это мерси-с, другого найдите. Благодетели тоже. К чертовой матери всех. Не заплачу.

Все-таки Кулик поплакал за эту дорогу. Под утро

его нагнал обоз; передний мужик поспрошал, кто такой, и посадил в телегу. На другой день Кулик увидал родное село, старые ветлы, журавли колодцев, соломенные крыши, осклизлый обрыв и мутную речонку.

Все это представлялось ему раньше пышным, ясным и благодатным. Осенние дожди общипали деревеньку, прибили к земле.

«Господи, да куда же все делось?» — подумал Кулик и побежал по знакомой меже.

Куликова изба была совсем уже никуда не годна. Ворота растворены, снизу их засосал жидкий навоз; во дворе шлялись две курицы, да еще облезлый пес с грязными усищами зарычал на Кулика и шарахнулся через дыру в заборе. В захоженных сенях не было половичка, не стояло на полках крынок и горшочков. Да и крыша протекала. Кулик дернул дверь и вошел в избу. На лавке у окошка сидел отец, босой, в рваных штанах. Черная с проседью борода его торчала веником от самых ушей; горой лежали волосы. Он поднял опухшие веки и закричал сердито:

— Что тебе надо?

Кулик поклонился низко, ответил:

— Здравствуй, отец.

Отец перебрал ножищами и подмигнул.

— Э, да это Егор,— сказал он.— Я тебя давно жду. Садись. Да не сюда, в красный угол садись. Со светлыми пуговицами, как раз туда пришелся. Образа-то у меня бабы порасхватали, не то я их пропил, вот запамятовал! Что же, теперь перед тобой стоять надо или дозволите посидеть?

— Батя, я совсем к тебе пришел,— сказал Кулик смирно.

— Ну что же это за благодетель! Где такие дети берутся? Отца пожалел. Эх, Егорушка, хил я стал. Поработал со свое, все кости изломал. А мужик был какой крепкий! Барин завсегда за руку здоровался. Ей-богу. «На, говорит, тебе, Иван, рупь, поди выпей. Не то что ты, а мне, говорит, на тебя работать надоть бы. Только бог нас не так рассудил». Вот как меня барин понимал. А я не выбился в люди, Егорушка. Корми ты меня черствым хлебом, обижай старика.

Он подпер бороду и захныкал, поглядывая на сына. Кулик сидел, как мертвый, положив руки на стол.

— Жалко меня, сынок? — продолжал отец, скосоротившись умильно.— Что же ты все молчишь? Ты поплачь. Ведь какую силу я в себе загубил! Летось ко мне на двор приезжал земский, во всех орденах. «Здравствуй, говорит, Иван, много про тебя слыхал. Первый ты мужик, а находишься в убожестве. Что это такое значит?» Да как затопает на меня каблуками. Я ему сейчас ответ: «Вы бы у меня, господин земский, давно бы спросили, отчего мужики последние сапоги пропивают. От скуки, только от нее. Пахать не пашем, зря землю ковыряем. Ни села, ни угодия, один тын торчит, и мужик на нем. Как я землю понимаю? Прах да навоз. Хоть я босой и пьяница самый прогорклый, а лучше на каторгу пойду, чем землю ковырять. Вы сюда, говорю, хохлов гоните. Ох он, хохол! Ему первое дело земля. Он сидит на бугре и зерно из горстки в горстку пересыпает, одно удовольствие. А мне хитрость свою девать некуда. Я, может, себя первым человеком в России понимаю, мне бы губернатором сидеть в Пензе». Ты что думаешь, пуговицами зарезал меня? А я вот желаю тебя за волосья таскать, семя крапивное!

Иван живо протянул руку, словил сына за вихор и пригнул к столу. Кулик вывернулся. У него звенело в голове, и так было тошно от усталости, от голода, от бездолья, что опять он сел, не шевелясь, не подняв глаз, ожидая всего. Иван, сопя и дыша винным перегаром, засучивал рукава на волосатых ручищах, потом точно раздумал и проговорил со вздохом:

— Эх, погиб я через Матрену, через твою мать. А ведь повернули так, будто я ее замучил. Действительно, грешен, бил Матрену смертным боем. А жала у нее так и не выдернул, самого ехидного. Превзойти хотела меня. Сама, подлая, под кулак лезла. Святости набиралась. Через меня чтобы в мученицы ей произойти. Ох, подлая! А сама больше меня до сладкого охотница. Скверная баба, тьфу, рябая баба! С монахами нынче занимается.

Кулик видел теперь только красную рожу перед

собой, бородатую и страшную. От нее начало его медленно трясти. Не помня, как встал, он вплоть подошел к отцу, крикнул: «Окоянный, окоянный, ты мать осквернил!» — и замахнулся. Но Иван живо ударил сына по зубам, опрокинул на лавку.

— Ты на меня рискнул? — проговорил он уже совсем весело.— Да ведь я тебя слюнями перешибу! Снимай сапоги.

Он присел, сдернул с Кулика сапоги и повертел его ногу.

— В белых чулочках пришел. Ах, сердечный! Ведь я отец тебе, ей-богу, не живорез. Сукин я сын! Сожрала меня водка. Сапоги-то твои я пропью, Кулик, а уж так тебя пожалею. Пойду, сынок, луковку принесу.

Иван зашмыгал носом и ушел, завалив снаружи дверь на засов. В избе было холодно. В четыре стеклышка окна барабанил дождь. Там, на улице, шло какое-то глухое деревенское житьишко. Неприкаянный теленок с обрывком веревки на шее все шатался поперек жидкой дороги. Текли мутные ручьи, собираясь в канаву. Мальчишка силился столкнуть в нее навозную кочку. Ничего помимо этого не ждал уже больше Кулик; ему хотелось завалиться, как кочка в ручей, уплыть в мутную родную Чагру. Он долго сидел у окна. От голода ли, от сырости или от скуки его начало трясти. Отец не шел, а если бы и пришел — радости мало.

Вдруг вдалеке чуть слышно зазвенел колокольчик. Кулик прижался к стеклу посмотреть — кто это едет на воле, но колокольчик отзвенел за селом и затих. Тогда стало ясно, что ждать здесь больше нечего и нужно идти.

Кулик толкнулся в дверь, она не подалась; тогда, уже в злобе, он выбил поленом окошко, вылез и побежал, как был, в чулочках, по жидкой грязи на зады, через плотину в поле. Бежал он долго, оглядываясь, не гонится ли за ним отец. К вечеру выбрался на большую дорогу и побрел мимо гудящих проволок телеграфа. Столбы с подпорками, точно кривобокие и дохлые великаны, пропадали, загибаясь в мутной дали. Кулик знал, что дорога эта ведет в город и что других дорог теперь ему нет».

7

Егор Иванович закрыл тетрадь, сейчас же отер ладонью лицо — умылся, и сидел не шевелясь. Слушатели молчали, только толстяк Поливанский сопел, будто вывез воз. У «Зигзагов» на лицах была изображена тошнота. Сатурнов, уставясь на рюмку, шевелил усами. Волгин пошептал что-то Коржевскому, и оба усмехнулись.

Остальных Егор Иванович не видел, они были за его спиной. Он веревочкой старался завязать тетрадь и думал: «Общий поклон и немедленно к черту!» А веревочка все не завязывалась.

— Я хочу знать, что дальше с бедным Куликом, — услышал он тихий и повелительный голос; вздрогнув, повернулся в кресле и увидел глаза — серые, мрачные и странные.

Валентина Васильевна Салтанова, та, что вошла последней, сидела, закинув ногу на ногу, нагнувшись вперед, положив на острое колено руку, в которой дымилась египетская папироса. Продолжая глядеть в глаза Абозову, она раскрыла опять пышные и легкие свои губы и просто, как говорят только великие люди в исторические минуты, произнесла:

— То, что я слышала, превосходно. Больше всего мне нравится сам автор.

По гостям пролетел шелест разговора, все пошли здороваться с Валентиной Васильевной. Белокопытов подскочил к Абозову и зашептал:

— Иди же, наконец, к ней, ведь это неприлично. Я тебя представлю.

Егор Иванович, наступив на чьи-то ноги, стукнувшись обо что-то коленками, подошел и тяжело поклонился. Ее глаза стали веселыми.

— Милый Кулик, — сказала она ему, — подумайте, я уже люблю вашего Кулика.

Он поднял руку и, не зная, что с ней делать, запустил в волосы. Теперь он больше всего боялся улыбнуться — это было бы глупо. Из гостей кое-кто уже хихикнул. Егор Иванович проговорил глухим и взволнованным голосом:

— Я очень рад, что вам понравилось. Дальше идет в том же роде.— И так как она выразила на своем лице внимание и любопытство, сел напротив нее на пуфчик и, утопая в свету ее глаз, продолжал, уже не думая: — Я пишу дальше, как он вырос и хотел стать замечательным человеком. У него были страсти, очень большие; Кулик чувствовал, как его всего переполняет. Понимаете? У него сырая, хаотичная душа. Он бросился в университете на книги, учился так, точно почувствовал голод за тысячу лет. Потом, когда настала революция, растерялся и, наконец, с еще большей страстью начал работать как террорист. Но здесь — опять перелом после одного нелепого убийства. И наступает время томлений, снов, предчувствий... На этом обрывается повесть. В ней главное: он не мог зажечься таким огнем, чтобы в нем все перегорело, оформилось. Не душа, а болото.

— Почему же вы не помянули о самом главном? — спросила Валентина Васильевна.

— О любви? Да, да, там есть и любовь, только жалкая.

— Вы не думаете, что такие души загораются только от очень сильной любви?

— Откуда же взять, если нет ее такой,— проговорил Егор Иванович слишком громко и очевидно. Валентина Васильевна отвела от него глаза, усмехнулась, и у нее порозовели щеки. Гости отошли к фруктам и чайному столу. В наступившем молчании критик Полынов мягко, как кот, взяв Егора Ивановича под руку и обращаясь к Валентине Васильевне, сказал:

— Я видел его ладонь, эта рука талантливого человека. Его ум неудержимо стремится овладеть сердцем и выйти в бугор фантазии и эмоциональных откровений. Но сердце не развито, и ум блуждает, пересеченный страстями. Это рука славянина. Она вся в будущем.

Валентина Васильевна перебила его:

— Я с вами согласна. Меня взволновало сегодняшнее чтение. Как вы нашли стиль?

— Я не понимаю этого слова,— Полынов обернулся к писателям.— Поговорим о стиле; стиль — это то, чего нужно избегать; стиль там, где его не видно; Тео-

фил Готье сказал: «Я пишу фразу не думая, и знаю, что она упадет, как кошка на четыре лапы».

Он взял ножичек для фруктов и, разрезывая им воздух, говорил, что стиль есть двойной процесс — умерщвления слова и вложения в него самого себя, с тем чтобы оно, воскреснув, появилось в новом, единственном, неповторяемом значении; стиль — это есть заклинание бога войти в слова.

Валентина Васильевна поднялась и, шумя платьем, подошла к Егору Ивановичу; ему стало душно; она сказала:

— Я хочу вас знать. Вы придете ко мне в субботу, в девять часов вечера, это мой день. И еще я хочу, чтобы вы не переставали краснеть и трусить меня. Сколько вы можете поднять одной рукой?..

Но, не дожидаясь ответа, улыбаясь, она поднесла к его губам кончики пальцев и, простясь со всеми, вышла. Белокопытов бросился ее провожать до дверей. Вскоре удалились и «Зигзаги». Тот, что был с хризантемой, произнес короткую речь:

— В редакции мы будем стоять за повесть. Но это не значит, что она нам нравится. Нам стыдно. Это морсо для гостиного двора. Только город может дать то, чего еще не видали!

Волгин, просмотревший во время беседы о стиле тетрадь Егора Ивановича, выразил одобрение и согласие, чтобы повесть печаталась в «Дэлосе». Коржевский и Поливанский кисло присоединились. Из-за портьеры с кровати раздался капризный голос Горина-Савельева:

— А я ничего не слышал, я ничего не видел, я спал!

Его вывели из-за занавеси, но он не захотел ни петь больше, ни играть. Все были утомлены жарким накуренным воздухом и ликерами. Было решено, что завтра же Белокопытов переговорит в редакции с Абрамом Семеновичем и передаст ему для прочтения повесть. Пожимая Абозову руку и выражая свое одобрение, гости разошлись.

Остался только Сатурнов; он сидел в углу у столика перед бутылкой вина. Белокопытов уже поглядывал на него выразительно, но приятель не уходил, и он, расстегнув нижние пуговки на жилете, проговорил:

— Победа, Егор, браво, браво. Повесть произвела впечатление. Признаться, вначале я подумал: фу, деревня, опять деревня, когда нас избавят, наконец, от пейзан? Но Валентина, ты заметь, вот умная баба, раскусила тебя, как орех. Она не ошибается никогда. Воображаю физиономию Норкина, если повесть будет напечатана. Как? Еще какой-то Абозов осмелился выскочить рядом со мной, как прыщик? А мы нарочно раззвоним тебя по всему Петрограду.

— Звони, звонарь,— проговорил Сатурнов мрачно, как из бочки. Белокопытов покосился и кашлянул. Егор Иванович сказал:

— Замечательная Валентина Васильевна, правда?

— Да, с кваском.

— Она кто? Писательница?

— Нет. Богатая женщина. Вдова и меценатка. Она женщина обольстительная. Ветрена, капризна и зла. Я был удивлен ее отношением к тебе сегодня. Ожидал иного. Я испугался за тебя, конечно. Берегись. Нужно, чтобы она относилась более спокойно; иначе получится ракета, бум, и она пошлет нас всех к чертям. Необходимо оставить ее неутоленную до конца. Ты приглашен в субботу — не ходи.

— А я говорю — иди,— проворчал Сатурнов.

— При этом ты должен держаться как можно скромнее,— не замечая, продолжал Белокопытов,— будто ты сам не понимаешь, что написал, только благодаря нам помещен в ноябрьской книжке и прославлен. Вообще предоставь все дело мне и поступай, как я скажу. А если не хочешь, дело твое. Только при этом условии я берусь тебя устроить,— окончил он с раздражением, выбежал в переднюю и появился уже одетый, в пальто и в цилиндре.

Сатурнов, глядя на него из-за бутылки, проговорил:

— Она вчера у Сергея Буркина опять купила этюд.

— Ты грязный фат! — крикнул Белокопытов.

— О тебе был разговор!

— Какой разговор?

— Да что ты больно форсишь, на форс много бьешь, Валентина Васильевна сказала.

— Ну, хорошо, форшу, а что Буркин сказал?

— Буркин сказал, писать надо лучше. А то, стукнешь ногтем по полотну, краска сыплется, наспех готовишь. Дешевка.

— У меня сыплется краска? Ты видел? — Белокопытов сейчас же выкатил мольберт, повернул его и стукнул по начатому полотну.— У меня краска на кроликовом клею. Я теперь знаю, откуда идут эти слухи. Это ты на голом желатине пишешь.

— Врешь,— ответил Сатурнов,— ты мою кухню не видел. Я тебе носа туда сунуть не дам. И все ты форсишь, и все ты политикой занимаешься. Чемберлен! Картины нужно хорошие писать, а твои махинации лыком шиты.— Он большим пальцем ткнул на Егора Ивановича.— Человеку в гости идти не велит. Просто на стороне досадно...

— Слушай, я тебя побью,— сказал Белокопытов.

Друзья замолчали. Сатурнов вылез из-за стола и, ворча про себя, надвинул большую шляпу на глаза, влез в теплое пальто с оторванными пуговицами и вышел. Вышли за ним Егор Иванович и Белокопытов, пожелавший перед сном подышать студеным ветром. Всю дорогу до набережной он не выпускал руки Абозова, точно боялся, как бы тот не остался наедине с Александром Алексеевичем. Сатурнов, помахивая тростью, шел впереди слишком твердыми для трезвого человека шагами. У каменного сфинкса все трое остановились. Белокопытов сел на гранитный барьер, под которым внизу тяжело плескалась вода. Ветер раскачивал электрическое солнце высоко над головой, и свет его, призрачный и голубоватый, скользил по мостовой. Мимо Академии шел ночной сторож. В разведенный мост пролезала чухонская лайба, шипел и дымил тащивший ее пароходик.

— Самое умное, Егор, если ты сейчас пойдешь спать,— проговорил Белокопытов,— в субботу мы встретимся у Валентины Васильевны. Повесть завтра передам кому нужно, ответ будет через неделю. Прощай.

Егор Иванович, осторожно вздохнув, пожал руки и пошел вдоль набережной к Дворцовому мосту. Мокрым ветром донесло до него обрывки слов: «Ты предатель,

предатель, ты пьян, ты не смеешь так поступать...» Он обернулся и видел, как Белокопытов вырвал у Сатурнова трость, швырнул ее в Неву и продолжал что-то кричать ему, грозя пальцем.

8

Николаю Александровичу Белокопытову предстоял сложный день. Проснувшись с головною болью, он прибирал мастерскую до двух часов, затем вскипятил воду, тщательно выбрился, припудрил опухшее немного лицо и принялся выбирать жилет, остановившись на замшевом с перламутровыми пуговками.

Одевшись, оглянул себя в трюмо и, чтобы платье лежало свободно, с особым «неуловимым каше», присел три раза и сильно встряхнулся.

Цилиндр растрепало вчерашним ветром. Николай Александрович погрел над спиртовкой руку, чтобы она вспотéла, провел ею по ворсу цилиндра и вытер его шелковым платком. После этого, закурив неконченную еще вчера сигару, сунул в карман рукопись Абозова и, довольный собой, взволнованный радостно всем, что предстояло ему сегодня, поехал в редакцию «Дэлоса».

У редакции был свой отдельный вход. На дубовой двери прибита маленькая медная карточка: «Дэлос», прием 3—5». Лакей, ничего не выражая на бритом лице, кроме желания казаться обезьяной, распахнул двери и сказал, что Абрам Семенович и секретарь уже прибыли.

Белокопытов поднялся по старинной мраморной лестнице во второй этаж, как свой человек миновал приемную, где, дожидаясь аудиенции, шагал между окон испитой юноша с оттопыренными ушами, и, постучав, вошел в секретарскую.

Это была комната, где сочетались вкусы Гнилоедова, настроенного мечтательно, в надежде славы и приключений, и деловитого секретаря.

Первая, бóльшая половина была обшита желтым дубом, уставлена американскими полированными столами, креслами, бюро и ящиками для книг. На задней стене, между двух низких колонок, висела бархатная,

оливкового цвета портьера со шнурами и бахромой. Она отделяла вторую половину — кабинетик, обитый оливковым штофом с фарфоровыми пуговками. Здесь, по словам Абрама Семеновича, находился «пульс редакции», тайный телефон, не записанный в книге (второй аппарат стоял на бюро секретаря). В расчете на долгие, быть может волнующие разговоры под телефонной трубкой стояла кушетка антилоповой кожи, упав в которую, опершись на локоть, можно созерцать редкостные гравюры и акварели, повешенные на стене.

Секретарь поднял палец, сухой, как карандаш, и сказал «тсс» Николаю Александровичу, который сейчас же за неплотно закрытой портьерой увидел Гнилоедова, лежащего с телефонной трубкой на антилоповой кушетке ничком.

— Я сделаю все, что вы хотите,— говорил Абрам Семенович.— Нет, нет, я уверен, что вкусы наши совпадут...

Он нервно смеялся, не разжимая губ, и вдруг лягнул ногой в светлой панталоне и повторил: «Злая, злая, злая».

За стеной ходил, дожидаясь удара судьбы, унылый юноша; слышался кашель автомобилей; свистел пароходик, пробегая по Фонтанке в Неву; секретарь надписывал адреса на проспектах.

Николай Александрович никогда не обдумывал заранее ни слов своих, ни поступков. Он намечал только их главное направление, предоставляя все остальное наитию, которое придет в нужную минуту. Так и сейчас он пускал колечки дыма, прислушивался к телефонной беседе за портьерой и, лукаво прищурясь, разглядывал золото на потолке, повторяя: «Вкусы наши совпадут, совпадут, совпадут». Но когда звякнула трубка и появился Абрам Семенович, стараясь придать круглому своему лицу равнодушие и значительность, необходимую для издателя такого ответственного органа, Белокопытов привстал в кресле, кончиками пальцев пожал Гнилоедову мягкую руку и, вновь откинувшись, сказал:

— Боже мой, на вас лица нет! Вы нездоровы, Абрам Семенович?

Гнилоедов опешил.

— Нет. А что? — и невольно схватился рукою за пульс.

Тогда Белокопытов продолжал уже совсем беспечным голосом:

— У вас было озабоченное лицо. Я ошибся... Заботы, заботы; мы же не общественники, правда. Я забежал сюда, как в клуб. Вы не могли выбрать лучшего места для редакции. Невский и Летний сад. Вы любите Невский? В четыре часа пропасть хорошеньких глазок, носиков и шляпок. На меня это действует, как стакан шабли. Нынешней весной, решено, в Летнем саду от трех до пяти будет собираться высшее общество, как в сороковые годы. Возрождение старого Петрограда. Как хорошо, что часы редакции совпадают. Я уверяю, «Дэлос» будут посещать аристократы, как изысканный клуб. В апреле начните афтернон-ти [1], мой совет! Знаете, чего вам не хватает? Женской руки. Здесь не чувствуется присутствие прекрасной дамы.

— То клуб, а то редакция, есть разница,— пробормотал Абрам Семенович, соображая, куда это клонит Белокопытов.

— Абрам Семенович, вы слишком серьезны, вы сухарь, вы социал-демократ. Ха, ха! Не сердитесь. Я вам передал не мое мнение, а то, что говорят в Петрограде. Валентина Васильевна вчера была у меня и болтала о вас, о редакции, обо всем на свете целый час. Словом, мы посплетничали...

Белокопытов принялся раскуривать новую сигару и из-под длинных ресниц видел, как глядит на него Абрам Семенович, с недоумением открыв немного рот.

— Мы болтали, пф, пф,— продолжал Белокопытов,— и доболтались. Ни более ни менее, как нашли для октябрьской книжки гениальный роман. Я настаиваю на этом слове.

Гнилоедов перебил:

— Валентина Васильевна только что мне звонила. Рукопись с вами?

— Да, дорогой Абрам Семенович. Я могу дать про-

---

[1] Послеполуденный чай *(англ.)*. *(Прим. ред.)*

честь рукопись. Хотя автор ее, мой друг и одноклассник, поставлен в чертовски трудное положение. Он уже обещал ее и в журнал и в альманах. Валентина же Васильевна прямо потребовала, чтобы роман был напечатан у вас.

Гнилоедов сильно задышал и, протянув руку, сказал:

— Дайте!

— Но, дорогой, ведь это пока еще каприз женщины. И автор не обязан с ним считаться. Хотя, между нами, Валентина Васильевна сильно смутила его воображение, и я боюсь, как бы это не было обоюдно.

— Кто он такой?

— Мужик!

Белокопытов назвал фамилию и описал Егора Ивановича до того невероятно, придав ему демонический характер, что самому стало смешно. Все же — дело было сделано. Гнилоедов струсил. Он был умен и хитер и на своем веку утопил не одного жуликоватого подрядчика. Но перед этим ловким мальчишкой, опутывающим, как паутиной, не то дерзкими, не то льстивыми словами, неизвестно на что способным,— а по всей вероятности, на все,— Абрам Семенович терялся. И не только Белокопытов, все эти новые люди, окружившие «Дэлос», были мало ему понятны — и обидчивы по пустякам, и неразборчивы в крупном, и вызывали опасения. Приходилось бродить между ними, как в потемках, боясь одним неловким словом погубить все. А все — это была Валентина Васильевна Салтанова.

— Я не понимаю, чего вы хотите от меня все-таки? — спросил Абрам Семенович.— Я верю во вкус Валентины Васильевны и заранее готов принять роман, который она рекомендует.

На это Белокопытов ответил, отчеканивая каждое слово:

— Я ничего не хочу от вас. Я зашел только поболтать, не правда ли? О деле же мы будем говорить на редакционном заседании. Абозов примкнул к нашему кружку и будет принужден вместе с нами отказаться от сотрудничества в случае чего. Но я уверен, что мы договоримся.

Он схватил цилиндр и стал прощаться. Гнилоедов предложил ему пообедать у «Альберта». Но, поглядев друг другу в глаза, оба они поняли, что этот старый способ раскрыть души за бутылкой вина применить в данном случае было бы наивно.

Оставив рукопись на секретарском столе, Белокопытов вышел на улицу, увидел, что уже зажигали фонари в закатном свете, нанял извозчика и всю дорогу гнал его, боясь опоздать.

У бокового подъезда Мариинского театра он вылез, прошел вовнутрь и по узким и темным лестницам, проложенным в толще стен, поднялся в помещение над потолком зрительного зала. Это была огромная декоративная мастерская — купол, переплетенный наверху железными стропилами и связями, между которыми был подвешен мостик. С потолка спускалось около пятидесяти плоских ламп, освещая голубоватым светом пол. Белокопытов взошел на мостик и увидал под собою на полу темно-синее небо, груды облаков, острые скалы, рыжие деревья... По небу ползал человек с линейкой, другой ударами длинной кисти строил ворота замка.

К Белокопытову подошел высокий и еще молодой человек с татарским лицом и прекрасными, спокойными глазами, художник Терихов. Он проговорил, заикаясь:

— Ну, здравствуй, Николай. Как живешь? Я говорил патрону о тебе. Он согласен.

Белокопытов ответил, задумчиво поглаживая Терихова по руке:

— Я раздумал, голубчик. Получил заказ писать портрет, и деньги пока не нужны. Но нельзя ли вместо меня приятеля одного устроить?

— Сатурнова? — спросил Терихов.— Хороший малый!

— Ну, малый-то он не особенно хороший. Недурной как колорист, не спорю, но неряха. И характер гадкий. Нет, не его, а Сережу Буркина. Ты знаешь его? Декоратор природный.

— Я думаю, Николай, что можно. Патрон не знает ни тебя, ни Сергея. В конце концов помощник берется

мне, а не ему. Присылай. Сергея Буркина я люблю тоже очень.

Белокопытов похлопал по руке Терихова, приподнявшись на цыпочки, поцеловал его в щеку и вышел из тихого и странного помещения, где знаменитый художник, называемый патроном, и его помощник с печальными глазами творили небо, облака, звезды и всю природу в натуральную величину.

У театра Белокопытов вскочил в трамвай. На Благовещенской площади пересел на восемнадцатый номер и поехал в Гавань.

Небо было чистое и звездное; вдоль палисадников Большого проспекта мелькали огни газа; трамвай летел, позванивая, к самому морю. Палисадники кончились, дома становились все ниже, от проспекта в глубь линий и уличек потянулись нищие керосиновые фонари. Где-то играла гармошка, слышались пьяные крики фабричных, запахло смрадом еды и уличной грязи.

На полутемной площади Белокопытов соскочил и быстрым шагом, опасливо оглядываясь, прошел в узкий переулок, весь из деревянных домиков; кое-где сквозь щели ставень из гнилых окошечек, из раскрытых дверей падал свет на лужи и камни мостовой, кое-где слышался шепот, шаги, голоса. Вдруг крикнули сзади: «Эй, чилиндра!» — а немного спустя уже впереди другой голос произнес: «Камнем его по чилиндру». Белокопытов свернул на середину улицы. Теперь он повсюду различал мужские и женские фигуры. Из окна высунулась косматая головища и крикнула: «Лови его, бей!» Из-под ворот кто-то зарычал: «Го-го-го!» Метнулась через дорогу, как полоумная, девка. Свистнули пронзительно. В поту, с бьющимся сердцем, Белокопытов добежал до знакомой калитки, нырнул в нее и ткнулся в огромного широкоплечего человека, который, схватив Николая Александровича за плечи, проговорил спокойно:

— Что ты? С ума сошел?

Это был Сергей Буркин, человек большой силы и мрачности, одичавший совсем среди мастеровых и разбойников Галерной гавани, где жил уже второй год. Белокопытов сказал опасливо, еще поглядывая в калитку:

— А я к тебе.
— Ага,— ответил Буркин.
— Ты куда собрался?
— В трактир, пиво пить.
— С тобой можно, конечно?
— Нет, я один.
— Прости тогда.
— Ничего уж.

Большие глаза его из-под козырька каскетки поглядывали весело и спокойно.

У него было бледное и тощее лицо, как у иконописного мученика, с темной и редкой бородкой. Тусклый фонарик под воротами освещал его высокую сутулую фигуру в потертом ватном пальто, в башмаках с резинками.

— Сергей, ты меня презираешь, а я тебя люблю, честное слово. Знаешь, зачем приехал?

— Знаю. Вы все в городе по лиссировке с ума сошли.

— Вот не угадал; это Алешка Сатурнов к тебе лезет за разными секретами и все путает. Теперь лиссировками хвастает, будто сам добился, что у него краска вглубь ушла. Простое дело, трет пемзой да пишет на смоле. А я вот посмотрю, как у него все это через год почернеет. Я только из-за тебя с ним дружу, ей-богу.

— Зря все-таки по ночам ко мне не ходи. Вчера одного раздели.

— Ну, вот видишь, а я нарочно спешил. Сейчас только от Терихова. Я ему давно говорил насчет помощника. Патрон согласен. Пятьдесят рублей в месяц. Ты рад?

— Чему?

— Так ведь я же тебя устроил. Работать от восьми вечера до одиннадцати и не в Мариинском театре, а на Алексеевской, в императорской мастерской.

Буркин молча, точно в большом недоумении, глядел на Белокопытова, затем покачал головой:

— Ну, ну. Что же, ты это так, по дружбе?

— Сергей, ты меня не обижай. Что за манера у всех думать, что я какой-то интриган. Валентина Васильевна, кажется, на что святой человек, и та... Эх! Никто не

знает, как мне бывает тяжело иногда. Ты живешь у каких-то разбойников, в дыре, один, и все-таки у тебя есть друзья. А я, Сережа, иногда ужасно бываю одинок...

— Ну, ну, — проговорил Буркин, похлопывая Николая Александровича по спине, — идем в трактир.

— Ах, не могу. Я тороплюсь в одно место. Ты не сердись.

— Ладно. Идем, провожу до трамвая.

На углу набережной и Восьмой линии Белокопытов зашел в знакомый ресторанчик, спросил себе ужин и до одиннадцати часов просидел, попивая белое вино, поглядывая, как два прыщавых приказчика с кряканьем и приседанием режут шары на биллиарде. Когда бутылка была окончена, он не торопясь пошел пешечком через Николаевский мост на Михайловскую. От прожитого дня осталось утомление и удовольствие, потому что все случилось так, как он того хотел. Теперь перед сном нужно было хорошенько оглушить утомленные нервы. В половине двенадцатого, по крутой и узкой лестнице, освещенной зеленым фонариком, качающимся в руке жестяного чертика, Николай Александрович спустился в подвал «Подземная клюква». Это было странное учреждение, где под землей просиживали ночи до утра те, кого не брал уже обычный дурман, кто боялся в конце дня остаться один и затосковать до смерти.

9

Егор Иванович проснулся от детского голоса за стеной, повторявшего жалобно:

— Бедная ты моя кривенькая, бедная ты моя безносенькая, бедная ты моя безноженькая!

Затем, после молчания, тот же голосок попросил:

— На поешь кашки, может пройдет носок-то!

За другой дверью шипела спиртовка, позвякивали посудой, пахло кофием и хлебцами.

Егор Иванович крепко зевнул, пробуждаясь, и повернулся на спину.

Маленькая столовая, оклеенная сереньким с зелеными букетиками, показалась ему в это утро еще более

убогой. Свежая скатерочка на сосновом буфете, две тюлевых занавески, чугунная батарея водяного отопления под окном, шнурок от лампы, четыре венских стула — все это было чистенькое и бедненькое и словно говорило с подчеркиванием: «Смотри, Егор Иванович, мы бедны, но не виноваты».

Абозов потянулся за часами, которые лежали в изголовье вместе с портсигаром и спичками, и закурил папироску. Было без семи девять. Вчера ему удалось избежать ночного разговора и лечь рано. За все эти три дня после чтения повести Марья Никаноровна страдала молча и опять-таки с подчеркиванием, как ему казалось. Она уже теперь не хотела его понимать и не старалась, как в первое время его приезда или как года полтора тому назад, перед последней разлукой, подавить свои желания и жить не своей, а его внутренней жизнью. Она словно додумалась теперь до чего-то, быть может и не крупного и даже очень среднего, и стала на этом, не желая уступать. Ее смирение было упрямым и неподвижным. От этого еще досаднее становилось Егору Ивановичу. Ясно, что разговоры о дружбе, об обоюдной вольности оказались чепухой. И всего хуже было то, что она молчанием, всем видом своим заставляла его думать о долге и обязательстве к ней и дочке. Простая и верная фраза — ну, любил и разлюбил, что же дальше? — оказывалась и не простой и не ясной. Дальше было еще что-то, еще непройденное и важное. Он не знал, что это, она — знала.

Рассматривая фотографию, висящую над диваном, он вспомнил, как Марья Никаноровна, оставив Козявку в Петрограде, приехала к нему в ссылку. Стояли тогда ясные дни с лютым морозом. Егор Иванович ютился в бревенчатой полузанесенной избенке, проконопаченной и прилаженной им самим для жилья. Однажды сквозь надыханное местечко в стекле он увидал двух проходящих оленей, санки и в них Машу, закутанную в собачьи пестрые меха. Он ожидал ее, но не думал, что так будет рад. Когда она сняла тулупчик и шубку и раскуталась, на ней было синее с горошком платье, она показалась ему родной и жалкой. Он припал к ее коленям и заплакал. Она прожила до весны,

когда он сам попросил ее уехать. Он хотел, чтобы она была святой и необыкновенной, она же любила его просто, не понимала, чего он от нее хочет, постоянно огорчалась, плакала, и он опять разочаровался в ней.

Дверь скрипнула, и вошла Козявка, круглолицая девочка с большими, как сливы, синими глазами и четырьмя русыми косичками, каждая величиной с крысиный хвост, перевязанными голубыми бантиками. Мокрыми губами она поцеловала Егора Ивановича в щеку и сказала степенно:

— Егор, ты все спишь, а мама кофе варит.

— Ты кого это кашей кормила? — спросил он.

— Дунюшку. У нее носа нет и головы нет. Приходится через шею кормить. Такая она бедная, самая моя любимая.

Егор Иванович засмеялся и, сев на диване, принялся одеваться. Козявка глядела на него серьезно, бровки у нее двигались.

— Умываться возьмешь? — спросила она.

Егор Иванович взял ее на руки и пошел в ванную, где Козявка села на табурет и следила со вниманием, как моется Егор, фыркает, чистит зубы и трет себя полотенцем.

В столовой за это время убрали и накрыли на стол. Войдя, Егор Иванович увидел, что Марья Никаноровна сидит у кофейника спиною к свету, прямо и неподвижно. Лицо ее побледнело за эти дни и было припудрено. Он подставил висок, приложился к ее руке и сел. Козявка же забралась к матери на колени и громко ее поцеловала в губы.

— Не нужно много целоваться. Егор не любит,— шепнула ей Марья Никаноровна.

Девочка притихла.

Егор Иванович, намазывавший в это время на булку чахлое петроградское масло, сильно поморщился. Марья Никаноровна спросила:

— Молока тебе или сливок? Есть то и другое.

«Заботится. Ставит на вид»,— думал он и пил кофе и чувствовал себя пьющим кофе с булкой вроде душегуба, толстого паука; расселся, ест и дышать никому не

дает. Когда девочка ушла в детскую, он сказал, чертя ложкой на скатерти какие-то буквы:

— Неужели нельзя все-таки договориться до чего-нибудь мало-мальски сносного. Ты нарочно не хочешь понимать меня. Постоянно замечания, недовольства, колкости, даже при этой девочке. При чем здесь поцелуи какие-то и Козявка, я удивляюсь.

Он ждал ответа и не дождался. Марья Никаноровна, с пятнами румянца на щеках, глядела полными слез глазами на кончик его ложки. Он спохватился, увидев, что старательно вычерчивал две буквы: В и В.

Егор Иванович пожал плечами и бросил ложку:

— Прости, пожалуйста. Это совсем по-женски. Я сержусь на то, что, когда между людьми ясно, один из них делает вид, что не видит и не понимает этого ясного.

Он хотел сказать: «Ты продолжаешь любить меня и надеяться. Мне это очень тяжело сознавать. Но я уходил от тебя два раза и в третий раз не вернусь». И хотя сказал по-другому, Марья Никаноровна именно так поняла его слова.

На минуту она растерялась. Он продолжал:

— Я приехал с тобой дружить, а не ссориться. Я думал, что люблю тебя гораздо глубже, чем когда мы встретились в первый раз. Тогда многое мешало, сама знаешь что. Я думал, что освободился от этого совсем, и вот приехал. Ты мне как сестра сейчас, как мать. Наши отношения прекраснее, чем какая-то там супружеская пачкотня. Ты помнишь, что сказал Белокопытов? Он прав, представь. Или уж молиться, сходить с ума, не знать, где ты: в раю? во сне? Когда смотришь хоть на этот кофейник, на булку и хочется плакать от счастья. Или уж так. Или жить одному, в холоде, но в чистоте. Но я не могу жить один, ты знаешь, не умею. А ты делаешь все, чтобы мы шлепнулись с этой высоты.

Марья Никаноровна перебила его, глядя в сторону:

— Я не хочу быть святой.

— Ну да, ну да, я еще в Сибири об этом догадался. Но ты себя побори. Стань такой, чтобы я к тебе пришел и сказал: «Маша, я люблю другую женщину». И ты полюби мое чувство. Вот тогда ты будешь другом.

Марья Никаноровна подняла брови, потом глаза на Егора Ивановича и вдруг засмеялась; ее лицо похорошело, стало совсем молодым.

— Егор, ты хитришь и сердишься на меня, как мальчишка... Вчера Козявка мне говорит: «Мама, что бы ты сделала, если бы я без спроса взяла шоколад из буфета?» А у самой рот в шоколаде. Господи, я опаздываю,— она поднялась, положила в сумочку пенсне, носовой платок, маленький портсигар из карельской березы и, обернувшись в дверях, еще раз улыбнулась, точно осветилась солнцем.

— Не понимаю, не понимаю твоих намеков,— пробормотал Егор Иванович, сидя к ней боком, положив руки на стол, глядя на исчерченную скатерть,— я говорю: если это случится. А ты уже, кажется, решила за меня.

Все же он слышал, как билось сердце, чувствовал, как жарко становится лицу, и понемногу поворачивался к окошку.

Марья Никаноровна в прихожей прощалась с Козявкой, наказывала не шалить и в буфет не лазить, потом веселым голосом крикнула кухарке, чтобы к обеду сварила курицу с рисом, и крепко захлопнула за собой парадную дверь.

Егору Ивановичу было скверно теперь, точно зудила и чесалась душа. Протянув руку, он отодвинул тюль на окошке. Там, в глубине двора, равнодушный татарин басил в небеса: «Халат, халат!» Из окна напротив торчал угол полосатой перины. Внизу возились и пищали дети. За дверью Козявка опять принялась жалеть безголовую куклу.

— А все-таки я прав,— сказал Егор Иванович,— это бездолье и убожество. Этого я не хочу.

Он прошел в прихожую и, присев над чемоданом, полным книг, принялся рыться в них, отыскивая чего-нибудь себе по душе. Все эти дни его мучило вынужденное безделье. Если повесть примут, он, не откладывая, начнет вторую, уже задуманную; снимет для работы комнату и начнет писать, как Бальзак, часов по четырнадцати в сутки. Он уже заранее радовался такой жизни.

Выдернув из кучи книг томик Соловьева, Егор Иванович вернулся на диван, устроился с пепельницей и папиросами поудобнее, раскрыл книгу и прочел:

«...верят в бессмертие души; но именно чувство любви лучше всего показывает недостаточность этой отвлеченной веры. Бесплотный дух есть не человек, а ангел, но мы любим человека, целую человеческую индивидуальность, и если любовь есть начало просветления и одухотворения этой индивидуальности, то она необходимо требует сохранения ее как тако[во]й, требует вечной юности и бессмертия этого определенного человека, этого в телесном организме воплощенного живого духа... Ангел или чистый дух не нуждается в просветлении и одухотворении; просветляется и одухотворяется только плоть, и она есть необходимый предмет любви...»

10

В конце Каменноостровского стоял пятиэтажный новый, очень дорогой дом, с башнями, выступами, фонарями, множеством крыш и перекрытий, обложенный на углах изразцом, опоясанный мозаиками и арабесками. Это был дом, как городок, со своей станцией, гаражами, конюшнями, сложным управлением и хранителем у главного подъезда — саженного роста седым швейцаром, в сером сюртуке.

В толще домовых стен были проложены свинцовые жилы, по ним била горячая вода и текла холодная. Сеть проволок электрических и телефонных, пронизывая крышу, проникала затем, как нервы, во всю толщу дома. Двенадцать лифтов день и ночь скользили вверх и вниз в проволочных колодцах по маслянистым рельсам. И восемьдесят пять зеркальных окон, выходящих на проспект, освещались и гасли попарно и поодиночке вверху и внизу до позднего часа каждую ночь. Здесь жили богатые люди — купцы, несколько инженеров и биржевиков, два депутата из южных помещиков и Валентина Васильевна Салтанова, которая занимала угловую маленькую квартиру в четвертом этаже, окнами на закат.

У ее двери лежал бархатный коврик. На нем отпечатались две большие подошвы; должно быть, гость, придя недавно, долго стоял у двери, не решаясь позвонить.

Вошедший попал в прихожую, которая, как и все прихожие на свете, была приспособлена для того, чтобы, сняв пальто и шапку, поправить перед зеркалом волосы, растрепанные на ветру.

Но здесь, кроме обычных предметов, к стене был прислонен огромный кожаный сундук, повсюду разбросаны картонки, шляпы, вуали, ящики с перчатками, у дверей на полу стояла клетка с розовым попугаем, которого вынесли сюда за несносный крик. Запах духов был настолько силен, что вошедшему казалось, будто он попал не в прихожую, а прямо в сундук с бельем и платьями Валентины Васильевны.

Сама Валентина Васильевна лежала сейчас, опираясь на локоть, в гостиной на покрытом коврами сомье, освещенная абажуром из кружев. Пальцы ее другой, откинутой, руки, в камнях и кольцах, двигались по шелку подушки.

Они двигались также в глазах и в мозгу Егора Ивановича, сидевшего напротив в кресле. Он сидел неподвижно уже сорок минут, успев пробормотать только приветствие. Все время говорила Валентина Васильевна нежным и слабым голосом. От ее губ, рук и открытой узким вырезом груди шел запах цветов, теплоты и еще чего-то острого, не похожего на духи.

Сначала она разобрала и похвалила повесть Егора Ивановича с такой приятной и тонкой лестью, что ему не пришлось ни краснеть, ни шаркать ногами под креслом, говоря «помилуйте». Затем перевела разговор на себя. Она не спросила Егора Ивановича ни о чем, точно до их встречи он был ей не любопытен, мог совсем не существовать. Он понемногу стал чувствовать себя легко, точно ото всей жизни остались сейчас прекрасные печальные глаза Валентины Васильевны под светом абажура из кружев и неуловимый запах духов. Он слушал, молчал, и голова его чуть-чуть кружилась.

Валентина Васильевна говорила:

— Многие меня осуждают за этот дом. Что поде-

лаешь. Я слишком люблю удобство. Жить в старинных особняках с прабабушкиной мебелью мило, но неуютно. Когда я бываю в доме, где нет телефона, мне душно. Я люблю, чтобы надо мною, подо мной, с боков, повсюду были люди. Вы не понимаете меня? Вы любите, конечно, лес и ручейки? Должно быть, я в самом деле испорченная женщина.

— Нет, отчего же,— ответил Егор Иванович,— в деревне жить вольно и сонно, а здесь я уж не воздухом дышу, а человеческими мыслями.

Валентина Васильевна с восхищением выслушала его слова.

— Ну, конечно,— сказала она.— Белокопытов носит монокль и цилиндр и почему-то мечтает о ручейках, хотя они ему не нужны. Природа — это сырье. Мне не нравится корова; пусть мастер из Бирмингама сделает из ее шкуры шагреневый переплет, вложит в него моего любимого поэта, тогда я пойму и оценю и природу и корову. Я не понимаю птичьего языка; быть может, когда-нибудь люди понимали, тогда и любили природу; а теперь по привычке считается, что нужно ею любоваться. Я люблю пейзажи английской школы, полдни Ватто, скалы Пуссена; но не любуюсь ими, я в них живу. Поэты и художники сами не знают, как они нам нужны. Без вас мы слепы, глухи и нечувствительны. Природа уже давно стала жестяным лубком. Подождите, я вам покажу мою страну. Когда мне грустно, я сажусь на метлу, как ведьма, и улетаю в нее. Она вся в этой шкатулке.

Маленькие ноги Валентины Васильевны задвигались под платьем; она привстала и взяла со стола костяную шкатулку, велев Абозову придвинуться. Он сильнее стал слышать запах духов и другой, неуловимый, точно эфирный. Ее пальцы, обремененные кольцами, вынимали из шкатулки одну за другой акварели и рисунки пером...

На них были изображены пустынные страны с обугленными деревьями, камнями и трещинами земли; скалистые острова, где над мертвыми городами вставало солнце, раскидывая лучи, как паутину; огромные жертвенники на вершинах гор, развалины пирамид и гигант-

ских зданий, и надо всем летящая в небесах звезда Полынь, от которой становятся горькими источники вод.

Валентина Васильевна, поднося к свету каждый рисунок, нагибалась над ним так, что ее волоса касались головы Абозова, и говорила об этом странном даровании знаменитого художника, тоскующего по мертвой и выжженной земле, куда даже не залетает ангел. Что могло быть горче и прекраснее такого одиночества?

Медленно перебирая рисунки, Валентина Васильевна взяла попавшую случайно между ними английскую акварель, изображающую лукавую девушку в локончиках, усмехнулась, будто вспоминая что-то, и вдруг спросила:

— Вам нравится она? — и прямо взглянула Егору Ивановичу в глаза. Ее лицо было так близко, что он перестал дышать. Ее зрачки расширились и чуть-чуть закосили. Она вздохнула негромко, но точно со стоном. Он услышал ясно запах эфира.

— Мы еще будем друзьями,— проговорила она, или это ему показалось. Ее глаза увеличивались, точно дышали. Он почувствовал, что летит в сладком, одуряющем эфире.

Но Валентина Васильевна уже откинулась и вновь легла на диван.

— Художником может быть всякий,— проговорила она спокойно,— можно не писать стихов и картин и все же превращать сырую природу в то, над чем забываешься. Нужно только, чтобы природа была покорна.

Егор Иванович, не понимая, что случилось за это короткое мгновение, с трудом вытащил платок, вытер лоб и высморкался.

Валентина Васильевна улыбнулась, он улыбнулся тоже. Она продолжала:

— Есть таинственные радости; против них бунтуют, но бунт есть еще больший грех; нужно смиренно принимать все свои влечения, и чем утонченнее они, тем ближе к вечному. Даже самые лучшие люди — сырой материал; иногда хочется потрудиться над человеком. Вы знаете это чувство?

— Нет,— ответил Егор Иванович,— я бы хотел, чтобы надо мной потрудились.

В это время позвонили, и вошел Абрам Семенович Гнилоедов. На толстом его лице были круто закручены усики, пробор блестел, как шелковый; склонясь к рукам хозяйки, он заскрипел накрахмаленной рубашкой, и лысая голова его покраснела, точно невероятной величины помидор. При виде Абозова его зеленые глазки ревниво забегали; брезгуя, он коснулся пальцами руки Егора Ивановича, но, когда узнал, что это автор новой повести, раздвинул губы в благодушную улыбку.

— Талантливо, талантливо, очень счастлив увидеть вас лично, хотел бы надеяться, что повесть пойдет у нас,— проговорил он, во второй раз беря его руку и душевно ее тряся.

Валентина Васильевна проговорила быстро:

— Подождите вы соглашаться, неразумный человек.— И обратилась к Гнилоедову: — Сколько в повести листов? Пять. Я назначаю гонорар в тысячу пятьсот рублей. Согласны?

Только веко на глазу дрогнуло у Абрама Семеновича (цена для начинающего была высока); все же он развел руками и проговорил учтиво:

— Помилуйте. Завтра же будет заплачено полностью. Вот и весь разговор.

11

Горин-Савельев у рояля пел свои песенки. Нам не нужно ни философии, ни алгебры, говорилось в них, одна отрада в этой жизни — любовь; она приходит негаданно, как милый гость в полночь, и не оглянешься— уж нет ее вновь, и ты опять одинок, мешаешь в камине уголья. Так будь же прост сердцем, полюби милую чепуху любовных забав. Все хорошо, что удержит любовь еще на часок.

Валентина Васильевна слушала, закрыв глаза. Абозов, сидя в тени, глядел на ее почти прозрачный профиль, улыбающийся на слова песенок то нежно, то лукаво.

Белокопытов, засунув руки в карманы, стоял у стены, мечтательно пуская сизый дымок папироски. Сатур-

нов от скуки перебирал рисунки. Абрам Семенович, сложив пальцы на белом жилете, потупился, как баран.

Вдруг часы за стеной прозвонили двенадцать. Горин-Савельев ударил по клавишам и запел:

В вазах уж тает божественный лед,
Время любовных бесед настает...

Валентина Васильевна засмеялась и нажала кнопку звонка. Двери широко распахнулись, и поднявшиеся гости вошли в небольшую теплую комнату, где на столе, убранном хрусталем и цветами, горели два канделябра восковых свечей, освещая стены, покрытые картинами и натюрмортами в тусклых золотых рамах.

Валентина Васильевна посадила Абозова по левую руку, и сейчас же сама налила ему вина, чокнувшись тонко зазвеневшим бокалом; Егор Иванович глядел, как она запрокинула голову и вино лилось жадными глотками в ее узком горле.

Пока гости разворачивали салфетки, придвигали любимые вина и закуски, Валентина Васильевна говорила о предстоящей постановке «Орфея» в императорском театре. Спектакль должен был затмить даже те великолепные зрелища, которые Дягилев показывал Парижу и Лондону. Ходил слух, что для «Орфея» готовятся даже новые занавесы — один живописный, другой из кружев. Под конец Валентина Васильевна выразила удовольствие, что в такой ответственной работе будет участвовать Сергей Буркин.

Сатурнов не знал об этой новости; он покраснел пятнами и с ненавистью поглядел на Белокопытова, который между омаром и заливной стерлядью признал гениальность Буркина и успел рассказать три анекдота из его действительно необычайной жизни.

Вечер складывался как нельзя более удачно для Николая Александровича: Гнилоедов, посаженный рядом с ним на другом конце стола, явно был угнетен невниманием хозяйки, заискивал и старался острить. Валентина Васильевна, обычно любившая высмеивать Белокопытова за интриганство и всякие штуки, была добра к нему сегодня за услугу Сергею Буркину, которого ценили в этом доме чрезвычайно. Вино было

отличное. Настроение приподнятое, и даже Сатурнов не мог ни напортить ничего, ни унизить, потому что уже несколько дней впал в меланхолию и молчаливость. Но все же Николаю Александровичу очень хотелось крикнуть через стол Абозову: «Подбери губы, мужик!»

Действительно, вино ударило в голову Егору Ивановичу, он сидел, согнувшись в кресле, слушал шелест платья, глядел, как пальцы Валентины Васильевны легко касаются то вилки, то салфеточки, то кусочка хлеба, и от ее близости, от света, вина и духов было ему томительно на сердце и горячо.

Валентина Васильевна много, почти жадно ела, это увеличивало ее прелесть. Восковые свечи освещали чудесное, залитое нежным румянцем лицо; открывающиеся при смехе ровные ее зубы грызли редиску; губы и подбородок вздрагивали.

Усмехаясь остроумным сплетням Горина-Савельева, она глядела на свет двенадцати свечей, стоящих перед ней, как лес, и синеватая влага переливалась в ее глазах, все лицо было точно в светящемся тумане, а за голым узким ее плечом на стене гигантский рак протягивал кровавую клешню и усы.

— Нужны все усилия воли и страсти, чтобы проникнуть в самую глубину наслаждения,— проговорила Валентина Васильевна, глядя на свечи и только пальцами коснувшись руки Абозова,— там все как в сновидении. Каждый поцелуй потрясает, как смерть. Этого нельзя передать словами. Когда вы поймете меня, вам захочется жить, как саламандра, в огне. Посмотрите на эти розы.

«Господи, о чем она говорит»,— подумал Егор Иванович и увидел на стене изображение севрской вазы, полной бумажных роз, на синей полузадернутой занавеси.

— Волшебные цветы из бумаги,— проговорила Валентина Васильевна, покачивая головой.—Какая тоска, правда? Их писал Сатурнов. Смотрите, как ему смертельно скучно. Так бывает всегда...

— О каком наслаждении вы говорите?.. Вы про что...— неожиданно для себя шепотом спросил Егор Иванович.

— А вы про что? — Она повернулась к нему, и холодные ее глаза стали дикими, жадными, темными. Он придвинулся близко. Она раскрыла губы и засмеялась:— Выпейте вина за «про что». Смешной. Деревенский. Кулик.

Абозов выпил не отрываясь большой стакан красного вина и другой, сейчас же налитый ею. Стены, покрытые рыбами, застреленными оленями, горами тыкв и цветов, дрогнули и поплыли.

Валентина Васильевна крикнула через стол Горину-Савельеву — отчего он вдруг загрустил? Поэт вздохнул, и частые слезы вдруг посыпались из его подведенных глаз.

— Ну что, что случилось? Денег нет опять? — спросила она.

— Да. Но не это самое главное,— ответил он в отчаянии.— Вот кончается еще день. Меня никто не любит. Я хочу, чтобы меня полюбила великанша.

— Ведь это противно, наконец, Володя, становится,— проговорил Сатурнов, в первый раз за весь вечер открывший рот.

— Наляжем на шембертен, зальем горе вином, хи-хи! — восклицал Гнилоедов, сильно кренясь в сторону Белокопытова, чокался с ним, пил и, оставив бокал, схватывал Николая Александровича за жилет, как черт Петрушку.— Не понимаю современных стихов! У меня голова трещит от них. А сам русскому просвещению служу. Выпьем за хозяйку! Кабы не она, не бывать журналу, ничему не бывать!

Голоса, восклицания и смех вдруг смешались и потускнели. Егор Иванович различил насмешливые слова Валентины Васильевны:

— Вы все еще не догадались?

Она держала теперь перед светом узкий бокал, полный вина. Белокопытов кричал ей с того конца стола:

— Издатель «Дэлоса» говорит глупости про медведей!

— Валентина Васильевна, Валентина Васильевна! Мы пьем за Россию, за русский народ, за нутро! —

завопил Гнилоедов и, чмокнув красными губами, захохотал, тряся животом стол.

— Господи, как они кричат,— сказала Валентина Васильевна,— молчите! Что за непослушание! Я пью за всех медведей на свете!

Она поднесла бокал и стала пить, медленно закидывая голову, окруженную темными волосами, которые легли, наконец, на ее спину. Потом, поставив бокал, она нагнулась к Абозову и проговорила только для него одного:

— Мне хочется потрудиться над вами. Можно?

Он увидел склоненные ее плечи, кружева и маленькие груди. Волна теплоты коснулась всего его тела. Он ответил, путаясь и шепелявя:

— Делайте все что хотите со мной. Вы необычайный человек. Я, должно быть, схожу с ума...

Сейчас же она спросила почти строго:

— Хотите содовой воды?

Тогда он схватил ее руку и, задыхаясь, стал целовать.

Она вырвалась, проговорив:

— Пустите же!

Егор Иванович поднялся, покачнулся и вышел в гостиную.

— Пропал, погиб, ужасно! — повторил он и в изнеможении прилег на сомье, ткнувшись лицом в подушку. От нее исходил все тот же одуряющий, сумасшедший запах. «Жить нельзя. Сейчас же прыгнуть в окошко»,— подумал он и не мог пошевелиться. В столовой голос Сатурнова проскрипел:

— Готово дело, хы-хы!

Тогда в дверях появился Белокопытов. Не спеша, закурив папироску, он присел на сомье, похлопал себя по коленке и проговорил:

— Хорош!

— Коля, милый, что я наделал! Какой ужас!

— Хорош! — с удовольствием повторил Белокопытов.

Тогда Егор Иванович вскочил и, тряся друга своего за плечо, стал спрашивать, простит ли его Валентина Васильевна и вообще можно ли теперь остаться

жить после глупостей, которые он наговорил, и грубиянства.

— Извиниться, конечно, необходимо; другое дело, простит ли она,— сказал Белокопытов.— Я предупреждаю тебя, Егор, ты взял какой-то странный тон. Первый раз в доме, хватаешь за руки, лезешь со своей рожей под самый нос хозяйки, и тебе приходится говорить: «Пустите же!» Что это такое! Если ты не хочешь со мной ссориться и вообще вылететь из «Дэлоса» к чертям,— держи себя скромнее.

Егор Иванович откусил ноготь и смолчал. В столовой зашумели стульями, и вошла Валентина Васильевна. Лицо у нее было совсем спокойное. Абозов подошел к ней и, глядя под ноги вкось, сказал, чтобы она простила. Он ожидал молчания, она же взяла его под руку и проговорила нежно и ласково:

— За что прощать? Вы что-нибудь разбили? Садитесь и рассказывайте, в чем виноваты.

И сейчас же, не дожидаясь его ответа, подошла к роялю и заиграла с Гориным-Савельевым в четыре руки.

12

В конце сентября подули морские ветра, и город закрылся облаками; они летели с моря, из гнилого угла, цеплялись за крыши и трубы и ложились на улицах. Дождь струился по стенам домов, шумел в водосточных трубах, наливая полные кадки, и мутной завесой стоял перед окнами. С двух часов зажигали фонари, и они светились, как фосфорические яйца. От дождя и тумана отсырело все — кожуха извозчиков, городовые в плащах, углы квартир; из подвалов и мелочных лавочек пахло прелью.

Наступило время выездов, вечеров, концертов и парадных спектаклей. У романиста Норкина два раза уже собирались ужинать. Игнатий Ливин дал по поводу своей новой пьесы шестнадцать интервью, и во всем известном журнальчике писали, как он живет и работает и сколько у него детей. Возобновилась полемика между Ч. из «Речи» и Р. из «Нового времени», причем

Р., неожиданно для всех, открыто объявил себя врагом всего хорошего и честного, прибавив при этом такие подробности из своей частной жизни, что в клубе присяжных поверенных вынесли решительную резолюцию и сделали сбор в пользу евреев.

Затем в ресторане «Капернаум» натуралист-писатель Правдин облил горячим кофием другого натуралиста, Мордыкина, и разорвал на нем жилет. Словом, сезон двинулся полным ходом. О «Дэлосе» говорили много, но уже не так горячо. Второе редакционное заседание откладывалось, и только несколько поэтовмистиков огорчалось, что, кажется, снова им негде будет печатать свои стихи.

Егор Иванович проживал на Песках, в том же доме, где и Марья Никаноровна, но только этажом ниже, в двух комнатках. Из денег, полученных за повесть, он заплатил долги, справил себе одежду и зимнее, накупил книг, и у него еще оставалось рублей пятьсот.

Повесть печаталась, и книжка с нею должна была выйти в середине октября. Критик Полынов готовил для газеты статью о повести и ее авторе, которого сравнивал с молодым Ломоносовым. В одном журнальчике появилась заметка о Егоре Ивановиче с автографом и портретом, причем портрет по ошибке оказался снятым с какой-то женщины, путешествующей пешком вокруг света.

К Егору Ивановичу заходили иногда Волгин и толстый юноша Поливанский, они много курили, смотрели книги, говорили о рукописях и ругали современников. Егор Иванович тоже раза два заходил в гости, но больше сидел дома и писал.

Ему было смутно и очень тревожно на душе.

На другой день после вечера у Салтановой он отправил ей нескладное письмо: «Глубокоуважаемая Валентина Васильевна, мне совершенно непереносимо жить под тем впечатлением, что я вас оскорбил. Простите, что я вам осмеливаюсь писать. Я не могу оправдаться ничем в своем поступке, но, если бы вы знали, как все у вас показалось мне новым и чудесным, точно сон, вы бы не стали, может быть, судить так строго. Я и до сих пор смутно понимаю, о чем вы со мной говорили.

Но я знаю одно, что такой, как вы, я никогда не видал и даже не мог мечтать, что есть такие люди на земле. У меня есть близкий человек, я с ним поступаю несправедливо и жестоко, это меня мучит, но теперь я вижу, что иногда нужно быть жестоким, чтобы иметь возможность хоть раз в жизни почувствовать настоящую красоту».

Опуская это письмо, он пять раз прошел мимо почтового ящика, когда же решился, наконец, сунуть туда серый конверт — испытал величайшее беспокойство и смуту.

Марье Никаноровне он рассказал о вечере у Салтановой только в общих чертах, но все же она поняла то, что ей было нужно, и сказала:

— Покойный муж Валентины Васильевны состоял пайщиком у нас в банке. Она очень богата и ветрена. Про нее много болтают нехорошего. Смотри, Егор, не потеряй голову.

Проговорила она это с усмешечкой и спокойно. Егор Иванович смолчал. Марья Никаноровна надела на Козявку осеннее пальтецо и капор с розовыми лентами и повезла ее на пароходике на Острова. Он же, перенеся этажом ниже чемодан и книги, хотел только одного сейчас — запереться на ключ, думать и вспоминать.

Его мучило письмо, отправленное поутру; только теперь он представил настоящий его смысл, нелепый и жалкий, и главное — при чем были эти «близкий человек», «необходимая жестокость», «иметь возможность хоть раз в жизни»... и прочие завывания.

Лежа в постели, он припоминал все слова, даже малейшие улыбки Валентины Васильевны, и то, как он отвечал, притворяясь, что понимает, а на самом деле сознавал одно желание — взять ее на руки, поцеловать в рот, в глаза, в грудь! Это желание было оскорбительно уже тем, что не жаждал он ни всей сложности духа Валентины Васильевны, ни тоски ее по невыразимому и таинственному, а могла она, кажется, быть куклой — и с таким же счастьем он бы ее поцеловал.

«Господи, какой я ничтожный, как это все нехорошо!» — думал Егор Иванович. Воспоминания обжи-

гали его, как кипяток. Ворочаясь на постели, он стискивал кулаки, садился и повторял: «Черт, ах черт меня возьми!» — курил, глядя на мутное окошко, и выпил целый графин воды. Прошла неделя, ответа на письмо не последовало. Егор Иванович был за это время два раза в «Дэлосе», но видел только секретаря. Деньги его обрадовали. Идя из редакции пешком, он останавливался перед магазинами, разглядывал вещи, без которых обходился всегда, но сейчас они почему-то представились ему нужными; он заходил, покупал и приказывал прислать. Для Марьи Никаноровны выбрал корзинку с хризантемами, бронзовый чайник на треножнике, со спиртовкой внизу, и коробку полотняных носовых платков. Когда все это принесли, Марья Никаноровна поблагодарила за цветы, чайнику удивилась, по поводу носовых платков сказала: «Как это мило, очень кстати». И на другой день он видел эти платочки скомканными и брошенными за буфет.

Наконец Егор Иванович нанял автомобиль и повез Марью Никаноровну и Козявку на Стрелку и потом на Поплавок обедать. Сидя над мутной водой Невы, поглядывая на барки с мокрыми дровами, на закопченные пароходики и ялики, ныряющие в волнах, Егор Иванович пил красное кислое вино и думал, что все окружающее ненужно, бессмысленно и грубо.

Он начал было писать новую повесть и неожиданно для себя принялся описывать уездный городок, двух каких-то мещанок, подравшихся за волосы, толстого доктора, пропившего свой век, пыль и собак и все оголтелое от глухой скуки житье на четырех улицах по берегу застоявшейся лужи.

Виденный им когда-то подобный городок вновь восстановлялся в смешных, преувеличенных, непомерно уродливых формах. Этим, ему казалось, он очищается сам и свободнее, с большею нежностью может думать о Валентине Васильевне. Острота раскаяния миновала, но все мысли теперь были сосредоточены на ней, как на том, что важнее всего, прекраснее и недоступнее.

С Марьей Никаноровной он встречался за завтраком и обедом, но не замечал ее, часто только мычанием

отвечая на вопросы. Она же с каждым днем казалась веселее и разговорчивее. Однажды она сказала:

— Егор, ты страшно похудел. Сходи, пожалуйста, к парикмахеру, обрейся и обстриги волосы. И позволь мне пересмотреть твое белье.

— Для чего все это нужно,— ответил Егор Иванович,— я, право, так занят.

— Ты ужасно изводишься, голубчик. Послушайся меня, завтра суббота, побрейся, приведи себя в порядок и пойди к ней.

Он поднял голову и закричал:

— Что? Куда?

Марья Никаноровна побледнела, помолчала и ответила:

— Я помню только наш разговор, твое желание, чтобы я стала тебе другом...

— Каким другом? О чем ты говоришь?

— Я говорю о том, что когда ты придешь и скажешь, что полюбил другую женщину, то я должна быть другом...

Егор Иванович скомкал салфетку, рванул ее, сказал:

— По-твоему, выходит, что я полюбил?

— Да. И ненависть ко мне от этого же. Отчего прямо не сказать, что полюбил...

Егор Иванович скомкал салфетку, рванул ее, сказал:

— Ты с ума сошла? — и, отбросив стул, тяжело вышел из квартиры.

В комнатке у себя, запершись на ключ, он лег ничком на оттоманку и так, в отчаянии, пролежал до ночи.

— Полюбил, полюбил,— повторял он сквозь зубы. Он бы сам не произнес этого страшного сейчас слова. Все эти дни дух его был точно закутан облаками — смутной тревогой. Марья Никаноровна по-всегдашнему ясно и просто все объяснила, точно дело шло о курице с рисом. Но тревога теперь стала грозой. Казалось, полюбить — обречь себя на смертельные муки. Отчего это было так, Егор Иванович не знал. Ему было тяжко и душно, хотелось рвануть себя за волосы, свалиться с этого дивана к чертям...

Он зажег, наконец, лампу; огорченный и приниженный сел к столу, перелистал рукопись, раскрыл было книгу и вдруг, опустив голову в скрещенные на ковровой скатерти руки, проговорил:

— Господи! Как я люблю тебя!

13

С утра перед окнами повисала желтоватая пелена дождя. Егор Иванович глядел на нее, засунув руку под жилет, поближе к сердцу, и думал, что в той стороне, за дождем, за рекой, в конце широкой улицы стоит дом, похожий на городок. Теперь он не понимал, как мог тогда равнодушно войти в этот дом; как мог вообще пропустить столько слов, жестов, улыбок Валентины Васильевны; как у Белокопытова читал целый час, ни разу не оглянувшись. Теперь, казалось, увидеть ее на мгновение — и больше ничего, увидеть — и высшего счастья нет.

Он стискивал рукой лицо и представлял волосы, плечи, руки Валентины Васильевны, но лица ее, глаз и рта уловить не мог. Оно менялось и дрожало, как язык пламени, и, усмехаясь, вновь уходило в туман.

Егор Иванович шагал от окна до двери, затем принимался глядеть на себя в зеркало, трогал пальцем нос и в тоске или с отвращением отворачивался. Так прошло еще несколько дней. Ни работать, ни читать он больше не мог. Тогда он снова стал думать о несчастном письме своем к Валентине Васильевне — и вдруг вспомнил, что не поставил на нем адреса. Открытие это потрясло его, как помилование после приговора к смертной казни. Ясно, почему не было ответа до сих пор; Валентина Васильевна могла даже обидеться, почему он не дал своего адреса и не показывается третью неделю.

В десятом часу утра Егор Иванович уже звонился в дверь Белокопытова. Отворила ему полная девушка в накинутом поверх помятой рубашки пуховом платке. От нее пахло вином и теплотой постели. На вопрос, дома ли Николай Александрович, она ответила: «Конечно дома, а будить не велел до самой ночи». При

этом она зевнула и улыбнулась сонно и ласково. Егор Иванович, досадуя, держался за дверь; он где-то видел эту девушку. «Ах, это вы, Лиза,— сказал он,— ну, ну, не будите, пускай его спит»,— и вышел на улицу.

Дожить до вечера, не зная, что думает Валентина Васильевна, не исправив перед ней ошибки, казалось невозможным. Егор Иванович влез в извозчика и сказал адрес Сатурнова.

Александр Алексеевич Сатурнов квартировал также на Васильевском острову, на 18-й линии, близ Малого проспекта, в старом кирпичном флигеле, где занимал бывшую столярную мастерскую. С трудом разыскав в темном и сыром коридоре дверь с набитой на ней карточкой, Егор Иванович осторожно вошел и оглянулся.

В мастерской, очевидно, выломали когда-то потолок, и на штукатуренной стене окошки были расположены одни над другими, в два ряда, пыльные и затянутые па[1] . . . . стен стояли сосновые столы, заваленные холстами . . . . фарфором, кистями, красками. Егор Иванович увидел об . . . . ю вазу, полную бумажных роз, пыльных и жалких. У него . . . . Повсюду валялись и висели платки и пестрые ткани. В углу . . . . , вырезанный из дерева, держал в руке канделябр. Узенькая лестница вела наверх, на балюстраду, которая отделяла второе помещение, над мастерской. Оттуда, с балюстрады, висели ноги в полосатых брюках и американских башмаках, и голос Сатурнова проговорил:

— Осторожнее, не наступите.

Абозов попятился; посреди пола была разостлана большая, еще свежая картина, на которую и глядел сверху Александр Алексеевич, постукивая каблуками о штукатурку стены.

Егор Иванович сказал поспешно:

— Я к вам на минутку, по делу, можно?

— Лезьте наверх, будем кофий пить,— ответил Сатурнов.— Вы где же это пропадали все время?

---

[1] В местах, отмеченных точками, рукопись повреждена. (*Прим. ред.*)

В смятой ночной сорочке, подтягивая брюки и дергая плечом, он разглядывал с кривой усмешкой Егора Ивановича, покуда тот лез по лестнице, потом подал ему холодную руку.

— Подвело. Пьянствовали? А уж тут некоторые справлялись, куда, мол, делся.

Егор Иванович сейчас же сел на табурет у стола, вплоть придвинутого к полукруглому окошечку. Здесь пахло кофием из кипящего кофейника, на скатерти стояло молоко, хлеб и сыр, и, кроме этого и еще узкой постели, в светлой комнатке с тремя стенами не было ничего.

— Знаете, я так был занят, переезжал, работал, разные там дела,— начал было Егор Иванович, но художник его перебил:

— Чего врать. Пейте кофий,— он боком неудобно присел к столу, налил два стакана, взял булку, повертел, понюхал и положил обратно.

— До ноября пить бросил, работать хочу,— сказал он, и обрывистый голос его, движения и гримасы были натужные и деревянные, точно все ходило [на] [плохо] смазанных шарнирах,— вы чудак все-таки, хотя ничего парень; [Валентина Вас]ильевна письмо мне читала, и Николай его умудрился . . . . [он] под вас подкапывается; пустяковый человек, у него все . . . . значит, пришли узнать насчет этого всего?
. . . . . [что] я оскорбил Валентину Васильевну,— проговорил Абозов . . . . [Ва]лентины с тихим восторгом.

— Плохо вам показалось. Она обижается, когда перед ней пнем сидят. А вы действовали очень даже настойчиво.

— Ну, а письмо-то как же? Ведь я там черт знает что написал!

— Письмо ловкое. В общем стиле. Она его беречь будет. Ей нужно, чтобы человек был в своем стиле и с перцем. Николай этого не понимает, у него не стиль, а шаблон, по книжкам. А у вас, как говорится, половые признаки ярко выражены,— Сатурнов скосоротился, проговорил: «Ха, ха, ха!» — и принялся скручивать дрожащими пальцами папироску из черного табаку.

Егор Иванович глядел в окошко и, кусая губы, сдерживал мускул на щеке, начавший попрыгивать совсем уж не к месту.

— Александр Алексеевич, вы смеетесь надо мной, а я пришел спросить, что делать. Я думал, что обойдется, а не обошлось. Поведение мое на вечере и письмо — чепуха конечно. Ну, словом, понимаете?

— Понял. Плохо ваше дело.

— Что вы говорите! Значит, уж так непоправимо?

— Эх вы, голова,— воскликнул Сатурнов неожиданно ласково.— Мы с вами из одного теста. Это я все понимаю. А то бы я с вами и говорить не стал,— он дернулся и ладонью резанул воздух,— я сам у нее в переделке был. Вот что.

Егор Иванович круче повернулся к окошку и спросил, покашляв:

— По-вашему, напрасно думать о ней. Правда?

— Отчего напрасно,— ответил Сатурнов,— она очень даже доступная. Не напрасно, а вредно.

Егор Иванович сейчас же рукой заслонил лицо. Продолжая глядеть в окошко, он увидел в конце дворика над голым деревом четырех косматых ворон. Они, трепля крыльями, норовили сесть на дерево, но ветер уносил их и сек дождем.

— Вот погань-то, опять вороны,— сказал Сатурнов.

Егор Иванович, тронув языком пересохшие губы, спросил:

— Она, кажется, из купцов?

— Нет,— сказал Сатурнов,— дочь полковника. Была курсисткой. Ее купец Салтанов подхватил и увез в Париж. Там она и проявила все свои таланты. В эстетике насобачилась, эфир нюхать и прочим гадостям. Все-таки она замечательная женщина, Егор Иванович! Ну и черт с ней. Я ее боюсь по ночам, как вурдалака. На что теперь стал похож? Хлеб есть противно. Охватишь стаканов десять кофию, ну и работаешь. Один человек на нее управу знает — Сергей Буркин. Она перед ним — как собачонка. Да, старик Буркин прав! И до чего только жить скука. Никакого сквозняка нет. Духота, теснота, так что-то мажем, копаемся. Значит, у

нас нервы слабые. Нервостервики! Тьфу, так твою разэдак. Гнилье!

Он сейчас же сошел вниз и принялся свертывать холст, лежавший на полу, потом швырнул его в угол. Он двигал подрамники, ругаясь, ронял какие-то вещи, наконец появился на верху лестницы, держа небольшую картину без рамы.

— Вот,— сказал он, щелкнув по ней ногтем,— вот это работа, Сергея Буркина вещь.

Егору Ивановичу было не до картин; все же он взглянул и тотчас узнал решетку Николаевского моста, темные волны и корабли, трубы и дымы на зареве заката, и все эти призрачные селенья, острова и реки в небесах, построенные из света и облаков.

— Как дивно, боже мой,— сказал Егор Иванович,— какая тоска!

— Ага, поняли! Это — живопись! Он богу на ночь молится. Ему не скучно. У него форточка открыта весь день. Сбегаем, что ли, вечером к нему? А то я опять рассержусь. Ко мне ведь так никто не ходит, без спросу. Значит, поехали? А пока до свиданья.

Он поспешно сунул Егору Ивановичу руку и сейчас же отошел в угол, где из кучи мусора вытащил грязный парусиновый халат и стал надевать его в рукава.

Егор Иванович в раздумье пошел пешком к Николаевскому мосту. Все так же из-за моря неслись обрывки облаков, обдавая прохожих погребной сыростью и мелким дождем; хлюпали извозчики, подняв кожаны; из зеленых кадок под трубами вода переливалась через край. И вновь среди этой сырости в смущенном было и подавленном воображении Егора Ивановича появилась теплая комнатка, пропитанная духами, запахом вин и табаку, чудовищные раки, олени, и розы на стенах, и свечи, свечи, свечи, и Валентина Васильевна, разгоряченная и нежная, точно ускользающая из рук. «Я бы хотела над вами потрудиться»,— сказала она. Что это значит? На какие таланты намекал Сатурнов? Но если даже и развращена и доступна, что же из того? Она *была* такой. Мы все в свое время делали бог знает что. «Господи, неужели все это со мной произошло? Как

же я могу теперь жить без нее? Сатурнов говорил чушь, чушь, чушь...»

Егор Иванович шел все быстрее; толстые подошвы его башмаков, точно приговаривая: чушь, чушь, разбрызгивали лужи на асфальте; прохожие оборачивались; извозчик с козел крикнул «легче» и свистнул вдогонку. Вдруг Абозов стал перед мокрым газетчиком, держащим мокрые газеты, полуприкрытые клеенкой, и спросил, какой сегодня день. Газетчик сказал, что понедельник. «Понедельник, ах черт», — ответил Егор Иванович, толкнул толстую даму под зонтиком, которая, ахнув, рассыпала с себя все покупки в лужу, буркнул «виноват» и побежал через улицу. На углу его схватили за рукав. Оказался толстый юноша Поливанский.

— Куда? — спросил он.

— Гуляю, —ответил Егор Иванович.

— Ну, тогда идем к Волгину, мы там должны потолковать насчет «Подземной клюквы». Затеваем любопытный вечер в стиле монмартрских кабаре. Будет Иванушко; его не знаете? Единственный экземпляр. Идем, все равно делать нечего.

Делать было действительно нечего. До субботы оставалось, если не считать субботнего и сегодняшнего, ровно четыре дня. Егор Иванович влез на извозчика вслед за Поливанским, который, одернув встопорщенное на животе пальто, принялся лихорадочно болтать обо всем: затевается у Норкина замечательный вечер в костюмах; вчера вечером писатель натуралист Правдин приткнул вилкой баранью котлету к брюху молодого писателя Хлопова, известного под именем Эхтиозавр, при этом стал ее резать и есть, после чего оба плакали; символист Шишков в пятом часу утра закуривал папиросу, и у него вспыхнула и сгорела борода, на что Горин-Савельев написал экспромт: «Авессалом погиб от власа», и т. д. В прошлую субботу все собирались у Валентины Васильевны, она спрашивала, почему нет Егора Ивановича, и очень рассердилась; было весело; Гнилоедова заставили плясать ойру, вообще же Белокопытов имеет у легкомысленной Валентины Васильевны несомненный успех; на днях выходит книжка

«Дэлоса» с повестью, и так далее,— не переставая болтал Поливанский, и лицо его при дневном свете выражало иногда чрезмерное утомление.

Волгин кончал главу, гостей встретила в крошечной столовой жена Волгина, маленькая и русенькая, похожая на малярийного цыпленка. Она предложила по стакану чаю, кренделечки от Филиппова и сейчас же стала рассказывать, как много и хорошо работает ее муж, какой он талантливый и как мало получает денег в сравнении, например, с присяжными поверенными; иной адвокат накрутит, накрутит, наговорит со слезами на глазах, и ему заплатят за это пятьдесят тысяч, а заплакать ему ничего не стоит. Мишенька же (Волгин) едва-едва, на одном крепком чае, пренебрегая здоровьем и семейными обязанностями, выписывает в месяц три листа и получает всего двести пятьдесят рублей за лист. А надолго ли хватит его с такой работой.

У мадам Волгиной покраснели даже веки, она рада была пожаловаться и поговорить, очевидно ей не часто это позволялось. Поливанский, грызя кренделечки, обсуждал гонорары знаменитых писателей. Норкин получает пятьсот, несмотря на то, что декадент и упадочник; натуралист Правдин семьсот пятьдесят и, кроме того, его покупают в «Ниву»; а Ливин берет со своих пьес тысяч по двадцать в год, книжки дают ему тысяч пятнадцать, и, кроме того, в нынешний сезон установил цену для своей прозы полторы тысячи за лист, а лист ему написать — раз плюнуть.

В это время послышались пять резких звонков, горничная побежала отворять, и в комнату ворвался бритый, возбужденный, растрепанный человек, в помятой одежде табачного цвета, с большим бантом галстука под острым подбородком; потрясая узкими и бессильными кистями рук, он воскликнул:

— Нашел, нашел, придумал перед самой дверью, когда звонился,— он схватил и обнял Поливанского, потом Егора Ивановича, подсел к мадам Волгиной, взял ее руки, поцеловал, пожал и проговорил, точно упиваясь ее лицом:

— Коломбина, милая, как я ждал тебя, боже. Я сказал,— если ты не придешь на собрание, я закры-

ваю «Клюкву». Ты не пришла. Почему? Впрочем, у тебя муж. Ах, эта мещанская жизнь! Я бы из тебя сделал великую актрису. Знаешь, что я придумал? Мы устраиваем средневековый диспут о Сатане. Сатана — тема. Я заказываю кафедру, между окошком и дверью в углу. В тринадцатом веке в Париже устраивались такие диспуты. Будут говорить все. Ты подумай: выходит какой-то Поливанский, какой-то Ливин, какой-то Норкин, какой-то твой муж наконец; говорят, никто ничего не понимает: почему о Сатане? Все пьяны. Мы даем красный свет, и появляется Сатана. Понимаешь,— этим диспутом мы заканчиваем кабаре. Какой-то кошмар, какие-то речи о России, об искусстве, все это густо пропитано чертовщиной. Ты оценила, поняла?

— Ну еще бы, это страшно остро и занимательно,— проговорила мадам Волгина, смущаясь немного, улыбаясь от удовольствия и не принимая своих рук,— я всегда говорила — ты настоящий человек, веселый, остроумный и возбужденный,— она запнулась и покраснела.

Он перебил:

— Догадайся — кто будет Сатаной?

— Не знаю. Миша подходит: он тощий и с носом.

— К черту твоего Мишу. Сатаной будет Валентина Васильевна Салтанова. Она сама черт. Красотка. Коломбина из дьявольской пантомимы. Божественная гетера!

Он вскочил и оглянул сидящих; его помятое бледное лицо было все в морщинах, пепельные волосы стояли дыбом. Это был известный Иванушко, директор «Подземной клюквы». Со всеми женщинами он был на «ты», называл их коломбинами и фантастическими существами, за что и пользовался большой благосклонностью с их стороны. Его голова была набита планами необыкновенных вечеров, немыслимых спектаклей, безумных кабаре. Обыкновенную жизнь друзей и знакомых он считал недосмотром, недоразумением от недостатка воображения и горячности. Если бы хватило силы, он бы весь свет превратил в бродячие театры, сумасшедшие праздники, всех женщин в коломбин, а мужчин в персонажей из комедии дель арте.

Вошел, наконец, Волгин, устало потирая лоб и глаза; рассеянно поздоровавшись с гостями, потрепав Иванушку по спине, он сел к столу и, ссутулясь, принялся мешать ложечкой чай.

— Кончил четырнадцатую главу,— сказал он.— Хотел застрелить Катерину Савишну, но раздумал, так лучше. Пусть мается, кроме того она беременна. А ты что придумал, Иванушко, я слышал какие-то вопли твои.

Желтый и тощий, с подведенными щеками и глазами, опустевшими от работы, он показался Егору Ивановичу действительно мало способным на исполнение каких-либо обязанностей. Его жена сидела теперь, упрямо поджав губы, сдвинув тоненькие бровки. Когда Иванушко, снова закипев красноречием, коснулся было ее плеча, она сняла его руку, отодвинулась и, вздохнув, принялась перетирать чашки.

Егору Ивановичу было душно в маленькой столовой, хотелось двигаться, а главное — быть одному со всеми встревоженными, горячими мыслями. Он простился и вышел на дождь. Все, что он видел за этот день, казалось не настоящим, приблизительным, в лучшем случае, и тоскливым. Даже писание романов и картин вело к пустым глазам и опустошенным чувствам. Три человека сегодня помянули Валентину Васильевну, сравнили ее бог знает с кем... Она появлялась в каждом разговоре, везде и всегда и играла разными огнями, точно призма в этом туманном непрестающем дожде.

Егор Иванович свернул на Владимирскую. Зажглись огни, и мгла стала гуще. Над каждым фонарем сыпались мелкой сеткой капли дождя. С острой болью сжалось сердце, оно точно все глубже уходило в эту густую влагу, закутавшую город. А та, кем он только и жил, сейчас была совсем уже недостижима и недоступна. Пусть он увидит ее, коснется руки, пусть произойдет даже немыслимое между ними — все же она не станет от этого ближе, а он менее одинок.

Егор Иванович завернул в дверь кабачка под названием «Капернаум», прошел мимо стойки с водками и бутербродами в дальнюю комнату, низкую и пропах-

шую пивной сыростью, и спросил обед за пятьдесят копеек.

Рядом сидел бородатый человек с длинными волосами, с как будто умным, но чрезмерно розовым лицом, в пенсне и ватном пальто, застегнутом на все пуговицы. Он поднимал плечи, вздрагивал от лихорадки и отхлебывал из стакана. Подальше в углу сидели пятеро; между ними один — огромного роста, непомерно толстый и одетый в серую блузу; другой, коренастый и низенький, с воловьим затылком, крутил в руках салфетку, свернутую жгутом, шея у него надувалась и нижняя губа оттопыривалась зверски; наконец салфетка разорвалась, собеседники дались диву и потребовали четверть бутылки коньяку; такими, уже пустыми, четверочками заставлен был у них угол стола. Высокий толстяк проговорил, расплываясь на стуле:

— А я не могу разорвать, у меня слабые руки, зато на спор оглушу сейчас двадцать пять бокалов пива.

— Держу пари! — воскликнул третий из них, смазливый, кругленький, в бархатном жилете.

— Держись, Хлопов, не лопни, Эхтиозавр. А то опять тебе баранью котлету в брюху! — сказали четвертый и пятый. Лакей принес пива на подносе. Толстяк откинул волосы, раздвинул ноги и начал пить.

И все это время человек в теплом пальто, сидящий поодаль, писал что-то на большом желтом блокноте, бросал карандаш, вздрагивал от лихорадки и жадно глотал из стакана вино.

Егор Иванович теперь уже со вниманием и любопытством следил за этими людьми. Он догадывался, что коренастый человек, разорвавший салфетку, был Правдин, повести которого любил еще в юности. Тот, в жилете, был, по разговору, очевидно, доктор, угощавший всю компанию коньяком; остальные двое — или рецензенты, или литературные маклера.

Хлопов, охая и повторяя: «Кишки болят», — приканчивал двадцать третью кружку; маклера возгласами подбадривали его. Правдин, тяжело повернувшись на стуле, оглядывался со злобой и скукой. Вдруг лихорадочный бородач проговорил Егору Ивановичу негромко:

— Если не хотите налететь на скандал, не смотрите в их сторону.

Абозов переспросил. Тогда бородач, захватив блокнот, пересел к его столику, протянул влажную руку, назвался: «Камышанский» — и продолжал:

— Я знаю, вы — Абозов, мне вас показали на Невском. Говорили, что талант. Дай бог. Люблю русскую литературу. Она прежде всего не есть пресловутое искусство, как это принято на Западе: она рождена из ненависти, из скуки, из ущемленного самолюбия, из винных паров... тогда она есть русская литература; все остальное — западничество и гнилой эстетизм! У меня пять человек детей, я писатель. Я плохой писатель. Я слишком фантаст, я не могу передать запаха пота, грязи, пива. Ах, черт возьми, ах, черт возьми, в этом весь вкус, чтобы пахло густо! Я пишу новые приключения Шерлока Холмса, Ната Пинкертона, знаменитого русского сыщика Путилова... Я читаюсь больше, чем Лев Толстой. Но я плачу. Я пишу целый день, все время...

Он вздрогнул в приступе лихорадки и пустил сквозь усы табачный дым, застрявший в бороде...

— Я слышал про вас от Волгина, он мне рассказывал третьего дня за этим самым столом. Вы многое видали; меня интересует только криминальное. Эти господа, — он понизил голос и ткнул через плечо пальцем, — высосут вас до сухой шкурки. В Петрограде нет быта, нет жизни! Каждого свежеприбывшего облепляют, как мухи, литераторы и высасывают. Я вам пригожусь, я знаю всех и все, и, кроме того, я журналист. Будем товарищами. Я на вас смотрел все время, вы чем-то страшно угнетены. Правда, я угадал?

— Я, право, не знаю, как вам сказать, — ответил Егор Иванович, — уж очень все кошмарно. Я понимаю, что и дым, и дождик, и пиво, и все эти разговоры можно очень полюбить... Для этого нужно только отказаться кое от чего очень прекрасного...

— Вкусить горечь... Верно!.. Если вы любите девушку — оскверните ее, надругайтесь над ней и над собой... Чем гаже, тем сердце острее болит... Есть ли выше красота, чем слезы по чистоте, над которой сам надру-

гался... Вот Правдин. Он весь в этом. Вся его сила в слезах. Глядите — сидит, как апокалиптический зверь, а в сердце у него ангельские крылышки сломанные трепещут... А вы думаете, я-то не подлец?

Апокалиптический зверь в это время влез на стол и принялся топтать по нему, разбивая жилистыми ногами рюмочки, стаканчики, бутылочки из-под коньяку. Четверо друзей, сидя на стульях, хлопали в ладоши, подпевая джигу. Хлопов хотел было тоже встать, но повалился всеми своими девятью пудами вместе со стулом на пол. Камышанский, проговорив: «Ну да, и так далее, это уже старо»,— повернулся опять к Егору Ивановичу и попросил рассказать что-нибудь криминальное из прошлого.

Абозов не ответил, кусая губы. Рыжая борода соседа заслонила половину комнаты. Крики, треск стекла, рев Хлопова, завалившегося под стол, сломанные крылышки ангелов — совсем оглушили Егора Ивановича, и тошный клубок подкатился под горло. Извинившись кое-как перед Камышанским, что побеседует с ним в следующий раз, он расплатился, вышел на Невский и вскочил на площадку трамвая, идущего на Васильевский остров. Справа и слева понеслись высокие фонари и освещенные окна; в свету их двигались силуэты деловых и промокших женщин. В этот час женщины наполнили Невский. Они шли парами, поодиночке, иногда маленькими толпами. Среди их шляпок, беретов, пестрых колпачков проплывал цилиндр или фуражка. Все лица были накрашены модно — в сиреневый цвет, с оранжевыми губами и густой тенью на веках. Это были нескончаемые ряды озабоченных и промокших любовниц. Их было так много, что они казались уже стихийным бедствием. Даже до трамвая достигал запах пудры и духов. Егор Иванович глядел на них, высунув с площадки голову; поступить по совету Камышанского казалось сейчас необычайно легко. Голова начала кружиться, точно он, подхваченный водоворотом, увлекался совсем на дно. Егор Иванович, с трудом передвигая ноги, вошел в вагон, сел и закрыл глаза.

Сатурнов поджидал его, сидя в потемках на полатях, только светился кончик его папироски. Они молча

вышли и во всю дорогу до Гавани не сказали друг другу ни слова. Пережитый день, точно мокрый черный тулуп, навалился на Егора Ивановича; он не понимал теперь, зачем едет и о чем будет говорить с Сергеем Буркиным. Хотелось попасть к себе, на диван,— так было грустно.

Глухие улицы Гавани опустели, грязь текла по ним, освещенная скудными фонарями. Завернув вдоль забора за угол, Егор Иванович увидел два ослепительных глаза крытого лимузина, стоящего у полуразрушенных ворот. Сатурнов крякнул и поглядел на Абозова с кривой усмешкой. Было так тихо, что, кроме чваканья шагов, слышался только шелест дождя, падающего отвесно в свету лимузиновых фонарей. Вдруг скрипнула калитка, женская закутанная фигура перебежала тротуар и скрылась внутри автомобиля. Тотчас в нем вспыхнул мягкий свет. Машина задрожала и тронулась. За хрустальными стеклами на светло-серых подушках сидела Валентина Васильевна в бархатной шубке. Ее брови были гневно сдвинуты. Лицо бледное, похудевшее, несравнимо прекраснее, чем представлял его Егор Иванович. Он сорвал шапку, машина проскользнула, обдав грязью. Он ахнул и побежал ей вслед посредине улицы по лужам и грязи. Сатурнов долго еще смеялся у ворот, кашляя и свистя на весь переулок.

14

— Егор, к тебе можно? Ты не болен? Ксюша сказала, что ты третий день не выходишь из дома. На кого ты похож! Боже мой, какой у тебя раззор! — говорила Марья Никаноровна, входя в комнатку и оглядывая неприбранные вещи, книги и валяющуюся повсюду одежду. Егор Иванович молча поднялся с дивана, поцеловал у Марьи Никаноровны руку и принялся ходить, не выпуская папироски. Две свечи освещали его широкоплечую, теперь сутулую фигуру и осунувшееся, словно потемневшее лицо.

Марья Никаноровна села к столу, помахала на табачный дым и проговорила:

— Ты по крайней мере извещай, когда не приходишь обедать. В кухне целый завал всякой еды несъеденной.

— Извиняюсь,— проворчал Егор Иванович.

Она же, вглядываясь в его лицо, видела на лбу две новые морщины — от непереставаемого напряжения в одной мысли. Ей стало очень жалко его, и, продолжая говорить о хозяйстве и о Козявке, она думала, что со счастьем умерла бы сейчас, только бы ему стало легче. Но все же она продолжала говорить о пустяках. Он перебил:

— Кончится, кажется, тем, что я к черту пошлю этот городок.

— Отчего, Егор? Тебе разве плохо работать здесь? Или какая-нибудь неудача? Я прочла в книжке твою повесть,— мне еще больше понравилось.

— Я ничего не могу делать.

Тогда она спросила нечаянно:

— Ты так и не видел ее?

Егор Иванович круто остановился.

— Не видел,— ответил он грубо,— звонил вчера по телефону. Мне сказали, она больна. Причем, кажется, отвечал ее голос. Ну, словом, кончено с этим. Да-с.

Он повалился на диван и закрыл глаза. После долгого молчания проговорил сквозь зубы:

— Маша, мне тяжко.

Не открывая глаз, он почувствовал, как диван подался под коленями Марьи Никаноровны. Лицу стало тепло от ее дыхания. Она сидела, наклонясь, поджав ноги. Ее глаза были скорбные, жалостливые, огромные, и дрожали губы. Он даже заметил, как рука ее чуть поднялась, чтобы приласкать, но не посмела. Он усмехнулся и сказал:

— Знаешь, мне писатель Камышанский посоветовал одну штуку сделать.

Она прошептала поспешно:

— Какую штуку?

Он глядел, как расширились ее зрачки, точно от безумия. И вдруг вся тяжесть долгих дней отошла от него. Сердце дрогнуло и заликовало. Он взял ее за

кисти рук, потом у локтей, потом обхватил за плечи. Она сейчас же подалась, точно устремилась к нему.

— Маша, ты не сердишься? — прошептал он едва слышно.

Тогда лицо ее залилось румянцем, губы жалобно дрогнули и опустились, она уперлась в грудь ему рукой, освободилась и встала, вся еще вздрагивая, точно отряхиваясь. Он спрятал в подушку лицо и слышал, как она ушла, осторожно притворив за собой парадную дверь. Теперь он остался совсем один.

15

Вышла книжка «Дэлоса» с повестью Егора Ивановича, и критик Полынов напечатал о нем статью, где называл Абозова сыном народа, вскормленным музами; быком, взрывающим целину, и еще каким-то животным; нашел у него римский профиль и женскую душу.

Статью прочли, об Егоре Ивановиче заговорили в кружках и гостиных, и Гнилоедов послал ему записочку с просьбой второй повести.

Затем в комнатке у Егора Ивановича появилась личность, выбритая иссиня, в визитке, желтых башмаках и с пенсне без оправы. Это был один из трех рецензентов, бывших на вернисаже.

Быстро оглянувшись, он сбросил штаны Абозова со стула, сел, высоко закинул ногу и, уставясь карандашом на растерзанного и немытого Егора Ивановича, проговорил:

— Англичане говорят: здоровье — камень, слава — дым. Итак, вы все же выбираете славу. Побеседуем. Сколько вам лет?

— Двадцать восемь,— ответил Егор Иванович растерянно.

— Год и место вашего рождения? Ваше образование? Женаты? Есть дети? Чем занимаетесь? Сидели в тюрьме? — спрашивал рецензент столь быстро, что Егор Иванович толком ответил лишь на последний вопрос. Рецензент что-то записал в блокноте и продолжал:

— Прекрасное начало. Далее — редакции необхо-

димо знать ваше отношение к половому вопросу, к черте оседлости, к последней правительственной реакции... Кстати — вы были в «Подземной клюкве»? Считаете ли, что для пробуждения общественных инстинктов необходимы такого рода ночные кабаре?

Рецензент спрашивал и писал, хотя Егор Иванович только мычал на вопросы и морщил лоб, стараясь сообразить, что он думает по такому-то вопросу. Огромная подошва торчала перед его носом. Затем она скрылась, рецензент вскочил, пожал руку, сказал, где и когда будет напечатано интервью, и вышел, топая американскими башмаками.

Затем явился Поливанский, поздравил Егора Ивановича, целый час рассказывал новости и глупости и взял слово, что Абозов завтра придет в «Подземную клюкву» на знаменитый вечер.

Егор Иванович кивал головой, поддакивал, соглашался и заказал было самовар, но Поливанский не остался пить чай. Затем снизу пришел швейцар и позвал Абозова к телефону.

Егор Иванович накинул пальто и с неудовольствием слез вниз. Он удивлялся — зачем его тревожат? Кому он еще понадобился?

В телефонную трубку заговорил отрывистый голос Белокопытова:

— Послушай, Егор, ты сошел с ума. Я советовал тебе не быть слишком развязным, а ты вообще провалился. Я очень жалею, что спал и эта дура меня не разбудила. Кстати, ты не болтай, что застал ее у меня. Ну? Что же ты молчишь?

— Я слушаю,— ответил Егор Иванович.

— Дело в следующем. Завтра, пожалуйста, приходи в «Клюкву». Мы должны условиться. Послезавтра назначено, наконец, заседание в «Дэлосе». Гнилоедов — хам. У него не ладятся отношения с Валентиной Васильевной, и он нажимает на меня. Как будто я скажу — Салтанова так и кинется ему на шею. На черта он ей нужен со своим журналом. Я теперь требую, чтобы меня назначили редактором художественного отдела. Ты, конечно, меня поддерживаешь. Эти проклятые «Зигзаги» откололись от нас и затевают какой-то свой

журнал и выставку. Ты как живешь? Я слышал: работаешь над новой повестью?

— Хорошо, я приду,— ответил Егор Иванович и повесил трубку.

Все эти дни, валяясь с папироскою на диване, он даже и не думал ни о чем, а только следил, как проносились обрывки мыслей, то безнадежных, то отчаянных, то общипанных, как вороны на дворе у Сатурнова; ему даже нравилось это состояние оцепенения и сосущей тоски.

Но когда он прочел в газете статью Полынова, внезапно нескончаемая, казалось, вереница мыслей оборвалась. Он подумал, что месяц назад ходил бы, как пьяный, от таких похвал. Вся последующая сутолока совсем уже вывела его из состояния оцепенения. Жить было грустно, но не безнадежно. Пережитое тускнело с каждым часом. Он чувствовал еще и томность и слабость, но боль прошла, и не была ли она выдумана им самим? Во второй раз в своей жизни он устремлялся к несуществующему, страдая от любви, такой же призрачной, как те райские земли в закате над дымами Балтийского завода.

После разговора с Белокопытовым ему снова захотелось продолжать прерванную повесть. Он просмотрел рукопись, погрыз вставочку, нарисовал на чистом листе несколько домиков и харь, затем оделся, выбрился и вышел на улицу. День был сумрачный и холодный, воздух оставлял на языке металлический вкус. Егору Ивановичу была противна особая какая-то бодрость в ногах. По переулкам он добрел до Невского. Прохожие казались будничными, дома тусклыми или облезлыми, небо низким, тротуар весь заплеван. Около Пассажа Абозов остановился. Мимо прошла сильно накрашенная девица в общелкнутой юбке и рыжей лисе на вертлявых плечах; она поднялась по ступенькам в Пассаж. Егор Иванович, глядя ей вслед, почувствовал, как точно свинцом налились все жилы и тяжесть легла на темя. «Ах, вот оно что!» — подумал он и, не в силах пошевелиться, глядел, как прошла вторая девица, хорошенькая, под вуалью, в бархатной шубке; за ней полезла туда же нарумяненная бабища, в перьях, в кошачьих

хвостах, с приподнятой юбкой над икрами, как шампанские бутылки.

«Нет, нет, и этой еще нужно что-то говорить, а надо взять самую мерзкую,— подумал Егор Иванович,— не похожую на человека».

Ему стало холодно. Он взошел в Пассаж, медленно оглядывая каждую женщину. Его лихорадочные глаза и застывшая улыбка были настолько очевидны, что к нему немедленно подошла низенькая и толстая женщина (других подробностей он не рассмотрел) и сказала густым голосом, вылетевшим точно из пивного облака:

— Идемте, я вас погрею.

— Хорошо,— ответил Егор Иванович и, не глядя на нее, повернул к выходу. Но уже по ступенькам он зашагал быстрее; тогда подруга схватила его холодной и влажной рукой за палец. «Пустите меня!» — крикнул он, выбежал на тротуар и завертелся.

— А! Герой дня, Абозов! — услышал он голос Камышанского, и руки, вялые, как плети, обхватили его. Пришлось пойти в «Капернаум», рассказывать криминальное и пить красное вино. В девятом часу у Камышанского сломался карандаш.

— Довольно,—воскликнул он,— теперь едем дальше.

Егор Иванович поехал дальше, ему было все равно. До двенадцати они ужинали в ресторане «Париж». За столом сидели Хлопов, Волгин, угрюмый и старый натуралист Мардыкин и еще человек пять. Пили водку, красное вино и коньяк. Егор Иванович молчал, с удовольствием покачиваясь в винных парах. Попозже прибыли Правдин и круглолицый одутловатый блондин с выпученными скорбно глазами — скульптор Иваненко, по прозванию Великий провокатор. Он сел рядом с Егором Ивановичем и принялся допытывать — известно ли ему о существовании тайного общества «Хор гениев», Великим провокатором которого он состоит.

Егору Ивановичу все это показалось ужасно смешным, он засмеялся. Иваненко, пролив на него стакан вина, закричал:

— Вы идиот, молодой человек. Гении уничтожат

вашу сущность. Вы будете вышвырнуты из города или займетесь продажей спичек на Поцелуевом мосту.

После полуночи поехали за город в ночные кабинеты. Егор Иванович сидел на извозчике с Великим провокатором и всю дорогу просил у него прощения. В кабинете он заснул. Затем его расталкивали и куда-то еще повезли. Очнулся он от стеснения в сердце и смертельной тоски. Под низким потолком горела керосиновая лампа. В густом навозном воздухе сидели и дремали у столиков крепкие, рослые мужики в синих кафтанах. За столиком Абозова всхрапывал Камышанский, уронив бороду в тарелку с капустой. Невдалеке седой и древний извозчик рассказывал:

— Ездил я при трех императорах пятьдесят годов. У, сколь народу перевозил. Зубы мне еще при Николае выбили. Народу теперь много развелось, разве всем вышибешь. Народу много, а разуму столько же осталось, на всех не хватает. Много и зря живут, без ума, как мураши. В прежнее время господа по-французски говорили, везешь его — уважаешь, значит он умнее тебя. А теперь он сидит, сам еще не понимает, что мелет языком, а я уж понял: ему скушно; он как птица: поел, и ну языком молоть, бабу увидел, и ну языком молоть. Ему все одно, что день, что ночь. Дождик — у него зонтик есть; нос у него зазябнет — поворачивай в ресторан. Я ему нарочно начну говорить — из деревни, мол, писали — у нас урожай плохой. А ты, говорит, мне зубы урожаем не заговаривай, поезжай хорошенько. Одна смехота с ними. Так ты и помни: мы — это одна статья; они — это совсем другая статья. Бог и тот на седьмой только день отдохнуть прилег. А человек без дела в год измордуется, водки одной сколько сожрет со скуки. Говорят, еще годов пять подождать надо, тогда они сами друг дружку поедят. Баба тут одна ходит, бродячая, весь город охрещивает. Ох, прости господи, плохой город Питер.

Старик тяжело поднялся, захватил кнут и шапку и, проходя мимо Егора Ивановича, усмехнулся в седые усы:

— С вашей милости кобыле на овес, сам-то я давно уж не пью,— сказал он, подставляя корявую ладонь.

Егор Иванович глядел на него с недоумением, чувствуя какую-то ни на что не похожую гадость. В это время Камышанский, подняв голову, забормотал измятым голосом:

— Дай ему, пожалуйста, рубль. Он говорил что-нибудь? Я плохо слышал. Это здешний философ. Я его снимал, портрет помещен в «Зеленом журнале». Старый пес по десяти рублей в ночь зарабатывает. Дамы сюда приезжают и плачут. Ну, поехали по домам. Хочу спать. Я совсем упился.

Старик получил рубль, степенно поклонился и пожелал счастливого пути.

Поздно на следующий день Егор Иванович поднялся наверх; здесь было солнечно, блестел паркет; Марья Никаноровна, сидя на диване, помогала Козявке раскрашивать картинки. При виде Егора Ивановича она привлекла дочку, посадила на колени, обняла и глядела на него молча и выжидая. Он поцеловал Козявку, поспешно прильнувшую опять к матери, поцеловал Марью Никаноровну в волосы, сел и прикрылся рукой.

— Так плохо и гнусно мне еще никогда не бывало,— сказал он.— Я удивляюсь, как ты до сих пор пускаешь меня в квартиру. Удивляюсь очень твоему терпению.

Марья Никаноровна, поглаживая Козявкины русые локоны, ответила:

— Ты ошибаешься, Егор, я уже несколько дней перестала тебя терпеть.

— Благодарю, конечно ты права. Что же, мне уйти сейчас?

— Да, я думаю, что нужно уйти.

Егор Иванович отбросил стул и пошел к двери, но на пороге остановился.

— Дело в следующем,— проговорил он, фыркая носом,— что я очень бы не прочь нырнуть куда-нибудь к чертям, в Фонтанку.

— Егор, я тебе не верю.

— Хорошо, увидишь.

— Все это слова, понимаешь — фразы!..

Она сдержалась и опять принялась гладить девочку. Егор Иванович ковырял ногтем краску на дверной притолоке.

— Можно тебе сказать два слова? — спросил он.— Я всегда чувствовал в себе огромную силу, невероятную силу, такую, что мне все представлялось возможным. И каждый раз, когда я устремлялся на что-нибудь, наступала минута, когда эта сила поворачивала и, как таран, вместо цели ударяла вверх, в пустоту. Тогда становилось тошно, безразлично и гнусно! Так и сейчас. Я ничего не делаю. Я ни на что не способен! А это неправда! Поставь меня на настоящее дело. Попробуй... Ты знаешь, как я в партии работал. И ушел только потому, что она сама развалилась...

— Тоже неправда, ушел ты из партии совсем по другой причине.

— Да, и по другой. Не лови меня, пожалуйста, на слове... Я хочу писать. Я добьюсь, что это будет настоящей работой. Выстроить дом или мост или написать роман — это одно и то же. Ах, только нехорошо все у меня складывается. С нынешнего дня, Маша,— ни одного часу для себя. Я еще не заслужил ни отдыха, ни счастья. Когда простишь меня — позови.

Он ушел. Марья Никаноровна, не двигаясь, глядела на то место, где он только что стоял. Синие глаза ее медленно наливались слезами.

16

За кулисами «Подземной клюквы» в узком каменном чулане горела пунцовая лампочка, освещая висящие на стенах кумачовые мантии, золотые шлемы, деревянные мечи, шляпы с перьями, маски, бумажные крылья летучей мыши, поломанную драконью голову. В углу за этими сокровищами сидел Иванушко, нетерпеливо нажимая кнопку телефонного аппарата. На другом конце столика, заваленного программами, свистульками, красками, трещал и сыпал зелеными искрами озонатор, пахнущий собачьей шерстью.

— Алло, алло, вы слушаете? Двести пятьдесят бутылок шампанского, сто красного и сто белого! Ликеры и коньяк присланы,— закричал Иванушко.— Если, черт

возьми, не пришлете через тридцать минут, я обращаюсь к Депре.

Он швырнул трубку. В чулан вошел Белокопытов; его лицо, руки и парусиновая куртка были испачканы в красках.

— Готово,— сказал он, перекатывая из угла в угол рта изжеванную папироску,— я сказал, что кончу за час двадцать минут до начала; сейчас сорок минут десятого.

— Браво. Ты гений! Солнышко, неужели и птиц успел дорисовать? — завопил Иванушко.

— Кончил все, как сказал... Еду одеваться. Пожалуйста, не забудь передать актерам, чтобы они под разными предлогами напомнили публике, кто расписывал стены и потолок. И подчеркнуть, что я писал один, без помощников.

Он подошел к телефону и заговорил:

— Три, тридцать три, пожалуйста. Ах, это вы? Валентина Васильевна, я только что кончил роспись, я закрасил, как вы посоветовали, все, что пытались намазать «Зигзаги» и Сатурнов; я написал лубочные розы, как на старых тарелках, райских птиц, одни держат во рту клюковки, другие цветок ромашки, третьи медальончики, на которых написано ваше имя; скрещение арок заполнено арабесками; в нише напротив входа женская фигура в пышном платье, с муфтой и собачкой, она как бы входит на прогулку в райский сад. Три дня я не вылезал из подвала, я хочу, чтобы вы на несколько минут почувствовали радость. Прощайте, я приду очень поздно.

Он снял со стены пальто и шапку. Иванушко, бегавший разговаривать на двор с поставщиками, закричал:

— Подумай, какие мерзавцы! Они требуют, чтобы я заплатил по счетам сегодня! Они хотят сорвать кассу на корню. Начнется съезд — нужно расплачиваться. А чайных ложек и стаканов еще не прислано. Черт с ними! Ну куда я помещу двести пятьдесят человек! Придется отказывать! Я заказал еще шесть озонаторов! Проклятие! Мне нужно было назначить за вход не десять, а двадцать пять рублей. Сегодня будет безумная

ночь. Все это чувствуют! Какая-то зараза носится в воздухе. Николай, подумай, через два часа сюда войдут двести обольстительных женщин. Двести безумных коломбин. У каждой любовник или два любовника и третий муж! Есть от чего сойти с ума!

Иванушко метался в каменном чулане, задевая мантии и перья на шлемах.

— Вы провалили мой проект с появлением Сатаны. Это глупо, знаю, но это был бы удар по нервам! Должна войти женщина, сбросить мантию с плеч и оказаться нагой! Ты буржуй, вы все мещане! Вы боитесь наготы! Ах, если бы Салтанова захотела. Я бы взглянул на нее, и к черту сердце. Разрыв! Увидишь — я устрою закрытый вечер наготы...

Белокопытов вышел. Иванушко подскочил к аппарату и затараторил:

— Три, тридцать три. Коломбина, роскошь, вы одеваетесь? Зачем одежды, приходите полунагой. Да, все готово, будет и кабаре и диспут, но Сатана провалился; говорят, что Сатана — шаблон. Приезжайте к часу, я вижу, как вы входите, безумная, невероятная... Молчание, и вдруг все сердца тра-тата, тра-тата. Что вы делаете со мной!

Он положил трубку, на минуту в изнеможении повис на стуле, затем сорвался и выбежал в полутемную сейчас сводчатую комнату, где два лакея в зеленых фраках убирали цветами тесно составленные столы.

В то же время в массивных дверях спальни Абрама Семеновича Гнилоедова стоял шофер и докладывал, что машины госпожи Салтановой он решил не портить, а только налил воды в бензиновый резервуар и так напоил салтановского шофера, что тот проснется не раньше, как завтра к вечеру.

— Вы молодец, Леонтий,— сказал Абрам Семенович, застегивая перед трюмо шелковые подтяжки,— теперь идите и приготовьте мою машину; не забудьте розы поставить с правой стороны в бутоньерку.

Абрам Семенович принялся застегивать воротничок, строя ужасные гримасы, приговаривая: «Ах, черт!» Запонка впивалась то в палец, то в шею. «Растолстел!» — подумал Гнилоедов с отчаянием; засунул пальцы за во-

рот, перегнулся, подумал, что никто его сейчас не жалеет, и застегнул воротник. Лакей принес телефон, включил его и вышел. Гнилоедов склонил голову набок, сделал приятное лицо и заговорил:

— Барышня, пожалуйста, три, тридцать три. Ах, Валентина Васильевна, это вы? Извиняюсь, что еще раз побеспокоил! Сейчас был мой шофер и сообщил: к несчастью, ваш автомобиль действительно испорчен. Смею вам предложить свою машину? Благодарю. Я привезу вас и отвезу с быстротой ветра. Если прикажете, я буду всю дорогу молчать, как раб. Благодарю, благодарю вас!

В это время аппарат прервался, Абрам Семенович спросил: «Что, что?» — и, соединясь со станцией, грубым уже голосом принялся кричать на телефонную барышню, грозя пожаловаться, спрашивая, знает ли она, с кем говорит?

Около этого же времени Сатурнов сбросил с себя ватошное пальто, под которым спал на диване, и хриплым голосом крикнул с полатей:

— Кто там?

— Вас к телефону, — ответил снизу из темноты детский голос. Александр Алексеевич, очень недовольный, натянул пальто и пошел через двор в парадный подъезд. Говорил Абозов. Он очень извинялся, что потревожил, но звонил уже по многим телефонам, никого не застал дома и просил Александра Алексеевича передать Волгину, Поливанскому и Белокопытову, что не может, как обещал, прийти в «Подземную клюкву», потому что вообще не хочет теперь никакой суеты. Никто, а тем более художник, не имеет права растрачивать время и здоровье на сомнительные удовольствия. Надо делать дело.

— Вы только за этим меня через весь двор погнали, — ответил Сатурнов, — черт вас подери! — И он повесил трубку. Все же сон разогнали, свежий воздух приподнял измятые нервы, нужно было куда-нибудь поехать, не сидеть в полутемном сарае одному. Посредине двора он остановился и поднял голову. Сырые клубы облаков, освещаемые с улицы фонарями, тащи-

лись медленно над самыми крышами, и оттуда, с неба, несло ледяной сыростью, как из погреба. Сатурнов провел рукою по лицу, натянул повыше пальто, поднял плечи и повернул к телефону, попросив затем барышню включить номер три, тридцать три.

Валентина Васильевна сидела в ярком свету перед тремя зеркалами и полировала камнем и без того сияющие, как драгоценность, острые ногти. Парикмахер, в серой визитке, надушенный, с пышными усами, томно-бледный француз, завивал ей волосы, поднося щипцы то к носу, то быстро крутя ими.

В спальне, обитой сиреневым шелком, было тепло, пахло пудрой и щипцами. На белом ковре разбросаны чулки, туфельки и белье. Посреди широкой и низкой кровати, покрытой кружевами, спал серый сибирский кот.

Медленно поднимая глаза от ногтей, Валентина Васильевна взглядывала в зеркало на француза и спрашивала:

— Люи, что нужно делать, когда женщине скучно?

— Мадам, — отвечал Люи, закрутив щипцами, — когда женщине скучно, ей нужно завести (gagner) себе нового любовника.

Кроме подобных фраз, входящих в его ремесло, он был скромен.

Валентина Васильевна раздвинула улыбкою губы.

— Воображаю, — продолжала она, — сколько у вас приключений каждый день; вы должны нравиться женщинам известного сорта.

— О мадам, вы заставляете меня сожалеть, что я всего маленький француз.

— Вы слишком скромны, Люи. Я хочу знать, что вы делаете со своими любовницами?

— Я стараюсь доставить им как можно больше удовольствия, мадам.

В это время зазвонил поставленный между зеркалами серебряный телефон. Валентина Васильевна, облокотясь голым локтем о туалет, взяла трубку:

— Ах, это вы, Александр Алексеевич! Да, я еду. Одеваюсь, — сказала она, и трубка затрещала ей в ухо голосом Сатурнова:

— Мне скучно. Я хочу тебя видеть. Я знаю, что это безумно и бессмысленно: опять начнется тоска на целые месяцы. Валентина, но, может быть, сегодня ночью ты будешь прихотливой.

— Не понимаю,— ответила Валентина Васильевна холодно.

— Ты понимаешь! Твои капризы опускаются даже до Гнилоедова. Он отлично это знает и ждет терпеливо. Но я, значит, совсем уже не существую для тебя? Подожди, ты встретишься с настоящим человеком, он тебя заставит страдать.

— Посмотрим,— сказала она.

— Да, и я знаю, кто этот человек: Егор Иванович. Ты его для себя выдерживаешь, чтобы хорошенько намучился. А он только что звонил мне: он знает, что ты будешь в «Клюкве», и нарочно не придет. А я приду и буду за тебя пить, пока не свалюсь под стол. Таким способом, пожалуй, и удастся обнять тебя за ноги.

Он засмеялся и закашлялся. Валентина Васильевна задумчиво положила трубку. Люи приколол ей к волосам эспри, попятился, прищурясь, подобрал один из локонов повыше, уложил инструменты и вышел с низким поклоном. Горничная внесла бальное платье из черного бархата. Валентина Васильевна поднялась, дала себя одеть и вновь присела между зеркалами.

— Подите,— сказала она горничной,— подите и принесите мне ореховую шкатулку.

Гримировальным карандашом она тронула густые ресницы, надушила запахом rue de la Paix виски, губы и грудь, взяла у горничной шкатулку и принялась перебирать письма, двигая, как оса, бровями.

На конверте письма Егора Ивановича карандашом был записан адрес и телефон; Валентина Васильевна перечла письмо, лицо ее стало злым и твердым; она созвонилась и приказала позвать к телефону Абозова.

Егор Иванович выспался днем, и голова, болевшая после попойки, была теперь совсем ясной. Он сидел в свету рабочей лампы и заново переписывал первую главу новой повести, радуясь неожиданной легкости и четкости, с какою образы претворялись в слова, стекая

затем с кончика пера на лист хрустящей бумаги. То улыбаясь смешным местам, то хмуря брови, он откидывался на спинку стула и, затягиваясь папиросой, часто мигал. Зеленая лампа, стол, запотевшее окошко отодвигались перед его взором, немного безумным, потому что он глядел сейчас за тысячу верст, на улицы захолустного городка, разглядывал странные лица, быть может никогда не существовавшие на самом деле, созерцал то, чего не было, но что становилось с этой минуты сущим.

За таким странным занятием застал его швейцар, пришедший звать к телефону. Егор Иванович, прыгая через ступеньки, сбежал вниз, готовясь на все уговоры приехать в «Клюкву»,— а звонили, очевидно, за этим,— ответить коротко: «Я работаю».

Он схватил трубку, проговорил:

— Я у телефона,— и сейчас же, закрыв глаза, опустился на стул.

Чудесный, как музыка, нежный, обольстительный голос Валентины Васильевны проговорил из таинственной темноты:

— Скажите-ка, что с вами приключилось? Не кажете глаз. Не звоните. А я слышала — занимаетесь кутежами. На что это похоже, милый Кулик? Я непременно хочу видеть вас вечером. Если хотите от женщины признанья, так вот — я по вас соскучилась. Сегодня утром проснулась и подумала, что весь день буду скучать по вас. Я была уверена — вы позвоните... Сегодняшняя ночь в «Клюкве» будет маленьким сумасшествием. Хотите?

Егор Иванович видел ее наклоненную шею, темные волосы, падающие волной на затылок, чувствовал, как раскрываются ее губы. Восторг, тоска, робость охватили его.

— Я работаю,— проговорил он, едва сдерживая трясущуюся челюсть.

— Ах, вы работаете, тогда бог с вами, голубчик, трудитесь на здоровье,— проговорила она, и телефон прервался.

Схватившись за голову, Егор Иванович глядел в немой теперь аппарат. Хлопнула парадная дверь; мимо

прошла Марья Никаноровна, удивленно остановилась, хотела что-то сказать, но, опустив глаза, быстро стала подниматься по ступенькам.

Он бессмысленно глядел ей вслед и вдруг кинулся к швейцару:

— Послушайте, голубчик, мне нужна справочная, телефон одной дамы, как это сделать? Впрочем, не нужно, я еду! Пожалуйста, подрядите извозчика на Михайловскую!

Он побежал наверх и, догнав Марью Никаноровну, сказал:

— Маша, вот — решается моя судьба.

17

Жестяной чертик светил на крутую лестницу, уводящую под землю. Сбежав, Егор Иванович распахнул обитую войлоком дверь, и в лицо ему пахнуло жаром гулкого, душного и пряного воздуха. Поспешно сбросив пальто и шапку, он раздвинул портьеру.

На несколько ступеней ниже его сводчатый красный пестрый подвал был тесно набит людьми. Ударили в голову гул голосов, обрывки музыки и смеха и хлопанье шампанских пробок. Среди столиков, бутылок и цветов двигались голые плечи, голые руки, покачивались головы, раскрывались рты. Фраки казались черноземом, на котором жили тропические насекомые. Поднимались фигуры, чокались стаканами и вновь опускались. На эстраде Иванушко, приложив руки ко рту, кричал беззвучно.

Егор Иванович, пробираясь вдоль стены, искоса поглядывал на все это. Он боялся первой минуты, когда увидит лицо Валентины Васильевны. Он чувствовал, что не помнит его, и было бы хорошо поглядеть издалека и не сразу.

В нише огромного очага сидели две бледные девушки; нежно обернувшись к Абозову, они сладко ему улыбнулись. Представленный Коржевским, он нагнулся и поцеловал теплые их крошечные руки, подумав: «Какие милочки». Девушки, подняв головы, затараторили,

перебивая одна другую. Он же, глядя на огонь в очаге, слушал и отвечал, как во сне. Из-за шума долетел голос Волгина: «Абозов, иди к нам». В той стороне, на эстраде, подпрыгивал белый Пьеро, взмахивал длинными рукавами. Вокруг было много темных женских волос, но ни одни не заколоты высоким резным гребнем. У зеркала критик Полынов, мучаясь астмой, открывал рот. Мелькнуло в профиль мистическое лицо Шишкова. Из-за женской спины высунулся Сливянский. Столбом стоял Зигзаг, держа согнутую руку на цветке в петлице. В углу расселся кучей вспотевшего мяса Хлопов. Пьеро исчез. На место его выбежал потертый актер в детском колпачке и запел:

Одна подросточек девица
Бандитами взята была...

— Ну где же, ну где? — повторял Егор Иванович, протискиваясь далее между столами. Под низко повешенным обручем, усаженным лампочками, обвязанном лентами, сидел Горин-Савельев, накрашенный, как никогда. Напротив него Гнилоедов и Поливанский. Вдруг ударил барабан, и весь подвал запел протяжно:

А поутру она вновь улыбалась
Перед окошком своим, как всегда...

И под тем же обручем, куда столько раз оборачивался Егор Иванович, раскрылись и засияли ее глаза. Он сильно вздрогнул, голова затряслась от волнения; исчезла сводчатая комната и все лица; шум голосов отдалился; ее глаза вглядывались строго и внимательно и опустились. Тогда он увидел ее лицо, не похожее на прежнее, должно быть оттого, что волосы были причесаны на низ. Оно было почти некрасивое, бледное, с чрезмерно красными губами. Егор Иванович почувствовал разочарование, и холод, и острую печаль.

Он подошел. Валентина Васильевна опять подняла на него синие глаза, протянула руку и вдруг прижала ее к дрогнувшим губам Егора Ивановича.

— Садитесь, — сказала она коротко и отвернулась к эстраде. Он сел. Гнилоедов сказал:

— Вас нигде не видать. А как подвигается новая повесть?

Егор Иванович засмеялся, ответил: «Пишу, пишу», — и продолжал смеяться, кусая губы. На эстраде появился Зигзаг, закинул голову и, нагло усмехнувшись, произнес несколько слов, но его заглушили свистом и топаньем ног. Он усмехнулся еще наглее. Рядом появился Ивanушко, тряся над головой немощными руками.

— Тише, — кричал он, — тише, искусство свободно...

Тогда в первых рядах поднялся кудрявый толстяк во фраке и выстрелил бутылкой шампанского Иванушке в живот. Начался визг и хлопанье. Зигзаг стоял не шевелясь. Валентина Васильевна повернулась к Абозову.

— Милый мой, — сказала она, — я по вас соскучилась.

Он только пошевелил губами, продолжая глядеть ей в лицо; оно было усталое, человеческое, родное, его. Точно с прошлого их свидания он пролетел огромное пространство и теперь почти касался руками ее лица, волос, плечей.

— Ай, ай, ай,— сказала она, — разве так можно? Мы здесь не одни, милый Кулик. Посмотрите лучше, как два цыпленка у камина страдают, глядя на вас. Вы имеете у женщин необычайный успех, Егор Иванович, поздравляю. Я заметила, как только вы показались, с женщинами начало твориться неладное, точно их пришпорили. Обернитесь направо, вот моя приятельница, у ней, сколько бы вы ни старались, — не выдавите благосклонной улыбки.

Валентина Васильевна проговорила все это поспешно и настойчиво, точно желая отвлечь Абозова от созерцания. Егор Иванович вздохнул глубоко и посмотрел направо, куда сказали.

Там сидела за столиком, одна перед бутылкою шабли, худая женщина с покатыми плечами, в суконной тайере. Ее рыжие волосы, наспех заколотые на затылке, облегали объемистый череп с огромным лбом,

перерезанным морщинами; на желтом, испитом лице точно мерцали светлые с желтизною, полузамученные глаза. Медленно куря папироску, она разглядывала повернувшегося к ней Абозова, затем усмехнулась Валентине Васильевне, скосив бледный рот, закуталась дымом и проговорила:

— Различий нет, Валентина, любовь одна.

— Вера, Вера, не правда ли, хороший бычок для бирмингамского кожевника? — спросила Валентина Васильевна и засмеялась отрывисто.

— Не знаю, может и забодать.

— Ах, боже мой, если не опасность, было бы скучно.

— Ты, кажется, решила сегодня же отправить его в Бирмингам?

— Почему думаешь?

— Вижу по платью и прическе. А главное, вижу по твоему лицу.

Обе женщины переглянулись с усмешкой. Валентина Васильевна засмеялась. Вера, ее подруга, подняла высоко брови и налила полный стакан шабли.

Гнилоедов, прислушиваясь к разговору, воскликнул, устроив изо всех гримас, какие мог, самую дурацкую.

— Вот это называется женский разговор! Не понимаю ни слова. А хотел бы я, черт возьми, быть бирмингамским бычком!

— Вы, мой друг, более походите на другое животное, — ответила Валентина Васильевна спокойно.

— А, нет, именно бычком. Вчера мне рассказали про Пазифаю. Недурной миф! Греки понимали кое-что в эротике. В быке есть что-то царственное.

Все же он обиделся и повернулся к эстраде. Егор Иванович напрягал память, чтобы вспомнить хоть одну из тех тысяч фраз, какие он думал сказать Валентине Васильевне при встрече; но губы его, руки, все жилки в теле дрожали мелкой дрожью, и вместо слов он мог бы только лечь у ее ног, именно как бычок, приведенный на заклание. Он был рад теперь, что все вокруг пьяно и за шумом не различимы слова. Пришли и сели за их столик Белокопытов и Сатурнов. Под мышкой у Нико-

лая Александровича торчала бутылка шампанского. Издалека раздались аплодисменты, и заплескал в ладоши весь подвал. Белокопытов, вскочив на стул, раскланивался. Александр Алексеевич сел на углу стола, облокотился и застыл, опустив голову. Валентина Васильевна, скользнув по нему взглядом, презрительно выдвинула нижнюю губу.

«Она злая, она не нравится мне»,— с отчаянием подумал Егор Иванович. Белокопытов, показывая пальцем на роспись потолка, говорил о своих трудах, обращаясь то к Валентине Васильевне, то к Гнилоедову, который глядел на него с восхищением. Валентина Васильевна кивала головой и вдруг обратилась к Абозову:

— Долго вы еще будете молчать?

Гнилоедов захихикал. Николай Александрович воскликнул: «Да, ты сегодня что-то странный». Сатурнов показал зубы и потянулся за стаканом.

Сильно побледнев, Егор Иванович ответил:

— Вам не нужно моих слов сейчас, Валентина Васильевна. Вы не за этим меня позвали. В самом деле, какая это все чепуха...

Но в это время у стола очутился Иванушко, глядя вокруг одичавшими глазами. Уставясь ими на Салтанову, он слегка отшатнулся, точно от удара, затем схватил ее руки и, целуя, проговорил:

— Люблю, обезумел, богиня! Что тут делается! Жутко, болит голова! Женщины, повсюду женщины! Тело! Красота! Жизнь! Обнажение! Эссенция! Сейчас будет говорить Зигзаг. Нужно, чтобы все лишние ушли отсюда. Сейчас в костюмерной я безумно целовал девушку и мечтал о вас,— он запустил пальцы в пепельные волосы и отошел, покачиваясь.

На возвышение с деревянной решеткой, напротив эстрады, поднялся Зигзаг. Скрестив руки, он заговорил. Донеслись слова:

— ...я великолепно плюю на вас, гусеницы и брюхоногие...

Но крик, топанье, свист заглушили его слова, к возвышению кинулось несколько человек, и на месте Зиг-

зага появился горбоносый Волгин; под возгласы: «Тише, тише, говорит Волгин, браво»,— он выкрикнул:

— Господа, мы собрались в ночном хороводе, чтобы заглушить в себе тоску и безнадежность... Мы все наполовину мертвы...

— Гнать его... Гнать... Что он болтает,— заорали вокруг.

Волгин исчез, и на месте его появился профессор — бородатый толстяк с поднятыми плечами, красный от напряжения.

— Что за чепуха,— зычно воскликнул он, потрясая кулаками,— мы ничего не хотим заглушать! Мы под землей выжимаем сок кровавой клюквы! Надо понять символ. Мы чувственники. Мы служители русского эроса! У нас раздуваются ноздри! Эрос! А вы знаете, как случают лошадей?

Он густо захохотал и стал багровый. Со многих столиков поспешно поднялись дамы и мужчины во фраках, двинулись к выходу. Валентина Васильевна положила оба локтя на стол, подперла подбородок, ясными, насмешливыми глазами глядя на говорящего. Он продолжал:

— Вы не хотите слушать? Вам стыдно? А я говорю — зверь просыпается! Так встретим же ликованием его великолепный зевок! На праздник! За светлого зверя! На, терзай мою грудь!

Он действительно захватил на груди рубашку и рванул, полетели запонки, а галстук съехал. Под крики: «Браво, брависсимо!» — профессор сошел с кафедры и, вытираясь, сел между двух зрелых дам, которые замахали на него руками, раскачиваясь от смеха и удовлетворения.

— Профессор слишком полнокровен, он груб, но смел,— сказал Белокопытов.— Я пью за дивного зверя,— он звякнул стаканом о стакан Валентины Васильены,— за праздник, за красоту, за славу. Все это лишь различные улыбки зверя.

— Жить, так жить вовсю! — заорал Гнилоедов.

Валентина Васильевна открыла ровные белые зубы и вдруг, скользнув взглядом по Белокопытову, указала ему на Александра Алексеевича, сделала знак, затем

повернулась к подруге. Вера дремала над стаканом вина, иногда поднимая желтое лицо, и глаза ее мерцали через силу. Белокопытов продолжал:

— Друзья мои, зачем лгать! Мы все эгоисты, живем вразброд, каждый томится своим неудовлетворением. Отступитесь от себя на минуту, любите меня. Я молод, талантлив, весел, я смогу упиться счастьем. А когда истощусь, увяну, высохну,— он в упор поглядел на Сатурнова,— когда наполовину стану мертвецом — вышвырните меня, как лягушечью шкуру.

— Не позволю! — хрипло крикнул Сатурнов, до того угрюмо молчавший.— Не позволю я, наконец, так обращаться!..

Оба они вскочили. Гнилоедов обхватил их руками за плечи и [то] одному, то другому стал нашептывать на ухо, потом из стакана поил вином обоих. Валентина Васильевна, словно в забытьи, придвинулась к Егору Ивановичу и подсунула ему пальцы под ладонь. Он закрыл глаза. Ее рука вздрагивала.

А вокруг, забыв ссорящихся, кричали:

— Ливин, Ливин, Игнатий Ливин говорит.

— Шестой час утра, я сижу и удивляюсь, мало этого, я в ужасе,— откинув гриву, проговорил Игнатий Ливин, точно прожевывая кашу,— отчего я в ужасе, сейчас скажу. Да как же нам, русским, носителям священного огня, нам, питавшимся грудью Белинского и Некрасова, не плакать над погибающей страной. Погибла Россия. Задохнулась от собственных отхожих мест! Мы все болтуны и пьяницы. Бог наш, исконный и русский, привесил нам язык. Вот он, глядите, мерзкий язык, жабий, проворный. На что я его употребил? Вырвите его с корнем долой. Богохульники, кляузники и бездельники! Мы хвастуны! Мы гадостью своей и той насобачились гордиться. А это самый наиподлейший грех. Заплáчу я сейчас, и это будет тоже подлость. Что делать? В гроб нас всех, в яму...

Все-таки он, пролив за решетку бокал, захлебнулся слезами. В то же время Сатурнов, освободив плечо из-под руки Гнилоедова, схватил соусник и швырнул им в Белокопытова. Красный соус потек по крахмальной груди и жилету. И вслед за этим в минуту растерян-

ности и молчания Валентина Васильевна, стиснув холодными пальцами руку Егора Ивановича, шепнула:

— Скорее! — и выбежала в раздевальню. Закутываясь в шубку и капор, она повторяла: — Скорее, скорее, где же ваше пальто?

— А я так, я без шапки,— проговорил Абозов.

Они поспешно и молча вышли через двор и железные ворота на улицу. Шофер распахнул дверцу автомобиля. Егор Иванович подсадил Валентину Васильевну и вскочил вслед за ней. Уже светало. Дул порывами студеный ветер.

(Роман не закончен.)

КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПОРТРЕТ

Впервые с подзаголовком «Фрагмент» напечатан в журнале «Солнце России», 1912, № 27 (июль).

Рассказ А. Толстого представляет собой своеобразную вариацию на сюжет гоголевской повести «Портрет». В образе «сутулого незнакомца в цилиндре и поношенной шинели» угадывается Н. В. Гоголь.

С новой авторской правкой без подзаголовка «Фрагмент» рассказ вошел в III том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1913. Переработка выразилась в значительной стилистической правке и сокращениях ряда второстепенных деталей.

Включая в 1929 году рассказ в Собрание сочинений изд-ва «Недра», т. I, и в идентичное Собрание сочинений ГИЗ, т. I, автор вновь провел правку стиля.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, совпадающему с редакцией 1929 года.

КЛЯКСА

Впервые напечатан в журнале «Солнце России», 1912, № 2 (январь).

Незначительной переработке текст рассказа подвергся при включении во II том Сочинений изд-ва «Шиповник», П. 1912, и в последующих изданиях.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

ЕГОРИЙ — ВОЛЧИЙ ПАСТЫРЬ

Впервые напечатан с подзаголовком «Легенда» в газете «Речь», 1912, № 80, 22 марта.

Без подзаголовка с небольшими стилистическими исправлениями вошел в III том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1913, 2-е изд., 1917, 3-е изд., 1918.

В позднейшие собрания сочинений автора рассказ не входил.

Печатается по тексту III тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1917.

ФАВН

Впервые напечатан под названием «Сатир» в журнале «Солнце России», 1912, № 17 (май). В новой редакции под заглавием «Фавн» вошел в III том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1913, 2-е изд., 1917, 3-е изд., 1918.

В журнальном варианте сюжет рассказа развивался в ином направлении: Любочка (так звали вначале героиню) поздно вечером приходит сама к таинственному соседу-постояльцу в его комнату. Последний открывается ей, что он сатир. Любочка ликует, что ее ждет слава и богатство, мечтает вслух о том, как будут писать об ее сенсационном браке в газетах и как они вместе совершат артистическое турне по Европе. Рассказ заканчивался тем, что оробевший и испуганный этим сатир внезапно оставляет ее, выбегает на улицу и скрывается в тумане.

После переработки в характеристике девушки оказалась сильнее подчеркнутой ее склонность к мечтательству и легкомысленным приключениям. Исправлялся и стиль произведения.

Печатается по тексту III тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1917.

ЛОГУТКА

Впервые напечатан под названием «Страница из жизни» в газете «Речь», 1912, № 191, 15 июля. В новом варианте вошел в III том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1913, 2-е изд., 1917, 3-е изд., 1918.

При переиздании в 1913 году автором произведены были стилистические исправления, текст в нескольких местах был сокращен (снята была, например, заключительная часть, имев-

шаяся в газетном тексте,— о том, как рассказ матушки про крестьянского мальчика был напечатан в газете и она получила письмо одного из читателей, благодарившего ее «за правду»).

Под заглавием «Логутка» с дополнительной стилистической правкой рассказ был включен в I том Собрания сочинений изд-ва «Недра», 1929.

Рассказ «Логутка», в котором описывается неурожай и голод в деревне, носит автобиографический характер, примыкая тематически к позднее написанной А. Толстым повести «Детство Никиты». Писатель вспоминал в своей «Краткой автобиографии» о тех событиях в Поволжье, в Самарской губернии, которыми навеяно было содержание его рассказа:

«Глубокое впечатление, живущее во мне и по сей день, оставили три голодных года, с 1891 по 1893. Земля тогда лежала растрескавшаяся, зелень преждевременно увядала и облетала. Поля стояли желтыми, сожженными. На горизонте лежал тусклый вал мглы, сжигавший все. В деревнях крыши изб были оголены, солому с них скормили скотине, уцелевший истощенный скот подвязывали подпругами к перекладине...»

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, совпадающему с редакцией 1929 года.

БАРОН

Впервые напечатан в газете «Речь», 1912, № 249, 11 сентября.

С незначительными стилистическими исправлениями вошел в III том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1913, 2-е изд., 1917, 3-е изд., 1918. В последующих прижизненных собраниях сочинений рассказ не перепечатывался.

В дневнике А. Толстого за 1911 год следующая запись указывает на материал, использованный писателем для рассказа:

«*Барон. Рассказ Топачевского.*

Высок, худ, строен, лицо римское, брат знаменитый генерал, мать в Зап. крае, посылает сыну 700 в год. Барон только охотится. Передвигается только пешком; очень вежлив, скромен и, когда играет в карты с дамами, всегда проигрывает, хотя бы на руках были голые козыри.

Ружье шомпольное, выстрелив, заряжает его мгновенно.

В 2-х карманах куртки дробь 4 и 6 номер, в 3-м, сбоку, скатанные пыжи, в сумке сверху 24 дырки и в них заранее наготовленные бумажки с порохом, сбоку на груди пистоны.

Барон съел 500 раков.

Пари на 10 рублей. Время 3 ч. и 3/4. Играли в карты, стол поставили в дверях, принесли раков в корыте, потом добавляли еще два раза. Барон съел все, обиделся, что мало было пива. До этого со вчерашнего дня ничего не ел, а за час до пари съел ломоть хлеба с горчицей, перцем и уксусом.

Как барона чуть не убили.

На охоте на кабана зимой. 4 дня бесследно. Вчетвером. Один из спутников ненавидел немцев; с бароном какие-то счеты. Лежали на овчине, барон отошел. Тот взял ружье, спросил, чем заряжено — картечью и 4 номером. Тот привстал (барон в это время отошел шагов на 40) и кричит барону: я в вас буду стрелять: «Ну стреляйте», барон повернулся лицом; тот выстрелил 2 раза. Барон упал в снег, все вскочили. Барон поднялся, снял ружье, взвел курки и, подойдя, спросил того: «Вы нечаянно стреляли или нарочно». «Нет, именно, хотел вас убить». «Ну вы честный человек, на том и покончим». Барона раздели, на нем было несколько плотных жилетов и дробь сделала синяки, но та, что прошла сквозь патронташ, причинила рану.

Барон получил наследство.

По смерти матери барон получил 15 тысяч наследство, купил ружей и страшно закутил.

Купил обезьяну, но она едва его не съела. Подарил ее знакомым, от которых все ушли.

Решил заняться коммерцией, сделал объявление в газетах: «Продаю слив. масло, купившему дается в виде премии дикая утка».

Перед продажей барон поехал на одно озеро (в непроходимые места) и настрелял два воза уток, потом, возвращаясь, скупил у крестьян масло и привез в Киев. Масло тотчас все раскупили, вместе с утками, но барон все-таки потерпел убыток.

Когда барон прожил деньги (очень скоро) поступил в садовники, потом пропал.

(Когда Топачевский рассказывал, вошла его жена и, улыбаясь, вспомнила, как она и сестры шутили над бароном, а он во всем уступал)». (Дневник А. Н. Толстого за 1911 г. Хранится у Л. И. Толстой.)

Личность Топачевского, рассказавшего А. Толстому о бароне, в настоящее время не установлена.

Печатается по тексту III тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1917.

ОВРАЖКИ

Впервые напечатан в литературно-художественном сборнике «Слово», М. 1913, кн. 1.

С небольшими исправлениями стилистического характера рассказ вошел в том V Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1914, 2-е изд., 1915, 3-е изд., 1916.

Значительная стилистическая правка, вставки и сокращения в тексте были произведены А. Толстым при включении рассказа во II том Собрания сочинений изд-ва «Недра», 1929, и в III том Собрания сочинений ГИЗ, М.—Л. 1929.

Один из центральных эпизодов рассказа — поездка Давыда Давыдыча к Оленьке в разгар весеннего половодья — использован был А. Толстым в очень близкой передаче, с повторяющимися подробностями в повести «Детство Никиты» (см. главы: «Необыкновенное появление Василия Никитьевича» и «Как я тонул»).

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, совпадающему с редакцией 1929 года.

ДЕВУШКИ

Впервые напечатан в журнале «Живое слово», 1913, № 2 (январь). С незначительной стилистической правкой вошел в III том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1913, 2-е изд., 1917, 3-е изд., 1918. В последующие прижизненные собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту III тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1917.

ТРАГИК

Впервые напечатан в газете «Русские ведомости», 1913, № 98, 23 апреля. Перепечатывался в III томе Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1913, 2-е изд., 1917, 3-е изд., 1918. В последующие прижизненные собрания сочинений рассказ не входил.

Текст рассказа в издании 1913 года переработан автором.

Снята вся вступительная часть рассказа (первые пять абзацев), рисовавшая зимний пейзаж и внешний вид ветхого дворянского дома с колоннами. Изменена первоначальная фамилия героя рассказа Ивана Степановича Хлюстова на Кривичев.

Печатается по тексту III тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1917.

МИССИОНЕР

Впервые напечатан под названием «И на старуху бывает проруха» в газете «Русские ведомости», 1913, № 109, 12 мая. С незначительными сокращениями и исправлениями стилистического характера вошел в III том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1913, 2-е изд., 1917, 3-е изд., 1918.

Сюжет рассказа построен на эпизоде, о котором сообщил А. Толстому И. Г. Эренбург весной 1913 года в Париже. (Свидетельство И. Г. Эренбурга.)

В новой редакции, ставшей окончательной, под заглавием «Миссионер» рассказ вошел в I том Собрания сочинений изд-ва «Недра», М. 1929, и в I том Собрания сочинений ГИЗ, М.— Л. 1929. В этой редакции автор изменил характеристику центрального образа, сняв слова Назара Иванова, звучавшие раскаянием: «Кто же я-то после всего? Растолкуйте мне, как себя понимать?.. Пропойца? Жулик? А мне бы землю попахать... Я бы все привычки бросил...» — и изменил конец рассказа. В первой редакции рассказчика спасало не случайное появление полицейских, а неожиданное смягчение Назара: «Ладно,— сказал Назар,— твое счастье, прощай!

Он повернулся, быстро пошел прочь и пропал за углом...»

Также снято заключение рассказа: «На следующее утро шел все тот же гнилой дождь. Я решил совсем не выходить и послал коридорного за газетой. Он принес мне бульварный листок за одно су... Читая, я наткнулся на заметку с невероятным заголовком. В ней говорилось, что вчера в подозрительном кабачке близ больших бульваров был убит апашами субъект, должно быть. отравленный абсентом. Убитый сам нарывался на ссору и первый обнажил нож. По опознанию, он оказался русским эмигрантом Ивановым. «Когда мы, наконец, избавимся от этого беспокойного и опасного народца»,— кончалось в заметке...»

Печатается по тексту Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, совпадающему с редакцией 1929 года.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕГИНА

Впервые под названием «За стилем» напечатан в газете «Русские ведомости», 1913, №№ 208, 219, 230, 242, и 1914, №№ 4, 9, 15 за 8, 22 сентября, 6, 20 октября и 5, 12, 19 января.

Под заглавием «Приключения Растегина» в значительно переработанном и дополненном виде опубликован в VII томе Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1915, 2-е изд., 1916, 3-е изд., 1918.

В этой редакции работа автора была направлена на углубление характеристик персонажей. Гораздо более выпукло обрисована фигура героя рассказа — разбогатевшего дельца Растегина.

В ранней редакции неясно было, как сложилось у Растегина его намерение объехать провинциальные дворянские усадьбы в поисках стильной старины: рассказ начинался непосредственно с изображения поездки Растегина по помещичьим усадьбам Н-ского уезда.

Писатель придал несколько иной акцент и сделке Растегина с помещиком Дыркиным, касающейся Раисы. В новом варианте эта сделка психологически более мотивирована обстоятельствами катастрофического разорения Дыркина и не имеет откровенного характера купли-продажи. Дыркин теперь только «уступает» свою любовницу Растегину, который сам предлагает ему довольно цинично деньги, необходимые для уплаты его просроченных векселей. Ослаблен во второй редакции и самый мотив неожиданно вспыхнувшей в Растегине страсти к Раисе. Теперь Растегин везет ее в город скорее как некоторую редкость, прельщенный более всего необычайностью и экзотичностью своей находки.

В измененном виде предстает после переработки биография Раисы. В первоначальном тексте прошлое ее рисовалось в более резких чертах: «Она — пензенская мещанка. Выдали ее замуж: муж больной, кроткий, а у нее так огнем все и лезет наружу. Ушла в монастырь; там ее всяким штукам начали учить, а как немножко вкусила запретного, — сама такие порядки завела, что у настоятельницы — женщины пожилой — родилась двойня...»

Углублена А. Толстым, по сравнению с газетным текстом, характеристика чудаковатого дворянина Щепкина. Описание его библиотеки изменено и расширено (см. главу VIII). Среди авторов, которых он читал, названы теперь Герцен, Карл Маркс и Михайловский. Как некий штрих, свидетельствующий о бли-

зости Щепкина к настроениям позднего народничества, упомянут портрет Михайловского, который он всегда держал на столе.

В первом варианте резкую характеристику деградации помещиков под влиянием новых условий дает в разговоре с Растегиным Долгов: «Я всегда говорил, и вот подтверждение моих слов: современные условия вырабатывают из помещика три типа: один из них просто гибнет..., другой становится кулаком и грабителем, ему плевать на всякие идеалы, а мелкопоместные должны делаться жуликами, продавать любовниц, иначе нечем проценты платить, иначе гибни, уезжай в город, служи». Теперь эти слова в несколько видоизмененной редакции оказываются вложенными в уста Щепкина (см. главу VII).

Ряд новых поправок вносит А. Толстой в характеристику и других своих персонажей.

О барыне Тимофеевой, опустившейся и одичавшей, одетой в заплатанную юбку и мужицкие сапоги, узнаем мы теперь, что она «последний отпрыск Тимофеевых», которым «даровано было дворянство еще при царе Борисе». Вместе с тем не так заметно в ее речах проявляются теперь признаки умственной поврежденности.

В первой редакции рассказа Чувашов, принимая приехавшего к нему Растегина, знакомого ему по Москве, и вызываясь помочь ему, сразу же ставит условие: «С каждой купленной вещи вы платите мне 25%, за каждое посещение усадьбы — 50 рублей. Если не согласны, то вам придется уехать отсюда». Во второй редакции этот эпизод изменен, новая сделка характеризует непрактичность дворянина Чувашова, его неприспособленность к коммерческим делам.

Наиболее существенной переработке подверглись сцены, рисующие Растегина на именинах у Ражавитиновых, а также эпизоды, связанные с пребыванием его у Дыркина. Писатель заостряет сатиричность изображения ражавитиновских гостей, более красочно живописуется гомерическое обжорство и пьянство опустившихся и одичавших дворянских последышей, их сплетни у обеденного стола.

Автор исключает сцену объяснения Растегина в саду с вдовой Сарафановой — эпизод, уводившей читателя в сторону от описанной далее истории увлечения Растегина Раисой.

В главу пятую вводится новый эпизод — шутовская проделка Дыркина в купальне.

При переработке первого варианта вставлены также в текст некоторые существенные для понимания общего смысла рассказа места. Так, например, в газетном тексте отсутствовали слова Растегина в конце VII главы, которые подводят итог его впечатлениям от поездки: «Здешние порядки у нас, по-московскому, разбоем называются. Где я — в лесу? Что я привезу в Москву? С чем приеду? Эх, господа помещики!»

В новом варианте рассказ приобрел большую композиционную слаженность и законченность, преодолена была эскизность изложения.

Газетный текст распадался всего на две главы. Во втором варианте он разбит уже на ряд глав меньшего объема. Заключительная, девятая, глава (скандальное происшествие с Растегиным на железнодорожном полустанке) отсутствовала в первоначальном тексте.

В газетном тексте Растегин прерывает свое пребывание у Дыркина, уезжая, по совету Чувашова, на ночь в соседнюю усадьбу Семочки Окаемова играть в карты. Там, помимо некоторых уже знакомых лиц, встречает трех земских начальников и такого же, как он сам, буржуа — богатого губернского бакалейщика Петра Ивановича. (О последнем автор сообщает, что, побывав в Париже, он присвоил себе более «благородное» прозвище — Пьера Зуазо.) Шумный картеж и выпивка заканчиваются скандалом, разгоревшимся между тузом бакалейщиком и гостями из дворян.

Ссору эту писатель изображает так:

«...Зуазо так разошелся, что встал, с бокалом в руке, и, попросив молчания, начал говорить уже вслух, оттопыривая нижнюю губу.

— Господа, Россия давно встала на путь экономического движения. Экономика неразрывно связана со всей жизнью страны. Дворянин теперь может существовать лишь при условии, если превратится отчасти в негоцианта. Представители торговли и высшего класса подают друг другу руки...

— Зуазо, слышали двадцать раз, замолчи, я тебе такую руку подам,— сказал веселый земский начальник.

— Виноват, прошу свободы слова,— разгорячась, продолжал Зуазо,— вы, господа земские начальники, лишь тормозите эконо...

Но тут он приостановился, покраснел и воскликнул, бог знает, по какой связи идей своих:

— Я утверждаю и настаиваю, что земские начальники все до одного — свиньи.

Он сел. Среди стоящих у винного стола произошло замешательство. Потом от сбившейся кучки отделились Борода-Капустин и просто Капустин, подошли к Зуазо (Растегин пришипился в другом конце дивана) и проговорили ледяными голосами:

— Ах ты мерзавец! Извиняйся, иначе здесь, в комнате, будешь драться на револьверах со всеми тремя!

Зуазо вскочил, разводя руками, но все-таки, остановясь перед земскими начальниками, сидящими у противоположной стены на табуретках, принялся извиняться, путаясь в словах.

— Чего этот хам бормочет, не понимаю, — сказал один земский начальник.

— Не желаю принимать извинения, — закричал другой.

А веселый воскликнул, топая каблуком:

— Э, нет, не прощу, пусть извиняется и ногой не дрыгает, зачем он ногой трясет, это меня раздражает.

— Господи, да она сама дрыгает! — воскликнул Зуазо.

— Тогда давай драться.

— Зачем, ведь я извинился.

— Ты драться отвиливаешь, значит ты не порядочный человек, тебя в общество допускать нельзя...»

Во второй половине рассказа существенно меняется А. Толстым общая планировка его — меняется в сторону более простого изложения событий в хронологической последовательности. В газетном тексте утро в день пребывания Растегина у Дыркина и денежная сделка их относительно Раисы давались после того эпизода, когда Долгов и Щепкин обнаруживают в лесу под дождем Растегина и Раису, вывалившуюся из экипажа в лужу. Равным образом в газетном тексте описание ночи, проведенной Растегиным и Раисой в доме Долгова, шло после эпизода возвращения Щепкина утром домой и после того момента, когда к нему приходят Долгов с Растегиным, прося найти шелковое платье для Раисы.

А. Толстым при первом переиздании рассказа осуществлена была весьма решительная переработка стиля, художественно-языковой ткани произведения.

Текст «Приключения Растегина» в VII томе Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве» совпадает во всех трех изданиях его — 1915, 1916 и 1918 годах.

В следующем переиздании «Приключений Растегина», в сборнике автора «Китайские тени» (изд-во «Огоньки», Берлин, 1922), писателем была проведена правка стилистического характера во всех главах.

Незначительная правка стиля была проведена при включении рассказа во II том Собрания сочинений изд-ва «Недра», 1930, и в III том Собрания сочинений ГИЗ, 1929.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, совпадающему с изданием 1930 года.

БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ [1]

Впервые напечатана в сборнике «Слово», «Книгоиздательство писателей в Москве», № 3, 1914. Перепечатано в сборнике «Обыкновенный человек», изд-во «Наши дни», 1915.

Повесть «Большие неприятности» является частью произведения более обширного, замысел которого намечался, но не был осуществлен писателем полностью. Это подтверждается тем, что текст повести «Большие неприятности» в сборнике «Слово» сопровождается следующим примечанием автора:

«В этой повести описано одно событие из жизни Николая Николаевича Стабесова — происшедший с ним перелом, который закончился встречей и влюбленностью в Наташу. Дальнейшее: их жизнь в Москве, среди суеты, приключений, соблазнов и превратностей, как уцелело и во что превратилось их чувство — будет описано в следующей повести: «Мышиная беготня».

В архиве А. Н. Толстого в Институте мировой литературы им. А. М. Горького имеется рукопись, представляющая неопубликованное и незаконченное продолжение «Больших неприятностей» (см. папку № 101/67). Проза без названия. Машинопись с авторской правкой. Начинается словами: «В сумерки по травянистому откосу...»

В шести главах этой рукописи, имеющей еще эскизный характер, рассказывается о возвращении Н. Н. Стабесова в город, о попытке самоубийства горничной его Стеши, бросившейся в Москву-реку, и спасении ее чудаковатым и странным «благотворителем» Заворыкиным. Образ Стеши, бегло обрисованный в первой главе «Больших неприятностей», ее роль в происшедших

---

[1] Комментарии к повести «Большие неприятности» написаны А. Сокольской.

событиях и в жизни героя здесь выступают яснее. Она любит Стабесова и, узнав об его предстоящей женитьбе на Наташе, пытается покончить с собой.

В последней, написанной наиболее бегло, главе рукописи изображается жизнь невесты Стабесова Наташи. Она остается после отъезда жениха в имении тетки Варвары Ивановны Томилиной, окруженная мелочной опекой и заботами ее. Этот последний эпизод был обработан писателем и опубликован в 1915 году в виде самостоятельного рассказа «Невеста» («Наташа»). См. настоящий том. Повесть печатается по тексту исправленного автором экземпляра сборника «Обыкновенный человек» (хранится у Л. И. Толстой).

Эта последняя переработка автором текста повести «Большие неприятности» впервые воспроизведена в настоящем издании. Она доведена А. Н. Толстым лишь до конца первой главы. Изменения коснулись в основном характеристики Н. Н. Стабесова, его духовное перерождение под влиянием любви к Наташе более мотивировано.

Первые страницы повести подверглись большой стилистической правке. В дальнейшем Толстой только перечеркивал карандашом отдельные места, по-видимому неудовлетворявшие его и намечавшиеся к переделке или сокращению. Среди них — объяснение Георгия Петровича Сомова с Наташей и ее раздумья об этом.

Редактура текста произведения не доведена до конца, по всей вероятности, в связи с решением А. Н. Толстого прекратить работу над продолжением повести.

НАТАША

Впервые напечатан в газете «Киевская мысль», 1914, № 355, 25 декабря.

Рассказ является отрывком из повести, работу над которой писатель не довел до конца (см. комментарии к повести «Большие неприятности»).

Год спустя после первой публикации, также в рождественском номере, рассказ был напечатан в газете «Русские ведомости» (1915, № 296, 25 декабря).

Под заглавием «Невеста» с небольшими стилистическими исправлениями вошел в IX том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1916, 2-е изд., 1918. Вторично текст был переработан при публикации под первоначальным заглавием,

которое и осталось в дальнейшем в сборнике А. Толстого «Московские ночи». «Рассказы», изд-во «Огонек», М. 1926.

В новой редакции, ставшей окончательной, рассказ вошел во II том Собрания сочинений ГИЗ, 1929, и идентичное издание изд-ва «Недра», 1929.

Писатель, очевидно, правил для этих изданий текст 1916 года, так как в ряде случаев не учтены исправления, сделанные в 1926 году для сборника «Московские ночи».

Рассказ печатается по тексту Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, совпадающему с редакцией 1929 года.

БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Впервые под названием «Маша» напечатано в журнале «Заветы», 1914, № 1 (январь). Под этим же заглавием перепечатано в V томе Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1914, 2-е изд., 1916, 3-е изд., 1917. В переработанном виде под заглавием «Без крыльев (из прошлого)» рассказ напечатан в журнале «Звезда», № 5, 1927. Входил во все последующие собрания сочинений автора.

Первая перепечатка рассказа в V томе Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве» сопровождалась небольшой, преимущественно стилистической правкой текста. В содержание внесено лишь одно изменение: после выстрела в мужа Маша приходит к писателю Семену Семеновичу и падает без чувств у него в прихожей (см. два заключительных абзаца на стр. 239 указанного издания).

Значительной переработке подвергся рассказ при напечатании его в журнале «Звезда». В особом примечании к этой публикации автор указывал, что написанный им в 1914 году перед самой войной рассказ этот «отражал городские настроения перед эпохой великих событий» и оставался «в сыром виде» до сих пор, когда он «окончательно привел его в порядок».

Не меняя основной сюжетной схемы и расстановки действующих лиц, А. Толстой ввел в рассказ ряд новых эпизодов. Более четкими стали психологические характеристики героев, углублена трагедия Маши подчеркиванием ее беспомощности и одиночества в окружающей среде (см., например, вновь введенные мысли ее о невозможности вернуться к родным в Сызрань). Появились резко сатирические черты в изображении тех лиц, с которыми героине пришлось столкнуться, когда она ушла от

мужа. Критика буржуазной морали, ложного нездорового взгляда на положение женщины в старом обществе зазвучала теперь в рассказе более настойчиво и резко.

Журналист Иван Петрович (которому дана в новом варианте фамилия Бабушкин) принимает участие в семейном конфликте Маши, руководимый теперь преимущественно профессиональным любопытством газетного хроникера. Муж Маши — Притыкин, в первом варианте инженер, превращен в присяжного поверенного и сделан еще более болтливым, истеричным и отталкивающим.

Мечтательный, добродушно-чудаковатый в раннем варианте писатель Семен Семенович Хомутов теперь превращен в поэта-философа С. С. Кашина, мистика и декадента. В текст рассказа введен отрывок драмы, которую он пишет (о Кунигунде и бароне Розенкрейце), отрывок, являющийся пародией на упадочную символистскую поэзию. Комическое снижение этого персонажа особенно ясно выступает в разговоре Кашина с Машей, после ночи, которую она провела в его квартире. В вариантах 1914 и 1916 годов отсутствовал эпизод посещения его оскорбленным Притыкиным. В тексте 1927 года эта новая сценка еще больше усиливает сатирическую обрисовку обоих персонажей.

Усилены А. Толстым отталкивающие черты и в обрисовке баронессы-сводницы, в «благородный» дом которой попадает Маша, а также и «гостя», с которым Маша едет кататься на рысаке.

Рассказ подвергся еще одной редакции — при переиздании его в VIII томе Собрания сочинений изд-ва «Недра», М. 1930, но на этот раз правка носила характер незначительных исправлений стиля.

Печатается по тексту III тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, не отличающемуся от редакции 1930 года.

ЧЕТЫРЕ ВЕКА

Впервые напечатан в литературно-художественном сборнике «Слово», «Книгоиздательство писателей в Москве», 1915, кн. 4. Авторская дата — «Июнь 1914 г. Коктебель».

С небольшими исправлениями стилистического характера вошел в сборник А. Толстого «Обыкновенный человек», изд-во «Наши дни», М. 1915.

Более значительную стилистическую правку автор провел,

включая рассказ в I том Собрания сочинений ГИЗ, М.—Л. 1929, и I том Собрания сочинений изд-ва «Недра», М. 1929.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, совпадающему с редакцией 1929 года.

НОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ

Впервые напечатан в газете, вырезка из которой хранится в архиве писателя в Институте мировой литературы им. А. М. Горького. Название газеты и дату публикации установить не удалось. При жизни автора не перепечатывался.

Время написания рассказа можно отнести к 1914 году, когда в творчестве А. Толстого начало появляться критическое отношение к декадентскому искусству, нашедшее свое отражение в рассказе. Наиболее полное раскрытие эта тема получила в романе «Егор Абозов» (см. наст. том) и в первой части трилогии «Хождение по мукам», в эпизодах, характеризующих скандальные выступления футуристов в предвоенные годы в Петербурге (см. в главе 5-й романа «Сестры» характеристику находившейся в квартире Телегина «Центральной станции по борьбе с бытом» и в главе 7-й — изображение футуристического «маскарада» на улицах столицы).

Печатается по тексту газетной вырезки, архив А. Н. Толстого, № 395.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Впервые напечатан с подзаголовком «Рассказ» в газете «Русские ведомости», 1914, № 297, 25 декабря, где А. Н. Толстой, в то время военный корреспондент этой газеты, обычно помещал свои фронтовые очерки и рассказы.

Рассказ написан по впечатлениям от поездок на Юго-Западный фронт в 1914 году.

Со многими, но небольшими, стилистическими исправлениями вошел в сборник А. Толстого, объединенный общим заглавием «Обыкновенный человек», изд-во «Наши дни», М. 1915; напечатан в сборнике «Дни войны», кн-во «Универсальная библиотека», 3-е изд., 1917. С последующей правкой вошел в том VII Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве»,

1-е изд., 1915, 2-е изд., 1916, 3-е изд., 1918. Редактура, проведенная автором в обоих случаях, чисто стилистическая, часто идущая по линии сокращения текста.

В последующие прижизненные собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту VII тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 2-е изд., 1916.

В ГАВАНИ

Впервые напечатан в газете «Русские ведомости», 1915, № 26, 1 февраля. В новой редакции вошел в VII том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1915, 2-е изд., 1916, 3-е изд., 1918.

Кроме сокращения отдельных слов и фраз в первой части рассказа, автор внес значительные изменения в эпизод прихода Доли и Ноди к Вакху Ивановичу и его размышления перед встречей со знаменитым поэтом. Сцена чтения Вакхом Ивановичем своих стихов заканчивалась спором и его плачем. Финал рассказа написан заново. По первой публикации Воронов, вернувшись в номер, засыпал. «Проснулся он около полуночи от некоторого беспокойства, как будто не все еще было сделано. Он оглянулся; под лампой лежала клеенчатая тетрадь. Он развернул и прочитал первые строки, затем из середины, затем конец. Это была не то повесть, не то дневник, помеченный лет двадцать назад. Были описаны в ней мелочи какой-то простой жизни, какой-то пикник, прогулки в горы, любовь, встреча с какой-то Машенькой, больной из Петербурга,— все, что бывает в жизни каждого и всегда будет. И еще острее, чем давече утром, поэт чувствовал, как мила, и проста, и дорога ему вся эта жизнь, и даже толстый, заплакавший в кофейне мужчина стал понятен.

— Нужно бы найти этого чудака, договориться до чего-нибудь. Кажется, я еще никому не сделал так больно, как давеча этому в кофейне. Ему бы тоже в гавань, потеплей да попроще.

Он стал думать о гавани, о море, синем, как небо, о большом пароходе, приплывшем к этой земле. И внезапно понял, что нужно сейчас же разыскать Вакха Ивановича, сказать ему одно слово. Поэт быстро оделся и вышел. Едва светало, и уже пахло полынью с гор. На набережной, свесив к воде ноги, сидел

Вакх Иванович; спина его была ужасно сутулая. Поэт подошел к нему сзади, присел и обнял за плечи».

В последующие прижизненные издания рассказ не включался.

Печатается по тексту VII тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1916.

НА КАВКАЗЕ

Впервые эта серия очерков под названием «Письма с пути», с порядковым номером каждого письма от XVII по XXIV, напечатана в газете «Русские ведомости», 1915, №№ 37, 44, 45, 47, 50, 52, 57, 61 за 15, 24, 25, 27 февраля и 3, 5, 11, 15 марта.

Очерки продолжают опубликованные под тем же заглавием корреспонденции А. Толстого с Юго-Западного фронта — письма I—XVI, объединенные впоследствии в циклы «По Волыни» и «По Галиции».

На Кавказском фронте А. Толстой был в феврале 1915 года. В архиве писателя сохранилась записная книжка с заметками, сделанными во время этой поездки (Архив, № 166/4). Эти заметки дают возможность определить почти все пункты, где был писатель, и расшифровать некоторые фамилии, вошедшие в очерки лишь заглавной буквой. Так генерал Л. из III очерка — Ляхов. Поездка из Батума на приморские позиции в Манриалосе описана в VI очерке.

В VI том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 2-е изд., дополненное, — 1916, А. Толстой включил очерки под общим заглавием «На Кавказе». От публикации в газете они отличаются значительными сокращениями. Из первого очерка исключено описание пути от Ростова до Минеральных Вод. Полностью снят автором очерк (письмо XVIII), в котором рассказывалось о Тифлисе и кавказском отделе Всероссийского земского союза — помещичьей организации, помогавшей в период империалистической войны царскому правительству организовать тылы армий.

Основные разделы, исключенные писателем, вошли в приложения и комментарии III тома Полного собрания сочинений А. Н. Толстого, Гослитиздат, М. 1949.

Цикл очерков «На Кавказе» печатается по тексту VI тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1916.

НА ГОРЕ

Впервые с подзаголовком «Рассказ» напечатан в газете «Русские ведомости», 1915, № 67, 22 марта. Рассказ написан по впечатлениям от пребывания на Кавказском фронте в феврале 1915 года (см. комментарий к очеркам «На Кавказе»).

В VII том Сочинений «Книгоиздательства в Москве», 1915, рассказ вошел с исправлениями. Кроме стилистической правки, писатель снял указания на то, что автор писем — Рябушкин — окончил Гейдельбергский университет. Изменено рассуждение Рябушкина о войне во втором письме. По тексту газетной публикации он писал: «Думаю, когда-нибудь найдут иной способ войны, более совершенный: *важно сломить вражескую армию, подмять под себя, наступить пяткой.* Кровопролитие еще не решает ничего...» Сняв при первом переиздании подчеркнутые слова, а в дальнейшем заменив слово «войны» на «разрешать трудные вопросы», автор придал этой фразе совершенно иной смысл.

Вторичная правка стиля сделана А. Толстым при включении рассказа во II том Собрания сочинений («Лихие годы») изд-ва З. И. Гржебина, Берлин, 1923.

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений («Лихие годы») изд-ва З. И. Гржебина.

ШАРЛОТА

Впервые с подзаголовком «Рассказ», с датировкой «Апрель 1915 г.» напечатан в газете «Русские ведомости», 1915, № 106, 10 мая.

С многочисленными мелкими стилистическими исправлениями — заменой и сокращением отдельных слов — рассказ вошел в VII том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», по второму изданию (1916) которого и воспроизводится текст.

В последующие издания при жизни автора рассказ не включался.

БУРЯ

Впервые с подзаголовком «Рассказ» напечатан в газете «Русские ведомости», 1915, №№ 136, 142, 148 за 14, 21 и 28 июня. Авторская дата — «10 июня 1915 г. Иваньково». Деревня Иваньково — дачное место под Москвой в районе Тушино.

Со значительными исправлениями рассказ вошел в IX том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1916, 2-е изд., 1918. Кроме многочисленных мелких поправок, автор снял абзац, дополняющий картину паники при появлении немецкого крейсера, некоторые рассуждения Василия Васильевича о войне и сон Елены, предвещающий ранение мужа. Более развернуто дана характеристика немца-перебежчика, вставлена фраза в III разделе (от слов «Острое горе, заслонившее было весь свет...» до слов «Елена встряхивала головой и возвращалась в палатку к терпеливым мужикам, разметавшимся в бреду»), подготавливающая благополучный финал рассказа. Значительно переделана сцена ранения Василия Васильевича и почти заново, но без изменения смысла, написана концовка.

В последующие прижизненные издания автора рассказ не включался.

Печатается по тексту IX тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1918.

ДЛЯ ЧЕГО ИДЕТ СНЕГ

Впервые с подзаголовком «Рассказ» напечатан в газете «Русские ведомости», 1915, № 221, 27 сентября.

По авторскому признанию, рассказ носит автобиографический характер. В день публикации «Для чего идет снег» А. Толстой писал своей тетке — М. Л. Тургеневой — о своих отношениях с Н. В. Крандиевской, ставшей его женой в конце 1914 года: «...прочти в сегодняшнем № «Русских ведомостей» за 27 сент[ября] мой рассказ о начале нашей любви, и ты поймешь — какой силой мы связаны».

Со значительной стилистической правкой рассказ вошел в IX том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1916, 2-е изд., 1918. С дальнейшей правкой, заключающейся в замене отдельных слов и небольших, но многочисленных сокращениях вошел в I том Собрания сочинений ГИЗ, 1929, и идентичное издание изд-ва «Недра», 1929, т. 1.

Включая рассказ во II том Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, автор провел еще некоторые исправления стиля.

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

ПОД ВОДОЙ

Впервые под названием «Спасенный», с подзаголовком «Рассказ» напечатан в газете «Русские ведомости», 1915, №№ 263, 268, 274 за 15, 21 и 29 ноября.

Под названием «Под водой» со значительными стилистическими исправлениями рассказ вошел в IX том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1916, 2-е изд., 1918. Изданный отдельной брошюрой в серии «Дешевая библиотека», «Книгоиздательство писателей в Москве», 1918, рассказ назывался «На подводной лодке».

Текст рассказа последовательно правился автором при публикации в сборнике «Наваждение. Рассказы», Париж, изд. «Русская земля», 1921, и в IV томе Собрания сочинений ГИЗ, 1929 (идентичное издание изд-ва «Недра»).

Исправления, внесенные в 1929 году,— главным образом сокращения,— наиболее значительные из всех правок.

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944, последнему изданию, подготовленному к печати самим автором.

УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ

Впервые под названием «Рожь», с подзаголовком «Рассказ» напечатан в газете «Русские ведомости», 1915, № 280, 6 декабря.

С небольшими стилистическими исправлениями рассказ вошел в IX том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1-е изд., 1916, 2-е изд., 1918. Под заглавием «Утоли моя печали» в новой авторской редакции рассказ вошел во II том Собрания сочинений, изд-во И. П. Ладыжникова, и с последующими исправлениями в Собрание сочинений ГИЗ, 1929, т. I, и в т. I идентичного издания изд-ва «Недра», 1929. Кроме небольших, но многочисленных исправлений, в этом варианте снята фраза: «Или на табачную лавочку в приморском городке, где умирают без боли»,— бывшая ранее финальной.

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, отличающемуся от текста 1929 года незначительной стилистической правкой.

ЛЮБОВЬ

Впервые под названием «Искры» напечатан в книге 6-й литературно-художественного сборника «Слово», «Книгоиздательство писателей в Москве», вышедшем двумя изданиями — в 1916 и 1917 годах.

Рассказ многократно переиздавался, подвергаясь серьезной правке. Включая его в XI том Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1916, автор произвел большие изменения в стиле.

Со значительной правкой текста, под заглавием «Любовь», рассказ вошел в сборник А. Н. Толстого «Китайские тени», изд-во «Огоньки», Берлин, 1922. Помимо мелких исправлений, несколько первых страниц и целые абзацы были написаны почти заново, хотя ни фабула, ни характеристика персонажей не меняются. При этой редактуре автор провел значительное сокращение текста, преследующее цель более динамического развития сюжета. Изменено несколько имен действующих лиц. Так, например, жена Егора Ивановича вначале носила имя Любовь Никитичны. В данном случае, очевидно, писатель не хотел, чтобы новое заглавие произведения ассоциировалось с именем этого персонажа.

Последующие стилистические исправления и сокращения текста писатель проводил, включая рассказ в сборник «Рассказы», изд-во «Огонек», М. 1926, и затем в I том Собрания сочинений ГИЗ, М—Л. 1929.

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, отличающемуся от редакции 1929 года небольшими стилистическими изменениями.

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

Впервые с подзаголовком «Рассказ» напечатан в газете «Русские ведомости», 1916, №№ 147, 149, 153 за 26, 29 июня и 3 июля. Авторская дата — «Антоновка, июнь 1916 г.». Деревня Антоновка, где писатель провел лето 1916 года, расположена на Оке, недалеко от города Тарусы.

Для общего фона, на котором развивается сюжет рассказа, А. Толстой использовал свои дорожные впечатления от поездки в Англию весной 1916 года.

Рассказ «Прекрасная дама» неоднократно переиздавался и трижды перерабатывался автором. Первые стилистические исправления и небольшие сокращения были сделаны для IX тома Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1916. Во II том Собрания сочинений («Лихие годы»), изд-во З. И. Гржебина, Берлин — Пб.— М. 1923, рассказ вошел с дальнейшими более обширными сокращениями и многочисленными исправлениями отдельных слов.

Наиболее значительные изменения текста — главным образом сокращения — сделаны для IV тома Сочинений ГИЗ, М.— Л. 1928, и идентичного издания изд-ва «Недра», М. 1929.

Здесь полностью снята, лишь сокращенная второй редакцией, характеристика главного героя. В газетной публикации рассказ начинался так: «Пакет был вложен в парусиновый мешок, запечатан и в военном министерстве вручен капитану Никите Алексеевичу Абозову, на следующий день выехавшему с Финляндского вокзала в Париж, через Торнео. Офицер для передачи пакета, содержащего важные документы, был выбран надежный. Никита Алексеевич служил в драгунском полку; в боях на Бзуре отличился, как рассудительный и отважный офицер; под Двинском с небольшим количеством солдат задержал наступление неприятеля, спас этим штандарт и полкового командира, причем во время перестрелки был ранен в голову и грудь и на время окончательного излечения приписан к военному министерству. Он был холост и последние годы чрезвычайно воздержан; начальство его ценило, солдаты эскадрона пережили истинное горе, когда Абозов несколько дней боролся со смертью, не приходя в сознание; товарищи по полку называли его «Машенькой» за красивое, бритое, нежное лицо и знали, что он никогда не обижается на прозвище, потому что умен и отважен духом.

Передача пакета и посылка Абозова произошли в тайне. Никита Алексеевич знал, что пропажа документов не только стоила бы ему жизни, но,— еще хуже,— бедственно отразилась бы на военных операциях. Сначала пакет лежал в чемодане...»

При последующих изданиях текст почти не менялся.

Печатается по тексту сборника «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944.

МАША

Впервые под названием «В июле», с подзаголовком «Впечатления» напечатан в газете «Русские ведомости», 1916, № 210, 11 сентября.

Под заглавием «На усадьбе» рассказ опубликован в белоэмигрантской парижской газете «Последние новости», 1920, № 31, 2 июня, и вошел в сборник А. Толстого «Наваждение», Париж, изд. «Русская земля», 1921. По сравнению с первой публикацией текст рассказа отличается рядом стилистических исправлений и сокращений. Изменено также имя героини, которая вначале называлась Дашей Осоргиной; сняты некоторые имена второстепенных персонажей: в первой публикации один из пленных венгров носил имя Якова, баба-почтальон — Акулины. Снято описание, которым начинался рассказ: «За воротами усадьбы зеленое поле сбегало вниз до ручья, поросшего осокой; в омутах его, говорят, водились щуки. По ту сторону ручья подымался бугор, покрытый узкими полосами гречихи, белой и желтой, зацветающего льна, овса и картошки. На бугре стояла деревня Таракановка, в двенадцать дворов под старыми липами. Позади него и по сторонам все волнистое поле покрывала рожь вплоть до березовых лесов, обступивших со всех сторон бугры, глинистые овраги, деревню и усадьбу, тоже Таракановку».

Под заглавием «Маша», с менее значительными исправлениями рассказ напечатан в IV томе Сочинений ГИЗ, М.—Л. 1928, и идентичном издании изд-ва «Недра», М. 1929.

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, отличающемуся от издания 1929 года незначительной стилистической правкой.

ХРОМОЙ БАРИН

Роман

Впервые напечатано в «Сборнике первом издательского товарищества писателей», Петербург, 1912.

Авторская дата — «26 января 1912 года».

Многократно переиздавался: включался в собрания сочинений и выходил отдельными изданиями.

Роман «Хромой барин» завершает цикл произведений писателя, посвященных изображению жизни разоряющегося дворянства.

А. Н. Толстой писал по этому поводу: «Чудаками» и «Хромым барином» оканчивается мой первый период повествовательного искусства, связанный с той средой, которая окружала меня в юности. Я исчерпал тему воспоминаний и подошел к современности...» (см. «Краткая автобиография А. Толстого», I том наст. собр. соч.).

Роман «Хромой барин» несколько раз редактировался А. Толстым при его переизданиях.

Значительную переработку произведения, коснувшуюся содержания романа и характеристики главного героя, осуществил писатель при первом переиздании «Хромого барина» — в V томе Сочинений «Книгоиздательства писателей в Москве», 1914.

В первопечатном варианте романа (1912) намечалась своеобразная «политическая» линия развития дальнейшей судьбы князя А. П. Краснопольского.

После возвращения к Кате и примирения с ней князь Краснопольский лишь некоторое время остается в усадьбе и затем уходит странствовать вновь. Обстановкой нарастающей в стране политической борьбы, событиями кануна 1905 года он оказывается вовлеченным в революционное движение.

Начиная с III подглавки «Главы последней» А. Толстой давал в первой публикации романа несколько наводящих и подготовляющих к этому эпизодов.

В первопечатном тексте рассказывается, что к весне, когда Катя стала поправляться после перенесенной ею болезни, «Александр Вадимыч привез ей из города лектрису — некрасивую, тихую и строгую девушку Варю Котову». Сначала Катенька боялась ученой девицы. Потом они подружились. Варя рассказывала Кате «о партиях и коммунистах, о том, как арестовали ее, сослали в Сибирь, о жизни в тайге под Колымском, о покушениях, несбывшихся надеждах, о необыкновенных людях. И Катенькина, освобожденная теперь, душа стала наполняться новыми мечтами». Наконец она объявила Варе Котовой, «что уйдет из дома и сделается революционеркой».

Дальше в той же главе рассказывалось, как однажды «внезапно, и к большому смущению Александра Вадимыча, приехал становой с двумя урядниками, много извинялся и, посадив Варю в тележку рядом с собой, увез в город...» Оказалось, что «Варя была сильно замешана в только что раскрытой политической организации и арестована...»

О Варе вспоминает Катенька, когда взволнованная появлением князя и полученным от него письмом не знает, что ей предпринять: «Отсюда я уеду, нельзя так жить, я должна совершить подвиг, пусть мои силы пойдут на полезное. Я сильная и кому-нибудь да нужна. Вот Варя пожертвовала собой» (стр. 287).

Вслед за подглавкой VI следовал эпилог следующего содержания: «Князь и княгиня Краснопольские жили в Москве тихо, почти никого не видя. Князь постарел за это время, а Катенька очень хотела иметь дочку, но не могла забеременеть. Настал страшный, всем памятный год. Катенька возобновила переписку с Варей Котовой, бежавшей в Швейцарию. Князь говорил речи, много читал, виделся с какими-то людьми, приходившими тайком, потом, однажды, уехал верхом за реку и больше не возвращался. Внезапно умер от удара Волков, раздраженный поджогами. Катенька осталась одна. До нее иногда доходили слухи о князе, которого видели то на Афоне, то будто бы в Н..., на баррикадах. Потом она прочла его имя в списке казненных... Тогда Катенька продала именье и переехала в Петербург, чтобы принять участие в том, новом для нее деле, веря в которое погиб князь».

Этот конец — уход героя — дворянина, помещика, князя — в революцию, его гибель, которой придан был характер особой жертвенности, лишь намечен автором. Нужно полагать, что писатель вынужден был снять такой эпилог именно потому, что все оказалось мало мотивированным и плохо вязалось с образом Краснопольского, каким он обрисовывался содержанием всего романа в целом.

Тема, затронутая в эпилоге, получила свое развитие в пьесе «День Ряполовского», первой крупной пьесе автора, написанной в 1912 году и оставшейся неопубликованной. В качестве главного действующего лица здесь выступает сын разорившегося помещика, дворянин, мечтатель Ряполовский. Он считает себя обязанным вернуть «вековой долг» мужику, ведет агитацию в деревнях среди крестьян, призывает их к бунту, но гибнет, не понятый окружающими [1].

---

[1] Рукопись пьесы «День Ряполовского» хранится в Архиве А. Н. Толстого (№ 111/75) в Институте мировой литературы им. А. М. Горького.

В первопечатном тексте «Хромого барина» должны быть отмечены еще некоторые особенности содержания и планировки глав, которые А. Толстой в издании 1914 года изменил.

Глава «Судьба» начиналась прямо с описания свадьбы князя.

В подглавке II «Главы последней» давалось подробное описание катастрофы на льду, во время которой погиб доктор Заботкин. Обо всем этом происшествии рассказывала своему отцу Катенька. В издании 1914 года рассказ об этом эпизоде перенесен автором в подглавку I главы «Возврат» и вложен в уста другого лица — заезжего купчика с Волги, который сообщает о происшествии князю в Москве. Это перенесение, а также устранение места о Варе Котовой привело к сокращению числа подглавок в «Главе последней» (их теперь стало не 7, а 6).

В издании 1914 года изменены также эпизоды заграничного путешествия Кати и Алексея Петровича. В первопечатном тексте встреча князя с Мордвинской в Венеции дается не как галлюцинация, а как подлинная реальность: *они друг друга узнают:*

«И вдруг на венецианском большом канале встретил в плывущей мимо гондоле Анну Мордвинскую... Она узнала князя и в лорнет пристально поглядела на Катеньку; потом ее гондола завернула в кривой переулок под горбатый мост, по которому шли две женщины в черных шалях; Алексей Петрович засмеялся и сказал жене: «Я ужасно люблю Венецию. Ты видела эту даму с лорнеткой; правда — настоящая венецианка?»

Затем следовал подробный рассказ о том, как князь ищет Мордвинскую, встречается и разговаривает с ней в Ницце, после чего происходит их свидание в Париже:

«Алексей Петрович надвинул шляпу (чтобы не было видно глаз), сунул большие пальцы в карманы жилета и голосом наглым и дерзким потребовал одной ночи...

«Пошли вон, иначе я позову полицию»,— сказала Мордвинская.— У вас есть любовник? Ведь да, ну сознайтесь, ради...— я его знаю? — проговорил князь. «Может быть, и есть любовник,— ответила Мордвинская,— а вам какое дело». Князь подышал. как запаленный; Мордвинская ушла, а он продолжал стоять».

Во втором варианте этому эпизоду соответствует только краткое упоминание, что в Париже князь ее «видел два

раза издали» и что Мордвинскую сопровождал незнакомец (стр. 133).

Снят во втором издании и следующий дальше эпизод — поездка князя с Катей в Фонтенебло (после отъезда Мордвинской в Россию), где происходит объяснение его с Катей и где он дает обещание ей, что «метался вот так в последний раз».

Писатель стремился при переработке своего романа преодолеть схематичность в обрисовке взаимоотношений Кати и князя и их сложных переживаний путем вставки новых эпизодов и изменения диалогов, вносивших бо́льшую углубленность, психологическую насыщенность и драматизм. В этом направлении, например, переработаны заключительные страницы в главе «Водоворот», где подробнее приводятся думы Кати о князе, и первая подглавка главы «Возврат», где с большей психологической глубиной обрисовано состояние Алексея Петровича после кутежа и исповедь его в гостинице перед уходом от Кати. В самом начале этой подглавки (начиная от слов «Перед свадьбой, объясняясь в саду...») рассуждения князя о его отношениях к Кате и Саше, как к своим «жертвам», написаны Толстым для издания 1914 года. В этом же издании более подробно описано посещение Катей доктора Заботкина и более развернуто дан диалог их дорогой в возке, чем достигается большая полнота психологического рисунка характеров героев.

Раскрывая Григорию Ивановичу свои думы о покинувшем ее муже, Катя в первопечатном тексте рассказывала: «Я была очень строга к себе вначале, а когда выпал снег, не удержалась, да и к чему. Так всю и обожгло. Я ходила, словно дикая кошка, по пустым комнатам и звала по имени его. Хожу, остановлюсь и позову». В издании 1914 года соответствующее место дано сдержаннее: «Я была очень строга к себе вначале, а когда выпал снег... не могу я, не могу... не знаю, что делается».

Текст I подглавки главы «Катя» (в издании 1912 года) заканчивается словами князя о Кате: «Поймет,— сказал Алексей Петрович,— так нужно. Но не надо было столько врать. Ах, теперь легко. Пожалуй, ведь я хороший, но только двойной» (стр. 192). Эта откровенная самохарактеристика была при переработке снята.

Следующая редакция романа относится к 1919 году, к периоду, когда, будучи за границей, А. Толстой заново пераба-

тывал ряд своих произведений дооктябрьского периода. В этой новой редакции роман вышел в 1923 году в изд-ве З. И. Гржебина. (Автор указывает в конце этого текста дату написания и дату переработки романа: 1914—1919.)

Общая композиция и сюжет романа не подверглись изменениям. Планировка по главам осталась тою же. Переработка выразилась главным образом в следующем: переживания героев, их внутренние состояния, разного рода психологические моменты даны были теперь более коротко, с гораздо большей четкостью и выразительностью, некоторые описательные места были сокращены; самая языковая ткань — построение фраз, лексика, а также такие средства изобразительности, как метафоры, сравнения, эпитеты, подверглись некоторой переработке в направлении большей четкости, лаконизма и реалистичности.

Из всего произведения в наибольшей степени изменены были главы: «Лунный свет», «Судьба», «Возврат» (первая подглавка) и «Глава последняя».

Существенно были переработаны следующие места романа: 1) Характеристика князя, его образа жизни в Петербурге, знакомство его с Мордвинской — подглавка II главы «Ядовитые воспоминания». 2) Описание душевного перерождения Григория Ивановича, его намерения «служить» Саше — подглавка III главы «Судьба». 3) Возвращение князя в Милое после скитаний; заключительный момент встречи их на дороге — подглавки IV—VI «Главы последней». 4) Объяснение Григория Ивановича и Кати дорогой в возке, когда он говорит ей о своих чувствах — подглавка IX главы «Судьба».

Эпизод неожиданного посещения Катенькой доктора и Саши сделан писателем теперь более сжатым и драматичным.

В тексте романа 1914 года было, например, такое место:

«Саша медленно, чтобы не обидеть, отвернулась и ушла за перегородку. Катенька тряхнула головой. Григорий Иванович опять покашлял. «А что же чай-то,— сказал он, перелистывая книгу,— готов самовар?» — и быстро подумал: «Ужасно».

— Готов,— ответила Саша за перегородкой, дуя в самовар.

Катенька, став рядом с Григорием Ивановичем, спросила:

— Что вы читаете?

— Вот это — «Освобождение».

— Какой вы злой, я писала вам два раза, просила приехать, я была очень нездорова. Почему вы не приехали?

Саша внесла в это время самовар; Катенька быстро взглянула на нее и сказала громче:

— А когда-то вы немножко ухаживали за мной, помните, когда остриглись так смешно? (Она засмеялась.) А теперь даже прошу, а вы не едете...

Григорий Иванович и в этот раз промолчал» (стр. 121).

В издании Гржебина (1923) это же место, будучи сокращено в своей диалогической части, передает сильнее внутреннюю взволнованность и тревогу: «Он проговорил грубым голосом:

— Что же самовар, наконец, будет?

Саша медленно повернулась и ушла за перегородку. Было слышно, как она дула в него, гремела трубой. Запахло угарцем. Катенька перелистывала журнал, затем бросила книгу на стол, облокотилась и сказала:

— Я писала вам два раза, просила приехать,— была нездорова. Почему вы не приехали?

— Да, я не мог,— ответил Григорий Иванович.

Саша внесла самовар и вытирала посуду, не поднимая головы, спокойная и сосредоточенная» (стр. 137).

Среди сокращений, которые производились А. Толстым при переработке текста 1914 года, должны быть отмечены сокращения, которыми писатель устранял из своего текста эпизоды второстепенного значения.

В тексте романа издания Гржебина отсутствует, например, эпизод, характеризовавший старого барина — чудака Вадима Волкова, деда Катеньки, пытавшегося по-своему, по-дворянски, разрешить аграрную проблему. Учившийся в пансионе, любивший «почитывать и пописывать», он — как рассказывал о нем сначала писатель — «даже собирался издать брошюру об «овражном хозяйстве», где доказывал, что крестьяне могут вдвое увеличить площадь земли, не отрезая ее у помещиков: для этого стоит только прорыть землю оврагами с севера на юг и насыпать некрутые балки уступами, равно как и овраги, получится от этого множество плоскостей, одна над другой, и площадь сравнительно с гладкой степью увеличится вдвое».

Характерным примером сокращения одного из описательных мест романа, сокращения, одновременно сопровождаемого стилистической правкой, может служить место в главе «Лунный свет». В издании 1914 года подглавка III начиналась так:

«Всегда вокруг месяца очерчен в небе радужный круг, иногда его видно, а иногда не видно, когда луна слишком ясна, будто теплая.

Говорят, что по кругу этому ходят сны и рассказывают сказки. Есть сказки веселые и страшные, человеческие и звериные.

Не мудрено, что так говорят про луну, когда стоит она над сумеречной, подернутой росой землей, тогда даже спящим беспокойно во сне... Смеются спящие, откинув одеяло, или вскрикивают и перебирают пальцами; и кажется — конца не будет лунному свету, забирается он сквозь щели, через закрытые веки, в норы зверей и в гнезда, пробирается сквозь воду на дно пруда, где ходят рыбы» (стр. 12).

В тексте романа издания Гржебина зачин этой подглавки иной:

«Сияет в темно-темно-синем небе лунный свет, и кажется — конца не будет ему, забирается сквозь щели, сквозь закрытые веки, в спальни, в клети, в норы зверей, на дно пруда, откуда выплывают очарованные рыбы и касаются круглым ртом поверхности вод» (стр. 14).

Описание уже освобождено от налета стилизованной сказочности, которая характерна была для раннего творчества А. Толстого.

В первопечатной редакции в начале романа стоял еще второй эпиграф — строчки поэта-символиста Вячеслава Иванова:

Сатана свои крылья раскрыл, Сатана,
Над тобой, о родная страна.

Этими стихами, а также некоторой акцентировкой мрачного, безысходного состояния обнищавшей русской деревни (в мыслях о ней доктора Заботкина) А. Толстой стремился наметить исторический фон, гнетущую обстановку политической реакции в стране.

В издании 1914 года автор снял эпиграф, но усилил этот мотив в тексте издания Гржебина (1923) в главе «Лунный свет» в характеристике того разочарования, которое пережил доктор Заботкин, соприкоснувшись с ужасами деревенской действительности. Писатель значительно расширил свой более ранний текст. В издании 1914 года было:

«Таскаясь в распутицу по разбухшей, навозной дороге, между черных уже пашен и грязного снега в оврагах; или продуваемый ледяным ветром в январскую ночь, когда луна стоит над снегами; заглядывая в темные избы, где кричат шелудивые ребятишки; угорая в черных банях, под горой, от воплей роженицы и едкого пара; обманутый много раз мужиками, которые с неудовольствием видели, как мечется барин зря,— узнал Григорий Иванович, почувствовал, ощупал, что есть деревня, и одолела его злая тоска.

С нее и полез Григорий Иванович на полати, сказав: «Никакой идеи нет, все ерунда, а жить незачем» (стр. 11).

В тексте гржебинского издания выделяем курсивом вновь введенное.

«Таскаясь в распутицу по разбухшей, навозной дороге или насквозь продуваемой ледяным ветром в январскую ночь, когда *мертвая* луна стоит над *мертвыми* снегами; заглядывая в тесные избы, где кричат шелудивые ребятишки; угорая в черных банях, под горой, от воплей роженицы и едкого дыма; *посылая отчаянные письма в земство с требованием лекарств, врачебной помощи и денег; видя, как все, что он ни делает, словно проваливается в бездонную пропасть деревенского разорения, нищеты и неустройства,— почувствовал, наконец, Григорий Иванович, что он один с банкой касторки на участке в шестьдесят верст, где мором мрут ребятишки от скарлатины и взрослые от голодного тифа, что все равно ничему этой банкой касторки не поможешь и не в ней дело. В это время сгорела больница, он шваркнул касторку об землю и полез на полати» (стр. 13).*

Последующая переработка текста «Хромого барина» носила стилистический характер. Такого рода правка была осуществлена автором при переиздании «Хромого барина» в I томе Собрания сочинений изд-ва И. П. Ладыжникова, Берлин, 1924, во II томе Собрания сочинений ГИЗ, М.—Л. 1929, и в III томе Собрания сочинений изд-ва «Недра», М. 1930.

Роман печатается по тексту сборника «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944, последнему изданию, подготовленному автором.

Сюжет романа был использован Г. Э. Гребнером для создания сценария к одноименному кинофильму, который выпущен был в 1928 году Межрабпомфильмом.

ЕГОР АБОЗОВ

Роман

Незаконченный роман при жизни автора публиковался только в отрывках (см. далее). Полностью напечатан впервые в 15 томе Полного собрания сочинений, Государственное издательство художественной литературы, М. 1953.

А. Толстой писал роман в течение первой половины 1915 года, чередуя эту работу с написанием военных рассказов.

Сюжет, образы героев, композиция и название романа прошли стадии нескольких вариантов и редакций, претерпевая значительные изменения соответственно новым идейным задачам, возникавшим у писателя.

В начале 1915 года А. Толстой начал роман под заглавием «Свет уединенный». Первые его строчки, зачеркнутые автором при правке, дают некоторый намек на первоначальный замысел писателя: «Рассказ этот об очень странном времени из жизни Егора Ивановича Никитина нужен мне самому, чтобы неясное облечь в плоть, томление о прекрасном утолить в человеческой возможности, злое предчувствие довести до злого дела — вместе с Егором Ивановичем пройти положенный и опасный путь» (Архив А. Н. Толстого, № 68/43).

Роман начинается описанием охоты, в которой принимают участие Егор Иванович Никитин — известный врач, его жена Варвара Николаевна и помещик Краснопольский с женой. Завязыванию сложных отношений между Никитиными и Краснопольскими посвящены страницы первой главы, названной «Осенний рожок». Вторая глава — «Угольный мешок». Большая ее часть, рассказывающая о детских годах Егора Ивановича Никитина, лишь с небольшими стилистическими исправлениями вошла в роман «Егор Абозов», как автобиографическое произведение героя. (Под заглавием «Кулик», как самостоятельный рассказ входил в собрания сочинений А. Толстого.)

В первых числах февраля 1915 года по дороге на Кавказский фронт А. Толстой продумывал продолжение романа «Свет уединенный» и писал жене:

«Я понял, что должно быть в нашем романе, — нужно, чтобы у Егора Ив[ановича], знающего, как медик, человека со всех сторон, возникла идея о новом изучении психики (души) при помощи физических приборов и логики (такой прибор нужно придумать). Е[гор] И[ванович] повсюду натыкается на иррациональность и считает ее лишь несовершенством нашего созна-

ния. На приборе своем он срывается и сам попадает в ловушку (Ольга). Срыв же Е[гора] И[вановича] состоит в. том, что при помощи своего прибора он математически определяет, что ему нужно Варвару Н[иколаевну] убить.

Такова задача первых глав (Петербурга со всем кошмаром)» (Архив А. Н. Толстого, № 6241/10).

Этот замысел не был осуществлен. Роман «Свет уединенный» прерывается на главе «Угольный мешок».

Писатель отказывается от какого бы то ни было элемента фантастики и выбирает более знакомую ему среду людей искусства. С новым по имени и профессии героем — Веньямином Павловичем Курасовым — революционером в прошлом, написавшим в ссылке большое автобиографическое произведение, А. Толстой начинает роман, названный вначале «Мышиная беготня» и затем «Призраки». Хранящаяся в архиве писателя первая глава романа «Призраки», который можно назвать уже не вариантом, как «Свет уединенный», а первой редакцией романа «Егор Абозов», начинается со встречи в Петербурге Курасова со своим школьным товарищем — художником Белокопытовым. Эта сцена отличается от аналогичной в «Егоре Абозове» (кроме имени героя) значительными разночтениями, свидетельствующими о том, что в первоначальных авторских замыслах тема критики декадентского искусства не ставилась так остро, как в дальнейшем.

Следующая — вторая редакция романа называется «Иван Царевич». Курасов теперь назван Егором Ивановичем Абозовым. Пять глав этой редакции (до сцены после чтения Абозовым повести) уже совсем близки к окончательному тексту. Каждая глава имеет свое заглавие: первая — «Дэлос» — вернисаж журнала, вторая — «Егор Иванович» — встреча с Белокопытовым, третья — «Не что, а как» — первое знакомство Абозова с литературной компанией у Белокопытова, четвертая — пропущена в архивном экземпляре — по-видимому отрывок, читаемый Абозовым, и пятая — «Обезьянка» — сцена после чтения повести. Прозвищем «Обезьянка» называет в этой редакции Белокопытов Валентину Васильевну.

В «Иване Царевиче» отсутствуют эпизоды, в которых раскрываются отношения Абозова и Маши. Егор Иванович после свидания в кабачке с Белокопытовым видит на Невском женщину, напомнившую ему девушку, в которую он был когда-то

влюблен. В связи с этим воспоминанием говорится и о работе Абозова в партии: «Елизавету Андреевну Замятину, дочь священника, он встретил три года назад в селе Вязовый Гай, где по делам партии работал под видом молотобойца у кузнеца» (Архив, № 39/18, стр. 134).

Третья — последняя редакция романа трижды меняла заглавие. Она называлась «Болотные огни» (26 июля 1915 года в газете «Русские ведомости» напечатан отрывок «Кулик» с подзаголовком «Глава четвертая из романа «Болотные огни»), затем «Болотные огоньки» и, наконец, «Егор Абозов».

Работа над романом шла медленно, с трудом. 5 августа 1915 года, вернувшись из Коктебеля, А. Толстой писал своей тетке М. Л. Тургеневой: «Сейчас я сажусь за роман, который хочу кончить в августе... Этот роман требует чудовищного напряжения, и я не хочу отвлекаться ни на один день...» (Письмо хранится у Л. И. Толстой.)

В сентябре А. Толстой работал над пьесой «Нечистая сила». 2 октября он писал М. Л. Тургеневой: «Роман не окончен, и времени кончать его нет. [...] Мне приходится каждую неделю писать по рассказу (в Р[усские] в[едомости]), я смертельно утомлен от работы над романом и пьесой и мечтаю только о том, как бы сделать так, чтобы отдохнуть хотя бы одну неделю...»

В декабре того же 1915 года писатель публикует отрывки из романа «Егор Абозов» в провинциальных газетах, очевидно, не теряя надежды закончить роман и печатать его целиком. Опубликованы были отрывки: «На вернисаже» — в ростовской газете «Приазовский край», 1915, 15 декабря; «Егор Абозов» в газете «Одесские новости», 1915, 25 декабря.

Но роман так и остался незаконченным. Как была задумана вначале развязка сюжета, можно судить по одному из отвергнутых автором начал первой главы. Приведем его полностью, так как оно дает не только пищу для догадок о финале, но частично раскрывает идейный замысел произведения.

«Я не склонен, подобно блестящему адвокату, тряхнуть львиной гривой и, указав широким взмахом руки на преступника, сказать потрясающим казенные своды, негодующим голосом:

— Посмотрите на это суровое и бледное лицо. Разве на нем не отпечаталась тяжесть слишком большого, слишком губительного ума? Разве эти серые, слегка тоскливые глаза не за-

глядывали по ту сторону, господа присяжные, куда страшно и не дозволено проникать? Разве его рот, детский и грустный, не помнит в то же время слез и молитв матери, убогой странницы, быть может до сих пор бредущей с посохом и котомкой из монастыря в монастырь? Разве его прошлое, его поступки, всегда порывистые и резкие,— его страсти, добро и зло, само его имя... и т. д. и т. д.

Словом, защитник представил бы Егора Ивановича Абозова роковой, исключительной и романтической личностью; дамы на хорах, вынув платки, принялись бы яростно о нем мечтать, а присяжные бы его оправдали.

Но я хочу взять на себя задачу, более трудную и неблагодарную,— показать, что Егор Иванович человек действительно замечательный, которого не так-то просто раскрыть перед присяжными и дамами, виновен во всех обвинениях. Но его вина лежит не в нем, а в народе, откуда он вышел, и в обществе, где жил. Он человек русский, наш современник, его добро и грехи есть лишь проявление ничтожнейшего запаса неисчерпаемых и нам еще неведомых сил.

Я познакомился с ним в Петрограде, когда он выскочил неожиданно на поверхности литературной богемы. Его появление было так стремительно и ярко, что несколько писателей загрустило совсем, говоря в кружках, будто толпе нужны выскочки, а не таланты. Но затем нелепая трагическая история, и его исчезновение, всех успокоила и примирила. Он был точно камень, брошенный в зазеленевшее болото. Его слава продолжалась всего одну зиму. Он был вынужден делать все глупости и окончить скверно. Пока я ограничусь только этой одной зимой, хотя и прибавлю несколько слов о далеком прошлом Егора Ивановича, все, что знаю из его же рассказов» (Архив, № 41/18).

Только по этому вступлению от автора можно строить догадки о трагическом завершении любви Абозова к Салтановой, о пути, приведшем его на скамью подсудимых.

Время действия романа «Егор Абозов» — одна из зим 1909—1912 годов — один из столичных литературных сезонов того десятилетия (1907—1917), которое, по словам М. Горького, заслуживает имени самого позорного и самого бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции, когда подавляющая ее часть после поражения революции 1905 года пошла на поводу у реакции.

За художественной тканью романа угадывается подлинный исторический материал. Так можно усмотреть значительное сходство между вернисажем журнала «Дэлос» и той атмосферой, которая царила вокруг эстетского журнала символистов «Аполлон», начавшего выходить с октября 1909 года. (В первом номере этого журнала напечатано стихотворение «Дэлос» поэта-символиста М. Волошина.)

Описание разнузданной декадентской оргии в «Подземной клюкве» напоминает обстановку «литературных вечеров» в пристанище столичной богемы — подвале «Бродячая собака». Название петербургского ресторана «Вена», где собирались писатели, художники, артисты и меценатствующие бездельники, прозрачно заменено автором на «Париж». Постановка в Мариинском театре оперы «Орфей и Эвридика», нашумевшей декорациями художников А. Я. Головина и Л. С. Бакста, упоминается в романе почти без изменений («Орфей»), хотя фамилии художников заменены вымышленными В том же роде следует и ряд более мелких деталей романа.

Создавая типические обобщенные образы представителей буржуазного искусства, А. Толстой использовал отдельные черты характеров, портретов и биографий некоторых писателей и художников. В этом отношении интересно письмо пайщика «Книгоиздательства писателей в Москве» драматурга С. Д. Махалова (Разумовского) одному из редакторов издательства — Н. Д. Телешову. Прочитав еще не оконченный роман «Егор Абозов», о публикации которого решался вопрос, Махалов, хорошо знающий петербургских литераторов, пишет: «Спешу поделиться с тобой мнением о портретности, которой не нашел за исключением намеков, да и то перемешанных в такую кашу, что разобраться в них можно только при сильном желании...» (Письмо от 31 августа 1915 года. Архив А. Н. Толстого, № 7073.)

В то же время Махалов приводит в письме отдельные портретные черты И. Бунина, Л. Андреева, А. Рославлева, А. Куприна, И. Северянина, М. Кузьмина, А. Грина, Д. Мережковского, М. Волошина, которые, по его мнению, можно усмотреть у персонажей романа.

Объективное указание о заимствовании биографических деталей видно из эпиграммы А. Толстого на поэта-символиста Вячеслава Иванова, напечатанной в марте 1912 года в журнале «Черное и белое», № 2, и включенной в роман строки из этой

эпиграммы — «Авесалом погиб от власа...». В романе поэт-мистик Шишков сжигает бороду в ночном кутеже, повторяя происшествие с Вячеславом Ивановым.

Критическое отношение писателя к декадентскому искусству отражено также в рассказах «Ночные видения», «В гавани», «Без крыльев» (см. настоящий том), полно и глубоко эта тема нашла свое выражение в романе «Сестры», первой части трилогии «Хождение по мукам» (см. том 5 наст. собр. соч.).

Роман «Егор Абозов» печатается по тексту рукописи, хранящейся в архиве А. Н. Толстого, № 38/18[1].

[1] Комментарии к произведениям «Портрет», «Клякса», «Егорий — волчий пастырь», «Фавн», «Логутка», «Овражки», «Девушки», «Трагик», «Приключения Растегина», «Без крыльев», «Хромой барин», «Ночные видения» написаны А. В. Алпатовым. Остальные — Ю. А. Крестинским.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Алексей Николаевич
ТОЛСТОЙ

Собр. сочинений, т. 2

Редактор *Л. Красноглядова*
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор *Ф. Артемьева*
Корректоры *В. Брагина* и
Л. Коншина

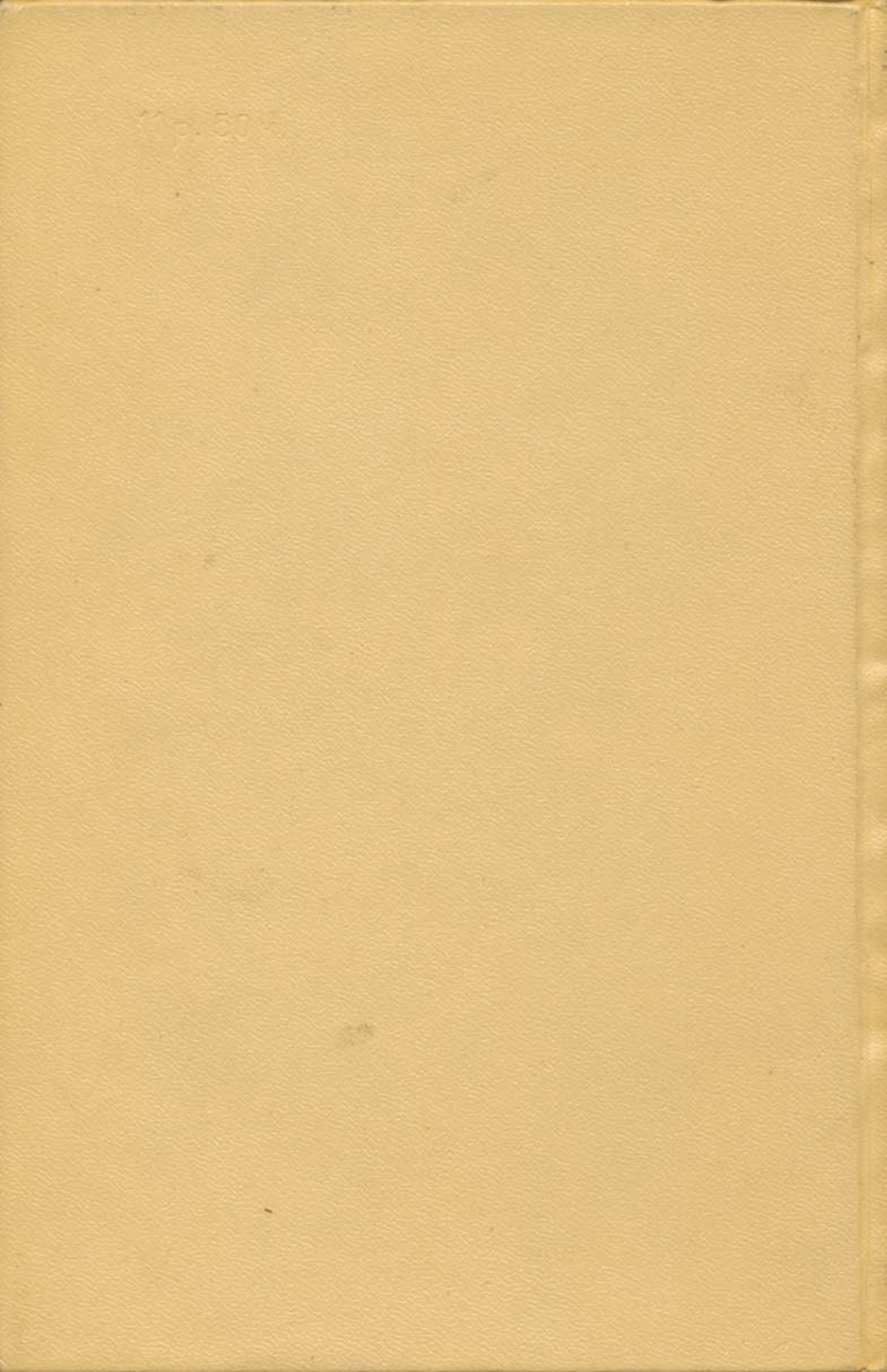
*

Подписано к печати с матриц 12/VIII 1958 г. Бумага 84 × 108¹/₃₂ — 23,75 печ. л. 38,95 усл. печ. л. 36,008 уч.-изд. л. + 1 вкл. 36,058 л. Тираж 675 000 экз. Заказ № 131
Цена 11 р. 50 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Отпечатано в типографии № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Управления полиграфической промышленности Ленсовнархоза Ленинград, Гатчинская, 26 с матриц Первой образцовой типографии имени А. А. Жданова Московского городского Совнархоза. Москва, Ж-54, Валовая, 28.



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

2